История моей матери. Роман-биография

Семен Бронин

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Роман повествует о жизни француженки, рано принявшей участие в коммунистическом движении, затем ставшей сотрудницей ГРУ Красной Армии: ее жизнь на родине, разведывательная служба в Европе и Азии, потом жизнь в Советском Союзе, поездка во Францию, где она после 50-летнего отсутствия в стране оказалась желанной, но лишней гостьей. Книга продается в книжных магазинах Москвы: «Библиоглобусе», Доме книги на Новом Арбате, «Молодой гвардии». Вопросы, связанные с ней, можно обсудить с автором.

- Семен Бронин
  - Предисловие
  - ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ВО ФРАНЦИИ
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11
    - 12
    - 13
    - 14
    - 15
    - 16
    - 17
    - 18
    - 19
    - 20
    - 21
    - 22
    - 23
    - 24
  - ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ВОКРУГ СВЕТА
    - 1
    - 2
    - 3

- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. В РОССИИ

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13

Семен Бронин
История моей матери
Роман-биография

Памяти моих родителей и их товарищей из Разведупра

Предисловие

Этот «роман-биография» основан на мемуарах матери, которые я с ее слов записал при ее жизни (160 машинописных страниц), архиве шанхайской полиции, содержащем дело отца, на моих личных воспоминаниях и на авторском домысле. Последнего особенно много в первой, французской, части, поскольку мать не хотела «выдавать» своих соотечественников, боясь, что разглашение поступков умерших может сказаться на живущих родственниках, но и в других частях книги его (вымысла) хватает. Все документы и письма (кроме записки Якову в тюрьму) подлинные. Я приношу глубокую благодарность французскому журналисту Тьерри Вольтону, который снял копию шанхайского дела отца, хранящуюся в архивах ЦРУ, и привез ее в Россию: в США эти бумаги за давностью лет открыты. Я приношу также великую благодарность тем, кто читал рукопись в черновике и поощрял меня к ее завершению: без этого написать серьезную книгу в наше время невозможно. Это Нина Сергеевна Филиппова и Андрей Михайлович Турков, Ада Анатольевна Сванидзе (сама пишущая прекрасные стихи), Галина Петровна Бельская, мои коллеги по работе и особенно Александр Семенович Кушнир, который, когда меня начали одолевать сомнения, расхвалил меня так, что я, потерявший одно время уверенность в себе, воспрянул духом и живо закончил сие произведение.

Особая моя признательность Э.С.Корчагиной, которая была не только корректором в издании этой книги, но и помогала в правке текста, выступив в роли редактора-стилиста.

Я также благодарен Музею боевой славы Разведупра, который сохранил фотографию, красующуюся на титульном листе книги и лучше иных слов рисующую характер матери. Я немного виноват перед Управлением: в том отношении, что затеял и довел до конца эту книгу, не поставив в известность его руководство, не введя его, так сказать, в курс дела и даже отчасти от него скрывшись. Степень этой вины не следует преувеличивать. Все лучшее в мире совершается без уведомления о том начальства — история моей матери лишнее тому подтверждение. Потом, тот, кто внимательно прочтет книгу, увидит, что она написана с симпатией к учреждению, в котором работали мои родители и преданность которому оба сохраняли до конца своей жизни — несмотря на все ее трагические перипетии. Деятельность этого учреждения была исторически необходима и эффективна, и родители гордились тем, что принимали в ней участие. Автор

разделяет эти чувства и их отношение к прошлому. Более того, всякий писатель сам подобен разведчику: он вглядывается в мир и старается выведать у него истину — только шпионит он не для узкого круга лиц, а в пользу целого народа и, может быть — всего человечества. Люди должны знать правду — поиски ее и составляют существо работы как хорошего разведчика, так и хорошего писателя.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ВО ФРАНЦИИ

1

Моя мать, Бронина Элли Ивановна, она же Рене Марсо, родилась 10 августа 1913 года во Франции, в городке Даммари-ле-Лис — теперь части Мелена, центра департамента Сены и Марны, расположенного в 40 километрах от Парижа вверх по течению Сены. Оба ее родителя были из крестьян, но семья деда Робера перебралась в город поколением раньше и жила в достатке, а бабка Жоржетта родилась в деревне, и ее мать, всеми уважаемая, достопочтенная женщина, рано овдовев, скиталась с четырьмя дочерьми по наемным углам, арендуя чужую землю. Причиной такого мезальянса (поскольку не одни аристократы умеют считать деньги в чужих карманах) был, как это всегда бывает в подобных случаях, тайный изъян одного из брачующихся, а именно моего деда. В то время как прочие члены этого семейства были люди дельные и по-крестьянски целеустремленные, Робер успел заразиться городской ленью и скукой: ему время от времени все надоедало, он начинал беспричинно томиться, отягчаться семейными и прочими узами — задумывался, глядел по сторонам и наконец менял все подряд: жен, жилища, профессии. Вообще говоря, лучше всего он чувствовал себя за праздничным столом и здесь как бы находил свое место в жизни: делался весел, словоохотлив, приятен и даже обворожителен — был, как многие французы, любитель застолья, хотя пьяницей не был. Жоржетта была во всем его противоположность: упрямая, трудолюбивая и недоверчивая молчунья — дедова родня решила, что она сможет ввести их Робера в столь необходимые ему берега и рамки. Но одни предполагают, а другой, как известно, располагает. Свадьбу закатили громкую и богатую: ею тоже хотели сильней привязать новобрачных друг к другу — дали неудачнику лучшую, большую и светлую, комнату с отдельным входом в новом, только что выстроенном доме и предупредили его, что отныне он сам кузнец своего счастья и что второго такого случая у него не будет. Но не прошло и двух лет с рождения Рене, как он снова, в который уже раз, начал скучать, прислушиваться к зову своего неугомонного, переменчивого сердца, тяготиться и женой, и домом, и отдельным входом с улицы, уехал как-то по делам в Париж и не вернулся — сообщил только через некоторое время родным, что нанялся к кому-то коммивояжером, хотя в Даммари-ле-Лис был пристроен в семейной фирме, возглавляемой его старшим братом. Он даже не попросил прощения у Жоржетты, словно все это не очень-то ее касалось.

Жоржетта, не оправдавшая надежд его семейства и ничего не нажившая в скоротечном браке, вернулась не солоно хлебавши в родные края в Пикардию, в деревню ля-Круа-о-Байи, что в двух километрах от Ламанша: ближе к морю там не селятся, потому что иногда оно выходит из берегов, и тогда нужны не дома, а корабли и лодки. Первые впечатления Рене были связаны, однако, не с этими местами, а с войной и с Парижем: видно, Жоржетта наезжала туда с ребенком. Немцы были рядом, и по столице стреляла знаменитая Берта — крупноствольная дальнобойная гаубица, наводившая ужас на парижан: прообраз будущих, устрашающих уже нас чудовищ. Французы прятались от нее в убежища, и Рене запомнила, как ее, завернутую наспех в одеяло, отнесли в такой подвал, где она кричала от страха и где какой-то господин, явно из иных сфер жизни: там все сидели вперемешку — угощал ее конфетой в нарядной обертке: чтобы угомонилась и не бередила ему душу криками, на которые сам готов был отозваться. Именно обертка запомнилась ей всего больше: может быть, была красивой — или сласти были тогда в редкость. Помнила она также толпы беженцев с узлами и чемоданами, солдат-союзников в необычных мундирах и гимнастерках и еще (ей было уже пять) — окончание войны, День Победы, когда по улицам Парижа, как по родной деревне, шли гурьбой и пели девушки-швеи, мидинетки, никого в этот день не боясь и не стесняясь: будто город на время перешел в их собственность и распоряжение…

Жили они вдвоем где придется, где была работа, а на лето Жоржетта, как и ее сестры своих детей, отправляла Рене к матери, к Манлет: так все ее звали. Женщина эта была незаурядная — из тех, что стоят у истока всех сколько-нибудь заметных семейств и генеалогий. Она вывела дочерей в люди и сделала это так, что те не заметили нищеты в доме, — теперь они, в память о своем детстве и в благодарность за него, слали ей своих чад на сохранение и на выучку. Манлет была бедна, бедность ее граничила с нищетою, но она словно не замечала ее — напротив, относилась к ней как к достойному и наиболее верному (никогда не не изменит) спутнику жизни. В том, что другие считали проклятием и небесной карой, она черпала силу и даже одушевление — ей было легче жить без денег и ни от кого не зависеть, чем обременять себя ненужными, как она считала, путами. Хотя и принято считать, что деньги дают свободу, она полагала это заблуждением: из бедности ей проще было глядеть на мир и вести себя с надлежащим достоинством — она была для нее неким щитом и спасительным прикрытием. При этом она не юродствовала, не выставляла свою голь напоказ: напротив,

выходя с детьми и потом — внуками на люди, что случалось по праздникам и иным торжественным дням, старалась, чтобы те выглядели не хуже, чем у других, но чище и наряднее: для этого из сундуков извлекались, отглаживались и украшались лентами старые одежды, ничем с виду не уступающие обновкам. Соседи относились к ней с превеликим уважением. Она говорила с ними мало и скупо, словно берегла слова, но тем вернее разлетались они потом по деревне — с детьми же была разговорчивее: словно мудрость ее была такого рода, что могла быть сообщена только малым.

— Манлет, почему у нас пол земляной, а у других деревянный?

— Потому что мы бедные.

— А другие?

— А другие богаче.

— Это плохо — быть бедным?

— Ничего хорошего, но не это главное.

— А что главное?

— Главное — быть честным, порядочным и трудолюбивым, остальное само приложится.

— Как это — приложится?

— Значит, придет само собою. А не придет — тоже не беда. Останется утешение, что был честным. Богатым быть нетрудно, зато бедных Бог любит… — Она глядела вдумчиво и выразительно. — Вы кроликам травы нарвали?

— Нарвали.

— И колосков набрали? — (Во французском языке есть слово glaner, означающее подборку колосков после снятия урожая, — верное свидетельство тому, что страна лишь недавно ушла от нищеты: оброненные колоски собирали после общей жатвы, и необходимое для этого вторжение на чужую землю было освящено обычаем.)

— У всех уже собрали — хотели к графине пойти, да испугались, — полушутя-полусерьезно, как бы посмеиваясь над собой, отвечала Рене.

— Почему? Это ж разрешается?

— Я им то же говорила, а они графиню боятся… А она сама спрашивала, когда придем…

В деревне жила настоящая графиня, потомок средневековых властителей края. Замок ее сгорел веком раньше, тогдашний граф перестроил конюшню и переехал в нее, но и она представлялась здешним детям одним из чудес света.

— Да, она такая. — Манлет не любила обсуждать с детьми дела взрослых — впрочем, и без них тоже. — Про меня ничего не

спрашивала?

— Говорила, у тебя бабушка хорошая. Достойно живет, хотя и в бедности.

— Так и сказала? — с досадой переспросила Манлет. — Это они любят. Когда бедные ведут себя достойно. А достойные живут в бедности… И ничего больше?

— Сказала еще, что ты редко в церкви бываешь. И в хор петь не ходишь.

— Меня там, в хоре этом, не хватало. У меня голоса нет. И петь я не умею…

Графиня, пятидесятилетняя жилистая женщина с очкообразными глазами, будто обведенными темными ободками, с раз и навсегда остановившимся лицом, отказалась пять лет назад от столичной жизни, переехала в провинцию и занялась односельчанами — едва ли не миссионерствовала в собственной деревне. Сама набожная, она следила за тем, чтоб все ходили хоть раз в неделю на церковные службы, ежедневно беседовала с кюре, обсуждая с ним темы проповедей, так что тот не знал уже, кто из них главный предстатель Бога в деревне, но терпел, поскольку целиком от нее зависел; руководила хором из прихожан и посещала его спевки — следила, словом, за нравственностью. Сама она выговоров никому не делала — упаси Боже — но посылала для этого своих гонцов и приспешниц, и если человек не внимал косвенным намекам и вразумлениям, вступала в дело сама и открыто переставала с ним знаться. Многие следовали ее примеру, и провинившийся подвергался в этом случае некоему молчаливому остракизму и понижался в общественном мнении. В отношении Манлет это был не выговор и не предупреждение, а дружественный попрек и изъявление легкой досады, переданное к тому же не через чужих, а через своих же, но осудительного привкуса оно при этом не теряло.

— Какое — редко? — додумывала между тем Манлет, строптивая и не желавшая идти на поводу ни у кого — тем более у графини. — На Пасху была, а до этого в Великий пост два раза — куда чаще? Что Бога зря беспокоить? Он кругом — зачем за ним в церковь ходить? О себе напоминать? Ему это не нужно. И работы полно. Опять трава со всех сторон в огород лезет — полоть надо. Тоже нехорошо: божье создание все-таки, а куда денешься? Прополете вечером?

— предложила она, и Рене кивнула: Манлет умела просить так, что ей не отказывали, но с легкой душой выполняли ее просьбы. — На море пойдете? Мидий наберите — сварим вечером.

— Другого ужина нет? — подколола ее Рене: обычно не

слишком бойкая, но ровная и невозмутимая, она в присутствии бабушки вела себя иной раз чуть ли не дерзко и позволяла себе подшучивать над ней, к чему Манлет никак не могла привыкнуть, поскольку была женщина серьезная и благонамеренная.

— Как — нечего? — Она посмотрела недоверчиво. — Не было, так будет. Земля всех накормит — без дела только сидеть не надо. А у нас не только земля — еще и море: вовсе грех жаловаться… Далеко не заходите только.

— Утонуть можно?

— Унести волною. Идите вдоль берега. Человек создан по земле ходить, а не по морю.

— Только Христос по воде ходил?

— Когда это? — Манлет глянула испытующе: разыгрывает, или нет, ее внучка.

— Кюре в церкви сказал.

— Ну если сказал, значит, так и было, — согласилась Манлет, вовсе в этом не уверенная. — Идите. Не задерживайтесь долго. А то волноваться буду…

Дорога к морю была живописна. Обсаженная тополями, она шла мимо убранных полей, которые мерно опускались и поднимались вместе с местностью: та понижалась и поднималась не крутыми холмами, а пологими земными волнами — в начале лета ярко-зелеными, к осени серо-желтыми. Вдоль дороги стояли дома — они подступали вплотную к обочине, и можно было заглянуть, что делается во дворах и даже за окнами: их обитатели жили вровень с землей, что называется, одной ногой на улице. На полпути к морю стоял белый мраморный крест: деревня называлась по нему — «Крест в Байи». Когда-то тут проходила большая дорога, и крест нужен был паломникам и путникам, чтоб помолиться: церквей тогда было мало; теперь же мраморная крестовина вписывалась в пейзаж наравне с тополями, холмами и прибрежными скалами: как создание самой природы. Рене и ее кузенам и кузинам было здесь легко и привольно. Солнце, небо, ветер, земля под ногами, ощущение простора — все сливалось воедино с их душами и связывало их с землей и небом, чего не бывает в городе с его лабиринтом домов и улиц…

Море было шире и бесконечнее, чем земля, у него не было берегов, и оно пугало своими размерами и непостоянством: его, как предупреждала Манлет, надо было остерегаться. Берег здесь, как по всему северу Франции, резко очерчен и огорожен высокими скалами. Они поднимаются вверх крутыми иссеченными вдоль и поперек столбами, а внизу, между ними и водой — кромка земли, покрытая их осколками и заливаемая в прилив водою: тут-то и водятся мидии — лакомство богачей и

повседневная пища бедных. Сбор их не составляет труда и не занимает много времени: обшариваешь руками мокрые, покрытые водорослями камни и отдираешь от них моллюсков. Здесь резко пахнет йодом, так что с непривычки кружится голова, — потом к запаху моря привыкаешь, но оно не выпускает из своих объятий: укачивает если не йодом, то постоянной игрой солнечных бликов на водной глади. Они манят к себе, и вам хочется, по незнанию, пойти по ним, вслед за легконогим Христом, к тонкой нитке горизонта, кончающегося где-то в Англии. Франсуа, один из здешних приятелей Рене, которому не было и шести, грезил о далеких странствиях:

— Ты, когда взрослой будешь, пойдешь в дальнее плавание? Я пойду.

— Рыбу ловить?

— Нет. На рыбе много не заработаешь. Мне папа сказал: если за морем купить что-нибудь, а здесь в три цены продать, то разбогатеть можно. Ты хочешь быть богатой?

— Нет. Мне и так хорошо. Главное — быть честным. — Рене успела уже принять на веру слова бабушки и не хотела изменять им — постоянство, сопутствовавшее ей всю жизнь и больше всего ей в жизни навредившее.

— Это Манлет так говорит. Без денег плохо. Я на моряка учиться пойду.

— А я на земле буду жить. Человек создан ходить посуху. Иисус только по воде ходил — и то: было это или нет, еще не совсем известно…

Нам не дано знать будущего. Франсуа остался в деревне — только во Вторую мировую побывал в солдатах и оставил на фронте ногу: связанных с этим приключений и переживаний хватило ему на весь его век с избытком. Рене же отправилась вместо него в то самое дальнее долгое плавание, из которого нет возврата, потому что, пока вас не было, в ваших краях все так изменилось и преобразилось, что вы, вернувшись, не узнаете их: места те же, а самой страны нет — успело смыть волнами истории.

2

Пока Рене гостила у бабушки, Жоржетта не теряла времени даром: нашла на танцах второго мужа. Она была великая скромница и молчунья, но эти качества, как известно, производят иной раз на мужчин (на танцах в особенности) большее впечатление, чем иная женская болтовня и доступность; прежде всего это относится к тем ухажерам, кто настолько ловок и общителен сам, что полагает, что этих качеств ему хватит на двоих с избытком. Но для этого надо все-таки пойти на танцы, и поскольку женщине, подобной Жоржетте, это дается с трудом, то нельзя сказать, что она вышла замуж во второй раз без всяких с ее стороны усилий.

До войны Жан был моряком в Бретани, в войну служил в авиации. Обе эти профессии ему не понравились, и по окончании войны он решил не возвращаться к ним, а как многие победители, считающие, что мир лежит у их ног, решил строить жизнь наново, в соответствии с устремлениями молодости. Мечты тогда были проще наших — в юности он хотел быть строителем и теперь определил себя на стройку, а пока, в предвкушении любимого дела, веселился в Дьеппе с товарищами и тратил выходное пособие. Жоржетта молча, но верно подпадала под его обаяние, но какое-то время мялась и медлила: боялась нового неудачного замужества и заранее ревновала его к товарищам — этим она, как водится, лишь сильней разжигала своего воздыхателя. Наконец она поделилась сомнениями с дочерью — хотя в таких случаях уже не столько обращаются за советом, сколько, сами того не ведая, извещают о принятом решении и косвенно просят о помощи и поддержке. У Рене никого ближе матери не было — она отнеслась к ее тревогам как к собственным и обещала ей всячески содействовать новому браку и относиться к отчиму как к своему родителю. Это было для нее в одно время и просто и сложно: родного отца она в глаза не видела. Жан пошел ей навстречу. Понимая, что путь к сердцу матери лежит через ребенка, он начал обхаживать и дочь тоже: сводил на ярмарку, подарил ей конфеты и, главное, преподнес пару обновок, чем в особенности подкупил будущую падчерицу, которая до сих пор носила только перешитое, перелицованное и перештопанное. Жоржетта не тратилась на одежду — ни на свою, ни для дочери: боялась еще раз остаться одна без средств и откладывала каждую копейку; Рене поэтому долгое время смотрела на отчима теми глазами, какими встретила когда-то его подарки.

Жили они поначалу легко и весело, потом медовый год

кончился — потекли послевоенные будни с их тяготами и неустройством. Победители оказались никому не нужны; более того, их, недавно державших в руках оружие, побаивались — они стали в длинную очередь за работой, жильем и хлебом. Жан нанимался в строительные бригады и ездил с семьей по парижскому региону — кочевая жизнь с ее вечными переселениями, наймом дешевых квартир и комнат, ссорами с хозяевами счастья в доме не прибавляла. Жан, поостывший и поскучневший к этому времени, начал утомляться, раздражаться и, главное — пить, иной раз — запоями. Пьяный, он делался нехорош, в нем словно просыпался некий противоположный ему человек, его на время подменявший. Жоржетту он не разлюбил, но к Рене начал придираться: пьяный в особенности, но и трезвый косился на нее и перестал с ней разговаривать — решил, что она главная причина его семейных неурядиц. Стало еще хуже, когда появился второй ребенок, его собственный. Семья приобретала новую конфигурацию, в которой для Рене не было места, по праву принадлежавшего ей прежде. Она мужественно переносила придирки, попреки, даже угрозы пьяного отчима — словно не слышала их: блюла обещание, данное матери, но сердце ее обливалось кровью. Ей было десять. Внешне это была та же немногословная, приветливая и невозмутимая девица, что раньше, но душа ее с возрастом обнажилась: она стала подвержена экзальтациям и восторгам и чрезмерно чувствительна к обидам и несправедливостям.

Она была старше Жанны на девять лет — разница в годах большая и для старшего ребенка опасная, потому что родители, сосредоточенные на меньшем, полагают, что старший уже достаточно взросл для того, чтобы вместе с ними опекать и пестовать младшего, а старший перед строгим ликом родителей несет в себе то же младенческое нутро, что и прежде: сам ждет ласки и предпочтения и тяжело переносит ущемление своих интересов и обиды, связанные с теснотою. Рене казалось, что у нее отнимают места, давно ею насиженные. Жили они в это время в крохотной двухкомнатной квартирке в Стене, городке под Парижем. Жан и Жоржетта занимали спальню, Рене делала уроки и спала на диване в большой комнате, которая стала как бы ее собственной. Колыбельку Жанны повесили вначале рядом с родителями, но потом, когда стала нужна детская кровать, ее поставили в комнату Рене и всем сразу стало тесно. Рене перешла спать в прихожую, где ставила каждый вечер раскладушку, но и здесь не было покоя: отчим часто возвращался домой поздно и пьяный, злился и толкал ногой шезлонг, загораживающий ему дорогу. Рене ждала его прихода и не засыпала, а он иной раз

сильно задерживался. По ночам она таким образом странствовала, но и днем было не легче. У нее и прежде были обязанности по хозяйству: она чистила всем обувь, убирала большую комнату, ходила за молоком и хлебом — теперь же надо было еще и сидеть с младшей. Рене исполняла все безропотно: так было не в одной их семье — детей во Франции не баловали, и они все делали что-нибудь по дому. Беда была не в этом. Жанна подрастала, начала ходить и осваивать новые для себя углы и занятия и, как это часто бывает, во всем подражала старшей. У Рене были стол и книжная полка — ее, как ей казалось, неотъемлемое достояние, потому что никто, кроме нее, книг в доме и в руках не держал, но Жанна, видя, с каким усердием и гордостью садится сестра за свои учебники, требовала их и не унималась, пока ей не давали в руки книги и не снабжали карандашами. Над книгами Рене тряслась в особенности и стояла коршуном над сестрой всякий раз, когда та их «читала», но не могла видеть и того, как сестра тупит карандаши, любовно ею очиненные: тогда это было основное орудие школьника. Мать не понимала ее чувств, хотя и она опасалась, что младшая порвет или повредит школьные книги, а отчим и этого не боялся, а со скрытым злорадством потворствовал Жанне и запрещал отбирать у нее новые игрушки, так что дело доходило иной раз до слез и рыданий — сиюминутных или, чаще, ночных, отсроченных.

— Ну и пусть! Не надо! Мне ничего своего не надо! — горько твердила Рене, обливая слезами подушку. — Я, как Манлет, буду бедной и гордой!..

Но такие обеты легче даются, чем выполняются. Рене казалось, что ее хотят выжить из дома, и у нее были причины так думать: основательные или нет, этого в подобных случаях никто в точности сказать не может. Наверно, и Жоржетта была виновата, раз шла на поводу у мужа и не уделяла Рене должного внимания, но ее можно было понять: она жила теперь в вечном страхе, отбивающем всякое соображение, ей было не до детских обид и разочарований. Второй мужчина в ее жизни оступался — земля шаталась или ходила ходуном под ее ногами: в зависимости от того, насколько пьяным притаскивался он домой к вечеру. Алкоголизм во Франции в то время был таким же злом и бедствием, каким является сейчас в России, — страх Жоржетты был понятен и питался уличными примерами. Но она держалась и стояла стеною. Ее излюбленным и единственным оружием в борьбе за мужа и за сохранение домашнего очага оставалось безмолвное и неискоренимое крестьянское упорство. Она искала спасения в труде, боялась подлить масла в огонь, затеять роковую ссору, опрокинуть равновесие бешено вращающегося семейного

волчка и потому не попрекала мужа, не устраивала ему сцен, но вела себя так, как если бы ничего особенного не случалось: поддерживала в доме образцовый порядок, какой бывает только в сельских хижинах, следила с почти религиозным усердием за сохранностью и опрятностью общей одежды и обуви и готовила так, будто каждый день звала к себе людей, хотя приходил всякий раз один муж, которого она и ждала себе в гости. Она прекрасно готовила — это было у нее в крови, как у многих француженок. Мясо было мастерски зажарено, подрумянено снаружи и сочно изнутри (и она каждый раз волновалась и тревожилась так, будто в первый раз его готовила), картофель во фритюре был доведен до необходимой солнечной кондиции, в тарелке обязательно было что-нибудь зеленое, так что в совокупности получалось нечто красочное и художественное. Продукты она покупала, как это делают тоже одни француженки: пробуя на цвет, запах и на вкус, чуть ли не залезая внутрь каждого и не забывая при этом не раз и как бы невзначай спросить цену и сбить ее до предела. Это и был ее ежедневный и безмолвный отпор судьбе, немой укор Жану, а заодно и дочери, которая так не вовремя обиделась на жизнь и тем только еще больше ее осложняла.

Все так, но Рене чувствовала себя брошенной. Да так оно и было по большому счету. Если перед крестьянкой поставить выбор между мужем и ребенком, она, с ее заскорузлым, веками обтесывавшимся умом, выберет мужа: без него семья разрушится, а дети — дело наживное. Жоржетта никогда бы не сказала этого вслух и даже не подумала бы ничего подобного, но на поверку так и выходило. Рене поневоле начала свыкаться со своим новым положением — постояльца в собственном доме, и в душе ее образовалась трещина. Из такого материала лепятся, с одной стороны, будущие бродяги, преступники и революционеры (в каждом случае надо разбираться: кто кого предал — они семью и Родину или те их), с другой — книжники и мечтатели, иногда — то и другое вместе: фантазии заменяют действительность. Рене полюбила школу и чтение, она берегла учебники как зеницу ока: любовно обертывала их, складывала в аккуратную стопку на столе, где всегда был такой же порядок, как у матери в доме, и уходила с головою в чтение. В книгах торжествовала справедливость, в них можно было укрыться от домашних бед и неурядиц, в вымысле она находила простор и никем не стесняемое поле деятельности. У нее были любимые герои и героини: из них первая — Жанна д'Арк, когда-то поведшая за собой мужчин на войну за спасение нации. Она часто воображала себя на ее месте — в железном панцире, с мечом и копьем, с хвостатым вымпелом впереди неровного строя рыцарей на конях

в полной экипировке и стоящих за ними мужиков с дубинами. Но легко воевать в воображении с пришлыми завоевателями — трудней въявь с одним пьяным отчимом. А он, казалось, чувствовал, что она прячется от него в книгах, и пытался и там настичь ее. Его раздражала ее усидчивость.

— Гляди, снова за книги взялась! — Пьяный, он неотступно следил за ней, а она, послушно выполнив домашние обязанности, спешила к своим друзьям и союзникам и трепетно открывала их, готовая погрузиться в светлый мир нарисованного и написанного. — Завтра хочет всем нос утереть, лучше всех ответить! — злобился Жан, зная наперед, что ничего этим не добьется, и чувствуя, что натыкается в случае падчерицы на такую же непреодолимую стену упорства, что у матери. — Чтоб потом за работягами следить, их задания в книжечку записывать!

Рене и правда особое удовольствие доставляли хорошо выученные и бойко отвеченные в классе уроки. Учителя ставили ее в пример, не преминув напомнить остальным, что она из простой рабочей семьи и что это не помеха ее школьным достижениям. Но ей важны были не сами успехи (если она и гордилась ими, но втихую, молча), а то, что, отвечая урок, она как бы участвовала в акте творения, становилась на время создателем иного, справедливого мира: такова конечная цель всякого мечтателя. Это-то и выводило из себя отчима, который давно уже нацелился не на восстановление мирового порядка, а на его разрушение. Он решал, что Рене слеплена из другого теста, чем он и его семья и товарищи, что она вознамерилась выбиться в люди на его горбу и за его деньги, выучиться на помощницу эксплуататоров: в ней было нечто внушающее ему эти мысли и оправдывающее такие подозрения.

— У нас есть один, — объяснял он, встретив непонятливый взгляд Жоржетты, оторвавшейся на миг от шитья. — Конторщик! И слова простому человеку не скажет, нос задирает, тварь продажная, а перед хозяином лебезит как цуцик!..

Жоржетта понимала наконец, что он имеет в виду, но не принимала его слова всерьез. У нее были свои виды на дочку.

— Почему? Может, она учительницей станет? Будет детей учить.

Учительница была для нее воплощением и одновременно — крайним пределом образованности. Сама она за год приходской школы едва научилась писать и читать и завершила свое образование взрослой самоучкой, читая «Юманите», боевую газету коммунистов, которую приносил домой Жан. Другого чтения она не знала и знать не хотела и читала в «Юманите» все подряд: здесь на каждой строке клеймили буржуазных воров и

мошенников, а она приговаривала: «Oh! salauds!» («Негодники!») и откладывала газету в возмущении — все в ней в эту минуту, кажется, кипело. Но негодование ее мало сказывалось на повседневной жизни и житейских устремлениях. Больше всего на свете Жоржетта хотела открыть свое дело. У нее была уже однажды собственная мастерская — ателье дамских шляпок. Жан как-то разбогател, получил деньги за разовую работу, а тут подвернулось горящее дело, которое продали за бесценок. Жоржетта, переняв от прежних хозяев двух работниц, не выходила из мастерской или ежеминутно туда бегала и постоянно пеклась о производстве. Если б жизнь снова не переменилась и не пришлось бы ехать за Жаном, она ни за что бы не рассталась со своим шляпным раем — да и сделала она это лишь после долгих колебаний между мужем и сбывшимися вдруг мечтами, а сделав выбор, всю жизнь потом вспоминала об ателье с грустью и сожалением. Для Жана ее «Oh! salauds!» было достаточно, чтоб считать ее своей единомышленницей: она его устраивала и такой (и такая, может быть, больше, чем законченная революционерка), но с Рене были иные счеты:

— Чтоб учительницей стать, надо еще десять лет учиться! Чтоб я платил за все это! Дудки! И семи лет хватит! Никто в нашем роду больше не учился. И семи-то классов никто не видел — и ничего! Учеба ума не прибавляет!

Жоржетта все-таки выходила, с запозданием, из себя, глядела на него с неприязнью. О будущем она не спорила: знала, что это бессмысленно, но относительно настоящего порой не давала спуску:

— Что ты хочешь от нее? Чем она тебе не угодила? Она ж все делает… С твоим ребенком сидит.

— С моим? — поднимал голову он. — С твоим тоже!.. — И поскольку Жоржетта не поддавалась на провокацию, а только красноречиво молчала, сбавлял тон, трезвел, признавался: — Она такая. Не придерешься.

— А нет, зачем цепляться? — резонно возражала та. — Давайте за стол садиться. А то с разговорами этими ужин остынет и все мои труды пойдут прахом…

Долго так продолжаться не могло — домашняя мина взорвалась после одного из рождественских праздников. Это был пустяк, но пустяки иной раз чувствительней всего прочего. В одно из Рождеств Жанна, которой было три года, получила, как положено, подарок, а Рене — пустой башмак (в них принято класть рождественские дары, и дети, не принимавшие участия в полночном застолье, бегут к ним едва проснувшись). Родители, видно, посовещались, решили, что Рене уже достаточно большая,

и можно на ней сэкономить — она же восприняла это как самое большое в ее жизни несчастье. Этот башмак стал для нее олицетворением ее ненужности и сиротства. От горя она потеряла голову.

— Подарок захотела! Кому другому — только не мне! Ведь я никому тут не нужна! Все только и хотят, чтоб я ушла куда-то!

Жоржетта оторопела:

— Что ты говоришь?! Подумала бы сначала!

— А я об этом только и думаю! Каждый вечер! Все у меня отобрали! Стул — и тот взяли, — на котором я уроки делала! Себе в спальню! Мне сесть за стол не на чем — ни утром ни вечером!.. — И безутешно заплакала: не потому, что не было что сказать, а потому что дорогу словам перекрыли рыдания. Пока она выкрикивала накопившиеся в ее душе жалобы, она сама уверовала в то, что говорит, что так оно все и есть на самом деле, как она жалуется. Такова сила произнесенного — слова, выпущенные из-под душевного гнета, узаконивают наши чувства, возводят их в ранг истины, не отличимой от реальности.

Отчим стал относиться к ней после этого спокойней и безразличней: Жоржетта переговорила с ним на повышенных тонах, да и подобные взрывы страстей сами по себе останавливают порой самых придирчивых гонителей. Но дело было сделано. Рене, признав во всеуслышание свое особое положение в семье и в мире, смирилась с ним и стала вести себя так, как ведут себя будущие эмигранты, даже когда не собираются еще покинуть свой неприветливый дом и само отечество.

3

Впрочем, отчим еще раз переменился по отношению к ней. Люди вообще меняются чаще, чем это принято думать, и один и тот же человек в течение жизни может подвергаться метаморфозам почище Овидиевых.

Он как-то сам собой стих, сник, перестал к ней цепляться. Перемена эта совпала с улучшением в их жизни: не то он сначала бросил пить и получил место краснодеревщика, не то наоборот — сначала нашел выгодную работу, потом перестал зашибать — так или иначе, но в доме появился достаток, и они перестали бедствовать. Но дело было не только в этом: деньги характера не меняют — можно разбогатеть и остаться бузотером. Удача, как и беда, не приходит одна: успех заразителен. Жана еще и выбрали секретарем ячейки: теперь, когда он повеселел и посолиднел, товарищи сочли его доросшим и до этой должности тоже; прежде он был всего-навсего рядовым коммунистом.

Семья, как было сказано, обосновалась в Стене — маленьком городке возле Парижа. В близком соседстве был красный Сен-Дени, где местная власть была в руках коммунистов и хозяева вынуждены были мириться с этим. Стен не был красным, но тоже сильно порозовел, коммунисты набирали силу и здесь и вели себя достаточно дерзко — должность секретаря коммунистической ячейки поэтому, при всей ее внешней одиозности, была достаточно заметна и даже почетна. Жан вырос в чужих глазах и, стало быть, в своих собственных, поднялся над средним уровнем и тут-то и стал относиться иначе к образованности и к Рене, которая была как бы ее воплощением и стала ему нужна как раз тем, чем раздражала прежде. Руководство людьми требует культурного возвышения над ними, а тут еще протоколы собраний, составление планов, отчетность — вести ее Жану не хватало той самой грамотности, которую он до сих пор преследовал у себя дома. Он перестал коситься на Рене волком и поглядывал на нее теперь скорее с завистью: Савл обратился в Павла. Правда, такие обращения, включая евангельское, сомнительны и ничем хорошим не кончаются, но худой мир, говорят, лучше доброй ссоры.

Он позвал ее как-то на заседание ячейки. Ему нужно вести запись собрания, на чем настаивало партийное руководство и на что сам он не был способен, — как человек с улицы, который не может, как Цезарь, говорить, писать и делать что-то еще в одно и то же время. Рене недолго думая согласилась: ей было лестно, что ее просят о помощи, и она не прочь была развлечься — с этим в

Стене было довольно туго.

Сходка была назначена в кафе, хозяин которого слыл за красного. Красным был не он, а его вино и посетители: они, облюбовав это место, чувствовали себя в нем как дома и ходили сюда, как прихожане в церковь, — простые люди отличаются иной раз завидным постоянством. Хозяин хоть и соглашался на новую политическую окраску, но, сводя концы с концами, никак не мог вывести итога своей партийной ангажированности (что неизбежно, когда экономику путают с политикой). Заседания ячейки проводились внизу, в большом погребе, где хранились бочки с вином и иные съестные запасы, за которыми хозяин ревниво поглядывал, и переходили, по их окончании, в более свободные и шумные вечеринки в общем зале. Рене дали отдельный столик с тетрадкой и карандашами: чтоб записывала, что скажут. Кроме Жана среди прочих были его друг Дени и Ив, заместитель секретаря по политике. Региональное руководство хотело бы видеть Ива на месте Жана, но на это не пошла ячейка: Ив был хмурый, пасмурный человек, живший холостяком и никуда, кроме подвала кафе, не ходивший, — Жан, в сравнении с ним, был парень свойский, легкий на подъем и понятный каждому.

Рене наблюдала за ними с любопытством. До сих пор она видела взрослых лишь на стройке отчима, где они сообща зарабатывали себе на жизнь: здесь же его друзья собирались ни больше ни меньше как для того, чтобы обсудить существующий мир и его исправить. Рассаживались они перед ее глазами степенно и чуть скованно, будто чего-то стеснялись: им нужно было перейти от повседневного житейского взгляда на вещи к почти метафизическому и трансцендентальному, и необходимая для этого серьезность давалась не в один присест, не в одно дыхание. Жан представил Рене как новую стенографистку, товарищи иронически покосились на нее, но и в этой насмешливости было нечто неловкое и даже беспомощное, как бывает, когда в закрытый круг попадает человек со стороны, кому разговоры и поведение его участников могут показаться смешными, и те заранее ограждаются от него таким барьером. Ив, правда, поглядел на нее иначе, подозрительно, но он так относился и к самому Жану, и Рене просто передалась частица этой неприязни. Речь в тот день шла об участии или неучастии в общей забастовке, приуроченной к празднованию Первому мая. Ив настаивал на том, что это не может обсуждаться, поскольку соответствующее решение уже принято в верхах и необходимо лишь действовать, и по возможности — решительнее; Жан же стоял на том, что надо прежде посоветоваться с рабочими и

обсудить все наново: именно за это его в руководстве и недолюбливали.

— Объявить забастовку нетрудно! — горячился он. — А как потом из нее вылезть?! В прошлый раз на шинном так ничего и не добились, а последние штаны с себя спустили! Дома жрать нечего, жена и дети волком глядят, а все для чего?! Чтоб через месяц десять су к дневному заработку прибавили? Так их год наверстывать надо — если считать, что потеряли! Мы же в своей стране не хозяева! Живем как приживалы! Сколько кинут нам, столько и слопаем! Бузим, а решают те, кто у кормушки! А нам — не пройти, не проехать: как мне в прихожей, когда я домой возвращаюсь, — верно, Рене?

Пример (или запоздалое извинение с его стороны) был неудачен. Рене могла бы и обидеться, но логика классовой борьбы увлекла ее, и она не стала спорить.

— Я не понимаю! — Ив стоял на своем. — Что из этого следует? Чего не надо? Бастовать вообще — или бастовать так, чтоб не остаться у разбитого корыта? Партия говорит, что одними экономическими требованиями ничего не добьешься. Надо брать быка за рога и делать это немедленно. Русские вон денег не просили, а взяли власть в свои руки и выгнали хозяев к такой-то матери — так у них, кажется, говорится.

— А на какие шиши жить при этом? — Дени был самый большой оппортунист во всей этой компании. По этой причине он не был принят в члены партии, а все ходил в кандидатах. Ив терпеть его не мог и то и дело спрашивал у Жана, на каком основании Дени ходит на собрания ячейки, но Жан стоял за Дени горой: они не первый год ходили в приятелях.

— Партия поможет, — пообещал Ив. — В прошлый раз суп раздавали.

— Ну если суп только, — неопределенно протянул Дени. — Гороховый? — и невпопад засмеялся.

Ив разозлился.

— Еще и сэндвичи были! Знаете, сколько денег нужно, чтоб каждому забастовщику выдать по сэндвичу?! Это ж наши деньги, пролетарские! У нас их немного — хорошо Россия помогает сколько может. Хотя они сами сейчас не в лучшем положении. Вся капиталистическая Европа против них — и ничего, держатся! Потому что не считают, как мы, что во что обойдется, а сначала действуют, а потом считают убытки! — Рабочие на противоположном конце стола поникли, приниженные, головами. Они любили Россию: за воображаемое исполнение их надежд и мечтаний, но когда все время тычут в глаза одним и тем же примером, симпатий поневоле убавляется. — И потом! —

продолжал Ив, не замечая, как всякий догматик, обратного действия своих слов. — Почему мы говорим только об экономических требованиях? Первое мая — это прежде всего политический праздник, и мы должны провести его под флагом политических лозунгов и требований. Сакко и Ванцетти — вот наши герои сегодня, мы должны воздать должное им и напомнить всем о пролетарской солидарности!

— Нас уговаривать не надо. — Жан был недоволен тем, что Ив берет на себя ведение собрания: для этого был он, секретарь, избранный ячейкой. — Мы за рабочую солидарность — иначе бы и ноги нашей здесь не было. Верно, Мишель? — обратился он для разрежения атмосферы к хозяину кафе, который недоверчиво прислушивался к тому, что говорил Ив: времена были крутые, и то, что тот так легко пускал на ветер, с такой же легкостью подпадало под статьи закона. — Что ты кислый такой?

— Да не пьете ничего — поэтому. Вино киснет, и я с ним вместе.

— Это ты не напрасно — мы свое наверстаем, — успокоил его Жан. — Не зря рядом с этими бочками сели: чтоб не забывались. — Его друзья оживились и заулыбались: вино возвращало их к бренному существованию и уводило прочь от метафизики. — А ты что написала? — обратился он с той же увеселительной целью к падчерице. — Мы о тебе совсем забыли.

— Все! — примерной ученицей отвечала та. — У нас в школе учителя говорят быстрее.

— И ты за ними записываешь?

— Запоминаю — потом записываю. Так короче получается. И понятнее.

— Ладно. Дома посмотрю, что ты там настрочила.

— Я б тоже хотел взглянуть, — вмешался ревнивый Ив. — Прежде, чем это пойдет наверх.

— Вот мы отчет составим, тебе покажем, а пока пусть работает, — и Жан распустил собрание. Последнее слово оставалось за ним — он ревниво следил за этим и не давал Иву поблажек. — Иди домой, — сказал он Рене. — А мы немного задержимся. Скажи матери, что ненадолго…

— Ну и как тебе наше собрание? — спросил он, когда чуть-чуть навеселе явился домой к вечеру. Голос его был благодушен — чтоб не сказать приветлив.

— Понравилось, — сказала Рене.

— Отчет составила?

— Написала. Будете читать?

— Нет, конечно. Что я, не помню, что говорили? А чем тебе понравилось у нас?

— Думали о других. О себе не говорили.

— Разве?.. — Жан думал иначе, но возражать не стал. — А бастовать надо?

— Надо. Хозяев надо учить. Чтоб не зарывались. Пусть делятся с другими. — Рене была неумолима: тот, у кого нет своего, легко раздает чужое.

Жану это почему-то тоже не понравилось, он почувствовал намек на иные обстоятельства, но снова не подал виду.

— Видишь, какая ты способная… Ладно. Будешь у нас за протоколиста. И за ходячий справочник тоже… — И Рене не поняла, звучит ли в его словах похвала или издевка. Но и то, что он перестал осуждать ее в открытую, было для нее победой.

4

Дальше — больше. Рене оказалась ценным прибретением для ячейки. Она умела не только записывать речи других, но и разбираться в трудных текстах.

Партия требовала от своих членов штудирования классиков — как посредством самообразования, так и через общее чтение в партийных вечерних школах. Жан и его приятели уже одолели «Манифест коммунистической партии» — с его блуждающим по Европе призраком. И это было непросто, хотя в целом доступно, но сверху затем спустили «Происхождение семьи, частной собственности и государства», и тут-то все стали в тупик: с какой стороны подойти к этой глыбе и как за нее взяться. В руководстве Парижского региона, видно, сидел педант из интеллигентов, считавший, что надо начинать с нуля — с Адама и дня мирового творения. Он даже сказал Жану, чтоб его подбодрить:

— Читается, как роман. Я вчера листал до полуночи… — И Жан взял книгу со смешанным чувством страха и уважения…

С одной стороны, было, конечно, заманчиво сразу, в один заход, покончить с семьей, с частной собственностью и государством, чтоб потом к ним не возвращаться, с другой…

— Мудрят наверху, — пожаловался Жан, сидя вечером в узком семейном кругу, к которому присоединилась уже четырехлетняя Жанна. Он обращался к Жоржетте, но рикошетом метил в падчерицу. — Энгельс этот. Видно, тот еще гусь был! — не удержался он, отдавая дань своей мятежной натуре. — Наплел с три короба — ломай теперь голову… — Он неловко вытащил брошюру, которую приготовил для случая, и посмотрел на Рене, взывая к ней о помощи.

Рене в последнее время осмелела и если не принимала еще участия в семейных обсуждениях, то и не сидела уже скосив глаза в тарелку. Она ждала подобных просьб: так удачно прошедшая семейный экзамен гувернантка ждет, когда ее снова о чем-нибудь спросят — чтобы быть готовой еще раз блеснуть и на все ответить. Жанна на что была мала, и та уловила происшедшую перемену и теперь, вместо того чтобы докучать матери, стала одолевать расспросами сестру — как более дельную и доступную советницу. Рене охотно занималась с нею: с тех пор, как она публично объявила, что ей ничего в доме не нужно, ей стало проще иметь дело с ними со всеми. Только с матерью у нее оставались кое-какие, понятные в ее возрасте, обиды и недоговоренности.

— Посмотреть? — спросила она Жана.

— Посмотри, конечно, — поспешил сказать он. — Расскажешь потом. Времени нет читать … — Затем поскучнел, одумался: — Хотя все равно не знаю, что я со всем этим делать буду. Надо же будет потом все ребятам рассказать.

— Я и расскажу, — обещала Рене. — Могу занятие провести. Я делала это уже с отстающими ученицами.

Он изумился:

— Так это в школе, а в ячейке?!

— Какая разница? — резонно возразила та. — В классе или у вас. Главное — какая книга…

Книга оказалась трудной и для нее: слишком много в ней было наворочено. Она решила — в соответствии с замыслом автора — разбить ее на три части и ограничиться на первом занятии происхождением семьи, которая все-таки людям ближе и понятнее. Она въелась в текст, вызубрила наизусть все возможные сочетания первобытного свального греха и кровосмешения и через три дня объявила отчиму, что тот может назначать день сходки.

— Все прочла?! — Жан не поверил ушам.

— Прочла все, но подготовила только про семью.

Он засомневался.

— Это зря. Надо бы все сразу. Чтоб больше к этой мути не возвращаться. Второй раз не выдержат, — пояснил он, но вынужден был отступить и подчиниться: — С другой стороны, и правда: все сразу не получится. Каша выйдет… Ладно. Соберу я свою бражку…

Пришло много народу: вдвое-втрое больше против обычного. Жан оповестил кого мог лично и повсюду расклеил написанные от руки афишки, извещавшие о публичном изучении работы Фридриха Энгельса и о том, что его будет разъяснять и комментировать Рене Салью. Это была фамилия отчима, а для Рене — первый в ее жизни псевдоним. Выгоден он был обоим: ей не нужна была лишняя огласка, а Жану было лестно, что у него такая способная и грамотная падчерица. Члены ячейки пришли с женами и с приятелями, которые привели, в свою очередь, супруг и подружек: развлечения в Стене, как уже было сказано, были нечасты, и народ охотно откликался на каждое. Чтение великой работы состоялось в том же кафе: оно использовалось ячейкой на все лады — как сменная площадка в нынешнем цирке. Хозяин пришел по этому поводу в самое скверное расположение духа: попробовал выставить на прилавок бутылку красного, но его тотчас осадили — вино было не к месту и не ко времени. Рене посадили за отдельный столик, где она, по обыкновению своему, аккуратно разложила брошюру и собственные к ней

комментарии, сама же, в ожидании знака от отчима, чинила карандаши и наблюдала за аудиторией. Народ кругом был простой и непритязательный; некоторые пришли прямо с завода, от них пахло рабочими спецовками, смесью металлической пыли с машинным маслом. Она почувствовала себя во главе этих работяг: если не Жанной д'Арк с мечом в руках и в доспехах на холщовую рубаху, то Ариадной, факелом знаний в руке указывающей дорогу из запутанного лабиринта жизни…

Она никого в зале не знала, но это не мешает, а скорее помогает лектору сосредоточиться. С одним она все же была знакома. Это был Жак, семнадцатилетний парень с их улицы, — веселый, с лукавым круглым лицом, которое еще больше ширилось в улыбке всякий раз, когда он обращался к понравившейся ему девушке, а поскольку нравились ему все девушки без исключения, то и улыбка, можно сказать, не сходила с его скул, бескрайних и любвеобильных. Рене ему тоже была по душе, и он не раз останавливался на улице, чтоб поболтать с ней, явно выделяя ее в этот миг среди всех прочих. Рене была серьезная, не расположенная к флирту девушка, и никому в голову не приходило ухаживать за ней — одному Жаку все было нипочем, он мог влюбиться и в особу строгого поведения. Рене была признательна ему за это, хотя и не отвечала ему взаимностью. Впрочем, в последнее время (это было настолько известно, что дошло и до Рене, обычно далекой от уличных сплетен), он увлекся Жозефиной, приезжей савояркой, работавшей на фабрике под Стеном и жившей в общежитии. Он пригласил ее на чтение Энгельса — и сам только из-за нее и пришел, но Жозефина подвела его, и он сокрушался вслух:

— Ну что за девушка?! Как что-нибудь попроще: под ручку пройтись или по бульвару прошвырнуться, так согласна, а как что посерьезнее, так на тебе!..

На самом деле все было наоборот: Жозефина, искушенная в жизни и в любви девушка, наслышанная о характере и повадках своего приятеля, не разменивалась на мелочи и отказывала ему именно в том, что сам он считал делом самым естественным и незначительным. Именно поэтому он и позвал ее на Энгельса: как на нечто достойное и возвышенное, но она и Фридрихом пренебрегла, не удостоила его вниманием. Жак был сильно раздосадован этим и снова начал поглядывать на Рене, всерьез думая над тем, чтобы дать отставку чересчур разборчивой подруге, не являющейся даже на такие свидания, как это.

— Чтоб я еще раз с ней связался! Ни на что рассчитывать нельзя. Не хочет даже лекцию послушать, ума набраться.

— Да у нее небось стирка, — сказал сосед. — Им воду раз в

неделю греют. Она в общежитии живет?

— Жозефина?

— А кто еще? У тебя, гляжу, большой выбор.

— Нет никакого выбора! — соврал он. — Какая может быть стирка, когда такого человека изучаем?! — и, приободрившись, особенно выразительно поглядел на Рене, так что та не поняла, относятся ли его чувства к ней или к Энгельсу.

Отчим подал знак. Рене встрепенулась, уткнулась в лежащие перед ней бумаги, вцепилась в них, как орел в жертву, которую забыл на время, но не переставал держать в когтистых лапах. Она заранее решила не мудрствовать, но следовать в изложении за автором, который, как известно всякому читавшему этот труд, делил историю человечества на три ступени: дикости, варварства и цивилизации. Происхождение семьи терялось в седине веков, но седины эти сохранились в отдаленных уголках земли, и это позволило кое-кому приступить к их изучению. Рене начала с кровно-родственной семьи у ирокезов. Она широко пользовалась дословными цитатами: этому ее учил преподаватель литературы, любивший свой предмет и говоривший, что лучше классиков все равно не скажешь и что надо лишь читать с хорошо поставленной дикцией: чтоб выразительностью интонаций и патетическими переливами в голосе оттенять наиболее важные места и фразы священного текста.

— «Здесь все деды и бабки являются друг другу мужьями и женами, — следуя его совету, нараспев, приятным голосом читала Рене, дружелюбно оглядывая слушателей. — Их дети, то есть отцы и матери, и потом дети третьего поколения — это третий круг общих супругов, правнуки — четвертый. Братья и сестры — родные, двоюродные и более далеких степеней родства — все считаются между собой братьями и сестрами и уже в силу этого — мужья и жены друг другу»… Непонятно? Я тоже сначала не понимала, но потом все нарисовала и стало ясно… — и показала аудитории схемку со множеством стрелок, направленных в разные стороны, которые скорее запутывали, чем проясняли положение. — Тут, в общем, все друг другу и супруги и родители. Это пока что стадия дикости…

Слушателям стало не по себе, они заерзали и поежились на своих местах. Все были ошеломлены и обескуражены выплеснутой на них картиной древних нравов и, непривычные к подобной гимнастике ума, напрочь запутались в слишком темных тогдашних родственных отношениях. Более всего, конечно, их смущало и задевало то, что двенадцатилетняя девочка так свободно чувствует себя в этой безнравственной стихии: моральное чувство не позволяло им вникать в ее разъяснения.

Нашелся, правда, один, совесть которого была не столь чиста, как у прочих.

— Это бывает, — снисходительно и многозначительно сказал он. — У нас был один — жил со свой сестрой. Каждый год уродов рожали.

Это переполнило общую чашу терпения. На него зашикали как на виновника всех бед и самого текста, и жена разозлилась первая:

— Да замолчи ты! Нашел чем хвастать!

— Я не хвастаю, а к разговору.

— К разговору! Постеснялся бы докладчицы!

— Да она сама это говорит. Не слышала что ли? Энгельса пересказывает, — на что жена ничего уже не сказала: чтоб не обидеть — не Энгельса: он был безнадежно скомпрометирован своим трудом — а порядочную на вид девушку, но мужа наградила длинным памятным взглядом: поговорим, мол, об этом дома.

Никто более ничего не сказал, но все молча с ней согласились. Доклад потерял поддержку зала и повис в воздухе — слушали его плохо. Жан заступился за падчерицу:

— Что-то вы слишком быстро скисли. Сами ж говорили, надо во всем разобраться. Кто виноват, что тут, оказывается, такое творилось. А я и не знал ничего. Надо было это в стороне оставить, — с запозданием попенял он Рене. — Там много всякого. Кроме семьи еще частная собственность и государство, — уже с иронией перечислял он, обретая свойственную французам насмешливость. — Скачем по верхам, а с чего началось, не ведаем.

— Не с потопа же начинать? — усомнился его приятель Дени: он хоть и не был членом партии, но не пропускал ни одного мероприятия ячейки — присутствовал на них в качестве ближайшего друга Жана и оказывал ему всяческую помощь и поддержку, хотя оба при этом постоянно спорили.

— А почему нет? — не уступил ему Жан. — Если с него все начинается.

— С ирокезов? Или как их там?

— Ну да. — Жан сам не знал, как звали древних многоженцев, но как секретарь ячейки не мог показать этого. — Первобытные люди, словом. Что ж делать, если у них жены были общие?

— Этого не хватало! — разозлилась одна из гостий, вспомнив по этому поводу распространенные байки о коммунистах. — Скандал какой! Жены общие!

Ив, присутствовавший на собрании, вынужден был

вмешаться, чего прежде не хотел делать. Он не хотел и приходить сюда: для него чем больше было народу, тем невыносимее — но и не придти тоже не мог: надо же было кому-то наблюдать за всем — нелицеприятным, жестким взглядом догматика.

— Никто не думает вас обобществлять! — негнущимся, как из кости или из металла, голосом отрезал он. — Это гнусная клевета на нашу партию! — Но он не внес успокоения в смятенные умы — напротив, всем стало на душе еще гаже и муторнее. — Давай кончай с этим, — подторопил он Рене, видя, что учеба пошла по ложному пути. — И поменьше подробностей. Главное — суть дела, эксплуатация человека человеком.

— Так у Энгельса, — защитилась Рене и рассказала о нравах, царящих в джунглях Австралии. Тут слушатели и вовсе ужаснулись:

— Кошмар какой! И зачем их поддерживать? Колониалистов этих? Пусть их и дальше эксплуатируют!

Это был выпад в сторону Ива, и он вскинулся торчком:

— Ничего это не значит! Если они отстали в развитии, то это только по вине эксплуататоров. Колонизаторов иными словами. Не надо путать их с жителями колоний. Борьба с колониализмом была и остается краеугольным камнем нашей политики. Тут слишком много народу, — выговорил он Жану. — Не надо приглашать всех подряд на такие важные и плохо обговоренные мероприятия. Женщин много, — прибавил он вполголоса: партия стояла за максимальное вовлечение женщин в общую борьбу, ему не хотелось прослыть ретроградом, но женщин он, надо сказать, недолюбливал. — Женщинам надо другие вопросы ставить. Хотя и привлекать их, конечно, — прибавил он, боясь, что его все-таки неверно поймут и оценят.

— Так у нас женщина и занятие ведет, — развел руками Жан. — Девушка вернее. Через пень-колоду, правда, но первый блин, говорят, комом. Может, ты нам про частную собственность расскажешь? — попросил он. — Это нам ближе как-то. Откуда семьи берутся, это мы, как никак знаем, а вот почему у одного дом в три этажа с мансардой, а другому жрать нечего — это интереснее.

— Ты себя, что ль, имеешь в виду? — В Дени словно вселился дух противоречия. — Что-то я был у тебя на днях — вроде все нормально. Не буду уж говорить, что у тебя на столе да в буфете.

— Да уж сделай милость, не разглашай. — Жан нисколько не был задет его выпадом — напротив, был доволен, что спор переходит на шутливый тон и заканчивается на дружеской ноте; Дени, собственно, хотел того же и ему подыгрывал. — Кроме меня другие есть. Кому есть нечего.

— Что-то я давно таких не видел, — продолжал крамольничать тот, целясь уже в Ива: он терпеть его не мог и из-за него, кажется, не вступал в ряды партии. — Если только в Австралии.

Ив не мог вытерпеть столь открытого покушения на коммунистические принципы.

— Не только там! Во Франции треть населения живет на грани бедности. Если кому-то и живется хорошо, это не значит, что всем так! — и поглядел зло на Дени, которого звал за глаза гнилым социалистом и оппортунистом.

— А кто ее проводил, эту черту? Она ж все время едет — как линия горизонта, — возразил Дени, но не стал спорить дальше: чтоб не подводить приятеля. Ив и этого не снес, выговорил Жану:

— Ну и друзья у тебя! Провокатор какой-то!

— Ээ, полегче! — возмутился тот. — Какой он провокатор? Ты что, Дени не знаешь?

— В России таких вопросов не задавали. — Ив не унимался, и глаза его зажглись огнем фанатика. — А взяли да сообща скинули царя и капиталистов и строят теперь у себя рабочее государство. Хотя неграмотных там — половина населения. Знаете, какой там царит сейчас подъем и воодушевление? — Он всегда, когда терял верх в споре, начинал говорить про Россию: чтоб подавить ею оппонентов — вот и теперь решил поделиться закрытой информацией: — Наши товарищи были там недавно: присутствовали на первомайской демонстрации. Неизгладимое, говорят, впечатление!

Дени усомнился и в этом — показал всю глубину своего нравственного падения:

— А у нас один говорил: голод там. Жрать нечего. Как в Австралии.

Говорить этого не следовало. Красная Россия была пробным камнем для всякого революционера — подтверждались худшие опасения Ива. Он помолчал.

— Так может говорить только враг партии… Как он вообще попал сюда? — обратился он к Жану через голову Дени: последний уже не существовал для него вовсе.

— А как ему не попасть? — проворчал Жан, занятый совсем иным: какими словами выругает своего приятеля, когда они сядут за бутылкой красного. — У нас вход свободный.

— Свободный вход, когда обсуждаются такие вещи?.. — Ив прищурился: он давно подозревал Жана в преступном попустительстве оппортунистам.

— Какие?! — не выдержал тот. — Ирокезы, что ли?.. Давай, Рене, закругляйся! Не доросли мы еще до Энгельса.

Рене сидела притихшая. Она не понимала, отчего разгорелись страсти.

— Я не так что-то сказала?

— Почему? Все ты рассказываешь как надо. Только мы разные… — Жан в последний раз попытался спасти положение: очень уж не хотелось ему кончать занятие на такой ноте. — Нет у тебя ничего другого, из того же Энгельса — только позанятнее и чтоб всем понятно было?

Тут Рене осенило. То ли размышления над Энгельсом навели ее на это, то ли она думала об этом раньше и мысли ее вернулись на накатанное русло, но она сказала:

— У Энгельса нет, а вот вы басню Лафонтена «Стрекоза и муравей» помните?

Жан опешил.

— Помним, конечно. Кто ж ее не знает?

— Ну и какие мысли у тебя на этот счет? — совсем уже расхрабрилась Рене и обратилась к нему на «ты». Неделю назад она прочла эту басню, и теперь ей не терпелось поделиться с людьми своими соображениями на ее счет.

Народ приободрился. Скучная лекция на глазах оживала и обретала второе дыхание.

— Что может сказать нам этот Лафонтен? Буржуа с феодальными замашками?

— пробормотал Ив, но скорее себе под нос, чем вслух: его уже не слушали.

— Какие мысли? — Жан покосился на Рене в ожидании каверзы. — Такие же, как и у всех. Пела все лето да плясала, делом не занималась, а зима пришла, так и есть нечего. Так оно бывает всегда, когда люди дурака валяют, не работают. Кто дело делает, у того всегда поесть найдется.

Это можно было расценить как выпад против коммунистов, но даже Ив не заметил вопиющей мелкобуржуазности этого высказывания — настолько очевидно было общее осуждение бездельницы. Одна Рене стала грудью за поющее и стрекочущее насекомое.

— А теперь пусть умирает? — недоверчиво и испытующе спросила она.

— А что сделаешь? — развел руками отчим, теряясь в догадках, но получая удовольствие от происходящего: в отличие от твердолобого Ива, который терпеть не мог неизвестности и неопределенности. — Раньше надо было думать.

Рене вспыхнула и залилась краской.

— А я наоборот думаю!

— Это как?

— Это басня не про ленивую стрекозу, а про жестокого муравья! — Голос ее зазвенел с особенной звонкостью: она была склонна к патетике и экзальтации — особенно под воздействием прочитанного. — Стрекоза все лето пела, всех веселила, развлекала, а, как зима пришла, ее на порог не пустили, не нашли куска хлеба! Надо, значит, ко всем артистам и художникам так относиться? На улице их оставлять — умирать от холода и от голода?! Так?!

— Погоди! — озадачился Жан, не ожидавший такого взрыва страсти. — Почему художники и артисты?

— Потому что они тоже только поют и танцуют, а настоящего дела не делают! Как смотреть и слушать, так всем нравится, а как кусок хлеба подать, так дверь перед носом захлопывают!..

Жан уставился на нее.

— Это все Лафонтен написал? — усомнился он.

— А кто же? — Рене была безусловно в этом уверена. — Он написал как было, а наше дело — делать из этого выводы.

Это была уже программа действий — народ зашевелился, завозился на своих местах, покоренный ее уверенностью и горячностью. До сих пор у них на глазах совершался семейный диспут — теперь пришла пора высказаться и им тоже.

— Сама до всего дошла, — многозначительно произнес один из гостей, до того глубокомысленно молчавший. Рене, в пылу азарта, решила, что ее упрекают:

— Сама — и что с того?! Для этого много ума не надо!

— Ум для всего нужен, — негромко возразил тот. — Даже для того, чтоб того же Энгельса читать… — И, помолчав, чистосердечно признался: — Но это ты ловко — со стрекозой этой. Если, конечно, сама выдумала. Я б ни за что не догадался. Это ж между строк читать надо.

— Но с Энгельсом она не справилась, — напомнил его приятель, больший, чем он, скептик.

— А что Энгельс? Немец. Ты что, немцев не знаешь? Они ж из пушек по деревьям лупят! И устарел, наверно. А со стрекозой — это да. Тут совсем другое дело. — И Жан, радуясь тому, что все так хорошо закончилось, поспешил закрыть собрание:

— Все, ребята, хватит на сегодня. А то у вас все в голове перемешается. Муравьи с ирокезами. Видишь, как все сложно в жизни? — Это он сказал, адресуясь к ячейке, но целясь в Ива: тому все в жизни было ясно. — Кажется, все понятно, а копнешь — выходит, все не так-то и просто. Кто остаться хочет, пусть гроши готовит. Хозяин наш и без того кучу денег потерял. — Этим он решил ублажить владельца кафе, которому и Энгельс, и Лафонтен пошли в убыток. Тот ободрился, но понапрасну: лекция

не расположила слушателей к выпивке, и они гуськом потянулись к выходу…

Народ остался доволен услышанным.

— Видишь, как она вопрос ставит? — сказал один из слушателей, задержавшийся в дверях и здесь осмелевший: до этого он и слова не вымолвил. — Муравьи муравьями, а стрекозы — стрекозами! У каждого своя канитель, иначе говоря.

— Вот мы против этого и боремся! Что у каждого своя канитель! — не выдержал Ив и, не вдаваясь в подробности этой борьбы, очерченной им лишь в самых общих контурах, собрал всердцах бумаги и рывком засунул их в портфель, с которым никогда не расставался. — С этой вашей разобщенностью!..

А Жак, сосед Рене по улице, словно не слыша ни того, ни другого, ни третьего, произнес в раздумье, не обращаясь ни к кому в отдельности:

— Голова у нее работает. Как доперла? Говорил я Жозефине — приходи: не каждый день такое услышишь. Молодец, словом!.. — Но зато и никогда потом не подходил к Рене, не заговаривал и не заигрывал с нею на улице.

5

Потом была история с Мохаммедом, которая встревожила Дени, хорошо относившегося к Рене, но отчима оставила безразличным или даже рассердила: впрочем, он любил Рене меньше, чем его приятель. Обстоятельства дела были таковы.

Рене как-то сидела в кафе, после деловой части собрания, которое по-прежнему делилось на две половины, торжественную и питейную. Жан был с Дени и двумя приятелями. Они успели пропустить по стакану-другому, и за столом у них было весело. За соседним столиком сидели трое работяг с шинного, славящегося своими бузотерами. Эти уже порядочно нагрузились, и в глазах у них мелькали известные всем черти. Видно это было, правда, пока не всем. а только вооруженному глазу, но хозяин, именно таким глазом и обладавший, забеспокоился и заходил вокруг них кругами. За стойкой сидел араб. Его имя было Юсеф, но все звали его Мохаммед. Так уже повелось, что ко всем алжирцам в Стене обращались таким именем; это касалось мужчин — женщин никак не звали, потому что они не давали этому повода. Ему было лет шестнадцать, не больше, и он, в отличие от своих старших и более опытных сородичей, охотно бродил по городу и искал общества французов. Это был веселый простоватый юноша с характерными выпуклыми белками глаз на смуглом носатом лице. Видели его в кафе довольно часто, он всякий раз заказывал кофе, но было ясно, что приходит он сюда не за этим, а чтоб поболтать и посмеяться. Некоторые шли ему навстречу.

— Эй, Мохаммед!

— Меня Юсеф звать, — всякий раз поправлял он, потешая публику уморительным произношением.

— Ну пусть так. Что всегда кофе пьешь? И утром и вечером? Выпей вина лучше.

— Вино нельзя, — не обижаясь, скалился он, довольный тем, что на него обратили внимание. — Коран не позволяет. Кофе только у вас не шибко крепкий. У нас в Алжире лучше был.

Хозяин не любил критики в свой адрес:

— Заплати больше — будет лучше. Думаешь, я не умею восточный кофе готовить?

— Больше платить не могу. Могу себе только полчашечки некрепкого позволить. Или чашечку через день. Мало платят очень, — и потешно заморгал глазами, радуясь, что оказался востребованным…

Кому-то это нравилось, кому-то не очень. В рабочем Стене не было расизма, но патриоты есть всюду. Юсефа разыграли. Он в

этот день сделал следующий и роковой шаг: сел как обычный клиент за столик, взял то же кофе — только заплатил за него на двадцать сантимов больше.

— Гляди: сияет как кот на печенку, — сказал, не рискуя, что араб поймет его, работяга с шинного. — Как дела, белоглазый?

Юсеф понял из всего только то, что речь идет о нем, заухмылялся и заулыбался сильнее прежнего.

— День рождения сегодня. Пришел к друзьям его отметить.

Те переглянулись и вспомнили:

— День рождения, а кофе пьешь. Лимонада хоть бы выпил.

— На лимонад денег чуть-чуть не хватает. Платят два франка в день. А вам четыре за ту же работу.

Он взывал к рабочей солидарности, а натолкнулся на стену глухого непонимания.

— Правда? Кто это, интересно, за четыре франка работает?.. А мы тебя угостим. Раз у тебя день рождения… Сходи, Жак, к хозяину за лимонадом. А ты к нам пересаживайся. Со своим стулом…

Если у Юсефа и возникли сомнения, то их прогнала эта невиданная удача — посидеть за одним столом с настоящими французами. Простодушный, он поверил и пересел к ним, заранее гордясь новым знакомством. Ему принесли бутылку шипучки. Он прочел наклейку, удостоверился в содержимом, попробовал — ему понравилось — и выпил под их уговоры и подначки один за другим два стакана, после чего картинно, как пьяница, утерся широким рукавом. Этот жест особенно понравился соседям.

— Гляди! И утираться научился! Понравился лимонад?

— Очень! — И Юсеф снова утерся — на этот раз уже им в утеху.

— Будешь пить теперь?

— Буду. Если недорого.

— Франк за бутылку. Как раз твоя ставка… Знаешь хоть, что пил ты?

— Знаю, конечно! Лимонад французский! У нас тоже есть — только для буржуев! — Он ввходил в роль шута, но его быстро опустили на землю.

— Жди… Сидр ты выпил. Вино яблочное. Чуть-чуть разбавили только!.. — и в открытую загоготали, ничем больше не сдерживаемые.

— Зачем вы так?! — запоздало возмутился Дени, сидевший возле Жана. Он и прежде послеживал за тем, что происходило за соседним столом, но делал это не слишком внимательно и не доглядел главного. — Нашли над кем смеяться! А я смотрю, что-то у них не так, прилично слишком!.. — но было уже поздно.

Трудно передать, что стряслось с бедным Юсефом. В него словно ударила молния — лицо его перекосилось и исказилось, он бросился в угол, засунул в рот два пальца, чтобы исторгнуть богохульную жидкость, но его луженый и цепкий желудок, раз вобрав в себя что-то, не торопился с ним расставаться. Между тем шипучий хмель начал действовать. То ли от гнева и расстройства, то ли от непривычки к алкоголю, но Юсеф вернулся к столу на шатких ногах, покачиваясь.

— Что делать теперь?! — сокрушался он. — Поститься надо месяц, чтоб себя очистить! А как работать? Не емши!..

— Салом свиным закуси, — проворчал один из его врагов. — Авось очистишься.

— Сами вы свиньи! — возопил Юсеф, вне себя от ярости. — Сами в церковь не ходите!.. — и перешел на арабский: видно, то, что следовало за этим, было не для ушей французов. Это особенно насторожило его недоброжелателей: чужая речь в родном кафе — оскорбление национального достоинства. Они подняли головы и приготовились к драке. Дени переглянулся с товарищами.

— Надо кончать с этим. — В неписаные обязанности членов ячейки: поскольку она обосновалась в кафе — входило слежение за порядком и недопущение подобных эксцессов. — Что пристали к нему? — сказал он одному из шутников. — Он же верующий. Пришел к вам в день рождения…

— А и хрен с ним, — припечатал тот. — Что он за стол уселся — кофе пить? За стойкой места не было?..

— Что за народ? — обратился в никуда Дени, но не стал распространяться на эту опасную для всех стран и народов тему, оборотился к своему столу: — А ты говоришь, колониалисты. — Потом к хозяину: — Может, он в каморке твоей побудет? Там, где мы заседаем? — Но хозяин не захотел слыть покровителем арабов и отказался приютить Юсефа даже на короткое время — сослался на опасное соседство винных бочек, испарения которых будто бы ухудшат его состояние. — Да, я знаю, ты известный дипломат — всегда найдешь что сказать, — отчитал его Дени и снова обратился к товарищам. — Что делать? Надо домой его вести — добром это не кончится…

Юсеф по-прежнему бесновался, но уже не вслух, а молча: крутил головой и вращал белками глаз, вспоминая жгучую обиду.

— Здесь его оставлять нельзя, — сказал и Жан. — Не то война начнется. С колониями. Сходи с ним. Проводи до дому.

— А что толку? Еще хуже. Скажут, так напился, что домой привели.

— Я провожу! — вызвалась Рене. — Мне не скажут. — Душа

ее кипела от негодования. Она едва не влюбилась в Юсефа — если можно назвать влюбленностью обуявшее ее душу сочувствие.

— А тебе это зачем? — спросил недоверчиво отчим.

— А что они человека обижают?! — завелась она. — Оттого, что он другого цвета?.. — За соседним столом подняли головы, собрались сказать что-то, но смолчали из уважения к Жану и его товарищам.

— Да кожа у него такая же, как у тебя. Только загорелая, — проворчал Жан. — Одна ты с ним не пойдешь, это ясно. Делать тебе там нечего. Пойди с ней, Дени. Вдвоем — это как раз то, что нужно. Девушки они постесняются. Расскажете, как было дело …

Они вдвоем повели Юсефа домой, на дальние выселки, где семья занимала оставленную кем-то лачугу. Юсеф уже тверже держался на ногах: сидровый хмель недолго кружит голову, но он был еще нетрезв: снова стал с кем-то мысленно препираться и говорить по-арабски.

— Ну что ты скажешь? — слушая его тирады, говорил Дени, обращаясь к Рене и как бы извиняясь перед ими обоими за всю французскую нацию. — Чем он им поперек дороги стал? Хлеб их заедает? А так всегда. Готовы бастовать за Алжир, которого в глаза не видели, чтоб хозяев напугать, а как до дела дойдет: в кафе им, видишь ли, потесниться надо — ни за что не подвинутся: места им мало! Все мы, Рене, из одного теста: как чужое делить, так мы все тут, как своим делиться — разбежались. Доброты днем с огнем не сыщешь!..

Они отвели Юсефа домой. В хибаре, занимаемой его семейством, на крохотном пятачке жили человек шесть, не меньше. Встретил их глава семьи: в когда-то белом, теперь порыжевшем от времени бурнусе и в феске, тоже некогда черной, а ныне посеревшей. Он был насмерть перепуган вторжением французов: растерянное лицо его от страха обмерло и остановилось. Дени с места в карьер пустился в объяснения и извинения за своих земляков. Он не мог предположить, что его не понимают: отец Юсефа приехал из тех мест, где знание французского было почти обязательно.

— Он не виноват ни в чем! — Рене, как иные, медленно запрягала, но быстро ехала. — Он к ним всей душой, а они его подпоили! — и даже пустила слезу по этому поводу: глаза ее припухли и подмокли от гнева и острой жалости.

Эта слеза добила растерявшегося отца: что же должно было произойти с его сыном, отчего заплакала французская девушка? Он затрясся не на шутку. Тут, слава богу, вмешался Юсеф, к этому времени полностью протрезвевший. До того он уважительно молчал, не перебивая гостей, — теперь же понял,

что дальнейшее промедление подобно смерти. Он сказал Дени, что отец не знает французского, и в двух словах разъяснил отцу на арабском, что случилось — то или не совсем то, было не столь важно. В результате отец, вместо того чтобы обругать и побить его, вздохнул с превеликим облегчением, поскольку воображению его рисовались уже совсем иные и жуткие картины. Он изменился в лице, напустил на себя важности и достоинства и пригласил гостей к столу выпить зеленого чаю: межконфессиональный и межнациональный конфликт закончился таким образом на миролюбивой, почти идиллической ноте…

— Видишь, — говорил Дени Рене по дороге к дому. — Шестеро в одной комнате, и один Юсеф работает. А в Алжире, небось, было еще хуже — раз сюда приехали. Надо бы посочувствовать, добрым словом помочь, а не бить по больному месту. Боремся все и, с борьбой этой, и других и себя сожрать готовы… А что ты так расстроилась? — сменив тон, спросил он потом.

— А как же?! — с вызовом в голосе отвечала Рене.

— Не стоит, — противореча себе, возразил Дени и поспешил объясниться: — Все хороши. Наших тоже понять можно. Сидят в кафе, наливаются — нет же ничего за душою. Я арабов сам не люблю: вечно о деньгах говорят. Просто нехорошо вышло — поэтому и вмешался… Видишь, я и здесь кругами, как заяц, хожу, петли наматываю. Нет во мне, как говорит товарищ Ив, прочного стержня…

Он хотел обратить все в шутку, но у Рене было другое настроение, и она перебила его:

— Они не у себя дома! И у них нет ничего!

— И тебе поэтому жалко их? Жалеть всех надо, Рене — не одних чужих да нищих. Иначе на милостыню растратишься. Себе ничего не останется.

— А мне и не надо! — с вызовом сказала она. — У меня нет ничего!

— Как так?.. У тебя отец, мать, дом свой?.. — и глянул непонимающе.

— Книги у меня есть, — уклонилась от прямого ответа она. — А мне больше ничего не надо.

Дени озадачил этот разговор, он передал его Жану — тот встретил его в штыки:

— Слушай ее больше! Она не меньше всех, а больше всех получить хочет! За нищих, видите ли, заступается — авось, и ей перепадет! Я, Дени, больше всего на свете не люблю нахлебников, а ей вон и стрекоза по душе и Мохаммед этот, которого в три шеи гнать надо, потому как он никому тут не нужен. Мы только

морочим всем голову антиколониализмом этим: не знаем, чем еще страху на хозяев нагнать!.. На кой он тут, этот Мохаммед? — и поглядел неприязненно на товарища. Это злое чувство было порождено, конечно же, не арабом и не Дени, но кем — этого он не мог сказать и приятелю. — Я ей скажу при случае…

Теория всеобщего подаяния его не устраивала, он был ярый ее противник: не был он и сторонником идеи общего равенства — во всяком случае, в своем собственном семействе…

Случай, о котором он говорил, вскоре представился. Надо отдать ему должное, до этого он скрывался и соблюдал по отношению к Рене приличия. Ей даже удалось уговорить родителей пойти с дочерьми в театр, а именно — в «Комеди Франсэз»: давняя ее мечта, к которой они прежде относились со скептическим недоверием. Сами они никогда в театре не бывали, она же была однажды с классом. Тогда давали Расина, и спектакль вызвал у нее бурю восторга. Теперь ей хотелось посмотреть корнелевского Сида, но Жан, едва услыхал о героее-аристократе, весь скривился и сослался на особую занятость в этот вечер: успел сделаться дипломатом. Сошлись на Мольере, на «Мещанине во дворянстве» — почему Жану полюбился именно этот персонаж, Рене пока что не знала. Собирались в театр тщательно и задолго. Пошли вчетвером, чтоб не оставлять дома четырехлетнюю Жанну, хотя Рене знала, что полного удовольствия с сестрой не получит. В фойе театра и, еще больше — в шестиярусном зрительном зале, с его позолотой и красным бархатом — ее охватил знакомый ей священный театральный трепет, но когда открыли занавес и по сцене задвигались мольеровские герои, оказалось, что смотреть спектакль лучше все-таки в одиночестве или среди шумных одноклассников, но уж никак не в компании близких родственников. Жан делил внимание между сценой и семейством и все время оборачивался на жену, на детей — словно нуждался в их поддержке и без них не мог смотреть игру дальше; Жоржетта, хоть и глядела на сцену не отрываясь, но как-то слишком уж подозрительно и чопорно: будто не вполне доверяла актерам и самому автору. Впрочем, и она вынуждена была оглядываться на Жанну и ее одергивать: та капризничала и просила то поесть, то пописать. Досмотрели спектакль до конца, финал встретили с облегчением.

— Ну и что? — спросил Жан, когда вышли на улицу. — Не зря сходили. Проучили дурака, чтоб не зарывался. — Спектакль привел его в благодушное настроение. — Молодец, что сводила. Искусство — великая сила, — и подмигнул Рене, которая, напротив, была удручена и расстроена: и исходом спектакля, и неудавшимся вечером. — Каждый у себя дома хозяин — так в

народе говорят — и нечего глядеть на сторону… Или ты опять не так думаешь?

Рене и в самом деле была иного мнения.

— А что плохого, если человек хочет узнать побольше? — кисло возразила она. — Если он мещанин, значит, ему и танцам нельзя учиться?.. Эта пьеса неправильная. Я Мольера вообще не люблю: он насмешник.

Но Жан на сей раз не дал увлечь себя на скользкую литературную стезю:

— Ты все свое… Учиться, конечно, хорошо — только не надо заучиваться… В любом случае я тебя долго тянуть не буду. До четвертого класса учись, а потом иди работай… — И Жоржетта не сказала ни слова — только насупилась, прикусила язык и выругала за что-то Жанну, дернула ее за руку…

Жанна на этот раз ни в чем не была виновата, но Жоржетта знала, почему сорвала на ней зло. Сказал бы Жан то же самое и в том же тоне о своей родной дочери, было ей в высшей степени сомнительно, но она снова, в который уже раз, не стала с ним спорить…

6

Рене должна была начать работать, но пошла-таки в третий класс (во Франции счет идет от одиннадцатого класса к первому). Помог ей Робер, ее родной отец: вдвоем с Жаном они одолели ношу, непосильную для каждого из них в отдельности.

Робер приходил к дочери и раньше. В первый раз это случилось, когда ей исполнилось десять — она запомнила эту встречу в подробностях. Она вышла из школы и увидела невысокого человека в черном пальто, с круглым, как у нее, лицом, который поджидал ее с довольно безразличным и почти посторонним видом. Она не могла узнать его, потому что никогда прежде в сознательном возрасте не видела, а фотографии дают о человеке лишь смутное представление, но угадала, кто он, и странное и тягостное чувство охватило ее: ей стало страшно, и первое желание было убежать от него и от чего-то темного и опасного, что сопровождало его, как некое облако, — она заплакала еще до того, как он подошел к ней и представился. Непонятно было, зачем он явился к ней в этот день: хотел, видно, напомнить о своем существовании. Он проводил ее до дому, внутрь не вошел, избегая встречи с Жоржеттой, а по дороге не столько расспрашивал ее, сколько говорил о себе, и так, будто вернулся после долгого отсутствия, в котором виноват был не он, а внешние обстоятельства. Он был теперь профсоюзным активистом, жил с женщиной, которую звали Полиной, много разъезжал и занимался политикой. Он сказал, что все время думает о дочери, о том, как помочь ей в жизни, обещал видеться чаще, но затем снова исчез на три года, а Рене не забыла о нем, но хранила в памяти, как болезненную и глубоко засевшую в сердце занозу, вызывающую непонятную ей тревогу: будто рушилось или начинало шататься ее недавно достигнутое и не особенно прочное жизненное равновесие…

Теперь, когда ей исполнилось тринадцать, он объявился снова, и на этот раз, как он сам сказал, надолго. Он навел о ней справки в школе, узнал, что она обнаруживает незаурядные, даже блестящие способности, отнесся к этому с естественной для отца гордостью, сказал, что хочет помочь ей поступить в лицей и для этого — ввести ее в круг своей родни и познакомить с женщиной, с которой теперь жил, с Люсеттой: это будто бы была окончательная его пассия. Они снимали квартирку возле Монмартра. Люсетта встретила Рене с тем хорошо разыгранным шутливым теплом и дружелюбием, которые во Франции скорее правило хорошего тона, чем проявление искреннего чувства, но

различить их бывает непросто и искушенному человеку — простодушная же Рене приняла их за чистую монету. Люсетта устроила обед в честь гостьи и обещала учить ее музыке: нашла у нее необходимые для этого способности; у нее было пианино, которое она возила за собой в течение своей тоже непростой, бурной жизни. Это была давняя мечта Рене, на исполнение которой она не смела и надеяться. Она с трепетом являлась на уроки — всего их было три или четыре — одно время только о них и думала, но занятия сами собой сошли на нет и закончились. Робер был не слишком доволен их гаммами и даже ими тяготился: держался натянуто, насупливался и заслонялся от дочери газетой, когда та к нему приходила: был, видимо, плохим меломаном — так что Люсетта, с оглядкой на него, занималась с Рене все меньше: ей-то это было совсем ненужно. Между прочим, отец, сказавший ей, что живет в вечных разъездах, на поверку почему-то оказывался все время дома.

Но со своей родней он ее все-таки свел: позвал в Даммари-ле-Лис на смотрины. Она испросила разрешения у матери и отчима. Жоржетта сказала:

— Это твой отец, тебе решать. — И Жан согласился с этим, нисколько не обидевшись из-за потери отцовства, к которому мог бы привыкнуть. Рене таким образом потеряла в один день временного родителя, исполнявшего обязанности отсутствующего, и приобрела кровного, но еще более неверного и непостоянного, чем отчим…

Они стояли в тамбуре поезда пригородного сообщения. Был субботний вечер, вагоны были переполнены, а Робер забыл заранее позаботиться о сидячих местах: он был рассеян. Черный паровоз, остро пахнущий угольной пылью и гарью, дергал и тянул за собой вагоны, несясь со скоростью сорока километров в час, которая захватывала дух и представлялась немыслимо быстрой.

— Ты не робей, я поддержу тебя. В конце концов, ты моя законная наследница. Других нет и, наверно, не будет. Что делать, если такой непутевый отец тебе достался? Там у меня комната — где мы жили с твоей матерью…

Робер стоял, прислонясь к стене и виновато склонив голову: и без того невысокий, он выглядел в этот вечер ниже обычного и был особенно склонен к откровениям.

— Я-то сам жить там не буду — надо хоть за тобой эту комнату застолбить, а то останемся, как сейчас, без места, в тамбуре. Вдвоем легче, чем одному. — И пояснил: — Они ко мне относятся без большого уважения. Они народ оседлый, положительный, а меня мотает по свету: ни профессии, ни семьи, ни положения. Люсетта — хороший, конечно, человек, но семью с

ней заводить поздно: не в том уже возрасте… А теперь еще сомнительными делами занялся в их представлении… — Круглое, лукавое лицо его заулыбалось виновато и с чувством неловкости — он словно каялся перед ней за старые и новые грехи, но делал это не вполне искренне, а как бы с розыгрышем: такое впечатление было от многих его душевных движений и поступков. — Так что ты мне там для поддержки будешь. Рабочая солидарность, верно? — и ткнул ее в бок: как какого-нибудь приятеля-работягу, так что ее бросило в сторону. — Я ж знаю, ты в ячейку ходишь. Энгельса читала и другим пересказывала.

— А ты откуда знаешь? — Ее все время тянуло говорить ему «вы», но он настаивал на более родственном обращении.

— Жан рассказал. Мы с ним долго о тебе говорили. В кафе вашем, где они обосновались. Мне родня нужна, чтоб лицей провернуть. Тебе дальше учиться надо.

— Чтоб деньги дали?

— И это тоже. Учиться-то ты бесплатно будешь. Стипендиатом. — Он поглядел на нее мельком. — Есть такие места для неимущих, но одаренных детей. А ты, говорят, такая. Но тут знакомства нужны: у матери они есть, ей ничего не стоит поговорить с кем надо. Они эти места для себя держат. Для того и завели: чтоб детей любовниц устраивать. Таков уж наш мир, капиталистический. Почему, думаешь, мы с ними боремся?..

Он был из своих, красных, и говорил их языком, но Рене стало неуютно — оттого, что ее прочили в такую компанию. Она плохо представляла себе, что такое дети любовниц, но смутно чувствовала, что соседство это не очень лестно.

— А деньги тогда зачем?

— Деньги никогда не помешают. Тебя ж кормить и одевать надо. В лицее, куда ты пойдешь, в старом и заштопанном не походишь. Мы все это с отчимом обговорили. Он согласился тебя учить, если я буду кой-какие деньжата подбрасывать. Стипендию своего рода. У меня денег нет: не держатся они у меня — вот я и обратился к ним, а они решили тебя на семейный совет вызвать: посмотреть, с кем дело имеют. Вдруг такая же непутевая, как я. Мои рекомендации их только настораживают… А у меня денег нет, потому что профсоюзы плохо платят. За повышение тарифов борются, а как своим платить, так хуже всяких эксплуататоров.

— А чем ты занимаешься?

— Я анархист, — уклончиво отвечал он.

— Это работа такая?

Он усмехнулся.

— Скорее, призвание. Не говори никому, а моим — в особенности. И сама забудь. У нас с этим путаница. Есть

анархисты, которые бомбы бросают, — их все боятся, мы к ним не имеем отношения. Мы анархо-синдикалисты… — и, оборотившись на соседей по тамбуру, еще больше понизил голос, хотя и до этого говорил полушепотом, а соседи вокруг были заняты кем угодно, но не ими. — Не знаешь, что это — анархо-синдикалисты?

— Нет.

— Я как-нибудь расскажу — в другой обстановке и в другом настроении… У тебя отчим — коммунист?

— Да.

— Мы с ними во многом сходимся, но во многом и расходимся и никогда не сойдемся окончательно. У них аппарат превыше всего, дисциплина, подчинение рядовых членов руководству, а мы считаем, что все наоборот: все лучшее рождается снизу. Твой отчим, правда, тоже из нашего теста и напрасно, кажется, забрел в их казарму. Поэтому-то мы с ним так легко договорились. Много денег он не возьмет, а этим, — он показал вперед по движению поезда, — ничего не стоит выделить из своих бумажников. Ты только не говори им про Жана и про ячейку. Хватит им меня да Камилла. Поменьше болтай вообще.

— А кто такой Камилл?

— Дядю своего не знаешь? — удивился он, но вспомнил: — Хотя откуда? Вы ж совсем от нас оторвались. Надо было мне раньше свести тебя с ними … И Жоржетта ничего не говорила?

— Нет.

— Сильно разозлилась, значит. Хотя есть на что, с другой стороны… Камилл — тоже коммунист, но такой, что больше на чиновника похож. На бюрократа. Он и в детстве такой был: от сих до сих и ни на шаг в сторону. Кого только нет в их движении. На все вкусы найдутся. Если власть возьмут, ничего во Франции не изменится. Потому как разойдутся по начальственным местам — в соответствии со своими наклонностями…

Дом был большой, новый, каменный. Он стоял на привокзальной улице, а сам вокзал располагался на границе между Меленом и Даммари-ле-Лис. Мелен был богат, наряден, похож на Париж, Даммари-ле-Лис беднее, проще, ниже этажами, но та его часть, что примыкала к Мелену, начинала тянуться за богатым соседом и застраивалась высокими, стоявшими в ряд одинаковыми домами, дружно упиравшимися в невысокое пасмурное небо двухскатными остроугольными крышами. Бабушка, мать Робера, Франсуаза, встретила их в прихожей и проводила в гостиную, где ждали остальные члены семейства: старший брат Андре, приветливый и улыбчивый хозяин семейной фирмы, его молодая жена Сюзанна, тоже веселая, лукавая и

смешливая, и Камилл — и вправду похожий на чиновника в присутственном месте: неприступный и чопорный. Сама бабка, коренастая, жилистая, хваткая, распоряжалась в доме всем и всеми — те ходили у нее по струнке и помалкивали. Она повела разговор, не оглядываясь на детей, будто не замечая их:

— Ты садись, садись — что стала среди комнаты? — Она разглядывала Рене с головы до пят и словно вертела ее в разные стороны в своем воображении. — Это у нас гостиная, мы здесь людей принимаем — когда допускаем до себя, а нет — так и в прихожей посидят. Лицом-то ты в нашу родню: оно у тебя круглое, как у нас — у матери твоей оно поострее было, покрючкастее… Или я выдумываю, забывать начинаю? Телом ты больше в нас — широкая в кости: твои щуплее, потоньше. Такими запомнились во всяком случае — потому что я их, считай, и не видела. В кого умом пошла, осталось выяснить.

— В нас, — невпопад вставился Робер. — Учится хорошо.

Большего он сказать не успел, так как не пользовался у матери доверием.

— В нашу родню — это еще не все, — отрезала она. — Хорошо, если в Андре: золотой человек, мы ее тогда с руками оторвем. Хуже, если в этого, — она мотнула головой в сторону Камилла, — но и это полбеды, жить можно, а вот если в тебя?.. — и не обращая внимания на Робера, который не стал спорить, привыкший к подобным нареканиям, приступилась к Рене, ожидая от нее первых признаний, которые всего ценнее. — Что ты любишь вообще? Больше всего на свете?

— Книги, — послушно и одновременно непокорно отвечала та.

— Книги я и сама читать люблю, — возразила бабка, будто Рене с ней спорила. — У меня библиотека целая — посмотришь на досуге. А кроме книг? Книжками жизнь не заполнишь… Наряды? На танцы любишь ходить?

В Рене проснулось строптивое чувство: ее никогда так не экзаменовали.

— Нарядов у меня нет.

— Так уж и нет?

— Нет. И без них обойтись можно.

— А танцы?

— Не ходила никогда.

— Что ж ты делаешь тогда? — будто бы удивилась бабка, а на самом деле только пристально ее разглядывала. — Если на танцы не ходишь?

Рене не знала что ответить, и Андре пришел ей на помощь:

— Да ты, мама, тоже на танцы не ходила.

— А ты откуда знаешь? Тебя тогда не было. — Она поглядела внушительно, затем поправилась: — Это когда было? Мы тогда сызмалу знали, за кого замуж пойдем, а сейчас, говорят, мужа на танцах искать надо?.. Тебе и муж не нужен?

— Нет, — отвечала Рене уже с дерзостью и с вызовом в голосе.

— Вот как! А что тебе нужно тогда?

— Учиться.

— И кем ты хочешь стать, когда выучишься?

Рене подумала и призналась:

— Не знаю еще… Мне сама учеба нравится.

— Сама учеба нравится, — повторила бабка, будто в этих словах скрывалась некая истина, и, обернувшись к членам своего семейства, пожаловалась: — Молодые. Каждый раз удивляют. В наше время так бы не сказали… У тебя еще бабка есть?

— Есть. Манлет. — Лицо Рене смягчилось и потеплело при упоминании о бабушки по матери. — Я ее люблю очень.

— И за что же? — В голосе бабки послышалась ревность. — Я ее не видела. Она на свадьбу не приехала.

— Плохо себя чувствовала, — извинился за Манлет Андре.

— Да плохо! Свадьба не понравилась. И оказалось, в точку попала… Так за что же ты ее любишь?

— Потому что добрая.

— Не в пример мне, что ли?.. — Бабка прищурилась ястребом. — Так я, может, тоже такая. Когда человек стоит этого. А перед тем, кто этого не заслуживает, нечего и расшаркиваться.

— Надо ко всем быть доброй, — заметила Рене, и это прозвучало как назидание.

— Это ты из книг вычитала?.. — и поскольку Рене не отвечала, спросила: — Кого ты читаешь хоть?

— Корнеля.

— По программе?

— И по программе и так.

— А я вот Фенелона. А из последних — Достоевского. Не слышала?

— Нет, — чистосердечно призналась Рене.

— И не надо тебе. Без этого достаточно… Ладно. С тобой, гляжу, в один раз не разберешься. Приедешь к нам на лето — тогда поближе познакомимся… — И суховато подбодрила ее: — Это хорошо, что сразу не ясно: чтоб потом скучно не было. Как вы считаете? — обратилась она к остальным, но тут же пожалела, что задала лишний вопрос, оборотилась к Рене, сказала с насмешкой: — Хотя что их спрашивать? У Андре вон все на лице написано: тоже, как ты говоришь, добрый человек — никого еще

не обидел на моей памяти, Сюзанна только смеяться начнет: такая смешливая, а Камилл уже надулся — этот ни о ком доброго слова не скажет: испугался, что новая наследница объявилась. Он деньги любит считать — взносы у всех собирает, — и не обращая внимания на среднего сына, который поднял голову и приготовился к внушительной обороне, пояснила младшему: — Это я новенькой твоей семью представляю. А ты?.. — Робер был паршивой овцой в ее стаде, и для него и слов не находилось. — Что ты делаешь хоть? Я уже счет твоим занятиям потеряла.

— Профсоюзник, — не вдаваясь в лишние подробности, отвечал тот.

— Профессия такая? — бабка уставилась на него, как на сфинкса. — Хотя ты и профсоюзник какой-то странный. Он вон тоже по этой части, — она кивнула на Камилла, — но про него все известно: сидит в конторе, ему деньги несут, а он их в книжечку записывает…

— Я еще и железнодорожник, — возразил тот, но бабка не дала обмануть себя:

— Ладно! Железнодорожники поезда гоняют да вагоны чистят, а ты штаны просиживаешь, мозоли на заднице натираешь. Деньги мусолишь. Сколько их через твои руки проходит?

— Большие суммы. — Камилл сразу набрался важности. — Мы собираем у всего муниципалитета.

— Почему мы? Не мы, а ты. Все вы, гляжу, сообща делаете. Или так представляете, чтоб одному в ответе не быть… И ничего тебе не остается? К рукам не прилипает?

Камилл нагнул голову, избычился, насупился.

— Я честный человек, мать. Потому и доверяют.

Мать не стала с ним спорить.

— Нашли человека из честной семьи. — Она язвительно усмехнулась: — Сиди дальше принимай. И нам, может, пригодится. Нельзя, говорят, яйца в одну корзину класть. Вдруг ваши к власти придут, тогда у нас свой человек там будет. — Камилл поднял голову, заранее возгордился, она же спустила его с небес на землю: — Если ты, конечно, к этому времени о нас помнить будешь. — И объяснила остальным, не ведая сочувствия и жалости: — Приятели у него такие, что отца с матерью забудут и повесят — и все по идейным соображениям. Если по России судить. Да и по нашим: когда якобинцами были да санкюлотами.

— Будет тебе, — остановил Андре мать, которая слишком далеко зашла в своих нареканиях: он был удачливым предпринимателем и позволял себе возражать главе семейства. — Ничего подобного у нас не будет.

Та не стала спорить:

— Не будет — и хорошо. Проведи ее к себе, Робер — покажи комнату. Ты-то сам остаешься?

— Нет, наверно. Уеду.

— К какой-нибудь крале новой? Подруге сказал, что сюда поехал, а сам на сторону?.. Это твое дело — делай что хочешь, — прибавила она, видя, что он собирается уверять ее в обратном. — Тут я тоже с пальцев сбилась, счет твоим Полинам да Люсеттам потеряла, — и снова повернулась к Рене, которая стояла неловко среди гостиной — ей было не по себе в новом окружении. — Приедешь летом?

— Приеду.

— Вот и хорошо. Будешь жить на всем готовом. В комнате этой — которую твой отец потерять боится… Все, гляжу, революционеры — пока чужое делить. А как до своего доходит, куда все девается?.. Какая-то ты все-таки шероховатая.

— Не привыкла, — подсказал Андре, но бабка сама это знала и не это имела в виду.

— Я вижу. Что твоя мать к нам не обращалась никогда? Глядишь бы, и помогли. Я сама напомнить о себе хотела, да не люблю навязываться… Я слышала, вы плохо жили одно время. Сейчас лучше?

— Лучше.

— Ну и слава богу… Гордая твоя мать — поэтому и не обращалась. И ты такая? — Рене замешкалась с ответом, и бабка не стала допытываться, только посоветовала: — Надо бойчее быть, покладистее. Не ждать, когда к тебе прибегут, самой о себе напомнить. В меру, конечно, — поспешила прибавить она. — Чтоб не назойличать, не напрашиваться… Ладно. Примем тебя. Раз ты так Манлет свою любишь. Надо же и любить кого-то, верно? — Она оборотилась к домашним: — Та одна четырех дочерей подняла и на ноги поставила. А на свадьбу вот не поехала. Я сильно тогда на нее обиделась: наслышана была о ней, хотела повидаться, а она не захотела. Теперь вот с внучкой знакомлюсь: одна, видно, порода. Ладно. Хватит болтать. И без того наговорились — дальше некуда…

Рене провела в Даммари-ле-Лис немногим меньше месяца: готовилась здесь к экзаменам. Из окна ее комнаты со второго этажа был как на ладони виден внутренний двор: в углу его рос большой раскидистый платан, под ним стоял огромный, на всю семью, стол, сбитый из серых досок, — здесь по вечерам собиралось и ужинало на сельский лад семейство, дополняемое товарищами Андре по работе. Далее за невысокой оградой тянулся сад — тоже их владение: здесь росли яблони, груши, сливы. По бокам с одной стороны располагался птичник, из

которого непрерывно слышалось квохтанье кур, с другой — длинное каменное помещение мастерской, выходивший воротами на улицу, а окнами — во двор и в сад: оттуда доносились стук молотков, жужжанье токарных станков и разговоры рабочих. Двор был царством бабушки. Она собственноручно кормила здесь кур, созывала их необычно звучавшим в ее устах фальцетом, употребляемым ею только для этой цели, возилась в огороде, расхаживала по земле и глядела на все кругом с важностью городской собственницы и с заботливым прищуром хлопотливой, трудолюбивой крестьянки. Рене не помогала ей — хотя бабка была все время в работе, а Рене не была лентяйкой и лежебокой. Рене казалось, что это не ее жизнь, что она здесь в гостях и что было бы неуместно и даже неприлично предлагать свои услуги. Что ей действительно здесь нравилось, так это возможность читать без помех и думать над книгами — что она и делала, проводя большую часть времени в бабушкиной библиотеке. Ей разрешили брать книги, она садилась в вольтеровское кресло с высокой спинкой, забиралась в него с коленями и читала тома из бабушкиного собрания, пока та склонялась над грядками. Однажды бабка остановилась под окном второго этажа, откуда Рене время от времени поглядывала вниз, позвала ее:

— Что делаешь?

— Читаю.

— Кого?

— Мопассана.

— Отыскала все-таки? А я его подальше засунула: чтоб не нашла. А что помогать не идешь?

— А вам это нужно?

— Да не очень, я одна люблю в саду возиться, а ты б должна была подсуетиться. Обычно навязываются со своей помощью.

Рене подумала. Она была настроена в этот день благодушно.

— Если б в самом деле было нужно, я пришла бы.

— А как ты узнаешь, в самом деле или не в самом?

— Это видно. Бедные люди просят, когда без этого не проживешь. Тогда идешь, не спрашиваешь.

— А богатые?

— Им только бы время провести, повеселиться.

— А ты веселиться не любишь?

— Нет. Я привыкла серьезно жить… Богатой быть тоже учиться надо. Хорошо когда с детства.

Бабка поглядела на нее снизу, задумалась.

— Тебя, гляжу, не переучишь… Вот вы какие. С Манлет твоей я так и не поговорила, зато с тобой познакомилась. Одного поля ягоды — я с самого начала это говорила… Она тоже книги

любила?

— Нет. Ей это было не нужно. Она крестьянка.

— По траве да по листьям читала? А вот мы не можем: нам о книгу глаза тупить надо… — и пошла прочь: не в обиде на ее откровенность, но и не слишком ею довольная. Впрочем, она мало кем была в жизни довольна…

Это не значило, что Рене вовсе не покидала стен своего жилища. Она, в первое время в особенности, ходила в гости к дядьям: дважды была у Андре и Сюзанны и раз — у дяди Камилла. Андре проводил день в мастерской, работая наравне с наемными рабочими: переходил от одного станка к другому, останавливался там, где возникали задержки, и везде трудился с видимым удовольствием и усердием, без устали, с неброским, сдержанным изяществом движений, свойственным хорошему мастеровому. Пригласив Рене, он стал рассказывать ей о производстве, будто она была на экскурсии. Здесь делали дешевые украшения из анодированного, или, как тогда говорили, американского золота. Андре угадал дух времени, требующий не столько ценностей, сколько их видимости, и предприятие быстро набирало силу.

— Знаешь, чем мы занимаемся?.. — Он вытягивал проволоку и искусно свивал ее, укладывая в ложе будущего украшения. — Угождаем женщинам. Что женщинам больше всего нравится?.. — Он ждал ответа, но Рене предпочитала отмалчиваться. — Украшения, конечно. — И поглядел на племянницу: что та на это скажет — Рене так не считала, но спорить не стала. — Только чистое золото и платину может себе позволить не всякая — вот мы и золотим медь, получается как настоящее литое золото. Это медная проволока — золото лучше всего на нее садится. А покрытие гальваническое. Все в гальванической ванне происходит. Раньше брали золото, раскатывали его в тонкий-претонкий лист, как бумагу, и приколачивали к форме, а теперь химия все в тысячу раз лучше делает. Толщина — хорошо если десятая часть миллиметра, а за всю жизнь не слезет: если только напильником подпилить, — тогда медь покажется. Эта техника из Америки пришла — поэтому и называют американским золотом. Ценности большой не представляет, а носишь как настоящее — поди разбери, цельное оно или позолота. Давай я тебе цепочку подарю. У меня завалялась одна, — и нашарил в ящике стола заранее приготовленную цепь, сотканную из изящно вдетых одно в другое и хитро скрученных звеньев. — Серег ведь ты не носишь? Уши себе не продырявила?

— Нет, конечно!

— А что такого?.. Ну нет так нет. Цепочку всякая носить

может — лишь бы через голову пролезала.

— Что ты ей пустую цепочку даришь? — Сюзанна стояла тут же: до этого она молча и с веселым любопытством наблюдала за племянницей. — Кулон какой-нибудь подвесь.

— Так нет: сам хотел, — сокрушенно сказал муж. — Вчера все вывезли. Нарасхват берут, — не то пожаловался, не то ненароком похвастался он Рене. — Делать не успеваем.

— Я ей дам. У меня много, — сказала Сюзанна и вдруг пропела: — Много, много в саду хризантем!

— Иди-ка ты отсюда, со своими хризантемами, — выговорил ей муж. — Тебе тут вредно.

— А тебе нет?

— Мне полезно. Ты еще к гальванической ванне подойди.

— Покажете? — В Рене проснулся интерес отличницы. — Интересно.

— Покажу, конечно. Один раз дохнуть можно. Сейчас — кончу вот брошку… Она у нас пятый год продается. Идет — и хорошо, не меняем. А на самом деле плохо. Надо вперед смотреть, будущую моду угадывать. Тогда и в Америку товар везти можно. А я вот не дорос до этого. И, наверно, не дорасту никогда. Руками все умею, а мозгами не ворочаю: ржавые они у меня. Тут молодой нужен, а еще лучше — молодая: у женщин это лучше получается. Это дело вообще любить надо. К себе примерять — тогда что-нибудь путное и придумаешь. Сюзанна могла б этим заняться. Только и знает, что у зеркала вертится.

— Ты ж знаешь, куда я смотрю, Андре, — возразила та.

— Куда?

— А ты догадайся.

— Ума не приложу. Учись и приходи к нам, — сказал он Рене. — Сюзанну не дождешься: у нее другие заботы. Рисовать умеешь?

— Умею. Учителя так говорят во всяком случае… — Рене удавались рисунки с натуры: она срисовывала листья, цветы, насекомых — отображая их каркас до мельчайших прожилочек; отсюда и пошел разговор, что она наделена даром художницы.

— Ну вот! — обрадовался Андре, уже строя виды на племянницу. — А я и рисовать не умею — ничего изобразить не могу: мне сделать брошку надо, чтоб до нее умом дойти и чтоб меня поняли… Подошла? Нравится?

— Нравится, — и Рене для большей убедительности поправила цепочку на шее.

— Да? Что-то я особого восторга не вижу.

— Просто не показываю.

— Конспиратор? Как отец твой. Но это хорошо. Меня

например все насквозь видят. Сюзанна в особенности. А тебя вон и бабка раскусить не может…

Гальваническая ванна была в отдельной пристройке. Там резко пахло хлором. Рабочий, стоявший возле нее, был в респираторе, который вряд ли спасал его от ядовитых испарений. Андре предостерег Рене:

— Тут долго не задерживайся. Знаешь, что в ванне этой? Какой раствор?

— Нет.

— Цианистый калий. Тот, которым люди травятся. И хлор вдобавок. Знаешь, что самое трудное было в нашем деле? — И объяснил: — Лицензию на работу с цианидом калия получить. Этой ванной весь город отравить можно. Вот на какой воде золото наше замешено. А это два электрода. Один — изделие, а другой — слиток золота. Видишь, как он тает? Растворяется.

— Не жалко?

— Так на изделиях все и оседает. Куда ему деваться? Что его жалеть вообще — металл, как все прочие?.. Вытаскивай, — сказал он работнику. — Уже, небось, вдвое осело. Чего ждешь?

— Вроде хозяин — при нем не распоряжаются.

— Я тут при чем? Ты здесь начальник… В работе нет хозяина. Хозяин после работы начинается…

Они вернулись в мастерскую.

— Понравилось? — спросил Андре.

— Понравилось.

— А что так неуверенно говоришь?

— Не знаю. Не привыкла еще.

— Привыкай. Тут ничего хитрого. Работай со всеми да живи в свое удовольствие. Верно, Сюзанна? — Он то и дело возвращался к жене — как к печке, от которой танцуют. — Отец твой не хочет жить, как все, а я другого и не мыслю. И не хочу ни над чем задумываться. Потому как во многих мыслях многие печали… Ну что? Какие вопросы еще?

Рене не знала что сказать, оглянулась, спросила:

— Золото кругом лежит, брусочками. Никто не возьмет?

Неизвестно почему она задала этот неискренний вопрос — за неимением других, видно. Андре он не понравился. Лицо его построжело.

— Кому брать?.. Все свои, работяги — они не воруют, — а слесарь, стоявший рядом, пояснил:

— Своруешь на тысячу, потеряешь на десять. Работа важнее золота. Выгонят — никуда потом не устроишься…

Сюзанна пригласила ее на чашку чаю. Комната молодых супругов отличалось от прочих: в других была мебель, оставшаяся

со старых времен, добротная, тяжелая, вросшая в пол, с простой грубой резьбой и тугими замками и запорами, — здесь же стояли новомодные, лакированные шкафчики и комодики на гнутых ножках, с позолоченными виньетками и с замысловатой ажурной фурнитурой. Сюзанна приготовилась к встрече, но отчего-то волновалась и робела. Она заранее расставила на круглом столике, который тогда называли не журнальным, а чайным, чашки из тонкого фарфорового сервиза и наполняла их дымящимся ароматным чаем.

— Любишь музыку? Я сейчас патефон заведу. — Она стала налаживать дорогой новый граммофон с картинкой, изображавшей собаку и ее хозяина. — Андре купил — чтоб не скучно было. У тебя такого нет?

— Нет, конечно. У нас в кафе есть — в Стене.

Сюзанна повеселела:

— В кафе любишь ходить?

— Бываю. — Рене могла добавить, что в одно из таких посещений разъясняла рабочим Энгельса, но у нее хватило ума не говорить этого.

Сюзанна кивнула: нашла сообщницу.

— Я тоже люблю по кафе шляться. Сейчас редко ходим, а прежде, когда Андре за мной ухаживал, часто ходили, — прибавила она с сожалением, будто ей стало жалко, что пора ухаживаний закончилась. Она поставила пластинку, пустила ее по кругу. — Жава. Слышала?

— Слышала.

— Я ее люблю очень. Попробуй чай. Английский. Как и фарфор этот. Бери конфетки. Эти-то как раз французские. Они всегда тут — захочешь, приходи, бери не стесняйся. Конфеты любишь?

— Немного.

— А я просто обожаю. Сейчас меньше ем: говорят, нельзя, в весе можно прибавить, — многозначительно сказала она, — а тянет. — И пропела: — Тянет-тянет, как муху на сладкое!.. — Потом с любопытством поглядела на Рене. — Даст тебе Франсуаза деньги? — и эти серьезные слова были произнесены ею беззаботно и беспечно. — Не даст, мы с Андре заплатим. Раскошелимся, развяжем кошельки, узелочки! — снова напела она, будто это была часть вальса, соскользнувшего с пластинки. — Уже решили. Не хотим только вперед нее лезть. Если откажет, мы устроим по-тихому. Если человек хочет учиться, нужно дать ему возможность, верно? — Рене была согласна с этим, но ей неловко было признаться. — Нравится тебе наша комната?

— Очень! — Рене подошла к книжной полке, потрогала книги — они были все новые, будто только вышли из-под печатного станка.

— Надо другие шторы повесить, — следуя за ее взглядом, сказала Сюзанна, не переставая наблюдать за нею. — Эти сюда не подходят: тяжелые слишком. У нас здесь все легкое, на тонких ножках. Я в Париже одни присмотрела: в оборочках и с подвязками. Как в Мулен-Руж! — прибавила она кокетливо. — Хотела купить, но Андре сказал, подождем, когда это случится, — скажем тогда, что они гигиеничнее… Тебя книжки интересуют? — спросила она, видя, что Рене незримо тянется к книжной полке. — Кого нашла?

— Колетт.

— Не читала?

— Нет. Мы не проходили. Современная?

— Конечно. У меня других нет. Возьми почитай. Только после экзаменов: слишком легкомысленная. Любовники, ветреные женщины. Хорошо читать, когда у самой жизнь добропорядочная. Для развлечения. Какой тебе кулон подарить? Я много приготовила… — и высыпала на стол несколько штук сразу.

— Это вам Андре подарил?

— Эти? Принес показать просто. Образцы продукции. Мне он из чистого золота дарит. Ты золото любишь?

— Нет.

— Потому что у тебя нет его. Как любить того, чего нету… Но и я от него не в восторге. Я камешки люблю. — Она заулыбалась, стеснительно и лукаво, будто выболтала заветную тайну, запела: — Камешки камешки, где были — у бабушки!

— Бриллианты? — Познания Рене в этой области были самые ограниченные.

— Почему? Эти как раз не самые красивые. Всякие: красные, синие, зеленые. Люблю, когда играют и переливаются… Подарить тебе? — надумала она вдруг.

Рене почти испугалась:

— Не надо!

— Боишься? Потом перестанешь бояться. Когда вырастешь. Это Андре мне дарит. Если случится что, говорит, всегда продать можно. Те же деньги. Тебе нравится Андре?

— Очень!

Сюзанна кивнула с удовлетворением.

— И мне тоже. А что нам, женщинам, еще нужно, верно?.. Или ты учиться хочешь?

— Да. Я этот возьму, — Рене потянулась за кулоном, более других ей понравившимся.

— Возьми два.

— Зачем?

— Менять будешь. Сегодня один, завтра другой.

— Одного хватит.

— Значит, постоянная женщина, — вывела из этого Сюзанна и примолкла, не зная, что еще поведать и подарить своей немногословной племяннице…

Дядя Камилл был в ином роде — ни Андре, ни Робер, а что-то среднее между ними обоими. Он позвал Рене в конторку, находившуюся на территории вокзала: показать, как он работает, но забыл об этом и, когда она пришла, удивился и глянул с неудовольствием, как на непрошеную гостью, но пригласил все-таки:

— Это ты? Заходи… Хотя и не вовремя. У нас заседание секции…

Кроме него в комнатке за узким столом сидели двое в рабочих спецовках: один — коренастый и разговорчивый, другой — долговязый и бессловесный; перед ними лежали листки с черновыми записями.

— Скоро взносы сдавать, а у нас, как всегда, в кассе пусто: обо всем в последнюю минуту думаем. К нам кроме железной дороги Даммари-ле-Лис приписан — тут-то и морока вся… — и обернулся к товарищам. Рене села в стороне, послеживая за ними, и они засовещались с прежней горячностью. Верная своим привычкам, она покосилась в сторону однорядной книжной полки, на которую сверху были навалены истрепанные, засаленные брошюры: среди них она издали увидела известного ею автора.

— Что нашла? — в первый и последний раз полюбопытствовал Камилл.

— Энгельса.

— Основоположник научного коммунизма. Тебе рано еще. Сдай сначала экзамены. А то ляпнешь про него — тебя завернут с ходу. На чем мы остановились? — спросил он товарищей. — На ком, вернее?

Речь шла о сборе денег с сочувствующих, или, как тогда говорили, с симпатизантов. Проблема была деликатная: с одной стороны, они не обязаны были платить, с другой — если с кого и можно было взять, то только с них и ни с кого больше.

— С Альбера будем в этот раз? — спросил Камилла коренастый: дядя был, видно, главным в этой чрезвычайной комиссии.

— С какого?

— Рени, конечно.

— С врача? — Камилл помедлил, будто в городе было несколько людей с таким именем и фамилией. — Сколько он в прошлый раз дал?

— Десять франков. Он деньги лопатой гребет.

— Альбер Рени, — не слушая его, повторил Камилл и тронул в раздумье подбородок. — Как бы нам не оттолкнуть его от себя совсем? Может, через раз просить будем? Не отойдет он от нашего движения?

— Не отойдет! А отойдет, так живо напомним. Враз клиентуру отобьем. Он в Даммари-ле-Лис живет, а не в поганом Мелене.

— Нельзя интеллигенцию отталкивать. Она может пригодиться… Он на прошлой неделе одну из наших пролечил, — виновато объяснил он. — Совершенно бесплатно.

— Это кого же? — Долговязый, как оказалось, был не вовсе лишен дара речи.

— Нашу родственницу по матери. Из Фонтенбло… Матери не откажешь — ты ведь ее знаешь.

— Булочницу? — вмешался другой, знавший всех в городе и за его пределами.

— Да, — и Камилл поспешил прибавить: — Но чисто рабочего происхождения.

Коренастый глянул скептически, но не стал возражать: в ячейке царила дисциплина и субординация.

— Так брать или нет?

— Попроси два франка. Скажи, на бинты для демонстрантов — ему это понятно будет. Как-никак, его профессия.

Коренастый занес в блокнот.

— Кому идти? Я к нему не пойду: он давеча мимо меня прошел и не поздоровался. И на прошлой неделе тоже. Совсем зазнался.

— Поль сходит. — Камилл оборотился к долговязому, и тот молча кивнул. — Скажешь, Камилл привет передает. Пролетарский. Кто дальше? Камилл Руссо? Это тот, что всем сочувствует? Его в списке правых видели. Мне об этом сказал совершенно достоверный источник из их лагеря. А еще мой тезка!

Коренастый был настроен в отношении Камилла Руссо куда добродушнее: видно, у каждого здесь были свои любимцы и антипатии.

— Боятся промахнуться, — объяснил он. — Но он хорошо дает. Вы, говорит, моя тайная любовь. Так в прошлый раз сказал. И в гостиную позвал. Обычно дальше прихожей не пускают.

— Эту тайную любовь нужно двойным обложением наказывать. Мы не в борделе. Нам не только их деньги нужны —

но и публичные признания этих умников. Хотя они часто гроша ломаного не стоят. Пусть даст сорок. Для митинга в честь Советской России. Мы там такое угощение закатим, что полгорода придет. Так наверху велели. Особо важное мероприятие… Руссо этот. Вечно на двух стульях сидит.

— К нему идти? — спросил долговязый: он был у них главный мытарь.

— А как же? Он к тебе не придет — ты для него не та птица. Где он, интересно, правым платит? В карточном притоне, наверно. На улице Фаберже. Они все там собираются. Капиталисты — они и в свободное время только и умеют что деньги делать. Другого ничего не знают и знать не хотят.

— Где это? — поинтересовался коренастый.

— А ты не знаешь? — пренебрежительно удивился Камилл. — На углу с маршалом Петеном. Там вечно шторы занавешены — не видел разве? А не даст — и на него управу найдем. Он у нас охотник, ему раз в год разрешение надо брать на отстрел уток, а у нас в мэрии свой человек в этом отделе — он у нас тогда побегает и попляшет. Денег нет, — пожаловался он Рене. — Листовки напечатать — и то не на что. То, что собираем, почти все департамент себе берет: у партии там свои проблемы. В прошлом году кое что мэрия оплатила, так в этом пришли проверять — скандал закатили: мол, городские деньги на партийные нужды направляете! Чуть до суда дело не дошло!

— Что народные деньги на их любовниц и на колониальные войны идут — это их не волнует, — проворчал коренастый.

— О чем ты говоришь?! — воскликнул Камилл. — Народные деньги для них — их собственные! У нас каждый франк на счету, а они в миллионах обсчитываются! Ничего! Скоро все переменится: кто был ничем, тот станет всем — кто это сказал, Рене?

— Энгельс.

— Правильно! — одобрил тот. — Сразу видно, своя в доску. Он вместе с Марксом. Заложили основы нашего мировоззрения!..

Через месяц бабка сообщила ей, что семья будет платить за учебу, но жить она будет в Стене — последнее было произнесено ею категорически и бесповоротно. Платил за учебу Андре: выразил такое пожелание…

Рене прощалась с ними со сложным, противоречивым чувством. Ее здесь приняли, приютили на время, но полностью своей не признали и на продолжении родства не настаивали. Сказали, что всегда будут ей рады, но о комнате уже не было речи: она была член семьи, с которым вели себя не по-родственному. Но она не возражала, а согласилась и с этим. Дело

было не в поведении отцовского семейства: в конце концов, они и к отцу так относились, и ей не на что было жаловаться. Ей показалось в какой-то момент при расставании, что она сама привыкла или приучила себя к тому, что у нее ничего нет и не было, и ей стало грустно от этого, потому что каждому хочется хоть что-то иметь в этом мире, хоть чем-то да свободно распоряжаться — особенно когда вокруг тебя столько людей, живущих с легкостью и в достатке…

7

Лицей носил имя Расина и располагался в аристократическом квартале Парижа — на том его радиусе, что идет от центра к Сен-Дени и Стену, так что Рене, чтоб добраться до учебы, нужно было лишь проехать час на трамвае и пройти полчаса пешком, получая всякий раз наглядный урок планировки большого города, состоящей в центростремительном и неприметном исчезновении нищеты и броском центробежном приращении богатства. В лицее были высокие арчатые залы и длинные, узкие и столь же высокие коридоры. Он был построен пятьдесят лет назад — как учебное заведение, за эти годы успел выйти из моды, но и в старости смотрелся величественно: как обломок уходящей в прошлое эпохи. Ученицы здесь заметно отличались от бывших одноклассниц Рене: они были, с одной стороны, более независимы, взрослы и самостоятельны, с другой — скреплены более жесткой и неприметной на первый взгляд дисциплиной. В прежней школе было больше послушного стада, но больше и порывистой, непредсказуемой вольницы. Преподаватели здесь вынуждены были считаться с лицеистками и соблюдать известную осторожность: родители их были обеспеченные и часто влиятельные люди.

Рене получила стипендию, давшую ей возможность учиться, не платя за образование. Она с успехом прошла собеседование и привела в восторг двух экзаменаторш, рассказав им о противоположных мирах и безднах по Паскалю. Мэтр Пишо, лицейский преподаватель литературы, на экзамене не присутствовал, но был о нем наслышан и встретил ее с нескрываемым любопытством. Это было первое занятие Рене в новой школе и как бы ее представление классу, который тоже ее разглядывал — но не как мэтр Пишо, в упор и без стеснения, а мельком и ненароком: как умеют это дети и подростки, не желающие выдавать свое любопытство.

— Кто что прочел за лето? — Мэтр Пишо оглядел своих питомиц. — По лицам вижу — утруждали себя не очень. Невинны, как агнцы, чьи глаза не утомлены чтением. — Это был старик-холостяк с заостренным кпереди лицом, с белой, когда-то богатой шевелюрой и перхотью на воротнике, которую он недовольно и небрежно с себя стряхивал. — С вами все ясно. А вот новая где?.. — и поискал Рене глазами, хотя давно ее высмотрел. — Ты осилила что-нибудь?

— Я много что прочла. Целые дни читала.

Рене не оробела от его бесцеремонного обращения: она была

не из робких, а когда к ней приставали с расспросами, делалась строптивей прежнего.

— Других дел не было? Клубнику полоть? Или фасоль? Что там еще — в этих огородах полют? Я сто лет этим не занимался. И в детстве, помню, безбожно отлынивал.

— У меня бабушка огородом занималась.

— Да?.. — Месье Пишо знал о ее простом происхождении и о том, что она будет учиться на казенный счет, но не стал распространяться на эту тему: в лицее считали дурном тоном говорить о денежном положении учениц (хотя постоянно о нем помнили) — и только глянул иронически. — И что же ты любишь больше всего? Какие книги, я имею в виду.

— Трагедии. Что-нибудь героическое.

Ответы ее: вопреки смыслу слов — звучали задорно и почти насмешливо. Класс принял их поэтому за скрытую издевку и одобрительно заерзал на стульях: решили, что пришла новая озорница и забавница.

— А комедии — нет? — спросил на всякий случай месье Пишо.

— Нет. Что над людьми смеяться? Я этого не одобряю.

Класс засмеялся. Теперь и месье Пишо уверовал, что над ним потешаются и водят его за нос. Но поскольку придраться было не к чему: все было в высшей степени чинно и благообразно — он решил ничего не заметить, но отступить в тень и переключиться, в целях маскировки, на собственную персону.

— А я вот — наоборот, комиком стал. Гримасы корчу, а они хохочут. Так ведь, Селеста?.. Где она?.. — Он снова поискал по рядам, нашел союзницу, неудачно прошелся на ее счет: — Это ты? Я тебя не узнал. Вон какая за лето вымахала!

Это была фамильярность, непозволительная даже для шута, которого он сейчас разыгрывал. Селеста возразила:

— Не вымахала, а выросла, месье Пишо.

— Какая разница? Это синонимы.

— Пусть синонимы, но вымахивают пусть другие. А я расти буду.

— И дальше?.. — но Селеста оставила без внимания новую скабрезность и пренебрежительно отмолчалась. Это была рослая, преждевременно созревшая блондинка, бывшая здесь верховодкой. Учителя любят таких: они для них как бы рупор и лицо класса — с ними можно вести переговоры, но можно и нарваться на отпор, на мелкие неприятности.

— Ладно. И здесь не нашел сочувствия. — И снова оборотился к Рене, по-прежнему его интересовавшей. — Что ты такое про бездны Паскаля говорила? На экзамене. Говорят, слезу

у мадам Шагрен прошибла. Расскажи и им тоже. Они ж, небось, не знают. Хотя проходили… — и глянул на нее вопросительно, а на остальных — с легкой каверзой. — Что там за бездны? На ровном месте?

Рене примолкла. Она почувствовала подвох, но отступать было некуда.

— Своими словами рассказать?

— А чьими же?

— Паскаля. Лучше все равно не скажешь, — и стала читать нараспев, вначале несерьезно, почти шутливо, затем невольно разволновалась, и голос ее задрожал и напрягся: «Человек — всего лишь тростник, слабейшее из созданий, но это тростник мыслящий. Чтобы уничтожить его, не надо всей Вселенной: достаточно дуновения ветра, капли воды. Но пусть Вселенная уничтожит его — человек все равно выше ее, потому что знает, что расстается с ней и что слабее ее, а она этого не знает…»

— Про тростник — хорошо. Они должны это знать, но все равно полезно лишний раз послушать. Наизусть шпарит, — сказал он классу с видимым удовольствием.

— Времени было много — вот и выучила, — сказала Рене.

— Нечего было делать и выучила, — неточно повторил он, запоминая. — Давай теперь про бездны.

— Бездны я сама с тростником сопоставила. Это мое изобретение.

— Да ну?! — совсем уже удивился он. — И как они звучат вместе?

— Сейчас скажу… Рассуждение про тростник кончается словами: «Итак, все наше достоинство — в способности думать. Только мысль возвышает нас, а не пространство и время, в которых мы ничто. Постараемся же мыслить верно — в этом основа нравственности…»— и примолкла, раздумывая над продолжением.

— Хорошо — будем мыслить правильно, — повторил он, следуя за этой хорошо известной ему мыслью, — в этом основа морали. — Скептик и атеист, он понимал всю таящуюся в этих словах пропасть сомнения, и это-то и вызывало в нем удовольствие, которым он не мог поделиться со своими слушательницами. — А бездны где? Ты же к ним нас подвести хотела? Где связь? — подторопил он ее, потому что был нетерпелив и непоседлив.

— В том, что человек должен, но не может мыслить правильно. Так он сам пишет в отрывке о двух безднах. — Рене поглядела на него с особой проницательностью и стала, приблизительно уже, читать на память Паскаля: — Перед нами

две бесконечности. Одна огромно большая, другая беспредельно малая. Человек находится между ними, между двумя крайностями. Он может наблюдать и понимать только то, что окружает его и лежит перед его глазами, что близко ему размерами. Середина — наш удел, нам не дано преступить границ, предназначенных нам природой. С одной стороны, все достоинство в мысли, с другой — не познать непознаваемое. Где выход? Нет выхода, — с грустным разумением сообщила она ему и снова прочла на память: «Начни человек с самого себя, он бы понял, что ему не дано выйти за собственные границы. Мыслимо ли, чтобы часть познала целое?..»

— «Чтобы часть познала целое!» — вскричал учитель. — И опять наизусть! — Это дословное цитирование в особенности вывело его из себя: взволновало его заскорузлое сердце — вместе с дрожащими струнами ее голоса. — Все! Я тебе за год вперед отлично ставлю — только не читай нам больше всего этого!

— Почему? — возразила Селеста, которой и Паскаль, и Рене понравились. — Можно и почитать. Хоть знать будем.

— Видишь, еще и помогать мне будешь, — сказал Пишо — уже потише. — Ты, небось, преподавателем литературы хочешь стать?

— Почему? — Рене не думала о таком будущем.

— А кем ты еще можешь быть? — с неожиданной сухостью спросил он. — С такими восторгами и с таким происхождением?.. «Человек должен, но не может мыслить правильно.» Этим обычно кончают жизнь, а ты, Рене Марсо, ее начинаешь. Хорошо, если преподавателем литературы станешь. Иначе добром это не кончится…

После урока девушки обступили Рене, сидевшую до этого особняком на отдельной парте.

— Ловко ты его поддела, — похвалила Селеста, одобрительно глядя на нее. — В лужу посадила. Он сам Паскаля не знает — если и знал когда, то забыл давно. Пыжится, а толку мало.

— Мы его не любим, — подтвердила и другая, Пьеретта. — А я про Паскаля ничего не слышала. Надо почитать будет. У меня дома должен быть. У родителей целый шкаф литературы. Только не читают.

— Нужно правильно мыслить, — протянула третья, Летиция: она на следующем уроке пересела к Рене, чтоб рассказать ей о своей любви к мальчику, который старше ее: все остальные об этом слышали. — А как тут мыслить, когда в голову целый день одно и то же лезет.

— И что тебе в голову лезет? — Пьеретта прекрасно знала, что именно, но решила познакомить ее таким образом с

новенькой.

— Пьер, конечно! — Летиции был настолько приятен предмет разговора, что она готова была говорить о нем с утра до вечера.

— Как вы целуетесь?

— Если бы! Я бы не против. Хуже в тыщу раз!.. — И поскольку все ждали, поведала: — Как он после меня к другим женщинам идет. К нехорошим.

— К проституткам, что ль? — Селеста любила называть вещи своими именами. — Да он сдрейфит сто раз, прежде чем подойдет к такой.

— А ты откуда знаешь? — ревниво спросила та.

— Что ж я, его не видела? Смотрела, как вы возле школы стояли. Он сюда-то боится войти — не то что в бордель.

— Куда?! Ой какие ты слова говоришь! — скривилась та. — Теперь только о нем думать и буду!

— Нашли что обсуждать, — сказала Пьеретта, не глядя на Рене и уже не скрывая иронии. — Тебе сказано: думай правильно — в этом твое счастье.

— Для счастья, положим, маловато, — признала Селеста. — Думай не думай, а если денег нет, ничего хорошего не надумаешь.

— Да и кто решать будет, — сказала четвертая, самая разумная из них и самая рассудительная, — правильно я думаю или нет? Если месье Пишо только.

— Для этого учиться надо, — полушутя-полусерьезно возразила Рене. — Книжки читать. — Девушки потупились и примолкли. — Я сюда учиться пришла, — сказала Рене с вызовом, будто кто-то оспаривал у нее это право.

— Все сюда для этого пришли, — возразила Селеста. — Что тут еще делать? — А другая, до того не проронившая ни слова, спросила невпопад, или у нее это вырвалось:

— Зачем тебе это? Бедная, что ли?

Ее одернули, подруги обменялись с ней выразительными взглядами, ничего вслух не сказали, но взгляды их были красноречивее, чем ее случайная обмолвка…

8

Дома успехи ее были приняты с гордостью, хотя и без излишнего восторга. Родители промолчали, когда она объявила им о поступлении в лицей: дочь уходила в чужие, неведомые края, и у них не находилось слов ей в напутствие. Жоржетта подошла, правда, пару раз к новым учебникам, взяла их с осторожностью и даже опаской, будто они вышли из-под другого печатного станка, нежели прежние, открыла, попробовала вчитаться, отложила эту затею. Жан вообще не брал книг в руки — этот торчал после работы в кафе и на улице, был на людях, там говорил и слушал, и ему не нужно было ничего другого.

Он продолжал брать Рене на свои сходки — называл ее теперь «моей падчерицей-лицеисткой». Жоржетта была этим недовольна. Вначале она, по обыкновению своему, молчала — только неприязненно супилась, затем не выдержала:

— Может, ты оставишь ее в покое? Она еще уроков не выучила.

— Да у нас сегодня ничего не будет. Обсудим только план работы на год. И бутылочку раздавим. — Жан почувствовал себя виноватым и попытался таким образом отшутиться. Жоржетта не поняла, вспыхнула:

— Ей и пить с вами?

— Да ты что, мать?! — искренне удивился он. — Что ты говоришь вообще? Мне бумагу надо завтра отослать. А я строки не могу сочинить. Говорить — пожалуйста, хоть с утра до вечера, а писать — баста, тормоз… Пусть сама решает, идти или нет, — сказал он затем, не желая брать на себя всю полноту ответственности. — Она уже взрослая.

— Я хожу туда не потому, что меня Жан зовет, — сказала Рене матери, и та уставилась на нее в недоумении. — Я тоже считаю, что за права рабочих нужно бороться.

— Видишь, как мы ее распропагандировали! — обрадовался отчим. — Она вообще молодец — я ее недооценивал…

Матери это все не понравилось, но она, будучи самолюбива и обидчива, больше в их дела не вмешивалась.

Между тем Рене не только думала, что надо бороться за свои права, но и считала, что Жан и его приятели не спешат с этим: много говорят и мало делают, а иногда просто ищут повод для выпивки. В ней с возрастом проснулось нетерпение, требующее поступков и не удовлетворяющееся словесами. Это и привело ее к событию, которое повлияло на все последующие в ее жизни. Поначалу оно представлялось незначительным, но так устроен

белый свет, что наибольшее влияние на нашу судьбу имеют именно такие, относительно невинные, наши действия. Всему причиной была еще и ее чрезмерная грамотность, никому не принесшая в жизни счастья, и рано пробудившаяся любовь к ученому остроумию, к тому, что сами французы называют «bon mot», «бонмо», а мы их за это — «бонмотистами». Но главное было, конечно, что она перешла от слов к делу, — это была ступенька, поднявшая ее на новый пролет опасной и шаткой лестницы.

Они возвращались как-то с отчимом домой после очередного заседания ячейки. Жан не успел в этот раз залить бушевавший в нем пожар любимым красным и не мог поэтому успокоиться: цеплялся то за одно, то за другое…

— Гляди! — возмутился он, увидев плакат на стене дома. — Опять приклеили! По ночам, что ль, стараются? Или пока мы в кафе сидим, прохлаждаемся? Хоть патрули на улицу выставляй. Увидел бы — руки оторвал, с их пасквилями вместе! — и, подойдя к стене, начал отдирать от нее плотно приклеенную афишу.

Она изображала переползающего через границу коммуниста со звездочкой на ушанке и с ножом в зубах. Сверху были слова «Французская акция» — это была близкая к фашистам правая организация, угрожавшая таким образом перебежчикам из красного зарубежья. В Стене правых было немного, они не осмеливались выходить на улицы, но в Париже в некоторых кварталах подобными рисунками были заклеены целые улицы.

— «Французская акция» — реакция, — загадочно произнесла Рене, глядя, как отчим рвет на куски содранную им со стены бумагу.

— Что ты сказала? — вернувшись, спросил он, взбешенный и взбудораженный. — Видишь, как они это представляют?! Шпионы через границу с ножами в зубах переползают! Провокаторы! Натравливают на нас полицию! Хотя те сами хороши! Заодно с ними! Одна шайка-лейка!

— Акция-реакция, — повторила Рене и объяснила: — Две буквы, а все меняют. Если приписать сбоку. Французская реакция получается.

— Это точно! — невпопад согласился отчим. — Акционеры — они реакционеры и есть, одна лавочка!

Но Рене уперлась. В воображении своем она уже превращала коммуниста с ножом в его партийного антипода — с помощью всего лишь двух букв алфавита. Да еще отчим как назло сказал:

— Слушай, тут от меня требуют, чтоб я подростковую секцию при ячейке организовал! — Гнев словно взболтнул его память, и

он глянул на нее просительно. — Составь список — я отправлю. Себя секретарем сделай — для блезиру. От них иначе не отделаешься.

— Нехорошо обманывать. — Рене не хотелось начинать работу в партии с обмана и посылать вверх список несуществующей секции, но она сообразила, что ее идея хорошо согласуется с директивой, спущенной сверху.

— Да я понимаю! — с досадой сказал он. — Какие тут детские секции, когда взрослых раз-два и обчелся! Я Максу так и сказал — это тот, кто нас в департаменте ведет, а он: я сам в таком же положении, такой же ерундой занимаюсь: мне сверху шлют, из Федерации, а тем из Центрального комитета, а кто за ними, одному Анри известно — или кто у них там сейчас за главного. Меняются же все время. Понадобилось кому-то детей в наши дела впутывать: надо и их в революцию вовлекать. Здравый смысл терять начинаем. А что ты хочешь? Наверху те же бездари и чиновники… Есть у тебя кого в список включить?

— Бернара если только.

— Ну если только Бернара, плохо наше дело! — засмеялся он. — Революция, Рене, в опасности…

Пока они шли домой, она окончательно надумала сколотить группу единомышленников и отметить ее рождение шуткой с плакатом: с самого начала задавая тон своей последующей партийной деятельности — тон иронической вольтерьянской насмешки над власть имущими и блестящего филологического изыска…

Идея была хороша, но как всякая другая революционная затея едва не споткнулась о малое — об отсутствие средств и, главное, исполнителей.

Она начала все-таки с Бернара: больше было не с кого. Бернар был старше ее: ему было лет пятнадцать-шестнадцать. Это был задумчивый, угловатый подросток, ни с кем не водивший дружбы и словно застывший в ожидании. Он приходил на собрания ячейки, отсиживал здесь часы: словно отбывал повинность, помалкивал, а, если к нему обращались, поспешно кивал и немедленно соглашался, но так, что никто не знал, о чем он при этом думает. Вообще было неясно, зачем он ходит в ячейку, но об этом здесь не спрашивали и к нему если не привыкли, то притерпелись. Его мать была консьержка в одном из немногих богатых домов Стена. Как-то они возвращались с Рене домой, и из его путаных и невразумительных полуобъяснений-полупризнаний она поняла, что мать его в обиде на жильцов, которые относятся к ней свысока, не как к своей ровне, он же принимает это за должное, но зато всем прочим в жизни

тяготится и не знает, чем займется в будущем: у него ни к чему душа не лежала.

Рене пошла к нему: приняв решение, она ни перед чем не останавливалась. Консьержка с сыном жили при подъезде в комнате с кухней: жилье было отделено от лестничной клетки стеклянной перегородкой, через нее можно было наблюдать за входящими в дом, не покидая плиты и готовки пищи. Мать была на своем посту, Бернар — в смежной комнатке: он вышел оттуда неслышно и лишь спустя некоторое время, хотя сразу услыхал, что пришла Рене: решил узнать сначала, для чего именно. Мать слушала Рене недоверчиво, потом с явным недовольством.

— Никуда он не пойдет! — отрубила она, хотя Бернар к этому времени стоял рядом и мог бы сам собой распорядиться. — Что ты предлагаешь? Плакаты срывать? — и закрыла дверь в подъезд, чтоб, не приведи Господь, никто не услышал.

— Не срывать, а переделать. Там приписать кое-что надо. Можно и не снимать, на месте оставить. — Рене была в шутливом настроении и хотела, чтоб другие отнеслись к делу так же.

— За это, милая, оштрафовать могут! — осадила ее консьержка. — И в участок свести. А у меня денег на адвоката нет — вызволять его оттуда… И тебе это ни к чему. Ты, говорят, в лицей попала? — Она глянула на Рене с нескрываемой завистью. — Помогли, наверно?.. И тебя там по головке не погладят, если узнают. Тебе-то это зачем? — сказала она еще раз. — Ты, считай, уже устроена. Это мой балбес, — оборотилась она к неловко молчащему сыну, — никак не определится. Учиться дальше не может: мудрено слишком, а работы подходящей нет. Хорошие места разобраны, а на плохое я его и сама не отправлю…

Бернар все молчал: теперь достаточно красноречиво. Рене поняла, что для нелегальной работы он не годится. Она задала все-таки еще один вопрос:

— А в списки секции его вводить? У нас при ячейке секция организуется.

Бернар задумался над предложением, но ответила снова матушка:

— В секцию можешь включить. В этом как раз ничего плохого. Пусть знают, что есть такой. Запиши и какое-нибудь место ему выдели.

— Заместителем секретаря? — предложила Рене.

— Можно заместителем! — Она повеселела. — Годится. Ответственность небольшая, а место видное. Если понадобится, найдут. Главное, чтоб в списках значился. В Сен-Дени вон в мэрии все красные. Может, и у нас будут. Чего нам бояться —

верно, Бернар? Нам терять нечего…

С Бернаром не вышло. Она не знала, к кому обратиться еще, и пустилась во все тяжкие: позвала алжирца Юсефа, за которого недавно заступилась. Тот, хоть и плохо говорил по-французски, сразу понял, о чем идет речь, и замахал руками, как мельница:

— Я политикой не занимаюсь! Это ваше дело — французское. Меня с работы выгонят, если узнают. И меня и всю семью выселят!

— Никто не узнает, Юсеф. Мы все ночью сделаем.

— Ночью?! — еще больше перепугался он. — Чтоб меня полиция в участок забрала! Оттуда еще ни один араб не возвращался! Ты что? С тобой даже стоять опасно! Я тебя не знаю и ты меня не видела! — и огляделся по сторонам в поисках спасения. Он, по обыкновению своему, перебарщивал, но страх его был настоящий и не нуждался в особенном преувеличении.

— В кафе ходишь? — Рене захотелось напомнить ему о недавно оказанной ею услуге.

— В кафе больше не хожу. Мы теперь у себя кофе пьем. У нас один такое кофе варит — закачаешься! Только лицензии нет — для своих только. Ох опять проболтался! — спохватился он. — Не говори никому, а то такой штраф наложат — ввек не расплатишься! — и убежал от нее не оглядываясь.

И от него Рене ушла ни с чем. Обращаться было не к кому, и, как многие зашедшие в тупик люди, Рене невольно вспомнила не тех, с кем ее связывали дела, а тех, кто ей хоть немного, но нравился: так, когда прячутся от стражей порядка, ищут в старых записных книжках адреса бывших любовниц. Многие большие дела людей начинаются с любви — если не с большого чувства, то с его проблеска или тени. Она вспомнила Жака, который хоть и не ухаживал за ней по всем правилам искусства, но останавливался возле нее на улице, уделял ей внимание и был непрочь познакомиться поближе. Она не отвечала тогда на его авансы, но и не забыла их — с тем, чтобы теперь о них вспомнить. Со дня знаменитой лекции об Энгельсе прошло два года. Жак сильно изменился за это время, стал реже торчать на улице и не задерживался больше у каждой нарядной юбки — только оборачивался на ходу и провожал очередной собирающийся в складки колокол вдумчивым и пытливым взглядом. Рене повезло, она случайно встретилась с ним возле дома — через пару дней после визита к неприветливой консьержке и неудачной вербовки Юсефа.

Жак был принаряжен: в новой рубашке навыпуск, с черной широкой лентой, повязанной вокруг шеи вместо галстука, в полосатых щегольских брючках, в лакированных штиблетах — все

это плохо шло к его простому скуластому лицу, ко времени дня да и к самой улице, с ее выстроившимися в ряд, как за подаянием, бедными обшарпанными домишками. Он кого-то ждал. Рене подошла первая.

— Ты? — удивился он, будто не должен был встретить ее здесь, а ее рассказ и просьбу выслушал с недоверием, которое тоже лишь недавно стало ему свойственно. — Акция-реакция. В общем прикипела ты к ним. А я тут недавно сидел с вашими.

Он сказал это так, будто Рене должна была знать о его отсидке, а она не знала и спросила невпопад:

— За что?

Он уклонился от прямого ответа:

— Да прогулялся, понимаешь, где не надо, — и глянул выразительно. — На три дня задержали — отпустили: сказали, чтоб пришел сегодня. Я вот и иду. Думал: может, слинять, потом решил: нет у них ничего, чтоб засадить меня надолго. В следующий раз — другое дело. А ваши — шумный народ. Большая шишка от вас была, так они тот еще концерт устроили. И не ту баланду им дали и газет, видите ли, нету. Голодовку объявили, песни весь день как оглашенные пели, начальство вызывали — оно к ним бегало. Наши тихо сидят. Могут, конечно, и побузить, если надо, но если нет, то зачем? Сиди не рыпайся, а эти как нарочно шороху подняли. Политики: им чем больше шуму, тем лучше. Что тебе?

— Плакаты дописать. Две буквы подставить. И над ними крючочек.

Он не стал вдаваться в подробности.

— Это тебе художник нужен.

— Чтоб две буквы написать?

— Буквы! У него кисточки должны быть, краски. Это тебе не Энгельса читать. Заплатят что-нибудь?

Рене не была готова к этому самому простому на свете вопросу, но отвечала искренне и с большой долей вероятия:

— Нет, наверно.

— Ваши никогда не платят, — согласился он. — На халяву норовят. Сходи к Леону — может, согласится от нечего делать. Он в клоповнике на Людовике Четырнадцатом живет. Знаешь?

— Нет.

— Клоповника не знаешь? Что ж ты тогда знаешь вообще? А еще революцию делать хочешь, — и рассказал ей, как найти Леона. — Только им одним не обойдешься. Один писать буквы должен, двое на стреме стоять: один в одном конце улицы, другой в другом. Я б тебе дал кого-нибудь, да видишь, мне сейчас не до этого. К Филину обратись: скажи, от меня — он все сделает.

— А Филин кто?

— Филина не знать?! — изумился Жак. — Да его пол-Парижа знает — не то что в Стене. На соседней улице он живет — его имя назови только, к тебе десять ребят подбегут, свяжут тебя с ним. А если я снова понадоблюсь, к Жозефине зайди: она в курсе, где я да что. Тоже вот — странная девушка, не перестаю удивляться. Пока все в порядке было, знать меня не хотела, как влип, так нате пожалуйста. Ты, говорит, пропадешь без меня совсем. Вы что: поэтому только с нами и связываетесь, что боитесь, пропадем мы без вас?.. — и не дослушав ее ответа, направился к кому-то, кто ждал его в скромном уединении: видно, нужно было закончить кой-какие дела, прежде чем идти к фликам с повинною…

Клоповником называли стоявший на улице Короля-Солнце деревянный флигель, маскирующийся штукатуркой под солидные каменные дома, высившиеся рядом. Внутри его была череда одинаковых комнат, глядевших узкими окнами на улицу и столь же узкими дверьми — на общий, шириной не больше метра, внутренний коридор с балюстрадкою. Раньше здесь была гостиница, пришедшая в упадок и в негодность и ставшая прибежищем разного рода неустроенных людей, никогда не платящих вовремя. Ожидание квартплаты, с одной стороны, и уклонение от нее, с другой, наполняли напряженную умственную и нравственную жизнь этого заведения. Из бывших номеров шел затхлый и тяжелый запах слежавшихся вещей и готовки на дешевом жиру — возможно, рыбьем. Рене спросила, где найти Леона. Женщина, указавшая ей дорогу, посмотрела на нее так, будто она шла на любовное свидание. Рене не стала обижаться: во-первых, она ни в чем не была повинна, а в таких случаях обида сносится легче, что бы моралисты ни говорили по этому поводу, во-вторых, было даже лучше, чтоб женщина осталась при своем мнении: Рене только этого и надо было. Позже, в расцвете лет и сил, когда она стала заниматься нелегальной деятельностью вполне профессионально, она поняла, что любовное прикрытие — самое верное и надежное из всех возможных. Трудно отличить одного конспиратора от другого: идя на тайные свидания, мы прячемся от людских глаз и ведем себя как подпольщики.

Леон сидел один среди глухо зашторенной комнаты. И без того было темно, а он еще провалился в глубокое кресло, утонул в нем по самую голову. Когда она вошла и окликнула его, он не сразу дал о себе знать, а сначала выждал, потом привстал над спинкой кресла, отвел от окна край шторы. В комнату влился узкой полосой скупой дневной свет и прорисовал очертания широкой, просевшей мебели и жильца, худого и долговязого.

— Садись — там стул при входе. Скинь, если на нем что есть,

на пол: мать вечно все на него бросает. Будто другого места нет. И дверь шире открой. Хозяин уже приходил сегодня, прочитал мораль свою. По второму разу не пойдет: потому как без толку. Ты кто такая? Вроде знакомая, но присмотреться надо. Против света не видно… — и раскрыл шторы пошире, дав дорогу потоку света.

Это был черноволосый юноша лет семнадцати, тонкий в кости, с одухотворенным, остановившимся лицом циника и мечтателя разом, с особой грацией в движениях, то растянутых, замедленных, то напротив — резких и прерывистых. Рене назвала себя. Он перебил, не дослушав:

— Рене? Я тебя знаю. Ты в лицей попала.

— Это важно?

— А ты думала? Не каждый день случается. Можно сказать, предмет общей гордости. Матери теперь своим дочкам твердят: не все, мол, потеряно, учись — глядишь, в люди выбьешься. Про парней уже не говорю: давно всем уши про тебя прожужжали…

Не ясно было, говорит ли он всерьез или шутит — видно, то и другое вместе. Рене вернулась к цели своего визита:

— Мне Жак посоветовал к тебе обратиться. У него неприятности сейчас. Поэтому сам не пришел.

Леон глянул недоверчиво.

— Жак с вашей улицы? Что у тебя с ним общего? Если не считать того, что он за всеми девушами ухлестывает. За тобой тоже?

— Да нет. — Рене посмеялась такому предположению. — Я не по этому делу… Мне плакат один перерисовать нужно… — и поскольку Леон ничего из этого не понял, рассказала ему план операции.

— И зачем тебе это? — он уразумел наконец, что ей нужно. — За кого ты вообще заступаешься?

— За рабочих. Они за свою зарплату борются, а их шпионами и бандитами изображают. Это провокация. Надо проучить тех, кто это расклеил.

— Вот ты как вопрос ставишь?.. — Он мельком поглядел на нее. — Хозяева — свиньи, конечно. Но ты думаешь, наш брат лучше? Такие же сволочи — может, даже хуже, потому как голодные. Я сначала, как ты, думал — по молодости, а теперь — шалишь, обхожусь без политики. Мне и одному хорошо, сам с собой разговариваю. Знаешь, чем я до тебя занимался?

— Мечтал, наверно?

— И рядом не попала. Не в том уже возрасте. Два года как не мечтаю… Время слушал. Сидишь впотьмах, от всего отключаешься и время начинаешь слушать: как оно капает. Один

на один, и никого больше. Ты не оборачивайся, — сказал он, видя, что Рене оглядывается в поисках настенных часов. — Часы тут ни при чем — это не от них тиканье. Может, сердце стучит — в уши отдает, а мне кажется, что время… Не слушаешь его?

— Нет. Я поступки люблю. Когда делаешь что-нибудь, время быстрее идет. Оно тебе подчиняется, а не ты ему.

— Жди! Подчиняется оно тебе! Оно тебя в обман вводит, а потом свое возьмет. Вперед убежит — или уйдет в сторону, так что ты его и не поймаешь… А вообще — тоска, конечно. А ты философ. Расскажи толком, что тебе надо. А еще лучше — плакат покажи.

— Нет его. Был один — отчим порвал в клочья. В Стене их нет — в Париже зато много. На конечной остановке автобуса. Там все ими обклеено.

— Еще и в Париж ехать?.. Может, нарисуешь, как он выглядит?

Рене набросала общие черты плаката.

— Какой колер хоть? Цвет какой?

— Не знаю. Бурый, наверно. Я его и минуты не видела. В темноте к тому же.

— Это ж самое главное: какие краски с собой брать. По бурому белила хорошо идут. Подписать две буквы вверху?

— Да. И «ре» с «акцент эгю» написать.

— А это зачем?

— Так положено. Надо все грамотно сделать. Чтоб видели, что и мы не лыком шиты.

— Не лыком шиты, — повторил он и глянул мельком. — А веселее что-нибудь нельзя? Простому человеку наплевать на этот «акцент эгю». Сам в первый раз слышу. Дулю не хочешь посередине плаката нарисовать? Чтоб всем ясно было?

— Дулю? — Рене не была готова к новшеству, но сердце ее было открыто всему толковому и разумному. — Но это трудно, наверно?

— Трудно?! Да я тебе ее в два счета, одним росчерком пера изображу, — и Леон показал, как будет выглядеть растиражированная на плакатах фига. — Народу буквы ни к чему — им картинку подавай. Заплатишь хоть?

— Нет, наверно, — повинилась Рене. — Может, удастся что-нибудь выбить, но не обещаю.

— Хоть честно говоришь… Не знаю… Еще кто-нибудь будет? А то я только свою работу делать буду, а ведра с красками носить да на стреме стоять — это пусть другие.

— Найду, — пообещала Рене. — Двоих хватит?

Он глянул снисходительно и насмешливо.

— Хватит. Поставят краску возле меня и за угол пойдут. А ты стоять смотреть будешь. За правописанием… — Рене встала, готовая идти дальше, за другими подельниками. — Не боишься? Как ты меня нашла хоть? В зверинце этом?

— Женщина показала. Посмотрела на меня, будто… — и Рене недоговорила, застеснявшись.

— Будто ты шлюха уличная? — бесстрашно выпалил он. — А у них другого в голове нет. Воображение напрочь отсутствует. Такая уж публика — голь перекатная. А ты за их счастье бороться хочешь. Ладно. Приходи, когда всю команду соберешь. А я пока время послушаю — что оно мне еще нашепчет… — и снова опустился в кресло, уткнулся в него по самые уши…

Еще двух помощников она нашла у Филина. Она, как и посоветовал ей Жак, пошла на соседнюю улицу и обратилась там к первому встречному мальчишке. Тому было лет одиннадцать-двенадцать, у него были живые наблюдательные глаза; звали его, как выяснилось потом, Батистом; он держал за руку совсем уже крохотного малыша и просьбе ее нисколько не удивился.

— От кого сказать?

— От Жака. С улицы маршала Фоша. — Рене научилась уже ссылаться на отсутствующие авторитеты и пользоваться их заочной поддержкой.

Батист кивнул и приказал своему подопечному:

— Стой, не уходи никуда. Вчера ушел, — нажаловался он Рене. — На ярмарке были — я его три часа потом искал. Залез под карусель и заснул там. Хорошо под колеса не попал. Последи за ним. Его Люком звать…

Он вернулся с Филином и еще одним парнем, стал в отдалении и снова взял за руку Люка, который, по его мнению, каждую минуту мог исчезнуть. Филин был одет по той же моде, что и Жак: бант на шее, лиловая рубашка навыпуск, узкие брючки, лакированные ботинки — все не к месту и не ко времени, как генеральский мундир, носимый везде и во всякое время суток и только в бою сменяемый на гимнастерку. Но если к Жаку эта одежда только прилипала и еще не пристала вплотную, то с этим франтом она срослась окончательно. Второй парень, крупный, неповоротливый, в светлой коричневой паре, гляделся важно и спесиво, но и у него это выражение лица сменялось просительным и даже заискивающим, когда он поворачивался к спутнику.

— Помоги, Филин. Дай работу какую-нибудь. Без бабок сижу — совсем прожился. Девки все. Сосут как конфету. В кредит и слышать не хотят. Никаких грошей не хватает.

— А ты их так бери, — сказал ему тот. — Что им платить вообще?

Парень вспыхнул с досады:

— Так это только ты можешь. Ты у нас каид.

(Глава банды на французском жаргоне. Примеч. авт.)

А я без них не могу. Мне они каждый день нужны, и не какие-нибудь, а покрасивше, поприличнее. Дай, Филин, что-нибудь подходящее. Я отработаю при нужде. Позовешь — разве я откажу когда?..

Филин не отвечал: видно, точил на него зуб или набивал себе цену — как некий чиновник, который, как известно, ничто так не любит, как показать свою силу и унизить просителя. Вместо ответа он зорко оглядел улицу и нашел на ней Рене.

— Это ты от Жака?.. — В его взгляде было нечто оправдывающее его кличку: глаза его хоть и не были похожи на два круглых блюдца, но глядели столь же неотрывно и жестко, как у сравниваемой с ним птицы. — Как он там? — Он приветливо осклабился, в лице его появилось умело разыгранное тепло и участие. В воровском мире — точно так же как в бюрократическом (чтоб продолжить сравнение) — уважение к рекомендателю переносится на посыльного и здесь тоже не обходится без оказания необходимых почестей и произнесения любезностей. — У него неприятности? Ты ему скажи, мы поможем. В беде не оставим, — добавил он внушительно, обращаясь к публике сзади него, хотя там были только Батист с малышом да субъект в коричневом костюме, который слушал его рассеянно и был занят своими, далеко не радостными мыслями. Филин отметил эту невнимательность, запомнил ее и нарочито ласково обратился к Рене: — Что у тебя? Чем могу помочь?

Рене рассказала, в который уже раз, про зловредный плакат и про борьбу с клеветниками и эксплуататорами рабочего класса. Филин слушал и не слушал в одно время.

— На стреме, словом, постоять? — подытожил он, перебив ее. — А почему, зачем — этого не надо. Чем меньше будут знать, тем трудней потом сдать будет, — пояснил он, видя, что она совсем неопытна. — Ты работу хотел? — оборотился он к парню в коричневом, который совсем уже рассеялся и глядел по сторонам, хотя и сохранял просительную позу. — Возьмись. Жак просит. А я по делам пойду, — и ушел стремительной походкой, похожий на птицу — уже не на увальня-филина, а журавля на длинных ногах-ножницах. У него было столько дел, что он решал их именно так, как большой начальник: по два, по три разом, закрывая одно другим и сталкивая двух просителей носом к носу.

Если Филин слушал и не слушал Рене в одно время, то парень не слушал вовсе и пропустил мимо ушей все ею сказанное.

— Что у тебя? — спросил он ее, обретая прежнюю важность и

даже сановитость.

— На стреме постоять. — Рене научилась воровской краткости.

— На стреме? — Парень опешил от ее дерзости, но спросил все-таки: — Сколько дашь?

— Ничего, наверно, — беспечно отвечала та. — Может, у отчима выбью что-нибудь, но вряд ли.

Парень оторопел вдвойне и воззрился на нее исподлобья. Так низко его еще не опускали.

— Может, свечку подержать? Твоему отчиму?.. — Он ругнулся про себя и двинулся восвояси. Батист, следивший за порядком в отсутствие Филина, напомнил ему:

— Филин недоволен будет. Он не любит, когда не подчиняются.

Парень остановился на полпути, подумал, признал справедливость его слов, обратился к Батисту:

— Может, ты постоишь? Не мне же: меня за версту видно. Как телеграфный столб буду.

— Можно, конечно, — покладисто согласился тот. — Но надо дать что-нибудь. У тебя девки, а у меня этот на руках, — и показал на Люка.

Парень ругнулся, выудил из кармана серебряную монетку.

— Последняя, — не то соврал, не то сказал правду он и ушел, бормоча ругательства. Батист припрятал денежку.

— С Люком пойдете? — спросила его Рене. — Он не помешает?

— Наоборот. Поможет только, — сказал Батист. — Будешь стоять с ним — на тебя никто не подумает. Верно, Лючок?

— Верно, — прокартавил тот, и Рене так и не поняла, работают ли они вдвоем, в паре, или Люк и вправду — вольная птица…

На дело пошли ночью. Вечером отсиживались в кафе, где Рене истратила на сэндвичи и пиво, которого не пила, некую накопленную ранее сумму, потом у Леона, где допивали уже не закусывая. Она сказала матери и отчиму, что едет к отцу, так что операцию скрыли даже от Жана. Действовать надо было в Париже, но в этом и заключалась соль замысла: врага настигали в его же логове. Можно было подъехать на автобусе, но Леон и Батист настояли на пешем переходе: разношерстная компания, да еще на последнем рейсе, могла задним числом привлечь к себе внимание специалистов. С той же конспиративной целью они прошли весь путь не главными улицами, а узкими переулками и задворками. Леон шел впереди крупным размашистым шагом свободного художника, ничем в жизни не стесняемого и не

обремененного; за ним, соблюдая расстояние, катился Батист с ведрами в руке; далее, тоже на определенной дистанции, спешила Рене, таща за собой Люка. На площади у конечной станции автобуса было темно — глаза выколи, так что непонятно было, как можно исправить что-нибудь в плакатах, которых было тут великое множество: все стены были ими обклеены, но оказалось, что Леон обладал зрением кошки. Он без труда разглядел ползущих отовсюду бандитов с кинжалами в зубах: их было тут что тараканов в его гостинице — и принялся за дело с искусством и вдохновением истинного художника: клал последние штрихи и мазки на незаконченные творения и доводил их до совершенства. Батист подсовывал ему ведерко с краской и зорко следил за дальними и ближними подступами к площади; Рене была занята тем, что опекала Люка и была, как ей казалось, лишней в этой компании. Она не знала еще своего истинного назначения «подсадной утки», и выяснилось оно для нее самым неожиданным и драматическим образом.

Она в очередной раз на всякий случай оглянулась и вдруг увидела за собой двух полицейских в форме, бесшумно выросших за ее спиною. Они тоже обладали кошачьим зрением.

— Ты что тут делаешь? — спросил один.

— Да не одна, а с пацаненком, — прибавил другой, зажигая спичку и освещая Люка. — Попрошайничаете? Сейчас в участок сведем. Чем занимаетесь тут?

— Брата искала, — наугад и без колебаний соврала Рене: пошла по проторенному пути — так лгать всегда легче. — Такой увертливый. Сбежал с ярмарки, три часа искала. Заснул под каруселью… — и Люк не подвел ее, не ударил в грязь лицом, прошепелявил:

— Голеву в колеса засунул. Хорошо не слямалась…

Он не врал, говорил правду, но вышла хорошая поддержка ее лжи, которую она произнесла с неожиданной для себя легкостью. Полицейские засмеялись, спросили, где она живет, она отвечала, что рядом. Они вызвались проводить ее, она сказала, что хорошо знает квартал и остановилась отдохнуть после длительного перехода. Они откланялись и пошли дальше. Времени, которое они провели с ней, хватило с избытком для того, чтобы Леон и Батист отбежали на сотню метров и, устав от безделья, вернулись обратно. После их ухода они, уже без помех и препятствий, доделали свою работу с удвоенным рвением и задором: будто их вовсе не прерывали.

Рене не умела благодарить и не делала этого. На обратном пути она спросила только, не хотят ли они, чтобы она включила их в список юношеской ячейки. Леон сказал, что ему в высшей

степени наплевать на то, будет ли он где-либо значиться или нет, но если ей это нужно, она может располагать его добрым именем. Батист изъявил согласие: ему было лестно, что его имя хоть где-то да появится: пусть даже в черном списке — в его возрасте люди еще тщеславны. Только с Люком вышла заминка. У него не было ни адреса, ни даже имени. Люк была подпольная кличка, данная ему сердобольным Батистом: малыш с рождения жил на нелегальном положении…

В лицее их проделка наделала много шума — особенно среди учителей, которые, неизвестно почему, интересуются политикой. Мэтр Пишо пришел в класс взбудораженный, взъерошенный: он ездил на автобусе, сошел на той самой конечной станции и с изумлением ознакомился с новой версией старого плаката, переползшего за ночь в чужой стан и перелицевавшего друзей в противников.

— Кто-то ночью расстарался! — изумлялся он. — Да как!.. Фига — цветочек, а не кукиш! И что характерно, мерзавцы — акцент эгю над «ре» поставили! Нате вот вам, по всем правилам орфографии! Это кто-то из грамотных старался. Вот кого бы на чистую воду вывести! Кто-то ведь учил их или даже теперь учит — чтоб они знаниями своими стены марали!

Мэтр Пишо одной половиной своего мозга был вольнодумец и вольтерьянец, но с тем большим рвением и даже удовольствием вторая половина его, жесткая, косная и неуступчивая, хлестала по щекам первую: чтоб привести в чувство и в соответствие с реальностью…

— Это кто-то из ваших постарался, — без стеснения сказала Селеста, подойдя к парте, за которой сидела Рене, и таким тоном, что та даже вздрогнула: не прознала ли она что-нибудь.

— Почему наши? — выигрывая время, спросила она.

— Не парижане же. У нас народ спокойный живет. Обеспеченный.

— Да и мы не промах, сами-с-усами. — К Рене липли в последнее время такие обобщения. — Не бедствуем, — а Летиция, с которой она теперь сидела, сказала примирительно:

— Это из Сен-Дени кто-нибудь. У них там красная коммуна. Скоро на Париж войной пойдут — как Сен-Антуанское предместье. А Стен при них так — с боку-припеку, — и Рене молча поблагодарила ее за поддержку, намеренную или случайную…

9

Но еще больше шуму наделала эта история в рядах комсомола и партии.

Началось с того, что спустя день-другой Жан пришел домой позже обычного и рассказал по большому секрету, что в Париже кто-то перемалевал плакаты правых так, что они стали работать на красных. Руководство партии в восторге от этой затеи и ее исполнения, но не знает, кто за ней стоит — полагают, что кто-нибудь из Сен-Дени, потому что это их конец города и они склонны действовать на свой страх и риск, никого о том не оповещая. Жоржетты при разговоре, слава богу, не было: она готовила на кухне ужин, и Рене беспрепятственно поведала отчиму, чьих рук это дело, и приложила к сему список новоиспеченной юношеской секции, о которой Жан забыл и думать. Он изумился, не поверил, но она убедила его, рассказав подробности, которые невозможно выдумать. Отчим, не ожидавший от нее такой прыти, сильно озадачился и стал думать теперь над тем, как довести этот факт до сведения тех, кому это надо было знать, и утаить от всех прочих.

— Матери не говори ничего, — предостерег он в первую очередь. — Она нас за это не похвалит…

Он должен был сообщить о случившемся наверх по партийной инстанции: там горели желанием познакомиться с автором мистификации. Надо было отправляться в Сен-Дени, но отчим не захотел ехать сам и хвастать там подвигами падчерицы. В этом была бы какая-то излишняя родственность — к тому же он опасался, что Жоржетта пронюхает о его поездке и тогда он точно уж окажется в ее глазах виноватым. Поехал Ив. Он и в других подобных случаях служил связным между ячейкой и партийным руководством: Жан любил иметь дело с народом и, чем проще, тем лучше, — Ив, напротив, простых людей чурался и, будучи по натуре своей теоретиком, тяготел к мыслящей прослойке партии. Сам он пришел в восторг от случившегося и долго, с влажными от чувств глазами, смотрел на список из четырех (где Бернар совершенно незаслуженно числился на почетном втором месте). Он только пожурил Рене, с ласковой мягкостью в голосе: за то, что она взялась за дело одна, не посоветовавшись со старшими. Известно, однако, что наши недостатки — обратные стороны наших же достоинств: именно это своеволие и неосмотрительность и вызвали горячий отклик и безусловное одобрение обойденных ею старших товарищей — в самом деле, в кои-то веки внизу что-то сдвинулось, пришло в движение и чьими

руками? Тех, кому от роду не было и шестнадцати.

Ив и Рене поехали вдвоем в Сен-Дени, где их ждали. В Сен-Дени уже не первый год подряд на выборах побеждали коммунисты: это был оазис коммунизма в одном из предместий Парижа среди капиталистической в остальном Франции. Мэрия ими контролировалась, и коммунисты здесь сильно отличались от остальных членов французской компартии, еще не достигших власти и не испытавших ее чар и влияния: соприкосновение и общение с ней делает людей, как известно, с одной стороны, взрослее, с другой — циничнее. Секретарь комсомольской организации Сен-Дени занимал одну из комнат в мэрии (противники партии успели обвинить ее в том, что она использует нецелевым образом муниципальные помещения, на что партия отвечала, что занимается в них не политической, а культурной деятельностью, входящую в компетенцию мэрии). Секретарь по фамилии Фоше, курчавый парень лет двадцати пяти, с хитрыми, лукавыми глазами, всегда готовый на розыгрыш и на иносказание, встретил Рене весело и насмешливо:

— Это та, что всем дулю показала? — спросил он Ива. — У нас от нее все в восторге. Дорио ее видеть хочет. — Дорио возглавлял коммунистов Сен-Дени и был восходящей звездой национального и даже мирового значения: его признавали в Коминтерне и побаивались в Политбюро Французской компартии. — Тут только об этой дуле и говорят. Предложили даже эмблему из нее сделать! — и засмеялся.

— Для партии? — Ив в кругу близких друзей и единомышленников терял всякую бдительность и забывал идейную строгость — раз допускал такого рода промахи. Фоше воззрился на него с удивлением.

— Ну уж! Для комсомола. Для партии — это чересчур. Да и для комсомола тоже… — И пояснил Рене: — Мы же власти добиваемся — представляешь: завоевали ее и что предлагаем рабочему классу? Такую эмблему? Лучше уж серп и молот.

— Их всегда дать можно? — невинно спросила та.

— Всегда, — эхом повторил тот и поглядел на нее с интересом. — Ты, я вижу, та еще штучка. Недаром дулю придумала. Она у тебя всегда в кармане?

— Это не я придумала. Про дулю. — Рене решила раз и навсегда решить вопрос об авторстве и восстановить справедливость.

— А кто же?

— Леон.

— А это кто?

— Художник, который рисовал ее.

— Любимая его тема? Он предложил, а ты взяла на вооружение. Значит, твоя идея. Наша задача — подбирать подобные перлы и пускать их в дело. Народ творит историю, но для нее нужны люди вроде нас с тобой, которые собирают идеи, как пчелы пыльцу с цветка, и претворяют затем в мед и сахар революции. Без этого она никогда не состоится. А сборщики эти, в свою очередь, должны быть собраны и сжаты в кулак — это и есть партия, которая живет народом и для него, но еще и является его руководителем… — и глянул выразительно, ставя точку в длинной тираде. — У тебя, Ив, дела какие-нибудь?

Ив понял намек, поднялся.

— Есть кое-что. Плакаты приехал забрать. Антимилитаристские.

— Осторожней с этим. Что тебе предлагают?

— «Руки прочь от Советской России».

— Это можно. А то у нас один влип недавно. На плакате было написано: «Солдат, бросай оружие!», а это, оказывается, преступление: нельзя оружие на землю бросать — за это срок дать могут. И призыв к этому — подстрекательство: тоже подсудное дело. Они ж только ждут к чему придраться. А «руки прочь» — пожалуйста. Хоть лапы. Хотя на лапы могут и среагировать. Оставляй Рене: пусть она Дорио дожидается. Пусть, вообще, осмотрится. Может, ей еще сидеть здесь придется. Сколько тебе?

— Пятнадцать с половиной.

— Еще полгода — и выбирать можно. А можно и теперь накинуть. Если, конечно, возражать не будешь…

Ив ушел, и секретарь пригляделся к Рене:

— Чем ты занимаешься хоть?

— В лицее учусь. Здесь недалеко. Лицей Расина.

— В лицее Расина?! — удивился он. — Как же тебя там терпят?

— Они не знают, что я в ячейку хожу. Я в ней под фамилией Салью.

— По отчиму? Это ты ловко придумала. Может, тебя с самого начала по нелегалке пустить? Раз у тебя это так хорошо с ней получается?.. Хотя для этого-то, конечно, рано… А с отчимом у тебя какие отношения?

— Обычные.

— Отчим твой из другого теста. Этот выше не подымется. Он из тех, кто хорош только в драке. Бузить, других на это подбивать, людей мутить — это они умеют, а после захвата власти неизбежно становятся в оппозицию. Не могут иначе. Это и в России так, и у нас: не те масштабы, а проблемы одинаковые.

Для правления нужны совсем другие люди, чем для бузы. Вроде вашего Ива: гибкие, которых можно мять как проволоку.

— Я думала, он упрямый.

— Ив? Это он с виду такой — жесткий и несгибаемый. Когда с чужими дело имеет. А свои что угодно из него лепят. И ты тоже подойдешь, — подбодрил он ее. — Только по другой причине. Ты умная, все поймешь — такие тоже нужны… А остальных всех менять нужно — и друзей, и союзников, и попутчиков. В этом трагедия всякой революции…

Как бы в подтверждение его слов в кабинет вошел еще один активист, круглый, покатистый, как колобок, и такой же лысый. Он был старше Фоше лет на десять, но это не сказывалось на их отношениях: это был союз равных. Пришедший подсел к столу — чтобы поделиться жгучей новостью, но из осторожности оглянулся на Рене.

— Не стесняйся: свои, — сказал секретарь. — Это Рене, та, что по Парижу дулю расклеила. — Новоприбывший уставился на девушку с недоверчивой иронией. — Это Фишю, Рене. Я Фоше, он Фишю — запомнить несложно. Что у тебя там?

Фишю повернулся к нему.

— Любэ подрался с Фонтенем. Прямо на заседании комиссии.

Секретарь удивился, но не преминул объяснить Рене:

— Оба — наши советники в муниципалитете. Проходили по единому списку… Фигурально, надеюсь?

— Какое там фигурально? Пришел бы я из-за этого! Прямо по фигуре: если в этом смысле, то фигурально. Глаз ему подбил — идет сюда жаловаться.

— Сюда зачем? Пусть в партийный суд обращается.

— Хочет сразу на Дорио выйти. Все знают ваши отношения.

Секретарь не обрадовался этому предпочтению.

— Мне только этого не хватало. Из-за чего подрались хоть?

— Не знаю. Из-за идейных разногласий. Из-за чего дерутся еще?

— Ладно. Пусть с ним Дорио разбирается. Это его уровень: когда в глаз бьют. Что еще нового? Ты из Парижа? Что там?

Фишю скорчил гримасу, означавшую худшее.

— Там все плохо. Ему на вид поставили. За утрату революционной бдительности.

— За что?

— За поездку в Будапешт. В фашистскую Венгрию. Сочли поездку политически неуместной.

— Они ж в курсе были? Он у них отпрашивался.

— Не могут теперь найти протокол заседания. Он у них, оказывается, в черновике был… Ловушка. А теперь в «Юманите»

статья будет.

— Для этого и делалось.

— Конечно!..

Они помолчали, взвешивая факты и забыв на время о существовании девушки.

— А зачем он поехал туда вообще? По большому счету?

— Если по правде… — тут Фишю снова оглянулся на Рене: скорее по привычке, чем с опаской, — то венгерка приглянулась, с которой он в Москве познакомился, — и выразительно глянул на товарища.

Тот кивнул: для него это не было новостью.

— Венгерки красивыми бывают, — сказал он. — А бабы его погубят.

— И деньги, — многозначительно прибавил другой: оба они, как два музыканта, разыгрывали концерт по известным им нотам, пропуская, для экономии, отдельные такты и целые фиоритуры. — Валюта.

— А как, с другой стороны, без валюты в чужую страну ехать? — защитил друга Фоше. — Весь вопрос, сколько.

— Много, — сказал Фишю и уже не оборотился в сторону Рене, а показал на нее глазами: ей, мол, ни к чему эти подробности. Фоше призадумался.

— Может, и нам какую-нибудь статеечку тиснуть? На них тоже криминала хватает.

— Куда? В наш «Независимый»? Сен-Дени агитировать не надо. У нас нет национального органа печати — я давно ему это говорю. И потом — как это ты себе представляешь? На пять человек кляузу писать? Это значит на всю партию ополчаться. Им легко на одного всем скопом наваливаться: паршивая овца завелась, чистка рядов — это всегда убедительно и приветствуется. Закон улицы.

— Кто стоит за всем этим?

— Как всегда, Морис, хотя формально это решение Бюро — этот трус всегда общим мнением прикрывается. За ним Жак, а остальные нос по ветру держат.

— А что Москва говорит?

— Говорит в лице Ману, что это наше внутреннее дело: сами, мол, в нем и разбирайтесь. Что в высшей степени подозрительно и доказывает, что они в этом дерьме по самые уши. Если б правда были не в курсе, что само по себе невероятно, то непременно бы вмешались: как это без них такое затеяли?

Секретарь проследил цепочку безупречно выстроенных фактов.

— Все так. Это они предупреждают. Чтоб не зарывался.

— Может, так, а может, уже взялись. Там на предупреждения время не тратят… — и Фишю поспешно встал, услыхав шум в коридоре и чей-то громкий, ораторский по тембру и по постановке голос. — Фонтень идет! Разбирайся с ним — я все это уже слышал!..

— Вот тоже — человек из прошлого, — успел сказать Фоше Рене в промежутке между двумя посетителями. — Был одним из основателей Компартии, а теперь куда деть не знаем. Сейчас будет про учредительный съезд рассказывать… — и переменился в лице в ожидании гостя: сделался любезен, терпелив, участлив…

В комнату вошел крупный осанистый человек с надутым, оскорбленным лицом и глазами, мечущими молнии. Не говоря ни слова, он стал ходить взад-вперед по кабинету, оглядываясь то на Фоше, то на Рене, потом сел избычась, наклонив голову набок и произнес давно ожидаемую фразу:

— Когда я в девятнадцатом году голосовал за присоединение к Коминтерну, я не думал, что в двадцать восьмом, среди бела дня, на заседании комиссии муниципалитета, мне набьет морду кретин из моей же партии! Все! Это последний звонок! Либо он уйдет, либо уйду я и со мной вся фракция!

Секретарь постарался угомонить его:

— Погоди, Фонтень. Нет у нас никаких фракций. Мы едины.

Фонтень поглядел на него зло и косо.

— Хорошо, нет фракций. Можешь называть это как хочешь. Уйдут мои друзья — те, кто голосовал за меня в прошлый раз и будут голосовать в следующий. И мы сообща решим, оставаться ли нам в одних рядах с этим гориллой или действовать самостоятельно. Пусть бедно, но в целости и сохранности! В тесном контакте с вами, конечно, но на безопасном расстоянии. Чтоб нам не били морду при всяком удобном и неудобном случае! Передай это Дорио. Я думал его дождаться, но, видно, не выдержу: все внутри клокочет!

Секретарь снова попытался его утихомирить:

— Погоди, Фонтень. Не кипятись. Мы его взгреем, конечно…

Фонтень поднялся, прошелся по кабинету, глянул недоверчиво.

— Вы, я вижу, все уже обсудили. И решение приняли. Поэтому ты такой хладнокровный.

— Я, Фонтень, всегда хладнокровен. Иначе тут делать нечего. Из-за чего вы поругались хоть?

Фонтень замнулся в себе, мрачно опустил глаза, отвечал с горечью:

— Мы не ругались. В этом-то все и дело, что я с ним не ругался. Я только напомнил ему о социалистических рабочих

традициях, а он как услыхал о них, вскинулся как полоумный и подскочил ко мне с кулаками. Они у вас что — звереют при одном упоминании о социализме? Нет, это вопрос решенный. Либо я — или, так скажем, мы — либо этот террорист. Надо положить конец безобразию… Я думаю, и вам не нужна сейчас лишняя свара, — прибавил он с неожиданным коварством и злорадством в голосе. — Учитывая ваше собственное положение. Если меня верно информировали о последнем заседании Политбюро! — и резко вышел вон, по-прежнему кипя от злости и негодования, но еще и затевая новую интригу.

— Пошел новость разносить, — проводил его секретарь. — Через час все только об этом говорить и будут, и уже ничего не уладишь и не погасишь. Сам себе яму роет.

— А зачем Любэ драться полез? — Рене, как всегда, вступилась за слабейшего. — Драться нехорошо.

— Да, конечно, нехорошо, — согласился секретарь. — Но это Любэ. Он с ходу в морду бьет. Он у нас охранной службой руководит. Знаешь такую?

— Не знаю, но догадываюсь.

— Вот и молодец. Чего не знаешь, о том надо догадываться: всего знать невозможно. На этом месте он хорош — надо было его там и оставить. Я говорил это Дорио, но Любэ, видишь ли, в советники захотелось. Чтоб жене его было что сказать соседям. Ему, конечно, врежут за это, и нам действительно ни к чему эта история — независимо от того, что о нас в Политбюро думают. Но Дорио Любэ не пожертвует. Он сам драться обожает. В демонстрациях вперед лезет и непременно в какую-нибудь потасовку ввязывается. Такой уж у него характер. У каждого политического деятеля свой облик. За это его и любят, в конце концов. Он десять раз в каталажках ночевал.

— Всякий раз выпускают?

— Выпускают, конечно. Фигура национальная. Известен всей Франции, да и за ее границами. Такого отпустят — во избежание неприятностей. Мелкую сошку могут оставить, срок ей влепить, а чтоб страдальца из Дорио делать, популярности ему набавлять? Пресса ведь сразу шуметь начинает… Ну что? Как тебе у нас? Сложно поначалу? Трудно разобраться?

— Не очень. Не знаю только, что я на вашем месте делать буду.

— Ты уже к моему месту примеряешься? — удивился он.

— Вы ж сами сказали.

— Сказал, но не всему же верить, Рене. Запомни это для начала. А еще точнее, ничего не бери на веру. Мы лично верим только Марксу и Ленину — потому, что не были знакомы с ними.

А если б были, то еще вопрос — может быть, тоже остерегались. Верить надо не людям, Рене, а идеям: эти не подведут. Тем более что их всегда на свой лад перекроить можно.

— Я Дорио жду? — спросила она, покоробленная его цинизмом, к которому не успела еще привыкнуть. — Чего он хочет?

— Посмотреть на тебя, — и глянул многозначительно. — Нам, Рене, нужны настоящие люди, а они на дороге не валяются, их искать надо. У него нюх на таких, он тебя учуял на расстоянии. А когда узнает, что ты в лицее учишься, вообще не отстанет. Любит умных и ученых: питает слабость к образованию. Сам-то он только курсы Коминтерна в Москве кончил — зато учился, говорят, блестяще. Его там на руках носили. Зиновьев про него сказал: наконец-то во Франции настоящий большевик появился. Знаешь, кто такой Зиновьев?

— Нет.

— А Мануильский? Товарищ Ману, как Фишю сказал?

— Тоже нет.

— Ну и не надо тебе пока. А то в лицее проболтаешься. Узнаешь, когда сюда придешь…

Дорио оказался крупным массивным человеком с большим лобастым лицом и недоверчивыми крупными глазами: на первый взгляд неповоротливый, но исполненный внутренней силы, словно собранный в скрытую пружину. От него исходило некое излучение, вербующее ему новых сторонников и почитателей — своего рода чувственный магнетизм, привораживающий к себе женские сердца и мужские взгляды. Он умел в два счета завести толпу на митингах, увлечь ее с собой на пикеты и заграждения и действительно был любим рабочими больше всего за то, что первый и без оглядки ввязывался в бой с полицией и вел себя при этом как уличный бретер или мушкетер эпохи Людовиков. По тому как он прошел и сел к столу, было видно, что и в эту минуту он невольно и по привычке взвешивает каждый шаг и вкладывает в него свой природный дар и приобретенное актерское искусство, чтобы опутать очередную жертву, заполучить ее в свои сети.

— Это та девочка, — спросил он и взыскующе уставился на Рене, — что весь Париж плакатами обклеила?

— Она, — сказал Фоше. — Не весь Париж, но она. И еще трое ребят с нею… Фонтень приходил.

— Жаловаться? Это потом. Сначала это: это важнее, — и показал на Рене, от которой не отрывал пытливого взгляда, будто стремился влезть в ее душу. — И все четверо из юношеской ячейки? Говори, не смущайся.

Рене и не думала стесняться.

— Не совсем так. Сначала обклеили, потом в ячейку вступили.

— Сначала сделали революцию, потом вступили в партию? — Дорио повеселел. — Это по-нашему. А кто они такие? Ребята твои.

— Леон — художник, без работы сидит. А Батист с Люком уличные ребята. Гавроши.

— А ты чем занимаешься?

— Учусь в лицее Расина.

— В лицее Расина? А дружишь с ними?

— Нет. Только для этого познакомилась. Другие не хотели.

— Еще бы! Кто этим заниматься будет? Для других каштаны из огня таскать. А кто познакомил тебя с ними?

— Жак.

— А это кто?

— Был хороший парень. Теперь вор с нашей улицы.

— Вор с нашей улицы. Замечательно. — Дорио получал видимое удовольствие от разговора. — Видишь? А ты мне про Фонтеня. Что такое Фонтень? Вчерашний день, и ничего больше. Ну хорошо, с теми ты только для «акции-реакции» познакомилась. А с Жаком-то у тебя другие отношения. Любовник, небось?

— Да нет! — Рене посмеялась над его предположением. — Нравилась ему чуть-чуть. Ему многие нравятся.

— Но не обошлось без этого. А оно никогда не обходится.

Рене свернула разговор, не дала ему оседлать любимого конька:

— Нельзя ему помочь? Он сидит сейчас.

— Где?

— Не знаю точно. Можно узнать.

— Но в тюряге?.. — Рене подтвердила это молчанием. — Можно попробовать. — Дорио помедлил для виду. — Но вряд ли он эту помощь примет. Могут неправильно понять: через полицию же пойдет. Лучше деньги дать. Они каждому понятны. Сколько у тебя? — спросил он Фоше.

— Немного. Франков тридцать.

— Вот и дай их. А она отнесет куда надо.

— Жозефине, — сказала Рене.

— Видишь. Не такое уж это шапошное знакомство: какая-то Жозефина еще объявилась… — И поскольку Рене молчала, спросил: — Ты-то сама чем заниматься хочешь?

— Не знаю. Учусь пока.

— А зачем в политику полезла?

— Для разнообразия… И не люблю несправедливостей. Это ж несправедливо — рабочих шпионами изображать.

— Да уж конечно. Какие шпионы могут быть? Да еще с кинжалами в зубах. Кто теперь через границы с ножами в зубах переползает? Клевета, и ничего больше… Пойдешь к нам?

— Кем?

— Кем придется. На кого выучишься. Ты, главное, учебы не бросай: нам умные и культурные люди нужны. Смотри только, чтоб тебя из лицея твоего не вытурили. За твои художества. Надо как-то маскироваться.

— Она в ячейке под другой фамилией выступает, — сказал Фоше. — По фамилии отчима.

— Видал? Да она прирожденная нелегалка. Ладно, Рене. Ступай и жди от нас сигнала. Можешь считать, ты у нас на крючке — мы от тебя не отстанем. Если захочешь, конечно, — оговорился он. — Насильно мы никого к себе не тащим…

— И что этот Фонтень? — спросил он, когда Рене вышла и с лица его сошла маска добродушного гостеприимного хозяина и очертилась неуютная и пренебрежительная складка. — Как гиря на ногах — Фонтень этот.

— Любэ на него наехал. Глаз ему подбил.

— Это я уже слышал: десять человек по дороге доложили. Любэ, конечно, надо дать по рукам: чтоб не распускал их — надо знать, где можно, где нельзя, но с Фонтенем тоже надо кончать. Небось, снова надумал учить: у него манера такая — вверх палец подымать и двигать им взад-вперед. Школьный учитель — как был им, так и остался.

— Говорит, что нам ни к чему теперь бучу затевать. Учитывая решение Политбюро.

— Так и сказал? — удивился Дорио. — Это он напрасно. Наоборот — самое время. Чем раньше мы от него отделаемся, тем для нас лучше. Он всегда мне в обузу был, а сейчас тем более. Я ж его из жалости подобрал. Меня русские о нем спрашивали, я так и сказал — пожалел, а они не поняли: не знают вообще такого чувства. У них давно к нему претензии — с тех пор, как он в Москву на переговоры ездил и условия Коминтерна не принял.

— Один?

— Один. Сказал, что слишком жесткое подчинение, или что-то вроде этого. Там еще Кашен был — так этот, как старая проститутка, подумал, подумал и подписал, остался на празднование годовщины революции, а Фонтень уехал на неделю раньше.

— За ним шесть процентов голосов? — не столько спросил, сколько напомнил Фоше.

— Было, когда мы позвали его, а когда выгоним, хорошо, если три останется. Те, кого выгоняют, теряют половину

обаяния, — и невольно призадумался: применил пророчество к собственной судьбе и персоне.

Фоше угадал ход его мыслей:

— Кто на Политбюро больше всех шумел?

— Да никто не шумел. Там не шумят. Морис мораль читал — в сочувственном тоне: чтоб не обижался. За ним Жак, конечно, стоит. А за тем русские. Не поймешь уже: кто первый, кто второй, кто третий. У Жака нелегальный аппарат и деньги. А Морис так — для вывески и для внутреннего пользования.

— Будешь ответные меры принимать?

— Нет. Без толку. Пока в тень уйду. Сыграю в их игру, покаюсь, признаю свои ошибки. Зачем? Это не даст ничего. Тут надо по-крупному решать: остаемся или откалываемся.

— Раскол?

— Можешь как угодно называть. Но пока рано. Посмотрим, что у русских будет. Все в личности упирается. Я с ними ладил, пока в Коминтерне Зиновьев и Каменев были. С ними можно было дело иметь: живые люди, хотя и чокнутые. А теперь этот — грузин усатый. У него вид, будто он с того света прибыл — бесчувственный, как мертвец, и тупой, как ботинок деревянный. Я когда смотрю на него, мне все хочется подойти и в морду ему двинуть, а веду себя как положено, подольщаюсь к нему даже. А он, хоть ему это и лестно, чувствует: вообще чует все, как какое-то животное. С ним я точно уж не полажу и не сговорюсь — новых врагов наживу только.

— Но и без русских нельзя?

— Почему? Они далеко от нас. Можно и обойтись. Подождем, во всяком случае. Может, они сами его кокнут. Потому как он им всего опаснее. У тебя деньги есть?

— Сколько? И зачем, главное? — И секретарь, не дожидаясь ответа, и без того очевидного, снова, во второй раз за вечер, полез в железный ящик.

— Сколько можешь. Но не тридцать франков, как этому бедолаге… Девочка гениальная. Смотри: в два счета разобралась, как за дело взяться и где людей найти, главное. И без большого, заметь, энтузиазма — из чувства справедливости и для развлечения: от нечего делать. Надо будет ее и правда к рукам прибрать. Сделаем ее секретарем девятого района: там место освобождается.

— А куда Роже уходит?

— А хрен его знает. Не то в центральный аппарат, не то в садовники. Наверно, руководство к себе перетянуло. Мне, засранец, не доложился. Я сам на конференцию приеду, речь скажу. Давай деньги, не скупись. У казначея не возьмешь ничего:

видеть меня не может — теперь и ты жмотишься? Для дела нужно.

— Какого? Сотня — нету больше.

— Давай двести.

— Это, между прочим, четвертая часть моей зарплаты.

— Тебе прибавим. Мне в форме надо быть — это ж вам всем нужно. Как мне жить вообще? В Будапешт не езди, в бордели не ходи — там тебя журналисты у дверей подкарауливают. Остается в гости ходить — это еще не возбраняется. Пойдем со мной. Там две дамы будут — очень нашей партией интересуются.

— Надежные хоть? В газеты не побегут?

— Нет, за них я спокоен. Из тех, кто себя не афиширует.

— Профессионалки?

— Да как хочешь называй. Для меня все женщины — женщины. Идешь или нет?

— Нет. Я женат. Хватит того, что допоздна здесь сижу, — если изменять начну, тут же выгонит. Они ж чувствуют все — как твой Сталин.

— Придется одному двоих ублажать. Нечего жениться было. Революционер должен отдавать себя целиком делу партии. Тут пятьдесят не хватает. Давай: отнесешь на представительские расходы. И на поправку здоровья лидера…

Рене с трудом разыскала Жозефину: чтоб передать ей денежное пособие. Жозефина жила в фабричном общежитии, расположенном за чертой города, по дороге, ведущей к сельскохозяйственным угодьям. Дом был барачного типа, построен самым простым образом, без всяких ухищрений: длинная коробка с низкой крышей и частым рядом окон, свидетельствующем об узости комнат; удобства были снаружи. Этот барак возвел муниципалитет и гордился им как решением проблемы переселенцев, но жилье это никому еще не принесло счастья, никто не гордился получением здесь места. Из всех видов бедности худшая не та, что граничит с нищетою, а та, что проходит на виду у прочих: то, что ежедневно свидетельствуется людьми, узаконивается в их глазах и унижает и оскорбляет нас всего более: лучше уж с важным видом войти в большой и красивый дом и забраться тайком в тесную и низкую конуру под крышей. Впрочем, счастье трудно сыскать: эта птица вообще редко ночует под нашими стрехами.

Рене спросила, как попасть в общежитие — ей уклончиво ответили, что Жозефину сейчас вызовут. Ей показалось, что девушки, вешавшие белье на веревках, протянутых по двору, не хотели, чтоб она вошла внутрь. Жозефина, вскоре к ней вышедшая, подтвердила ее догадки:

— Здесь постоим, в дом не пойдем. Там девчонки догола разделись, стесняются. У нас стирка сегодня: вода горячая.

Рене назвала себя. Она кивнула.

— Я помню. Ты лекцию читала, — и, помявшись, добавила: — Про Энгельса. Видишь, и фамилию запомнила. Потому что Жак про тебя сказал, что ты умная, а я приревновала малость, — и обнажила в улыбке крепкие здоровые зубы.

Это была рослая, степенная блондинка с гладко зачесанными назад светлыми волосами, вчерашняя крестьянка. Глядела она поначалу терпеливо и как бы подслеповато, но в следующую минуту словно прозревала, глаза ее оживлялись и блестели. Деньгам она, как и предсказывал Дорио, обрадовалась.

— Сколько тут? Тридцать? Не разгуляешься, но посылку собрать можно. Или на сигареты оставить… Это не твои? — подумала она вдруг и замерла с деньгами в кулаке.

— Нет. Из Сен-Дени, комсомольские.

— Общие, словом, — успокоилась она. — Ему уже передавали. Из другого общака. Ладно, завтра отнесу, — и засунула деньги в вырез платья.

— Будешь ждать его? — Рене набралась смелости и задала этот, как ей показалось, вполне взрослый и естественный вопрос.

— Подожду, конечно. — Жозефина близоруко потупилась, потом призналась: — Плохо одной. Девчонки тут — с ними легче, конечно, а так — как в чужой стране живешь. — И глянула проницательно. — Хорошо тебе: ты у своих, а мы не поймешь где — и не в гостях и не у себя дома. Савоярка, и весь разговор. Только что по-французски говорим. Да и то, оказывается, не так, — поправляют все кому не лень.

— А зачем уехали?

— Делать там нечего. Фабрику закрыли — без работы остались. Сначала парни уехали, потом мы за ними. Мать вот его — тоже слышать обо мне не хотела, — припомнила она еще одну обиду: — Зачем тебе приезжая, говорит: своих, что ль, нету? А теперь признала. Молчит, правда, но начала считаться. Завтра вдвоем с ней пойдем. Он вообще хороший парень, — прибавила она, будто Рене в этом сомневалась. — Забавный. И ласковый. Полез только куда не надо. Не в свое дело. Говорит, больше не буду… Подожду его — потом, глядишь, и ребенка смастерим, — и неожиданно заулыбалась во весь рот. — Тебе этого не понять, а мне в самый раз. У нас в деревне говорят, кто в двадцать пять не родит, тому там и делать нечего. А мне двадцать четыре… — и глянула выразительно. — Разболталась с тобой. Стирать пойду. У нас стирка сегодня по расписанию. Весь двор занавесим — не пройдешь, будем, как по лесу ходить аукаться, — и ушла домой,

унося с собой нерасплесканную свежесть деревенских чувств, а Рене поплелась домой, обескураженная и чем-то даже уязвленная…

Причиной этого мимолетного расстройства духа была, конечно же, ничем не обоснованная и глупая ревность к Жаку — тем более неуместная, что она питала к нему лишь дружеские чувства и никогда не хотела большего. Досада эта улетучилась, едва она успела дойти до дому, — для этого нужно было только одуматься и напрячь умственные способности. Ревность прошла, но зато другая мысль, более въедливая и бесцеремонная, пришла ей на смену. Рене подумала, что ей свойственно поступать без оглядки, пренебрегать тем, что дорого и важно другим, а потом спохватываться, расстраиваться и обижаться оттого, что она не успела к общей дележке, и вот этот-то внутренний звонок и предостережение и остались без ответа и должного возражения — с ее стороны или того, что руководило ее поступками…

10

В лицее по-прежнему ничего не знали о том, что она делает после уроков. У нее была сложившаяся репутация примерной отличницы, не приходившей на занятия без выученных уроков, и она ревностно блюла ее. Она взяла за правило читать учебник дважды: в первый раз как всякую другую книгу, потом — для ответа учителю: читая урок во второй раз, она мысленно его рассказывала, так что на следующий день ответ ее катился гладко, как по-накатанному. За невозмутимой примерностью те в классе, что были наблюдательнее и проницательнее прочих, подозревали нечто большее, но за неимением сведений на этот счет помалкивали: в конце концов, каждый имеет право на свои тайны. Иногда кое-что прорывалось все-таки наружу. Так, одна из учениц заметила, что она ходит в лицей как на службу. Что скрывалось за этим замечанием, было ли оно колким или нет, Рене не поняла, но отчего-то рассердилась: она отличалась обидчивостью, а по мелочам и пустякам в особенности.

То, что она скрывала, не интересовало ее одноклассниц. Если здесь что и прятали, то домашние тайны, которые могли понизить их обладательниц в общественном мнении. Ценилось прежде всего происхождение: имелось в виду аристократическое — давняя слабость сословной Франции. Безусловных дворянок в классе было немного: три или четыре. Они не зазнавались, не кичились предками, но держались особняком: так получалось само собою, и никто из посторонних не притязал на участие в их компании. Когда не было высокого происхождения, в ход шло положение родителей — прежде всего служебное. Им тоже открыто не хвастали, но не забывали время от времени о нем напомнить: могли, например, объявить во всеуслышание: «Отец распределял вчера кредиты в банке: он же у меня заместитель председателя». Такие сообщения встречались с молчаливой иронией, но принимались к сведению — как напоминание о том, что было и без того известно и не подлежало оспариванию. Богатство, особенно недавнее, считалось неприличным и не подлежащим огласке — напротив, им могли лишь уколоть в глаза или опорочить заочно. Про Селесту, которая по-прежнему верховодила в классе, одна из подруг, разозлившись на нее, заметила с ехидцей:

— Выступает, а сама каждый год в Лион ездит. У нее там дед с бабкой — булочники: сумку денег с собой дадут, а она их здесь мотает… — и умолкла, решив, что сказала и так более чем достаточно…

Бедность тоже не поощрялась и могла быть осмеяна — не в открытую, но иносказательно. Лицейский кодекс чести говорил, что денег должно быть много, но они должны иметь безупречное происхождение. Быть булочником, например, считалось непристойным. Профессии родителей были на последнем месте — после происхождения и чиновного положения; это была низшая ипостась общественной жизни, предполагающая необходимость трудиться, что считалось не вполне приличным.

Рене была вне этого соперничества. Она пришла в класс со стороны, из низших слоев общества, чтоб учиться на казенный счет, и с самого начала объявила всем, что ее отец (она не стала называть его отчимом, чтобы не запутывать одноклассниц своей семейной жизнью) — краснодеревщик. Она сказала именно так, а не то, что он простой столяр, и одна из слушательниц, дружески к ней расположенная, уловила намек и заметила по этому поводу, что краснодеревщики иной раз хорошо зарабатывают — если они, например, реставраторы мебели. Рене бы смолчать, но честность ее взяла верх, и она сказала, что он хоть и краснодеревщик, но работает на фабрике. Дополнение это было принято с замешательством и непониманием: ей дают шанс повысить без всякого обмана свои акции, а она отказывается. Одно дело — реставрировать мебель: человека, занимающегося этим, можно приравнять к художнику, другое — ходить каждый день на фабрику. Слово «фабрика» вообще было не для произнесения вслух: воображение сразу начинало рисовать грязные темные цеха и иные непотребные ужасы, и то, что Рене не знала и не понимала этого, сбрасывало ее вниз, к основанию общественной лестницы.

Еще одна девушка в классе выглядела заговорщицей — картой, положенной на стол лицом книзу, носительницей некой тайны. Это была Летиция — та, что в первый день подсела к ней и с которой она до сих пор сидела за одной партой. Что это был за секрет, Рене поняла не сразу, хотя за год они тесно сблизились и едва ли не подружились. Вначале ей казалось, что тайна эта — во влюбленностях и любовных приключениях Летиции: та действительно только о них и говорила, остальное ее мало интересовало. Но это был секрет Полишинеля — из тех, что разглашают нарочно, на каждом шагу говорят о них и берут обещание не передавать далее — и все с одной целью: скрыть нечто другое, более важное и существенное. Обе конспираторши были и в самом деле чем-то схожи, и кто-то в классе подметил, что они не случайно сели рядом. Все с этим согласились, хотя никто не мог сказать, в чем заключается их сходство. Летиция тоже ничего не говорила о своих родителях, но это не мешало ей чувствовать себя непринужденно с самыми знатными из учениц и

те, хотя и не искали ее общества, молча признавали ее место в классе и ее право на равенство даже с ними.

После занятий девушки обычно прогуливались до конечной станции автобуса — той самой, где когда-то состоялась акция с плакатами. Вокруг зеленели каштаны и платаны, серели нарядные дома с классическими фасадами, с коваными оградками на балконах, краснели и пестрели узорными буквами полотна вывесок кафе и магазинов.

— Сегодня на свидание к Пьеру иду, — доверялась Летиция Рене, которая вовсе не просила у нее этих признаний. — У меня все мальчики Пьерами были, только первый — Пьеро, а этот — просто Пьер: так мужественнее и волнительнее. С Пьеро у меня ничего серьезного не было. Да и не могло ничего быть: он всего боялся, даже целоваться за год не научился. А этот совсем другой. Я в мужчинах больше всего ценю смелость, дерзость и мужественность. Он, можно сказать, взрослый. Тот Пьеро, этот Пьер — я уже с ума схожу от одного только имени. Он старше меня на пять лет: учеником архитектора работает, через два года сам будет архитектором. Не проводишь меня?

— Куда?

— К нему. Зайдем домой, бросим сумки, потом пойдем гулять вместе. А то мать удивляется: где, говорит, твои подруги, почему с ними не гуляешь? Не говорить же ей, что меня не подруги, а молодые люди интересуют. С подругами мне и говорить не о чем. Если с тобой только. Потому что ты молча слушаешь и никому слова не скажешь…

Рене не нравилась роль снисходительной дуэньи. Не хватало еще ходить с Летицией на свидания.

— Мне надо вовремя дома быть. С Жанной сидеть и уроки делать.

— Уроки всем делать надо. Ты так все время проводишь? Ничего больше не делаешь? — не верила, допытывалась Летиция. — Никогда не поверю, что так жить можно. Что-то ты скрываешь. Говорить не хочешь, а у самой, наверно, давно уже поклонник постоянный. Или вообще замуж вышла, — давая волю фантазии, додумывала она, — поэтому и домой спешишь. К своему возлюбленному…

Рене отмалчивалась — не опровергала и не подтверждала ее догадок: во-первых, лестно, во-вторых, удобно как прикрытие. Она не позволяла себе и заикнуться о своей деятельности в ячейке — даже Летиции, с которой сидела за одной партой, — и не потому, что боялась разоблачений, а потому, что вела здесь, в лицее, иную жизнь, чем в ячейке, не знала еще, какая из них будет ей нужнее в жизни, и хотела оставить обе в

неприкосновенности и в несоприкосновении…

— Жаль, — говорила Летиция. — В следующий раз как-нибудь. Она, правда, и не очень-то интересуется моими делами. У самой роман на полном ходу. Скрывает от меня, а я ж все вижу. Приходит с духами новыми, а я знаю: она их не покупает, ждет, когда подарят. А если покупает, то всегда одни и те же. Новые ей поклонники дарят. А я беру у нее их потихоньку, подворовываю. Она замечать стала: что-то, говорит, быстро убавляться стали — улетучиваются. Я опрыскаюсь, а она не чувствует: запах-то свой, собственный…

Они доходили до памятной площади. Дальше Летиция садилась в автобус, на который могла сесть и раньше: он здесь сворачивал — а Рене продолжала прежний путь в одиночестве. Летиция не могла понять этого.

— Что ты не сядешь? Автобус же до Стена идет? Тебе час еще туда добираться.

— Сорок минут, — поправляла Рене. — Надо размяться после уроков.

Летиция глядела недоверчиво.

— Врешь все. Деньги копишь? На книжки?

— Ну да. Вчера Стендаля купила. «Красное и черное».

Это было единственное, чем Рене позволяла себе похвастать. Но в данном случае это была полуложь-полуправда. Правда состояла в том, что она и в самом деле откладывала деньги на покупку классиков из дешевой серии, ложь — в том, что ее денег все равно бы не хватило на ежедневную поездку в автобусе.

— Хорошо тебе — ты книги любишь, — вздыхала Летиция, — а меня только Пьеры и интересуют… — И в ожидании автобуса еще раз, напоследок, распространялась о своих отношениях с любовником, оставляя на прощание самое важное — их тайные встречи на квартире, нанимаемой для этого предприимчивым юношей. Летиция не договаривала главного, но так красноречиво о нем умалчивала, столь выразительно останавливалась среди разговора, что паузы звучали убедительнее самого обнаженного повествования. Эти откровения не волновали Рене, она не завидовала подруге. Она понимала их скорее умом, чем сердцем, они были лишены для нее опытной осязательности: насколько Летиция щеголяла своей осведомленностью и хладнокровием в любовных делах, настолько же Рене не была посвящена в них и была невинна душою; но и в этом они тоже были схожи — как сходятся крайности и противоположности одного явления.

Однажды Летиция повторила свою просьбу — проводить ее до места свидания с Пьером. Глядела она при этом необычайно сердито. Рене завела старую песню о домашних делах и своей

занятости, но Летиция нетерпеливо прервала ее:

— Сегодня вправду нужно. Пьер мой чудит — сам хочет этого. Почему, не знаешь? — и глянула искоса.

Рене опешила.

— Откуда мне знать? Я его не видела никогда.

— Да?.. — Летиция одумалась. — А я уж бог знает что подумала. Я ему про тебя рассказывала — решила, хочет теперь с тобой встречаться… Приходи, говорит, с Рене, а сам так и трясется. От страха, что ли… И на работу, говорит, не приходи, — припомнила она еще. — Я к нему в мастерскую прихожу — договариваться через окошко о свиданиях: меня там все знают… Архитектор, наверно, разозлился. Но зачем на квартиру вдвоем ходить? Непонятно…

Они зашли к ней домой. Летиция жила с матерью на одном из бульваров в уютной мансардной квартирке, где обычные прямые окна дополнялись косыми, врезанными в крышу. У них была крохотная гостиная и такие же две спальни. Видно было, что живут здесь молодые женщины, не обременяющие себя заботами о порядке. Кругом были живописно разбросанные фарфоровые безделушки, флаконы от косметики; на бронзовых часах повисла наспех брошенная блузка — судя по размеру, матери; на кресле лежал чулочный пояс. Летиция открыла дверь своим ключом, мать мылась в ванной.

— Опять кто-то был, — вполголоса заметила дочь, снимая блузку с часов и кидая ее в кресло, к поясу.

— А ты откуда знаешь? — недоверчиво спросила Рене: она и представить себе не могла подобное отношение к матери.

— Да видно же. Статуэтки не так стоят — перебирали их, что ли? Пока болтали… — и поставила фигурки, как стояли прежде. — Ты скоро? — окликнула она мать и прибавила: — Вот еще доказательство. Чего ради днем в ванну полезла?..

В ее интонациях была ворчливость и опека, какая бывает у старших сестер по отношению к непутевым младшим. Но Рене поинтересовалась не этим:

— У вас круглый день теплая вода?

— Конечно. Консьерж греет, ему платят за это. У тебя не так разве?

— Нет. Сами греем на печке.

— Раз в неделю моетесь? — Летиция глянула недоверчиво.

— Почему?.. В баню ходим.

Та поморщилась.

— Это большое свинство. Со стороны вашей консьержки, я имею в виду. Скажи ей об этом. Лучше вообще, когда мужчина этим занимается. Как и всем прочим тоже… — И Рене, приняв это

к сведению, благоразумно отмолчалась, не сказав главного: ни консьержа, ни консьержки у них в доме никогда не было…

Матери Летиции было лет тридцать, не более — хотя по возрасту дочери могло быть больше. Она была в легком, почти прозрачном халате, наброшенном на голое тело и не скрывавшем его соблазнительных округлостей.

— Здесь где-то блузка была, — стеснительно сказала она и поискала глазами. — На кресло бросила. Никогда не помню, куда что кладу. — Она подняла с кресла одежду и задержалась. — Это и есть Рене? — угадала она, потому что Летиция не представила подругу. — Серьезная… Повезло дочке моей. Списывает у тебя, наверно?.. — и замешкалась, видно, раздумывая над тем, переодеваться ли ей здесь или уйти в спальню, решила: — Пойду оденусь… Отец приходил, — бросила она походя.

— Сюда? — удивилась та.

— В магазин. Сюда он давно не ходит: не те у нас с ним отношения. Духи тебе подарит… — Это она говорила уже из спальни. — Я ему пожаловалась, что ты их у меня крадешь, так он пообещал тебе с десяток принести — на выбор. Буду теперь у тебя брать.

В глазах Летиции зажегся хищный огонек.

— Где они?

— Говорю ж, нет еще. Не успел принести. Не терпится?..

Она вышла из спальни — одетая и еще более привлекательная, чем прежде. Костюм скрывал ее пухлое избалованное тело, но оставлял глубокий вырез на груди и шее, и частичная, очерченная нагота была прельстительнее полной, едва прикрытой. Соответственно этому, прежнее раскрепощенное выражение лица сменилось другим, более собранным, но и в нем угадывались сытость чувств и довольство жизнью.

— Ты куда? — ревниво спросила дочь.

— В магазин. Надо посмотреть, что они там без меня делают.

— Не была с утра?

— А что там утром делать? Заберу выручку.

— Деньги дома есть?

— Есть, конечно. Лежат, как всегда, в тумбочке. А ты куда собралась? — Теперь она глянула вопросительно.

— Пойду с Рене пройдусь. Прогуляемся.

— Деньги тогда зачем?

— Так спросила. Для порядка.

Мать согласно кивнула.

— Ты у меня такая. Следишь за порядком. В отца… — и ушла, подобрав сумку, которую по рассеянности едва не забыла.

— Где она работает? — спросила Рене.

— Магазин держит. Это наша собственность. Шляпки, сумки. Галантерея, одним словом. Здесь недалеко, на бульварах.

Рене это было знакомо.

— У меня мать всегда о таком мечтала. У нее было шляпное ателье с лавкой.

— Она, наверно, из него не вылезала? — угадала Летиция. — А моя раз в день наведывается, и то не всякий…

— А отец где живет? — осторожно спросила Рене.

— Отдельно. Он с нами не жил никогда. Я у них внебрачная… — Это она произнесла беспечно, но преодолевая некое внутреннее сопротивление и поправила зачем-то разодетую крестьянку-пастушку на серванте, которая и без того стояла на своем месте. — Нехорошо, конечно. Не скажешь никому — тебе если только, потому что ты как могила: никому не передашь, но что поделаешь? Внебрачные дети и у королей были… Тебе это, наверно, непонятно?

— У меня не отец, а отчим. Отца я почти не вижу. Был в последний раз год назад.

— Это потому что ты в браке родилась. Виноватым себя не чувствует. А мой своих законных так не опекает, как меня. Денег даст сколько попросишь — лежат вон без счету в тумбочке. Это ведь мои, а не матери. Любит меня очень. Жить можно… Ладно, пошли. Что это Пьер мой выдумал, не знаешь? Вот и я тоже не догадываюсь…

Пьер ждал их в условленном месте. Они увидели его издали. Он был в модном котелке, в коротком, по моде, пиджаке с расходящимися полами, в длинных, в полоску брюках. Котелок, водруженный на узкую голову юноши-подростка, увенчивавший худощавое, почти щуплое тело, делал его смешным, но эта комичность не убавляла, а лишь усиливала симпатии Летиции:

— Вон он. Забавный, правда? В котелке своем. Но я его за это люблю еще больше — смешного и беспомощного. Все мужчины такие…

Но это было ее последнее объяснение в любви к Пьеру. Разговор, происшедший затем, свидетельствовал о чем угодно, но не о беспомощности обладателя котелка и полосчатых панталонов. Рене он удостоил мимолетного пасмурного взгляда и обрушился затем без лишних слов на свою подругу:

— Ты обо мне отцу говорила?

— Я? Зачем? — Летиция была сбита с толку. — Почему я должна ему о тебе говорить?

— Потому что за мной следят — вот почему! — огрызнулся он. — Надо кончать с этим! — и огляделся с внушительной важностью: будто и вправду видел за собой слежку.

Летиция закипела от гнева:

— Ты и Рене для этого позвал? Чтоб при ней это сказать?

— Рене я позвал для отмазки. Чтоб лишнего свидания не было. Ты сама это предлагала, и мать сказала то же самое. Я про тебя матери рассказал, — пояснил он затем. — Говорит, бросай все и беги куда подальше.

— Ты и с матерью советовался? — Из всего сказанного им для Летиции это было самое оскорбительное.

— Сказал. Решили, что так лучше, — и прибавил для спасения лица: — Жениться мне еще рано.

— А я за тебя и не пойду. С чего ты взял?

— Все-таки. Были близкие отношения, — лицемерно возразил Пьер и оглянулся на Рене.

— Это, Пьер, еще не повод для замужества, — отрезала Летиция, и он покоробился таким бесстыдством. Она подумала мгновение, решила: — Разошлись, значит?

— Значит, так, — с сумрачным облегчением согласился он и попробовал оправдаться: — Такие вещи надо с самого начала говорить. Про отца я имею в виду.

— Следующему скажу сразу же, — пообещала она и, резко повернувшись, пошла вон, так что зазевавшаяся Рене не сразу ее догнала.

— Кто у тебя отец? — спросила она у подруги, которая шла скорым шагом и на этот раз не была расположена к дружеским излияниям.

— В полиции служит. Не то самый главный в Париже, не то второй по значению.

Рене тоже опешила — хотя по иной, чем Пьер, причине.

— Может, тогда за ним и правда слежка была?

Летиция покосилась на нее.

— Спрошу отца, но вряд ли. Слушай его больше. Он вон опять глядит по сторонам, озирается. Трус несчастный. Почему мне так на трусов везет, не знаешь?.. Ты хоть меня теперь не боишься?

— Нет, конечно, — сказала помешкав Рене, а сама возблагодарила своего ангела за то, что молчала до сих пор о своих проделках. Летиция была, конечно, хорошая девушка, но каждый из нас может проболтаться — особенно в разговоре с близкими…

Между тем близился день районной конференции, и Фоше дважды уже спрашивал через Ива, намерена ли она занять место секретаря, ушедшего в садовники. Рене хоть и втянулась в комсомольскую деятельность, но не была готова отдать ей целиком свое будущее. Ей было интересно в ячейке: были занятны люди, их борьба, ее собственная шалость с плакатами,

которой она гордилась. Она конечно же сочувствовала бедным: тем, у кого не оставалось для себя ни сил, ни ни времени, а все уходило на изматывающую борьбу за существование, но от такого сострадания до служения беднякам дистанция огромного размера, да и само сочувствие несет в себе примесь снисходительного превосходства, плохо согласующегося с самопожертвованием. Неизвестно, как сложилась бы ее жизнь: может быть, она потянула бы с согласием возглавить комсомольцев девятого парижского региона и сказала Дорио, что повременит, займется подготовкой в институт (она уже думала об этом), но тут вмешалось третье лицо, и, как это часто бывает в минуты шаткого душевного равновесия, самое важное в жизни решение было навязано ей извне, стало ответом на стороннее насилие.

Однажды Летиция, не дождавшись конца школы (обычно она откладывала разговоры на послеурочное время), сказала ей:

— Нас с тобой отец в ресторан приглашает. Не какой-нибудь — в «Максим»! Лучший ресторан в Париже. Я сама там не была. — Она была оживлена и заранее предвкушала удовольствие. — Там один обед месячную зарплату стоит!

Если это и могло повлиять на Рене, то лишь в обратном направлении: как исконная крестьянка, она не любила пускать пыль в глаза и излишне тратиться. Поэтому она отказалась и предложила Летиции пойти с отцом вдвоем:

— Зачем я там вообще? Что у нас с ним общего?

— Хочет познакомиться с моей лучшей подругой. Говорит, родители на нас так не влияют, как товарищи. Пойдем! — жалобно простонала Летиция. — Он без тебя не пойдет. У него стол на троих заказан, вдвоем не пустят, — еще и приврала она. — Так просто туда не попадешь, когда еще удастся?.. — И Рене поневоле согласилась: пошла подруге навстречу из ложно понятого чувства товарищества, хотя сердце ее не лежало к этому…

Отец Летиции приехал за ними к концу занятий на служебном автомобиле. Шофер прогудел с улицы, девушки в классе повскакали с мест, даже учитель важно подошел к окну и скосил завистливый взгляд вниз, где возле чугунной ограды чернел и блестел на солнце роскошный (по тогдашним, да, наверно, и по нынешним временам тоже) открытый кабриолет с откидывающимся верхом, похожий на конную коляску, лишь недавно вышедшую из употребления. Приезд подобного автомобиля был событием даже для такого учебного заведения, каким был лицей Расина, — ученицы предложили отпустить подруг до окончания урока, и учитель своей властью скрепил это

решение.

Отец Летиции не вышел им навстречу, дожидался их в машине. Это был невысокий коренастый человек плотного сложения, с седым, аккуратно стриженым кружком вокруг загорелой лысины, с живыми блестящими глазами, одновременно приветливыми и ироничными. Он оглядел дочь с любовной насмешкой, перевел затем взгляд на ее неяркую, неброскую спутницу, которая, в отличие от оживленной подруги, выжидательно помалкивала и прищуривалась: не то на солнце, не то на важного чиновника.

— Познакомишь нас? Вы Рене, конечно? Меня Морисом звать. Так и зовите.

— Рене тут с неловкостью поклонилась или нагнула голову, чтоб сесть в машину. Он изучал ее. — Только никаких «месье». Месье пусть вас в лицее учат.

— Мы в «Максим» едем? — спросила Летиция.

— Нет. В другой ресторан. Ничем не хуже «Максима».

Летиция закапризничала:

— А я хотела в «Максим»! Ты сам это сказал!

— В следующий раз. Подруга твоя, надеюсь, не против?

— Я вообще в ресторанах не была, — призналась Рене. — Только в кафе. И в автомобиле не ездила.

— Вот видишь. Значит, у вас сегодня двойной праздник, — любезно осклабился Морис. — Можете загадывать желания. Летиции хуже. Она везде была и все видела — даже неинтересно.

— В «Максиме» не была!

— Еще будешь. Ты был в «Максиме», Жак? — спросил он шофера, приглашая его в собеседники.

— Был. Стоял у ворот, пока вы там сидели.

— А зайти туда не хочешь?

— За свой счет?

— А за чей же?

— С ума не спятил — деньги там мотать. Мне жена что нужно сготовит. Вы-то, небось, туда не на свои ходите.

Морис поворотился к девушкам, ухмыльнулся.

— Слыхали наглеца? Нет, сегодня на свои. По личному делу. Пока что, во всяком случае…

Ресторан белел алебастровой лепкой стен и потолка, желтел позолотой, темнел бронзой, краснел бархатом стульев; столы были заставлены хрусталем и серебром, обычными спутниками роскоши и богатства. Посетителей было немного, они ели беззвучно, будто боялись нарушить тишину, и безупречные движения их холеных рук были размеренны, вкрадчивы и осторожны. Морис говорил громче всех и чувствовал себя

свободнее других гостей: будто был родственником хозяина. Он заказал для начала заячий паштет из мелко нарубленного мяса со специями, креветки в розовом соусе и бутылку белого.

— Остальное — как пойдет, — сказал он вышколенному официанту, который мог бы победить на конкурсе немых сцен и живых фигур, если бы такие проводились. — Вы, я слышал, литературу любите? — спросил он Рене, ради которой и устроил эту встречу, повеселел, осклабился в дружелюбной улыбке. — Про вас легенды ходят — как вы экзамены сдавали.

— И до вас дошло? — не слишком любезно пошутила Рене, имея в виду его профессию. Он понял и не обиделся.

— Нет, Летиция рассказала. До полицейских сводок вы пока не дотягиваете. Давайте, пока нам закуски несут, экзамен небольшой устроим: вам — как вы знаете литературу, мне — как я ее помню. Летиция тут пас — не знает ее и знать не хочет. Если б в мое время училась, провалила бы все экзамены и никакой отец бы не помог: у нас тогда строго было. Она одного Бальзака с другим путает и не видит в этом ничего зазорного. — Глаза его по-прежнему пытливо изучали Рене, но теперь еще и окутывались воспоминаниями и влажно поблескивали: он, видно, любил возвращаться в прошлое. — У нас в вашем возрасте игра была: кто-нибудь начинал читать стихи, а другой должен был их подхватить и продолжить. Мы многое учили наизусть: считалось дурным тоном не знать хоть что-нибудь из каждого хорошего французского поэта — это было как пропуск в высшее общество. Попробуем? — и оглядел обеих, приглашая к состязанию.

Летиция благоразумно устранилась от него и замолкла. Рене боролась со стеснительностью, которую вызывал в ней не Морис, а роскошь ресторана, — она смотрела по сторонам, задумывалась и рассеивалась. Морис не стал дожидаться ее согласия.

— Я говорю первое четверостишие, Рене — второе, я третье, Рене — четвертое. Так? Что возьмем для начала, для разминки? Что-нибудь из Ронсара? Что все знают?.. Ты что-то не слишком торопишься, приятель, — выговорил он поспешавшему мимо официанту, и тот изобразил на лице высшую степень услужливости и почтительности:

— Особенно стараемся. Паштет велели наново делать. А вино из старых запасов взять — туда дойти еще надо. Хозяин распорядился, — пояснил он многозначительно.

— Ладно. — Морис остался удовлетворен его объяснениями. — Займемся тогда духовной пищей. Память, говорят, натощак лучше, — и начал из Ронсара:

«Вам будет много лет. Уже седой и хрупкой, Прядя под вечер шерсть и греясь у огня, Вы вспомните, как я молил вас об уступке,

И скажете, вздохнув: Ронсар любил меня».

Для Рене это не представляло трудностей — она бойко и громко, так что половина зала вздрогнула от звуков ее упругого, гибкого, поднаторелого на уроках литературы голоса, прочла вторую половину пароля в высшее общество:

— «И кто бы ни был там, за прялкой или ступкой, Служанка ль, сонная от хлопотного дня, При имени моем в улыбке сморщит губки И вас благословит, крестом вас осеня».

— Верно. Именно так она и сделает, — одобрил Морис и продолжал — видно, он любил эти стихи и выбрал их не из-за одной их широкой известности:

«Я буду мертв уже, и дух мой бестелесный Над вами воспарит, а ваш из плоти тесной Потянется к нему, из клетки в пустоту…» Ну, Рене!

Рене не отставала:

— «Вам станет жаль любви, что вы отвергли ныне, Всему есть час и год, нет срока лишь гордыне, Срывайте с роз красу, пока они в цвету».

— Ну вот! — Морис остался доволен. — Так и надо поступать. Правда, Летиция? — Он повернулся к дочери и каверзно улыбнулся. — Эта своего не упустит. Срывает эти самые цветы и даже о шипы не укалывается. Как это тебе удается? Мы тоже такими были, но потом, после таких роз, иной раз всю жизнь на пальцы себе дуешь. Тебе, Рене, нравятся эти стихи?

— Да так. Не очень. — Рене была настроена скептически и воинственно. За соседним столом, где осторожно прислушивались к их разговору, негромко засмеялись. Морис воззрился на нее в изумлении.

— Не понял… В первый раз слышу. — Он оглянулся на соседний столик в поисках поддержки, но не нашел ее. Там сидели два благоразумных пожилых толстяка, которые не торопились стать в споре на чью-либо сторону, а с любопытством ждали продолжения. — Почему? — оборотился Морис к Рене.

— Она не хочет с ним спать, а он грозит ей одинокой старостью. Типично мужской ход мысли.

За соседним столом рассмеялись в открытую. Летиция, не ожидавшая от подруги подобной дерзости, хмыкнула, но ничего не сказала: это был не ее вечер. Морис оторопел на миг, потом глянул на Рене с подобием уважения.

— У вас, нужно сказать, нестандартный ход мысли. Вы считаете, что есть мужские стихи и женские?

— Я не это сказала.

— А что же?

— Что он прибегает к недозволенным приемам. И вообще,

слишком настаивает. Женщина должна сама решать в таких случаях. — Рене говорила так, будто у нее за плечами был богатый любовный опыт, — его у нее не было вовсе, но тем убедительнее звучали ее доводы. — Женщина должна быть свободна.

Это было лишнее. За соседним столом это известие было принято с меньшим энтузиазмом, чем первое: свободу женщин не следует провозглашать в ресторане, где большая часть посетителей — мужского пола.

— Ладно. Это вопрос особый. — Морису эта полемика тоже пришлась не по нраву. — Не будем отвлекаться от турнира. Ронсара все знают. Это не в счет. А вот что вы скажете про Реми Белло? Знаете такого?

— Знаю, конечно, — отвечала Рене с пренебрежительностью отличницы. — Что именно?

— «Апрель». Тут хоть спорить не о чем, — и Морис прочел на память:

— «Апрель — месяц сева И зелени древа.

Апрель — пора надежды Плода и ореха, Нашедших прорехи В новой одежде…» Давай!

— «Апрель — месяц плуга, — откликнулась Рене, — И сочного луга, Фиалки с ромашкой, Покрывших равнины, Холмы и долины Цветною рубашкой…»

Они дочитали в два голоса эти милые стихи, которые Рене знала до конца, чем несказанно удивила высокопоставленного чиновника, который глядел на нее с нескрываемым изумлением. Его сверстники в свое время благоразумно прерывали такое соревнование на середине стихотворения, поскольку обе стороны быстро начинали путаться, да и Морис перед посещением ресторана заглянул в книгу и только поэтому чувствовал себя так уверенно. Им между тем принесли закуски. Летиция взялась за паштет и креветки и сказала:

— Вы как хотите, а я есть буду!

Рене с непривычки и из-за отсутствия аппетита ела мало, дотрагивалась вилкой до содержимого блюд и препровождала в рот маленькие кусочки, плохо различая их вкус и не вполне отдавая себе отчет в том, что ест: чувства ее были напряжены и притуплены, ей было не до гурманства. Морис стал, по подсказке Летиции, разливать вино.

— Значит, ты и в самом деле стихи любишь, — уверился он. — Я уж боюсь продолжать. По нашим правилам выбор переходил от одного к другому по кругу. Ты мои стихи знаешь, а каково будет, когда ты меня экзаменовать начнешь. У меня память уже не та.

— Я вас экзаменовать не буду, — успокоила его Рене. — Я лучше к вам ключ подберу.

— Это как? — удивился он, а за соседним столом опять напряглись и прислушались.

— Вы мне стих подобрали — как вам показалось, подходящий, теперь я вам. Вы же не случайно мне Ронсара дали?

— Не совсем, — согласился он. — Надо жить, пока живется, и все делать в свое время — вот мораль. И тебе посылка.

— И у меня будет так же. Только в ваш адрес. И куда точнее вашего. Дю-Белле, — и Рене стала читать вслух:

— «Люблю свободу я, но словно раб служу, Двора не выношу, но стал-таки придворным…»

— Господи! — простонал экспансивный Морис едва ли не с суеверным ужасом. — Откуда она знает, что это мое любимое!

— «Притворства не терплю, но кланяюсь покорно, Нужна мне простота, о ней я лишь тужу! «Продолжайте, месье!

Морис глянул с обидой за «месье», но подчинился правилу:

— «Не жаден к деньгам я, но в скаредах хожу, Советы не нужны, но мне их шлют упорно, Мне дороги мечты, а мне их рушат вздорно, Ищу везде добро — пороки нахожу!»— и махнул рукой, расстроенный, а Рене продолжала торжествующе, будто праздновала победу над ним или уличала его в противоречии с собой и в душевной непоследовательности:

— «Болезнен телом я, но езжу день за днем.

Родился я для Муз, а вышел эконом.

Расчетов не люблю, но все на них же строю…» — и Морис продолжал:

— «Где удовольствий ждешь, там скуку лишь найдешь.

Покоя нет в душе, нет счастья ни на грош.

Мой дорогой Морель, мне тяжело, не скрою!.. «Кончив эту страстную исповедь и одновременно — саморазоблачение, он театрально развел руками и изобразил на лице раскаяние и признание в своем поражении, но один глаз его, тот, что был ближе к Рене, бодрствующий и подозрительный, продолжал все время следить за нею, и Рене, увидев это, ввернула ему:

— Но это у вас напускное. То, что вы поэзией увлекаетесь и жить без нее не можете. Это для простаков. На самом деле вы очень хорошо к своей профессии подходите. — Она уже пожалела, что пошла у него на поводу и сыграла ему на руку, и теперь наверстывала упущенное. Морис очнулся как от холодного душа и открыл второй глаз — тот, что недавно впал в раскаяние.

— Напускное и для простаков? Какие ты слова находишь… Уже и помечтать нельзя?

— А вы и не мечтаете. Просто вводите людей в

заблуждение… — и ядовито прибавила: — Это я вас нарочно поддела. Посмотрела, как вы клюнете на приманку.

— Клюнул? — Морис изучал дерзкую девицу внимательней прежнего.

— Ну да. Ваше поколение морочит голову любовью к поэзии. Втирают очки, а сами заняты совсем не этим. Деньги на всем делают. На чем можно и нельзя.

За соседним столом сконфуженно хмыкнули, будто это было сказано и в их адрес тоже, и Морис покосился на них.

— Значит, ты меня еще и разыгрываешь? — спросил он Рене, будто нуждался в таком подтверждении. — Ловишь меня на приманку, а я, как дурак, раскис, на Дю-Белле польстился. Так?.. — Тут он решил кончать с изящной словесностью и перейти к делу. — Слушай, любительница чтения. Считай, что пропуск в высшее общество у тебя в кармане — кому в голову придет сомневаться в этом, когда ты так на память Ронсара и Дю-Белле шпаришь. Да я тебя бы и в свой штат обеими руками взял — с твоим коварством и иезуитством — но ты мне скажи сначала, что общего у тебя и у Дю-Белле с Ронсаром с секретарством в девятом парижском округе? Она ведь на это место метит, — пояснил он толстякам за соседним столом, которые и без того так наклонились в их сторону, что, казалось, заглядывали в их тарелки. — Там был один — он, слава богу, вовремя образумился и ушел — так она сменить его хочет. Со всеми поэтами вместе… — Тут он подумал о том, что если толстякам-соседям это и можно знать, то Летиции незачем, и предложил дочери: — Слушай, дай нам поговорить с твоей подругой. Успеешь паштет доесть — я тебе омара еще закажу. Если аппетит останется. Сходи проветрься. Нам побыть нужно одним. Ненадолго.

Летиция не стала возражать:

— Пойду. Мне как раз кой-куда надо, — и пошла в вестибюль, даже не оглянувшись на подругу: как участница некоего сговора.

— Ты думаешь, это игрушки? — продолжал Морис полушепотом, перегнувшись через стол к Рене, которая слушала его с отсутствующим видом, свысока и снисходительно. — Секретарь Парижского региона: комсомола ли, партии — это ты сразу же в картотеку попадаешь, за каждым шагом твоим будут следить, докладывать кому надо и в карточку вносить. Одно дело — когда ты усы к плакатам пририсовывала или что там? «Акция—реакция» — понятно теперь, кто это выдумал. Это шалость была, по таким пустякам мы не работаем, это вроде приятеля Летиции — она меня спросила, глупая, следили ли мы за ним или нет. Кто ж такими проходимцами полицию отвлекает? А вот ваш аппарат

— это другое дело. Я ведь сотрудников к тебе в Стен посылал. Не я, конечно, а тот, кто этим занимается. Не сразу и прояснилось все! То, что ты живешь там у отчима с его фамилией, было ясно, а что в лицее под именем Марсо учишься, это пришлось выспрашивать.

— Сказали? — спросила Рене.

— А как же? Предмет гордости всей улицы. В кои-то веки кто-то из ваших в люди выбился… Салью-Марсо — как у шпионов… Ты знаешь хоть, что партия твоя на содержании у русских?.. — спросил он Рене, а та не отвечала, а сидела сжав зубы, будто вопрос этот не имел к ней отношения: в ней накапливалась невольная злость и ярость. — Что Дорио твой — прохвост каких мало?! Партийные деньги на веселых девиц тратит? Не веришь, считаешь, вру? — Он забылся и снова перешел с полушепота на звонкую речь, слышную всем, кто хотел и не хотел этого.

— Не знаю. — Рене всегда была честна с собой и с другими. — Но вы все равно хуже, — и вконец разозлилась — чему, сама не зная.

— Это почему же?

— Потому что думаете, что все купить можно. И всем распоряжаться. Родили дочку внебрачную и всю жизнь откупаетесь — сами только что сказали. Меня сюда позвали — чтоб купить этим… — И Рене обвела пренебрежительным горящим взглядом окружавшую их роскошь и остановилась на стоящих перед ней тарелках. — Да покупаете еще не за свой счет, а налогоплательщиков. Вы же этот счет на службе предъявите: на работу с агентами — или как там у вас?

— Поэтому ты и не ешь? — запоздало сообразил Морис.

— Поэтому и не ем! — отрезала та и со зла толкнула от себя тарелку с креветками, так что она скользнула в направлении к Морису и выплеснула часть содержимого на скатерть. Морис вздрогнул и невольно отпрянул: как полицейский, который среди допроса чувствует, что арестованный может напасть на него. Рене наградила его последним памятным взором и пошла прочь — мимо посетителей ресторана, давно настороженно их слушавших, к вестибюлю, где стояла и курила Летиция: это была новая ее привычка. Увидев подругу, Летиция сделала шаг в ее сторону:

— Так я в «Максиме» и не побывала… — Но Рене прошла мимо, словно ее не заметила.

— Своенравная барышня, — заметили Морису толстяки за соседним столом.

— Не говорите, — сказал Морис. — Это она плакаты на конечной станции автобуса испоганила. — Мы знали только, что кто-то из пригородов.

Те закивали.

— Это мы слышали, — сказал один из двух толстяков, бравший на себя труд говорить за обоих. — Так плюньте на нее. Что она вам?

— Она с моей дочерью за одной партой сидит.

— Аа, — протянул тот, а второй посоветовал:

— Тогда пусть пересядет.

— Скажу. Если послушает.

— Послушает, — успокоил его тот. — Она не по этой части. — И отец, которому пришелся не по душе этот сомнительный комплимент, замкнулся в себе, смолчал и пошел к дочери. Официант послушно убрал со стола, и Морису даже не пришлось предъявлять в полиции счет за пирушку — настолько был велик его кредит в этом заведении…

А Рене в этот же день передала через Ива согласие занять пустующую должность: ярость продолжала бушевать в ней и диктовать свои поступки. Конференция, которая только и ждала этого решения, состоялась в Народном доме Сен-Дени, представлявшем помещение единомышленникам из других парижских районов. Собралось несколько десятков молодых людей и девушек, настроенных по-боевому и празднично. Рене никого здесь не знала и чувствовала себя неловко. Она сидела в президиуме, рядом с Фоше, который вел конференцию. Дорио, как и обещал, приехал поддержать ее кандидатуру.

— Ты здесь, пропащая? — приветствовал он ее, усаживаясь рядом. — Что так долго раздумывала?

— Трусила, — слукавила Рене — но лишь наполовину, потому что сейчас, глядя на волнующийся зал, действительно испытывала это чувство. — Боялась, не справлюсь. Как я ими руководить буду?

— Не робей, — поддержал он ее, сказал загадочную фразу: — Они только того и ждут, чтоб ими руководили… — и взлетел на трибуну, схватился за ее боковины.

— Почему мы выдвинули и предлагаем вам эту девушку? — бурным потоком полилось оттуда. — Девушку, которой нет еще и семнадцати? — (Рене недавно исполнилось шестнадцать.) — Потому что именно такие люди нам нужны сегодня. Нужны как воздух! Вы знаете историю с плакатами! Это ей пришла в голову эта мысль! — Он выбросил руку в ее направлении. — И она же — мало ли кому что придет в голову — сделала это: нашла ребят-исполнителей, организовала их, сама присутствовала при этой акции, стояла на стреме и отвлекала полицейских, которые чуть не загребли в участок всю компанию! Нам нужны люди, умеющие не только фантазировать и геройствовать в воображении, а те, кто

не боится и умеет провести в жизнь свои планы и задумки, кто знает, с какого боку за них взяться, как зажечь ими людей и как не попасться при этом в лапы блюстителей порядка — вы знаете, какой порядок они охраняют и как карают тех, кто с ним не согласен. Те, кто не ждет, когда ему разжуют и положат в рот — так что только проглотить остается, а сам умеет заварить кашу и разложить ее по тарелочкам! Именно такие люди меняют нашу жизнь, именно так и делается революция! Теперь разрешите мне перейти к наиболее важным, насущным нашим проблемам. Впереди — Первое августа, День борьбы с угрозой новой империалистической бойни, с планами капиталистических государств развязать новую мировую войну, отправив на нее лучшие умы и силы рабочего класса и крестьянства!..

Дорио гремел с трибуны, зал, подогреваемый им, дружно гудел в ответ, одобрительно кричал с мест и приходил в движение. Рене тоже увлеклась речью и откликом на нее в зале. Она почувствовала себя в этот миг одним из звеньев единой монолитной цепи, приобщилась к новому таинству, прониклась ее духом, взошла на помост, который каждую минуту, как и у ее любимицы Жанны д'Арк, мог обернуться эшафотом: стала, иначе говоря, секретарем комсомола, или — на французский лад — комсомольской молодежи девятого Парижского округа.

11

После своего избрания Рене стала ходить на улицу Мартир (Мучеников) как на службу: Компартия снимала здесь этаж доходного дома для своих окружных комитетов, кружков и классов политучебы. На том, чтобы она каждый вечер дежурила на этом посту, настаивали вышестоящие органы партии: на случай, если придется передать какое-нибудь срочное сообщение — вроде сигнала к общему восстанию. Среди тогдашних руководителей партии было много деятелей с крайне левыми убеждениями, подталкиваемых русскими товарищами, которым не терпелось перенести в Европу эстафетный огонь революции. Никаких сигналов не было и быть не могло, и Рене зря отсиживала часы у аппарата — совсем как связная, садящаяся в определенное время суток у телефона в ожидании звонка от канувшего в небытие товарища.

Шла она туда сразу после окончания занятий в лицее, стараясь уйти незамеченной: подруги знали ее обычный маршрут и обратили бы внимание на его изменение — домой же попадала только к вечеру. Здесь перемены в ее жизни восприняли сдержанно. Жан стал относиться в последнее время к партийным обязанностям спустя рукава, с прохладцей, мать же давно перестала обсуждать дела дочери — с тех пор, как та поступила в лицей и вышла из круга доступных ей понятий и представлений.

— Я не против, — сказала она все-таки, совсем в этом не убежденная. — Но как ты теперь заниматься будешь?

— Я уже об этом думала, — успокоила ее дочь. — Буду брать с собой учебники. — Действительно, времени читать у нее там было больше, чем дома.

— А сидеть зачем? — спросил недоверчиво отчим, который лучше матери знал партийные нравы и порядки.

— Ждать: может, кто-нибудь позвонит.

— У тебя что, телефон свой?

— Нет. У Дуке. — Дуке был партийный секретарь округа.

— Вот он пусть и сидит, — сказал отчим. — У кого телефон, тот и дежурит.

— Сказали, что и я должна.

— Мало ли что они скажут, — пренебрежительно отозвался Жан, но придержал язык: чтоб не давать пищу сомнениям и без того насторожившейся матери.

Беда была не в отсутствии звонков, а в том, что, кроме Рене, в тесной клетушке, отданной окружному комсомольскому комитету, никого не было. До своего поступления на эту

должность, по тому, что она видела в Сен-Дени, Рене думала, что в таких местах кипит боевая жизнь и что ей придется только направлять ее в нужную сторону, а тут — как шаром покати, как в дневные часы в театре. Прежнего секретаря давно надо было выгнать, и не делали этого только потому, что не было подходящей замены: он все развалил — после него не осталось даже списка членов организации. Была, правда, конференция, на которой ее выбрали и где присутствовало около трех десятков молодых людей, но она оказалась сен-денийским блефом, организованным по приказу Дорио и по его подобию: его сорванцы провели мероприятие и исчезли в неизвестном направлении. Осталось четверо любопытствующих. Фоше, которого ничто не могло смутить или выбить из седла, зорко оглядел их и подбодрил Рене:

— Это твой актив будет. Смотри, какие ребята боевые. Надо только распределить между ними обязанности. Ну давайте, кто за что отвечать будет? В соответствии с вашими наклонностями…

Те, однако, сказали, что живут в другом районе и не могут быть членами вновь избираемого комитета, но что, если надо, придут на следующий день и помогут организовать работу. Только один из них, Люк, действительно зажегся делом: ему понравилась Рене, он был в восторге от ее выдумки с дулей, нарисованной на плакатах правых. Это был простоватый белобрысый паренек, глядевший заговорщиком: он прятал свои глаза, но они у него горели.

— Он у тебя будет, Рене, по кадровым вопросам. — Фоше показал тогда на Люка, даже не спросив его имени. — Что-то мне подсказывает, что он отлично с этим справится…

Тут он как в воду глядел: у него, видно, был хороший подсказчик. На следующий день в клетушку под лестницей, отведенной для комсомольцев (в ней хранились также швабры и ведра: приходящая уборщица не захотела насовсем расстаться со своим помещением), пришел только Люк — остальных она никогда больше не видела. Зато Люк не унывал и не падал духом.

— Ничего, пойду в кафе народ искать. Там много всяких чудаков ошивается. Я уже нашел одного: я б, говорит, пошел, но мне философию учить надо. Он на киномеханика поступает. Нельзя помочь человеку?.. — и вопросительно глянул на Рене. — Его Алексом звать.

— Пока нет. Может, потом. Позови еще кого-нибудь. Пока я здесь сижу… Только не очень странных.

— Нет, чумных звать не буду. Тут комики нужны. Кто юмор понимает. А ему, видишь ли, философию учить надо… — и отправился на новые поиски…

Через неделю Рене пошла за советом к Дуке. Дуке не очень ей обрадовался. Во-первых, он считал ее человеком Дорио, а с сенденистами у него были сложные отношения, основанные на обидной для него зависимости: они вечно помогали и выручали, но взамен относились к нему пренебрежительно — как школьники старших классов к младшим; во-вторых, у него самого были эти же проблемы: с людьми и у него было туго. Революция любит праздники и из ряда вон выходящие обстоятельства: тогда она выплескивается на улицу и творит чудеса, но серые будни для нее — сущее наказание, вынужденное безделье, которое надо уметь заполнить видимостью дела: в этом и состоит задача партийных активистов.

— Как дела твои? Что-то я совсем тебя не вижу. Сколько ты у нас?

— Неделю.

— И что успела за это время? — Дуке все глядел на нее и никак не мог взять в толк, чего ради ее сорвали с места и возвысили таким сомнительным образом.

— Ничего, — тяжко призналась Рене: на ней уже висел груз невыполненных дел и обязательств — каких, она сама толком не знала. — Не могу собрать актив.

— Зачем он тебе?

— Распределить обязанности. Надо комитет избрать.

— Да? А по плану у тебя что? — Он вынужден был взять над ней шефство. — Ты папку с календарем мероприятий нашла?

— Нашла. — Рене положила на стол заветную папку — единственное, что прежний секретарь не успел потерять или пустить по ветру.

— Только не делай всего, что там написано: никакой жизни не хватит. Только то, что красным карандашом отчеркнуто. Что у нас сейчас?

— Май.

— А впереди что? Красным карандашом?

— Первое августа. День международной борьбы с империализмом, — прочла Рене.

— И милитаризмом, — добавил Дуке: он не был педантом, но партия требовала от руководителей четкости формулировок, и он заговорил ментором — Милитаризм для нас, пожалуй, опасней всего прочего. Мы как-то посчитали: 82 % наших осужденных сидят за оскорбление армии и за призывы к воинскому неповиновению. Экономические требования — пожалуйста, это они нам позволяют: добивайтесь повышения зарплаты, это ваше право, а наше — идти, или нет, вам навстречу, а армию не трогайте, это не вашего ума дело, это для нас святое! Конечно! —

разгорячился он. — На нее одну они и рассчитывают! А не на вшивый парламент и не на муниципалитеты — которые только разлагают тех, кто туда попал, своими сварами и тактическими союзами! Для них штык как был, так и остается лучшим доказательством в политических дискуссиях… — Он глянул испытующе на Рене, все еще не зная, можно ли быть с ней до конца откровенным. — Как будешь отмечать этот день? Что делать вообще, когда людей нет и никто ничего делать не хочет?.. Народ за нас, конечно, — поспешил поправиться он: чтоб Рене не поняла его превратно, — а вот коммунистов — семьдесят человек на весь девятый район. А если считать действующих, а не платящих взносы, то вдвое меньше. В Сен-Дени больше, — нехотя признал он, но и тут не сдался: — Хотя и там сколько, тоже никому не ясно. Голосовать приходят, а сколько активных членов партии, скрыто в тумане неизвестности… С Дорио тоже проблемы, — как бы случайно проронил он, хотя видно было, что это давно вертится у него на языке. — Политбюро от него не в восторге. Указывает ему на это, а он не очень-то реагирует… — но не стал испытывать судьбу далее: вдруг побежит докладывать своему другу — прекратил скользкий разговор, пообещал: — Насчет актива я к тебе Барбю пришлю. Подскажет, как это делается. Он у нас спец по работе с кадрами. Книгу даже об этом написал — может, издадим ее еще. Если Сен-Дени из нее пособие для муниципального работника сделает. Денег нет — как всегда и на все…

Барбю был пожилой, больного вида человек с одутловатым лиловым лицом и неровным спертым дыханием. В тесной комнатке, пахнущей жавелевой водой и половыми тряпками, оставляемыми уборщицей на ночь, ему вовсе нечем было дышать, он задыхался, но потребность говорить была у него сильнее.

— Я Барбю — бородатым должен быть, а видишь, какой? — и провел с шутовским сожалением по гладкому подбородку. — С тех пор как болеть стал, не растет. Я сердечник, мышца сердца плохо работает. И с легкими так себе. На лекарствах сижу, а проку нет. Врачи — те же эксплуататоры, разве что в белых халатах. Только деньги из тебя вытрясут — с душою вместе. Можно, конечно, и бесплатно лечиться — больницы не отказывают, а что толку? Хочется к светилу попасть, а они кусаются! Принимают, правда, раз в году и бесплатно нашего брата, но очередь год ждать надо. Вот и собираешь крохи, чтоб попасть на прием, — а результат один, только в еще большие расходы вгонят: профессора — они и лекарства назначают себе под стать, такие, что закачаешься… Что тебя интересует?

— Как работу организовать. У меня пока что плохо

получается.

— Как работу организовать? — одновременно оживился и погас он, потому что это было делом его жизни, а в конце жизненного пути вспоминать его особенно трудно и даже больно. — Это вещь сложная. Сейчас я говорить начну, а ты запоминай или записывай: пока есть кому рассказывать. Книгу все равно, видно, не напечатают… — и приготовился к пересказу своего сочинения. — Я-то вообще металлист — слыхала про таких? В партии с самого ее основания. Был секретарь ячейки в Альене. Знаешь такое?

— Нет.

— Это к Бельгии ближе. У нас боевая ячейка была. Держали патрона в страхе — это тебе и Дуке рассказать может. У нас там всего один завод был: трамваи чинили — вот его хозяина и держали в ежовых рукавицах. У них до нас те еще порядки были. На работу на пять минут опоздаешь — иди объясняйся с администрацией, не пойдешь, выгонят без выходного пособия… Что тебе сейчас нужно?

— К Первому августа готовиться, а нет никого.

— Нет, так будут. Желающие найдутся. Это прежний секретарь все развалил: как по заданию полиции работал, а до него тут, говорят, много народу было. Ты бы из Стена кого-нибудь позвала. Новый руководитель когда приходит, своих за собой тянет. Стен ведь тоже к нам относится?

— Относится. Я подумаю, — сказала Рене, хотя на ум ей опять никто, кроме Бернара, не пришел.

— Я помогу в случае чего. Дело нехитрое. Вообще в этом деле самое важное — не исполнители: эти обычно находятся, а как организовать их, чтоб все как один были. Толпа — это толпа, ее в разные стороны тянет, а вот как ее одной дорогой пустить, заставить делать что нужно — вот в чем вопрос, — и примолк, не сразу расставаясь со всеми тайнами. — Вот говорят, пение революционных песен объединяет. Объединяет, верно. Но как добиться, чтоб все хором пели, в одно горло? Простая вещь мешает. Какая? Слов не знают. Пустяк, а номер не прошел, воодушевления нет — демонстрация, считай, не состоялась… Как это обойти? Как заставить в унисон петь — или как это называется по-ученому? Ну-ка подумай — дело-то простое… Не знаешь? А еще в лицее учишься… Надо просто с ребятами заранее слова выучить. Напиши куплеты на бумажке и раздай каждому. Они, как время придет, совсем иначе к пению отнесутся — так заорут, что любо слушать. Пустяк, скажешь, а на таких пустяках все строится. У нас даже список песен был, которые нужно было выучить. Как в хоре на спевках. Я помню, в последний раз тот еще

концерт устроили. В тюрьме: угодили за эту самую антиколониальную деятельность. Марокканцев поддержали — которых в глаза не видели. Что ты! Надзиратели удивлялись: откуда столько знаете. А мы и «Марсельезу» и «Эй гаркнем» и «Песню ветеранов 17-го полка» — пели час, не меньше, там от нас устали: уголовники постучали, перервитесь, говорят, отдохнуть дайте. Ей-богу!.. Ты-то сама поешь?

— Нет, — честно призналась Рене. — Музыку люблю, а петь не умею.

Он покосился на нее.

— Лучше бы наоборот. Чтоб петь, музыку любить не надо. Надо пролетарскую солидарность чувствовать. Это ведь что петь, что говорить — одно и то же. Только хором говорить не получается, а петь можно. Вот так-то. Я тебе много еще чего расскажу… Ты к Дорио как относишься? Про тебя говорят, что ты его человек.

Рене возмутилась: она не любила раздоров между единомышленниками и совсем не терпела, когда ее в них впутывали.

— Что значит — человек Дорио? Люди сами по себе не свободны? Должны обязательно быть чьи-то? Кому-то на оммаж присягать?

(Договор с феодалом-сюзереном с принесением ему клятвы верности в средние века. — Примеч. авт.)

— А это что? — Барбю не знал истории, и поскольку рассердившаяся Рене не удосужилась объяснить ему значения слова, утвердился в сомнениях на ее счет: все новое подозрительно, а строптивость подчиненного неугодна не одним только хозяевам…

В одном он оказался прав. Прошло немного времени, и в комнатку Рене полетели первые ласточки. Первым был все-таки Бернар. Его завлекла она сама: попросту обманула — сказала, что он внесен в списки ее заместителем и должен поэтому два дня в неделю заменять ее на дежурствах: поняла, что Дуке сыграл с ней такую же штуку. Она стала в эти дни попадать домой засветло, но и Бернар не пострадал: хоть и был мямля и недотепа, но умудрился оформиться ночным сторожем, получал какие-то денежки за отсиживание часов и даже поставил здесь раскладушку. «Так-то бы я в сторожа не пошел: слишком неуважаемое это дело, — повторял он всем, кто хотел и не хотел его слушать, — но тут иначе: я в девятом округе заместитель секретаря комитета — взял на себя заодно и это. Все равно сидеть — так лучше уж что-нибудь получать за это», — и все с ним соглашались и хвалили его за находчивость. В комитете он занял

место делопроизводителя и аккуратно вел тетрадь комсомольских мероприятий.

Вторым был Мишель. Люк нашел его в дешевом кафе, где он приставал к рабочим, напрашивался в их компанию и угощал вином, чтоб те поверили ему загадочную тайну пролетарского бытия, а они хоть и пили за его счет, но так и не смогли удовлетворить его неуемного любопытства. Люк пообещал ему, что Рене ответит ему на его вопросы: он давно проникся почтением к ее начитанности и смышлености.

Мишель был сыном известного профессора философии. Это был широкоплечий большеглазый, с пышной черной шевелюрой юноша, пылкий, горячий и, что называется, с завихрениями. Он кончал лицей, где все время манкировал занятиями, но к нему там относились снисходительно: благодаря отцу и его собственным, фундаментальным уже, познаниям в философии. Своим происхождением он не то что не гордился — напротив, не знал, куда его деть, как сбыть с рук, как от него отделаться.

— Рене, если б ты знала, как я тебе завидую! Как легко и просто жить, когда родители твои — просто отец и мать и никто больше, как тяжело, как отвратительно знать, что ты уже был кем-то в утробе матери! Рене, я прочел всех философов у отца в библиотеке, и ни у кого не нашел слов утешения! Рене, я мыслю, значит я существую — это для кого-то, может, и так, но я скажу иначе: я завидую, значит существую — лишь в этом противоположении я нахожу еще силы для существования, ищу в ней скрытый смысл утраченного, соизмеряю себя с историей и припадаю к ее истокам. Если я смогу еще к ним припасть! Рене, я хочу опрощения! Хочу на завод, Рене, хочу простого незатейливого общества, хочу работать руками, а не головой — этим уродливым волосатым отростком человеческого тела! Не хочу, Рене, книжного шкафа, хочу станка, швейной иглы и отвертки — только они могут еще поставить меня на ноги!..

Люк, приведший его, слушая все это, оторопевал и поглядывал на Мишеля с опаскою: уже думал, что недооценил меру его неординарности. Рене оказалась более стойкой: она не только не поддалась атаке, но и не смогла отказать себе в удовольствии поспорить с ним, показать, что и она не лыком шита:

— Я мыслю, значит существую — это мысль человека, взятого самого по себе, отдельно. Я завидую, значит существую — так может сказать только человек социальный, ячейка общества. Декарт не мог представить себя частью общества — он не умел делиться, оставался большим и неделимым целым. Как, кстати, и Паскаль тоже.

Мишель воззрился на нее с суеверным ужасом.

— Рене?! Я ослышался, у меня галлюцинации?! Ты сама до этого дошла?! Без книжек и без учителей?! Рене, я только об этом с утра до вечера и думаю! Как остаться в целости и сохранности, когда все кому не лень рвут тебя на части?!

Рене стало неловко, но она не могла сказать, что учится в лицее: была уже хорошим конспиратором.

— Что-то я, конечно, читала… У нас сосед был — давал мне школьные учебники, — и незаметно подмигнула Люку: знай, мол, наших — и Люк, который и ее уже начал побаиваться после столь ученых сентенций, вздохнул тут с облегчением.

— Учебник или хрестоматию? — Мишель оказался вовсе не так прост, как казался поначалу, и поглядел на нее с орлиной проницательностью: таков был, видно, взгляд и у его отца, от которого он напрасно отказывался.

— И то и другое. — Рене решила если врать, то короче. — Тексты я тоже читала.

— Только те, что в хрестоматии? Или и классиков тоже? С «Пролегоменами» Канта знакома?

— Нет, — честно призналась она.

— И не берись! Я проштудировал — без толку! И вообще — во многом знании многие печали. Дошел вот до Маркса и споткнулся. Не сознание определяет бытие, а бытие сознание. Это «Немецкая философия», часть первая. Сказал — как ножом отрезал. Как ни бейся, а из своих берегов не выйдешь — умом будешь знать, а душой остаешься там же. В бытии, гори оно пропадом!

Рене была настроена проще и практичнее.

— Знаешь что? — надумала она. — Давай-ка вечернюю философскую школу организуем. Я уже пробовала это делать. «Происхождение семьи, частной собственности и государства» рассказывала.

— Рене, фи! — воскликнул он. — Нести эту бурду в массы?! Я от тебя такого не ожидал!

— Сверху спустили, — оправдалась она. — Потом мне было тогда всего двенадцать…Ты сам читал ее?

— Просматривал.

— А я чуть не наизусть выучила. И правда, не нужно было. Там все в родственных отношениях запутались — споткнулись, как ты говоришь. Но нас-то уж никто не будет контролировать: что читать, что нет. Сами выберем.

— А нужно это твоим друзьям? — усомнился он.

— А почему нет? Если тебе было интересно, почему другим нет? Хочешь из нас мещан во дворянстве сделать?

Это его подкосило.

— Еще и по морде схлопотал. Как всегда бывает, когда навязываешься.

— Надо относиться к другим как к себе, — снова профилософствовала Рене: ей трудно было отказать себе в этом удовольствии. — Каждый един и неделим и ни от кого не зависим и, когда сходится с людьми, должен оставаться собою. Но для этого он должен и к другим относиться так же…

Это были мысли не на каждый день, а рожденные моментом и тут же ею забытые, но на него они произвели впечатление. Он ведь был человеком Слов, которые откладывались в его сознании наподобие библейских заповедей. Сущность философии и морали заключается в том, чтобы давать жизни самые общие советы и формулировки, и те, что предложила Рене, были ничем не хуже и не лучше других, но и это было немало, и он как философ понимал это.

— Ладно, — покорился он. — Философская школа так философская школа. Видно, мне, как отцу, суждено учить всех философии…

Люк разнес новость по ближним и дальним знакомым, и те потянулись на огонек знания. Первым пришел, конечно же, Алекс, который вслед за Бернаром сообразил, что в комитете можно сочетать приятное с полезным. Пришлось и Люку сесть за парту: он хотел увильнуть, но в конце концов принес себя в жертву новому начинанию. Собралась, словом, целая аудитория, и Мишель, который не думал готовиться к занятию, вынужден был импровизировать и всерьез выкладываться. Он посвятил урок любимым «Пролегоменам», и они, надо сказать, удались ему — ребята записывали за ним как завороженные. Правда, Кант выступил в его рассказе не сухим въедливым стариком, а в Мишелевом блестящем переложении и преломлении — молодым и страстным, но именно этим и прельщают нас настоящие преподаватели. Бернар задумался так сильно, что до него потом три дня не могли достучаться: все ходил под впечатлением пролегомен (хотя так и не узнал, что это такое) — будто на него просыпали манну небесную. Рене и та позавидовала Мишелю. Она впервые столкнулась с потомственным книжником: до того встречались лишь скороспелые умники, выросшие на необработанной, неунавоженной почве — и она почувствовала всю разницу между ними.

— Интересно, — призналась она. — Я бы так не сумела.

— Конечно, — согласился он с ней, нисколько не зазнаваясь. — Мне отец рассказывал — я вам. Но я все-таки на завод хочу, Рене. К станкам и к тем, кто на них вкалывает. Когда

пойдем?

— Сама бы пошла, — сказала она. — Мы тут засиделись… — и встала. Ей захотелось размяться. Или же она приревновала к нему свою компанию.

— Хочется чего-то настоящего, — продолжал мечтать вслух Мишель. — Чтоб взяло тебя за вихры и стукнуло. Жизни, словом, а не ее отражения…

Мечта его вскоре исполнилась — он попал-таки в переделку. Революция не всегда течет скучно и серо, в ней бывают и свои праздники тоже…

12

Дуке в этот день забежал к ней на минутку. Он был сам не свой — взъерошенный и взволнованный.

— Будь здесь и никуда не уходи!

— Я всегда тут. — Рене не отпрашивалась и в худшие времена. Теперь же рядом сидел Мишель, охотно проводивший время в ее обществе.

— Да? Иногда тут твой Бернар отлеживается. Сегодня все в Клиши едем. Там намечен конгресс по подготовке Первого августа. Полиция его запретила. Сейчас Гюйо приедет.

— Кто это?

— Гюйо не знаешь?! — Дуке от неожиданности забыл обо всем прочем. — Это же руководитель Коммунистической молодежи Франции! «Юманите» читаешь?

— Читаю. — На самом деле она не читала, а проглядывала газету: как Мишель работу Энгельса. «Юманите» не очень ей нравилась, и, кроме того, она не задерживалась на фамилиях, а именно это и должен делать всякий кадровый работник, особенно — рассчитывающий на повышение.

— Надо тебя на учебу послать. Ты училась вообще?

— Учусь. В лицее.

— Нам не только такая учеба нужна. Это Дорио все. Пролетит как ураган, наломает дров — и нет его: пусть другие подчищают. Он должен был об этом позаботиться. Ладно, сейчас не до этого. Дорио тоже будет. Думаю, дело пахнет стычкой. Возьмем с собой на всякий случай смену белья и сухарики… Это я шучу. Можешь не идти вообще. Хотя это Первое августа — твой день, я тебе это говорил уже.

Глаза Мишеля загорелись.

— Я тоже пойду!

— А это кто? — Дуке полагал до сих пор, что к Рене приходит ее поклонник.

— Мишель. Он у нас курс философии читает. — И Рене не удержалась, похвасталась: — У него отец профессор философии. В Сорбонне.

— Да? А он здесь философствует? — Дуке был настроен скептически. — Я вижу, у вас секция интеллигентов образовалась… Ладно, молодой человек. Никто вам запретить этого не может, езжайте, но учтите, места в автомобиле для вас не хватит: сами еле втиснемся.

— Мне не нужно места в автомобиле! — отчеканил тот. — Не нужны никакие привилегии! Я хочу быть как все, у меня нет

другого желания!

— А сейчас ты не как все? — съязвил Дуке, ловя его на слове, но Мишель в пылу самоотречения, помноженного на самоутверждение, не заметил этого: философы слушают себя и редко когда собеседников. Упоминание об отце вызвало у него, однако, горестные чувства: это был вечный его соперник.

— Снова без отца не обошлось! Господи, когда я от него избавлюсь?! — сказал он, когда Дуке вышел.

— От отца? — У Рене были другие родительские заботы: Робер снова исчез, месячная оплата из Даммари-ле-Лис запаздывала, и отчим сделал ей по этому поводу внушение.

— Не от него! — с досадой воскликнул Мишель. — А от его имени! Я хочу быть собой, а не его тенью — когда наконец вы все поймете это?!.

— Ты и правда поедешь с нами? — Рене вдруг в этом засомневалась. Он же взорвался:

— А как же?! Ты думаешь, я дурака валяю?! Театр разыгрываю?! Еду сейчас же! Надо машину до Клиши брать! Не знаю, хватит ли грошей… — и нащупал в кармане ассигнации: — На такси поеду!..

Это был первый случай в истории французского и, может быть, мирового рабочего движения, когда на революционное мероприятие ехали на этом виде транспорта…

Через час в кабинете Дуке собрался цвет французских коммунистов. Впрочем, сказать так было бы преувеличением: из видных лиц здесь были Дорио и Гюйо — остальные попроще, из второго эшелона и резерва партии. Первые десять минут были, как водится, отданы церемониям.

— Ты помнишь, как мы сидели в Санте? — говорил Гюйо, повернувшись к Дорио. Обращаясь к соратникам на людях, коммунистические деятели любили вспоминать дни, отсиженные ими в тюрьмах, словно это были лучшие дни их жизни: это было почти ритуалом. — Помнишь, как ложками по мискам били? Когда нам отказали в соусе? Нам этот соус и даром не нужен был, — объяснил он остальным. — Просто искали, к чему придраться. А что? Они могут, а мы нет? А как ты себе в камеру женщину требовал? А охранник говорил, что не положено? Мы со смеху укатывались. Ему эта женщина была так же нужна, как нам соус.

— Почему? — резонно возразил тот. — От женщины я бы и там не отказался.

— Правда? — удивился Гюйо и спросил невпопад, чтоб выйти из неловкого положения: — Ты долго просидел в тот раз? — По симпатии, сквозившей в его взгляде, можно было подумать, что

они были лучшими друзьями, — на самом деле Гюйо был одним из тайных врагов Дорио в Политбюро, и это ни для кого не было секретом.

— Месяц, — сдержанно отвечал тот. — Потом в Мелен перевели.

— К смертникам, — пояснил Гюйо тем, кто не знал этого. — Это они не всех так чествуют. Только особо выдающихся… — И воздав должное хозяину, обратился к остальным: — А как у вас молодежь поживает? Я смотрю, народ все зрелый — где ж молодые?

— Рене у нас молодая, — сказал Дуке, представляя девушку, до этого прятавшуюся у него за спиною. — Новый секретарь у нас.

— Давно?

— Без году неделя. Это та, что плакаты дулями разрисовала.

— Правда? — Гюйо уважительно поглядел на новенькую. — Это я слышал. Где-то поблизости?

— В Париже на автобусной остановке.

— Подумай. А по ней не скажешь.

Дуке представил гостя:

— Это Гюйо, Рене. А то ты не знала, кто он и чем занимается. Теперь будешь лично знакома.

— Не знала, кто такой Гюйо? — удивился гость и поглядел на девушку с новым любопытством. — А других членов Политбюро ты знаешь?

— Почему я должна их знать? — Рене, защищаясь, перешла в атаку: — Важны не фамилии, а дела и идеи. Их я знаю, а с остальными познакомлюсь по ходу дела. Это ж не святцы — наизусть их учить.

Дорио и Фоше засмеялись.

— Видали? — Гюйо не стал обижаться на нее: он приехал не за этим. — Отбрила по первому разряду. Но кого-то ты все-таки знаешь? Хотя бы по фамилии.

— Кого-то знаю. — Рене образумилась и отступила.

— И кого же?

— Мориса Тореза и Жака Дюкло.

— А Кашена?

— И Кашена тоже.

— Наверно, и Дорио?

— С Дорио мы, считайте, приятели, — сдерзила Рене, вспомнив про раздоры, царящие в партии, и наживая себе врага в лице Гюйо, своего руководителя по комсомолу. Дорио и Фоше снова засмеялись, а Дуке покачал головой:

— Что ты со мной делаешь? Что обо мне люди подумают?

— Да ничего они не подумают! — вступился за Рене

Дорио. — Испугался, что она партийных фамилий не выучила? Или что у меня в приятельницах? У нее память, может, такая — не на фамилии, а на лица. Кого видит, того и запоминает. Верно, Рене? И вообще — в ней порода чувствуется, я это с самого начала сказал. Тебе, Дуке, этого не понять: ты всю жизнь будешь за фамилиями следить, кто кого подсидел, а ей на это наплевать. Ей суть важна, а не частности. Ладно, давайте к делу перейдем. Нам сегодня, насколько я понимаю, всем достаться может. Но и не делать ничего тоже нельзя. До сих пор все им спускаем — на шею садятся. У нас в Сен-Дени недавно парижский кюре вылазку устроил — с демонстрацией прошел с правыми лозунгами: новая, видите ли, спортивная организация, под церковными хоругвями. Мы не сразу сообразили! Когда опомнились, они уже в грузовики садились, со своими транспарантами. Чтобы по Сен-Дени правая манифестация прошла? Да это год назад и в страшном сне не могло присниться!

— Революционная активность на спаде, — согласился с ним Гюйо. — Поэтому и созвали конгресс в Клиши. Сейчас, как никогда, важно единство.

— Золотые слова, — сказал Дорио с неопределенностью в голосе, а Фоше закончил за него:

— Только каждый понимает их по-своему.

— К этому мы еще вернемся, — обещал Гюйо. — Пока что надо заняться текущим моментом…

Текущий момент выглядел так. Мэр Клиши, одного из предместий красного пояса Парижа, человек, близкий к коммунистам, отдал свой Дом праздников под конгресс, посвященный подготовке к Дню первого августа. Префект дважды указывал ему на недопустимость подобного использования муниципальных помещений — мэр пропустил мимо ушей эти предупреждения. Теперь, за день до съезда делегатов пришло письмо, форменным образом запрещающее проведение его в названном здании. Стенка на стенку — партия решила не отступать; полиция приняла собственные меры; коммунисты Клиши известили товарищей об опасной концентрации сил порядка на ближних подступах к городу. Политбюро решило принять вызов. Гюйо хотя и остановился в нейтральном девятом районе, но на деле приехал за подмогой в Сен-Дени, куда немного не доехал: люди здесь были настроены решительно, и имелась мобильная группа боевого прикрытия, которую возглавлял тот самый Любэ, который собственноручно побил Фонтеня — бывшего социалиста, не захотевшего расстаться с прежними иллюзиями и привычками…

На следующий день Рене не пошла в лицей: было не до этого.

В автомобиль, принадлежавший мэрии Сен-Дени, влезло семь человек: партийное руководство района и города и с ними Гюйо — сзади ехал грузовик с боевиками Любэ. Рене сильно сжали на заднем сиденье. В руках она держала сумку с бинтами: ее взяли с собой не только как вожака комсомола, но и как сестру милосердия.

— Может, на колени к кому-нибудь сядешь? — беззлобно пошутил Дорио.

— Обойдусь без этого, — запальчиво возразила она. — Я конечно отдаю себя партии, но кое-что и себе оставлю! — И все рассмеялись, будто она сказала что-то очень забавное — что именно она сама не знала, поскольку возразила, не подумав, по наитию.

— С тобой, Рене, ухо востро надо держать. Не знаешь, чего ждать от тебя.

— L'enfant terrible. — Гюйо точил на нее зуб за вчерашнее.

— Тогда уж лучше la fille terrible, — сказала она, входя в роль острослова, и они снова, привычно уже, засмеялись, но оставили ее затем в покое и перешли к тому, что интересовало их куда больше: как далеко пойти в предстоящей схватке с полицией, чтоб не залезть в нее с головою.

(Если перевести игру слов на язык родных осин, то Гюйо сказал ей, что она «ужасный ребенок», а она возразила, что хотела бы быть «страшной красавицей» — или что-то в таком же роде.) Площадь перед Домом праздников Клиши была запружена людьми и оцеплена полицией: чинами в мундирах и людьми в штатском, которых было не меньше, чем первых, и которые выдавали себя тем, что слишком безразлично и рассеянно оглядывались по сторонам или, напротив, чересчур сосредоточенно глядели перед собой, держа под непрерывным наблюдением то, что делалось у них сбоку. Наряд конных гвардейцев перекрывал доступ в Дом праздников: там стоял префект, прибывший из Парижа. Коммунисты толпились на противоположной стороне площади — между ними и полицией сновали наиболее непостоянные и подвижные, ртутные, элементы: любопытствующие и самые отчаянные. Среди последних Рене, стоявшая рядом с партийными деятелями, увидела Мишеля. Он тоже ее заметил, но не спешил подойти ближе: расхаживал по площади с торжественным и мрачным видом и вел себя так, будто один был на площади. Рене сама подошла к нему.

— Я здесь со вчерашнего вечера, — объявил он ей. — Площадь наизусть выучил. Истоптал вдоль и поперек. Это классовая борьба в действии.

— Что ты имеешь в виду? — спросила она: он изъяснялся слишком коротко — как телеграф или как кондуктор, объявляющий остановки.

— Не видишь, сколько полицейских? Я их всех на версту чую. Они как я: с утра место заняли. Вместе торчим. Меня, наверно, за своего приняли: никто не спрашивает — будто так и надо. О если б они знали, как я их ненавижу!

— За тебя дома беспокоиться не будут? — Все женщины мыслят одинаково, и Мишель ответил ей по-мужски:

— Дома?! Что я там не видел? Отцовской библиотеки и его менторства? Разве сравнишь с этим?.. — и обвел взглядом площадь. — Знаешь, чем я сейчас занят?

— Нет.

— И не догадаешься. Строю план сражения. Между нами и полицией. Куда пойдет правое крыло, куда левое. Вот там я бы поставил боевую группу и ударил бы ею по полиции. В моем ранце, Рене, жезл фельдмаршала. А дом? — повторил он пренебрежительно. — Пусть привыкает к моему отсутствию. Смотри, что-то задвигалось! Может, и правда дело дойдет до потасовки!..

Площадь и в самом деле пришла в движение. К префекту направилась делегация мэров красных предместий: чтоб вести с ним спор на надлежащем уровне. Первым был Вильморен, гладкий, упитанный и хорошо одетый мэр Сен-Дени, который умел ладить со всеми — и с рабочими, ценившими его за представительность и вальяжность, и с префектурой и прочей бюрократией, которая чувствовала в нем лицемера, какими по большей части были сами. Он взял на себя ведение переговоров: другие были не столь авторитетны и самонадеянны.

— Статья одиннадцатая «Декларации прав человека и гражданина», — вкрадчиво и убедительно втолковывал он префекту, — гласит: «Свободное сообщение мыслей и мнений — одно из наиболее ценных прав человека, поэтому каждый гражданин может излагать свои мысли свободно в устном и письменном виде…»

— «но должен отвечать за злоупотребление этим правом в случаях, предусмотренных законом», — прервал его префект, заканчивая за него статью. — Я знаю Декларацию, Вильморен.

— «Должен отвечать», — согласился тот не колеблясь. — И мы ответим после проведения конгресса, если в чем-то окажемся неправы. Заплатим штрафные санкции. Но вы не можете препятствовать нам в осуществлении права, предусмотренного конституцией. Мы заранее сообщили о проведении митинга.

Префект покосился на него: до этого он смотрел на площадь

— там, а не в разговоре с мэром, решалась судьба дня.

— Уже не конгресс, а митинг?.. В любом случае — муниципальные здания существуют не для проведения политических акций, а для нужд округа, — отрубил он. — Мы тоже сообщили вам об этом заранее.

— И хочется вам драки, префект? — спросил уже иным, бретерским, тоном красный мэр. — Ею ведь все кончится. — Но префект был непреклонен:

— Я знаю это. У меня и на это есть полномочия. Мы к драке готовы…

Вильморен со товарищи вернулись на другой конец площади, на исходные позиции. Здесь переговорщики разделились. Вильморен подошел к Дорио, стоявшему слева, среди ближайших соратников, двое других — к группе, обособившейся справа: здесь был Морис Торез, числившийся первым лицом в партии. Это был невзрачного вида человек с неяркой, чисто рабочей внешностью, который, однако, все более возвышался в Политбюро — видимо, как раз благодаря своей неприметности: в темные, смутные времена, какие переживала тогда Французская компартия, ценятся как раз неброские люди, ничем среди других не выделяющиеся. Он тоже был окружен советниками, но в отличие от группы Дорио, где происходил заметный обмен мнениями и где была живая жестикуляция, здесь разговор шел незаметно, почти беззвучно, короткими репликами в сторону, a parte. Руководители враждовали между собой почти в открытую и не могли сойтись для принятия решения — функцию связующего звена вновь взял на себя главный комсомолец Гюйо, челноком заходивший между ними, от одного полюса к другому.

В толпе тоже начали шептаться: говорили неслышно, боясь шпионов, которые в эту минуту должны были напрячь уши, натренированные в школе подслушивания.

— Что там?

— Префект отказался уйти. Муниципальные здания должны использоваться по назначению.

— А полиция не должна использоваться по назначению?! Не громить своих, а ловить настоящих жуликов?! Негодяи! (Les salauds!) — слышалось отовсюду.

— Ты что, только на свет родился? Полиция для того и существует, чтоб жуликов от тебя защищать… Смотри, что-то решается. Уходим? Только не сегодня! У меня руки чешутся — дать им всем по мордасам!

— Тише ты! Тут не только стены — и камни слышат! Сейчас все решится…

Рене стояла недалеко от свиты Дорио. Она не могла подойти

ближе: не позволяла партийная субординация, но слышала многое из их разговора. Дуке скорым шагом подошел к ней:

— Снимаемся с места. В Монферней уходим: там запасной зал приготовлен.

Мишель, стоявший рядом с Рене и соскучившийся от безделия (ведь не он принимал решения), оживился:

— Это ловко! Они все не уйдут: побоятся, что вернемся. И префект с места не сдвинется, поскольку ему важность не позволяет, а мы в это время уже там будем. Монферней рядом, под боком. Я вчера ходил, местность обследовал.

Дуке воззрился на него: заподозрил в нем сыщика, одумался:

— Идем, словом. Что дальше будет, молодой человек, неизвестно, но пока что уходим. Только незаметно: чтоб они направление не вычислили.

— Через лес! — не теряясь и не унывая от нелюбезного приема, сказал Мишель. — Он совсем рядом. Они не сообразят. И лошади по лесу не поскачут…

Дуке еще раз поглядел на него с недоверием, но, вернувшись к Дорио, изложил ему Мишелеву диспозицию. Дорио одобрил ее, позвал Гюйо, тот передал Морису, и план будущего фельдмаршала был принят к действию на самом высоком уровне. Участники конгресса и группа поддержки и прикрытия повалили: кто гуськом, кто по-двое, по-трое — через лесной парк в сторону Монфернея, где их ждал скромный, но украшенный по случаю красными знаменами зал: в будни там было кафе, а по праздникам отмечались свадьбы и юбилеи.

Участники конгресса, ушедшие от преследователей, с веселым и насмешливым видом рассаживались на разномастных, наспех составленных стульях. Члены Политбюро разместились за столом президиума: нашли наконец друг друга и на виду у всех обменялись дружескими рукопожатиями, являя собой страстно всеми желаемое монолитное единство партии. Рене и Мишель сели посреди зала, среди рядовых членов конгресса.

— Торез, Гюйо, Дорио, — ласково перечислял любимцев некто сзади. — Все здесь! Жака нет только.

— Прячется, — объяснил сосед, более его осведомленный. — На нем два дела висят.

— Натворил что-нибудь?

— Не ту статью подписал. Хоть и не сам писал, наверно.

Тот, что был попроще, не поверил:

— Как так? Там же должна быть экспертиза почерка?

— Какая тебе экспертиза? Подписался — значит, автор. Хоть под собственным некрологом. Давай помолчим — сейчас выступать начнут. Интересно, что Торез скажет: я его давно не

слышал. Тоже долго под следствием ходил — недавно выпустили.

— А я вообще в первый раз в таком месте, — признался сосед. — Товарищ в последний момент заболел.

— Повезло, значит. Не каждый день случается. Все, замолкаем!.. Еще кто-то идет. Кто, не знаю. Кажется, из международного отдела, а точно не скажу. Их так много, и все время меняются… Нет, мимо прошел. Может, из местных кто-то. Очень уж беспокойный.

— Хозяин кафе, — объяснили ему сзади. — Будешь тут беспокойным. От этого кафе, того гляди, рожки да ножки останутся… — Но в следующую минуту и этот скептик вскинулся, просиял, зааплодировал, осчастливленный началом форума.

Начал Дорио. В каждом митинге есть две ключевых речи: начальная и конечная — Дорио, при всем к нему уважении, должен был довольствоваться первой, менее значительной. Он говорил о проведении Дня первого августа.

— Почему Первое августа?! — гремел с трибуны его мужественный, воинственный бас-рокот. — Почему мало нам, например, Первого мая? Потому что мы должны, друзья, не забывая славных традиций, показать всем, что прежних усилий недостаточно, что перед нами новые задачи, проистекающие из новых, крайне опасных для рабочего класса и всей страны обстоятельств. Обстоятельства эти не что иное, как крайняя милитаризация страны, правящий класс ее готовится к новой войне — для того, чтобы в ходе ее удушить те немногие отвоеванные нами права и достижения, которых мы добились в ходе упорных классовых боев и которых нам не могут простить наши хозяева! Годовщина Первой мировой войны, первой мировой бойни, станет для нас датой, по которой мы сверим наши силы и способность предупредить новое покушение на нашу свободу, на наши права, на само наше существование!..

Последующие ораторы использовали ту же тему, искусно добавляя от себя новые виражи и повороты, но сохраняя общую тональность речи. Она не была изобретена Дорио, существовала до него и была характерна для рабочих сходок и манифестаций того времени. Личное ораторское искусство заключалось в том, чтобы, соблюдая заданный мажорный тон и разыгрывая известную мелодию, вносить в нее собственные оттенки и вариации — сообразно своему таланту и положению. Некоторые прибегали к загадочным словосочетаниям и не вполне понятной лексике, но это не мешало слушателям, а иной раз только усиливало воздействие речи, плавно переходящей здесь из смысловой сферы в область заговоров и бессловесной музыки. Одного из ораторов не поняла даже Рене, с ее почти законченным

лицейским образованием. Он нарочно говорил темно и таинственно: чтобы поразить воображение слушателей.

— Тардье, — (это был тогдашний премьер-министр), — этот тухлый мошенник Н'Гоксо Шанга, акционер багдадской железнодорожной аферы, развивая план картелиста Сарро, брызжет бешеной слюной и лезет на стену, чтобы отбросить назад нашу партию, запретить «Юманите» и подавить боевые профсоюзы! Мы скажем свое громкое «нет» этому международному аферисту: пусть убирается в Африку к своим подельникам — его и оттуда выгонят нарождающиеся там здоровые антиколониалистские силы!..

— Во дает! — не выдержал сосед сзади. — По бумажке, что ль, читает? Надо черновик уничтожить: доказательство. Говорить-то все можно — на слове не поймаешь. Все будут разное вспоминать. После такого выступления.

Рене оглянулась на него и спросила Мишеля:

— Что такое Н'Гоксо Шанга?

— Не знаю. Какая-нибудь афера, наверно.

— А почему багдадская железная дорога?

— Тоже что-нибудь в этом роде. Какая разница — какая. Слушатели ко всему готовы. Здорово чешут, — признал он. — Почище моего папеньки.

Рене была настроена иначе.

— Я бы так не сумела.

— Почему? Ничего трудного. Знай себе разливайся да раскатывайся. Совсем как в опере.

— Да нет… Я привыкла отвечать за каждое слово. А тут так быстро говорят, что сама не вспомнишь, с чего начала и чем кончила.

Мишель насмешливо глянул на нее, но не успел возразить — на них сзади зашикали:

— Тише! Слушать не даете. И так не все понятно. — На самом деле они не слушать мешали, а не блюли необходимого настроения: в церкви, во время службы, не обсуждают достоинств хора и проповеди священника — так ведут себя даже не иноверцы: в их храмах те же обычаи — а лишь неверующие…

Заключал речью митинг Морис Торез. Выступление его, в силу положения докладчика, было продуманно, взвешенно и доказательно. Он упирал на то, что партия предвидела последние события и вовремя предупредила о них своих членов, и участники конгресса были благодарны ему за это.

— Начиная с Шестого съезда Коммунистического Интернационала, анализируя соотношение сил между различными капиталистическими державами, мы говорили о том,

что это соотношение чревато опасностями нового мирового конфликта. Текущий момент ставит перед нами сложные задачи партийного строительства…

Ему не дали договорить — равно как и принять резолюцию, уже составленную редакционной комиссией. В зал без стука и предупреждения ворвались сыщики и жандармы — все в той же, пополам на пополам, пропорции офицеров и людей в штатском. Сразу же завязалась потасовка: некий жандарм рвался к помосту с президиумом, а люди Дорио, стоявшие в проходе между рядами, его не пускали: решили, что он пришел арестовывать их лидера. Офицер пробился-таки: не в президиум, а в первый ряд — стал лицом к залу.

— По распоряжению префекта я закрываю ваше сборище как заранее не заявленное и потому незаконное!

В зале начался невероятный шум, но он сразу прекратился, едва Морис поднял руку.

— Мы подавали заявку, — сказал он спокойно и чуть-чуть насмешливо. — Она была подана за месяц до нашего, как вы говорите, сборища. Как и положено в законопослушном государстве.

Зал ответил на его иронию, как ожидалось, здоровым дружным смехом. Офицер остался невозмутим.

— Это была заявка на митинг в Клиши. А здесь, как я понимаю, Монферней. Разойдитесь — не то будут приняты экстренные меры! У нас для этого есть необходимые силы, — и в подтверждение его слов в зал вбежали новые десятки полицейских и остановились в ожидании приказа. Зал вспыхнул гневом:

— Ага!.. С этого бы и начинал!.. У нас тоже найдутся силенки!.. Жак, ты взял с собой клюшку?!. Что-то у меня с утра руки чесались — не знаешь, отчего это?!.

Офицер подал знак, полицейские в мундирах и ряженые в штатском бросились на участников конгресса, принялись закручивать им назад руки, готовя их задержание: в зал вбегали все новые и новые стражи порядка.

— Куда смотрели?! — бросил Дорио Торезу. — Ваши же вход защищали! Ваши снаружи, мои внутри — так ведь договорились? Сотню полицейских проглядели! Речью твоей заслушались?!

Морис не отвечал: не то счел ниже своего достоинства, не то струсил: бои разворачивались на ближних подступах к президиуму.

— Валим отсюда! — вскричал Дорио, но опровергая себя, тут же ввязался в драку: какой-то субъект невзрачного, но вполне определенного вида, со скользким и как бы отсутствующим

взглядом, осмелился ухватить его за рукав: взялся как бы нечаянно, но не отпускал уже вполне сознательно и намеренно. Дорио двинул его в челюсть — рубашка треснула, сыщик крякнул, отпустил ее, потер ушибленное место, наградил Дорио обиженным взглядом: все молча — и позвал вполголоса товарищей, чтоб те помогли в аресте, но Дорио не будь дурак отскочил в сторону и, окруженный единомышленниками, пробивался к окну, из которого легче было вырваться наружу, чем через запруженные агентами двери.

— Что стоишь?! — успел крикнуть он Морису, который отошел в конец сцены и над чем-то невпопад задумался: видно, над текущим моментом и задачами партийного строительства. — Они же все Политбюро хотят в одной камере собрать!. — И Торез нехотя послушался, обнаружил неожиданную прыть и сметку и бросился наутек — но не на улицу, не наружу, как от него все ждали, а в дверь, ведущую во внутренние покои хозяина…

В зале шла драка. Полицейские не были вооружены, но владели навыками заламывания рук и укрощения строптивых. Рене и Мишель сидели посреди зала, до них не дошла еще общая схватка, но уже совсем рядом летели стулья и люди, внешне неотличимые друг от друга, дружно друг друга тузили. Как они отличали своих от чужих, Рене было неясно — она заметила только, что агенты полиции были молчаливы, а свои сверх меры разговорчивы. Она не питала злых чувств к полицейским, делавшим свою работу, и не хотела драться — но на то она и была девицей; Мишель же взбеленился и озверел: лез в драку, хотя и не мог дотянуться до нападающих. Кулаки его не доставали — он схватил тогда ножку развалившегося в драке стула и что было силы, ткнул ею в глаза дерущемуся в соседнем ряду флику. Тот взвыл, схватился за лицо, рассвирепел уже не по службе, а всерьез, нарушил обет служебного молчания:

— Ты что же, гад, делаешь?! Ты меня без глаза оставить хотел?! Ты, курчавый?!

— Ты действительно брось палку, — сказал Мишелю один из своих, сражавшихся рядом. — Так и убить можно… Если ты, конечно, не провокатор…

— Какой провокатор?! Свои своих не бьют… — Еще один полицейский — видимо, старший — оставил на время работу, вышел из-за спины товарища и пригляделся к Мишелю: дело приобретало новый оборот, опасный для юноши.

— Это тот, кто ночью по площади ходил. Я еще тогда к нему приглядывался… Будем брать его отдельно…

— Может, прямо сейчас? — предложил подбитый товарищ. — Я отойти хочу. Глаз разболелся. И закрывается. Что за работа,

мать ее! Завтра к врачу пойду. Засвидетельствуешь в случае чего?

— Конечно… Потом возьмем. Сейчас мешаться будет. Никуда он не денется: все перекрыто… — и, наградив злополучного Мишеля памятным взглядом фотографа, отошел к дерущимся, и они продолжили схватку: в задачи нападающих входило арестовать возможно большее число участников конгресса, а тех — сократить это число до минимума…

Провидение спасло Мишеля — вернее Рене и предоставленная им отсрочка.

— Уходить надо, — сказала Рене Мишелю.

— Куда? — Он успел уже смириться с новой для себя участью. — Я готов и посидеть. Надо знакомиться с жизнью во всех ее проявлениях. Я давно уже о тюрьме мечтаю. Я, Рене, вообще не столько философ, сколько клошар и бродяга, — и поглядел выразительно: он всегда был готов к самосозерцанию и абстракции.

— Не вовремя ты философствуешь, — выговорила она ему, что вообще было ей не свойственно. — Надо смываться. Успеешь в каталажку сесть.

— А как? — он глянул с унынием. — С моими-то космами? У меня голова такая, что ее отовсюду видно.

— Сейчас мы ее забинтуем. — Рене полезла в сумку, с которой не расставалась. — Нагнись.

— Спрятаться, как страус в песок? Никогда!.. — но пригнулся-таки, и Рене, прячась под стульями, обмотала ему голову двумя-тремя рядами плотных матерчатых бинтов, так что наружу торчали одни уши и угадать по ним выкалывателя глаз не было никакой возможности. Потом его как раненого, по законам Женевской конвенции, бережно вывели из зала, и он не только не вызвал нового прилива злости у драчунов, но наоборот, призвал их души к смягчению нравов и к соблюдению известных мер предосторожности…

— Видишь. А ты говорил. — Рене глядела насмешливо: она гордилась своей находчивостью, которая просыпалась в ней в чрезвычайных обстоятельствах, а до этого словно дремала, так что она сама о ней не ведала. — Снимай бинты: другим еще пригодятся.

— Нет уж! Теперь не сниму до самого дома! Отцу с матерью в них покажусь. Напугаю по первому разряду!

— Снимешь перед тем, как в дом войти.

— Ну да! Наоборот, накручусь еще больше! Пусть привыкают!..

И они отправились домой — пешим ходом, потому что все деньги свои Мишель истратил накануне на такси, а ехать зайцем

им не приходило в голову: оба революционера были слишком для этого добропорядочны. Хорошо Стен и Париж были рядом: километров десять-пятнадцать, не более — можно было и пешком дойти, особенно в приятной компании.

13

На следующий день Рене пришлось оправдываться из-за пропуска уроков. Она сослалась на домашние обстоятельства. Директриса лицея приняла ее извинения с ледяным безразличием и допустила к занятиям: провинность была пустяшной. Между тем отношение к ней со стороны учителей за последний год изменилось: повеяло холодком, которого прежде не было. Раньше к ней относились тоже не как ко всем прочим: словно ждали от нее чего-то — теперь все прояснилось и возникло общее отчуждение. Рене делала вид, что ничего не замечает: ей ведь не мешали учиться дальше. Учителя открыто против нее не выступали: решили сообща, что лицей выше политики. Месье Пишо, поначалу больше всех ею интересовавшийся, сохранил этот интерес и поныне, но теперь он был, так сказать, отрицательного свойства: он то и дело искоса поглядывал на нее, словно искал, к чему придраться, но и он ставил ей те же отличные отметки, что прежде.

Иногда кое-что прорывалось наружу.

— Анатоль Франс. Академик. Фамилия эта не его, а выдуманная. Псевдоним, иными словами… Кто знает, что такое псевдоним? Марсо — где она у нас? — и поискал глазами: будто не видел до этого. — Как объяснить это слово?

Рене встала. Она не успела заподозрить подвоха: в лицее она забывала свою вторую жизнь, существовавшую у нее как бы помимо школьной, — она словно жила в две смены.

— «Псевдо» — это чужое, фальшивое, «ним» — имя. Чужое имя.

— Правильно — фальшивое. Как всегда, все знаешь. — Пишо кивнул с видимым удовлетворением, хоть и гадал в эту минуту над тем, дурачит ли она его или в самом деле такая простачка. — Уже и «отлично» ставить не хочется — сколько можно?.. — Тут и до Рене дошла двусмысленность вопроса — она прикусила язык и покраснела, но продолжала стоять с дерзким лицом и в вызывающей позе. — Сказала — и садись, — успокоил он ее. — Что лишнее стоять?.. А какая у него на самом деле фамилия — кто-нибудь сказать может? — и пошел дальше по кругу…

От Летиции она отсела сразу же после посещения «Максима»: не смогла простить ей сговора с отцом-полицейским. Летиция не обиделась и не возражала: отец ведь настаивал на том же. Она не питала злых чувств к бывшей подруге и даже попробовала восстановить былые отношения.

— Ты и вправду секретарь ячейки? Или как это у вас

называется? — не сдержав любопытства, неловко спросила она Рене. Они шли по июньскому Парижу, который особенно наряден в начале лета. Перед этим она вызвалась проводить Рене до автобуса, и та согласилась: приятельские привычки бывают иной раз сильнее самой дружбы.

— Кто тебе сказал?

— Говорят! — улыбнулась та. — Сама знаешь кто.

— А ты дальше передаешь?

— Упаси бог! — горячо защитилась Летиция. — Что ж я: язык за зубами не умею держать? Сама в таком же положении.

— В каком?

— Полулегальном! — Летиция засмеялась. — Всю жизнь осторожничаю! — Она была весело настроена в этот день. — У меня новый мальчик… — и замолкла выжидательно, но Рене не спросила кто: это было ей уже неинтересно. — Сейчас только не Пьер, а Феликс: изменила своему правилу. Не знаю, рассказывать про него или нет. Когда часто меняешь, могут посчитать развратницей… У вас ячейка?

— Не ячейка, а так… Собираемся для занятий философией.

— Может, мне прийти? — загорелась Летиция. — Мне как раз философии не хватает. Для рассудительности.

— Не знаю. Спросить надо. Если разрешат, — уклончиво отвечала Рене, но по ее тону и виду Летиция поняла, что разрешение ей не светит. Она улыбнулась.

— Боишься, что отца на вас наведу? Напрасно… — И предприняла последнюю попытку помириться: — Зачем тебе все это? Столько неприятностей и из-за чего? У меня хоть приятные ощущения бывают. Не всегда, правда, — как повезет… — Рене недоверчиво глянула на нее, но разговора не поддержала. — Жаль, — сказала Летиция напоследок. — Полицейские, коммунисты — какая разница? Что одни, что другие. Что б они без нас делали? — Но и этот призыв к разуму и к женскому началу не возымел желаемого действия, хотя в нем и была своя истина.

Рене поспешила к своим Мученикам. Там, как она и ожидала, все было вверх дном и в ушах звенело от общего шума. В кабинете Дуке сидело много народу, все встрепанные и взвинченные. Дуке был в особенной тревоге.

— Цела? — спросил он, увидев Рене. — А мы уже беспокоиться начали. Где была?

— В лицее.

— И сегодня туда пошла? Тебе не сказали ничего?

— Нет.

— И газет не читала? Надо читать — там иногда интересные

вещи пишут. Полюбуйся, — и кивнул на лежащую на столе «Юманите». — Наших сто двенадцать человек арестовали. Включая Тореза и Вильморена. Мы тебя в последний раз видели, когда ты философа из зала выводила. Он чуть глаз полицейскому не выбил — это в правые газеты попало. Ранение полицейского — после этого любые зверства с их стороны оправдать можно. Ты хорошо придумала, что вывела его оттуда. А то б и нам пришлось несладко. Пусть из дома не высовывается и, главное, пусть больше носа сюда не кажет. Они ищут его везде, да, слава богу, никто его не знает, а то б и заложить могли. Всегда ж есть осведомители, а по такому делу их напрягают в первую очередь. Чтоб показательный процесс устроить… Поедем завтра в Сен-Дени: велено заводы поднимать. — Он понизил голос до полушепота, показал заговорщическим взглядом на телефон и увидел замешательство на ее лице. — В чем проблемы?

— Во второй раз прогуливать придется.

— Из лицея выгонят? У врача справку возьмем.

— У меня нет такого доктора.

— Зато у нас есть. У него сегодня много работы будет…

Спустя час Рене, в компании пятерых симулянтов, была на вечернем приеме доктора. Помощница врача, довольно сухая и негостеприимная особа, вписала их в книгу приема и не преминула заметить, что доктор должен будет еще и заплатить налог с их воображаемого гонорара. Кое-кто из мнимых больных сконфузился и полез в карман, но она сказала, что не это имела в виду — просто они должны знать, что не все так просто, как они думают. Никто так и не считал: вообще не думали об этом — но всем было неловко: все стояли, словно стулья в прихожей были не для них, а для настоящих пациентов, и не разговаривали между собой, будто не были знакомы. Доктор оказался приветливее ассистентки. Он наскоро пропустил одного за другим пятерых здоровяков, выписал свидетельства о их временной нетрудоспособности, а на Рене задержался. Это был пожилой веселый человек в опрятном черном сюртуке и в галстуке. У него было широкое добродушное лицо, которое в улыбке расплывалось и делалось еще круглее и губастее.

— Тоже болеешь? Что писать будем?

— Что-нибудь полегче. Чтоб побыстрей выздороветь.

Рене не робела. В присутствии интеллигентных людей она чувствовала себя легко и свободно.

— Тогда катар желудка. Тошнило тебя вчера и на двор бегала. У тебя удобства во дворе?

— Во дворе.

— Конечно. Зачем революцию делать, если есть канализация?

И врать будет легче. Врать умеешь?

— Могу при случае.

— Это хорошо. Полезно. На документ. Все как положено, с печатью, — и пригляделся к ней. — Давно с вашим братом дело имею, а такие не каждый день встречаются. Что тебя потянуло на эти галеры?

Рене не любила, когда ее выделяли среди прочих.

— Да так. Надо же кому-то… Вы, наверно, еще в социалистической партии состояли?

— Какой? — не понял он. — Она и сейчас есть. Ты имеешь в виду тех, кто стал потом коммунистами? Нет, не был. Ни в какой партии не состоял и не состою. Только симпатизирую. Симпатизант со стажем! — произнес он шутовским тоном и пояснил: — Надо же кому-то и работать. Хотя, наверно, ты так не думаешь.

Это ей не понравилось.

— Симпатизируете — поэтому здоровым справки пишете?

Теперь рассердился он:

— Потому и пишу… Потому что неизвестно, кто больнее. Вы или они вон,

— и кивнул в сторону приемной, где сидели согбенные и скрюченные люди — один другого краше. — Ладно, иди болей, — и вызвал к себе настоящего больного — или, на его взгляд, более здорового, чем только что прошедшие через его кабинет заговорщики. А Рене отправилась домой, и в руке ее был фальшивый документ — первый, но не последний в ее жизни…

Мэрия Сен-Дени кишела людьми — здесь все бурлило и кипело. Арестовали мэра, грозили посадить других — было от чего придти в движение. Импозантное, выстроенное в конце века ложноклассическое здание с вполне буржуазными колоннами, решеточками и балконами нестройно гудело внутри и до неприличия часто хлопало и визжало дверьми снаружи. Они прошли к Дорио: он занимал самый большой кабинет, где принимал иной раз высоких посетителей. Дорио кипел и бурлил, как сама мэрия. У него были сложные отношения с Вильмореном. Одно время Дорио сам хотел занять его должность, но этому воспротивилось Политбюро, не желавшее видеть его облаченным в еще одну почетную мантию. Тогда в выборные списки ввели заместителя мэра Корбулона, который, по замыслу Дорио, должен был стать в мэрии его рупором и глашатаем, но Вильморен не думал уступать пальму первенства и, воздавая должное Дорио, не захотел угождать его представителю. Но теперь, когда за решетку угодили оба, и Вильморен и Корбулон, все было забыто: общая угроза сплачивает рабочих и заставляет на время забыть прежние

разногласия.

На высоте революционной волны Дорио вырастал из тесных одежек и обнаруживал свойства прирожденного вожака и главаря стаи. Русские товарищи, больше всего ценившие в рабочих руководителях способность именно к такому перевоплощению, предпочитали его поэтому другим и сохраняли в обойме, несмотря на все его, тоже врожденные и неустранимые, пороки и недостатки. Они вообще никак не могли решить, кого поставить во главе французского рабочего движения, интриговали, меняли вождей по своему усмотрению, и отчасти поэтому среди коммунистов было так много свар и раздоров. С Дорио они, забегая вперед, крупно ошиблись.

— Дуке прибыл? — Дорио мельком взглянул на прибывших, угадал их настроение, стал насмешничать: — Что приуныл, Дуке?

— Да вот велено заводы и фабрики поднимать, — как умел, защитился он. — А какие заводы у нас в округе? Мулен-Руж если только.

— Почему? У вас авиационный есть — у тебя под боком. Был там когда-нибудь?

— Туда не пускают, Дорио. Как на военную базу.

— Я знаю. И ты приехал к нам — подымать королей в нашей Базилике? Давай в самом деле в Базилике штаб восстания разместим, — предложил он Фоше. — Повесим там красный флаг? Прямо над могилами?

— Над могилами — это чересчур, — сказал Фоше: он был для Дорио как бы ангелом-хранителем, предостерегавшим его от чересчур буйных речей и поступков. — Могут понять неправильно.

— Ну над портиком! Не в этом дело! Лишь бы висел: он на них как красная тряпка на быка действует. Что испугались?! — обратился он к Дуке и, поскольку тот замялся, ответил за него: — Камерной параши? Так она ничем не хуже ваших отхожих мест! Им, думаете, сейчас до этих пустяков: повесим мы флаг или не повесим? Когда они ва-банк пошли! Они будут сажать, не спрашивая за что! Если мы их бояться начнем! Страх последнее соображение отнимает. Знаете, как Мориса поймали? Нет?.. — Он засмеялся нахальным юношеским смехом. — Залез в платяной шкаф к хозяину кафе! Ей-богу не вру! Его оттуда еле вытащили: вцепился в хозяйкины платья! Она еще ему счет представит!

— Если это так, — сказал Дуке под впечатлением услышанного, — его нужно под партийный суд отдать.

— Так и передать? — не без яду в голосе спросил Дорио. — Девятый район, скажу, настаивает на трибунале… Не до того сейчас. Не до судебных разбирательств. Поедем на заводы —

подымать рабочих.

— Пришло такое распоряжение, — подтвердил Дуке, уже поняв, что погорячился с повесткой на судебное разбирательство.

— Распоряжение! — передразнил его Дорио. — Отсюда оно и пришло! Из этого кабинета! На телефоне же не видно, кто звонит! Некому больше это распоряжение давать было. Поехали! Я на вагоноремонтный, Рене со мною: посмотрю, как она с рабочими говорит. В кабинете, с глазу на глаз — это у каждого выходит, а на заводе посложнее. Хотя и это не беда, — успокоил он сробевшую девушку. — Знай чеши себе да голоси громче. Ты на конгрессе была?

— Была.

— Видишь. У тебя ж хорошая школа. — И, обратившись к товарищам, вновь задорно засмеялся. — Как она инвалида этого бинтами обмотала и из зала вывела! Полоумного, который чуть глаз филеру не выколол! Я дерусь, а меня смех разбирает. Мне ж сверху видно было. Чуть не влюбился в нее! Так было дело? — спросил он Рене.

— Насчет бинтов? — уточнила она, поскольку не любила двусмысленностей.

— А насчет чего еще? С влюбленностью я сам разберусь.

— Так, — призналась Рене. — Только бинты он с собой взял.

Дорио снова засмеялся: смех его был неистощим в такие дни, как этот.

— Партийное имущество унес?

— Ну да. Хотел ими родителей напугать.

— Это он сказал так, — пренебрежительно и проницательно заметил тот. — А на самом деле перепугался. Как Морис в гардеробе! Все! Машина одна, всех развезет по очереди. Дуке в муниципальную типографию: пусть типографов на революцию поднимает. Мне это не удавалось никогда. Там законники сидят. Начитались распоряжений префекта, которые сами же и печатают!..

Они развезли ораторов по заводам и ехали теперь втроем с водителем.

— Этот вагоноремонтный небольшой, но народ там боевой, задиристый, — говорил Дорио. — Неквалифицированный — поэтому. Попробуй на Рено сунься. Не пустят, во-первых, во-вторых, слушать будут с иронией да с задними мыслями. Если вообще придут. Я туда не езжу. У нас, к сожалению, чем грамотнее рабочий, тем трудней подбить его на уличное дело. Пойдет, но только когда подопрет так, что деваться некуда. Тогда, может, и зачешется. А пока будет в своей норе отсиживаться. Голосовать — пожалуйста, отдаст свой голос и другому

подскажет, а в драку не полезет. А здесь придется на улицу выходить — это единственное, чего они боятся. Власти, я имею в виду. И хозяева в таких местах уступчивее. Маленькое производство — зависит от заказов, а мы им кое-что подбрасываем. Вагоны обычно железным дорогам принадлежат, но и у нас есть небольшой парк — даем подремонтировать.

— Но этого мало, наверно? — спросила Рене, вовлекаясь в хозяйственные расчеты. — Сами говорите, небольшой?

— А другие коммуны на что? И красные, и всякие. Они нам вагоны, мы им что-нибудь другое. Муниципальная власть — особая штука, Рене. Она столицу не любит — тут есть поле для маневрирования. Приехали. Жди нас здесь, — сказал он водителю, — мы ненадолго. Не расстаюсь с машиной, — объяснил он Рене. — С ней как крылья вырастают…

Охрана пропустила их. Рядом с ней уже стояли боевики Дорио: его приезд был подготовлен. Хозяин не вышел их встречать: визит был все-таки неофициальный — но распорядился, чтоб ему дали выступить в обеденный перерыв. Дорио приехал на полчаса раньше: чтоб не отнимать у работяг золотое время обеда, и хозяин закрыл глаза на изменение распорядка: это тоже входило в установившиеся уже правила. Дорио пошел к импровизированной трибуне на заднем дворе завода: он любил осмотреть свое рабочее место. Рене зашла в первый попавшийся ей на глаза цех. На заводах она никогда не бывала. Цех представлял собой двор, застеленный широкими толстыми досками. В дождливое время года здесь стояла густая грязь — теперь доски лежали посуху. Во дворе возились и суетились с десяток рабочих: разбирали старый пассажирский вагон. Рене подошла ближе. С ее приходом, как если бы объявили перерыв, многие отошли в сторону, закурили, несмотря на запрет, висевший тут же, но двое: один постарше, другой помоложе — заработали вдвое быстрее и ухватистее прежнего: первый, чтоб показать работу, второй — потому что подошла девушка.

— Посмотреть пришла? — спросил тот, что постарше, в замасленных штанах и в грязной, потерявшей начальный цвет рубахе.

— Митинг проводить. — Но призналась затем: — Но и посмотреть тоже.

Он кивнул.

— Трубу вот хочу вытащить. Проржавела, худая — надо менять, а она не дается. Отойди маленько. А то вырвется из рук — по голове может дать. Надо бы отпилить ее, да мы народ такой: норовим скорее. Оно дольше и выходит. Одному так концом дали, что в больнице две недели пролежал. Сотрясение, что ли.

Но они это сказали так, а на самом деле, может, что похуже было. Хозяина решили не подводить. Посторонись, Жак, я еще раз дерну…

Жак отошел в сторону, присоединился к Рене, рабочий, которого звали Жаном, еще раз применил силу — ржавая рыжая труба вырвалась с треском из своего ложа. Жан еле удержался на ногах, но остался доволен.

— Сила есть — ума не надо. Теперь новую будем прилаживать.

— Тоже силой? — спросила Рене.

— Нет, эту не будем портить. Вон они какие красивые, — и кивнул на новые иссиня-черные трубы, ждавшие своего часа в большой стопке на другом конце двора. — Согнем по контуру.

— По старой?

— На старой уже не поймешь ничего — вся гнутая. Будем на месте прилаживать. Вон станок для гнутия. А другие точить и сверлить ее потом будут. Все просто — за пять минут освоить можно, — простодушно сказал он и, глянув лукаво, тут же опроверг себя: — Это так кажется только. Я пять лет вкалываю, а все учусь. А Жак и учиться не хочет. Уходить собрался.

— А за что горбатиться? Платят мало. — И пояснил Рене: — Десять франков в день? Да я за такие гроши лучше улицу подметать пойду.

— Так тебя туда и взяли. Там все арабы разобрали. Им еще меньше платят. Девушка нам сейчас на митинге обо всем расскажет. О чем митинг хоть?

— Арестовали сто двенадцать человек. На конгрессе, посвященном подготовке Дня первого августа.

— А что за день?

— День борьбы с милитаризмом и военной угрозой.

Жан кивнул, не вникая в суть дела.

— Это они не любят. Служить нужно не рассуждая. Ты служил, Жак?

— Нет. Как из Бретани смылся, так меня из виду потеряли.

— Оно и видно. А что от нас хотят? — спросил он Рене.

— На уличную демонстрацию выйти. В знак протеста.

Жан глянул с сомнением.

— Это подумать надо. Своих, конечно, поддержать надо, но очень уж не люблю я штанами улицу подметать. Это молодых дело. Ты пойдешь, Жак?

— А почему нет? Для меня улица как дом родной. Я ж тебе говорю, наняться туда хочу. Чтоб днем и ночью на ней оставаться.

— У тебя дома нет?

— Какой это дом?! Название одно. Комнатушка с кроватью

скрипучей — не пригласишь никого: пусть девушка извинит меня, конечно… Начинать надо, если митинг, а то в обеденный перерыв вкатимся. На улицу-то я выйду, а говорильню эту за счет обеда слушать не буду…

Митинг вели с большого помоста. Изначально сооружение предназначалось для работы: на него ставили ремонтируемый вагон, чтоб подобраться к нему снизу. Теперь верх застлали досками и поставили на них стол президиума. Поскольку подмостки не в первый раз использовались в этих целях, имелась и грубо сколоченная трибуна, и лесенка, по которой гости поднимались наверх. Рабочие стояли внизу. На их лицах было то общее для всех выражение солидарности, которое невольно появляется на всех бунтовских сходках. Среди этой более или менее одинаковой толпы выделялся один с лицом недоверчивым и несообщительным: он оказался главным мастером завода и был послан администрацией для надзора за митингом и последующего отчета хозяину. Дорио говорил мощно и зажигательно: накатывался, как прибой, высокими крутыми волнами, на мягкий, уступающий его напору песчаный берег аудитории.

— Они хотят слишком многого! Чтоб мы работали задарма, глазели, как они воруют, набивают себе карманы, помалкивали и терпели еще, когда они сажают наших товарищей — только за то, что те в открытую говорят им, что они воры и жулики! Нам не нужны колонии! От них нам никакого проку! Это им они нужны: чтобы и там запустить руку в чужой карман, послать сюда несчастных, живущих там, обворовать их и заодно нас с вами: заставить их работать за полцены и сбить наши заработки! Сколько можно молчать?! Чем больше мы молчим и бездействуем, тем больше они наглеют! И поэтому — все на уличную демонстрацию! В этот раз мы будем манифестировать не здесь, а пойдем в Париж, в их логово — этого они больше всего не любят и боятся. Потому что они не так сильны, какими кажутся и хотят показать себя, и боятся силы. Они рассчитывают на армию, но она не так глупа и будет сражаться за них лишь до поры до времени! Вот где завязка сегодняшнего конфликта! Борьба за армию — вот причина и мера их ненависти к нам и их бессильной злобы! В воскресенье мы соберемся у мэрии и пойдем на Париж. Предупреждаю, это может быть опасно: те, кто боится драки и полиции, пусть остается дома, а идут пусть самые смелые и отчаянные!..

При упоминании о воскресенье представитель администрации расслабился, до того он слушал с заметным напряжением: демонстрация не будет сопровождаться

забастовкой — для него это было главное.

— Давай! — Дорио, еще не остыв от всплеска собственных чувств, подтолкнул Рене, словно собственной речи ему было мало и он хотел продолжить ее устами девушки. Но Рене не была готова к выступлению.

— Что говорить? — невпопад спросила она.

— Да то же самое. Хоть каждое слово повторяй. Главное, дери глотку. Выступает секретарь комсомола девятого района Рене Салью. Прошу ее поприветствовать! — громко объявил он, и собрание дружно захлопало.

Рене пребывала в замешательстве и не знала, что с чего начать. Она не умела бездумно повторять вслед за другими, могла излагать только свои мысли, ею выстраданные или внезапно ее осенившие. Вместо того, чтобы следовать Дорио, она напряглась в поисках собственного поворота темы. Находка была не из лучших: она заставила себя сочинять и импровизировать, а это редко когда оказывается успешным, особенно на людях. Она вспомнила, что ей только что говорили рабочие, и решила построить речь на свежих впечатлениях. Она все же связала свое выступление с предыдущим:

— Товарищ Дорио говорил, что рабочие работают задарма. Я хочу остановиться на этом. Десять франков в день — таков заработок на этом заводе, подметальщику на улице платят столько же. А чтоб набить себе руку, освоить навыки, нужны пять лет, не меньше. Да еще постоянная опасность травм! Теми трубами, которыми вы ворочаете, ничего не стоит нанести соседу травму. Вы недавно имели такую, кстати говоря…

Речь оказалась направленной против хозяина завода — митинг как бы свернул с одной тропы на другую, более опасную. Человек из администрации посмотрел на Рене с недоумением. Но она не оглядывалась на него — ей важен был отклик рабочих, а он заставлял себя ждать — его, можно сказать, вовсе не было. Во-первых, не все получали здесь десять франков, во-вторых, мало приятного выворачивать на людях грязное белье и жаловаться посторонним на хозяина, да еще в присутствии девушки. Рабочие думали о своем и глядели мимо, но упрямая Рене не сворачивала с выбранного пути и не останавливалась:

— А потом, после работы, мы идем в крохотное жилье, за которое платим втридорога и которое не соответствует этой плате. Без удобств и со скрипучей кроватью!..

Про кровать можно было не говорить. Внизу оживились и повеселели:

— Это Жак, что ль? Он всем на свою кровать жалуется!

— А что я виноват, что она вправду такая!

— Теперь все знать будут. Ну, Жак, попал в историю!.. — И рабочие засмеялись и поглядели на Рене с дружелюбной насмешкой и лукавым сочувствием.

Дорио раздосадованно хмыкнул, Рене сбилась с толку, потерялась и кое-как закончила выступление:

— Словом, все на воскресную демонстрацию! Скрипучая она или не скрипучая!

Внизу снова засмеялись — уже без прежней иронии, почти уважительно.

— Теперь точно уж пойдем! Под такими лозунгами!.. — И представитель администрации расслабился и размяк: его подопечные не поддержали нападок на хозяина…

Позже в компании Фоше Дорио выговаривал Рене за ненужную самостоятельность:

— Тебе сказано было — веди по трафарету, по тому, что уже сказано! Это же театр, тут все роли расписаны: шагнешь в сторону и не будешь знать, как выбраться. Чуть все впечатление не смазала — не знаю, чем бы все кончилось, если б сама не дала задний ход, не обернула все в насмешку. Над собой же! Что за черт дернул тебя самовольничать? Митинг был про воскресную демонстрацию и про колонии, а не про зарплату и условия жизни рабочих. С этим они сами разберутся. Или обсудят отдельно — уже в другом ключе и с другим азартом. Зачем было одно с другим смешивать?..

Рене принимала справедливость его слов, но ничего не могла с собой сделать. Она была готова отдать все на алтарь партии и отечества — только не себя самое: не свою личность и привычки.

— Я это все понимаю, но не могу с собой справиться. Заставить себя.

— Что ты не можешь себя заставить?

— Повторять, как попугай, за другими.

Фоше засмеялся, а Дорио уставился на нее.

— Да?! А что ты тогда делаешь в рабочем движении? Тут все только этим и занимаются… Она в деле хороша, а не на словах, — сказал он Фоше. — Дела у нее лихие — дай бог всякому: что с плакатами, что с этим полоумным философом. Находит на нее, что ли?

— Я с самого начала сказал, что ей нелегалкой надо быть, — сказал Фоше.

— Нелегалка — это угодить в пасть русским. А я этого и врагу не посоветую. Если у нас будет что-нибудь со временем — тогда другое дело.

Всего этого Рене не поняла и глянула вопросительно.

— Не понимаешь? Пойми для начала, что мы все твердим

свои уроки под подсказку. Так оно проще и надежнее.

— А что за нелегальная работа? — Единомыслие, видимо, не устраивало ее.

— Много будешь знать, скоро состаришься… Расскажу как-нибудь, в других обстоятельствах. В ресторане каком-нибудь. Не хочешь?.. — Фоше засмеялся и отсел подальше, чтоб не присутствовать при назначении свидания, но слушал со стороны, чем оно кончится.

С его помощью Рене поняла, о чем идет речь. Она глянула мельком на крупное, массивное, лобастое лицо Дорио, ставшее вдруг чувственным и напряженно застывшее в ожидании ответа, и отказалась от более близкого знакомства с ним — даже на таких заманчивых условиях:

— Нет, наверно. Про нелегальную работу послушать, конечно, интересно, но не на таких началах.

Фоше снова засмеялся, а Дорио отступился от нее и выглядел при этом не слишком разочарованным. Это был пробный шар с его стороны. Он и прежде испытывал сомнения на ее счет, теперь же окончательно в них утвердился: Рене была слишком для него независима и самостоятельна.

— И правильно. Нечего в омут бросаться. Ни со мной, ни с русскими… Вернешься в свой район?

— Вернусь.

— Что там интересного?

— Занимаемся философией. Кружок организовали.

— Это важно очень, — иронически признал Дорио. — И много желающих?

— Пока четверо. Но все хорошие ребята.

— Да уж наверно. Учатся бесплатно и к плохим приятелям не ходят. Матушки должны быть в восторге, — и отпустил ее восвояси…

На следующий день Рене вызвали с урока к директрисе — она должна была объяснить причину новой неявки на уроки. Она подала врачебное свидетельство. Директриса, дама из высшего общества, потомственная аристократка, мирилась со многим, ко всему относилась если не снисходительно, то невозмутимо и прощала, с высоты своего положения, разные грехи, но в этот раз решила проучить зарвавшуюся казенную ученицу: она терпеть не могла липовых документов. Впрочем, против бумаги и она не могла ничего сделать. Она скользнула взглядом по представленной справке, распознала в ней ложь, нетерпеливо ерзнула на стуле, поднялась.

— Уже выздоровела?.. — И пообещала: — Я ведь проверю.

— Там все в порядке, — посочувствовала ей Рене,

предупреждая ненужные хлопоты.

— Ну да. У вас же и доктора свои, и священники… Ладно. Иди. Добром это все равно не кончится…

Воскресная демонстрация состоялась. Рене шла рядом с Дуке в группе представителей девятого района. Сен-денисты возглавляли колонну и защищали ее с флангов. Дорио шел на острие шествия. Он еле поздоровался с Рене, прошел мимо. Дуке увидел это:

— Что это он? Поругались?

— Ну да. Не так выступила. Сказала лишнее.

— А он всегда лучше всех все знает. А если кто говорит лишнее, так это он и никто больше! Мелет — что, сам не знает! Нет такой тайны, которую бы он не выболтал на первом же перекрестке! — Дуке отомстил таким образом Дорио за недавнее унижение…

Были столкновения и стычки с полицией, но все кончилось благополучно. Новых арестов не было: полиции был отдан приказ не обострять отношений с рабочими пригородами. Народ разошелся довольный: и силу свою показали, и домой вернулись целыми и невредимыми.

14

При районной комсомольской организации и в самом деле возникло нечто вроде постоянной философской секции. Завсегдатаями в ней были Алекс, Люк и Бернар: последний еще и получал деньги как сторож и занимался поэтому с особенным прилежанием. Люк оказался совершенно не способен к учебе, но это не мешало ему посещать занятия наравне с прочими. Рене все еще считала Мишеля членом группы, но тот после конгресса перестал ходить к ним: видно, и вправду испугался. Рене была в этом обществе солнцем, вокруг которого вращались планеты-юноши. Они были влюблены в нее, но почитали ее особым образом: это был ритуал поклонения, не претендовавший на обладание предметом обожания. Женщины, становящиеся во главе мужчин, должны быть к этому готовы. Если, конечно, они не Екатерины Великие.

Алекс был задумчивый голубоглазый юноша сосредоточенного вида. Он работал помощником типографа и жил с матерью. Заветной его мечтой было сдать экстерном на бакалавра и стать учителем, каким был его отец, рано умерший от чахотки, или, на худой конец, — киномехаником. Препятствием и к тому и к другому была неспособность Алекса к философии, которую надо было сдавать в обоих учебных заведениях.

— Вот Гегель. Великий, наверно, человек, но ничего не понимаю, что он пишет. Вчера «Феноменологию духа» читал. Один абзац за час осилил и все равно ни черта не понял. Рене хоть бы помогла.

— Я тоже в Гегеле не сильна. Это не мой автор. Мишель мог бы помочь, он во всем этом как рыба в воде плавает.

— Мишеля не надо. — Алекс недолюбливал сына философа: как и всю философию в целом. — Сама попробуй. Ты объясняешь лучше, доходчивее. Ты вообще класс, а не девушка. Я других таких не видел. Так, Люк?

Люк согласился. Они оба: и Люк и Бернар — со всем соглашались, но каждый по-своему: Бернар невпопад, некстати и рассеянно, словно его всякий раз застигали вопросами врасплох, а Люк в охотку и с неизменным удовольствием — этот всегда был готов пойти друзьям навстречу, услужить и едва ли не пожертвовать собою. В философию он и не пытался вникнуть, но ему доставляло удовольствие смотреть, как ею занимаются другие: он опекал Алекса и не меньше, чем тот, хотел, чтобы он стал учителем.

Рене пришлось взяться за не любимого ею Гегеля. Впрочем, это нужно было ей самой: впереди был последний год лицея, именуемый философским.

— Давай почитаем. Ты взял с собой книжку?

— Взял, конечно. Вот здесь. Где отчеркнуто.

— И что здесь трудного?.. «Прежде всего, сознание себя есть простое бытие-для-себя, равное себе самому и исключающее из себя все чужое. Его сущность и абсолютный объект является «Я», и в этой непосредственности, или в этом бытии-для-себя есть нечто странное…»

— «Есть нечто странное», видишь ли! Поняла что-нибудь? Я кретином себя чувствую: все понимают, только я один ни хрена не смыслю!

— Какой ты кретин? — успокоил его Люк. — Тут просто вглубиться надо.

— «Вглубиться»! Может, ты объяснишь? Я гляжу, Рене и та молчит.

Рене кончила изучать злополучный абзац (он был дочитан Алексом не до конца, а лишь наполовину, до того места, где он споткнулся).

— Это все понимать надо в контексте с прочим. Каждый философ создает свой язык — нужно сначала ознакомиться с его понятиями.

— А попросту по-французски написать нельзя?

— Нет. Потом, тут же слева разъяснение?

— Да я и его читал. Еще непонятнее Гегеля. Нет, видно, это все специально так написано, чтоб простого человека к себе не подпустить. Чтоб потел и парился над книжкой, а они, как Мишель, с малых лет плавали б в ней как рыба в воде. Язык у них свой, видишь ли! Как у каторжников! Чтоб другие не понимали!

— Давай все-таки прочтем комментарий. «Каждый интуитивно полагает, что знание, которое он имеет о себе, дано ему в непосредственном восприятии: «я есть я»,"я знаю о себе как о себе». Однако вопросы, из чего состоит это знание и как приходят к пониманию себя, не работают, потому что у нас имеется заранее готовый ответ на них, который не дает этим вопросам шанса быть рассмотренными. Когда я говорю, что я знаю себя без посредников, я хочу, очевидно, сказать, что я сознаю себя человеком. Но в этом я ошибаюсь: непосредственное знание себя недоступно человечеству…» — Рене закрыла книгу. — Это все интересно очень. Но об этом подумать надо. Сразу не осилишь… — И, помедлив, добавила: — Нужно Мишеля звать.

— Да он не скажет ничего, — уверенно предрек Алекс, но

затем передумал: Рене и та стала в тупик. — Зови, раз так. Только сама. Я за ним не поеду…

Стали думать, как разыскать сына философа. Они не знали ни адреса, ни даже фамилии, которую помнили приблизительно: не то Маро, не то Моранди — и знали доподлинно только то, что отец Мишеля известный философ. Рене собралась на поиски и позвала ребят с собою. Алекс сказался занятым, а Бернар согласился, но так, что лучше бы отказался: обреченно и вымученно. Рене решила пойти с Люком, и Бернар вздохнул с облегчением. Он как огня боялся всякого нового дела, знакомств — еще больше и лишь свою работу любил с каждым днем все больше: это был прирожденный сторож административных зданий.

Люк повеселел и просиял от полученного задания: этому любое новое дело было в охотку и в удовольствие, будто то, что он делал дома, не шло ни в какое сравнение с комсомольскими поручениями. Рене не знала, чем он занимается, — кроме того, что ходит по вечерам смотреть, как другие учат философию. Она спросила Алекса — тот тоже не знал, хотя его считали приятелем Люка: он познакомился с ним в бистро, до занятий философией, в ту пору, когда позволял себе кружку-другую пива, но знакомство было шапошное.

Рене пошла в Сорбонну: чтоб по отцу выйти на сына. Они перешли Сену и вошли в район студентов. Университет поразил их обоих. Они никогда в нем не бывали, но если Рене была причастна к миру наук и искусств, то Люку все было в новинку, и он с изумлением пялился на помпезный храм знаний и на его самоуверенных завсегдатаев. Они попали вначале на юридический факультет. Студенты, самонадеянные, самовлюбленные и довольно нахальные, стремительно проходили мимо, не проявляя к ним ни малейшего интереса. Рене спрашивала, как пройти в философский факультет, но они не находили для нее и лишь показывали с неопределенностью куда-то назад и наискось. Она нашла более доступного на вид юношу, прислонившегося в одиночестве к одной из колонн, поддерживавших крутые арчатые своды.

— Что вам нужно? — спросил он самым простым и естественным образом, будто сам случайно здесь оказался.

— Ищем человека одного, а никто помочь не хочет… Мы что: не подходим к этому заведению?

— Да уж. Особенно твой приятель. — Люк виновато поник головой, а юрист, еще раз мельком оглядел их и показал, как идти к философам, — без него они долго бы еще здесь блуждали…

Философы оказались народ и вовсе вздорный и непредсказуемый. Разговаривать с ними было еще трудней, чем с юристами. Они подошли к группе из четырех студентов. Им было лет по двадцать, но все казались одновременно и старше и моложе своего возраста. Они старались вести себя самым обыденным и привычным образом, но в глазах у них тлел и перелетал от одного к другому тот священный огонек, который выделяет философов среди всех прочих: бегает, как язычок огня по уголькам, скользя от одного полена к другому и подымаясь иной раз всплеском общего пламени.

— Филип, что ты думаешь о Полин Арго? — допытывался один у другого: видно, не по первому уже разу. — Тебе не кажется, что она ведет свою роль манерно и в то же время примитивно?

— Сам ты манерный, — грубо отвечал ему тот. — Вопрос поставлен некорректно: мне, Луи, ничего не кажется. Как я воспринимаю ее — это другое дело.

— Но все-таки?! Я бы даже сказал: прежде всего примитивно, а потом уже с маньеризмами!..

Рене и Люк не дали Филипу ответить достойным образом: подошли и навели свои справки.

— Не то Маро, не то Маренди. — Рене извинилась за неточность сведений.

— Маро? — переспросил Филип. — Это поэт шестнадцатого века. Если быть точным, то его начала. Предшественник Плеяды. Неплохой поэт, между прочим. Как считаешь, Огюст?

Огюст тверже стоял на ногах, чем его приятель:

— При чем тут поэт? Они живого человека ищут. Но я такого философа не знаю. Может, Гассенди? — спросил он вдруг с сомнением в голосе.

— Окстись! — Филип отплатил ему его же монетой. — Гассенди когда жил, по-твоему? Еще раньше Маро.

— Ну уж, раньше! Позже, конечно. Но я сказал это не подумавши, — признал тот. — Читал его вчера — поэтому. Моренди, Гассенди — фамилии схожие… Моранди вроде был. Если только это философ. Люк, ты читал Моранди?

— Я?! — изумился товарищ Рене. — Ни в жисть!

— Я не к вам обращаюсь, молодой человек, — церемонно и недружелюбно возразил Филип, — а к моему другу. Не все Люки ваши. Имя — существенный, но не исчерпывающий атрибут явления. Собственно, для каждого из нас оно более существенно, чем для прочих. Потому что мы определяем себя через имя. Но то, что для нас единично, для других множественно. Если, конечно, вы не Самсон и Далила. Хотя с Самсоном уже труднее.

Это интересно, об этом надо подумать.

— Мы как раз этим и занимались. — Рене попыталась стать на одну ногу с этими говорунами: заразилась их духом или недугом. — Гегель сказал, что познать себя невозможно, потому что на вопросы о себе не ответишь.

— Это как сказать! — Филип скептически глянул на нее: как смотрит хозяин на браконьера, охотящегося на его поле. — Это совсем не обязательно. Смотря какие вопросы задавать. Об этом тоже можно потолковать, но у меня сейчас на это нет ни времени, ни желания.

Луи-философ взялся за свое:

— Огюст, ты мне так и не сказал, что ты думаешь о Полин Арго. Для меня это важно очень. Это придало бы стройности моим эстетическим воззрениям.

— Отстань ты от меня. Я не видел ее в этой роли.

— Не видел?! — поразился тот. — Так мог бы сказать это с самого начала! Чего ради я с тобой толкую?! — и, возмущенный, пошел прочь.

— Кого вам надо, ребята? — К ним подошел человек средних лет, степенный и исполненный здравого смысла, неприметный на вид и незаносчивый. Они объяснили цель прихода. — Это Морен, — тут же сказал он. — Их профессор. Они к нему идут завтра сдавать экзамен.

— И верно! — удивился Огюст. — Как это я запамятовал?

— Потому что он не из номинативного ряда, а из реального, — объяснил ему Филип. — Ты ищешь среди номиналий, а не реалий: не в жизни, а в своей башке — а Морен рядом: есть разница?

Огюст не поверил ему: как всякий философ, он не мог согласиться со своим коллегой, но спорить не стал, а прислушался: на следующий день был назначен экзамен, и все, что касалось профессора, могло иметь к ним прямое отношение.

— Нам его адрес нужен, — сказала Рене. — Переговорить надо.

— Не знаю, — с сомнением произнес разумный человек. — У него проблемы с сыном. Я его ассистент — сам его жду, а он не едет. Видно, крупные неприятности.

— Если проблемы с сыном, значит, точно наш. Мы из-за сына как раз и пришли. Нам нужно с ним повидаться…

Это решило исход дела. Ассистент пошел звонить профессору и вернулся с полдороги, чтоб спросить имя гостьи. Рене назвала себя.

— Если Рене, то идите, — сказал он, вернувшись окончательно и подробно объяснив им, как пройти к дому,

расположенному по соседству. Студенты поглядели теперь на новичков совсем не так, как прежде, — удивительно, как мало нужно, чтоб вырасти вдруг в глазах отдельных людей и всего общества в целом.

— Это ж надо! — удивлялся по дороге Люк. — Ничего не поймешь! Все говорят и все по-своему! У воров и то понятнее!..

Профессор жил на ближнем бульваре. Дом был огромный, с винтовой мраморной лестницей, ведущей, кажется, в само небо. Консьержка, предупрежденная заранее, пропустила их, хотя и оглядела с сомнением. На этаже была лишь одна дверь. Ребята помешкали, прежде чем постучать висячим молоточком. Рене никогда не была в подобных апартаментах. Квартира профессора занимала этаж и состояла из бесконечной анфилады комнат: хозяин был, видимо, богатый человек — независимо от его занятий философией или вопреки им. Вступив в прихожую, Рене почувствовала себя еще более неловко. На ней было простое дешевое платье, которого она никогда не стеснялась, но здесь сочла бедным, а Люк и вовсе сник и глядеть по сторонам и то боялся. Встретил их профессор — высокий, с опрятной, клинышком, бородкой, нерасторопный и меланхоличный. Из-за его спины вырисовалась женщина его лет: видимо, супруга — тоже невеселая и стушевавшаяся при появлении чужих, словно постеснялась посторонних, и молодая особа в фартуке — очевидно, служанка; этой все было нипочем — она держалась молодцом в их печальной компании.

— Вы Рене? — удостоверился философ, прежде чем впустить их, и, убедившись в этом, поведал: — Мишель говорил о вас. Вы его спасли на этом ужасном конгрессе. Я надеюсь, при вашем товарище можно говорить такие вещи?

— Можно, — сказала Рене, а Люк мотнул головой: могила, мол, а не товарищ.

— Мишель неважно себя чувствует. — Отец замялся. — Может, вы его развеете.

— А что у него? — спросила Рене.

— Врачи говорят, депрессия. — Профессор не сразу обронил это слово. — Лечат. Но вы знаете, это плохо лечится. — Жена в этот миг вздрогнула, и он понял, что сказал лишнее, и поспешил проводить их к сыну.

Мишель лежал в одной из комнат бесконечной анфилады. Вокруг, вдоль каждой из стен, стояли шкафы с книгами, но ему было не до них, он пребывал в черной меланхолии.

— Это вы? — удивился он. — Вот кого не ждал. Отец не сказал ничего.

— А то б не пустил? — Рене присела на большой диван,

служивший Мишелю ложем.

— Почему?.. Мне все равно. Нет, Рене, в жизни ни смысла, ни откровения. Я окончательно пришел к этому выводу и не вижу резона в дальнейшем пребывании на этом свете. А придете вы или нет, какая разница? Садись, — сказал он Люку. — Что стоишь? Тебя ведь Люком звать?

— Люк, — подтвердил тот. — Сегодня выясняли. Не меня одного, но все-таки.

— Это мы на факультете были, — объяснила Рене. — Отца твоего искали. Там нам лекцию прочли. Про реалии и номиналии.

— Имя и личность? — угадал он. — Это меня тоже когда-то занимало. Когда-то и я этой ерундой интересовался. На факультете лучше помалкивать: всегда найдут к чему придраться. А промолчишь, сойдешь за умного. Что пришли?

— Позвать тебя на занятие. Не можем в Гегеле разобраться.

— В старике Гегеле? А что в нем разбираться? Мало толку и много мути. Хочет все своими словами пересказать.

— Может, придешь расскажешь?

— Нет, Рене. Никуда я не пойду. От меня вон веревки прячут, штаны подвязать нечем, а ты говоришь, занятия… Бинты твои берегу, — многозначительно прибавил он, и Рене не на шутку перепугалась:

— Где они?! Отдай!.. С меня их спрашивают. Это партийное имущество.

— Потому и требуешь?.. Хитра ты. Ладно, отдам. Раз оно партийное, — и подал бинты, которые держал под матрасом. — Все. Теперь идите. Прием окончен, — и отвернулся к стене, не желая разговаривать с ними.

— Не стал говорить? — отец стоял позади полуоткрытой двери и подслушивал. — Ему экзамены надо сдавать, в высшую школу поступать, а он ни с места. Только о веревке и говорит… Что делать? Хоть прочти все эти книги, ответа не получишь. Когда беда приходит, ум не выручает, — и махнул рукой, очерчивая мысленный круг своих несчастий. — Что это у вас в руках?! — спросил он, увидев тряпичные бинты. — Где вы их взяли?

— Сам отдал. Под матрасом были, — и передала их ему.

— Это те бинты, которыми он так гордился! — сокрушенно сказал профессор. — Как какими-то регалиями… Спасибо. Еще раз выручили: в прошлый раз дали, теперь отобрали… — И спросил чуть погодя, с признательностью: — Вас Гегель интересует?

— Не столько интересует, сколько стал камнем

преткновения.

Философ чуть-чуть оживился:

— Застрял в глотке? А Мишель верно сказал. У него ж голова варит. На меня нападает, но это, врачи говорят, от болезни… В Гегеле ничего особенного нет — сказано просто все не совсем понятно и вычурно. Немец — что с него взять? Хотите, ко мне приходите, я вам расскажу. Все равно дома сижу, не могу выйти. Врачи сказали, что дома нужен кто-нибудь сильный. Если не хотим, чтоб положили в больницу. Сильный!.. — Он пожал плечами, потом вернулся к прерванному разговору: он был педантом. — Или дам вам какую-нибудь книжицу с изложением гегельянства. Поискать надо. Зайдете как-нибудь: сейчас не до этого… — Он перевел взгляд на Люка: — А вы чем занимаетесь, молодой человек? Рене, я слышал, в лицее учится.

— А я так. — Люк растерялся. — Помогаю кому делать нечего. Что попросят.

— Нет своего дела в жизни? — сочувственно спросил отец-философ.

— Нет. Умом не дорос, — сокрушенно сказал тот.

— И о чем же вас просят?

— Да разное. Кому что надо. Кому огород вскопать, кому на стреме постоять — пока он в окошко лезет…

Последнего не надо было говорить: Люк ляпнул наобум, не подумавши. Рене замерла от удивления. Профессор вначале не сообразил.

— На чем, вы говорите, постоять?

— На стреме. Пока другой подворовывает, — объяснял, к своему ужасу, Люк, погружаясь все глубже в вырытую им самим яму.

Теперь профессор понял. На лице его отразился не страх, но вполне понятное чувство самосохранения. Он поглядел на Люка, потом на Рене. Служанка пошла прочь: чтоб не компрометировать себя опасным соседством.

— Что ж? — сказал Морен-старший. — Всякое занятие если не почетно, то естественно и оправдывает себя фактом своего существования. Так что продолжайте, молодой человек, в том же духе… — Но глазами дал понять Рене, что она зря привела в его квартиру профессионального взломщика и что все приглашения отменяются. А Мишель за дверью бешено захохотал, и это было единственное светлое пятно за весь грустный вечер…

Ребята вышли на бульвар.

— Зачем сказал?! — сокрушался Люк. — Везде молчу, а здесь как прорвало!.. Один раз ведь всего постоял — просили очень и на тебе!.. — И сам же ответил: — Потому что он такой грамотный

и начитанный. С бородкой. Одно слово — ученый. Не мог соврать ему, удержаться… Я ведь и на рынке грузчиком подрабатываю — мог это сказать… Теперь на порог меня не пустите?

— Почему?

— Испугаетесь: возьму что?

— Да что ты, Люк? Что у нас взять можно?

Рене хоть и была обескуражена его признаниями, но не думала менять к нему отношения. У той черты, которая разделяет людей на две неравные группы и называется собственностью, она стояла по одну сторону с Люком — хотя ей и в голову бы никогда не пришло взять что-нибудь чужое. Он понял это или что-то этому близкое.

— Да если б и было. Скорее свое отдам, чем у тебя возьму. Надо и правда кончать с этим. Я ведь не один раз на стреме стоял, но от доброты все. Ей-богу! Просят — как отказать?.. Но гляжу, всех не осчастливишь, надо и о себе подумать… — и замкнулся, погрустнел, отгородился от нее в своих тяжких раздумьях…

— Я же говорил, не придет! — сказал Алекс, едва услыхал о результатах их визита. — Прикинулся меланхоликом, а на деле мы ему до лампочки. Придет он Гегеля излагать, жди! А я уже сам кое в чем разобрался.

— Да он, оказывается, темнила — Гегель твой, и ничего больше, — сказал, с необычным для него холодком, Люк. — А ты над ним надрываешься.

После того, как они посетили Сорбонну и Люк воочию, в лицах, увидел то, к чему стремился Алекс, и, главное, после того, как он выдал себя и отособился от товарищей, Люк стал относиться ко всему иначе…

15

Через некоторое время к Дуке пришла бумага из Политбюро, и он вызвал к себе Рене, чтоб сообщить ей содержание документа, разделить с ней ответственность за общее отставание и наметить пути к преодолению кризиса — так именовалось в присланной бумаге положение дел во Французской компартии. Эта очистительная волна поднялась в Коминтерне, покатилась на запад, разнеслась по городам и весям Франции и спустилась в низовые организации. В разных уголках страны поэтому одновременно произносились и звенели медью похожие одна на другую фразы и скользкие обороты речи.

— Садись, слушай. Оказывается, мы с тобой ничего не делаем. Хотя от конгресса еще не успели очухаться… — Он был несогласен с письмом, но не мог выразить свои чувства в открытую: составители документа были недовольны как раз тем, что события в Клиши не переросли в общее восстание.

Кроме него в кабинете сидели больной Барбю, который проводил в комитете большую часть времени, и Ив — тот самый, которого Рене знала по Стену. Этот в течение последнего года поднялся по партийной лестнице, стал оплачиваемым функционером и отвечал за что-то в Федерации Центра Франции. Он-то и привез послание, которое не могли доверить почте. За год Ив набрался важности — даже принарядился с присущей ему деловитой скромностью — но сохранил нетронутыми все прежние мстительные чувства.

— Рене? Здравствуй. Ты все такая же юная? — И без всякого перехода и видимой связи напал на Жана: — А отчима твоего снимать надо. Можешь передать ему это. Он всю работу развалил. За год ни одного митинга. Собрания ячейки и те не протоколировались. Я знал, что все это кончится у него чистейшей воды оппортунизмом…

Жан и правда поотстал от партийной работы и если ходил на общие собрания, то лишь по старой памяти и чтобы убить время, которое проводил теперь не столько в задней кладовке кафе, сколько в переполненном общем зале. Хозяин кафе подсчитывал удвоившийся доход: такой оппортунизм его вполне устраивал и даже радовал.

Новым в Иве было иное отношение к Дорио: он отпал от него, или, как тогда говорили, дистанцировался:

— Ты все возле Дорио околачиваешься? Он говорит, что комсомол должен действовать самостоятельно, что в нем больше сил и динамичности. Но это не так, наверно? А, Рене?.. — и

заулыбался в интригующем ожидании.

— Ничего общего у нее с ним нет, — проворчал Дуке, чувствуя подкоп и под себя тоже. — Давно рассорились.

— Из-за чего? — поинтересовался тот, но Дуке, не желая поощрять излишнее любопытство, приступил к делу, начал читать присланный документ:

— «Полный неуспех Пятнадцатой Международной недели молодежи сентября 1929 года является следствием непонимания актуальных задач, вытекающих из нынешней политической ситуации…»

— «Непонимания», — негнущимся, жестяным голосом подчеркнул Ив: будто ногтем провел под памятным текстом.

— Ну да, непонимания. — Дуке и не думал уступать ему. — «Существенными моментами этой ситуации являются: первое — ведение необъявленной войны против Советского Союза. Второе — тра-та-та… Третье — тра-та-та… Четвертое…» Надо, наверно, обсудить каждый пункт в отдельности.

— А что обсуждать? — возразил Ив. — Сказали как выстрелили. Не в бровь, а в глаз! — И огляделся всезнайкой: — Как они по социалистам проехались? Слушать — любо-дорого. Дальше читай. — Он и здесь распоряжался: совсем как в Стене. Такая уж у него была натура: везде искал первенства — даже ценой собственного унижения.

— «Неуспех проводимых мероприятий, — продолжил Дуке чтение под напором представителя из Федерации, — слабое участие в них, скудное число манифестантов, идущих под жизненно важными лозунгами антимилитаризма и антиколониализма, являются прежде всего следствием апатии руководителей, вызывающей растущее недовольство рядовых членов Компартии и Коммунистической молодежи Франции…»— Он вздохнул и поглядел на Рене с упреком: — И до тебя, мадемуазель, добрались.

— Вот тут-то собака и зарыта! — воскликнул Ив. — Надо срочно менять стиль руководства! Иначе рядовые члены нас не поймут и сами все изменят.

— Откуда они, эти рядовые члены? — проворчал Дуке. — Никто идти не хочет. Слишком стремно. Вчера еще одного взяли — за что? «Авангард» распространял возле фабрики лайки — в Стене вашем. Кому это нужно?

— Это взгляды твои вредные! — предостерег Ив. — Напрасно ты так думаешь. Найдутся и посмелее и поумнее нашего. Их много ходит — только ты о них не знаешь, — и оглянулся так, будто эти неведомые никому низы партии бродили рядом — совсем как призраки из манифеста.

Дуке проследил за его взглядом: откуда, мол, новая угроза, затем успокоился: у него были крепкие нервы.

— Ладно. Еще обсудим это. Сейчас давай с Рене поговорим и отпустим ее. Надо, Рене, делать что-то. Иначе труба нам обоим. Видишь, как вопрос ставится? — и поглядел в конец бумаги: — Через неделю надо отчитаться за проделанную работу.

— А что нужно? — спросила она.

— Да что хочешь, только чтоб в плане международного антиимпериализма. А что именно, шут его знает.

— Можно шествие устроить с фонариками. — Барбю слишком долго молчал, и язык его чесался поэтому. — Мы такие фонарики делали… — Он поглядел выразительно, поскольку слова его не произвели должного впечатления. — Берете бумагу — желательно потоньше, натираете ее жиром или, лучше, воском, чтоб стала прозрачной. Делаете из нее кубики, внутрь помещаете свечку — она светится через бумагу. Когда много людей движется, прохожие останавливаются — до того красиво. Запоминается. У нас не одна манифестация так прошла — до сих пор вспоминают. Я недавно был — люди спрашивают, когда снова будет.

— Важно не какие фонарики, — склочно сказал Ив, чувствуя, что его оттесняют и что почва уходит из-под его ног, — а что на них написано. Какие лозунги, иначе говоря!

— Какие лозунги? — повторил Барбю. — Первое августа. «Первое» можно цифрой. Мы писали Первое мая, а здесь «августа». Заменить ничего не стоит.

— Не Первое августа, а День борьбы с империализмом и международными силами реакции, — не ведая пощады и жалости, отрубил Ив. — «Первое августа» — это что угодно может быть: может, праздник церковный. Поэтому им так и нравилось. Каждый понимал как ему вздумается. Первое августа! Надо писать так, чтоб не было двусмысленности!

— Борьба с империализмом не поместится, — сказал Барбю, нисколько не обиженный нотацией: с болезнью он сделался фаталистом. — Длинно слишком. Фонарики-то маленькие. Можно, конечно, один большой склеить, — прибавил он с сомнением в голосе, — но мы таких не делали.

Дуке решил кончать с зашедшим в тупик совещанием:

— Давай, Рене. Делай что-нибудь. Пройдись по милитаризму или по колониям. Надо будет отчет составить и Иву передать. Чтоб представил рядовым товарищам, которые ждут, как бы сместить нас, — еще и съязвил он, и Ив запомнил это, и для него дни Дуке были отныне сочтены, как и ненавистного ему Жана.

— Лучше с колониализмом, — решила Рене. — Здесь больше

возможностей.

— Что еще за возможности? — недоверчиво спросил Дуке, но Рене не ответила: сама не знала и подчинилась в данном случае общему правилу — бить в победные барабаны и литавры…

Какая-то крупица правды все-таки была в ее предпочтении. В глубине души она ничего не имела против армии — напротив, ей нравились стройные офицеры и их мундиры (лишь бы не полицейские), к инородцам же и людям с другой кожей, особенно нищим и подневольным, у нее была давняя и роковая тяга и слабость — недаром же она заплакала в хижине араба Юсефа. Но то было детство, сентиментальное и непосредственное. Теперь нужно было придумать что-то взрослое, впечатляющее и, одновременно — озорное и задорное: чтоб поддержать былую марку. Она спросила совета у друзей:

— Поворочайте мозгами. Что-нибудь простое, но броское. Чтоб и ребенку было понятно… — И добавила по здравом размышлении: — И чтоб за решетку не угодить при этом…

Последнее не прибавило ее друзьям энтузиазма. Алекс все пропустил мимо ушей: он был недоволен, что программа по философии движется слишком медленно, и дал понять, что ему не до борьбы с колониализмом. Бернар, как водится, запнулся, помешкал и произнес нечто непонятное и обтекаемое: он числился ее заместителем и не мог попросту отказаться. Один Люк выразил готовность помочь — в чем угодно, лишь бы не в принятии решений. Он во всем поддерживал друзей, но замышлять новое было не в его силах и не в его правилах — он лишь помогал доводить до ума начатое другими.

Рене оставалось рассчитывать на собственные силы, и она приготовилась к трудному раздумью. Но прежде надо было отчитать соратников, забывших, в какую организацию они вступили.

— Ладно, подумаю… Но вообще надо быть поактивнее. У нас здесь не вечерняя школа для отстающих. И не филиал Сорбонны…

Выговор Коминтерна докатился таким образом и до философской секции девятого района: Рене в первый и в последний раз в жизни отчитала своих подчиненных, но мы все хоть раз, но делаем что-то впервые, отдавая дань духу времени.

Алекс состроил озадаченную физиономию и призадумался. Бернар опешил и забыл свою рассеянность: лицо его на миг обрело естественное выражение, и даже взгляд его прояснился — с ним это иногда случалось…

Недавно с ним вышел казус. Они оба жили в Стене, и он провожал Рене до дому, поджидая ее, когда она задерживалась.

Видя их вместе, соседи стали говорить, что это неспроста, что их отношения выходят за рамки идейной близости и должны кончиться красной свадьбой. Бернар не отвергал этих домыслов — напротив, они ему льстили и, когда намекали на эту возможность, он по обыкновению своему лишь бормотал нечто невнятное. Несмотря на известное всем увлечение политикой, Рене считалась завидной партией: училась в лицее и должна была приобрести хорошую профессию. Бернар это понимал, да и мать ежедневно твердила ему о том же. Так или иначе, но однажды, провожая ее поздним вечером и замешкавшись в узком проходе между стенами, он оглянулся по сторонам, словно побоялся, что его кто-то увидит, и неумело и неловко сжал ее в объятьях. Лицо у него при этом было самое неопределенное, он не объяснил своего поступка, и Рене не сразу поняла, что произошло, — сначала подумала, что он споткнулся и схватился за нее, чтоб не упасть. Бернар, однако, не отпускал ее, выглядел при этом настойчиво, и, хотя по-прежнему не говорил ни слова, лицо его утратило прежнюю бесстрастность и обрело некое уже вполне понятное, хотя лишь отдаленно напоминающее любовь выражение.

— Бернар, ты что? — спросила она, оторопев: до этого она говорила о делах в ячейке и была увлечена предметом разговора. — Разве это так делается?.. — Он замер в ожидании, надеясь, что она подскажет ему как, но она поспешила взять свои слова обратно и развеять его последние надежды: — Да я и не хочу вовсе. С чего ты взял?..

Он выпустил ее и (надо отдать ему должное: у него тоже был характер) никогда больше не опускался до подобных выходок. Он переключился теперь на Ива: стал провожать его домой, заходил для этого в Федерацию. Ему нужно было кого-то ждать, сопровождать и безмолвствовать по дороге — не в одиночестве, а в компании. Ив был от него в восторге: ему никто еще не оказывал таких знаков внимания; он при всяком удобном случае выделял Бернара среди других и прочил в далеко идущие партийные руководители…

Барбю, присутствовавший и при разборе письма Коминтерна, и при описанном выше нагоняе, одобрил строгость Рене и мысленно поздравил ее с успехом. Он тоже считал, что ячейка задержалась на фазе идеологической подготовки, сосредоточилась на философии и оторвалась от живых дел комсомола. Он и теперь воспользовался случаем, чтоб поделиться опытом своей боевой молодости:

— Знаете, что я по этому поводу думаю?.. Нет? Слышали, как Клара Цеткин явилась на первый съезд Компартии? Тоже нет?

Тогда ведь все были на нелегальном положении: через границу так просто не перейдешь… — Он обвел ребят лукавым, лучистым взглядом. — Потушили на минуту свет, а когда включили, она была уже в президиуме!

Те обомлели.

— И как это с нашими делами связать? — спросил Алекс. — И с какими, главное?

— Вот я и думаю с какими, — нисколько не смутившись, отвечал Барбю. — Хорошие идеи именно так и рождаются. Иногда с конца — не всегда с начала.

— Вошли и свет потушили, — представил себе Алекс. — Хорошее решение, — и засмеялся — за ним и те двое.

— Вот именно потушили! — стоял на своем Барбю. — Где — неизвестно только. У меня это в голове так и крутится — только выхода пока не вижу.

— Вот и у меня крутится! — развеселился Алекс, забыв даже о том, что пора взяться за Фейербаха, а Гегель до конца еще не разобран. — Свет только тушить негде!

— А нельзя ли посерьезнее? — взъелась на них Рене, еще не вполне остывшая. — Зубы скалить всего проще, а о деле кто-нибудь думать будет? Тоже мне — Мольеры!

— Погоди. — Люк решил изменить ради нее принципам. — Не расстраивайся. Тут рядом выставка открылась. Колониальных товаров. В зале Шапель. Может, там свет выключить?

— Где это? — спросил Алекс. — И что за выставка?

— Ничего не знает! — удивился Люк. — Что ты видишь вообще? Рехнулся совсем со своим экзаменом. Я когда иду, всегда по сторонам гляжу: что да как. Зал Шапель — за Мулен-Руж который. У Монмартра. Мы там кино в детстве смотрели.

— Это интересно! — Рене повеселела. — А внутри что?

— Я в такие места не хожу: загрести могут. Заглянул в дверь. Много чего наворочено. Но и охраны хватает.

— Все. Совет закончен, — распорядилась Рене. — Выходим на рекогносцировку местности. Вроде бы что-то проясняется. Вы идете с нами, Барбю?

— Куда мне? — возразил тот с самоуничижением и превосходством разом. — Не убегу уже от полиции. Это у вас быстрые ноги. А я только так — мысль иной раз могу подбросить… Но думаю, там есть где свет выключить. На выставке этой…

Зал Шапель, что недалеко от Монмартра, внешне мало отличался от соседних зданий и вплотную примыкал к ним. Внутри за ничем не примечательным фасадом скрывался большой зал, использовавшийся как танцплощадка, как кинозал или, как

теперь, под выставку. При входе висели афиши, извещавшие парижан, что в настоящее время здесь размещена самая полная экспозиция товаров и плодов колоний: от ближайшего Марокко до отдаленнейших Гвианы и Мадагаскара. Они заглянули, как Люк, внутрь с улицы — там была сказочная панорама, вызывающая к памяти пещеру Али-Бабы: горы бананов, настоящие финиковые пальмы, россыпи из воображаемых руд, слитков золота и иных полезных ископаемых. Вокруг каждого развала застыли в жеманных позах девушки в национальных костюмах: гурии, изображавшие собой не то земной рай, не то сельскую простоту нравов. Выставка, употребляя коммунистический лексикон, была воплощением колониализма в его законченном и неприглядном виде.

— Зайдем? — предложила Рене. — Люк попал в точку. Прямо в яблочко. — Но тот от приглашения отказался:

— Нет, я в такие витрины не ходок. На меня и так у дверей поглядывают. А там просто возьмут за жабры. У них же глаз острый — не то что у вас. — На него и в самом деле уже обратили внимание: кругом было полно охранников. — Пойду прошвырнусь. Пока и вас со мной не застукали, — и потрусил легкой дробной походкой вниз по крутому переулку.

— Пойдешь, Бернар? — спросила Рене. — Надо на месте сориентироваться.

— А сколько стоит вход?

— Франк. Немного.

— Это как сказать, — проворчал он: когда речь заходила о деньгах, он говорил проще и доходчивее. — Франк на общественные расходы… — И потянул с ответом — в надежде, что Рене купит билет из тайных средств комсомола, но она ими не располагала, а свои тратить не захотела: решила больше их не баловать. — Я с улицы погляжу, — сказал тогда Бернар. — Отсюда тоже видно… — и стал с рассеянным видом заглядывать в зал: будто потерял там знакомого.

— Пошли, Рене. — Алекса заела совесть — или же испугался, что вечерняя школа и вправду накроется. — Плачу за обоих…

В выставочном зале они увидели немногим больше, чем Бернар в открытые двери: тут он оказался прав, но Рене глядела не на экспонаты, а на сторожей, число которых внутри удвоилось, по сравнению с улицей. Надсмотрщики рыскали взглядами по сторонам, выискивая тех, кто мог бы польститься на лежащие вокруг бананы и финики, но еще больше — на возможных заговорщиков: при том подъеме борьбы с антиколониализмом, который переживала Франция, провокация против выставки напрашивалась сама собою. Рене и Алекс не обратили на себя их

внимание. Это были обычные посетители — из тех, что составляют главную публику на таких выставках: бедные, но любопытствующие молодые люди из интеллигентов первого поколения, всюду где можно ищущие знаний и своего к ним применения.

— Не знаю, что тут можно сделать, — негромко сказала Рене, подойдя к Алексу, который разглядывал африканскую богиню из красного дерева, словно не видя полуобнаженной негритянки, застывшей рядом — тоже как изваяние, но проявляющее к нему живое внимание. — И где тут свет выключить?.. — Вверху сияла огромная хрустальная люстра, глядевшая солнцем на разложенное внизу великолепие. — Даже если найдем рубильник, что толку?

Они вернулись на улицу. Бернар спросил, что они увидели: был уверен, что прозевал все на свете: скупость завистлива.

— Ничего хорошего, Бернар, — сказала Рене. — Колониальный режим охраняется бандой переодетых приспешников. Ни снаружи, ни изнутри не подступишься.

— Снаружи и изнутри нельзя, а сверху можно. Никогда не бывает так, чтоб со всех сторон закрылись. Где-нибудь да забудут. — Это подоспел Люк: вынырнул, никем не замеченный, из-за спины Бернара.

— Как это — сверху? — хором спросили они его.

— Тише вы!.. — и перешел на шепот: — Да очень просто. С потолка. Я же тебе говорю: мы здесь кино смотрели. Думаешь, билеты брали?.. По крышам ничего не стоит с одной на другую перескочить и на чердак залезть. Там над потолком щель — из нее фильмы и смотрят. Кто платить жмется.

— Не жмется, а не может, — поправил Бернар, будто Люк его имел в виду.

— Какая разница? Ты в любом случае не полезешь.

— Почему? Может, и полезу? — не подумавши, возразил тот.

— А правда? — попросила Рене. — Может, попробуем?

— Я один не справлюсь. Там самое меньшее двоих нужно. Не их же брать. — Люк кивнул на Алекса с Бернаром. — Надо с крыши на крыши перешагивать или доски стлать. Они раньше лежали там вдоль бортика: когда кино смотрели. Кто-то подстраховать должен. Жиля звать надо…

Жиль был парень из Курнева: это был небольшой городок возле Сен-Дени и Стена — сейчас пригород Парижа. Жиль был на конгрессе в группе прикрытия, удачно избежал ареста и на следующий день пришел к Рене засвидетельствовать свое почтение: он видел, как она выводила из зала раненого Мишеля. Он не знал, какими словами выразить свои чувства, но лицо его

от этого смотрелось еще выразительнее.

— Лихо ты его. Я б в жизни не догадался. Ты что, медсестрой работаешь?

— Почему ты так решил?

— Да грамотно обвязала очень.

— Когда надо, и операцию сделаешь. — Рене позволяла себе иной раз нескромные обобщения.

— Это точно, — согласился он и огляделся. — А что вы тут вообще делаете?

— Философией занимаемся… — И поскольку он был готов к чему угодно, но не к этому, пояснила: — На экзаменах требуют.

— Понятно, — теперь сообразил и он. — Если нужно, и в нужник полезешь — сама только что сказала.

— Не хочешь к нам?

— Я? Нет. Мне поступать некуда. Я уже поступивши. В ученики слесаря. Если нужен буду, позовете, — и ушел, еще раз взглянув на нее с уважением.

Теперь настал его час. Люк сходил за ним в Курнев. Алекс и Бернар присоединились к группе скорее в качестве наблюдателей, чем деятельных участников. Компания пришла сюда в тот же день поздно вечером. Сгустившиеся сумерки объединили дома в одну черную массу. Огни перед выставкой горели по-прежнему, и афиши приглашали войти внутрь, но двери были заперты, и перед ними расхаживал полицейский. Они беспечно прошли мимо него, как делают это идущие к Монмартру молодые люди, но в ближней подворотне Люк шмыгнул в соседний двор: место было ему хорошо знакомо. Он вслепую, безошибочно двигался в темноте и вывел их к зданию, соседнему с выставкой. Дом этот не был заселен и ждал ремонта.

— Никак починить не могут, — проворчал Люк: во Франции тоже любят ругать муниципальных чиновников. Алекс, который везде сохранял независимость суждений, подошел к входной двери, толкнулся в нее. — Заколочена, — сказал ему Люк. — Никогда не суйся в парадную дверь — она не для этого, — и неслышной тенью скользнул в проход между домами, куда выходило окно, зарешеченное железными прутьями. Жиль молча шел за ним послушной тенью.

— Решетка же? — Алекс не любил, когда ему противоречили.

— Для кого решетка, для кого нет. — Люк снял с окна железный остов. — Все подпилено. Как, ты думаешь, мы кино смотрели? Ты кино любишь?

— Люблю! — с вызовом отвечал Алекс.

— Плохо любишь, значит. Мы балдели, как от травки. Курил травку?

— Нет.

— Что ж ты делал тогда? Философией занимался?.. — Потом глянул с сомнением на Рене. — Не знаю, сможешь ты перейти или нет. Там с крыши на крышу перепрыгивать надо.

— Пошли, — поторопил его Жиль. — Остальным там тем более делать нечего…

Они с Люком полезли наверх: чердачное окно с давних времен оставалось незаперто — и вылезли на крышу. Вдоль края ее, с тех же древних пор, лежали доски — они кинули их на соседнюю крышу и перебрались на дом с выставкой. Рене все-таки упросила взять ее с собою — они помогли ей, для чего Жиль вернулся назад, подстраховал ее, а Люк принял на другой крыше. Алекс и Бернар не стали рисковать, остались: Бернар, страдавший головокружениями, прижался к чердачному окну, боясь, что соскользнет вниз, а Алекс, напротив, отважился стать возле самой кромки: благо было темно и не видно было, откуда и куда падать.

Чудный вид раскрылся перед ними — он один оправдывал их усилия. Сбоку светился Монмартр с его пузатым, надутым храмом и круговой эспланадой, уже тогда ярко освещаемой для привлечения туристов. За ними целый квартал, дом за домом, уступами спускался к Сене, за которой мерцал огнями правый берег: для них едва ли не чужой город, потому что они обходились одной левой его частью. Люк уделил этой много раз виденной им панораме полмгновения: ровно столько, сколько она, по его мнению, заслуживала, — затем вернулся к делу: пригнулся и, похожий на ящерицу, быстрыми скользящими движениями полез вверх к чердачному окну, которое, если не знать, где оно, сыскать было невозможно: оно скрывалось в изломах крыши и чердачных сооружений. Они с Жилем влезли внутрь. Там было еще темнее, но Люк и здесь двигался свободно, как у себя дома.

— Как ты видишь в темноте? — удивилась Рене, поднявшись вслед за ними и заглянув в дыру, в которой они исчезли.

— А ты как думаешь, почему? — в свою очередь, с упреком, спросил он, как если бы она, зная его жизнь, произнесла бестактность. — Все по той же причине. Не ушибись. Тут перекладины наискось торчат. Тоже давно пора менять. Иди по этой балке — вон к той щели. Мы через нее кино смотрели… — Впереди белела узкая полоса света. — Видишь что-нибудь? — спросил он, расчищая дорогу от хлама. — Там фанеру нужно отогнуть, распорку вставить: тогда лучше видно будет. — Самого его то, что происходило в зале, не интересовало: он был на работе. — Посмотри, Жиль, что тут сделать можно. Я не по этой части: что-нибудь свистнуть — другое дело, а сделать вещь — я

этого не умею. — Теперь, признавшись в грехах, он стал чуть ли не щеголять ими: видно, решил расставаться с новыми товарищами. Рене припала к щели между потолочными досками.

— Вино пьют. За столом сидят. Веселая компания.

Это заинтриговало Жиля, он присоединился к ней.

— Расширить надо, маленькая слишком, — подсказал им Люк, хотя и уверял, что ничего не смыслит в мастеровом деле. — Как в блиндаже каком-нибудь.

— Это понятно, — сказал Жиль. — Завтра инструменты принесу. Зачем только?

— Мы отсюда листовки сбросим, — надумала Рене: при необходимости в ее воображении легко рождались такие импровизации.

— Не мешало б… Смотри, пикник устроили! Вот гады! С девками расположились! Сейчас поедут с ними на сторону…

В выставочный зал, по удалении оттуда дневных посетителей, пришли вечерние гости, и шла пьянка, долженствовавшая предварить иные развлечения. Выставка колониальных товаров представляла собой еще и передвижной бордель, в котором девушки из колоний служили приманкой для инвесторов и влиятельных чиновников. За столом, вперемежку с красавицами во взятых напрокат национальных одеждах, сидели лоснящиеся от еды и питья, веселые жуиры и более представительные и сдержанные чинуши — впрочем, тоже весьма оживившиеся и не на шутку разыгравшиеся. Мужчины во фраках и мундирах тянулись к стаканам и хватались за девушек, которые не слишком сопротивлялись.

— Ну стервы! Какие там листовки? Бомбу бы сюда, — сказал Жиль.

— Там же девушки?

— Ну и что? Твари продажные… Что им твои листовки? Они ими подотрутся.

— Среди официального представления выбросим, — додумала Рене. — Во время закрытия выставки.

Это Жиль понял.

— Это другое дело. Этого они не любят. Любят, чтоб все шито-крыто было, а шкодить если, то под ключами да запорами… Надо будет квадрат в доске вырезать — через него и сыпать. А прежде свет вырубить. От этой люстры провода идут, их замкнуть ничего не стоит. Посоветуюсь с приятелем. У меня есть один, электрик.

— Барбю с самого начала это говорил.

— Значит, прав был твой Барбю — как в воду глядел. Печатай листки свои, а я дыру в потолке разделаю. Чтоб не по одной, а

охапками бросать. Завтра ночью приду, когда никого не будет… — и они вернулись к товарищам.

Алекс жалел, что не пошел с ними.

— Не трудно было? — После этого восхождения он стал испытывать к Рене большее уважение, чем после нескольких месяцев занятий философией, и, услышав утвердительный ответ, обещал: — В следующий раз тоже полезу…

— Ты хоть внутри был, — позавидовал Бернар. — А я ни внутри, ни снаружи… Что там?

— Кино — лучше не бывает, — сказал Люк.

— А все-таки? — настаивал Алекс, но сколько ни просил, Люк все отмалчивался: и так наговорил больше, чем следовало…

Листовки печатали долго и с большими затруднениями. Учитывая профессию Алекса, естественно, обратились к нему, но он по здравом размышлении посчитал, что и без того сильно скомпрометировал себя, согласившись полезть на крышу, и не спешил связывать себя новыми обязательствами — а если говорить начистоту, боялся.

— По бумаге можно определить, из какой типографии вышла. И потом — там работают круглые сутки: когда этим заниматься?

— Но не каждый же день?

— Вот я и говорю, не каждый, — против логики спорил он. — А вдруг не успеем до окончания? Там работы, между прочим, на несколько часов. А то и больше… — И добавлял с наигранной важностью: — Если никто не помешает…

Через три дня он пришел с окончательным отказом.

— Нет, нельзя. Мне один сказал, он в этом разбирается: по шрифту ничего не стоит на типографию выйти. И не думай, говорит — это дело опасное. — И сказал для спасения лица: — В чужой типографии — другое дело, там я это вам быстро спроворю…

Рене не стала спорить — пошла к Дорио, к которому, несмотря на размолвку, обращалась в трудные минуты. Дорио был настроен к ней дружелюбно. Он запомнил ее отказ, но зла на нее не держал.

— Замышляешь что-нибудь? Опять Париж потрясешь? Что печатать хочешь?

— Да вот. — Рене рассказала ему о своих трудностях и подала текст, написанный ее рукою. Он прочел, подытожил:

— «Долой!» и «Да здравствует!»

— Да. Примерно в одной пропорции. — Дорио невольно улыбнулся. — А с чистой стороны нарисуем что-нибудь.

— Опять дулю?

— Нет, на этот раз серп и молот.

— Одно другого стоит. Ладно, бери мою типографию. Хотя и на нее могут выйти. В России говорят, семь бед — один ответ. — Последнее он произнес на ломаном русском. — Не знаешь, что это такое?

— Нет.

— Это они всю жизнь грехи копят, чтоб потом за все сразу ответить. Типографам платить придется. Такие уж законники — я говорил тебе, кажется.

— У меня свой есть.

— Смотри, какая богатая. Можно будет потом им воспользоваться?

— Не думаю. На раз его хватит, но не больше. Однократного пользования. — И Дорио снова засмеялся и подписал ей листовку для типографии…

Рене боялась, что закрытие выставки в последний момент отложат или проведут раньше срока, но чиновничество Франции — народ до педантизма пунктуальный. Прощание с выставкой было торжественно и трогательно. Экспонаты были свернуты и упакованы, освободившееся пространство заставлено стульями. Высокопоставленные чины и просто большие люди в нарядных мундирах и фраках сидели стройными рядами и со смешанным чувством взирали на уезжающих девушек. Те стояли, как в хоре, за устроителями выставки, молча подсчитывали барыши и смущенно потупляли взоры перед недавними ухажерами. Стеснительность их выглядела, в глазах тех, запоздалой и не лишенной корысти: из тех, что появляются после грехопадения, а не до него, но стыдливость, ранняя ли, поздняя, неизменно украшает женщин, предупреждает скандалы и способствует публичной нравственности. На высоте этого общего порыва, среди прочувствованной прощальной речи ведущего, вдруг погасла люстра и сверху, из темноты, полетело что-то белое, а когда через короткое время включили свет, все вокруг оказалось усыпанным белыми листками величиной с тетрадочные: листовки падали с большой высоты и разлетелись по всему залу. На них было что-то написано: вчитываться в текст было недосуг и некому, но пролетарская эмблема, кукиш в виде серпа и молота, красовавшаяся на обратной стороне памфлета, была понятна и без чтения и оскорбительна в своей фиговой простоте и обнаженности.

— Мерзавцы! — воскликнул высокий чин в мундире; он был порядочнее прочих, не участвовал в прощальной выпивке и как человек с чистой совестью был более других склонен к патетике. — Как они умудрились?! — и суеверно огляделся по сторонам, в поисках дыры, из которой высыпался дар Пандоры:

Жиль, как бог из машины, распоряжавшийся сверху, предусмотрительно закрыл воронку, едва кончил ею пользоваться. Хаос внизу только начинался, а они успели уже выйти из соседнего дома и стали напротив, с удовольствием наблюдая за происходящим. Затеялась настоящая буча. Приехали машины с полицейскими, журналисты (помимо тех, что были в зале) и зачем-то — пожарные и бригада медиков.

— Атас по полной программе. Теперь валим отсюда, — сказал Люк, насмотревшись на дело рук своих. — Вы помалкивайте, — посоветовал он Алексу и Бернару: самым ненадежным членам их компании. — Ничего не видели и не знаете. А то загребут — мало не покажется. За такую катавасию. Они сейчас кругами пойдут — будут хватать правого и виноватого. Чтоб перед начальством отчитаться, — и, не дожидаясь исполнения собственных пророчеств, исчез, растворился в собственной тени, бесследно смешался с подоспевшими зеваками, плотным кольцом окружившими нежданное зрелище.

— Завтра приходи! — прокричала вслед Люку Рене. Она была в восторге и заранее праздновала победу. — Что-нибудь еще придумаем!..

— Тише ты! — испугался Жиль. — Я тоже пойду, пожалуй. Нечего радоваться. Так-то и гребут нашего брата.

— А мы остаемся, — сказала Рене. — На нас не подумают.

— Хорошо устроилась, — сказал Жиль. — На меня почему-то всегда бочку катят. Люк у вас хороший парень. Жаль не из вашей лавочки… — и ушел не оглядываясь…

А Люк пришел к Рене на следующий день — но не для того, чтоб продолжить антиколониальную деятельность, а чтоб навсегда с ней расстаться: он воздал Рене должное и решил сняться с якоря.

— В общем, прощай, как говорится, и не поминай лихом.

— Почему я должна тебя лихом поминать?

— Да мало ли что? Вдруг не так что… Посмотрел я вас, увидал кой-что — интересно, но хватит. Из-за тебя только и пришел — попрощаться.

— Жаль. Опять так: ты все придумал, а слава мне достанется.

— Какая слава? — он глянул непонятливо. — Кому она нужна? С ней, пожалуй, загремишь так, что ввек не рассчитаешься. Серьезно! Посчитай убытки и прибытки. Сколько мы тут времени угрохали? И что с того? Да ничего. Нет, с этим кончать надо. Хорошенького понемножку. Пока не поздно.

— Это ты про меня? Я все к себе применяю.

— Не знаю, — протянул он с сомнением. — Про себя, скорее.

Ты, может, и пролетишь.

— Почему?

— Не знаю. Может, ты какая заговоренная. Ладно. Давай лапу, — и после дружеского рукопожатия быстро пошел прочь, а широкое мосластое лицо его выразило напоследок целый набор чувств: самых неопределенных, мимолетных и противоречивых.

16

История эта наделала шума и попала в газеты. Больше всего полицию бесило, а партию радовало полное отсутствие следов и неуловимость исполнителей. Партийное руководство было полно энтузиазма и требовало подробностей и знакомства с ее автором. Дуке известил Рене, что ее хочет видеть сам Кашен, и дал телефон для связи. Он был настроен ворчливо.

— Спрашивали, а я ответить ничего не мог. Барбю сказал, что свет потушили, а это, оказывается, и в газетах есть. Иди сама рассказывай. Я вот отдуваться за всех должен. Народный банк лопнул — того гляди, «Юманите» прикроют: они в долг жили. Деньги надо доставать — четыре миллиона.

— Мы — четыре миллиона?!

— На всю страну — четыре, но где их взять? Хоть всю страну обложи… Предлагают раздавать газету бесплатно, а за это просить у людей помощи. Думают, так больше заплатят. Милостыню просить умеешь?

— Не пробовала.

— Вот и я тоже. Возьми для пробы десяток экземпляров. Они для этого тройной тираж напечатали. В новые долги, небось, влезли…

На бумажке с телефоном значилось имя Марсель. Рене позвонила — подошла дочь Кашена. Голос ее по телефону был звонок, переливчат, богат красками и оттенками, но сохранял основную, как бы заданную и неизменную тональность, напоминая этим хорошо поставленный голос отца, известного оратора, зажигавшего пламенными речами митинги и манифестации. Марсель предложила встречу и выбрала для нее местом музей Лувра.

— Вы ведь любите импрессионистов? — спросила она и, не дожидаясь ответа, воскликнула: — Мы в семье их обожаем! Мне нужно ходить к ним на свидания хотя бы раз в месяц! Я смотрю одну-две картины в день, не больше. Завтра день «Кувшинок» Моне. Это грандиозно! — и повесила трубку, не слушая, что скажет ей Рене, а та лишь вздохнула с облегчением: она была в Лувре всего раз и ей не очень хотелось в этом признаваться…

Марсель была старше ее на три года: ей было девятнадцать. Это была высокая светловолосая и светлоокая девушка-бретонка, глядевшая с симпатией и дружеской взыскательностью разом: и здесь чувствовался отец, который был когда-то учителем. Они присели во внутреннем дворике музея.

— Прежде всего передаю тебе поздравления отца и его

товарищей по «Юманите». Они в восторге от твоей затеи. Все газеты о ней сообщили. Никто не знает, кто за этим стоит, но все догадываются, что наши. Отец утром за кофе сказал: ты спроси у нее, как это можно в закрытом пространстве листовки раскидать. Не для газеты, естественно, спроси, а для последующего использования. Я много, говорит, этим занимался, но у меня такое не выходило. Впрочем, говорит, выключить свет — это не она придумала, это старый трюк, а все остальное — ее изобретение… — и умолкла в ожидании ответа.

— Через потолок, — только и сказала Рене, не грешившая многословием.

— Как — через потолок? — удивилась Марсель.

— Через дыру в нем.

— Но ведь надо ее еще сделать? — не поняла та. — И как на этот потолок залезть? Со стороны зала?

— С крыши, конечно… Помогли, — совсем уже лаконично сказала Рене, и Марсель, не получив разъяснений, решила не затягивать официальной части знакомства и поспешила на встречу с «Кувшинками». — Странно, — сказала она только, поднимаясь. — Ты говоришь это как нечто естественное и очевидное, а не производишь впечатление человека, который каждый день лазает по крышам…

В Лувре она рассыпалась в похвалах Клоду Моне. Вела она себя как заправский экскурсовод: чувствовалось, что все, что она говорила, было ею продумано и выстрадано.

— Посмотри на эти кувшинки! Их цвет сводит меня с ума! Эта гамма — от сиреневого к фиолетовому! В ней есть что-то электрическое! После таких посещений я, прежде чем заснуть, восстанавливаю все до мельчайших подробностей и засыпаю с ощущением чего-то изумительно прекрасного! Но самое интересное — это то, что смотреть надо в разное время дня и обязательно с разных углов зрения: всякий раз при новом освещении и в новом ракурсе они предстают иными, будто с ними что-то происходит и они каким-то образом оживают и меняются! Вот стань здесь… Потом тут… Видишь разницу?

— Вижу. — Рене не могла устоять перед ее напором: она никогда в жизни не подвергалась столь жесткой обработке.

— Можно немного подождать: когда солнце уйдет на другую сторону, пойти прогуляться и вернуться. Увидишь, все переменится!

Рене захотелось посмотреть другие залы: ей показалось, что платить полный билет, чтоб посмотреть одну картину, дороговато, но Марсель была настроена решительно против.

— Не надо! Оставь впечатление нетронутым. Пойдем

посидим лучше в парке, представим ее себе мысленно. Успеешь посмотреть остальные.

— В Лувре десять тысяч картин, — кисло заметила Рене: успела прочесть это в путеводителе.

— А у нас десять тысяч дней впереди, чтоб все это пересмотреть. Куда торопиться?

— Этот «Завтрак на траве» тоже Моне? — Рене заглянула все же в соседний зал.

— Это Мане! Ты что, не знаешь, что есть Моне и Мане?.. — Рене, к ее стыду, не знала. — Беру над тобой шефство! Этого не знать нельзя. Даже тем, кто умеет так хорошо лазать по крышам. Пойдем посидим, вспомним, что сегодня видели. Что ты запомнила от «Кувшинок»?

— Да все, — сказала Рене. — Могу и нарисовать… — И к удивлению новой знакомой, начертила на листке бумаги довольно точный общий план картины и даже ее подробности.

— Это интересно, — сказала Марсель. — Это я с собой возьму. У тебя несомненные способности. Мне, чтоб добиться того же, нужно час перед картиной выхаживать. И потом к ней возвращаться — да еще ошибусь, хотя все, кажется, наизусть выучила… А что за газеты у тебя?

— «Юманите». Надо распространить. Думала в Лувре это сделать, но было не с руки как-то.

— Это из-за банкротства? Они здорово сели в лужу. Отец тут ни при чем, на него, как всегда, все вешают. Товарищи в банке увлеклись, а Тардье подловил их, воспользовался их промахами… В Лувре не продавай, — отсоветовала она, — могут придраться. Нельзя торговать без разрешения.

— Я знаю. Раздаем бесплатно. В расчете, что подадут на бедность.

— Все равно. Доказывай потом. — И не выразив желания хоть чем-то помочь в распространении горящего отцовского номера, заключила: — Ладно, разойдемся. Позвони через пару дней. Я расскажу отцу о нашей встрече. — И они расстались.

Спустя два дня Рене позвонила. Марсель была по-прежнему благожелательна и приветлива:

— Я говорила о тебе с отцом. Ему очень про крышу понравилось. И рисунок приятно удивил — нам, говорит, нужны люди с хорошей памятью. Ты можешь завтра прийти? У него вечером небольшой прием в газете. Не бойся: ничего особенного и официального. Будет один художник — и ты вот. Про тебя скажут, что ты секретарь комсомола девятого района, но этого достаточно: те, кому надо, будут знать все остальное. Так что будешь гвоздем вечера. Договорились?

Рене оробела, но согласилась. Гвоздь так гвоздь — отступать было некуда.

Приемная директора «Юманите» была просторна и состояла из большого вестибюля и собственно кабинета, где места было меньше: хватало лишь для разговора с глазу на глаз. Когда Рене пришла, второй приглашенный, художник, находился в исповедальне, а в прихожей сидели гости, которых Марсель обносила чаем. Тут были два молодых журналиста: один, Серж, из «Юманите», второй, Ориоль, из «Досужего парижанина» — газеты новой и «аполитичной», как он сам выразился, на что Серж возразил, что аполитичных газет и даже журналистов не бывает, а есть только наемные писаки разной степени ангажированности: они, видно, скрыто враждовали между собою.

— Это ты напрасно, — сказал Ориоль. — У меня главный редактор режет всякую статью с моралью. Дай мне, говорит, чистый бифштекс без специй и без зелени. Факты без идейной нагрузки. он ее, при надобности, сам вставит.

— Вот видишь! — ввернул Серж.

— Но не добавляет же?

— Это тебе только кажется. Так называемый объективизм — тоже политика! Вот мы какие — выше всего этого! И вы, читатели, будьте такими: стойте над схваткой. А в это время ваши господа будут делить и грабить народное достояние. — Он оборотился к Рене, севшей рядом, за поддержкой, но не воспользовался ею. — Факты тоже по-разному писать можно.

— Фу! — сказал Ориоль. — Ты говоришь, как пишешь.

— Этим и живем. Переходишь на личности? А что ты еще можешь? Против правды?.. — Ориоль мог многое (судя по его виду), но воздержался от пререканий и поднял, вместо этого, глаза на Марсель, стоявшую возле них с подносом, — в ожидании окончания спора. Рене показалось, что молодые люди воюют не столько из-за отвлеченных принципов, сколько из-за ясных глаз хозяйки.

— Марсель вот чаем меня угощает. Наравне с товарищем по партии. Вы тоже стоите над схваткой? — заигрывая, спросил Ориоль: он любил женщин и всегда присоединялся к их непредвзятому мнению. Марсель хоть и была строга и взыскательна, как ее отец-учитель, но мужское внимание любила:

— Мы просто поим чаем всех, кто к нам приходит. Как всякая газета, — лукаво улыбнулась она. Серж поморщился, а Огюст оценил дипломатичную осторожность ответа и зааплодировал ей. Марсель поблагодарила его взглядом и оборотилась к Рене. У Марсель все шло своим чередом, она ничего не упускала из виду.

— Давайте я вам лучше Рене представлю. Она секретарь

Коммунистической молодежи девятого округа и, между прочим, причастна к инциденту на колониальной выставке.

— Вот это интересно! — Ориоль, забыв флирт, повернулся к героине вечера. — Где ж вы раньше-то были? Это был бы материал на всю полосу.

— Да потому и не была, — сказала Марсель, — что на всю полосу… Она и сейчас ничего не скажет. — Общие взгляды обратились на Рене, а та подтвердила это, сказав:

— Ничего особенного. Самое трудное было нарисовать серп и молот.

Все засмеялись: решили, что она шутит. Рене же говорила правду: на рабоче-крестьянскую эмблему ушли две ночи работы.

— Но как вы их все-таки раскидали? — Ориоль кроме того, что был повесой, был еще и журналист до мозга костей — чтобы не сказать глубже. — Там тысячу листовок насчитали.

— Девятьсот восемьдесят.

— Простите за неточность. Их ведь разбросать нужно? По всему залу?

— Через дырку, — сказала Рене. — А детали ни к чему.

— Из дырки статьи не слепишь.

— Это ваши проблемы, — сказала она. — А у меня свои. — И Серж согласно и с размаху мотнул головой: знай, мол, наших.

— Не хочешь, чтоб твое имя попало в газеты? — Огюст перешел на «ты».

— Меньше всего на свете.

— Да. С такими нам всего труднее. С теми, кто боится гласности. — Ориоль оценивающе поглядел на нее и вернулся к Марсель. — Серьезная у вас подруга.

— А вы думали, тут одни ветреные кокетки?

— Не кокетки, но все-таки…

— Никаких но! — прервала его Марсель. — Мы такие же бойцы, как и вы, и ни в чем вам не уступаем. Пофлиртовать, конечно, любим, но это только для виду! — Ориоль поглядел на нее с шутливым недоумением. — Что-то художника нашего нет. Заговорился с отцом. Он ученик Матисса, — поведала она всем и Рене в особенности. — Мы летом часто с ними встречаемся: у тети дом в Антибах, а там по побережью в каждом углу по импрессионисту. Матисса мы с тобой в следующий раз пойдем смотреть, — пообещала она, возобновляя над Рене шефство. — Он свои полотна продавал за бутылку вина и за кусок бифштекса, а теперь они стоят тысячи…

Из кабинета Кашена, как на звон денег, вышел художник, за ним хозяин.

— Засиделись без нас? — весело спросил Кашен молодых. —

А мы старые времена вспоминали. Что еще старикам делать?..

Ему было около шестидесяти, и он раньше срока отправлял себя в старцы. Его, правда, старили большие висячие усы и седая шевелюра, но глаза были живые, бойкие и любопытные, движения быстрые и расчетливые, а выражение лица лукавое и проказливое: шутовская маска, надетая им на этот вечер. Он сразу разыскал взглядом Рене, но не подал виду — до поры до времени. Дочь его упрямо стояла на своем:

— Я говорю, отец, что картины Матисса стоили раньше дешевле холста, на котором написаны, а теперь к ним не подступишься. Продавал их за обеды! Если с вином только!

— Это точно, — отозвался отец: видно, разговор этот происходил у них на людях неоднократно. — У нас Матисса нет, но другие есть, хотя ничто не куплено. Все подарено — тоже за обед с хорошей бутылкой! Ты менял так свои картины, Фернан? — спросил он ученика Матисса.

— А как же? — охотно откликнулся тот. — Только мой мясник не любил живописи.

— Как это? Все французские мясники ее обожают. Если верить художникам.

— Если бы!.. — и Фернан пустился в дорогие его сердцу воспоминания — тоже не раз им повторенные. Это был высокий, лет шестидесяти, человек последней творческой молодости — в характерной черной робе с бантом вместо галстука: так одевались анархисты и вольные художники. Разница между теми и другими была в величине банта: у художников (и у Фернана) он был огромным, вполовину грудной клетки, у анархистов меньше: чтоб не мешал кидать бомбы.

— Все дело в том, — рассказывал он сейчас, — что у мясников разные манеры с утра и с вечера. Утром он в хорошем расположении: что хочешь тебе отдаст, котлету от своей ноги отрежет — надо только встать пораньше, пока его супруга глаз не продрала, потому что у этих созданий настроение прямо противоположное мужьему — что с утра, что с вечера…

— Надеюсь, это не ко всем женщинам относится? — вынуждена была спросить Марсель, которая, хотя и получала удовольствие от рассказа, должна была всем напомнить, что она убежденная феминистка.

— Упаси бог! — воскликнул тот. — Только к женам и только мясников! Так вот — задача состояла в том, чтобы он эту котлету тебе отрезал и забыл спросить про деньги, — задача скорее для гипнотизера, чем для художника. А потом — свалить от него подальше. Он в течение дня непременно про деньги вспомнит, найдет тебя, из-под земли вытащит и скажет: «Знаете, я забыл вам

сказать, что с вас столько-то». Вот этого-то и надо избежать: если попадетесь, он вам точно на следующий день мяса не даст. Потому как вы у него в долгу. А не найдет, пробегаете где-нибудь, в шкафу от него спрячетесь, значит, проехало: вы у него как бы в кредит мясо взяли, а кредит — дело тонкое, тут возможно и новое позаимствование…

Марсель засмеялась, молодые люди вежливо улыбнулись, Рене глядела на художника во все глаза: ей все было в новинку. Мастер, поощренный ее вниманием, хотел было распространиться далее, перейти к столь же регулярно не вносимой им плате за жилье, но Кашен, у которого до этого был с ним сугубо деловой разговор, прервал его: чтоб не слишком входил в роль и не взялся бы и с ним за старое.

— Эти художники! — он покачал головой. — У них свой мир в голове, своя бухгалтерия. Синьяка знаете, конечно? Он мне говорил, что для него положить красный мазок рядом с зеленым — куда большая революция, чем все наши, вместе взятые. И здесь его нельзя было переубедить — обзовет только неучем и кретином. Но отдыхать с ним было приятно.

— Ты еще про Вайяна расскажи, — подсказала ему Марсель. — Как он в тюрьме отдельную камеру себе под ателье требовал.

— А это к делу относится? — усомнился он. — Хотя, наверно. Раз разговор о художниках зашел: все они одинаковы… Это Вайян-Кутюрье, тот самый, что у меня за главного редактора, попал раз за решетку и взялся писать там картину: мол, хоть здесь время появилось. Нужны, говорит, условия — дайте мне камеру с окном на южную сторону. Он, между прочим, неплохо пишет, — прибавил он, а ученик Матисса ревниво поджал губы: у него было на этот счет иное мнение. — Меня там написал. Говорят, довольно метко. Я б показал, но портрет дома висит.

— У вас там, гляжу, не слишком строго было? — заметил Ориоль: он ведь не был ни коммунистом, ни даже сочувствующим.

— Да. — Кашен глянул на него ненароком. — Каждый день можно было родных принимать — дети по тюрьме, по этажам ее, бегали. Я там статьи в «Юманите» писал, и редколлегия собиралась.

— Всех посадили?

— Кого посадили, кто с воли приходил.

— Значит, не так уж все плохо было?

Кашен поглядел на него искоса.

— А вы б хотели, чтоб нас сажали ни за что, за высказываемые нами убеждения, и чтоб держали как

рецидивистов-уголовников?.. Ладно. Где у нас этот секретарь комсомола девятого округа? — риторически спросил он, поскольку давно высмотрел Рене. — Чем она занята сейчас? Какими новыми подвигами?

— «Юманите» распространяю, — не очень-то ловко ответила Рене: она бы не могла жить при дворе Людовиков. — Собираю деньги на банкротство.

Кашен кисло поморщился, но в следующую же минуту лицо его обрело прежнее неколебимо оптимистическое выражение.

— Ох уж это банкротство! Спасения от него нет! Мне это напоминает историю, когда я греб на лодке: в Бретани, кажется. Успел только сказать, что для меня выступить на десяти собраниях легче, чем вести эту посудину, как перевернулся и как был, в новом костюме, оказался в воде и не сразу выплыл. Каждый должен заниматься своим делом. Но здесь-то я совершенно ни при чем! Финансами не я управляю: тот, кто этим занимается, мне даже не подотчетен… Трудно номера распространяются?

— Трудно. Народ не понимает, почему надо брать их бесплатно, а потом давать деньги на газету.

Кашен опешил:

— А это я вообще в первый раз слышу. Кто это придумал?

— Не знаю, — сказала Рене. — Знаю, что не у нас в округе.

— Вот так всегда! — воскликнул Кашен, нисколько этим не уязвленный, но, напротив, всегда готовый к чему-то подобному. — Кто-то принимает решения, кто — неизвестно, а отвечать мне приходится! Неразбериха полная!.. — Он призадумался, решил, что в присутствии посторонних этот разговор неуместен. — Знаешь что? Пойдем ко мне в кабинет, посекретничаем. Не против?

— Нет, конечно.

— Ну и хорошо. Смелая, значит…

В кабинете он удобно устроился в кресле, поглядел на нее, спросил:

— Выкладывай, как было. Марсель ты так ничего и не сказала. — Рене смолчала. — И правильно сделала. Ей это ни к чему. Но мне-то скажешь?

— Скажу.

— Дыра в потолке, значит? Но ведь ее сделать надо.

— Была уже.

— А ты откуда узнала? Надо ж было на крышу залезть?..

Его трудно было ввести в заблуждение. Рене рассказала про Люка.

— С уголовником связалась? Тогда все понятно… Опасная

публика, но иной раз незаменимая. Не боялась с ним дело иметь?

— Нет, конечно. Такие же люди, как мы.

— Да? — он поглядел на нее с сомнением.

— Конечно! — сказала Рене и припомнила: — Тут с ним смешная история вышла…

— Какая?! — Кашен оживился и приготовился слушать: он любил анекдоты.

Рене стала рассказывать о посещении на дому Мишеля — задержалась, чтобы объяснить, кто такой Морен.

— Морена я знаю! — поторопил он ее. — И ты с ним, с этим вором, к нему домой пришла? Представляю себе!.. — и когда она кончила рассказ, пошевелил губами, словно вытверживая его: чтобы взять в свою обойму. — «Пока другой подворовывает?» Да. Это тебе не перевернутая лодка, похлеще …

— Вора к себе в дом позвать можно, — сказала она. — Ничего не пропадет, а вот как вы к себе чужих журналистов называете? Не боитесь, что что-нибудь вынесут?

— Народ точно вороватый, похлеще жуликов, — согласился он. — Но необходимый, с другой стороны… — И пояснил: — Журналисты общаются между собой. Обмениваются информацией. Это проще, чем доставать все одному. Мне одно подходит, другому другое… А то, что они подкалывают друг друга, так это в порядке вещей. До определенных границ, конечно… Кроме того, некоторые вещи лучше у них печатать, чем у нас. Разные варианты могут быть, короче говоря.

Рене вспомнила Дорио:

— Дорио говорил примерно то же. Только по другому случаю…

— Да? — он поглядел с любопытством. — И что именно?

— Про муниципалитеты. Хотя они могут быть и разной партийной принадлежности, но интересы могут быть общими. Экономические, он имел в виду.

— Это так. — Он поглядел загадочно и проницательно. — Вообще каждый, кто занят делом, его практической стороной, имеет свой взгляд на вещи. Отличный от теоретиков… Тут кроется половина наших раздоров, — прибавил он и снова поглядел на нее, как бы запоминая. — А что у тебя за знакомство с Дорио? Что он тебе такие секреты выкладывал?

— А он ни от кого ничего не прячет. И никаких особых отношений у меня с ним не было. Просто разговаривали. Как сейчас с вами.

— Он сомнительный человек, — сказал как бы по обязанности Кашен. — Деньги тратит на что не надо. Если ты догадываешься, о чем я.

Это она уже слышала. Странная связь вдруг пришла ей в голову: Морис-полицейский с его любовью к поэзии — и Кашен с художниками…

— И это уже говорили, — загадочно произнесла она.

— Кто? — Он почувствовал неладное. Рене решилась.

— Один высокий чин из полиции. В «Максиме», — приврала она, потому что не знала названия ресторана, в котором тогда побывала.

— Где? — Глаза его расширились от неожиданности. Он не сразу пришел в себя: потрясение было не меньшим, чем у Морена при известии о профессии Люка. — С тобой не соскучишься. Вот уж где я никогда не был — так это в «Максиме». Там же чудовищные цены?

— Я не платила. Да и он тоже.

— Ну конечно… Я все забываю — азы классовой борьбы… И что же вы там делали? Говори, раз начала, — и стал смотреть мимо, уверенный в том, что имеет дело с осведомительницей, проболтавшейся по молодости лет о своих связях.

— У меня подруга в лицее была, а у нее отец в полиции.

— И что с того?

— Пригласил обеих в ресторан.

— Вас двоих? Никогда этому не поверю.

— Не просто так, конечно. — И Рене рассказала, как было дело. Он по ходу ее рассказа смягчался и приходил в себя.

— И чем все кончилось?

— Швырнула в его сторону тарелкой с креветками и сюртук ему испачкала.

— Да? — он уже верил ей. — А с подругой как?

— Не дружим. Потому что она знала, зачем он меня позвал, и не сказала.

— Так оно, наверно, и было, — окончательно признал он. — Про креветки они б не выдумали. Я имею в виду провокаторш. Слишком уважают своих начальников… Да те и не водят их в «Максим»…. Это после плакатов было?

— Ну да. Из-за них весь шум. После этого ко мне в лицее стали хуже относиться.

— А ты как хотела?.. Ладно, Рене. Я тебе только один совет дам… — Он помолчал, соразмеряя слова. — Ты анкету уже заполняла? Которую у нас активисты пишут? Там, где тысяча вопросов и кажется, что все ненужные.

— Нет. Даже не знаю про нее.

— Как это?

— Не знаю… Может, потому, что я несовершеннолетняя?

Он кивнул.

— Это может быть. Все-таки страна римского права — считается с условностями. Хорошо, раз так. Когда будешь заполнять — а там будет уйма вопросов: и про родственников и друзей — не пиши ничего про «Максим» этот. Там будет вопрос: встречались ли вы прежде и при каких обстоятельствах с полицейскими чинами и, если да, то что на этих встречах говорилось… Не было у тебя ничего. Анкета эта неизвестно куда потом пойдет, и кто ее читать будет… Понятно?

— Понятно, — сказала Рене (и была потом всю жизнь благодарна ему за это предупреждение)…

Они вышли из кабинета.

— Долго вы там были, — Марсель на миг приревновала отца к Рене. — Рассказывал ей что-нибудь?

— Не столько я ей, сколько она мне. У нее, несмотря на юный возраст, много жизненных впечатлений… — Он поглядел еще раз, и в последний, на недавнюю собеседницу. — Познакомились — может, еще встретимся. Пойду в Бюро партии. Там новое заседание по поводу этого банка. Денег нет.

— Возьмите у русских, — посоветовал Ориоль.

— Каких русских? — не понял Кашен и сделался неприветлив: Ориоль перешел границу дозволенного. — Белогвардейцев? Они не дадут ничего. А других русских мы во Франции не знаем. — И ушел пасмурный: ему предстояло неприятное объяснение с «группой молодых», пытавшейся в последнее время узурпировать власть в партии. В эту группу входил и Дорио, и здесь крылась главная причина его личной к нему антипатии.

— Что это ты про русских сморозил? — выговорила Марсель Ориолю. — Такие вещи вслух не говорят.

— Так я ж не из вашей компании. А все остальные во Франции только об этом и судачат.

— Что мы берем деньги у русских?.. — Марсель взглянула на него с легким превосходством. — А мы вот сегодня наоборот сделаем. Русским денег дадим.

— Это как? — насторожился Серж: у него, как у всякого сотрудника «Юманите», лишних денег не было.

— Пойдем в русский ресторан. Там казаков послушаем. А то говорим все — русские да русские, а сами их в глаза не видели. Поют хорошо, — объяснила она Рене.

— Икру будем есть? — Ориоль хоть и был богаче Сержа, но на икру и его бы не хватило.

— Не обязательно икру. Зачем разорять вас? Что мы, капиталисты? Там блины можно взять. И икра есть не черная, а красная. Она дешевле, но тоже вкусная. Пойдем, Рене? —

спросила она новую подругу, будто согласием тех двоих она уже заручилась.

— В следующий раз как-нибудь. — Рене была полна впечатлений, которым следовало отстояться. — Надо в Стен ехать. Меня дома потеряли. — И Серж взглянул на нее с невольной благодарностью.

— В следующий так в следующий, — сказал Ориоль. — Попробую взять деньги у редактора. Скажу, необходимо для раскрытия тайны колониальной выставки. Если соберемся пораньше, пока интерес к ней еще не остыл, то я всех угощаю.

— Вот это разговор, — сказала Марсель. — Рене, теперь от тебя все зависит. Что ты, интересно, отцу рассказала? Спрошу его завтра за завтраком.

— Не скажет, — сказала Рене.

— А ты откуда знаешь?

— Знает, — сказал за Рене Ориоль. — Потому что она в деле сидит, а ты около…

Русский ресторан был недалеко от Монмартра: в северной части Парижа, где осели русские — возле русского посольства и русского же кладбища. Они сели за свободный столик и представились для пущей важности журналистами. Делать этого не следовало. Француз-официант, который до того любезно их обслуживал, здесь как-то загадочно заулыбался, замер и поинтересовался, из какой именно прессы.

— «Досужий парижанин», — отвечал за всех Ориоль. — А это что: важно очень?

— «Досужий парижанин» — это что-то новенькое? Развлекательное? — спросил тот и, получив подтверждение, пояснил: — Тут хотят знать. Красные ходят — всем русским интересуются.

— Так хорошо же? Больше клиентов.

— Я тоже так считаю. А хозяева нет. Красных не любят. Я бы даже сказал, остерегаются. Так что будем заказывать?..

Они взяли блины, но не с красной икрой, которая тоже кусалась, а с рубленой селедкой: официант заверил их, что это любимая закуска русских. От обязательной в таких случаях водки отказались, потому что и она была дорогой и, со слов официанта, нерусского происхождения — скорее всего, польская Выборова.

— Возьмите лучше нашего красного, — посоветовал он им. — С водкой шутки плохи. С ног валит.

— Мы хор послушать пришли. — Марсель показалось, что он болтает лишнее.

— Поют хорошо, — согласился он. — Это они умеют. Но тоже вот — без водки не обходится… — и отошел от них нетвердый в

движениях.

— Какой-то он странный, — заметила Марсель.

— Пьяный просто, — сказал Ориоль.

— Пьяный гарсон? — удивилась Марсель. — Разве это возможно?

— В русском ресторане? А почему нет? Деталь местного колорита. Ну что, Рене? Покажешь мне сегодня, как листовки сбрасываются?

— Послушаю сначала, как поют.

— Хочешь знать, стоит ли игра свеч? Правильно — мне это тоже сомнительно…

Но он был неправ. Ряженые казаки из хора, молча сидевшие до того на эстраде и безучастно глядевшие на публику, встали по чьему-то сигналу и заправили за пояса красные рубахи.

— Серж нам переведет? Он ведь знает русский? — предложила Марсель влюбленному в нее журналисту, обращаясь к нему в третьем лице: знак, неблагоприятный для всякого воздыхателя. Серж знал это и потупился.

— Не настолько. Нет ничего хуже, чем переводить песни. Могу нагородить лишнего.

— Но все же лучше, чем ничего? — сказала Марсель, и он должен был согласиться с этой женской мудростью…

Хор запел «Лучину». Казаки грустили о родине. Они бросались в верхние ноты, как другие прыгают с моста вниз: без удержа, с щемящей дрожью в глотке, изливая тоску и отчаяние — видели в эти минуты родные леса и поля, детей и родителей и, расшибаясь, опускались затем в басы, как падают из царства сна в проклятую, нежеланную действительность, в неверную парижскую явь, в ресторан, где пили, ели и говорили на птичьем языке бесконечно чуждые им хозяева-иностранцы.

— О чем они поют? — спрашивала Марсель у Сержа: она опешила от этого взрыва чувств и решила, что перевод поможет ей понять, в чем дело.

— Не знаю, — честно признался он. — Лучина — это, кажется, маленький кусочек дерева. Он горит — больше ничего сказать не могу.

— Всю песню горит? — не поверила она.

— Ну да… Погоди. К концу и сам сгорел.

— Кто?

— Тот, кто поет ее.

— Аа… Тогда это уже понятнее. Есть от чего расстраиваться…

Рене не слушала их — до того была заворожена пением. Кончив, казаки важно откланялись, дружно откашлялись и

затянули «Вечерний звон». Он добил Рене, она заплакала, так как была сентиментальна. Это был прощальная песнь, обращенная к живому, но безвозвратно утраченному ими отечеству.

— «Вечерний звон, вечерний зво-он!»— вытягивали казаки, хороня себя заживо. — «Как много дум наво-одит он! Наво-одит он, бом, бом!»— И Рене, не понимая слов, поняла вдруг что-то очень важное. Это было непоправимое, неизбежное и почему-то лично ее касающееся прощание с родиной…

Она обещала показать компании, как разбросали листовки. Они подошли к залу Шапель. Дом был черен. После случившегося здание решили отремонтировать. Рене подвела их к соседнему дому. Окно, через которое они влезли, было наглухо закрыто. Впрочем, отпиленная решетка и теперь была лишь примотана проволокой и при желании ее можно было снять и залезть внутрь и потом наверх. Ориоль попробовал сделать это.

— Это вы напрасно, — сказал вынырнувший из темноты сторож. — Все равно на чердак не попадете. Там все забито и перекрыто.

— Может, ты нам расскажешь, как было дело? — спросил Ориоль. — За деньги, разумеется.

— Что значит за деньги? — важно возразил тот. — Деньги деньгам рознь.

— Это точно, — признал Ориоль. — Приятно говорить со специалистом, — но на вопрос его так и не ответил. — Ты при этом присутствовал?

Старик решил почему-то, что договоренность достигнута.

— При чем? При бандитской вылазке? Это очень просто. Вскрыли, как консервную банку. Банку консервную когда-нибудь открывал?

— Приходилось.

— А я в войну их напробовался, нас особо не баловали. Там ведь как? Основная еда была — другой иной раз и не было… — Он долго бы еще так распространялся, но Ориоль перебил его:

— Там наверху — мостки или что? Чтоб с крыши на крышу перейти?

— Доски были — их убрали. Чтоб другим неповадно было, — сказал сторож, недовольный тем, что его грубо прервали. — Прыгать нужно.

— Прыгать не будем, — сказал Ориоль. — И так все ясно. — И они ушли, оставив старика в дураках, без заслуженного, как ему казалось, гонорара.

— Ну что, Рене? — спросил Ориоль. — Опишешь эту историю?

— Нет, конечно.

— Почему?

Она уклонилась от ответа:

— Не то настроение. Казаков жалко.

— Да, пели они изумительно, — согласилась с ней Марсель. — Хорошо что сходили, правда?..

Они подошли к Монмартру, осмотрели с разных сторон его купола, обошли кругом площадь и решили разойтись. Серж думал, что проводит Марсель домой, но она предпочла общество Ориоля:

— У меня с ним разговор есть. Профессиональный, — и, взяв Ориоля под руку, увела с собой, даже не простившись с остальными…

Серж был расстроен. Заостренное лицо его, окаймленное бородкой, подобной той, какую рисуют героям Жюль-Верна, выглядело, вопреки его стараниям, унылым и разочарованным.

— Какие могут быть профессиональные разговоры с этим беспринципным перевертышем? Чего я не люблю в журнализме, так это именно такой, маскирующейся под объективизм, проституции… Вы далеко живете?

— В Стене. Не надо провожать меня. Я сама дойду. Или доеду.

— Почему?.. Наоборот — мне сейчас нужно общество. Иначе совсем закисну… Это кокетство с ее стороны, — объяснил он Рене, будто она спрашивала об этом. — Она ни с кем серьезно не связывается. Любит больше всего своего папашу… Давайте лучше о вас поговорим. У вас все так интересно. Живете полной жизнью, состоящей из дел, а не из репортажей. А мы проводим время за столом. Может, поэтому я и принимаю все так близко к сердцу…

Рене посочувствовала ему:

— Вам недостаточно журналистской работы?

— Конечно. Хотелось бы чего-то другого, более действенного… — и поделился с ней без большого воодушевления: — Есть у меня одна идея, но ей не дают хода. Денег нет — как всегда в таких случаях… — после чего примолк, думая, наверно, не об отсутствии необходимых средств, а о том, в какой мере Марсель кокетничает и в какой — всерьез увлеклась Ориолем: он был из тех ревнивцев, кто лечит себя собственными средствами, но не очень-то в них верит.

— А что за мечта у вас? — спросила Рене. — Можно помочь?

— Да идея проста как Колумбово яйцо, — не сразу ответил он: сначала додумал свою невеселую думу. — Надо начинать пропаганду не со взрослых: они достаточно уже испорчены и не поддаются перевоспитанию — а с детей… — Он помолчал, глянул внушительно, продолжал уже с большим интересом, чем прежде:

— Нужны летние лагеря для детей рабочих, где бы с ними проводилась соответствующая работа — пропаганда, но не такая, как для их отцов, когда с трибуны в сотый раз твердят одно и то же, а скорее игра и соревнование… Я сотрудничаю в «Авангарде», газете для коммунистической молодежи — знаете, конечно, ее и читаете? — Рене хоть и знала, но не читала, однако не стала его разочаровывать. — Конечно же: вам положено. Неплохая газета, правда?

— Неплохая.

— Я б даже сказал, хорошая. Так вот мы в редакции кое-что уже начали: нам дали в музее войны 14-го года палатки. Они, говорят, побывали в ипритовой атаке — по этой причине их там и держат, но иприт давно выветрился и для детей не опасен. Нужна еще масса вещей: колышки, веревки — их почему-то не осталось, потом семафорные флажки: я хочу научить детей морскому телеграфу, чтоб они передавали друг другу антимилитаристские воззвания. Много что нужно, но прежде всего нужна база, желание какой-нибудь низовой организации принять в этом деле участие и провести его под флагом нашей газеты… Заговорил я вас?

— Почему?.. Я думаю, мы вам поможем, — сказала Рене.

— У вас есть и флажки и колышки?

— У нас есть Жиль, который все может, — отвечала Рене, не вдаваясь в подробности: так выглядело убедительнее.

— Хорошо! — ободрился он — хотя и не так живо, как должен был бы, учитывая, что исполняется мечта его жизни. — Завтра же поеду в музей — потащу на своем горбу эти ипритовые палатки. Надеюсь, они и в самом деле не опасны…

17

Серж конечно же не привез всех палаток: у него не было помощников, и он с трудом доволок лишь две из них до дома на улице Мучеников и в изнеможении свалил возле подъезда. Дуке в высшей степени подозрительно оглядел груду брезента и спросил его, стоящего рядом, что сие означает.

— Антимилитаристская акция, — отвечал тот: он знал Дуке по фотографиям в «Юманите», в то время как Дуке и не догадывался о его существовании — такова печальная участь газетных журналистов. — Память об ипритной атаке в Бельгии, — и показал противогазы, которые тоже взял в музее: для наглядной агитации. Дуке поджал губы и поспешил пройти мимо.

— Это к тебе, — сказал он Рене. — От тебя теперь не знаешь, кого и чего ждать.

— Вы ж сами требовали акций?

— Так хватит, может? Какой-то чудак с противогазом спрашивает. Того гляди, на физиономию себе натянет. Что ему надо?

— Палаточный городок строить.

— В таком виде? — Дуке пожал плечами, но не стал вмешиваться в ее дела: у самого был хлопот полон рот. Надо было подать сводку о числе участников последней демонстрации, которых никто не считал, да ее, по правде говоря, и не было: просто он с ближайшими товарищами, повинуясь предписаниям свыше, вышли впятером или вшестером на площадь, развернули там плакат и тут же его сложили — со стороны можно было подумать, что Дуке хвастает купленной материей. Так отметили годовщину зверского убийства Розы Люксембург. С тех пор прошло больше месяца, Дуке думал, что все забыто, — ан нет, пришел запоздалый запрос: видно, кому-то перед кем-то надо было срочно отчитываться…

Позвали Жиля. Тот, видно, стал не с той ноги: у него, обычно дружелюбного и терпеливого, сразу не сложились отношения с Сержем. Серж был отчасти сам виноват в этом: почувствовал его превосходство и держался поэтому свысока и покровительственно.

— Какой первый во времени?! — нетерпеливо перебил его Жиль, едва тот завел свою канитель про начало пионерского движения. — У нас в Сен-Дени каждое лето лагеря ставят.

Серж обескураженно глянул на него: для него это было новостью — но гонору у него от этого не убавилось, а только прибавилось:

— Но это, наверно, рекреационные лагеря, а тут политические, с антимилитаристской направленностью! — назидательно и внушительно сказал он.

Жиль не знал слова «рекреационный» (Серж нарочно произнес его, чтоб подставить ему ножку), но Жиль был не из тех, кто после подобных неудач бежит в вечернюю школу.

— Что за реакционные еще? — спросил он, глядя недоверчиво на бородатого журналиста: он не любил молодых бородачей.

— Рекреационные — значит развлекательные. Слово такое есть. Увеселительные, иначе говоря.

Жиль пожал плечами: понял, с кем имеет дело.

— А что еще в лагерях делать? Увеселяться, и все тут. А палатки ваши не годятся никуда. — Он ткнул их ногою. — Жесткие и тяжелые — таких вручную не натянешь: трактор нужен. А потянешь сильнее, лопнет, — и в доказательство дернул материю палатки своими руками-клещами — та жалобно охнула.

— Осторожней! — вскричал Серж, расписавшийся за эти реликвии. — Это исторический памятник! Они побывали в газовой атаке!.. — С газовой атакой он явно перебарщивал, но делал это нарочно: это, по его мнению, усиливало антимилитаристскую направленность мероприятия.

Жиль посмотрел на него, потом на добродушную лукавую Рене, которая явно предпочитала его в этом споре, смягчился и успокоился. Он, кроме прочего, как все деревенские парни, не любил, когда чужие молодые люди приходили со стороны к его девушкам.

— Это все надо здесь оставить, — сказал он, обращаясь уже к Рене, а не к Сержу. — Мы палатки в Сен-Дени возьмем. Все равно никому сейчас не нужны: кто в эту пору палатки ставит?.. — И пошел назад, думая над тем, как разыскать кладовщика, как собрать народ, где взять в воскресный день машину, чтоб подвезти палатки, и тысячу других столь же полезных вещей, включая лопаты, кувалды, трамбовки и средства для обогрева, необходимые для того, чтоб разбить в начале марта среди пустыря палаточный лагерь. — Позову-ка я Николя и Шарля, — сказал он себе и, свернув, пошел за означенными товарищами.

— А колышки у вас есть? — бросил ему вдогонку Серж. Жиль не соизволил ответить, но про себя подумал и о кольях тоже. — Занятный парень, — сказал Серж Рене. — Я б сказал, напористый.

— Все будет как положено. Он сделает как надо, — успокоила его Рене.

— Правда? — Серж глянул испытующе. — В таком случае он полная моя противоположность. Я вечно делаю что не надо, а что

нужно, забываю. Но палатки эти я все-таки возьму. Даже если мне одному придется их ставить. Они уже есть в репортаже, — и взвалил их себе на плечи — концы палаток, а с ними и он сам, прогнулись под недюжинным армейским весом…

Не было бы Жиля, не было бы и лагеря. Удивительно, сколько может сделать один человек с двумя помощниками, если у него на плечах ясная голова и у нее под началом послушные руки. В Стене жил его приятель, автолюбитель из молодых да ранних. У него была одна из первых моделей Рено, которую он переделал до неузнаваемости. Пока Жиль бегал за машиной, Шарль и Николя оповестили детей и родителей Стена: не сделай они этого, люди подумали бы, что прибыла военная команда и начинаются армейские маневры. Автолюбитель приехал с кувалдами, трамбовками и прочим, они с Жилем выбрали лужайку: чтоб палатки были бы видны и тем, кто не был оповещен о происходящем, — и работа закипела. Политический аспект мероприятия при этом совершенно потерялся и выпал из общего поля зрения. Серж, оставшийся не у дел, начал волноваться. В его планах значилось, что во время постройки лагеря дети выучат морской семафор и передадут друг другу флажками послание, адресованное пионерам всего мира. Он начал раздавать флажки, но никто не понял зачем: решили вначале, что для оцепления лагеря, — прошло немало времени, прежде чем он растолковал им принцип военно-морского телеграфа. Нельзя сказать, чтоб жители Стена пришли в восторг от его затеи, в которой антимилитаристские мотивы слишком легко оборачивались своей противоположностью: они не имели ничего против армии и флота, но видеть детей занятыми военными экзерсисами им не очень-то нравилось. Дети вместе с родителями, которым нечего было делать в воскресный день, вместо изучения семафора ставили палатки и вбивали столь необходимые для этого колышки. В палаточных городках не было ничего нового: в Сен-Дени их давно ставили на лето — новость была в том, что все происходило весной и в Стене: для кого-то разница небольшая, а для стенчан существенная.

Папаши, не зная подоплеки происходящего, вместо того, чтобы благодарить организаторов за инициативу, ругали за непредусмотрительность. Серж отошел в сторону, чтобы не слышать слов вопиющей несправедливости.

— Что за идиот все это придумал?! В такую погоду детей холодом морить! Меня сегодня у окна просквозило — не то что здесь, на ветру! Ты своему позволил? Флажками махать? Я считаю, ни к чему это. Нечего им привыкать к таким играм.

— Пусть машет. Скажет потом: все махали, мне одному не

дали. Надо им железку принести, что ли. Железную печь, я имею в виду.

— А у тебя есть?

— Была где-то. Трубу бы не забыть. Ведь все помнить надо. А не так, как эти.

— Принеси тогда. А то с этими оболдуями и до скарлатины недалеко. Я пойду грелку железную принесу. Углями ее начиню. У меня есть одна — на случай болезни. А я думаю, тут до нее недалеко.

— Гляди! И у меня тоже есть — я и забыл совсем. Но это надо будет всем дать — не своему только.

— А ты как думал? Будут по очереди греться. Тут все общее. Коммуна.

— Насовсем отдать?

— Еще чего?! На день! До сегодняшнего вечера. Навсегда — это, не приведи господь, после их революции.

— На день не жалко. Хотя как раз за день и на целый месяц подзалететь можно. Заболеть, я имею в виду.

— Так о чем я толкую? — и сосед прикрикнул на сына, который чересчур усердствовал в установке палатки: — Ты куда штырь бьешь? Кто же в холст его лупит? Для этого кольца! И что ты держишь ее так? Тебе б палочкой махать, а не кувалдой! Дай покажу!

Серж подскочил к ним: он хоть и отошел в сторону, но уши держал по ветру и что надо слышал. Это была как раз та палатка, что побывала на Ипре.

— Спасибо, что вовремя присмотрели! Кое-кто вам будет очень за это признателен! — Папаша ничего не понял из таких объяснений. — Я имею в виду холст и кольца. Я уже вижу на них точечные отверстия. Дайте помогу!.. — и с размаху двинул молотком — но не по штырю, а рядом, по палатке, так что та прорвалась косой полумесячной дырой, а не точечной, как при гвоздевом ударе.

— Знаете что? — сказал папаша. — Больше всего на свете я не люблю, когда в мое дело путаются умники. Их и понять нельзя, что они говорят, и ничего им доверить — это уж точно, — и, переняв у него молоток и гвозди, аккуратно вбил штыри и укрепил палатку, после чего отошел в сторону и, как водится, полюбовался делом своих рук. — Ну вот. Совсем другое дело… Теперь надо ее обогреть, а как, это думать надо. Потому что кое у кого на это мозгов не хватило. — И Серж, сокрушенный и раздавленный, отошел в сторону — на этот раз на такое расстояние, чтоб ничего уже больше не видеть и не слышать.

Рене вначале тоже не знала, куда деть себя в развернувшейся

народной стройке. Но если Серж тосковал и бил тревогу по поводу этого и оттого, что его идея рушится на глазах и строящийся палаточный лагерь с самого начала зажил жизнью, не имеющей ничего общего с его планами, то она скромно пристроилась к женщинам, которые резали хлеб, зная наперед, что все кончится этим, что их дети и мужья будут голодны. Те охотно подвинулись и дали ей лишний ножик, который прихватили с собой столь же предусмотрительно, как Жиль — кувалды и трамбовки. Жиль подошел к ней. Он никого не упускал из виду — а уж Рене-то в особенности.

— Нашла себе место?

— А почему нет? Дело стоящее.

— Еда-то? Ничего важнее нету… — Он поглядел на нее сбоку. — Так-то на тебя со стороны посмотреть — ничего особенного. Как все, обычная.

— Я такая и есть.

— Да. Скажи кому-нибудь другому. Что я, тебя в деле не видел? Опасная, гляжу, тихоня. А где редактор твой?

— Серж? — Рене оглянулась в поисках: она потеряла его из вида.

— Ты его по имени зовешь?

— В редакции всех так зовут. Даже самого Кашена. Это ничего не значит, Жиль. — Он почему-то повеселел. — Где-то здесь был. Дырки на палатках считал.

— Притащил их все-таки?

— Ну да. Ему надо целыми их отдать.

— Мы ему другие дадим, цельные. Подменим: кладовщик не заметит — свернуты будут… Только пусть сам на себе их тащит. Я их в машине не повезу. Что ты? Франсуа убьет, если узнает… А вы всех бутербродами накормить хотите? — Это он спросил у женщин, которые с любопытством их слушали. — А что-нибудь горяченькое? Супу, я имею в виду — не подумайте чего плохого.

— О супе надо было заранее предупреждать, — сказала одна из них: из тех, что говорит первой. — В него много что класть надо.

— Если картофельный, то и луку хватит, — сказала ее соседка. — Им все равно — лишь бы погорячее.

— Баланду варить всем на посмешище? Никогда!

— Может, яичницу с ветчиною? — предложила Рене. Жиль усмехнулся: он не ожидал от подруги такой наивности. — Деньги есть, — объяснила Рене и достала из кошелька средства, взятые из партийной кассы.

— Деньги?! Что ж ты раньше-то молчала?! Да с деньгами я горы сворочу — не то что эти палатки!

— Есть где купить? — спросила Рене, передавая ему деньги.

— Рене, ну что ты спрашиваешь? С деньгами-то?! Гляди, и твой Серж идет!

— Яичница? — Серж при разговоре о еде вышел из тени: как всякий журналист «Юманите» он был вечно голоден. — Но для этого нужны, как минимум, ветчина и яйца.

— Да еще прибавь: дрова и печку, — прибавил Жиль. — Мы все учтем. За яйца и ветчину платят, а печка и дрова в складчину!

— А пока суть да дело, надо ребят занять, — воодушевился Серж. — Научим их морскому семафору?..

Общее молчание было ему ответом.

— Давайте лучше в футбол сыграем, — примирительно сказал автолюбитель, бывший в курсе всех спортивных и технических новшеств. — Футбольного поля нет, но можно разметить.

— На это флажки и пойдут, — сообразил Жиль. — Ими и ворота и края поля обозначить можно.

— Свисток надо найти.

— У полицейского возьмем, — нашелся и здесь Жиль. — Все равно без дела стоит. — Действительно, за ними присматривал полицейский в форме, присланный для порядка. Он скучал и не прочь был к ним присоединиться — особенно после разговора о яичнице с беконом, который умудрился услышать, хотя и стоял на приличном расстоянии.

— А даст? — Серж питал классовую неприязнь ко всем стражам порядка.

— А отчего нет? — сказал Жиль. — Что он — не как все? Это работа у него такая. Еще играть с нами будет — не то что свистеть. Ну все! Программа классная! Вина нет, но не тот день сегодня…

День прошел на славу. Сначала играли до упаду дети, потом — родители, сменявшие их по мере их выбывания. Азарт игры был остановлен лишь запахами яичницы: на английский манер — под стать игре — с беконом, то есть вполне французской ветчиною. В палатках было уютно и тепло от невесть откуда взявшихся печек. В разгар пиршества появился сам Дорио, привлеченный сюда слухами о необычном мероприятии на смежной с ним территории. Он приехал на автомобиле, которому тут же позавидовал любитель из Стена и пошел его осматривать. Дорио, как всегда, был не один, а с Фоше, следившим за тем, чтоб он не сказал и не сделал лишнего, и с женщиной-активисткой, яркой тридцатилетней блондинкой — как показалось Рене, славянского происхождения: она говорила с легким акцентом и не сводила с него глаз — не на французский манер, а на какой-то

из славянских: полька или украинка.

— Рене здесь?! То-то все на высшем уровне! Так вы, пожалуй, нас обгоните! И Серж? А ты что тут делаешь?

— Это моя задумка, — Серж обрел на миг былую значительность. — Я веду в «Юманите» отдел для самых маленьких.

— Аа! — протянул Дорио с хорошо разыгранным почтением.

— Но это пока эксперимент, — поправился Серж: чтоб не выглядеть наивным.

— С палатками?! Да мы этими экспериментами три года занимаемся! — Дорио не любил, когда забывали Сен-Дени и его первенство в рабочем движении.

— Я не это имею в виду… — и Серж рассказал о проекте организации лагерей по всей территории Франции.

— И ты думаешь получить что-нибудь под это? — спросил его Дорио. — Доверчивый ты человек, Серж. Обдурят.

— Как?

— Увидишь как. — Дорио не делился опытом с людьми, которых не признавал своими, но сказал все-таки: — Ты в поездах когда-нибудь ездил?

— Ездил, конечно.

— На кого чаще всего деньги просят? На детей, верно? Малых да болящих — самая верная приманка: дают всего щедрее. А куда деньги потом идут? Не спрашивал? Вот и я тоже… Зачем вообще просить? Надо зарабатывать. Мы в Сен-Дени научились этому и живем, я считаю, неплохо. Что нужно рабочему? Чтоб его уважали. Верно? — он обратился к Жилю, который неотрывно смотрел на него и переводил взгляд только на Рене, как бы сверяя по ней впечатление от руководителя, которого не видел прежде. — Хороший парень, Рене. Надо бы украсть его у тебя. Он же, небось, все это сделал? Не сами же собой палатки развернулись и поле для футбола разметилось?

— Палатки я частично привез, — сказал Серж. — Теперь не знаю, как возвращать. В трех местах продырявлены, в двух прожжены.

— Посчитал? Поможем ему? — обратился Дорио к своему помощнику. — Дай ему новые — у нас есть, а эти починим в мастерской у Пижона: он у нас заказ на три тысячи получил — пусть проценты платит. Так вот, я говорю, уважение нужно рабочему — его получают силой, нагоняя страх на буржуев, а добившись своего, живут себе в удовольствие. И необязательно кого-то отлучать и гнать от общей кормушки — все хотят жить, даже полиция. Верно, капитан? — спросил он полицейского.

— Так точно, генерал, — в тон ему отвечал сержант, который,

играя в футбол, снял мундир и теперь, в присутствии начальства, надевал его снова.

— Про меня говорят, я с полицией вожусь, — продолжал Дорио. — Да я не с полицией — с самим чертом дружбу сведу, если это делу полезно. А эти, — он махнул куда-то в сторону противников из Политбюро — хуже Людовиков! Те тоже никому жить не давали и во все нос совали. А они еще и не от себя, а по чужой подсказке! Научились у русских друг друга есть — этих хлебом не корми, как они говорят, дай только вцепиться зубами в чужую задницу! Что ты меня дергаешь? — выговорил он Фоше, который уже хватал его за рукав, призывая к сдержанности. — Мы в свободной стране живем — это они нам сюда свою охранку ввозят! — Он был выпивши. — Дай я еще с Рене поговорю: она мне всегда нравилась. Рене, у тебя одна беда есть: ты жить боишься. Что ты сейчас делаешь? Лицей кончила?

— Заканчиваю.

— А потом что?

— Учиться пойду. В Сорбонну на юридический и в Политическую школу на дипломатическое отделение. — Рене уже остановила выбор на этих двух учебных заведениях. Дорио скривился как от горькой пилюли.

— А жить когда? Римское право учить? Это еще полбеды, будешь в судах очки всем втирать, а дипломатический зачем?

— Международное право хочу знать.

— Да нет никакого международного права. Кто сильней, тот и прав… Напрасно ты. Нельзя долго учиться. Учеба мозги сушит и времени для жизни не оставляет. Ты лучше поживи немного, потом поучись, потом снова поживи, снова поучись. У тебя и без учебы полно способностей — ты их только губишь. Ты находишь простой выход из трудных ситуаций — это любых знаний стоит. Тебе б цены не было, если б ты еще жить любила и среди людей вертеться… Тебя что, в детстве не баловали?.. — Он поглядел на Рене, она из скрытности смолчала. — Значит, так. Но мы все так — те, кто в революцию лезет. У всех детство поломанное. Но надо свое брать, нагонять упущенное! Любовники тебе нужны, Рене, а не занятия римским правом. Вон какой парень с тебя глаз не сводит. Сойдешься с ним — я тебе его оставлю. А то моя подруга уже навострилась. — Он оборотился к сопровождавшей его блондинке и широко ей улыбнулся: — Что я слишком долго с тобой разговариваю.

— Что такое «навострилась»? — спросила подруга: остальное ей было ясно.

— То самое и значит, — снисходительно объяснил он. — Успокойся: Рене не для меня. Я слишком нетерпеливый. Мне и

революции ждать тоже нет терпения! Поехали?.. — и вся компания унеслась на автомобиле столь же стремительно, как сюда и приехала…

Палаточный городок жил всего день: на первый раз этого было довольно. Палатки сложили для обмена в мастерских Сен-Дени, родители разобрали детей по домам. Общее мнение было таково, что день прожит был не зря и что побольше бы таких. Про то, что городок был организован коммунистами, не говорили, но помнили, а в таких случаях молчание дороже публичного признания. Ребята разбрелись по домам — с ними должны были разойтись и устроители праздника. Рене пошла бы домой, но вмешалась девушка из Бобиньи, приехавшая в Стен для обмена опытом и для ознакомления с организацией пионерского движения. Она была дочерью профсоюзного работника, который не мог приехать сам и прислал ее своим представителем. Если Рене, по словам Дорио, была излишне разборчива и не брала от жизни того, что могла бы взять, то эта девочка была вовсе беспомощна и нуждалась в постоянной опеке. Ей предстояло заночевать в Стене: ехать назад было поздно. Жиль предложил ей расположиться у него, она согласилась при условии, если кто-то разделит с ней комнату: чтоб не скомпрометировать себя и весь Бобиньи с нею вместе. Пришлось и Рене ночевать у Жиля — чему, надо сказать, тот был только рад, да и Рене согласилась легче, чем можно было бы предположить, учитывая, что ее собственный дом был совсем рядом. Обеих положили в спальне — Жиль и его мать устроились на кухне, нисколько этим не стесненные. Девочка из Бобиньи заснула крепким сном праведницы, Рене же пошла на кухню напиться: от яичницы с ветчиной у нее началась жажда. Мать перед ее появлением вышла из кухни, оставив ее с Жилем. Наливая воду из ковша, Жиль наклонился и поцеловал Рене в шею. Она выскользнула из его объятий, но не так быстро, как если бы вовсе этого не ожидала. Он предпринял новую попытку сближения — она увернулась проворней прежнего.

— Что ты упираешься? — упрекнул он ее. — Я же с хорошими намерениями… Я девушку ищу — надо семью завести и на тормозах все это спустить… — Он не сказал, что именно, но она поняла, что он имеет в виду профсоюзную деятельность. — Этим не проживешь. А в историю загреметь можно. Тогда, на конгрессе, да и потом, в вашем деле… А из-за чего? Если подумать, то не из-за чего. Лишний раз пошумели… Надо серьезней быть. — Он поглядел на Рене, призывая ее к благоразумию. — А девушкам вдвойне: им же о детях думать надо.

— А вам не нужно? — Рене была настроена в этот вечер игриво.

— Нам тоже, но не так, как вам!.. — и снова попытался поймать ее, приняв ее слова за поощрение, но опять безуспешно. — Чего ты хочешь?

— Хочу дальше учиться. Замуж не хочу. Мне рано.

— Замуж никогда не рано, — сказал он разочарованно, как если бы она ему наотрез отказала. — Поздно бывает — это да, а рано, я что-то не слышал… — И отошел, расстроенный, а она пошла спать с девочкой из Бобиньи и чувствовала себя в течение получаса не вполне уютно: ей хотелось продолжения разговора…

Рано утром она проснулась и прислушалась к тому, что было на кухне. Там негромко разговаривали. Жиль рассказывал матери о своих любовных злоключениях:

— Нравится она мне сильно. Я ей даже вчера предложение сделал.

— И она что?

— Да она, наверно, слишком умная для меня. Сказала, хочет учиться дальше. Что я по сравнению с нею?

— Что значит — умная? Я для тебя умная?

— Ты мать. Матери все такие.

— Правильно. У нас у всех один ум — как бы вас воспитать да вырастить. А если у нее такого ума нет, зачем она тебе?

— Говорит, рано еще.

— Замуж выходить? Это бывает. Не нагулялась, значит. Опять она тебе не пара: ты парень серьезный.

— Поцеловал ее вчера.

— И что?

— Да что?.. Вроде я ей не противен.

— А дальше? Тебя не поймешь.

— Да ничего, мать. Что поцелуй, когда жизнь решается?.. Спит, наверно…

Рене притворялась спящей. Она думала о Жиле, о своей жизни на этом свете. Ей в какой-то миг захотелось связать себя с этим ловким и преданным ей парнем, но в следующую минуту она подумала о том, что останется тогда навсегда в этих стенах, станет женой этого человека, пусть приятного, будет рожать детей и вести хозяйство, и страх связать себя навечно, сесть на постоянный якорь обуял ее, а мысль о замужестве (а она только так и представляла себе отношения между мужчиной и женщиной) отпугнула от продолжения столь опасного знакомства…

Утром она наскоро собралась, отказалась от завтрака, ушла из дома, сулившего ей слишком гостеприимный кров и чересчур тесные объятия.

18

Однажды после занятий она увидела отца, поджидавшего ее у ворот лицея. Шел последний год учебы. Приближение экзаменов будоражило класс и меняло отношения между ученицами. Для получения степени бакалавра по философии, к чему все стремились и что давало право на продолжение учебы в высших учебных заведениях, нужно было написать несколько сочинений: на латыни и на одном из европейских языков — по литературе и на французском — по философии. Экзамен принимали не в лицее, а в Сорбонне, поблажек никому не делали, и девушки пребывали в тревожном ожидании. Рене состояла в партии отличников, которая перед всякими экзаменами набирает вес и пользуется общим спросом: она была нарасхват, и к ней невольно стали относиться лучше, чем прежде. Хоть она и понимала, что это лишь на время, до окончания сессии, но, став нужной подругам, почувствовала себя в классе иначе, увереннее. (Наши школьные успехи и достижения — это ведь как боевые ордена и звездочки на погонах военных: мы ими гордимся, когда нам ничего иного не остается, но другие почитают их лишь в парады и праздники.) Хотя она была в приподнятом настроении: она только что объяснила Селесте правило высшей алгебры — сердце ее невольно сжалось, когда она увидела Робера. Отец ждал ее там же, где в первый раз, и с тем же рассеянным, понурым и отчужденным видом, который когда-то напугал ее и вызвал у нее тоскливое и неуютное чувство. Она снова, как в тот раз, преодолела себя и подошла к нему — он переменился в лице, дружески улыбнулся, расспросил ее о школьных делах и объявил затем, что пришел, чтобы сказать, что ее хотят видеть какие-то люди и почему-то непременно у него дома — сказал так, будто сам не знал причину этого.

— Что за люди? — недоверчиво спросила она.

— Профсоюзники. Вышли на меня по своим каналам, — и усмехнулся. — Мы же все — одна семья, при всех наших партийных разногласиях. Рабочему нужно, чтоб ему платили — остальное тоже важно, но не в такой степени…

Они договорились о времени встречи и на этом расстались.

Робер снимал другую квартирку: меньшую, чем раньше, но тоже возле Монмартра. Рене заходила к нему теперь довольно часто: накапливалось и давало о себе знать родственное чувство. Она привыкла к отцу, да и он встречал ее веселее прежнего: не выражал большой радости, но и не отгораживался от нее газетами. Теперь он видел в ней соратницу, что у иных заменяет

или дополняет родительские чувства. Она, правда, не была его единомышленницей: к коммунистам он относился с теми же оговорками, что и прежде, но была политической союзницей. Он держал какое-то бюро рядом с новой квартирой, не говорил, что там делает, держал это в тайне и стал вообще немного загадочен. Кроме него дома была Люсетта. Гостей не было: Рене пришла раньше срока.

— Ну и как тебе коммунисты? — спросил отец. — Ты, я слышал, познакомилась с самой верхушкой. В «Юманите» ходишь?

— Это известно?

— А ты как думаешь? Кому надо, все знает. Какие у тебя впечатления?

— Сложно сказать. — Рене сама над этим думала, и в ней жили сомнения, удерживающие ее от принятия окончательных решений. — Они все время как в театре. — Она поглядела на отца и Люсетту, скрепляя выразительным взглядом недоговоренность своих слов, и затем объяснила: — Слишком громко говорят на митингах, чересчур весело вспоминают, как сидели в тюрьмах. Ощущение неестественности. Думаешь сначала, что это на людях, а когда видишь их ближе, в домашней обстановке, оказывается то же самое.

— Ты Кашена имеешь в виду? — Отец отличался излишней дотошностью.

— Неважно. — Она не любила переходить на личности. — Это общее явление… С русскими тоже не совсем ясно. — Отец весело хмыкнул, а Люсетта вспыхнула: она и до того точила на Робера зуб, а веселость его вконец ее разозлила. — Говорят о них, как слуги в пьесах об отсутствующих хозяевах: шепчут в сторону: «Ох уж эти русские!».. Дорио позволяет себе говорить без стеснения, но за это его, кажется, и не любят… — и глянула вопросительно: может, он что подскажет.

Отец пожал плечами, уклонился от разговора:

— Не знаю. Это ваше дело, внутреннее. — Видно было, однако, что он доволен дочерью: — Тебе, вижу, в рот палец не клади — по локоть откусишь… У вас там раздоры — поэтому они все такие взвинченные… Кто теперь за главного?

— Вроде Дорио, Селор и Барбе. — Рене начала следить за перемещениями в руководстве: без этого невозможно было разобраться в отношениях ее товарищей. — Был Трент — его сняли.

— Барбе за главного, — подтвердил отец. — Но это временно. Дорио под него копает, а под Дорио все прочие. Земля под каждым ходуном ходит. Хотя тот, кто действительно что-то

значит, — важно прибавил он: он, видно, знал больше, чем полагалось простому профсоюзнику, да еще из анархистов, — на все плюет и делает свое дело… Что ты хочешь от легальщиков? Они же обречены на разыгрывание спектаклей. Послушаешь их: надо за оружие браться и громить мэрию или что под рукой окажется. А он придет домой, облачится, что твой буржуа, в халат и в ночной колпак, преспокойно ложится спать и забывает о том, что говорил на митинге. Они говорят: это для того, чтоб держать народ в напряжении — не сегодня-завтра вспыхнет восстание, все должны быть готовы взяться за оружие, но мы-то знаем, что это не так. И они знают. Вот и выходит балаган. А чтоб больше пыли в глаза пустить да совесть очистить, в тюрягу сходят: будет что рассказать и чем похвастаться. Все для дураков, Рене, и я вижу, ты на эту удочку не попалась. Раз спрашиваешь об этом.

— Мне надо решать, — объяснила она. — Если через год в высшую школу поступать, то, наверно, лучше повременить со всем этим.

— Да уходи совсем и навсегда!.. — Это вмешалась в разговор Люсетта: до сих пор она сдерживалась в присутствии Рене, а тут разошлась не на шутку. — Зачем тебе этот маразм?! За который никто не платит? — За время, что прошло с памятных уроков музыки, она ожесточилась, почерствела и подурнела. Ей было далеко за сорок.

— Начинается! — Робер отвернулся.

— А что ты можешь возразить на это? — враждебно сказала она ему. — Ты же сам все сказал! Может, ты к себе это наконец применишь? Сам же говоришь — балаган для дураков?

— У революционеров своя логика, — сказал Робер. — И разные бывают революционеры. Не одни только легальные.

— Я одного только вижу! И что за логика еще?! — взорвалась та. — Чтоб жена весь день работала, пальцы о рояль разбивала, а ты в своем бюро время проводил — не знаю, за кого ты там: за сторожа или за сводника!

Робер покачал головой:

— У тебя других фантазий нет? Я не хочу ни от кого брать денег, не понятно разве? — Он глядел с нарочитой веселостью. — Деньги — это кабала: сунь голову, тебе тут же хомут на нее накинут. А так все просят, одолжаются. Я анархист — мы денег не признаем, — еще и пошутил он.

— Признаешь только те, что я зарабатываю! Барон какой!.. Да что ты хоть там делаешь? — воскликнула она и обратилась к Рене как к свидетельнице. — Пять лет с ним живу и никак понять не могу!

— А тебе и не надо, — добродушно сказал Робер. —

Существует конспирация.

— Чье это бюро, отец? — Рене уже понимала кое-что в этих делах.

— Было анархо-синдикалистов.

— А теперь?

— Тоже их. Только не платят. Денег нет, а к русским на поклон идти не хотят.

— Но кто-то платит за все? За аренду. Она высокой должна быть.

— Большая, — признал он. — Но не такая, как ты думаешь. Контракт до войны заключался — деньги, по нынешним понятим, мизерные, такими и остались, поскольку плата не изменилась. Но платить надо, а когда денег нет, то маленькие или большие — все одинаково… Я плачу — кто ж еще? — втихую пояснил он, будто Люсетты не было рядом.

— Видали! — вознегодовала та. — Он, видите ли, платит! Хоть бы ты чаще приходила, Рене, — может, я еще что узнаю! Это ты платишь, Робер? А может, я с моею подагрою?!

— Не ты. Есть и другие источники. Но после оплаты счетов ничего не остается, — признал он. — Что ж делать? — Он пожал плечами. — История — это такая дама: не любит, когда к ней пристают с неоплаченными счетами.

— Что?! — взорвалась его конкубинка. — Ты меня сегодня добить хочешь!.. Вот и женился бы на ней, на даме этой! Хорошая бы вышла парочка!

— С историей? Мы и так с ней помолвлены, — пошутил Робер. И чтоб не звучало похвальбою, прибавил: — Не я один. Она вон тоже. — И указал на дочь. — Мы оба с ней повенчаны.

— Христовы невесты! — не выдержала та. — Обоего пола! Не слушай его, Рене! Учись, получи какую-нибудь профессию — чтоб этих Альфонсов в глаза не видеть! Подальше от них держись и живи в свое удовольствие! Ты знаешь, что такое жить в свое удовольствие, Робер?

— Знаю. Только этим и занимаюсь.

— За счет других! Революционер чертов! Коммунист проклятый!

— Я не коммунист. Ты меня не обижай.

— А кто ж ты есть?

— Я сам по себе. Маркса, правда, иной раз почитываю. — Он повернулся к дочери, посчитав разговор с женой законченным. — Что верно — так это то, что не нужно нашему брату обременять себя семьею. Не выходи замуж, Рене. Пока впритык не припрет. У меня, например, это не получилось. Сколько ни пробовал, все боком выходит. — Это была запоздалая месть Люсетте.

— И кто виноват в этом? — спросила жена.

— Кто? Я, конечно, — отвечал по обязанности тот, совсем в этом не уверенный. Люсетта поглядела на него, будто в первый раз увидела.

— Вот поэтому тебя в семье твоей и видеть не хотят! — выругалась она. — Не знают, чего от тебя ждать. Того гляди, приведешь в дом какого-нибудь головореза!..

Семья Робера, действительно, не то что бы окончательно порвала отношения с ним, но не звала к себе и комнату его, пока что бы временно, отдала няньке, нанятой для сына Андре и Сюзанны. Робер приходил туда лишь на празднование дня рождения матери: святой день для всего семейства. Он был как отрезанный ломоть — с этим смирились и с Робером мысленно простились. Французы суше и решительнее русских: они долго и упорно помогают попавшему в беду родственнику — но только до тех пор, пока не выяснится, что он сам ничего предпринимать не хочет, напротив, упорствует в своем бедственном, на их взгляд, положении и чувствует себя в нем как рыба в воде. Тогда о нем забывают и вычеркивают его из памяти: даже мать Робера, которой, по российским представлениям, следовало печься о сыне до гробовой доски, вела себя так же. Вслед за Робером забыли и о Рене. Яблоко от яблони недалеко падает, и грехи отцов ложатся на детей — что бы по этому поводу ни говорили и ни думали все либералы и гуманисты мира.

Робер обиделся. Дом до сих пор был его слабым местом.

— С чего ты взяла?

— Как — с чего?! Твоя дочь родная — а ты ее черт знает куда толкаешь! Не ходи, Рене, в этот гадюшник! Я туда ни ногой — там какие-то сомнительные личности околачиваются!.. — И не находя слов, чтоб излить чувства, ругнулась несколько раз подряд, будто одного было недостаточно: — Merde! Merde! Merde!

Именно в разгар этой брани и пришли гости — те, что договаривались с отцом о встрече: высокий в рабочем комбинезоне парень лет тридцати, на вид деловитый и сосредоточенный, и другой, помоложе: невысокий крепыш лет двадцати пяти, живой как ртуть, бойкий и улыбчивый — хотя внешность, говорят, обманчива. Одеты они были самым обыденным и непритязательным образом, а вели себя так, будто пришли не из-за Рене, а к отцу по своим делам: не заговаривали с ней, а лишь незаметно к ней присматривались.

— Мы не опоздали? — Крепыш сверился с часами: несмотря на кажущуюся беспечность, он отличался пунктуальностью и жил по часам.

— Нет, — успокоил его Робер. — Рене пришла по-

родственному, раньше времени.

— Пойдем в бюро? — Гость покосился на Люсетту, чью ругань слышал еще с лестницы: сейчас она насторожилась и глядела во все глаза, будто в дом вошли как раз те головорезы, появление которых она предсказывала.

— Пойдем, конечно. Дела в бюро делаются, а не дома. — И Люсетта только головой мотнула, не зная, как еще выразить свое негодование: несмотря на все опасения, ей хотелось послушать, о чем будет говориться.

Крепыш, угадав причину семейного скандала (что нетрудно, поскольку она почти везде одна и та же), стал втолковывать Роберу, не упуская из виду Рене:

— Слушай, надо бы тебе какие-нибудь деньги у нас брать. Без денег капитализм не работает. Мы у тебя время отнимаем.

— Да мне все равно делать нечего, — снисходительно возразил тот, после чего Люсетта разве что на стену не полезла от обуявшей ее злости. — Не старайтесь, ребята. Для меня это вопрос принципа. Я не хочу ни от кого зависеть.

— Но мы-то от тебя зависим! Кто платит за эту хату? Я слышал, ваши перестали?

— Вроде так, — признал Робер.

— Значит, ты хозяин заведения. Частное профсоюзное бюро. Бывают же частные детективы? А ты частный профсоюзный работник. Бери гонорары. Поэтому тебя и не считают у нас своим — раз денег не берешь. Работаешь — и все даром, — и посмотрел на Люсетту, призывая ее в союзницы, но она не клюнула на эту удочку — только вспылила еще больше, негодуя и на Робера, и на его лицемеров-подельников.

— Я на вас и не работаю, — сказал Робер.

— А что ты делаешь? Бери деньги, говорят.

— Подумаю, — сказал тот: чтоб он отвязался. — Познакомься лучше с моей дочкой. Ее Рене звать. В лицее учится. А это Андре и Шая. — Шая был тот ловкач, что всучивал отцу деньги, зная наперед, что он не возьмет их.

— Она у тебя в лицее учится, а ты денег не берешь? С такой дочкой? Бери, Рене, в свои руки предприятие. Отец твой прогорит в два счета при таком ведении дела… Значит, это и есть твоя дочь, Робер?

— Она и есть, — сказал отец. — Не только в лицее учится, но еще и секретарь комсомола девятого района. — Шая уставился на Рене с любопытством. — А недавно листовки на колониальной выставке разбросала. — Он явно хвастался геройствами дочери.

— Не я одна, — возразила Рене, движимая чувством справедливости.

Шая еще раз присмотрелся к ней.

— Эту историю я слышал. Как разбросали?

— Через крышу.

— И это в газетах было. Потом кто-то по вашим следам прошел. Но наверх-то как попали?

— Тоже по крышам.

— Это понятно. Не на дирижабле же. На крышах половина дел в Париже делается. Прыгали с одной на другую?

— Там доски были заранее заготовлены.

— Досточки! Моя мечта! У меня такого комфорта никогда не было. А как на первую крышу прошли? Там же консьержка обычно сидит? Надо зубы заговаривать: труба, мол, наверху засорилась или еще что…

— Дом не был заселен. На ремонте.

— Тогда я пас. Это ловко. Заранее все обошли. Мои поздравления. Покажешь мне потом этот дом — может, пригодится…

— Листовки разбрасывать?

— Нет, что похуже! — Шая засмеялся, Рене подумала вдруг, что он домушник, но поглядев на него, отвергла это предположение. Тот повернулся к товарищу: — Нам, Андре, надо переговорить. Об этой последней почте, — и махнул конвертом, который вытащил, как фокусник, из кармана. — Я с Жаком говорил, он ничего про это не знает. Надо ехать, — и исподтишка глянул на Рене. — При ней можно? — спросил он отца.

— Думаю, можно.

— В общем, поезжай, — сказал он Андре. — Я тебе сейчас гроши выдам.

— Все вдвое, — сказал тот. — На два билета.

— А это зачем?

— Пусть Рене посмотрит, как это делается. И мне хорошо — для прикрытия.

Рене опешила, оглянулась на отца, но тот нарочно глядел в сторону. Впрочем, Рене была не против путешествия. Она любила ездить по стране, но это редко ей удавалось. Она спросила, куда они собрались.

— В Бретань. — Шая помешкал, разыгрывая нерешительность. — О ней, Андре, разговору не было. Надо Жака спросить. Я понимаю, тебе не терпится, — не без зависти и не без яду в голосе заметил он. — Но без Жака пока отставим.

— Значит, поездка откладывается, — объявил Рене будущий попутчик и улыбнулся, обнажая ровные белые зубы. — Но думаю, ненадолго…

В Бретань поехали через пару дней. Стоял по-летнему теплый

солнечный день. Поезд шел до Сен-Бриека. Они приехали туда в послеобеденное время. Андре решил задержаться в городе, прежде чем ехать к месту назначения.

— Лучше здесь обождать, — объяснил он, — чем торчать там у всех на виду. Чем меньше место, тем в нем больше любопытных.

Они сели в привокзальном кафе. Андре заказал пиво с креветками.

— У меня с деньгами туго, — честно предупредила она его.

Он широко улыбнулся.

— Еще чего? «Юманите» платит. Поэтому, наверно, и прогорели.

— А при чем здесь «Юманите»?

— Мы же с тобой по письму рабкора едем. Не знаешь, кто такие рабкоры?.. — Рене не знала. — Что ж ты знаешь тогда? Плохо газеты читаешь.

Ее не в первый раз упрекали в этом. Все, кто так или иначе был связан с партией, считал своим долгом, неукоснительной обязанностью и едва не удовольствием читать ежедневный орган Компартии — ей же он казался пресным и похожим на церковные книги: прочтешь строку и знаешь, что будет дальше. Но она, конечно, никому об этом не говорила. Принесли пиво.

— Любишь? — спросил Андре, сдувая пену. — Я обожаю. Шая только не хочет его в счет включать. Хороший парень, но этого я в нем не понимаю. Вина еще, говорит, закажи. Чтоб во Франции жить и вина в обед не пить!

— А почему его зовут так странно?

— Шая? Потому что еврей. Исайя по-нашему. А он настаивает, чтоб его Шаей звали. Знаешь, кто такие евреи?

— Знаю, в Библии были.

— Почему только в Библии? До сих пор живут и здравствуют. У них способность к языкам обалденная. Ты по-иностранному можешь?

— Могу. По-немецки прилично говорю и по-испански.

— Откуда?! — изумился он.

— В школе учили. Надо было уроки делать.

— То-то я не знаю ни шиша. Уроков никогда не делал… А я уж решил, ты иностранка. Шая из Польши, кажется. Или Галиции. Где Галиция — не знаешь?

— Нет.

— И я тоже. Так оно веселее, когда ничего не знаешь. А рабкоры сообщают нам, какие у них на заводах и предприятиях законы или правила безопасности нарушаются, и мы на проверку едем. Как сегодня.

— И на это много денег уходит?

— А что делать? Не к себе же их вызывать. — Он помолчал. — В этот раз рабочий на аэродром жалуется: шум, пишет, над головой страшный. А администрация ему: ты что, в лес работать пришел? Должен был знать, куда идешь. Надо заглушки на уши давать, а они не знают или экономят. Я-то вообще секретарь профсоюза авиационных рабочих севера Франции, но сегодня афишировать этого не будем, ладно?.. Сколько сейчас? Надо еще не напугать их. А то приедем в поздноту — кто такие да что? Переполошатся.

— Не написал, что приедешь?

— Нет. Писать еще хуже. Вся деревня будет в курсе — начиная с почты и кончая аэродромом. Посидим и поедем. Или пойдем. Тут недалеко — можно и пешком пройти. Если не возражаешь.

— Нет, конечно.

— А то, что домой сегодня не попадешь, тоже ничего? Потому как оттуда мы сегодня не выберемся.

— Ничего. Я для родителей у отца ночую.

— Он у тебя как бы алиби?

— Как бы. Вообще я с отчимом живу.

— Ясно. У семи нянек, говорят… Пойдем? Или еще пива выпить?.. Нет, хватит — все-таки на задании. И газету надо поддержать: совсем уже обанкротились…

Они пошли по обсаженной тополями дороге, по обе стороны от которой зеленели недавно засеянные поля.

— Красота какая! — не выдержал Андре и размечтался: — Бросить бы все да осесть тут, в какой-нибудь деревушке.

— А что мешает?

— Да разве отпустят? Повязан по рукам и ногам.

— Семья?

— Нет, семьи нет. Кое-что похлеще… Есть подруга, но, наверно, уже бросила. Никакой девушке не объяснишь, почему все время по стране мотаешься. У вас на все одно объяснение. А я сказать не могу. Потому как конспирация… — и пошел по полю, к сохранившемуся посреди него островку прошлогоднего гороха.

— Не топчи зелень, — сказала она ему. — И вообще, не твое это.

— И что с того? — Он вернулся. — Не хочешь? — Она отказалась от его подношения, он распробовал, согласился: — Невкусный! — и выбросил.

— Потоптал поле — зачем? Чтоб прошлогодний горох попробовать? Городские — ничего в сельском хозяйстве не смыслите.

— А ты еще и крестьянка? Со своими иностранными

языками?

— Была когда-то. Но до конца это не проходит… — И Андре, не знакомый с этой точкой зрения, скорчил непонятливую физиономию и задумался…

Рабкора — вернее, человека, написавшего письмо в «Юманите», — они нашли по адресу, стараясь не расспрашивать местных и читая редкие дощечки с названиями улиц, которых здесь было немного. Корреспондент только что вернулся с аэродрома. Это был недалекий, рассеянного вида человек лет пятидесяти, с простым крупным продолговатым лицом, совсем недавно — крестьянин, а ныне — уборщик территории построенного рядом аэродрома. Об этом аэродроме в редакции «Юманите» ничего не знали. Вначале он испугался гостей, потом, когда те представились, разошелся:

— Да, понимаешь, орут как оглашенные! Спасу никакого нет! Что ж это за условия труда? Уйду от них — уши себе дороже!

— А что толку, что уйдете? Рядом ведь живете? У вас хозяйство? — и Андре оглядел небольшой дом и участок.

— Есть, да не хватает на жизнь — поэтому и пошел туда. А там вон как! Напишите — может, реветь будут меньше. Жены не слышу уже!

— Может, оно и к лучшему? — рискнул пошутить парижанин.

Тот конечно же его не понял:

— Почему? Она лишнего не говорит. Скажет, если вода, к примеру, в бадье кончилась или когда за дровами идти. Все по делу. А я и собаки иной раз не слышу. Как это: в сельской местности жить и ни жены, ни собаки не слышать? Самолеты только и орут.

— Ладно. — Андре пока удовлетворился этими сведениями. — Мы это все запишем, но надо еще ряд деталей выяснить. Поможете? — и вынул из планшета карандаш и бумагу.

— А почему нет? Уши — дело святое.

— Этот аэродром ваш — он далеко отсюда?

— Да рядом. Услышите еще.

— По дороге, что к Сен-Бриеку?

— Да нет, в стороне чуть-чуть.

— Надо будет сходить посмотреть. А то скажут: пишете — а о чем, сами не знаете.

— Это конечно. Сходим посмотрим.

— Он в ширину метров двести?

— Метры — это я не знаю, а вот как от сих до церкви — примерно так.

— Там самолетов десять стоит?

— Когда как. Когда больше. Мастерские — их там чинят

главным образом.

— Ладно, и это потом обсудим. — Андре отложил карандаш и бумагу. — Вы, наверно, поесть после работы не успели? А у нас тут колбаса парижская и винца с собой взяли. Думали в кафе зайти — но зачем лишнее тратиться?

— Конечно! — одобрил хозяин. — Я туда не хожу. За скатерти их платить? Они не чище наших. Эй, Марсель! — позвал он жену. — Гости у нас. Сыр тащи. У нас сыр свой, — похвастался он. — Настоящий козий.

Жена выглянула из дома. Смотрела она подозрительно.

— Сыра нет больше. А что за гости еще?

— Приехали из «Юманите». По поводу шума.

— Смотри, как бы у тебя другого шуму после этого не было. Сыра нет, и баста.

— Да нам его и не надо, — сказал Андре. — Может, пойдем с бутылками да колбасой — куда-нибудь поближе к самолетам. И от Марсель подальше.

— Зачем? — спросил недогадливый хозяин. — С ней ясно, а к аэродрому на кой?

— Послушаем, как гудит, — сказал Андре. — У меня правило — пишу только то, что сам видел и слышал.

— А вот это правильно! — одобрил тот. — Марсель! Мы пошли! Раз ты нас не привечаешь, мы другую найдем! — и, подмигнув гостям, повел их в окрестности аэродрома.

Он оказался небольшим и, видно, и в самом деле предназначенным для осмотра и починки того, что можно было сделать на месте без завоза в ремонтные ангары. Андре расспросил рабкора о числе предполагаемых сотрудников (чтоб знать, скольким среди обслуживающего персонала угрожает глухота), о численности охраны (для той же цели) и о марках или, поскольку хозяин был несведущ в авиационной технике, хотя бы величине самолетов (для уточнения технических подробностей), — все это он записывал в блокноте одному ему понятными значками и буквенными сокращениями. Колбаса была съедена, вино, которого всегда мало, выпито — возник соблазн сбегать за второй бутылкой, уже местной, но от этого их удержала благоразумная Рене: пришла, по ее мнению, пора прощаться. Хозяин за время знакомства сдружился с газетчиком и обещал, что будет писать и дальше: раз все так весело кончается.

Было поздно. Последний поезд в Париж отошел часом раньше.

— Мы в отель, — сказал Андре. — Есть у вас гостиница?

— Есть, конечно, но на кой она вам? Что я, у себя вас не размещу?

— Не надо, — отсоветовал Андре. — Во-первых, Марсель, во-вторых, тебе это ни к чему. Может, не выйдет ничего с письмом, а разговор пойдет, что жаловался, корреспонденты приезжали, а ты их у себя принял. Что раньше времени на рожон лезть? — И хозяин осекся, замолк, признал справедливость его слов. — Лучше скажи всем, что к тебе парочка из Парижа приезжала — старого знакомого сын с девушкой, от него привет тебе передавал, выпили слегка, а дома у тебя не остались. Потому как девушка строгая: ей неприлично под одной крышей спать.

— Да я и вижу, что она строгая, — согласился рабкор, совершенно им обмороченный. — Ни слова за все время не сказала.

— Она практикантка, — сказал Андре. — Со мной в газете работает. Пока только учится. Надеюсь, выйдет у нас что-нибудь, с шумом твоим…

Хозяин вызвался проводить их до гостиницы, спротежировать и сбить цену за номер, но его разубедили: под тем же предлогом конспирации.

— Со всем этим осторожней надо быть, — разъяснял Андре спутнице. — Хорошо этот парень ничего не понял и никогда не заподозрит. А могут и сообразить, что к чему. Недавно один в контрразведку пошел: что это за вопросы ему задавали, которые не профсоюзы должны интересовать, а чужую разведку, — и глянул многозначительно. — Свой, между прочим, парень — коммунист и профсоюзник. — Он обождал минуту, сменил неприятный разговор: — Теперь ты видела, что к чему. Мне Робер говорил, тебе скучно на легальной работе и тебя интересует что-нибудь живое и рискованное. — («Когда успел?»— подивилась Рене, обещая себе не говорить больше отцу лишнего.) — Так-то ты подходишь нам по всем статьям: мы о тебе навели справки — и о выставке той и до нее — об истории с плакатами. Но прежде надо задать тебе несколько вопросов…

Рене была ошарашена всем этим. Она не просила отца ни о чем подобном и ничего похожего ему не говорила. Она еще не знала, чем будет заниматься в жизни, но такое ей и в голову не приходило. Но она ничего не сказала и не опровергла слов отца — предпочла промолчать и остаться в тени, чтоб побольше выведать из Андре: в ней жили уже задатки будущей разведчицы.

— Прежде всего скажи, в каких ты отношениях с Дорио? — Андре поглядел на нее испытующе и исподлобья. — Ее в который раз уже об этом спрашивали, и эти вопросы набили ей оскомину. — Что ты о нем думаешь? — спросил он, потому что она медлила с ответом.

— Это так важно?.. Думаю, хороший организатор. Бузотер —

но это тоже необходимо. За это его и любят. Рабочие за ним идут — я это сама видела.

Он кивнул:

— Это все так. С виду, во всяком случае… Но у нас есть сведения, что он связан с полицией… — и глянул украдкой. — Поэтому если хочешь иметь дело с нами, надо с самого начала с ним определиться.

— С ним все просто, — сказала она спокойно и взвешенно. — У меня с ним нет никаких отношений. Кроме самых обычных.

— Это так? — на всякий случай спросил он, ожидая, видимо, дальнейших уверений, но она смолчала, давая понять, что нет смысла спрашивать ее о чем-либо дважды, и он вынужден был этим удовольствоваться: — Если так, то будем считать вопрос исчерпанным.

— А что вообще происходит в партии? — спросила Рене, и слова эти, несмотря на видимую беспечность, прозвучали глухо и серьезно. — Я спрашивала у отца, но этот вопрос, наверно, не для него. Какое место у нас занимают русские?

Андре был готов к ответу и все же замешкался.

— Этот вопрос многие задают, Рене, но мало кто знает, как на него ответить… Дело в том, что французы сами революции не сделают. — Он поднял с дороги хворостинку и начал махать ею, как лектор указкой, помогая себе в рассуждениях. — Не сделают, потому что слеплены из другого теста. Считают, что свое и так возьмут и проживут без лишних забот и треволнений. А дело к войне идет. В ней надо будет воевать, а не отсиживаться дома. Мы стали на сторону русских: нам представляется, что они сыграют в войне главную роль, и надо помогать им, пока не поздно. Пока их все скопом не затравили. И отец твой так думает — только не хочет при этом свою независимость потерять: денег, видите ли, брать не хочет и этим сразу всем делается подозрителен. Независимые не нужны никому — да и как без денег заниматься нашими делами? Поэтому его никто своим не считает, хотя делает он, может быть, больше, чем другие… Ладно, хватит о нем: мы-то как раз его любим за бескорыстие… Если забыть, конечно, про его необязательность, — припомнил он. — Тут он не имеет себе равных. Может назначить встречу и уехать куда-нибудь в Прованс с новой пассией. Для начальства нет ничего хуже — нам они еще разрешают с ним дело иметь, а сами не хотят и знаться… Теперь о русских. Они просят у нас военные сведения — мы их даем: надо быть до конца честными — воевать-то в первую очередь им придется. Почему один народ должен отдуваться за других, а те ждать, когда им каштаны из огня вынесут… Они, конечно, тоже не сахар — русские эти. Любят,

чтоб им льстили и подпевали — за это и денег дадут и поддержат кого не надо. Дорио ведет под шумок переговоры с правыми, с фашистами находит общий язык, Барбе, кажется, такой же, а они у них сейчас чуть ли не фавориты. Потому что новые: прежних Каменев и Зиновьев поддерживали, они теперь в Союзе первые враги и оппортунисты, и их люди, стало быть, на подозрении.

— И что делать? — спросила Рене.

— Да то и делать, что делается. Все само собой образуется. Силою вещей. У нас сейчас Жак фактически всем заправляет. Он и Морис: Морис легальный аппарат ведет, Жак нелегальный. Они женами, что ли, обменялись для большей надежности — чуть ли не свойственники. Хотя оба как будто бы не в фаворе… Трудно понять?

— Трудно.

— И не поймешь. Нарочно все запутывают. Деньги, во всяком случае, у Жака. И вся сеть оперативная. И связи — напрямую с Коминтерном и с Красной Армией. И люди у нас — один лучше другого. Шаю видела? Посмотришь — веселый крепыш и ничего больше? А за ним вся парижская полиция гоняется. Знаешь, как они его зовут? Фантомасом. Не потому что самый сильный, а потому что от всех уходит. Так в газетах и пишут: был Фантомас и снова ушел — как сквозь землю провалился.

— Шая — это псевдоним?

— Нет, он под своим именем выступает. Зачем мне, говорит, лишняя статья? Пока не задержат, могу позволить себе это удовольствие. Не любит на чужие имена откликаться. Все до поры до времени, конечно… — Он поглядел искоса. — Видишь, сколько я тебе наговорил? Это чтоб ты выбор сделала правильный. Если захочешь с революцией связаться. А ты захочешь — я тебя насквозь вижу. Иначе бы не стал говорить всего этого: не положено.

— Мне надо лицей кончать.

— Кончай, конечно. Времени много. В один день такие дела не решаются. Придешь к нам, когда захочешь. А пока забудь все, что я тебе спьяну выболтал…

В отеле, небольшом, но чистом и уютном, как все сельские гостиницы Франции, Андре попросил номер для девушки, себе же — хоть солому на сеновале.

— Думаете к девушке вечером прийти? — спросила недоверчивая хозяйка. — У нас это не принято.

— Что вы, мадам, разве мы на таких похожи? Вы меня в краску вгоняете…

Он проводил Рене в ее комнатку, оглядел обстановку, остался ею доволен и задержался в дверях дольше необходимого.

— Ну вот. Тебе удобно будет. Надеюсь, не очень устала?.. — помешкал, потянулся к ней, но сдержал себя, усмехнулся и пошел спать в конюшню…

А Рене почувствовала на расстоянии это несостоявшееся движение, физически ощутила его и, странное дело, в последующем вела себя с молодыми людьми так, будто оно в действительности имело место, будто она имела опыт в свиданиях и прошла первый барьер любовного сближения. Тот, кто робеет в последний момент, не столько теряет сам, сколько готовит почву для другого…

У нее не было претензий к отцу, но она все-таки спросила его, зачем он организовал ей эту прогулку.

— Для расширения кругозора. — Он улыбнулся скованно. — Чтоб знала, что к чему. — И глянул искоса: — Тебя же ни к чему не принуждают…

Видно, они успели рассказали ему об этой поездке.

19

История эта имела все-таки продолжение. Хотя Рене и сказали, что она сама выберет день и придет к ним, когда захочет, следующий шаг к сближению снова сделала не она, а люди из нелегального отдела Компартии.

Рене продолжала ходить к Марсель в «Юманите» — благо редакция была рядом. Марсель продолжала опекать юную девушку из предместья, которая, по ее мнению, отличалась способностями в самых разных областях, но ей не хватало чего-то важного — того, что можно назвать умением подать себя и что, надеялась Марсель, разовьется в общении с нею. Они еще несколько раз побывали в Лувре и стали называть себя подругами. Рене гордилась этим знакомством и не упускала сказать при случае, что дружит с дочерью самого Кашена: трудно уберечься от тщеславия — это распространеннейший из людских пороков. Марсель всегда была окружена интересными молодыми людьми. Рене хотя сама не любила и даже избегала чрезмерного мужского внимания, но успехам Марсель радовалась и признавала, что ее подруга обладает даром, которым она не владеет — умением, ни с кем в особенности не сближаясь, привлекать к себе массу поклонников. Правда, тут нужна оговорка, которую влюбленная в подругу Рене не делала. Журналисты «Юманите», ухаживая за Марсель, не взыскивали с нее в случае любовных неудач и заранее довольствовались невинным флиртом: она была дочерью директора газеты, и их искательства, со всеми поправками на время, место и идейные разногласия, повторяли в чем-то отношения приказчиков с дочерью хозяина.

Впрочем, любовь не играла большой роли в этом кружке, а была скорее данью возрасту и приличиям — только Серж был увлечен Марсель больше, чем следовало. Члены кружка были заняты политикой и искусством — в разных сочетаниях и взаимопреломлениях этих двух важных ипостасей общественной жизни и деятельности. Здесь охотно говорили о концертных и выставочных событиях сезона и мечтали об особой коммунистической газете или еженедельнике левого толка, в которых могли бы заняться этими желанными предметами без оглядки на число строк и на ворчливого французского рабочего, который больше всего на свете не любил, чтобы ему кололи глаза невежеством, и потому, руками преданных ему редакторов, не допускал в свою газету того, что было выше его понимания. Журналисты даже распределили между собой отделы будущего

журнала: Марсель брала на себя музыку, живопись и новинки афиш; Серж — связь деятелей искусства с детьми и с рабочими коллективами (потому что о них тоже нельзя забывать, а он в этой компании был самый совестливый); третий, Венсан, отвечал за литературу. Сам он писал бесконечный роман, который никому не показывал, и печатал в «Юманите» несложные вирши по случаю разных событий и праздников — эти читала уже вся рабочая Франция, но мнение ее автору известно не было, поскольку стихи не были подписаны и составляли как бы неотъемлемую собственность газеты.

Все было бы хорошо, но в последнее время это размеренное и приятное существование оказалось между молотом и наковальней и стонало под ударами незваного пришельца. Москва прислала в газету своего полномочного представителя и диктатора, грозного черноморца Андре Марти, героя русской революции, некогда возглавившего французских моряков, отказавшихся стрелять в русских товарищей, и отсидевшего за это срок во Франции. Он долго жил в столице мирового пролетариата, засиделся там и горел желанием навести порядок в своем прогнившем дотла и заблудившемся в трех соснах отечестве.

Началось с того, что он наотрез отказался здороваться с сотрудниками на лестнице: будто это было не в его правилах или занимало у него слишком много времени. Вайяну-Кутюрье, главному редактору газеты, который приготовил ему излюбленную остроту о том, что его ругают весь месяц, а в конце его говорят, что газета все-таки не так уж плоха, в ответ на это изящное, не раз произнесенное и просящееся в историю бонмо, Марти сказал, с неслыханным в этих местах цинизмом, что у него: а) нет времени здороваться в газете с каждым встречным и б) отныне и в начале и в конце месяца будут одни лишь нелицеприятные разборы и разгромы написанного, так что пусть он не надеется на снисходительность (все это было сказано куда грубей и проще). Марти по характеру своему был угрюмый и дерзкий боец — тюрьма его нрава не укротила, а пребывание в Москве довело до совершенства. Больше всего попадало почему-то Венсану, хотя его статьи и стихи не давали этому повода: Марти, видно, не выносил поэтов — исключая тех, кто написал тексты «Марсельезы» и «Интернационала»…

— Что ему дались мои баллоны? — удивлялся Венсан, читая очередные вымаранные строки. — Чем я теперь колонны зарифмую?..

Он решил отомстить обидчику и чуть не вылетел из газеты: написал стишок на нового директора. Эпиграмма, врученная Марти в кабинете Кашена и зачитанная потом, приватно,

коллективу газеты, была такова:

— «Пила драла дубок.

Дубок свалился с ног.

Что дерево? Терпело.

Пила ж? Все время пела». (Для перевода использовано четверостишие Жильвика, Guillevic, Executoire, 1947; автор стал в годы войны подпольщиком— коммунистом. — Примеч. авт.)

— Что за галиматья?! — вскричал моряк-редактор. — Я уже не спрашиваю про рифму и размер, но кто здесь дубок и где пила?! Это что, личные намеки?

Венсан сделал неуклюжую попытку оправдаться:

— Это все надо понимать фигурально. Я думал, вы оцените юмор. «Юманите»

— «Юморите»: это же где-то рядом.

— «Юморите» на главного редактора? Да еще предлагают напечатать в его собственном органе! Вы бы отдали ее «Досужему парижанину», с которым у вас такие прекрасные отношения!.. — и оглядел поочередно всех сотрудников, пропустив только Кашена, с которым у него были иные счеты, решаемые на другом уровне. — Ищите, Венсан, работу. Я вас освобождаю от необходимости ходить в эту газету.

— Без всякого пособия? — огрызнулся тот.

— Венсан! — воскликнула Марсель: предупредить, чтоб не зарывался, но было поздно.

— Слыхали? Он хочет еще с партии проценты получить. Со своего вклада в нее. Или дивиденды — не знаю, как правильно: в тюрьме подзабыл, а в Москве совсем разучился…

Венсан весь испереживался и все думал, как уйти — тихо или хлопнув дверью, друзья же посоветовали ему продолжать ходить на службу. Он так и сделал, и санкций не последовало: Марти ограничился поперву внушением и предупреждением…

Марсель кипела гневом и даже пыталась создать оппозицию:

— Надо объединиться и спасти газету! Из нее хотят сделать церковный календарь со святцами! — Здесь, в тесном кругу друзей, она не стеснялась в выражениях. — Мне вчера тоже вырубили три строки о концерте Шаляпина! Я ему говорю: это великий русский бас, а он мне — белогвардеец! Вот когда приедет ансамбль Красной Армии, тогда и объявим… — Марсель поглядела с возмущением и спросила: — Он в самом деле сюда едет?

— Слушай его больше, — сказал Серж. — При теперешних-то отношениях? Издевается просто.

— И что ему это дает? — оскорбилась во второй раз, и еще больше, Марсель.

— Ничего. Кроме того, что в очередной раз унизил твоего папашу. Ты не понимаешь мужчин — половина из нас такая. — Видно, акции Кашена и вправду пошли вниз — раз Серж позволил себе назвать его папашей.

— Напишите коллективное письмо протеста — я его у себя в газете напечатаю, — предложил Ориоль, который, сколько ни ходил в этот круг, так ничего в нем и не понял. — Может, подействует?

— Подействует. Последним ударом по отцу станет. Обращаться с жалобой в классово чуждый орган прессы? — Марсель даже не поглядела в его сторону. — Для Марти это уж точно будет подарок — лучше не придумаешь. Будем ждать. А чего — никто не знает. Во всяком случае, надо держаться сообща. Один за всех и все за одного, как говорили мушкетеры.

— А кто взял себе рабкоров? — простодушно спросила Рене. Ориоль глянул на нее с острым любопытством: он уже не раз глядел на нее так — остальные недоуменно пожали плечами.

— Не знаю, — сказал Серж. — Они не в этом помещении.

Он мало что понимал в этой части дел и вообще не хотел вникать в то, что не касалось его лично. Марсель, для которой в отчаянии все средства были хороши, переглянулась с Рене и сообразила, что вопрос не так уж невинен.

— Отец, к кому перешли рабкоры? — спросила она Кашена, который только вошел в прихожую, снимал с себя длинное черное пальто и сматывал конспиративный шарф, закрывавший половину лица до длинных висячих усов. От ее вопроса он замер, крякнул от неожиданности, медленно повернулся к молодым людям, оглядел всех подряд, выделил неприязненным оком Ориоля, которого недолюбливал с тех пор, как тот посоветовал ему занять денег у русских, скользнул взглядом по Рене.

— Не знаю… Они не в моем ведении. А кто ими занимается, ей-богу, не знаю. Не до них. Давайте-ка я с вами переговорю малость — с теми, кто из газеты. А остальные — милости просим, в следующий раз как-нибудь… — Он и в самые трудные дни сохранял радушие и гостеприимство…

— Ты как всегда попадаешь в точку, Рене, — выйдя на улицу, сказал Ориоль, против обыкновения серьезный и вдумчивый. — Может, ты нам в газету обо всем этом напишешь?

— Нет, конечно, — сказала Рене.

— Огюст не разрешит?

— А кто это? — спросила она. — У меня много знакомых Огюстов. Кого ты имеешь в виду? — И он только махнул рукой: в знак отчаяния…

В этот вечер Марсель, Серж и Венсан должны были пойти на

одно из первых представлений балета Стравинского «Аполлон Музагет» в театре Сары Бернар. Марсель составляла список того, что в Париже было достойно их внимания, все русское занимало в нем почетное место — и с ним новый балет Стравинского. Серж заметил, что Стравинский — эмигрант, но хотя и сказал это с иронией, получил от Марсель достойную отповедь:

— Не будем большими католиками, чем папа, Серж. Нам интересен русский народ, глубина его духа, которая подвигла его на жертвы и лишения, а эмигрант он или интеллектуальный бродяга — пусть это решают в нашем Секретариате люди вроде капитана Трента! — Догматик Трент был давно списан с борта партийного корабля, о нем можно было не вспоминать, но Марсель имела в виду конечно же другого человека. — Будем выше этого! Мне, например, казацкий хор дал больше, чем все последние резолюции Коминтерна, вместе взятые! — Это было, разумеется, риторическое преувеличение, но его деликатно не заметили…

Билеты старались брать дешевые, на высоких ярусах: дорогие считались знаком дурного тона (музыку лучше слушать с галерки), да и денег на них не было. Платили за вход по очереди.

— Вот! — Серж показал три билета на неудобные места, стоившие ему месячного сотрудничества в «Авангарде». — Я сижу посередине и рассказываю Марсель, сидящей справа от меня, что делается на сцене, Венсан слушает музыку и потом напевает нам обоим.

Он старался ради Марсель, но она была не в духе и сказалась занятой:

— Я не пойду. Рене возьмите вместо меня: ей это будет полезно… У нас неприятности дома — мы срочно выезжаем на побережье.

Серж сильно расстроился. У него, как у всякого влюбленного, были особые виды на этот вечер — как и на всякий другой тоже.

— Мне б такие неприятности — чтоб завтра на Средиземном море оказаться, — проворчал он, но Марсель была настолько не в настроении, что не могла простить ему и этого невинного ропота и сердито выговорила:

— Это действительно серьезно, Серж! Мог бы и посочувствовать.

Серж встрепенулся: несчастья любимых тревожат нас больше наших собственных.

— Так я не знаю чему.

— Противная история. — Марсель помолчала, преодолевая естественное в ее положении внутреннее сопротивление. — У нас под Ниццей жил дядя с теткой. Дядя давно завещал участок и

постройки на нем отцу. А у тетки свои планы на них… Дядя на днях умер. Она даже не сообщила нам вовремя — надо ехать на похороны, а отцу, как назло, нужно на заседание Коминтерна. И не ехать в Москву тоже нельзя — так даже вопрос не ставится. Поедем мы с матерью, а что из этого выйдет, не знаю… Дом пустяковый, но участок хороший… Партия через нас влияла там на соседних художников — они рассыпаны по всему побережью… А на спектакль пойдет еще Огюст, — прибавила она совсем уж невпопад: откуда-то извлекла его напоследок, как фокусник из рукава мантии.

— Что за Огюст? — Серж насторожился: у Марсель вечно были тайны, оскорблявшие его сердце влюбленного.

— Дюма. Из руководства партии. Он очень интересовался этим балетом. Так что выбирайте, кому идти третьим.

Серж пожал плечами:

— Пусть Венсан идет. Мне уже не хочется.

— А ты билеты покупал? Нет уж. Сиди сам на этой каторге.

Марсель, чтоб замять неловкость, подольстилась к Сержу:

— Я ему, кстати, про твой проект с пионерскими лагерями говорила — он сказал, что можно попробовать… Что такое «Аполлон Музагет», кто-нибудь знает? — спросила она у остальных, будто в настоящую минуту это было главное. — Все-таки плохо у нас у всех с общей культурой.

— «Аполлон» — понятно, — сказал, приободрившись, Серж. — «Музагет» не очень.

— Ладно, я тоже не знаю. Про «Музагет» я в «Ларуссе» (Распространенный французский энциклопедический справочник. — Примеч. авт.) посмотрю, — решила Марсель. — Спросила бы у отца: он все знает, но ему не до этого.

— Из-за дачи на Средиземном море?

— Из-за дачи! Из-за московской поездки! Каждый раз как на публичную порку едет!..

Огюст Дюма (он просил не путать себя с классиком: у того фамилия кончалась на «s», а него на «t») был сотрудником не «Юманите» (хотя и просил называть себя Дюма из «Юма»), а центрального аппарата партии. В настоящее время он был, кажется, членом Секретариата: состав последнего постоянно менялся и, в целях конспирации, хранился в тайне даже от партии — отсюда и сомнения на счет его членства в этом высоком органе. Во всяком случае, он был связным между Секретариатом и газетой: привозил оттуда срочные документы, обвинительные статьи и пасквили, якобы подписанные сотрудниками газеты, так что те наутро с бессильным гневом и ужасом дивились на мнимое дело рук своих — и выполнял какие-то иные челночные операции,

говорить о которых было не принято. Человек этот был, впрочем, простой, свойский и компанейский. В прошлом он был моряк, младший офицер военного флота, и в нем сохранились старые привычки, в которых дух морской дисциплины соседствовал с мичманской шкодливостью и беспечностью. Он щеголял старым офицерским мундиром — довольно потертым и без погон; в нем он чувствовал себя свободнее, чем в штатском: легче было и шалить, и подчиняться.

Они пошли втроем в театр Сары Бернар (той самой, которая в семьдесят с лишним лет соблазнила когда-то Сергея Есенина) на новый балет Игоря Стравинского. Огюст был уже не в беспогонном мундире, а во вполне приличной выходной паре с белой рубашкой и галстуком, но и в штатском оставался похож на военного: все кругом были в свободных рубашках и кофтах с бантами и завязками на шее — вместо обременительных, как цепи, галстуков.

«Музагет» оказался не чем иным, как «водителем Муз». Рене прочла это в афишке спектакля, но потом нашла и в «Ларуссе», как и предсказывала Марсель, которая все знала и была начитанна, как учительница младших классов. Узнать из мелодичной и капризной музыки Стравинского и, тем более, из пластичной, но вычурной хореографии Баланчина, почему русские совершили революцию и терпят нынче немыслимые бедствия, было зрителям не под силу. Постановщики спектакля, кажется, намеренно вводили их в заблуждение на этот счет, потому что после спектакля русских можно было посчитать пребывающими на Олимпе в одной компании с небожителями. Видимо, Стравинский, как и сказал Серж, был в душе своей эмигрантом или бродячим музыкантом, предлагающим свою музыку на всех мировых перекрестках и меньше всего интересующимся судьбами революции. К тому же у всех болели спины из-за неудобных сидений и необходимости вертеться: чтоб видеть, как танцуют и пляшут на далекой от них сцене…

— Все-таки кафе — место куда демократичнее, — сказал Огюст, усаживая товарищей в углу под пальмой в уютном заведении с большими красными абажурами на настольных лампах, с обивкой из черного дерева и бронзой, тускло блестевшей в темноте зала. — Каждый сидит с удобствами. Хоть у оркестра, хоть где. И музыка лучше, доходчивее. Люблю это заведение. Оно мне родной камбуз напоминает. Особенно бронза: так и хочется надраить… Что возьмем?

— Какие у нас финансы? — У Сержа после оплаты билетов ничего не осталось.

— Неограниченные, — отвечал тот. — Хватит на кофе и

пирожные.

Принесли заказ.

— Расскажите о вашей службе на флоте, — попросила Рене, давно мечтавшая о далеких странствиях.

— Рассказать о флоте? — Огюст посмотрел на нее так, будто желание ее было не вполне приличным.

— Да. Какие у вас о нем воспоминания?

— Память-то светлая, а как начнешь рассказывать, обязательно какую-нибудь дрянь вспомнишь — почему так, не знаете?

— Не знаю. Может быть, все плохо было?

— Да нет, нормально. Просто мы так устроены: нацелены на плохое. Революционеры, я имею в виду. Верно, Серж?

— Почему? — Серж ел корзиночку с кремовыми цветами и был настроен иначе. — Я оптимист и все вижу в розовом свете.

— Счастливец, значит. Так что рассказать, Рене?

— Расскажите про ваши отношения с начальством. Это важно?

— Еще бы! Все от капитана зависит. Мой на последнем моем корабле был законченный пьяница.

— Не может этого быть, — сказала она, скорее подыгрывая ему, чем не веря.

— Да еще какой. А если капитан — пьяница, то все туда же. Начальство знало это — однажды адмирал нагрянул с инспекцией: выстроили команду, наш наверху, на шканцах, болтается — адмирал обращается к нам: есть ли жалобы. Хотел, чтоб мы на него нажаловались.

— А вы?

— Естественно, отмолчались — адмирал так ни с чем и уехал… Не нравится история моя?

— Расскажите о чем-нибудь приятном, — попросила она. — Вы моряк все-таки.

— Раз моряк, значит о женщинах — так ведь?

— Положим. Хотя и необязательно.

— Необязательно, но так. Женщины, Рене, бывают на земле и на море. О женщинах на земле говорить не стоит, да и на корабле не очень.

— Откуда на военном корабле женщины? — Серж оторвался на миг от торта.

— Берут для бюджета корабля, для настроения офицеров, — уклончиво отвечал Огюст. — Вы все тайны знать хотите. Слушайте, что вам говорят, а выводы делайте сами — так ведь, Рене? — и поглядел на нее искоса: насколько груба могла быть сообщаемая ей правда. — У нас на второй палубе стояло подряд

шесть кают младших офицеров — и моя тоже, поскольку, несмотря на мой далеко не юный возраст, я все не мог добиться повышения: во мне всегда чуждый элемент чувствовали. Так вот. Все пассажирки — сколько-нибудь подвижного возраста: что на ногах держались — считали своим долгом пройти через все каюты последовательно, а то и по две за ночь кряду. Это у нас называлось стоять на звездной вахте. Стоишь на палубе, смотришь в воду или на звезды, а к тебе уже такая особа лепится: приглядела тебя на обеде или просто высмотрела на ночной охоте, пока муж спит после пьянки. «Что делаете?»— спрашивает. — «Надеюсь, не на дежурстве? Хотя можно, говорит, и среди дежурства, если не терять времени.» Ей-богу! Море всех с ума сводит: будто из монастыря сбежали… Начнешь ей про звезды говорить, про миры бескрайние — она послушает, послушает, скорчит пренебрежительную рожицу, а то и скажет что-нибудь непотребное, отойдет, а ты стоишь как оплеванный, будто тебя на улице грязью обрызгали. Я не могу так. Без разговоров … — и глянул выразительно, словно хотел затеять сейчас именно такие разговоры. — Я, наверно, зря все это вам рассказываю? — Рене замялась, и он перекинулся к Сержу: — Что за дело, Серж? О котором мне Марсель говорила?

— Деньги нужны, Огюст.

— Новость какая. Мы все в таком положении.

— Не я, а французские дети. Ты ведь теперь в Секретариате?

— Ну и что? Сколько надо?

— Много. Есть план! Мы говорили об этом в «Авангарде». Надо обеспечить детей рабочих пионерскими лагерями! — Огюст глянул насмешливо, а Серж продолжал не тушуясь: — Здесь кроется большой резерв агитации. Правящий класс совсем не думает о детском отдыхе — это надо использовать, поставить по всей Франции палаточные городки, разместить в них детей из семей низкого и среднего достатка, устроить родительские дни, втолковывать детям и родителям азы политической грамоты, рассказывать, куда идут деньги, предназначаемые бюджетом на детские нужды, и набирать таким образом очки в борьбе за детские и родительские души! Мы уже начали этот эксперимент в Стене. Через десять лет те и другие будут у нас в кармане!.. — Он кивнул в сторону Рене и долго еще распространялся таким образом, нисколько не теряя в азарте и в убедительности, так что, хотя кафе было маленьким и уютным и скрадывало лишний шум, посетители за соседними столиками, услыхав и малую толику сказанного, начали недовольно оглядываться…

— Ладно, Серж. Во всем этом есть что-то дельное. Я предложу в Секретариате. А может, и еще где-нибудь. На детей деньги

найдутся. Вы только составьте бумагу. Все, что вы сказали, плюс приблизительную смету. Идет?

— Правда?! — не веря ушам, воскликнул Серж, уже видя себя во главе национального пионерского движения.

— А почему нет? Только не знаю, весь ли ты фонд получишь или только часть его. И не самую большую.

— Как так?! — вознегодовал тот. — Ни одного су не отдам. Знаешь, сколько по Франции лагерей построить надо?

— Построишь… Что шкуру неубитого медведя делить — как русские говорят? Их деньги — их и пословицы. Ну что, Рене? Идем? Ты с нами, Серж?

— Я домой. Мне проект писать надо.

— Давай. Не забудь про палатки, горны, вымпелы, значки и все прочее…

Огюст провожал Рене до дому.

— Пойдем пешком? — предложил он. — Надо привыкать ходить на большие расстояния. У водителей автобусов и железнодорожных проводников феноменальная память на лица — так что, если хочешь проскочить незамеченной, лучше, чтоб тебя вообще не видели. Могут, конечно, на дороге остановить: почему в поздний час и как тут оказалась, но это уже другой разговор: от полиции можно отделаться, если одет прилично и не производишь впечатления уголовника. До тебя и не так далеко идти. Стен — это ж рядом с Сен-Дени: город увеличивается, ты скоро парижанкой станешь… Так ведь?

— Возможно, — неопределенно согласилась она, не зная, к чему он клонит. Он понял причину ее сдержанности.

— Но я тебя не для того, конечно, вызвался проводить, чтоб пророчить такие истины. И не потому, что ты красивая… — Он поглядел на нее сбоку, удостовериваясь в сказанном. — Хотя и этого было бы достаточно… В тебе есть что-то монгольское, скуластое — не знаешь этого?

Рене осталась недовольна его замечанием. Она не любила, когда ставили под сомнение ее французскую кровь, и была в каком-то отношении националисткой.

— Разве? Мне никто этого не говорил.

— Ну вот я говорю. Сойдемся если ближе, буду тебя звать монголочкой, — и поскольку не доставил ей этим удовольствия, поспешил добавить: — Это пока что шутки. Серьезное только начинается. Давай перейдем на ту сторону — там народу меньше и тротуар хуже освещен…

— Я, Рене, — собравшись с духом и с мыслями, сызнова начал он, — навел о тебе справки, спросил ребят, имевших с тобой дело, — кругом выходит, что ты из тех, кто нам нужен. И

пойми, что я говорю сейчас с тобой не как Огюст Дюма, не как бывший моряк, волочащийся за очередной красоткой, а как вполне ответственное лицо партии, уполномоченное делать такие заявления. Ты уже коснулась работы с рабкорами, да? — Он опередил ее согласие кивком. — Мы это узнали случайно, но такие вещи не должны проходить мимо нас, и я, поскольку за это отвечаю, вмешался и сделал кое-кому выговор…

— А как это стало вам известно? — Рене была недовольна огласке происшедшего.

— Это хороший вопрос. Ты с Марсель об этом не говорила?

— Нет, конечно.

— Значит, отец ей сказал. Он в курсе таких вещей. По старой памяти, — прибавил он многозначительно.

— А ей это зачем?

— Этого он действительно мог и не говорить, — согласился он. — Но сказал… Дал знать, чтоб остерегалась. Чтоб сузила знакомство с тобой.

— Со мной?!

— А ты как думала? Легальные и нелегальные товарищи не должны соприкасаться и проводить вместе время. На людях, во всяком случае…

— Но вам-то она почему это сказала?

— Почему мне? — Он примолк, не зная, разглашать ли эту, последнюю, тайну, затем надумал: был настроен в этот вечер решительно. — С ней у нас свои счеты. Она мне одни вещи говорит, я ей другие. Ее интересует, что наверху об отце думают и что говорят в руководстве в партии, — я делаю что могу… — Он решил, что зашел все-таки слишком далеко в своей откровенности, поправился: — Вообще-то такие вещи не обсуждаются. Это я для тебя исключение делаю: чтоб поняла, что к чему, и чтоб ближе с тобой познакомиться… Тебе показали работу с рабкорами, но это не то, что нас сейчас интересует: на очереди у нас другое дело, и вот тут-то я и хочу тебя задействовать. Я, иначе говоря, хочу украсть тебя у Жака и Шаи. Хочу только предупредить с самого начала: мы в этой работе остаемся французами, действуем в своей стране, для своего блага и своего народа, а отношения с братскими странами и партиями — ты знаешь, о ком я говорю — они у нас не то чтобы на втором плане, но органично вытекают из первого и ему не противоречат… Ясно?

— Не очень.

— Возможно, — повинился он. — Мы все здесь путаемся. Я тебе объясню сейчас суть, хотя делать этого не стоило. Рабкоры — хорошая выдумка, мы с ними узнаем много для себя интересного.

Партия получает материал, которого нет и у правящего класса, с его полицией и вездесущими осведомителями. Но есть категория профессий, которая не пишет нам, хотя могла б это делать. Я имею в виду государственных служащих. Их надо искать самим и выбирать из них возможных сотрудников и корреспондентов. Это понятно?

— Понятно. И как вы хотите это сделать?

— В этом и заключается суть. Мне как бывшему моряку поручили найти таких во флоте… Я говорю тебе вещи, о которых не стоит болтать, — еще раз предостерег он. — Иначе это прежде всего мне боком выйдет.

— Этого можно было и не говорить, — сказала она.

— Мне так про тебя и говорили, — успокоился он. — Вот я сейчас и советуюсь с тобой, как лучше это сделать. Есть у меня список, о котором говорить не следует…

— И не говорите, если так, — перебила она его: ей надоели его бесконечные зигзаги и оговорки. — Зачем болтать лишнее?..

— Чтоб ввести тебя в курс дела… Мы думаем разослать всем письма.

Рене поглядела на него строптиво.

— И что будет в этих письмах? Что вы хотите узнать? — Она против воли увлеклась поставленной перед ней задачей.

Он помедлил.

— Кто из моих бывших товарищей или их коллег по службе придерживается наших, левых, красных, розовых — называй как хочешь — убеждений. Прямо не спросишь — сразу возникнет вопрос, для чего и кому это нужно?

— Сделайте простую вещь. — Она глянула с легким превосходством. — Вы не служите?

— Нет.

— А хотели бы вернуться, — уже не спросила, а предложила она. — Спросите у ваших прежних товарищей: к кому можно обратиться, учитывая, что вас уволили с флота из-за ваших идей и вам, чтоб восстановиться, нужно, чтоб на них посмотрели сквозь пальцы. Если рядом таких нет, пусть назовут на других кораблях. Напишите, что вам опостылела гражданская жизнь, что вам есть нечего — люди обычно идут навстречу в таких случаях … — и примолкла, потому что мимо них шла припозднившаяся парочка. — Какой список у вас?

— Общий министерский — с фамилиями и главными должностями на всех больших кораблях флота.

— Я бы так не рисковала. Все лучшее рождается снизу, а не поверху.

Он озадачился.

— Это целая программа. Нашему Барбе бы сказать… Это в тебе отец-анархист говорит.

— Или бабушка-крестьянка. Крестьянство из мозгов не выветривается. Идите от знакомых.

— Да? — Он не совсем понял ее: это было выше его соображения. — Это интересно, что ты говоришь. Я подумаю… — Потом прибавил просительно: — Но тут ряд деталей… — Она ждала. — Как такие запросы рассылать? Частными письмами?

— Частными, наверно.

— Под своей фамилией? Это верный способ подставиться.

— Можете не подписывать. Дайте понять, что боитесь — поэтому себя не называете, но надеетесь, что вспомнят, о ком идет речь.

— А обратный адрес?

— На какую-нибудь гостиницу, до востребования. На липовое имя.

Он помялся.

— А ты бы не хотела этим заняться?

— Чем?

— Писать письма… Мне некогда — да и нехорошо, если почерк опознают… Ты, между прочим, за это деньги получать будешь. Не бог весть какие — двести франков, но ведь и я столько же получаю. Всю жизнь на двухстах франках сижу — как начал с них, так, видно, ими и кончу…

Рене подумала, сказала:

— Нет. Я этим заниматься не буду. Мне лицей надо кончать и бакалавра получить. Я и так уже зашиваюсь.

— Так это ж не сию минуту! — возразил он. — Это пока только проект, как у Сержа. Он, кстати, напрасно радуется. Если и получит что, то хорошо, если десятую часть пирога, на который рассчитывает. Каждый захочет пристроиться. Это ж пойдет, наверно, по линии Рабочего Красного Креста. Или Организации помощи жертвам революции. Там много желающих… Ну так как? Пока я это со всеми все согласую, ты как раз бакалавром станешь. По риторике?

— По философии.

— Вот как! Но надо в тайне все держать… Тут, Рене, сложная игра и, наверно, тебе не очень нужная.

— Если очень сложная, то не нужная, — согласилась она. — Подождем, когда проще станет. Пришли уже.

— Уже?! — удивился он. — А я думал, у меня время есть — на неофициальную часть знакомства… — Но она уже прощалась с ним: у нее не было желания стоять с ним на улице, да и родные заждались ее: в последнее время она так часто задерживалась по

вечерам, что на нее стали смотреть как на постоялицу в собственном доме, что ей, естественно, не нравилось…

Все описанные выше события имели логическое развитие и продолжение. Обе поездки: и Марсель на побережье, и Кашена в Москву — были катастрофичны по своим последствиям. Кашену сказали, чтоб он ждал перемен и что дни его как политического деятеля сочтены. Но он продолжал ходить на службу, так как официального снятия с должности не последовало. Тетка же сказала, что лишит Кашенов наследства на перешедшие к ней участок и на жалкую хибару при нем, и публично, в церкви, возмущалась тем, что ее парижский зятек живет на русское золото: такая осведомленная оказалась антикоммунистка — держала только язык за зубами при жизни мужа.

— Посмотреть бы хоть раз на это золото! — возмущалась Марсель. — Хочет просто на свою родню дом переписать!..

Сержу обещали Фонд пионерского движения, но он и дня не проходил героем: все отведенные на это деньги должны были пойти по другим каналам и адресатам — нашли просто благовидный повод для их ввоза во Францию. Ему, в виде компенсации, предложили подписывать и узаконивать этот увод средств, сделав его в Фонде почетным председателем. Они с Огюстом кричали на крик, не обращая внимания на сотрудников, которые, чувствуя неладное, разбежались по комнатам редакции, чтоб не слышать их ссоры.

— Чего ради я буду подписывать то, о чем не имею никакого понятия?! — возмущался Серж. — Чтоб меня потом привлекли за хищения — как какого-нибудь Рокфеллера?! Да берите сами этот фонд и делайте в нем, что хотите!

— Погоди, — грозно увещевал его Огюст. — Ты хочешь, чтоб другой делал за тебя работу, которую ты считаешь грязной? Это что — недоверие к партии или желание выйти сухим из воды, с чистыми руками?.. Историю в белых перчатках, Серж, не делают. Ты думаешь, я от себя это тебе говорю? Как бы не так — я передаю тебе мнение руководства, и сейчас ты рискуешь действительно многим! Одно дело — эпиграммы на Андре Марти писать, как Венсан: тут только посмеются — в конце концов, Франция — свободная страна и каждый имеет такое право, но отказываться от того, что сам предложил в Секретариат партии, написал в виде объемистого доклада со сметой и бухгалтерскими выкладками?!

— Я предлагал не это, — устало, но несговорчиво возражал Серж, — а честное, праведное и нужное детям дело.

— А ты считаешь, что мы нечестны, неправедны и не думаем о детях Франции?.. — Огюст стал похож в эту минуту на платного

провокатора.

Серж хотел сказать «да», но вовремя удержался. Над ним и без того висела угроза увольнения. Но он был научен горьким опытом Венсана, а теперь еще и Кашена, и продолжал ходить в редакцию, как если б ничего не случилось.

Эта тактика оказалась верной — прежде всего потому, что и в самом деле ничего не произошло: фондов так и не дали и дележка русского медведя оказалась воистину преждевременна.

20

Экзамены были сданы. Рене написала сочинение по Гете на немецком, которое было признано лучшим среди работ экзаменующихся. Но и остальные девушки получили заветный «бак», были полны радужных надежд и ждали выпускного вечера, чтобы расстаться с лицеем и окунуться в новую жизнь, свободную и ничем более не сдерживаемую. Наступил праздник окончания учебы. Директриса торжественно вручила Рене диплом и если и выделила ее среди других, то одним только взглядом, который был слишком проницателен и слегка придирчив, но вслух сказала лишь самое лестное и вполне ею заслуженное. Мэтр Пишо, принарядившийся и причесавшийся по случаю праздника, вертелся юлой среди выпускниц, чудил по своему обыкновению, но тоже говорил одно приятное и даже приторное и не пропустил и Рене в своем славословии: перед лицом экзаменаторов и воспитателей все равны, даже заблудшие овцы — хотя напрасно думают, что к ним испытывают особенно теплые чувства.

Потом был бал, на котором царила Летиция. У нее был теперь официальный жених, журналист-американец из нью-йоркской газеты, и хотя ее отец и слышать не хотел об этом браке (он слишком любил дочь, чтобы с ней расстаться), они давно решили уехать и ждали только окончания лицея, а нужна ли будет в Нью-Йорке парижская степень бакалавра по философии или нет, их не очень-то занимало. Летиция пришла на бал с этим Гарри, который стал предметом общей зависти. Она сильно переменилась за последний год: повзрослела, стала еще красивее и увереннее в себе, но утратила всякий интерес ко всем молодым людям, кроме Гарри, о котором, как язык проглотила, никому не рассказывала: может, боялась сглаза или вправду отцовской слежки. Американец был высокий, плечистый, костюм сидел на нем свободно, и сам он казался вольным, ничем не стесняемым — олицетворением свободы и независимости, которая ждала всех после окончания школы. Он охотно танцевал со всеми девушками подряд: исправно стриг длинными ногами-ножницами паркетные газоны лицейского зала и делал это с согласия и при попустительстве Летиции, которая не боялась, что его уведут от нее, и вовсе его не ревновала, что тоже было необычно и дышало раздольем американских прерий. Большое и крупное, без европейских ужимок и манерностей, просторное лицо Гарри было сосредоточено на танцах и на очередной партнерше, с которой он, путаясь во французском, любезничал как мог, но это, конечно же, были только слова и необходимые знаки внимания, потому

что он то и дело оборачивался на свою подругу, которая сама не танцевала — за ненадобностью, но чувствовала себя королевой бала и улыбалась за обоих. Сам Гарри улыбался редко, но тем более зазывно и завлекательно; широкая, непритязательная и неожиданная улыбка его говорила примерно следующее: мне хорошо, я всем доволен и предлагаю разделить со мной эту радость, но если вы откажетесь, это ваше право, я не буду на вас в претензии. Он держал со всеми некую уважительную и непривычную для здешних мест дистанцию: в ней была естественность и непринужденность молодого человека, воспитанного среди равных и столь же самостоятельных и независимых, как он, товарищей; лицеистки, привыкшие к тому, что их приятели держались скованно и вымученно, потому что им с детства прививали правила хорошего тона, а школу чувств и развязности они проходили у проституток, сразу это почувствовали, и в этом-то и была причина их зависти и ревности к тому, чего у них никогда не было и, может быть, никогда не будет. Все подпали под его обаяние — все, кроме Рене, которая и здесь оказалась в привычном ей меньшинстве и изоляции.

Бал кончился. Летиция исчезла с женихом, не дождавшись конца торжества: у них, видно, были свои планы на оставшуюся часть вечера. Подруги обменялись последними поцелуями, адресами, телефонами (у кого они были) и разошлись кто куда — многие отправились с Селестой в ресторан праздновать День освобождения. Рене, у которой не было на это денег, и Эжени, которая через два дня уплывала — тоже в Америку, только Южную, пошли гулять вдвоем по вечернему Парижу: никому не хотелось в этот день возвращаться домой раньше времени. Эжени приехала в Париж из Французской Гвианы, должна была туда вернуться и не могла дождаться этого часа. Кроме Летиции две девушки в классе не боялись экзаменов: Рене, потому что все знала и особенно легко чувствовала себя в иностранных языках, которые за месяц не выучишь и не забудешь, и Эжени — потому, что экзаменационные коллегии, никому не дававшие спуску, для жителей колоний делали исключения. Это была спокойная, добропорядочная девушка, которую все в Париже тяготило и, в ее представлении, не шло ни в какое сравнение с ее новой родиной. Она и Рене туда звала, и та начала вдруг подумывать об этом — но Эжени, узнав случайно о ее коммунистических и антирасистских связях и симпатиях, пришла от них в ужас и взяла назад свое приглашение. В Гвиане, в обществе негров, такие причуды были совсем неуместны: негры — хорошие люди, но нечего искушать судьбу и вносить смятение в их черные души.

— Как тебе вечер? — спросила ее Рене.

— Неплохой, но я не о нем думаю… Я уже дома себя вижу… Боюсь очень.

— Да пароходы сейчас как автобусы ходят — по расписанию.

— «Титаник»-то утонул.

— Это когда было? И он севернее шел — в зоне айсбергов… А Гарри тебе как?

— Американец, — сказала та. — У нас их много.

— И какие они?

— Деловые, приветливые, но вращаются обычно в своем обществе. Не знаю, чем Летиция его пленила. Видно, сама такая же.

— Завидуешь?

— Нет. Мне больше мой Марсель нравится: он сентиментальнее. С Гарри мне было бы неспокойно. А тебе он понравился?

— Нет, — с легкой душой сказала Рене. — Так-то он, конечно, привлекательный, стройный, раскованный, но чего-то в нем не хватает. Слишком легкий, с одной стороны, и уравновешенный — с другой. — Она успела все обдумать и взвесить.

— Что ж в этом плохого?

— Слишком довольный собою, — додумав, заключила Рене.

— А ты таких не любишь?

— Нет. Как можно быть свободным, когда кругом столько рабства?

— В Америке?

— Почему? Везде. И здесь тоже. — Она произнесла это почти легкомысленно, не в тон сказанному и огляделась по сторонам в поисках какого-нибудь дешевого кафе, куда можно было бы зайти и отметить окончание учебы. Подруга не вполне ее поняла, но согласилась:

— Про чужие несчастья не знаю: мне что до них — но я тоже не люблю самонадеянных. Люблю, когда мужчина чуть-чуть робеет. И чувствителен, как мой Марсель. С ним легко себя чувствуешь и боишься меньше. Я от парохода в панике, потому что его рядом не будет.

— Будете всю жизнь рука об руку ходить? — Рене словно бес за язык дергал.

— А это плохо?

— Не знаю… Немного скучно, кажется. — Рене была настроена воинственно: причиной тому, может быть, было ее одиночество на балу и после него.

Эжени это не понравилось, но она решила не ссориться в последний день, хоть и сказала:

— Гарри слишком свободный, мой слишком ко мне привязан — кто тебе нужен, Рене?

— Никто, наверно. Одна буду.

— И что будешь делать одна?

— Не знаю. Пока учиться.

— Учиться, Рене, это не занятие, а так — в лучшем случае подготовка к будущей жизни. Одна семью не создашь, — и Эжени, которой наскучило говорить банальности, вспомнила, что у нее осталось множество дел, и заторопилась, чтоб не терять времени даром.

— Зайдем в какое-нибудь кафе, — попросила Рене. — Обмоем наш «бак» по философии. Философии все-таки, а не домоводства с кулинарией. Вспомним старика Гегеля, как говорил один мой знакомый. — Ей захотелось в этот миг, чтоб рядом был Мишель, который бы охотно поддержал с ней разговор о Спинозе и о Канте.

— Ты, наверно, его и ждешь? Знакомого этого? Ладно. Недолго только. У меня не все еще куплено…

Домой Рене пришла достаточно рано, и отчим собрался за бутылкой: отпраздновать событие. Мать посмотрела на это косо: успех дочери радовал, но пьянство мужа пугало куда сильнее.

— Но повод-то какой! — воззвал он к материнским чувствам. — Не каждый день дочь лицей кончает. Да еще с отличием! — схватил шляпу — и был таков.

— Вина купи! — послала ему вдогонку Жоржетта, но он уже ее не слышал. — Сейчас абсент принесет, — предрекла она. — Который с ног его валит, — и примолкла, удрученная.

Рене подсела к ней на диван, приласкалась, что делала редко: она выпила с Эжени красного.

— Ты хоть довольна, что я лицей кончила? — Ей захотелось услышать от матери что-нибудь лестное и приятное — награду, которую в младших классах дети ждут от родителей за примерные отметки в школе. Оценки преподавателей радовали ее меньше.

— Довольна, конечно, — отвечала серьезным тоном Жоржетта, но в голосе ее не слышалось ликования.

— А почему такая невеселая?

— Что веселиться?.. Опять пить начал. Кто кормить нас будет?

— Я прокормлю. Уроки могу давать.

— Когда ты их давать будешь? У тебя ж времени совсем нет… Я тебя почти не вижу… Как и его — когда он запивает…

Отчим действительно пришел с абсентом.

— Ничего другого не было, — лживо оправдался он. — Было

вино подешевле, но его б на всех не хватило. Что нам одна бутылка? А абсент — он за сердце хватает!

— Вот и пей его один, — сказала Жоржетта.

— Один пить не буду! — поклялся он. — Что я, алкоголик? По случаю только, — и припрятал бутылку.

Он изменился, постарел, обрюзг в последнее время, и даже усы его, которые он отпустил, когда стал секретарем ячейки и за которыми прежде ревностно ухаживал, повисли теперь, как две худые тряпки. Секретарем он уже не был: постарался Ив, его недоброжелатель, но и в нем самом бойцовский петушиный дух давно иссяк и выветрился.

— Рене теперь работать пойдет? Тут Жиль говорил со мной о ней: понравилась ему сильно. Хороший парень, между прочим. Будь я девкой, вцепился бы в него обеими руками. А что? Головастый, все в руках горит — редкостный парень. Тебе ж и об этом думать надо — не только об учебе твоей.

Все словно сговорились учить ее уму-разуму и толкать к замужеству: будто хотели избавиться от нее, всучив ей веретено и прялку.

— Ты меня сватаешь? — спросила Рене.

— Не сватаю, но очень уж тебя хвалит — видать, ждет, что передам.

— Я дальше учиться пойду, — сказала Рене.

— Вот те на! — удивился он, будто об этом не было прежде речи. — А я ничего не знаю.

— А зачем было «бак» получать? Для дальнейшей учебы.

— И на кого же?

— На юриста.

— Ничего себе! Адвокатшей станешь?.. А те, в Даммари, дальше будут платить?

— Об этом еще не говорили. Сама расплачусь.

— Жить здесь будешь? — закинул еще одну удочку он.

Мать насторожилась:

— А где же?

— А я знаю? — отговорился тот. — Где живут юристы. Им же нужно ближе к работе. Или к учебе — что у них там?.. Решай, в общем, свои вопросы, — подытожил он, пользуясь тем, что еще трезв. — Можешь, конечно, и здесь жить, но тогда деньги надо давать в общий котел. И больше, чем те пятьдесят франков в месяц, что они раньше отсылали. Потому как у тебя теперь другие запросы будут. Да и поправку на инфляцию сделать надо… Давай-ка я все-таки выпью за твои успехи. Жанна вряд ли такое потянет. Потому как не та наследственность. У нее отец — пьяница, краснодеревщик: эти все зашибают. А у тебя —

профсоюзный деятель и с заскоком, говорят. А где заскок, там и чтение-учение… — и потянулся за бутылкой.

— Наговорил, — сказала мать. — Утром сам вставай — я тебя будить не буду. Ты от абсента дураком делаешься. Еще и выпить не успел, а уже в голову ударило. А ты спрашиваешь, почему я не радуюсь, — почти упрекнула она дочку…

Робер настоял на том, чтобы они поехали в Даммари-ле-Лис: похвастаться дипломом и поблагодарить за помощь. Тут тоже все вышло не слава богу — поначалу, во всяком случае…

— Кто это?! Робер?! — вскричала бабушка Франсуаза, едва они вошли в трехэтажный дом на привокзальной улице. Рене она не заметила или сделала вид, что так. — Нет, это невозможно! Как ты нашел сюда дорогу?! Что, вообще, стряслось, что ты сюда явился?!

— Рене экзамены сдала. — Он снял котелок и положил на стол, чувствуя себя неловко.

— Ах Рене сдала экзамены?! Она разве учится?! Ты думаешь, у нас такая память, что мы все это в голове держим?!

Оказалось, отец не был в Даммари с того лета, что она провела здесь в счет испытательного срока.

— Ты думаешь, можно так обходиться с матерью?! — бушевала бабка. — Событие, видишь ли — решил навестить ее! Да что мне это событие, если у меня сына, считай, нет: я о нем справки через людей навожу, а он не удосужится даже открытку к Рождеству прислать! И на мой день рождения не явился!

— Ездил много, — повинился он.

— Да врешь ты все! Ты из дома не выходишь или из бюро своего, где черт знает чем занимаешься! Мне Люсетта все про тебя рассказала, нажаловалась: думала, повлияю я на тебя. А я, знаешь, что ей сказала?! Я тебя, милая, под венец с ним не вела и в дела ваши впутываться не буду! Она тебе этого не передавала?

— Нет. Мы с ней месяц назад расстались.

— Ага! Как раз после того, как она сюда приходила! Решила, видно, что толку все равно не будет! А его и не будет — это давно всем известно!..

Пока она отчитывала его, Рене успела обидеться и нахмуриться. Бабка это заметила.

— Ты извини меня — я рада, конечно, что ты кончила учебу свою, но это все мимо меня теперь идет, я к этому отношения своего не чувствую! Не воспринимаю! Как я могу внучке радоваться, когда у меня сына, считай, нету?! Он ведь сначала от твоей матери и от тебя ушел, потом подряд от трех бабенок: не знаю, плохие они были или хорошие, — это не важно — теперь от матери! Рекордсмен по части уходов!

— Я-то здесь при чем? — спросила Рене с дрожью в голосе.

— Не при чем — я тебя не виню, тебе так, заодно, попадает!

Рене взбунтовалась, хотя бунт ее надел на сей раз вежливую маску:

— Я, собственно, поблагодарить хотела. За деньги и за поддержку.

— Тоже, между прочим, могла б и раньше объявиться! — чувствуя фальшь в ее голосе, напала на нее бабка. — Тоже вниманием не балуешь! И у тебя открыток не нашлось? Если такая благодарная? Яблоко от яблони, говорят!

— Это яблоко тоже была от яблони, — показав на отца, съязвила Рене, и бабка невольно примолкла и призадумалась.

— Договорились! — сказала она затем. — Дальше некуда. Кто от кого упал, разбираемся… — и примолкла, не зная, как быть дальше.

Сюзанна прибежала на шум, пришла ей на помощь:

— Рене бакалавром стала? Это отметить надо! Сейчас Андре придет: я ему уже сказала — принесет что-нибудь. У меня бутылочка есть портвейна! Португальского! — пропела она, как в оперетке. — Рене нужно поздравить — сколько ж терпения надо, чтоб так выучиться! У меня б в жизни не хватило!

— Не говори. — Бабка не то надумала, как ей быть, не то вправду пожалела внучку. — Да еще при таких обстоятельствах… У тебя хоть отчим заботливый?

— Заботливый, — отвечала Рене с вызовом: она не сразу прощала обиду.

— Оно и видно, — не споря с ней, сказала проницательная бабка. — И что ты дальше делать будешь?

— Учиться на юриста.

— Ничего себе! — опешила бабка. — У такого отца да такие дети. Мы из-за тебя, Робер, семейного юриста провороним! — в последний раз выговорила она сыну. — Будем ее от дома отваживать — из-за того, что ты сюда носа не кажешь, а она, может, понадобится: они ж черт знает какие деньги заламывают за свои советы… Ладно. Идем к столу. Будешь ты юристом или нет, а бакалавр по философии — тоже не шутка. У вас в роду был хоть один?

— Нет. — Рене начала смягчаться и отогреваться.

— Так вот какая история — и у нас, оказывается, тоже не было: ты первая. Так что отметим событие. Когда Андре придет?

— Сию минуту. Хочет Рене подарить что-то. Боюсь, из чистого золота, — заговорщически зашептала она племяннице. — А я тебе пока сына своего покажу — ничего подобного ты раньше не видела! — И пропела: — Неза-быва-емое зре-лище!..

Они посмотрели ребенка, лежавшего в комнате, где жила когда-то Рене — так что Робер съежился, увидев его здесь (а бабка про себя злорадно это отметила), потом сели к столу, где Андре преподнес Рене от всего семейства тонкий витой браслет из литого золота. Была выпита бутылка португальского и затем еще пять — столового французского: бабка покупала его оптом вполцены у заезжего торговца, который продавал с тележки замечательное красное. Все были сильно навеселе, оживились, и Робер — первый среди них: он ведь, как было уже сказано, расцветал за праздничным столом и последним покидал его. Даже бабка притихла, не бранила его больше, но, улучив момент, все-таки сказала:

— А в комнату твою племянник с нянькой въехали. Одна мать не справляется, — объяснила она, но это была лишь дымовая завеса: чтоб прикрыть лобовую атаку. — Не пропадать же добру. — И Робер хоть не был с ней согласен, но смолчал, присмирел, не стал отстаивать своей собственности…

Разговора о субсидиях будущей студентке не было. Рене сама о них не просила, видя, к какой зависимости приводит иная помощь, оказываемая даже с самыми чистыми побуждениями. И отец, который привез ее сюда с тайным намерением попросить о том же, после оказанного ему приема тоже не посмел раскрыть рта — как и бороться за свою комнату: он стал в последнее время безразличнее и уступчивее. Да семья и не стала бы финансировать учебу Рене — это было у всех на лицах написано.

Рене, не имея средств, записалась, как решила, сразу в два учебных заведения: на юридический факультет Сорбонны и в Свободную школу политических наук (Ecole libre des sciences politiques), на ее дипломатическое отделение. Запись на занятия была свободной, платить надо было только за экзамены: за переход на последующие курсы — она понадеялась, что сумеет выкрутиться. Пока же она решила дать себе отпуск — перед ней был месяц свободного времени, который она, как ей казалось, заслужила всей своей предшествующей примерной жизнью и таким же поведением.

Это было неблагоразумно. Во-первых, лучше было бы, если бы она заранее позаботилась о деньгах на осень и на зиму, во-вторых, ей не удалось весело и с пользой провести отпуск. Всякий небогатый, необеспеченный человек знает, как трудно бывает ничего не делать и отдыхать по намеченному графику. Ее немногочисленные друзья, к которым она, с тем или иным основанием, относила Марсель, Летицию, Эжени, Люка, Андре, Бернара (Мишель, увы, отстал от этой компании), разъехались или были заняты своими делами и не были расположены делить с

ней свою свободу. Она увидела, что ее товарищеские и приятельские отношения основывались до сих пор на совместной учебе или комсомольской деятельности, а простых повседневных дружков или подружек, которым можно было открыть душу и провести с ними время в пустой, но иногда так необходимой болтовне, считай, вовсе не было. Париж пребывал в августовской лени: политическая борьба и та взяла перерыв и ушла на отдых. Рене решительно нечего было делать дома, а ехать в гости в Пикардию или в Даммари к Франсуазе не позволял возраст, помноженный на гордость…

Не забывал ее только Огюст Дюма: не то хотел приволокнуться за ней, не то не терял надежд заполучить в свои агентурные сети. Однажды он, в своем потрепанном морском мундире, явился к ней в Стен, вызвал на улицу и предложил прогуляться по зоопарку.

— Где?! — Рене засмеялась от неожиданности.

— В зоопарке, — повторил он. — Была когда-нибудь?

— Была раз в детстве.

— Вот. А я не был никогда. — На самом деле, как он потом признался, у него было мало денег, и он посчитал, что на посещение этого заведения их хватит, а на другое вряд ли.

— Ладно. Но надо Жанну с собой взять.

— Жанну? — засомневался он. — Это твоя сестра?

— Ну да. Я с ней сижу сегодня. Мать пошла на рынок — не знаю, когда вернется. — Она проводила теперь с Жанной много времени, это выходило само собою, и сестры в короткий срок сдружились.

— Давай и ее, — решился он. Она подумала, что он не хочет лишних свидетелей, а он просто подсчитывал наличные.

Жанна была худенькая капризная девочка, требовавшая к себе постоянного внимания и сильно испуганная пьянством отца, — хотя, пьяный, он испытывал к ней особенно сильные чувства и покрывал ее жаркими поцелуями. На новых людей Жанна смотрела косо и подозрительно, беря в этом пример с Жоржетты.

— Это мы с этим дядей пойдем? Будешь разговаривать с ним, а я сзади идти? Купите мне тогда мороженое, — потребовала она, и Огюст заколебался и снова мысленно пересчитал свои финансы.

— О чем ты думаешь? — спросила его Рене.

— Думаю о том, что всегда ошибаюсь в двух вещах.

— Каких?

— В том, когда я закончу что-нибудь и сколько оно мне обойдется.

— Насчет времени — это ясно, — успокоила его Рене. —

Зоопарк небольшой, обойти недолго. — Но ее ухажера интересовала больше другая сторона медали:

— Мне важнее второе… — Потом успокоился: — Впрочем, чем короче, тем дешевле. Обычно так.

Обычно, но не всегда. Жанна, почувствовавшая к нему неприязнь, тут же с детской проницательностью разглядела, как он жмется и дуется, когда лезет за деньгами в нагрудный карман кителя, где у него под металлической пуговицей хранились вместе и мелкая монета, и неприкосновенные ассигнации. В проклятом зоопарке было мало зверей, но целая толпа продавцов детских игрушек, сластей и прочих вещей, которые и купить-то можно только в таком окружении — в компании запертых в клетку зверей, которые смотрят на вас через решетку и напоминают вам о счастье свободы и о необходимости наслаждаться каждой минутой жизни и не жалеть ничего для своих близких.

— Купите вон ту куклу, мороженое, которое я просила, и еще большую сладкую вату, чтоб до конца хватило!

— Нет, я так не могу! — возроптал Огюст. — У меня осталась сотня на черный день, и вижу, он настал! В эти клетки надо не бедных зверей сажать, а торгашей проклятых! С их лотками вместе! — и полез отстегивать заветную пуговицу.

— Я помогу, — успокоила его Рене. — Сейчас я ей длинный леденец куплю — ей до конца хватит. — Огюст оставил карман в покое. — Сколько ты получаешь? — спросила она.

— Я говорил тебе уже. Двести франков.

— Но ты же член Центрального комитета?

— Пока что с испытательным сроком. А пока испытывают, дают старые гроши. И целый год так будет. Ладно. Что мы все о деньгах да о деньгах? Давайте веселиться. Или мы не французы?..

В веселье он оказался и вправду живее и забавнее, чем в грусти. Ему было за сорок, но он вел себя как мальчишка: дразнил хищников, перекидывал ноги через барьер — правда, замученные неволей звери отворачивались от него и им пренебрегали, — даже взялся на спор прыгнуть с пригорка выше жирафа: чтоб посмотреть, что у него между ушками. Рене он веселил, а Жанна глядела на него недоверчиво и скептично: он ее чем-то не устраивал.

— Подумаешь: с горки прыгнул! У нас мальчишки с крыши прыгают. И не снизу вверх, а сверху вниз. И конфету мне все-таки Рене купила.

— Ну и сестрица у тебя, — пожаловался он. — Я теперь понимаю, в кого ты.

— В сестру?

— В родню. У меня брат совсем другой по характеру.

— Какой?

— Миролюбивый и покладистый.

— Если б мы были мужчинами, мы б, наверно, тоже были такими. Верно, Жаннетта?

— Я б не хотела мужчиной быть, — отвечала сестра, которая и вправду недалеко упала от семейного дерева.

— Почему?

— Деньги надо тратить — на детей и на женщин. А им не хочется. Себе хотят оставить — на выпивку.

Терпение Огюста на этом кончилось.

— Все! Выкладываю последнюю сотню! Кутить так кутить! Приглашаю вас в кафе, посредине павильона с макаками! Пусть смотрят, как гуляют французы!..

Они пообедали в кафе, в которое действительно отовсюду заглядывали мартышки и вели себя при этом так непотребно, что приходилось все время пересаживать Жанну с одного кресла на другое и занавешивать окна шторами. Они прогуляли тридцать франков, причем Огюст обнаружил еще одно ценное свойство французской души, а именно — не жалеть о деньгах после того, как они истрачены. Жанна и та осталась довольна.

— Хорошо посидели, — сказала она. — Вы еще приходите. Только когда мамы не будет.

— Почему? — спросили те оба.

— Потому что вы ей не понравитесь.

— А это еще почему? — насторожился он: от Жанны можно было ждать чего угодно.

— Потому что вы для Рене слишком старый. И потом, что у вас за мундир? Вы, случайно, не пожарник?..

Огюст чертыхнулся, но проводил их до дому, и они договорились о новой встрече — уже без Жанны и с более серьезной программой. Огюст предложил посмотреть Версаль: как жили, спали и ели коронованные особы Франции. Рене в Версале не была и согласилась: в конце концов, именно так и проводят отпуск самостоятельные, закончившие школу девушки — в экскурсиях и в больших и малых путешествиях…

Они поехали в Версаль, вышли из поезда. Впереди виднелась всем известная классическая перспектива с полукружным импозантным дворцом и геометрически правильным садом.

— Я люблю здесь ходить: здесь пахнет старой Францией, — сказал Огюст с романтической приподнятостью в голосе. — Ты Францию любишь?

Рене не понимала, почему Версаль пахнет старой Францией больше, чем иные места в ней: она предпочла бы в этом смысле

деревушку в отдаленной сельской местности, но отвечала без колебаний:

— Люблю конечно.

— Вот. А она вся как бы здесь сосредоточена. Тут, в этом зале, лежала Мария Медичи, когда рожала Людовика Четырнадцатого…

Рене чуть не подпрыгнула на ходу:

— Не Мария Медичи, а Анна Австрийская! Хоть бы почитал своего однофамильца!

— Я их все время путаю, — извинился он. — Матушка его, словом.

— И не могла она здесь его рожать! — во второй раз спохватилась Рене: как в страшном сне, когда сидишь на экзаменах и говоришь помимо воли глупости — у нее бывали такие сновидения, от которых она просыпалась в холодном поту, с чувством ужаса. — Дворец построен при Луи Четырнадцатом!

Он осекся, поглядел на нее с упреком.

— Ну может быть. Я в лицее не учился, а в морском училище это проходили поверхностно… Я не про то хочу сказать. Я хочу, чтоб ты почувствовала величие старой Франции.

— А это зачем?

— Да так. Без этого нельзя. Надо оставаться собою. Но об этом после… Вот и дворец. Пойдем — тут надо осмотреть все по очереди, ничего не пропуская… — а Рене подумала, что революционеры не в первый раз уже берутся за ее воспитание: чтоб дотянуть ее до своего уровня.

В Версале была бесконечная анфилада зал с богатым убранством, в которых постоянной была только позолота, а цвет тканей, которыми были обиты стены и потолки, менялся: синий, зеленый, красный, желтый. Огюсту нравилась мебель: столы, кресла, лежанки с балдахинами — он то и дело примерял ее к своему воображаемому жилищу, мысленно садился на них и ложился. Рене же больше понравился парк с его газонами, каналами, скульптурами и фонтанами.

— Почему? — спросил он.

— Потому что парком пользовались многие, сюда ходил народ, а в твоей тронной кровати лежали только двое. Мы же с тобой социалисты.

— Не социалисты, а коммунисты, не путай, пожалуйста, — поправил он ее. — Не делай таких ошибок. Чем тебе не нравится этот столик? Подошел бы к моей комнате… Я здесь квартирку снял недалеко, в Медоне, — прибавил он. — Зайдем, когда нагуляемся?

— Снимаешь квартиру? — не споря с приглашением,

удивилась она. — Это ж недешево, наверно?

— Не я плачу, а Центральный комитет. Я там за сторожа.

— Тебе и деньги за это платят? — Она вспомнила Бернара.

— Это уж нет. Ты плохо их знаешь. Хватит того, что пользуюсь ею время от времени…

Она пошла смотреть явку Центрального комитета. Это был приятный сельский домик в стороне от больших дорог, с крохотным садом и огородом — идеальное жилье для молодой семейной парочки…

— Здесь я ем, когда приезжаю, здесь сплю, — совсем как в Версале, показывал он ей, бегая по комнате и убирая со стульев тряпки, а со стола тарелки с засохшей трапезой. — Тут печурка — подложишь уголь, всю ночь греет. Не прибрано: я давно не был, а те, что из Центрального комитета, этим не занимаются…

Наконец он сел, посмотрел на нее особенно ласково и пристально.

— Ну что, Рене?

— Не знаю, — искренне отвечала она. — Что ты мне хотел сказать про любовь к Франции? Какое она имеет ко всему этому отношение?

— Прямое… Если б тебе дали выбирать между французом и чужим, кого бы ты выбрала?

— Своего, наверно.

— Даже если этот чужой был Фантомасом?

Она изумилась:

— Кем?!

— Фантомасом. Который всегда уходит от полиции. Я тебя приревновал к нему. Поэтому и хочу увести в свою компанию.

— С чего ты взял? У меня с ним никаких отношений. Виделись — и то раз только.

— Он так тебя хвалит… И ты бы не сошлась с ним?

— Неприличный вопрос, но почему же? Сошлась бы на необитаемом острове. К англичанину и на необитаемом острове не подошла бы, — пошутила она, потом сказала серьезнее: — Шая — милый человек, но свои ближе.

— Вот это-то я и хотел от тебя услышать! Свои ближе! — и начал приставать к ней, побуждая перейти в спальню.

— Перестань! Французы лучше, но не ты же один!

— В настоящую минуту один!

— Ну значит, давай закончим ее, эту минуту! — Она выскочила из его рук. — Договорились: это больше не повторится?!.. — и ушла, сердитая, восвояси…

Но никогда не надо зарекаться. Всякое жилье притягательно помимо своих хозяев. Да и слова людей имеют самостоятельную

силу, не зависящую от того, кто их произносит.

Началась осень и с ней — долгожданные занятия в двух институтах. Сорбонну она посещала вместе с Марсель, которая тоже выбрала профессию юриста. Они сели рядом как близкие подруги, но если Рене ничем не выделялась среди заполонившей аудиторию молодежи, то Марсель с самого начала оказалась на виду: как дочь известного всей стране политического деятеля. Так вышло само собою: фамилия была у всех на слуху, а Марсель не только не скрывала своего родства, но то и дело о нем напоминала и говорила, что поступает так, борясь за признание партии, потому что отец и партия, как сиамские близнецы, неразлучны и неразделимы. Она вращалась в кругу заметных на курсе особ — чаще молодых людей, чем девушек, а к Рене возвращалась, вдоволь наговорившись или для того, чтоб наверстать упущенное и просмотреть то, что та успела записать в тетрадках: Рене вела их со свойственной ей с малых лет дотошностью. Это списывание не мешало Марсель сохранять по отношению к подруге прежний покровительственный тон и считать, что Рене все еще нуждается в некой доводке и шлифовке, что ей не хватает чего-то трудноопределимого: не то светскости, не то феминизма, входящего тогда в моду, и в любом случае — уверенности в себе и в своих суждениях. Рене все это терпела и сносила, потому что друзей, вопреки общему мнению, не выбирают и относиться к ним надо по возможности снисходительнее.

В Сорбонне была спокойная рабочая обстановка, хуже — в Политической школе. Здесь преподавали международное право и начинали предмет издалека, с античных времен и с Гуго Гроция. Вел курс профессор Блюм, лучший специалист по этому автору. Он превосходно читал лекции. Это был невысокий лысый, стареющий человек, который загорался при одном упоминании о своем любимце и готов был часами излагать его мысли, уснащая их ссылками из его книги и из использованных им авторов — из этих цитат и заимствований слагалась некая ступенчатая Вавилонская башня, лезущая головой в небо и упирающаяся ногами в землю, в основание человеческой пирамиды. Рене больше всего заинтересовало естественное право, которое существовало как бы вне человеческих законов и распространялось даже на животных: еще Плиний, оказывается, говорил, что у слонов существует нечто вроде справедливости. Мысль эта так взволновала Рене, что она готова была часами над ней думать и конечно же попыталась поделиться соображениями со своей передовой, продвинутой соседкой, но та ничего не поняла ни в Плинии, ни в Гроции и сказала только, что Маркс

вывел свои законы из экономики, а не из международного права и тем более — не из учения об инстинктах. Это было полбеды: можно было обойтись и без ее понимания — хуже было то, что лекции Блюма постоянно срывала группа фашиствующих молодчиков, которые не хотели учиться у еврея. На третьей лекции они начали стучать линейками по столам, свистеть, топать ногами, так что профессору пришлось свернуть четвертую лекцию, а пятой Рене не дождалась вовсе. Она возмущенно оглядывалась по сторонам, делала замечания хулиганам, призывала соседей к тому же, но никто не хотел вмешиваться. Гроций был им не столь интересен, как ей, а ссориться с компанией бретеров было невыгодно, потому что там были отпрыски известных семей, которым была предуготована блестящая дипломатическая карьера.

Она была вне себя от бесчинств сынков аристократов и подумывала уже над тем, чтоб позвать в Школу боевиков Дорио, но это было конечно же из области фантазий. Ей приходилось много работать. Денег не было, она почти не ела, ходила только пешком, перестала покупать книги как раз тогда, когда они стали всего нужнее, искала уроки, но это было непросто — несмотря на степень бакалавра: заботиться об этом надо было даже не перед занятиями, в августе, когда все было решено и ставки сделаны, а задолго до того, годом или двумя раньше, — чтоб теперь существовать более или менее безбедно. Кроме того, нужно было ходить еще и на улицу Мучеников и следить там за ходом дел и движением бумаг — она похудела, осунулась, стала сдавать и выбивалась из сил. В этом взвинченном, напряженном состоянии души она пошла на русский фильм, который имел вещее название: «Путевка в жизнь» и произвел на нее неизгладимое и опасное впечатление. Сюжет его всем известен, но дело было не в нем: ее потрясла улыбка старшего Баталова. Это была лукавая, призывная улыбка человека скромного и ненавязчивого, но счастливого и зовущего разделить с ним радость жизни — эмблема или символ нового света: что-то вроде ожившего и задвигавшегося по экрану серпа и молота. Иногда целый мир виден через маленькое окно — ей показалось тогда, что она увидела свет в окошке: всю Советскую Россию через одну эту улыбку. Она вспомнила еще пение казаков и решила, что если в этой стране умеют так хорошо петь и улыбаться, то, значит, и все остальное в ней должно быть так же прекрасно…

На шестой лекции профессор выглядел дряхлее прежнего, помятым и потертым. Он был бессилен опровергнуть обвинения врагов: он не отрекался от еврейства, но не мог и плюнуть им в лицо — ему не хотелось терять места, за его спиной стояли

столетия унижений и преследований, и он невольно принимал их если не за должное, то за обычное, не впервые случающееся в истории свинство. Лекцию снова сорвали — на этот раз с особенным рвением и пристрастием. Взбешенная, Рене отправилась оттуда в Сорбонну и, не говоря ни слова, потребовала от Марсель, чтобы та немедля связала ее с Дюма.

— Зачем? — спросила Марсель, потому что все хотела знать и во всем принимать участие.

— Просто так.

— Но все-таки?

Рене разозлилась.

— Тебе этого знать не надо.

— Личное что-нибудь? — догадалась Марсель, и Рене согласилась, подумав про себя, что двести франков для нее теперь настолько личное дело, что ближе и не бывает….

На встрече с Огюстом, который не заставил себя ждать, она дала согласие на участие в нелегальной работе. Огюст сказал, что немедленно передаст это по инстанции, — попросил только написать подробную автобиографию и заполнить столь же пространную анкету. Ей было семнадцать лет, она была несовершеннолетней, но этот пункт анкеты ничего не значил для ее новых работодателей.

Так из-за улыбки Баталова: той, с которой он нахлобучивает на лоб шапку — и еще из-за того, что фашиствующие студенты, приверженцы полковника Рокка, не дали ей заниматься полюбившимся ей Гуго Гроцием, да еще, конечно же, из-за нищеты, сызмала к ней приставшей, Рене перешла на подпольное положение и вскоре самым естественным образом стала рядовым Красной Армии.

21

Не прошло и трех дней после разговора с Марсель, как она увидела Огюста, поджидавшего ее у ворот Сорбонны.

— Что через Марсель не передал? — спросила она. Ее подруга задержалась в кругу умствующих и мудрствующих приятелей, и она пошла домой одна.

— Теперь она не передатчик, — сказал он. — Не почтовый ящик, как мы говорим. Надо найти какой-то другой способ вызывать друг друга. Но это потом — сейчас нас ждут люди. Очень важная встреча. Они прочли твои бумаги, остались ими довольны. За тебя Шая хлопотал — знаешь такого? — иронично спросил он.

— Знаю.

— Я знаю, что ты знаешь, — веско сказал он. — Ты только там не говори лишнего — а то можешь иной раз такое ляпнуть, что уши вянут.

Это ее не волновало: об этом еще думать, когда столько поставлено на карту.

— Кто будет? — спросила она только.

— Русский из Коминтерна, то есть поляк, — зашептал он, оборачиваясь и глядя с предосторожностью по сторонам. — Вообще-то он как будто бы Владимиров, но у нас проходит за Казимира. Шая тот же, — приревновал он (но это была ревность не любовника, а вербовщика). — Которого никто не видел, одна ты знаешь. И еще Филип, который у них как бы за главного. Хотя за ним стоят, конечно, другие… Ты не говори там про идею с письмами. Ту, что мы с тобой в прошлый раз обсуждали.

— Не прошла?

— Наоборот, прошла, мы провернем ее, но не хотим оглашать раньше времени… Так настоящую сеть можно создать. Мы немного иначе все сделаем — как, я говорить сейчас не буду, но ею можно весь флот охватить… — Он помолчал многозначительно. — Это может стать нашей козырной картой. У нас достаточно сложные отношения с русскими и с частью партийного руководства — я тебе говорил уже об этом. Русские ориентируются на Жака, а нами пренебрегают. И вообще, чересчур всем распоряжаются. Хотя у них деньги, конечно… Шая — человек Жака, — прибавил он для большей ясности и определенности.

— Кто это — мы?

— Группа товарищей, — дипломатично ответил он. — Руководители партии.

— Я в нее не вхожу?

— Нет, если б вошла, мы б тебе сказали, — отвечал он, не расслышав в ее голосе иронии. — Тебе всего знать пока не надо.

— Я и не стремлюсь к этому, — спокойно отвечала она. — Я не любопытна. Когда только я успею сегодня за римское право взяться? Там целый раздел наизусть учить надо.

— О чем? — безразлично спросил он.

— О семье, женах и конкубинках. А что?

— Ничего, но боюсь, оба института тебе, Рене, придется пока оставить. Ты еще молода — успеешь закончить. Перерыв сделай — оно и для головы полезно. И с секретарства в районе надо уходить. И сделать это хлопнув дверью.

— А это зачем?

— Ты хочешь, чтобы секретарь района коммунистической молодежи был еще и нелегалом? Чтоб нас снова обвинили в шпионстве в пользу Советского Союза? У нас были такие случаи. Разгром сети Креме знаешь?

— Слышала.

— До сих пор не можем отмыться. Из Москвы категорическое требование — не вовлекать членов Компартии в нелегальную деятельность.

— И вы не вовлекаете?

— Вовлекаем, но тут же выводим из ее членов. Так что ты и из комсомола должна уйти. Если мы сегодня поладим.

В этом была своя логика, хотя и парадоксальная. Рене вздохнула.

— А ты как же? — спросила она Огюста. — Ты же член Секретариата.

— С такими, как я, сложнее. Мы как бы связные. Сами ни во что не лезем, но все знаем и как бы ведем вас за руку. «Пасем», если на их языке говорить. — Судя по тому, как ему нравился подпольный жаргон, он сам только учился этому новому для него делу. — Но и нам лучше не попадаться. Поэтому будем соблюдать предосторожности. Вот и дом. Ты дорогу запомнила?

— Конечно.

— А адрес забудь и не смотри на него. Чтоб лишнего не запоминать: чтоб не вспомнить потом где не надо…

Они вошли в большой многоэтажный красивый дом — такой, в каком жили преуспевающие коммерсанты, которые могли себе это позволить, и артисты и всякого рода авантюристы, которые жили шире, чем разрешали их средства. Внизу была консьержка, встретившая их более чем любезно. Они сказали номер квартиры, она кивнула и назвала этаж. Они поднялись на лифте, отделанном дорогим деревом, как каюта на океанском теплоходе.

Встретил их невысокий средних лет толстяк в очках: с польским шармом и грацией в самых незначительных его движениях, делавшимися особенно заметными в обращении с девушкой. Взгляд у него был чуть рассеянный и исподволь изучающий; но он не злоупотреблял этим и старался смотреть в сторону: чтоб не смущать собеседницу. Говорил он с акцентом, но быстро и без запинок.

— Консьержка не спрашивала ни о чем?.. У меня с ней, правда, хорошие отношения… У меня с ними всегда хорошие отношения, — усмехнувшись, добавил он, беря у Рене пальто и делая это бережно и заботливо.

— Как вы этого добиваетесь? — спросил Огюст; он не хотел отставать от разговора и, сняв пальто, без приглашения вошел в гостиную. Казимира, с его церемонностью шляхтича, это покоробило, но он не подал виду.

— Да так и добиваюсь, как все. Подарки делаю да говорю приятные вещи. Шоколад помогает. А как еще с женщинами вести себя и разговаривать?.. Вы не так считаете? Вас ведь Рене зовут? — Он посмотрел на свою гостью внимательнее прежнего.

— Не знаю, — уклонилась от ответа Рене: ее заинтриговал этот человек, и интерес к необычным и одаренным людям со странной судьбой надолго задержал ее потом в разведке. — Я не ем шоколада.

— Ответ предельно ясен, хотя и зашифрован, — сказал Казимир. — Люблю ясность иносказания. Без нее в нашем деле никуда. А где Шая? — В его голосе послышалась озабоченность. — Он обычно не задерживается. А вот он… — Он открыл дверь Шае. Тот, как и в прошлый раз, был весел и подвижен, как ртуть, и круглое лицо его лучилось и щурилось в хитрой и лукавой улыбке, будто шел он не на конспиративную явку, а на свидание с женщиной. — Что задержался?

— Смотрел за консьержкой. Между парадными дверьми стоял: не будет ли звонить после вас. За вами шел, — кивнул он Огюсту и Рене.

— Мы вас не видели, — сказала Рене.

— А меня никто не видит. Прозрачный, как из целлулоида. А консьержка с телефоном — нет ничего хуже. Одной рукой вам машет вслед, другой номер набирает.

— Не звонила?

— Нет. Спросила только, не к вам ли и я тоже.

— Это потому что сразу после них. А Филип где?

— Теперь он смотрит: не звонит ли после меня. Что вы ей говорите хоть?

— Говорю, что набираю людей в колонию. В Пондишери, на

работу с каучуком. — И уточнил: — Не бойтесь: администраторами, а не сборщиками гуттаперчи. Знайте, если спросит. Объявление дал для прикрытия. Не куда-нибудь, а в «Пти-Паризьен». Приходится отвечать на телефонные звонки, когда сижу здесь. Что, слава богу, не часто бывает. Вот и Филип. У него свой ключ.

— А почему у меня нет? — пожаловался Шая. — Мне как раз такой комнаты не хватает! — и подмигнул Рене. — В ней спрятаться ничего не стоит. В этом огромном гардеробе, например. Тут для двоих уголок найдется, — и огляделся по сторонам в поисках других укромных мест, в которых можно было скрыться, если бы вдруг нагрянула полиция…

Пришел Филип, они посерьезнели. Филип вел заседание: видно, занимался бумажной стороной дела.

— У нас сегодня Рене Марсо, дочь профсоюзного деятеля и крестьянки, секретарь Коммунистической молодежи девятого района Парижа. В юношеском движении с пятнадцати лет, недавно получила степень бакалавра по философии, сейчас студентка Сорбонны и Политической школы, но хочет целиком посвятить себя боевой нелегальной борьбе с международным империализмом. Самые лучшие рекомендации от нескольких известных коммунистов — каких, не буду называть, чтоб не очень зазнавалась, — пошутил он. — А если говорить правду, то такие рекомендации не оглашаются. Так что всем нашим требованиям ты, Рене, подходишь — давай теперь тебя послушаем, что ты хочешь найти для себя в этом закрытом для других участке международного рабочего движения, который, сразу скажу тебе, опаснее всех прочих. Мы, конечно, не оставим тебя в беде, если что случится, но об этом надо знать с самого начала, да ты и сама это понимаешь. Многие из товарищей, которых, как мы говорим, посадили за антимилитаристскую деятельность, на самом деле были связаны с нами. Не все конечно, но многие.

Казимир перебил его:

— Что ты все о грустном? Совсем это не обязательно. Умный человек в их сети не попадает — погляди вон на Шаю. Чем бы ты, Рене, хотела у нас заняться?

Она не поняла:

— Есть выбор?

— Спросим, конечно, к чему у тебя душа лежит. Иначе толку не будет. Не знаешь нашей работы? Курьером можешь быть, вербовать новых сторонников, секреты воровать — к чему у тебя душа ближе?

— Там разберемся, — сказал Шая. — Что вы девушку в краску вгоняете? Такие вопросы и уголовникам не задают — каждый

выбирает по ходу дела.

— Я бы хотела, — не слушая Шаю, сказала Рене, — делать то, что не противоречит естественному праву человека.

— Ты что?! — испугался за нее Огюст. — Какие естественные права?!

— Погодите, — заинтересовался Казимир. — Она же учится на юридическом факультете Пусть объяснит — юристы-то мы не очень грамотные. Не до того — с нашими делами да занятиями.

— Естественным правом каждого является право на жизнь и свободу выбора, — сказала, как на экзамене, Рене. — Поэтому, например, вербовать я никого не буду.

— Почему? — спросил Казимир.

— Потому что каждый волен жить как хочет, и склонять человека к тому, что он считает преступлением, само по себе незаконно.

— Рене! — вскричал Огюст. — С такими мыслями здесь делать нечего!

— Да погодите вы! — сказал польский еврей, от рождения привыкший к склокам и к сварам. — А с государством можно бороться?

— Можно и нужно, — отвечала та. — Государство само ведет себя преступно.

— Теперь, кажется, начинаю понимать, — сказал Казимир, не вполне потерянный для юриспруденции. — Интерес одного человека выше государственного?

— Вот именно, — сказала Рене. — Я лучше буду курьером — для тех, кто сам решил свою судьбу. А остальных оставлю в покое. Нельзя обманывать людей — это всегда выходит боком.

— Может быть, и так, — сказал Казимир: не то всерьез, не то в поисках примирения. — На последнем процессе самое большое впечатление произвели те, кого обманом вовлекли в сбор разведывательных данных. Народу это больше всего не понравилось. Не трогайте простых людей — так сказал мне один в зале.

— Именно вам? — удивилась Рене.

— Вообще сказал, никому в частности. Я с ним вместе возмущался… А может, и мне специально, — передумал он вдруг. — Сейчас, с твоей помощью, догадался: французы бывают проницательны… Ладно, Рене. В нашем деле нужны мыслящие самостоятельные люди, имеющие свои принципы и поступающие в соответствии с тем, что считают нужным… — И прибавил с грустным польским местечковым юмором: — В России бы твоя философия не подошла: там естественное право не в почете, а здесь — давай, действуй!.. — И те двое, Филип и Шая,

одобрительно переглянулись. — Курьером так курьером. Вербовщиком тебе действительно быть не надо. Для этого есть другие … Будешь деньги получать, — прибавил он тоном посуше. — Пятьсот франков — немного, конечно, но столько получает рядовой Красной Армии: во всяком случае, на французской территории. А командировочные, дополнительные расходы они будут оплачивать, — и указал на Шаю и Филипа. — Связь пока через Огюста, он при необходимости свяжет с Шаей и обратно. Что, отпустим их?

— Вроде так, — сказал Филип и задвигался на своем стуле: был доволен исходом дела. — Нам тут еще кое с чем разобраться надо…

Огюст понял, что от него с Рене хотят отделаться. Это не входило в его планы.

— Казимир, а как быть с выгнанными моряками? Мы это дело провернуть хотим.

Казимир посуровел.

— Так где ж оно? Я давно о нем слышу — и никакого движения… Вы сказали о нем Барбе, тот был в Москве и о нем даже не заикнулся … — Он смотрел жестко и выразительно. — Где они, эти списки? Кому вообще эта мысль в голову пришла? Я прежде всего этого не понял. Вам?

— Ей, — вынужден был сказать Огюст: ему не хотелось врать при девушке.

— Ей?! — поразился Казимир. — А с каких это пор она посвящена в такие дела?

— Дела еще не было. Она в разговоре придумала.

— С ее отношением к естественному праву? — и Казимир перевел взгляд на Рене, пытливый и недоумевающий.

— Сама потом пожалела, — призналась та. — Меня спросили, как лучше сделать, я и сказала. Не подумавши.

— Не подумавши, — проворчал Казимир. — Вы интригуете, — сказал он Огюсту. — Да еще Рене впутываете… А нам дело нужно, а не интриги. — И Огюст помрачнел и не нашелся с ответом.

Шая сменил тему разговора: он не любил безвыходных положений — поэтому его и не могла поймать полиция.

— Я тебе адрес дам для начала, — пообещал он Рене: будто сулил ей золотые горы. — Связь одну обеспечь. У парня ценные документы на руках, горит желанием передать их, а мои растяпы не могут до него добраться. Один сунулся — прямо в ворота базы, где он служит, — так его чуть не взяли. Сказал, что заблудился.

— И отпустили? — не поверил Казимир.

— «Отпустили!» Сотню франков сунул — только после этого.

Пришлось изымать из непредвиденных расходов. Это в Алжире, Рене. Поедешь? Наш департамент, французский. — Последнее слово он произнес с легкой иронией инородца.

— Поеду, конечно.

— И бумаги привезешь?

— Привезу.

— Может, скажешь как?

— Зачем раньше времени? Может, все будет иначе. Не так, как я думаю.

— Может, все будет иначе, — повторил Шая, запоминая. — Золотые слова. Их бы где-нибудь на видном месте вывесить… Не попадайся только с этими бумагами. И не смотри, что в них. В нашем деле, чем меньше знаешь, тем лучше. Приходи завтра к отцу — я дам все, что нужно.

— А здесь нельзя? — спросил Казимир.

— Здесь народу слишком много, — сказал Шая. — Вы, шеф, начинаете забывать азы конспирации.

— А у него надежно?

— Для нее безусловно. Она ж у себя дома будет. А я как-нибудь пристроюсь. У него там роскошный черный ход с видом на помойку…

Они вышли с Огюстом на улицу.

— Договорились? — спросила их консьержка.

— О чем? — спросил Огюст, а Рене дернула его за рукав и сказала:

— Договорились.

— Но это далеко же очень? — Консьержке, умасленной квартиросъемщиком, хотелось услужить его гостям.

— Далеко, конечно, но условия приличные.

— Это главное, — согласилась та. — Сейчас такая жизнь, что на край света поедешь, чтоб заработать. Но говорят, это трудная работа — сбор каучука.

— Мы не сами собирать будем. Едем клерками и администраторами.

— Администраторами легче, — признала она и отпустила их со спокойной совестью: удовлетворила потребность в общении, которого, как ни странно, на этом бойком месте ей было недостаточно…

— Ты прирожденная разведчица, — сказал Огюст.

— А ты кто? — Она была недовольна его похвалою.

— А я так, любитель. Везде и во всем. Может, зайдем в кафе, обмоем это дело?

— Да нет уж. Мне в бюро нужно… Какими глазами я на своих товарищей смотреть буду, не знаешь?

— Это важно? — спросил он.

— Для меня очень, — сказала она. — И вообще — во всем нужно разобраться — прежде чем обмывать. На это всей жизни, кажется, не хватит… — предрекла она, и они расстались…

Шая встретил ее у отца, рассказал, как и куда ехать, назначил срок поездки.

— Связь мы с тобой иначе будем осуществлять. Не через Огюста. Он слишком болтает… Удивляюсь, как он вообще на тебя вышел. Обычно мы его ни во что не посвящаем. Не знаешь?.. — Рене знала, но промолчала. — Не хочешь говорить? Это не положено… Но на первый раз прощается. Тем более что ситуация деликатная: он, как-никак, отвечает за нас в руководстве… — Это он произнес со свойственной ему насмешливостью и дал затем телефоны для связи. — Прочти и верни — я сожгу: чтоб глаза не мозолили… Запомнишь? — с сомнением спросил он.

— После римского права? — и процитировала ему на латыни законы из Двенадцати таблиц — к сожалению, не успела пойти дальше. Но Шае и этого было достаточно.

— О господи! Говорил мне отец: «Учи науку, по наследству ее не получишь». Он у меня был, считай, неграмотный. Год в хедере учился. Когда ж ты все это выучила?.. — и поглядел на нее с одному ему понятным сожалением…

В прихожей дожидался Робер: знал, что ему не следует присутствовать при их разговоре. Рене вдруг поглядела на него с болью и сочувствием. Отец за последнее время стал каким-то безвольным и безразличным, взгляд его потускнел, лицо поблекло, сам он пообносился, брюки были с бахромою. Шая тоже учуял неладное:

— Ты что, Робер? Плохо себя чувствуешь?

— Да нет… Денег с тебя не мешало бы взять.

— За что? — удивился Шая.

— Все за то же. За аренду помещения, — сказал он: так же упрямо настаивая, как совсем недавно отказывался.

— Ты же не хотел брать?

— Так пока жена была, можно было…

— А теперь подруги — от них не отвертишься?.. — Шая глянул проницательно, Робер отмолчался. — Не знаю. Я предлагал в прошлый раз — тогда у меня были на то полномочия. Теперь снова надо спрашивать. Это ж не мои деньги… — Робер не стал спорить, удалился с достойным видом, а Шая вдруг спросил ни с того ни с сего, ни к кому не обращаясь: — Или он за тебя компенсацию решил взять?.. Извини, Рене, на этом свете чего только не насмотришься. До сих пор же отказывался…

Ее произвели в рядовые Красной Армии, и она стала получать

пятьсот франков в месяц: ее оценили дороже Огюста, поскольку она стала агентурным работником. Когда она принесла их в первый раз домой, мать им очень обрадовалась: отчима за его прежние заслуги с фабрики не выгоняли, но зарабатывал он мало и, главное, все пропивал — накопились долги, они жили теперь на ее солдатское жалование. Рене говорила, что деньги частично идут от семьи отца, частично — это плата за уроки. Мать, зная Робера и его семью, плохо в это верила, да и отчим относился скептически к ее объяснениям, подозревая что-то иное, но вслух ни тот, ни другая сомнений не высказывали: это было не в их интересах, она кормила теперь их семейство.

22

Ни при первом ее путешествии, ни во всех подобных последующих не было ни одного случая, чтобы те, кто их готовил, не допустил промахов, ставивших под угрозу как само предприятие, так и его исполнителя. Так было и позже, когда подготовкой занимались целые отделы, так, тем более, теперь, когда все делал Шая, знавший, как скрыться от полиции, но не умевший прятать от нее других: это разные искусства, требующие каждое своих мастеров и навыков.

До Марселя она доехала на поезде с удобствами. Поездка заняла чуть более суток, и к следующему полудню она была в старом порту, где синяя вода прямоугольной гавани пересекается в разных направлениях белыми треугольными парусами яхт, причаленных к берегу или движущихся в направлении моря и обратно. Пароход Компании морских перевозок, как и сказал Шая, отходил через час. Хорошо, что она прибыла раньше, а не обратилась в последний момент в кассу: ей бы не продали билета как несовершеннолетней. Она узнала об этом случайно: разговорилась с пассажиркой, едущей тем же рейсом. Насколько немногословна и неразговорчива была Рене в прежней, мирской, жизни, настолько общительной сделалась теперь: ее словно подменили, она поняла, что настало время говорить и спрашивать. Что делать? Она узнала, что пароход, прежде чем взять курс в открытое море, сделает заход в Тулон, где доберет пассажиров, и решила этим воспользоваться. Кассир недоверчиво осмотрел ее свидетельство о рождении, отказался продать билет до Алжира, но она упросила дать его до Тулона, где у нее будто бы заболел дедушка.

— До Тулона дам, — не сразу, но решился он. — Каким классом?

— Последним, конечно. Зачем тратиться на час дороги?

— Не час, а два, и не последним, не с эмигрантами, а третьим, так ведь?

— Так.

— Вот. Если б моя дочка была такой же благоразумной, я бы спал спокойно. А с моей меня страшные сны мучают, — пожаловался он и дал ей билет до Тулона.

Она прошла на пароход и осмотрелась — как делают это все первый раз путешествующие на море, но задача ее, в отличие от них, заключалась в том, чтоб найти место для ночевки. Пароход был огромный, его каюты и залы для пассажиров распределялись таким образом, что богатая публика первого и второго классов

помещалась в кабинах спереди, а бедная — сзади, возле машин, которые пока что бесшумно и лениво перебирали колесами, но знающие люди сказали ей, что нет такого шторма, который бы перекрыл рев действующего машинного отделения. Третий класс располагался в салонах: отдельных для мужчин и для женщин — в них ночью навешивались гамаки и ставились койки, но эти скопления людей показались ей ловушками, где спальные места были пронумерованы и предназначены для поимки таких, как она, «зайцев». Поэтому она стала присматриваться к площадкам, огороженным для эмигрантов, — тоже, слава богу, раздельным. Они представились ей более безопасными — но там, за полчаса до отбытия, все было поделено, разграничено и впритык застелено разноцветными лоскутными одеялами — стояли даже бедуинские палатки: их хозяева возвращались домой после кочевки во Францию. Соваться туда было опасно: отогнали бы, как чужую собаку, и подняли шум, от которого бы ей не поздоровилось. Поэтому она решила дождаться Тулона и ночи — а там будь что будет.

До Тулона она просидела в баре: это был все-таки ее первый морской вояж, и она позволила себе кое-какие вольности — а именно ситро, оказавшееся невероятно вкусным, и мороженое: тоже, как она сказала себе, хорошего качества. В Тулоне она начала волноваться. К счастью, того, чего она боялась больше всего: поголовной проверки документов, — не было; кто-то из команды стремительно прошел по палубе, объявил остановку и спросил, все ли готовы выйти, потому что потом такой возможности не будет и возвращаться придется уже из Алжира. Он миновал и бар — она в это время с особенным пристрастием изучала дно стакана с мороженым, и офицер конечно же не обратил на нее внимания. Пароход наскоро принял новых пассажиров, развернулся, отошел от Тулона и взял курс на юг, к берегам Африки.

Впереди были сутки ходу. Пароход был новый, с мощными двигателями, делал пятнадцать-двадцать узлов в час, а от Марселя до Алжира семьсот пятьдесят километров. Никто по-прежнему не следил за пассажирами и не проверял билетов — видимо, все должно было решиться ночью. Чтобы скоротать время, она попробовала завести разговор со сверстницами из первого класса, но матери тут же отозвали дочек и начали выспрашивать у них, кто эта случайная попутчица: буржуазия, как известно, сама оберегает себя, если полиция не выполняет своих обязанностей. А может, они сами были любопытны и им тоже недоставало развлечений. Рене не рискнула знакомиться с матерьми, крикнула девочкам, что идет к родителям, и

направилась к салону третьего класса. Это все прояснило и расставило по местам.

— Видишь, она из третьего класса, — сказали мамаши дочкам. — Всем хочется поговорить с кем-нибудь из первого. Будто мы какие-то особенные…

На подходе к третьему классу стояли спасательные шлюпки, прикрытые брезентом. Рене как бы из любопытства заглянула в одну из них. Там можно было свернуться клубком и спрятаться. Она, однако, не научилась еще чувствовать спиной опасность. Какой-то добродушный матрос выплыл из мертвого пространства позади нее и заглянул вместе с ней в шлюпку:

— Смотришь, выдержит ли тебя?

— Ну да. Сколько сюда влезет, если тонуть будем?

Он построжел: суеверные матросы не любят подобных разговоров.

— Все кому надо, а вы в первую очередь. Давай вали отсюда. Любопытна слишком… — И ей пришлось ретироваться.

Хотелось есть. Для ресторана у нее не было денег — да она бы и обратила на себя внимание: если б села за столик. Есть на ходу тоже было рискованно: все ели или за столом или в семейном кругу, устроив себе нечто вроде пикника под тентами или козырьками верхних палуб. Она снова пошла к эмигрантам. Там было жарко, душно и стоял невероятный грохот от машин, которые здесь были совсем рядом. Она повернула назад. Еще немного, и на ее курсирование из конца в конец парохода должны были обратить внимание. Делать было нечего, оставалось ждать чуда, но когда его сильно ждешь, оно в самом деле случается.

В отстойнике для женщин-эмигранток, в спертом, зловонном, душном воздухе, накалившемся от прямого солнца и вибрирующем от махового движения гигантских колес, от этого земного ада, у одной из арабок начался припадок с бессвязным криком и столь же бессмысленными телодвижениями: она рвалась из рук родных, извивалась, как большая ящерица, билась головой о палубу и кусала губы до крови. Рене поняла, что пробил ее час. Она назвалась студенткой-медичкой, подскочила к припадочной, стала уговаривать, удерживать и упрашивать ее, так что ее родственники, пришедшие в ужас от происходящего и боявшиеся, что их выбросят за борт вместе с одержимой, успокоились и даже стали относиться к ее безумству как к болезни: раз ею занялся доктор, — а не как к бесовской пляске, как они сами вначале думали. Отныне Рене была при деле, а действующий человек порождает куда меньше подозрений, чем бездеятельный, — он их просто не вызывает. На пароходе началась тревога: и до первых классов дошли ее смутные

отголоски, в третьем же царила паника: арабы боялись психической заразы — того, что с ними в жаре и шуме случится то же самое. Больную изолировали в медицинской каюте, и Рене неотступно смотрела за нею. Старания ее были приняты с благодарностью. Пароходный доктор, в мундире, со шкиперской бородкой, если что когда и знал, то давно забыл и был рад любому совету и, тем более, помощи. Из подходящих лекарств у него был только бром — зато в преогромном количестве; он прочел надпись на этикетке с помощью Рене: она хорошо знала латынь, из которой он помнил лишь «мисце, да, сигна» («Смешай, выдай, обозначь.» Примеч. авт.) Вдвоем они выдали больной около полулитра четырехпроцентного брома, после чего та мирно заснула: здоровью ее отныне ничто не грозило. Врач был в восторге от Рене и от успеха их лечения. Он предложил ей отправить больную назад в эмигрантский отсек и посидеть с ним наедине, но Рене отсоветовала ему делать это: вдруг все начнется снова — он послушался, потому что по складу своему был склонен к подчинению. Рене попросила поесть — он ушел и принес из камбуза котелок, которого хватило бы на четверых матросов с избытком.

Рене дождалась глубокого вечера: на море быстро темнеет — и повела больную, шатающуюся от избыточной дозы брома, к родственникам. Она отказалась от гостеприимства доктора и сказала, что пойдет спать в каюту второго класса. На деле она провела ночь в семье больной, где к ней отнеслись как к принцессе берберского племени: отец вышел из палатки, и она заночевала в ней: на ковре, укрытая одеялом и со всех сторон подоткнутая подушками. Ночь была свежа, и эти предосторожности оказались нелишними.

Утром никому в голову не пришло проверять билеты на выходе — все с нетерпением ждали города. Алжир вскоре показался впереди, на курсе: широкая подкова из европейских домов и улиц, окруженная по бокам серо-желтыми песками и дюнами побережья, а сверху и снизу — какой-то особенно чистой, бездонной голубизной неба и моря: пестрый, телесного цвета моллюск, стиснутый сверху и снизу полукружными синими раковинами.

Пассажиры вышли толпой на берег. Арабы чинно распрощались со своей спасительницей: они спешили в горную часть Алжира. Пароходный доктор подошел к ней.

— Где вы были? Я везде искал вас … — И ей пришлось дать ему понять, что его любопытство не вполне прилично. Он обиделся, запоздало приревновал ее, назвал сквозь зубы шлюхой и оставил в покое. У него, как он думал в эту минуту, были самые

серьезные намерения на ее счет — поэтому он и счел себя вправе обозвать ее таким образом…

Она была в Алжире. Было два часа дня. Ей нужно было попасть в городок Джемму. До него было пять километров и шел автобус: если верить Шае и его клочку бумаги. Автобусная остановка была в дальнем пригороде. Она прошла через старую арабскую часть Алжира, где вместо улиц были узкие крутые лесенки, по которым могли забраться только ослы и люди, дошла до окраины города, за которой тянулась сухая степь, ничем не отличимая от пустыни. Автобус оказался перестроенным автомобилем со снесенным верхом и со стоящими в ряд дощатыми сидениями, так что никто не смог бы угадать, какой модели он принадлежал изначально; он не отправился в путь, пока не заполнился людьми до отказа. Так или иначе, но она добралась до Джемму. Это был военный городок, главным украшением которого была высокая железная решетка вокруг военной части. У ворот стоял часовой, тут же по соседству — окно для справок. У нее хватило ума назвать себя невестой рядового. За перегородкой сидел усатый рослый сержант: в первую минуту он показался ей любезным, в следующую вежливость его обернулась наглостью.

— У вас есть разрешение на свидание? — спросил он.

— Нет, я только что приехала. — Тут-то он и переменился:

— Оставьте заявление и приезжайте, когда вызовут.

— Когда?

— Может, через две недели, может — никогда. Как вести себя будет. Вот если вы б были проституткой, тогда другое дело!.. — неожиданно прибавил он и засмеялся — вместе с молчаливым напарником, который сидел рядом.

Ей бы обидеться за себя и за всех невест Франции, но ей было не до этого.

— Вы шутите, конечно, — сказала она. — А мне нужно сегодня же с ним повидаться.

— Только по разрешению капитана! — повторил он, и в голосе его зазвенели медь и железо армии, после чего окошко с шумом захлопнулось: видно, она не приглянулась ему своим ученым видом и педантической назойливостью.

На площади перед воротами ходил армейский патруль, вокруг были дома, лавки — среди них должна была быть гостиница, о которой сообщал ее предшественник, любивший ездить с удобствами.

Гостиницу она нашла быстро. Хозяиномь ее был загоревший до черноты испанец: она поняла это по обрывкам фраз, которыми он обменялся с работником. Ему было около пятидесяти —

возраст внушил ей спокойствие, но приветливым его назвать было трудно: говорил он с привычным и застарелым ожесточением.

— Не пустите меня переночевать?

— На сколько?

— На ночь. Завтра к капитану пойду — просить о свидании с солдатом. Я его невеста.

Он поглядел испытующе, поверил ей, спросил на всякий случай:

— Совершеннолетняя? Документы есть?

— Нет. То есть документы есть, — и полезла за ними в сумочку, с которой не расставалась. — Но мне нет еще восемнадцати.

— И не доставай. Несовершеннолетнюю не возьму. — Это было второе упущение Шаи — не менее опасное, чем первое.

— Куда ж мне деться?

— Туда, откуда приехала. Тут военная зона: видишь, патрули ходят. Найдут тебя, так меня взгреют, что не откупишься. Поезжай в Алжир — пока автобус не уехал.

— Возьмите хоть до утра посудомойкой.

— Зачем? — Он присмотрелся к ней, думая, что она предлагает ему нечто иное, отказался: — Езжай. Мне эти торги надоели. Зачем? Вечером целая орава понаедет — не буду знать, куда от нее деться. Жену не могу привезти: неприличное заведение стало. А оно всегда так и было. Армия не может без этого… — и, произнеся эти непонятные слова, ушел во двор своего заведения.

Она пошевелила мозгами и сообразила, что к чему. Это было второе указание оракула, но на подобное перевоплощение ей надо было еще решиться и не влипнуть при этом в историю. Пока что нужно было вернуться в Алжир: в этом малолюдном месте ничего не стоило привлечь к себе внимание — хотя бы из-за скуки, которая одолевала патрульных посреди пустой площади. Она уехала в том же тряском вездеходе, что и приехала сюда, и пошла к морю — снова через старую часть города. Положение ее было безвыходно, но философия, которую она только что сдала, учила ее, что таких положений в действительности не бывает: безнадежность — в нашем воображении, а в жизни полно потайных дверей: их надо только найти и — не взломать — а, смазав, тихонечко открыть, чтоб не скрипнули. Она увидела баню и пошла прежде всего туда: смыть с себя двухдневный пот и пыль, налипшие на нее на пароходе и в Алжире. Она заказала отдельный номер: несовершеннолетних туда, слава богу, еще пускали — растянулась во весь рост в теплой ванне и заставила

себя расслабиться. Мысли ее сами собой выстроились в ряд и приняли верный оборот. У нее была зацепка. Надо было искать проституток: они наверняка собирались в Алжире — и ехать с ними, представившись невестой солдата, которой не дают свидания: слово «невеста» священно для всякой девушки. В конце концов, в достижении своих целей она уже не раз прибегала к помощи уголовного мира, и ничего страшного в этом не было: никто не посягал на нее — это были такие же люди, как она, только с другого берега жизни…

Пока она растягивалась в горячей бане, стемнело. На улицу вышли девушки, стоявшие в тени домов и в дверях кафе в ожидании клиентов. Она стала подходить к ним: как делают это неопытные молодые люди в поисках временной подруги, — от нее шарахались, не понимая, чего она хочет, или подозревая нечто особенное. «Проходи, проходи!»— слышала она от каждой второй и не могла объяснить им, чего хочет: здесь плохо знали французский — для уличной торговли было достаточно двух-трех знаков и столько же чисел. Наконец она набрела на более приветливую особу, которая от нечего делать заинтересовалась ею и поняла, что ей нужно.

— Джемму? Кто туда едет — не знаешь, Фатима?

Фатима, стоявшая рядом, мельком глянула на предполагаемую конкурентку, проворчала:

— Кого везут, тот и едет… Саида надо спросить. Хочешь к ним присоединиться? Там без тебя много желающих.

Фатима слишком хорошо говорила по-французски, и сама ирония ее звучала по-марсельски.

— Да нет. У нее там парень служит. Повидаться хочет.

— Зачем? — пренебрежительно сказала та, но подошла ближе. — Посмотрела бы ты здесь на них — больше б не приезжала.

— Я люблю его, — сказала Рене с чувством.

Фатима насмешливо глянула на нее, но любовь — это вторая после свадьбы священная дойная корова для всякой нормальной девушки.

— Поговорю с Саидом, — обещала она. — Идти надо для этого. Он в кафе сидит, в кости режется. Просаживает все, что с нас собирает. Тоже вот — на кой с ним связались?

— Я постою, — сказала первая.

— А если снимут? Кто место стеречь будет? Не она же?..

Все, однако, кончилось благополучно, никто никого не снял, и через час Рене болталась в набитом до отказа девушками автомобиле, таком же необъезженном и тряском, как и первый. Девушки гоготали, толкали и щипали друг друга: предстоящая

встреча с солдатами возбуждала их — несмотря на их профессию и на отвращение к любви, которое они должны были испытывать. Рене они словно не замечали. Они приехали в ту же гостиницу. Хозяин-испанец разместил девушек на первом этаже, в чуланах и подсобках, и велел до поры до времени не высовываться.

— Господи! Это ты опять? — только и сказал он, увидев дневную гостью. Рене пошла на обдуманную по дороге хитрость: заговорила с ним на ломаном испанском и довольно бойко произнесла приготовленные заранее фразы: по-немецки она говорила свободно, на испанском хуже. Но хозяину было достаточно и этого: на его языке в Алжире почти не говорили.

— Откуда ты испанский знаешь? — удивился он. — И что раньше не сказала? Я б тебя устроил — не пришлось бы с этими шалавами договариваться. Откуда ты?

— Из Тарба. Верхние Пиренеи, — соврала она. — У нас там говорят по-испански.

— Я знаю! Пиренеи! — вздохнул он. — Когда я их увижу? И парень твой оттуда?

— Парень из других мест, — без запинки солгала она и прибавила загадочно: — Познакомились случайно.

— Любовь с первого взгляда? Так у меня и с женой было. Она андалусийка, а я из Сарагоссы. От вас недалеко. Что ж делать-то?

— Они обещали мне его вызвать. Через первого, кто придет.

Хозяин покачал головой:

— Ну и ну! На что только любовь не идет? У тебя наша кровь — южная. Ладно. Пока что я тебя хоть не с ними, не в хлеву этом, поселю, а на этаже, где у меня приличная публика ночует. Только ты уж извини, утром я тебя с ними выпровожу. Потому как в самом деле нельзя. У меня здесь не полиция даже, а военная администрация. С теми все ясно: деньги берут, а эти — как найдет на них, упрутся иной раз, как ослы. Уже и деньги не нужны, до того заупрямятся. Сколько ни имею дела с военными — что им надо, понять не могу.

— Проституток пускают, а невест нет, — в тон ему пожаловалась она.

— Это-то как раз понятно! — возразил он. — От невест они тосковать начинают, в петлю лезут, а от девок им только веселей служится.

Ее покоробила эта мужская логика, но она не подала виду.

— Сколько я вам должна? За номер.

— Да ничего ты не должна. Буду я с любовников деньги брать? Жене бы тебя показать, да, видно, в другой раз. Когда снова приедешь. Я тебя тогда у себя в Алжире поселю. У меня там квартира, а не как здесь — бордель армейский…

Гостиница, как все типичные арабские дома, состояла из двора, окруженного со всех сторон двухэтажным, квадратным в плане строением. На первом этаже («ре д'шоссе» по-французски) были вспомогательные помещения и удобства — туда и попали наши веселые девушки; на втором — галерея из более приличных комнат, соединенных между собой коридором, обнесенным деревянною решеткой. Хозяин дал ей чистую ухоженную комнатку в конце коридора (чтоб не маячила у всех на виду) с видом на три серебристых оливковых дерева под окнами: других деревьев здесь не сажали. Она села и стала смотреть в окно. Одна из девушек с первого этажа вошла к ней, забралась без стеснения с ногами в плетеное кресло, и Рене, по-крестьянски чопорная, отметила это про себя с неодобрением. Алжирка хорошо говорила по-французски: поэтому ее к ней и прислали.

— Хорошо у тебя как. Будто ждешь полковника.

— Я жениха жду, — сказала Рене ей в отместку.

— Да я знаю. Поэтому и пришла. Тебе придется дать. Там три франка на выходе платят и пять франков сержанту. Он столько же, сколько я, получает. — Рене, не говоря ни слова, полезла в туфлю, в которой держала сбережения. — В туфле держишь? Это правильно: мы тоже так. Только туфли другие надо — чтоб не соскакивали, — и оглядела Рене с головы до ног. — Это ты в таком виде приехала? И на пароходе так ночевала? — На Рене была белая, сильно помятая блузка и длинная черная юбка. — Кто тебя провожал сюда вообще?

— Никто. Сама. — Тут Рене сказала правду: Шая до таких мелочей не опускался. Она подала требуемые деньги. Девушка спрятала их во внутреннем кармане шаровар.

— Завтра на рынок пойдешь и такие же, как у меня, шальвары купишь. И красную кофточку: чтоб не пачкалась.

— Да я вообще, боюсь, отсюда не уеду. — Рене решила, что одно дело сделано, — надо думать о следующем.

— Это почему?

— Я несовершеннолетняя, мне в Марселе билет дали только до Тулона. А дальше зайцем ехала.

— Дадут! — уверенно пообещала та. — Нам это тоже говорят, а мы им: кому там нужны совершеннолетние? Деньги надо сунуть, короче говоря.

— Сколько?

— Десятки хватит. Надо только тебя подкрасить будет. А то ты на какую-то институтку похожа. Хочешь, сейчас размалюю? Хотя у тебя жених: еще выгонит. Как его найти, кстати говоря? Я первого ж пошлю, кто с меня слезет.

— Бернар Бегу.

— Как он выглядит хоть? Этот Бернар Бегу твой!

Рене замешкалась: ей забыли сказать, как выглядит жених.

— В первом батальоне. Высокий.

— Ну а еще что? Кроме того, что высокий.

— Красивый. Что я тебе еще могу сказать. Курчавый.

— Курчавым он дома был — здесь обрили. Ладно. По фамилии найдем. Когда мазаться будем? Сразу, как уйдет?

— Завтра. Надо еще с хозяином распрощаться. Он обещал в следующий раз к себе взять.

— Да уж: если покрашу, не захочет.

— В машине, — решила Рене. — Я с вами отсюда поеду. Рано утром.

— В машине трясти будет, не знаю, что получится. Как хоть звать тебя?

— Марией.

— Магдалиной? Ладно. Занятно с тобой. Какая-то ты необычная, — и, сделав это проницательное заключение, девушка легко соскочила с кресла и сбежала вниз, где ждали вечерних посетителей…

Бернар Бегу оказался невысоким — ниже не бывает, — наголо обритым парнем, с вытаращенными глазами и с обиженной физиономией. Он кипел от злости на начальство, на судьбу, отправившую его в это пекло, и на сержанта, который взял с него пять франков за свидание с невестой.

— Он же не знал, что я невеста? — вступилась за сержанта Рене: она и здесь стояла за справедливость.

— Ну да не знал! Весь полк в курсе! Невеста под видом шлюхи приехала! Засмеют теперь. Я ему говорю: какие ж деньги, когда своя приехала, — а он мне: а мне какое дело? Я, говорит, твою кралю в окошке видел! Вот гад! На — тут чертежи, ценные очень. Мы танк ремонтировали: меня в ремонтные мастерские сунули, потому что я, видишь ли, им строй порчу. Не той ногой хожу, и глаза из шеренги вываливаются. Вот я им и покажу, как у меня глаза вываливаются! Новые чертежи охраняют, как сокровище какое, а что в ремонт идет, им уже и не нужно. Идиоты!

Рене испугалась чрезмерного шума: он был слишком громогласен.

— Говори шепотом… Если проверять будут, меня Марией звать. Родом из Тарба. Ты, кстати, откуда?

— Из Лиона. Кто тебя проверять здесь будет?.. И как это я с тобой познакомиться мог, в Тарбе этом?

— Так уж вышло.

— Никто в наших местах на стороне не женится.

— Ну сделай для меня исключение, — пошутила она, а он понял ее превратно, по-своему, и недоверчиво на нее уставился:

— Прямо здесь?

Она опешила от такой дерзости.

— Нет, потом когда-нибудь. Когда из армии вернешься… Сейчас я думать буду, куда твои чертежи деть. В чем ты их принес?

— В рукав засунул.

— И я тоже так сделаю, — и заложила чертежи в рукава кофты.

Он все медлил и мешкал.

— Слушай, но как же так? Я пять франков заплатил, у меня все кипит внутри… Дай хоть денег, я к этим пойду.

— Прямо от меня?

— А что? Наши так делают. Не хотят своих девок портить. Дашь?

— Дам. Сколько?

— Десять, наверно.

— Они говорили, пять.

— Ну пять. Хотя чертежи больше стоят… Я думал, может, сразу двоих взять…

Она дала ему десять франков и вписала их в тетрадь: чтоб не запутаться в расчетах…

Утром в машине над ней потешались:

— Высокий! Ты что, лежала только с ним, что не разглядела? И красивый! Страшнее не бывает. Глаза как вылупит! — Одна из девушек узнала его лучше других и смеялась поэтому громче прочих. Впрочем, ее веселость не заражала подруг: девушки больше всего на свете хотели спать и мужчины не только не интересовали их, но, полагали они, лучше бы их вообще на свете не было.

— Давай я тебе макияж сделаю, — сказала та, что приходила вечером: она была бойчее и наблюдательнее прочих. — А то, гляжу, совсем закисла. Поругалась со своим, что он сразу к Зулейке побежал?

— Поругалась, — честно призналась Рене.

— Из-за чего?

— Все из-за того же. Столько не виделись, а ему только это и надо.

— Врешь ты все, — сказала она, — а зачем, не знаю. Кто из-за таких пустяков ссорится? И разве так ссору с женихом переживают? Ладно, давай я тебя разукрашу, чтоб к тебе вопросов больше не было, — и достав из глубоких карманов румяна и белила, начала приводить лицо Рене в соответствие с правилами

ее новой профессии. Машину трясло, рука гримерши дрожала — вышло в итоге нечто похожее на павлиний глаз или на разрисованного боевыми красками индейца. — Вот теперь порядок, — сказала она. — Теперь к тебе никто приставать не будет.

Девушки дали ей из своих запасов старые шаровары и кофточку — так что не пришлось даже заезжать на рынок — и заставили водителя довезти ее до порта, а там передали знакомым, направлявшимся во Францию. Ее приняли, не задавая лишних вопросов и не отягощая себя лишними о ней заботами. Одна из девушек взяла билеты на всех: она знала кассира и зашла к нему с заднего входа — потом все гуськом, провожаемые игривыми взглядами членов команды, проследовали на пароход и расположились в зоне для эмигрантов, вдоль борта, где было удобнее спать и где никто не наступал на тебя, отправляясь на прогулку к местам общего пользования. Во время плавания девушки вели себя безупречно, и когда кто-нибудь заигрывал с ними, отвечали примерно так:

— Иди иди! Мы не на работе. Ступай к порядочным: это они когда попало трахаются, а мы девушки честные, даем только на работе…

Она обернулась в Марсель и обратно за пять дней. Шая вытаращил на нее глаза, когда она вынырнула на одной из явок.

— Уже?! Пустая, наверно?

— Почему? — и подала чертежи танка.

— Ничего не понимаю! И сколько это все стоило?

— Сто двадцать восемь франков.

— Всего?! Да туда одна дорога двести.

— Это когда совершеннолетние билеты берут, а у несовершеннолетних все иначе, — и рассказала ему о своих злоключениях. Он схватился за голову, не зная, как извиняться перед ней, но просмотрел все-таки тетрадь расходов.

— А это что за тринадцать франков?

— За любовь.

— Какую? Чью? — не понял он и глянул подозрительно.

— Бернара с проституткой. И сержанту надо было отстегнуть, — и рассказала ему еще и эту эпопею, после которой он застыл за столом, закрыл голову ладонями и скорчил невообразимую мину: он был экспансивен и, когда у него не хватало слов, обращался к языку жестов.

— Ох уж эти католики! — сказал он только. — Доведете меня до колики!.. А что у тебя в руке? — Теперь, когда она отдала ему папку с чертежами, он увидел лежавшую под ней книгу (которую она взяла с собой в Алжир, но не нашла времени для чтения).

— Гуго Гроций, — отвечала она. — Интересная, между прочим.

Это отбило у него последнюю охоту разговаривать:

— Все, ступай, больше нету мочи! — и вернулся к чертежам, которые притягивали его куда больше: — Посмотрим, что ты привезла. Жаль, если ерунду какую-нибудь.

— Это уж не моя вина будет, — сказала она и прибавила: — Он сказал, что в ремонтных мастерских к чертежам относятся легче, чем в проектных бюро. Их там взять легче.

— Это он правильно сказал, — оценил Шая. — Это учесть надо… А знаешь, что отец твой отчудил?

— Нет.

— Снова отказался от денег, которые я ему предложил и которые сам же и просил у меня. Все, говорит, больше не надо.

— Настроение переменилось, значит.

— Да? — Шая посмотрел недоверчиво. — Вы, французы, гляжу, все немного чокнутые… Бери неделю отпуска. Закончи дела свои. Тебе нужно со всеми рассчитаться, — напомнил он.

— Я помню. Это меня больше всего и пугает…

Ей надо было уйти из комитета и всех оповестить о своем отступничестве — таково было задание уже не Огюста, а Филипа и Шаи. Она собрала своих комсомольцев: их к этому времени было больше, чем тогда, когда она пришла сюда, — и старших товарищей, явившихся с Дуке вместе. Она объявила всем, что уходит из комсомола, потому что решила всецело посвятить себя учебе и последующей практической деятельности. Ей сначала не поверили, потом опешили, поняли до конца, что она сказала, и посмотрели на нее с тем смешанным чувством боли, растерянности, отвращения и разочарования, с каким глядят на неожиданных предателей. Ей не подали и руки на прощание и проводили молчанием, и она до последних дней жизни запомнила и их взгляд и ледяное безмолвие. Она стала предательницей и, не будучи ни в чем виновата, ощутила на себе незаслуженное клеймо позора…

На ее место сел Бернар, которого протолкнул Ив; впрочем, Бернар и сам уже научился довольно бойко болтать на том птичьем языке, на котором говорили тогда (и потом тоже) многие партийные активисты, и не портил общей картины.

Другой холодный душ вылила на нее Марсель Кашен. Рене пришла на лекцию, села по старой памяти возле нее — послушать о реформах Солона и Клисфена. Марсель, увидев ее, пришла в ужас:

— Рене! Мы не можем больше общаться! Ты же знаешь, вся наша семья под наблюдением полиции! Не дай бог, отцу опять

что-нибудь припишут! Это будет катастрофа для партии — если его снова выведут из строя. Мы не имеем даже права разговаривать с нелегалами!.. — и отсела от нее, как от ядовитой змеи или скорпиона.

Рене не стала слушать про Солона и Клисфена, собралась и пошла домой, злая на нее и до глубины души оскорбленная…

А чертежи танка оказались древними как мир — он был построен еще до войны и не представлял собой никакого интереса. Но это уже не вина, а беда шпиона, когда он, рискуя головой, достает, вырывает зубами то, что оказывается никому не нужно. Это промахи и просчеты его прямого начальства.

23

Рене стала курьером, собирающим почту, которую готовили ей другие. Оба института пришлось оставить. Она рассчитывала когда-нибудь в них вернуться и написала в обоих заявления о временном уходе по семейным обстоятельствам, но конца этим обстоятельствам видно не было. Оказались невозможны и самостоятельные занятия: чтоб подготовиться к сдаче экзаменов экстерном. Ей было не до учебы. Она стала жить по календарю и по часам, в ней включился внутренний счетчик: от одного поручения к другому. Занятия наукой не терпят такой суеты и дробления времени, им нужно отдаваться целиком и без оглядки — она же стала считать каждый прожитый день, часы и минуты. Так происходит, когда человека в чем-то сильно стесняют, вяжут по рукам и ногам: в тюрьме, в ссылке, в армии — а она была теперь рядовым Красной Армии. Новая жизнь изменила ее. Она и вести себя стала иначе: чувствовала себя увереннее и, странным образом, беззаботнее и беспечнее, хотя именно теперь в ее жизни и появилась настоящая опасность: она была из тех, кого внешняя угроза подстегивает и открывает в них запертые до того шлюзы…

Конечно же ей по-прежнему мешали и не давали покоя рогатки и препоны, связанные с ее несовершеннолетием. Ночевать у товарищей по партии не разрешали правила конспирации, а гостиницы были для нее закрыты. Она старалась ночевать в поездах, заранее сверяясь с расписанием, но поскольку она могла позволить себе только места в общих вагонах, спать приходилось на ветру и на проходе. Беда была в том, что русские — а за ними и ее французские руководители — были сосредоточены на прибрежной полосе: кто-то хотел знать все о ее состоянии и о кораблях, стоящих на рейде и на приколе, — будто завтра хотел высадиться здесь с десантом. Полиция в таких местах особенно придирчива: где-нибудь в сельской местности ее, ни о чем не спрашивая, без лишних слов, пустили бы на ночь — здесь же хозяева отелей и слышать об этом не хотели: им не нужны были неприятности. Кроме того, для разъездной кочевой жизни, которую она теперь вела, она была недостаточно экипирована. Тот, кто посвятил себя подобной жизни, должен иметь в своем ранце не жезл маршала, а смену белья и одежды на случаи резкой смены погоды, а у нее такой не было: она довольствовалась одним платьем зимой и другим — летом, имея дополнением к ним легкий плащ, который был хорош днем, но не спасал ночью; одежда на любую погоду и на всякое время года — один из немногих верных признаков обеспеченности и

материального благополучия.

Все это не могло не кончиться плохо — тем более что в их семье были случаи ревматизма и она была простудлива. Как-то она заболела в поезде, протряслась всю ночь в лихорадке, с трудом вышла на Гар-дю-Нор и, путаясь в мыслях, начала соображать, что делать дальше. Прежде всего надо было отдать пакет, за которым она ездила, потом где-то скрыться и заняться своим здоровьем. Домой идти было нельзя: она не знала, чем больна, — не хватало еще заразить родных, чтоб те ответили жизнью за ее сумасбродства. От отца не было толку: за ним самим нужен был уход, и он непременно бы сплавил ее матери. К Шае не поедешь: надо было сначала звонить посредникам и заранее договариваться о встрече — он жил в подполье, явки его каждый раз менялись, а у нее не было сил провести день на ногах на улице. Она взяла такси, отвезла пакет по назначению: человеку, который служил почтовым ящиком, потом поехала-таки в бюро к отцу — в надежде отлежаться там, но оно было заперто — так же, как и снимаемая им квартира: он, со слов соседей, в очередной раз куда-то съехал никому не сказавшись. Тут она вспомнила дом в Медоне: дома и их стены имеют свою собственную притягательность — когда вам негде остановиться, вы вспоминаете в первую очередь жилье, потом его обитателей.

Огюст, слава богу, был на месте: он жил теперь здесь постоянно, экономя на квартире.

— Это ты? — удивился он, вовсе не обрадовавшись ее приходу. — У меня вечером конспиративная встреча. Может, завтра придешь?

— Не могу. Я заболела.

— Чем?

— Простыла, — сказала она и повалилась рядом с диваном: оступилась или присела раньше времени. Он разволновался, бросился поднимать ее.

— Тогда оставайся, конечно! Я положу тебя в спальню — думаю, они не заметят… Но врача я все-таки позову завтра, а не сегодня. Нельзя, чтоб он их видел…

Она легла в кровать с чужим, несвежим бельем, но пренебрегла этим и ничего не сказала: одеревенела, как корабль, получивший в шторме пробоину, потерявший ход и отправленный моряками в доки. Полежав некоторое время без движения, она позвала Огюста и попросила, чтоб он сел рядом.

— Посиди со мной. Больше некому.

Он молча сел рядом на стуле, в том же беспогонном мундире, уже порядком поизносившемся. Она отметила это про себя, хотя ей должно было быть сейчас не до этого.

— Жар и голова кружится… Так и умереть можно. А я еще ничего в жизни не испытала. Даже любви не было… Ляг со мной, пожалуйста… — У нее и в самом деле в лихорадочном жару, вместе с предчувствием близкой смерти, возник страх, что она не сделает главного в жизни, для чего рождены и предназначены женщины.

Огюст вынужден был подчиниться, хотя мысли его были о чем угодно, но не о любовной связи — он согласился на ее настояния лишь после длительных колебаний и других проявлений мужской слабости. Добившись своего, она успокоилась, будто совершила то, чего от нее требовала природа, и с нее теперь нечего было взыскивать, и заснула. Огюста же начала мучить совесть, он позвонил от соседей руководителям, перенес встречу на следующий день: благо это ничего в истории человечества не меняло — и побежал за жившим в Версале доктором.

Доктор пришел, увидел следы недавней близости, решил, что лихорадка связана с нею (бывают и такие случаи), выслушал нелепые разъяснения Огюста, ничего не понял, поглядел на него как на любовного маньяка, и снова — уже внимательней — на больную. Он нашел у нее воспаление легких и настоятельно посоветовал положить ее в больницу. Идти в больницу она не захотела и даже открыла, чтобы сказать это, глаза и губы. Врач услышал ее голос, увидел выражение лица — понял, что в происшедшем виновны оба, и потому обоих и простил, сказал даже, что есть медицинская школа, предлагающая это средство как лечение. Он согласился вести ее на дому — естественно, за хорошие гонорары — и ушел, предписав кучу лекарств, из которых, по сегодняшним понятиям, хорошо если одно-два были не вредны, а полезны для ее здоровья.

Несмотря на лечение или благодаря ему, ей стало на следующий день легче, она встала и прошла к умывальнику. Ей было неловко, она не хотела повторять недавний опыт, сказала об этом Огюсту.

— Конечно, конечно! — поддакнул он ей. — И доктор это запрещает. Подождем, когда выздоровеешь… — И она не стала разуверять его или обсуждать случившееся: чувствовала себя еще слишком слабой, почти безжизненной.

— Так и не пришли твои заговорщики?

— Я на сегодня встречу перенес.

— Кто придет?

— Барбе, Селор и Дорио.

— Господи! Его еще не хватало. — Меньше всего на свете ей хотелось сейчас встречи с этим человеком. — Может, мне уйти?

— Никуда ты не пойдешь. После того, как все так хорошо началось.

— Что ты имеешь в виду?

— Твое состояние, — вынужден был слукавить он: утром он смотрел на приключение иными глазами, чем накануне вечером. — Тебе же лучше?.. Может, он и не придет. В последнее время он всех прокатывает… Но я тебе вчера все-таки чем-то понравился? — Он искал извинений своему поступку и хотел представить его порывом любви, захлестнувшим их обоих.

Она усмехнулась:

— Понравился.

— Чем?

— Своим мундиром… Ты же знаешь, я люблю бедных… — И хотя он ждал совсем иного, ему пришлось удовольствоваться этим.

Вечером пришли конспираторы. Огюст закрыл ее в спальне и попросил не слушать того, о чем будут говорить в смежной комнате. Пришли только Барбе и Селор, два члена правящего триумвирата партии. Третий, Дорио, в последний момент обманул их и не явился, чем они сильно возмущались, а Рене этому только радовалась. Она невольно слушала разговор из спальни: никогда не присутствовала на столь высоких совещаниях.

— Что ты хочешь от Дорио? — говорил Барбе: голос его она слышала на митингах, но сейчас, в отличие от трибуны, он звучал нотой ниже, надтреснуто и бранчливо. — Это же князь! Он будет со своим уделом переходить от одного сюзерена к другому и при этом никому не подчиняться! У него Сен-Дени, и ему плевать на все остальное! И в Бобиньи такие же! Ладно, мы с ними еще разочтемся — когда руки до них достанут.

— Ничего, что она там? — напомнил другой — стало быть, Селор.

— Да уж чего хорошего? — проворчал Барбе: он был зол на Огюста за его неуместное рыцарство. — Этот Огюст всегда кого-нибудь себе приведет! — нарочно громко сказал он: чтоб слышала больная в спальне. — И непременно на явочную квартиру!

— Может, в сад выйдем? — предложил Селор: он был более покладист и снисходителен, что и было причиной того, что он не был первым в партии.

— Это нет уж. Сегодня свежо, а я только недавно с радикулитом развязался. Просто говорить будем тише…

Они так и начали, но потом языки их развязались, и они разве что не кричали. Рене не спала и не бодрствовала, но даже в

таком промежуточном состоянии слышала их военный совет, постоянно перемежаемый бранью. Верная своему правилу не запоминать лишнего, она не вникала в их речи, но они, казалось, сами этого добивались: будто она была публикой, на которую был рассчитан их ворчливый пафос. Они собирали голоса в предстоящем голосовании, которое представлялось им решающим: у руководителей партий есть такая слабость — преувеличивать значение выборов.

— Как Федерация Севера? Она будет что-нибудь предпринимать? Или опять уйдет в кусты? Луи начнет когда-нибудь действовать? Или он умеет только подмахивать нашим и вашим? Огюст, ты у нас отвечаешь на Федерацию Севера? Ты ведь сам, кажется, оттуда? Не партия, а удельные княжества! Маркизы и бароны, а не коммунистические руководители!

Селор ответил за Огюста: выручил в трудную минуту.

— Что Огюст может? Их Москвой надо пугать. Ты ведь приехал с ее поддержкой и благословением? — обратился он к Барбе — не то с вопросом, не то с утверждением.

— Что Москва? — заворчал тот сильнее прежнего. — Ты же знаешь — что спрашиваешь? С Зиновьевым у меня наилучшие отношения, а с Берзиным (Руководитель разведки Красной Армии того времени. — Примеч. авт.) не очень. Он же требует, чтоб я чуть не лейтенантом его стал! Ведут себя как восточные сатрапы! И, главное, никак между собой не договорятся. Зиновьев сам не очень уверенно себя чувствует.

— Может, тогда держаться за того, кто больше всех значит?

— Мы уже определились и взяли курс на Зину. Надо соблюдать приличия… А Берзин ставит на Жака. У него с ним давно налаженные отношения.

— Это плохо, — сказал Селор и снова не то спросил, не то посоветовал: — Но нашим этого знать не надо? Пусть считают, что все в порядке. Может, еще десять раз переменится. Кстати, и Москва не любит, когда говорят, что они между собой не ладят.

— Это-то ясно, — сказал Барбе. — Общие цели мне давно ясны, мне сейчас нужно голосование на Секретариате. Нужно потеснить Жака и выгнать эту старую лису Кашена. А заодно и всех профсоюзников. Надо, короче говоря, делать ставку на единение сил при дальнейшем давлении на тех, кто так или иначе связан с социалистами. Это наш первый враг сегодня. Так ставят вопрос в Коминтерне.

— Опять социалисты, — вздохнул Селор. — Что они дались им так?

— Все дело в них. Они, конечно, не первые наши враги — слабаки, есть и похуже, но они та фигура, в противоположении

которой осуществится в конце концов наше единство и консолидация. Это диалектика, закон единства противоположностей. Важен не враг, а жупел — не понятно?

— Не очень, — сказал Селор.

— Я вижу, и ты заражен их влиянием. Надо будет тебя послать в школу Коминтерна. Там все доходчиво объясняют — не заметишь, так выучишься… А эта девочка — что она вообще делает? Кроме того, что живет с тобой, Огюст?

— Работает на Жака. С самим Фантомасом.

— Что?! — Барбе понизил голос, но так, что его слова стали слышны в спальне особенно отчетливо. — Прямо во вражеском логове?.. Тогда пусть переходит к нам. Раз твоим гостеприимством пользуется.

Огюст подошел к двери и прикрыл ее — хотя был уверен, что Рене спит.

— Я как раз об этом и думаю, — зашептал он заговорщически.

Барбе повеселел:

— Ну раз так, с тебя все грехи снимаются. Старайся на полную катушку. Смотри только, чтоб тебя не переиграли, чтоб наоборот все не вышло… — И Рене, которой надоел их мужской треп, закрыла глаза и заснула: ей даже показалось в какой-то момент, что она выздоровела…

Следующая неделя была идиллической. Рене поправлялась, Огюст окружал ее заботой и вниманием. Рене потихоньку вела хозяйство, Огюст помогал ей и ежедневно, со скрытой целью, осведомлялся о ее здоровье. Спал он в другой комнате. Наконец он решил, что она достаточно выздоровела для возобновления телесной близости. Но начал он не с этого:

— Слушай, я поговорить с тобой хотел.

— Поговори.

— Ты не слышала, о чем мы говорили на встрече?

— Нет.

— О голосовании на Секретариате. Оно, кстати говоря, опять ничего не дало. Все на своих местах осталось.

— Может, это к лучшему?

— Да не скажи. Нам не нравится, что русские слишком много на себя берут и слишком многое у нас отнимают. Мы не рабы… Слушай, Рене. Учитывая наши отношения теперь, может, ты будешь рассказывать мне, что у вас происходит?

— Где?

— У Жака и у Шаи.

— Жака я ни разу не видела, а то, что делается у нас с Шаей, не подлежит никакой огласке. Это же азы конспирации, Огюст…

Это ты, кстати, сказал Марсель, что я перешла на новое положение?

Он хотел соврать, но не вышло, и он объяснился:

— Ей нужно знать. У нее отец — видная фигура.

— Которую вы хотите сместить?

Он заупрямился:

— Хотим. Когда сместим, тогда все будет иначе. А пока так… Не хочешь заняться любовью?

— Нет. Я сегодня уйду.

— Куда?

— Домой — куда же? Там, наверно, меня хватились.

— Может, все-таки останешься? Мы же хорошо эту неделю жили? Как муж с женою — только что не спали вместе.

— В этом-то и было самое лучшее.

Он не стал спорить: в нем все-таки жило какое-то скрытое от всех благородство.

— До следующей болезни, значит?

— Значит, до следующей болезни. Или другого несчастья.

— Хорошие перспективы, — сказал он. — Грустней и короче романа я не видывал. — Она улыбнулась, и они расстались.

После этого Шая вызвал ее обсудить кой-какие события. Кроме него в комнате на одной из запасных, сугубо секретных явок сидел Филип, что означало, что разговор предстоит серьезный. Филип был представитель Жака, который сам на людях не показывался — это было бы слишком опасно: его характерный профиль знали многие.

— Как себя чувствуешь? — до Шаи дошли известия о ее болезни.

— Ничего. Все прошло. А что случилось? Англичане подвели? — В последней посылке были материалы и с другого берега.

— Да нет. Тут другая история, чисто французская…

Он был необычно вежлив и похож на Блюма, на мудрствующего профессора. Говорить ему было неловко, он преодолевал внутреннее сопротивление. Филипу хотелось говорить еще меньше: при первых словах Шаи он вдвинулся глубже в кресло и поглядывал оттуда со скучающим, сторонним видом.

— Какие у тебя отношения с Огюстом? — отставляя в сторону приличия и профессорские манеры, вдруг напрямик спросил Шая — и поперхнулся собственной наглостью. Рене вспыхнула:

— Это имеет какое-нибудь отношение к делу?

— К нашим делам нет. Но тут, понимаешь, кое-что произошло. Его разобрали на партийной комиссии и

разжаловали. Не утвердили испытательный срок и не вернули в Федерацию. Он под сомнением. Надо, конечно, чтоб это утвердили в Секретариате, но так оно и будет… Потому что против него и группы в целом выдвинуты серьезные обвинения…

— Когда это было?

— На прошлой неделе.

— Я не знала этого… И поэтому вы спрашиваете, в каких я с ним отношениях?.. — Шая развел руками, а Филип неудобно повернулся в кресле и застыл в напряжении. — Жила у него неделю — что еще?

— Ты больная к нему приехала? — помог ей Шая.

— И это известно… Откуда?

— Да болтают. Они же языка за зубами держать не могут.

— Болела. После Дьеппа, где опять не могла найти гостиницу.

— Почему к нам не пришла? — тихо укорил он ее.

— Куда?! Как бы я нашла тебя, Шая? Я с ног валилась. Приехала к своему связному. За что вообще я должна отчитываться?

Филип резко встал и вышел в соседнюю комнату, дав еле заметный знак своему товарищу, чтоб прекратил дознание.

— За меня, наверно, — сказал Шая. — За то, что не обеспечил тебе явки и не дал адреса на крайний случай… Теперь терзаться буду. Я ведь тебя больше люблю, чем ты думаешь… Не хочешь, значит, рассказать о них?

— Нет, — отрезала она. — Я нанималась работать против капиталистов и в пользу первого рабочего государства, а не против своих товарищей.

Он покачал головой, поглядел с нетерпеливым осуждением.

— Будем считать, что ты ничего не говорила… С ними плохо, Рене. Дело, конечно, не в Огюсте, а в Барбе. Они собрали материал на симпатизирующих нам моряков и решили им воспользоваться. Понесли его в Коминтерн — там им сказали, что этими вопросами занимается Разведупр Красной Армии, а они заявили, что к ним там отнеслись не по-товарищески: в приказном тоне, видите ли, разговаривали. Может, кто-то и получил там нагоняй: чтоб был впредь полюбезнее, но нам прислали четкое распоряжение, чтоб мы от них отделались: они становятся опасны. Если будут еще кому-нибудь предлагать свой товар. Французы же любят поторговаться…

Она пропустила мимо ушей поклеп на свою нацию.

— Что значит — отделаться?

— Успокойся — ничего страшного. Отправят работать по профессии. Но для них это хуже каторги. Это не мы с тобой, кто

рискует каждую минуту.

— Дорио тоже с ними?

— Господи! Ты и Дорио знаешь! Собрала всех в одну кучу? Этот-то как раз в последний момент устранился, но ты сторонись его больше всех, держись от него подальше. Та еще птица! Значит, я пишу — с тебя все подозрения сняты, и вообще ты золото, а не работник.

— Это и писать нужно? — удивилась она.

— А ты как думала? Все в этой жизни должно быть занесено на бумагу и изображено в виде буковок — никак вы эти прописные истины не поймете, — и залучился в прежней, сияющей, чуть-чуть маслянистой улыбке, которая настолько выделяла его среди прочих, что было совершенно непонятно, как его до сих пор не поймали сыщики…

С Огюстом она встретилась еще раз. Он сам вызвал ее в Марсель, куда его, как он писал, сослали на галеры — на небольшой сухогруз, совершающий каботажные рейсы вдоль берега Франции. Устроили его туда по знакомству его прежние морские товарищи — может быть, из того списка, который стал теперь яблоком раздора и гулял по столам заговорщиков. Центр, словно в издевку, поздравил его с этим устройством, сообщил, что продолжает считать его своим боевым товарищем, и поручил следить за береговой линией: отмечать свершающиеся в ней перемены.

Письмо от него привез его брат Роберт. Звали его так, потому что он вел торговые дела в Южной Америке и там его имя в английском переложении звучало солиднее и убедительнее. Он пока что был коммивояжером, но мечтал о собственном деле. Он приехал к ней из Марселя: съездил к Огюсту и захотел поговорить о нем; судьба брата его волновала — особенно теперь, когда он был на другом конце земного шара и не мог ни помочь ему, ни как-то повлиять на его положение. Не будь этого разговора, она, может быть, и не поехала к Огюсту, потому что была на него сердита, но Роберт растрогал ее своей братней заботливостью.

— Я был у него только что — он мне про вас рассказывал, — сообщил он, как бы невзначай посматривая на Рене и прощупывая ее взглядом. — Он просил, чтоб вы приехали к нему и взяли кой-какие письма, которых он не мог мне доверить… Что за странную жизнь вы ведете? — и снова ненароком глянул на нее, сверяя свои впечатления с рассказом о ней Огюста. — Вы, правда, еще молоды, а ему сорок три — ему скоро на пенсию идти по морским правилам, а он всего-навсего мичман. Что это за пенсия будет, мичманская? Я про такую даже не слышал. Съездите к нему, пожалуйста. Я еще и денег ему недодал: сказал, что нет, а на

самом деле пожадничал. Вы же знаете, мы, французы, народ прижимистый. Я хорошее дело с аргентинской бараниной провернул, — грустно похвастался он. — Перспективный рынок — хочу им заняться, — и подал ей деньги, свернутые в рулончик. — Извините — в таком виде, походном. Нам приходится верхом ездить: засовываем в сумки — привыкли. — Лицо его было не по-здешнему загорелым и обветренным. — Не хотите к нам? Здесь скучно — по сравнению с нашими просторами. Тут все замызгано, заезжено — поэтому, наверно, и беситесь: развернуться негде. Я ему то же самое сказал, а он мне: я здесь останусь, докажу им свою правоту. А мне кажется, он работать не хочет — вот в чем беда… Поедете? У вас с ним вроде любовь была? Короткая?

— Он и это рассказал? — Она недовольно качнула головой, но пообещала: — Поеду — для вас хотя бы.

— Правда? Если будете в Аргентине, приезжайте, — приободрился он. — Вот моя карточка.

— Если буду, непременно заеду, — пообещала она и поехала в Марсель к Огюсту: как-никак, первый любовник — почти что родственник…

Огюст встретил ее на дебаркадере, у которого стоял сухогруз. Немногочисленная команда разошлась, он один ждал ее: она сообщила ему время приезда. Она не обрадовалась встрече, да и он, хоть и изобразил на лице противоположные чувства, оставался раздраженным и злым, каким был до ее появления.

— Смотри, в какую дыру засунули! — с места в карьер начал жаловаться он, показывая ей одно за другим помещеньица пароходика, стоявшего без груза. — Знаешь, что они мне в вину вменили?! Не догадаешься! Что я ввел в заблуждение партию, когда написал, что ушел из флота лейтенантом, а на деле был мичманом! Ты можешь это себе представить?! Андре Марти, этот матрос, который офицеров терпеть не может, мне за это выговаривал! Он был председатель комиссии! Вот дрянь, а?! А это каюта?! Можно ночевать в ней?.. — Каюта и вправду представляла собой щелястую дощатую кабину с деревянными нарами и откидным столиком в качестве единственной мебели. — Вот за этим столом я пишу письма и прошения. Которые ты отвезешь в Париж, потому что по почте они не доходят.

— Почему?

— А я почем знаю? Потому что брать не хотят. Я их даже Роберту не дал. Он был у тебя?

— Был и деньги передал. — Она отдала ему походный сверток.

Он чуть повеселел:

— Хоть это. Платят-то гроши. Все те же двести франков. Проклятие какое-то!.. Нары не хочешь опробовать?

Она не сразу поняла, что он имеет в виду:

— Что?.. Ах это?.. Нет. Не в настроении.

— Я б тоже был не в настроении. Не та обстановка. Тогда не будем тянуть резину — вот тебе мои письма, отдай их, пожалуйста, по известному тебе адресу. И если можно, не читай их. Ты к этому должна уже привыкнуть.

— К кому они?

— К Марсель Кашен, — неохотно отвечал он.

— И какого они рода?

— Смешанного. Любовные, с одной стороны. — Он решил не стесняться. — У меня с ней был непродолжительный роман. Когда я на гребне волны был.

— Такой же непродолжительный, как со мной?

— Нет, чуть подольше. Но все-таки… Может, по старой памяти похлопочет. Отец вроде снова в почете. Во всяком случае, на виду остается. Какая-то вечная непотопляемая фигура.

Она помешкала.

— Возьму, но вряд ли она захочет со мной встретиться, — и рассказала ему о своем последнем свидании или, скорее, столкновении с подругой.

Он выругался.

— Вот шлюхи! Думают только о себе! Сами исподтишка во всем участвуют, а как до дела доходит, невинны, как кролики! Не может, видите ли, сидеть с тобой рядом — это ж надо придумать!

— Ты думаешь, Кашен может помочь тебе?

— Если захочет? Уверен! Он продался русским еще тогда, когда поехал туда в первый раз. Зачем, ты думаешь, он приглашал тебя в газету?

— Познакомиться с юным секретарем района.

— Да жди! Он уже смотрел на тебя вполне определенным глазом: чтоб составить мнение! И передать кому надо, если спросят.

— А Марсель? — Рене не хотелось бы, чтобы и ее подруга, пусть бывшая, тоже участвовала в заговоре.

— А это вечная при отце секретарша. Ему приглашать неудобно — она за него это делает. Это ж высший свет — тут все имеет смысл, ничего просто не делается. Ты с ней училась?

— Училась короткое время.

— Она окружена была всякой модной швалью — так ведь?

— А ты откуда знаешь?

— Это все знают. И это тоже объясняют высшими соображениями. Все ясно как день. Вот я и пишу ей: может,

захочет снова увидеть, попросит отца вызволить меня отсюда. Мы с ней недоспали, — совсем уже цинично прибавил он.

— Ты с ней или она с тобой? — Рене вынуждена была спрашивать в том же духе.

— Это обычно обоюдно. Значит, наотрез отказываешься?

Она опять не сразу поняла, что он имеет в виду, поэтому помедлила.

— Наотрез.

— А говорила, до первого несчастья, — напомнил он.

— Значит, только свои несчастья имела в виду. Слушай, — и Рене, прежде чем уйти, спросила (добрый ли ангел это ей напомнил или злой — это как смотреть на вещи): — Тебя сослали сюда, ты съехал, но обо мне ты мог бы подумать?

— Я о тебе только и думал, — напыщенно сказал он, полагая, что она имеет в виду их интимные отношения.

— Я не о том, что ты думаешь. Через тебя я должна была связываться с Казимиром. Если ты это еще помнишь… Ты уехал, канал с тобой закрылся. А вдруг понадобится.

— Господи, вот ты о чем. Был где-то. Подожди, кажется, в записной книжке, — и полез в китель, висевший на стуле в его каюте.

— Ты такие вещи в записной книжке держишь?! — изумилась она.

— А где же?.. Вот. Перепишешь?

— Дай мне эту страничку: я ее уничтожу… Все, Огюст. Телефон я запомнила, письма Марсель взяла, деньги тебе отдала, давай прощаться.

— Давай. Извини, если что не так. Все-таки я был первый мужчина в твоей жизни. Тебе не очень плохо со мной было?

— Не очень.

— Я рад этому, — и, сентиментальный, растрогался…

Она не остановилась в гостинице, хотя имела на это право. Ей исполнилось восемнадцать: это было далеко до французского, в двадцать один год, совершеннолетия, но она могла уже путешествовать без родителей. Вот вступить в армию без их обоюдного согласия она могла только в двадцать, но Красная Армия не учла этого при вербовке. В гостиницу она не пошла, потому что теперь, когда она могла свободно жить в них, они стали казаться ей подозрительны. И метрдотели при входе и дежурные на этажах — все глядели на въезжающих пристальными, въедливыми глазами, распределяя их по известным и немногочисленным разрядам путешествующих, и те, кто не попадал в эти узкие категории, становился предметом любопытства, что до добра, как известно, не доводит. И за

гостиницу ей бы не заплатили: ее поездка не была санкционирована. Поэтому она пошла на вокзал и села в парижский поезд.

По дороге, вопреки обыкновению, она прочла письма Огюста. Чужой, незнакомый ей человек глядел на нее из этих писем, и она не знала, чему в них верить, чему нет. Они относились к разному времени и менялись в зависимости от настроения пишущего.

«Спасибо приятелям, которые пусть несправедливо, но вывели меня из рядов активистов (!), — писал он в одном из них, и это были его знаки препинания. — Наконец-то я не хожу больше на эти собрания рядовых членов партии, на эти коллективные мастурбации бойцов, где поступки прячутся за дискуссиями. Великая нищета нашего великого движения! Теперь я снова в действии. Я на борту, я доволен сделанной мной работой, меня радует доверие парней, мне легко от самой грубости и первозданности нашего судна, от свинцового сна, который овладевает нами, несмотря на клацание дверей наверху и танец книг между полкой и умывальником…»

Потом начинал жаловаться:

«В узкой, как наша, клетке способности к наблюдению, чувствованию усиливаются невероятно и начинают беспокоить мозг, возрастая вместе со скоростью наших суден, с шумом машин, которые начинают петь какую-то монотонную песнь с изменчивым ритмом, но кажется, произносят одни и те же фразы, — это ужасно! Я отчетливо слышу в течение всей ночи слово да-кти-ло! да-кти-ло! — прекрасно оркестрованное и артикулированное!..»

Она нашла и себя в них. Он сочувствовал ей и писал Марсель о том, с каким восхищением она к нему относится:

«Я вспоминаю со светлым чувством о днях, проведенных мною с моею монголочкой в Медоне. Это было прекрасно! Так живите же, Марсель! У вас у обеих примерно один возраст — пользуйтесь счастьем маленьких вещей, тем счастьем, которым она пренебрегла в первый год нашего знакомства и которое открыла для себя с первых дней нашей связи…»

Тут Рене разозлилась и читать перестала. Письма можно было выбросить, но она обязалась доставить их по адресу. В отношении надежности доставки корреспонденции ей не было равных и среди почтовых профессионалов.

Она вышла на Лионском вокзале. Было 7-е мая 1932 года. Вокруг царило странное возбуждение — не обычная суета и сутолока вокзала, а нечто предгрозовое, нервное и порывистое: почти паника.

— Что случилось? — спросила она первого попавшегося ей

прохожего, торопившегося к выходу.

— А вы не знаете?! Война! Россия напала на Францию!

24

Шестого мая 1932 года белоэмигрант Горгулов убил выстрелом из пистолета Президента Франции Думера — при посещении последним выставки. Причины и мотивы этого террористического акта остались не выяснены, но в таких случаях важны не сами действия, а их истолкование людьми и вытекающие из него последствия. Горгулов сразу же после задержания заявил, что убил «Отца Республики», чтобы подвигнуть Францию к действиям против Страны Советов. Председатель совета министров Тардье, главная фигура в тогдашнем политическом мире Франции, обвинил убийцу во лжи и объявил его красным агентом, а доказательством тому привел абзац из «Юманите», которая в первый день после случившегося, не имея времени в чем-либо разобраться, назвала Горгулова белогвардейцем: газета по меньшей мере знала о том, что должно было случиться, — таков был вывод многоопытного политика. Красная пресса доказывала, что Горгулов — бывший офицер Шкуро и Деникина, мелкий помещик или, скорее, хуторянин с Кубани: мать опознала его по фотографиям, присланным из Франции — но это простое объяснение никого не устраивало. Горгулов был еще и помощником Савинкова и генерала Миллера, стало быть, был причастен к разведкам, — он мог быть двойным агентом и тогда дело пахло провокацией: с чьей стороны, это нужно было еще выяснить, но каждый уже судил, как ему нравилось. Может быть, это была просто безумная выходка человека, уставшего жить в чужой стране и имевшего оружие для осуществления своих бредней, но в любом случае поступком его воспользовались те, кому он был выгоден. Сразу же, тоже без подготовки (полиция всегда была готова к этому), началась охота за коммунистами. Жандармы совершали плановые облавы, обыски в домах подозрительных, превентивные аресты активистов. Рене поехала после вокзала домой — мать, ждавшая ее на пороге, выбежала ей навстречу и на улице, перепуганная насмерть, сбившимся голосом зашептала, чтоб она немедленно уходила, потому что ночью были полицейские и забрали ее бумаги. В лице Жоржетты был страх, который всегда жил в ней в последнее время: страх за семью и за будущее, но в этот день безудержный, панический, не допускавший ни малейшего промедления: Рене не могла даже зайти в дом, где грозившая ей опасность могла перекинуться на других членов семейства. Впрочем, ее не нужно было молить и упрашивать: она сама меньше всего на свете хотела попасть в тюрьму, в лапы полиции.

Она вернулась в Париж и попыталась связаться с Шаей. Все его телефоны молчали, лишь в одном неизвестный женский голос начал допытываться, откуда она звонит и что передать Шае. Она постаралась забыть этот номер и позвонила Казимиру, чей телефон она так удачно, как ей сейчас казалось, в последний момент выведала у Огюста. Этот оказался на месте. Сам он не смог с ней встретиться: на это не было времени, но направил ее в семью парижского товарища, согласившегося принять на время преследуемую активистку и укрыть ее от полиции.

Она прожила в этой семье две недели. Хозяин, в прошлом профсоюзный деятель, жил на покое с женой и сыном, которого, слава богу, дома не было. Встретили ее настороженно, но поначалу сносно: даже угостили праздничным обедом, как это было принято в семье человека, приглашавшего в прошлом коллег из других регионов и отраслей промышленности. На ужине тактично не говорили о делах и положении невольной гостьи, но много — о стране и ее видах на будущее. Тон разговору задавал хозяин: он если и слушал мнение Рене, то продолжал затем говорить так, как если бы она его не высказывала. Он пострадал в свое время от сектантских нападок, не мог забыть их, ругал почем зря Трента, теперешнего Барбе и многих других, и суть его речей состояла в том, что партия слишком увлеклась подпольной и международной деятельностью — в ущерб экономической и общенародной (тут он с особым смыслом глядел на Рене, а та старалась не видеть этого). В конце обеда он все-таки спросил ее, довольно хмуро и неприветливо, что такого она натворила, что ей приходится скрываться. Рене не долго думая сказала, что была связным с Коминтерном, перевозила его депеши и протоколы.

— Знаю я их, в Коминтерне этом! — сказал он так, будто она с ним спорила. — Ничего в них толкового не было, и относились они к нам как раввины к малолетним в хедере: он не любил еще и евреев. Он сидел за столом в рубашке и подтяжках и закончил ужин тогда, когда счел это нужным, сказав, что ему нужно перед сном прочесть «Юманите». Жена его помалкивала, словно не имела ни о чем своего мнения, но это не помешало обоим долго и недовольно препираться из-за нее в ее отсутствие.

Первая встреча не радовала, но хуже было то, что она не знала, чего ждет, и не могла связаться с Казимиром, который сказал, что сам разыщет ее, когда придет время. Обстановка во Франции накалялась, и с ней — атмосфера в благопристойном на вид семействе. В таких случаях все решают мелочи, а их было предостаточно. Хозяин получал «Юманите» на дом, Рене безумно хотела знать, что делается в стране, он видел это, но нарочно не

давал ей газету и держал ее за завтраком так, чтоб на Рене смотрела последняя, наименее интересная для нее страница, заголовки же читал вслух на выбор, утаивая самые важные. Дочитав газету, он складывал ее и шел к себе, говоря, что хочет еще раз просмотреть ее, проштудировать отдельные места, прочесть между строк то, что написано не для всех, а лишь для посвященных, — надолго уносил к себе в спальню, а соваться туда ей, конечно, было нельзя, и она не могла взять газету даже тогда, когда он засыпал, о чем она узнавала из храпа, который быстро начинал оттуда раздаваться. Он невзлюбил ее — почему, она не знала: может быть, относился так к новому поколению, которое его выжило и противостояло его сверстникам, или был убежден в том, что она заодно с догматиками и сектантами, попортившими ему крови, — только более умная и образованная, чем они, и, стало быть, более опасная. У его жены было еще меньше оснований любить ее и жаловать, и она пилила ее на другом фронте: учила, что можно брать на кухне и чего нельзя и, главное, куда класть какие вещи после пользования ими; Рене всегда ошибалась — даже тогда, когда все делала правильно. Она не знала, как угодить хозяевам: мыла посуду, чистила овощи, убирала комнату — стала на время их наемной служанкой, ограниченной в правах и в передвижениях.

Во Франции между тем назревали грозные события. Четвертого июня было возбуждено дело против секретаря Коммунистической молодежи, которому предъявили известное обвинение в подстрекательстве военнослужащих к неповиновению. Убийство Думера придало старым наветам новую остроту и грозило, в случае присоединения статей о насильственном свержении власти, длительной каторгой или высшей мерой наказания. 15-го, вопреки полицейским угрозам, состоялся Седьмой съезд молодых коммунистов. Раймон Гюйо, живший на нелегальном положении, выступил на нем, тут же скрылся, но 24-го был арестован. Жаку Дюкло грозило, в общей сложности, 30 лет тюрьмы, он был в розыске, прочие руководители тоже ушли в подполье. Арестовали Шаю. Рене узнала об этом, когда хозяин, просматривавший газету в утреннем одиночестве, проговорился: сказал, что арестовали некоего Фантомаса. Он думал, что заметка носит анекдотический характер, но Рене резко вздрогнула и переменилась в лице — он увидел это, сообразил что к чему, прочел заметку под заголовком, понял наконец, с кем имеет дело, какая птичка залетела в его уютное, благопристойное гнездышко.

На следующий день он отделался от нее — этого надо было ждать, она лишь не знала, в какую форму облечет это

многоопытный профсоюзник. Утром он вызвал ее до завтрака в гостиную и объявил, что многое передумал, проанализировал факты и пришел к стопроцентному убеждению, что она не кто иной, как полицейский агент, засланный к нему для провокации и для организации процесса над бывшими профсоюзными деятелями. По этой причине: он не дал ей и слова сказать в свое оправдание — он настаивает на том, чтобы она немедленно покинула их квартиру, на что ей дается не более часу времени.

— Это очень удобно, — сказала она: она была зла на него, но владела собой. — Если товарищи будут возмущаться, вы скажете, что в самом деле решили, что я из полиции. Может быть, даже будете на этом настаивать!.. — Но он не соизволил ответить: мели что хочешь — главное, очисти помещение…

Она оказалась на улице. Куда деваться и, главное, чего ждать? Полиция — это было в газетах, которые она могла теперь купить, — возбудила дела против девяноста лиц, скрывавшихся в подполье. Учитывая ее связи с Шаей и Филипом (о последнем она не знала, арестован он или нет) и при болтливости большинства непрофессионалов в Секретариате партии и возле него, она могла быть в этом списке — тем более, что полиция была у нее дома и забрала бумаги. Она снова позвонила Казимиру. Какая-то уставшая от жизни женщина сказала, что его сейчас нет, что он уехал (по особому тембру ее голоса Рене поняла, что, по всей вероятности, в Москву), но вернется через неделю-другую и тогда с ним можно будет связаться. Она поверила ей: у нее к этому времени появилась способность распознавать ложь и правду и даже определять характер людей по голосу в телефоне и по манере разговаривать. Она позвонила отцу. Того не было дома. И на этот раз, когда он больше всего был нужен, он уехал с новой подругой на лето — знакомиться с ее семьей: затевал новую женитьбу, а квартиру свою и офис сдал на это время за бесценок приезжим из ее мест — даже не связался перед этим ни с ней, ни с матерью. Рене узнала это из звонка в Даммари (там поставили телефон, и ей повезло: она попала на Сюзанну, и та рассказала ей все это).

Она стала машинально перебирать содержание сумки: чтобы выбросить то, что в случае ареста могло стать опасным для нее или скомпрометировать кого-то другого, и наткнулась на визитную карточку Роберта, брата ее скоротечного возлюбленного. Адрес на ней был аргентинский, но от руки был приписан телефон парижской конторы. Она поколебалась и позвонила: чем черт не шутит.

Черт пошутил: Роберт чудом оказался на месте и немедленно вызвался приехать. Они встретились на улице. Она не могла

рассказать и части того, что произошло, — сказала лишь, что попала в трудности. Он понял без лишних слов:

— Нет проблем! Мне надо уехать на три дня в провинцию, контора в вашем распоряжении. У меня поезд через час.

Он привел ее в двухкомнатный офис, где останавливались по приезде в Париж представители его торгового дома и где сейчас никого, кроме него, не было, показал хозяйство, собрался в дорогу.

— Я скоро вернусь. Это рядом. Договариваться о баранине. Набираю заказы.

— Далеко здесь газетный киоск?

— Вам поближе? — Он глянул вскользь и проницательно. — Попросите консьержку, она купит, сына пошлет. Скажете, что приболели… Пойдемте я вас познакомлю… — и отведя ее к консьержке, объяснил той, что она жена его брата и простудилась в дороге.

— Может, позвать доктора? — предложила она: как всякая консьержка, она боялась заразы в доме.

— Не нужно. Не нужно ведь? — спросил он Рене.

— Я лучше себя чувствую, — отвечала та, и это было правдой: в той мере, в какой лучше чувствуют себя люди, не имевшие крова над головою и только что нежданно его приобретшие.

— Может, надо еще что-нибудь? — спросила консьержка.

— Я все куплю вперед. Газет только не купишь.

— Барышня любит читать газеты?

— Хочет выиграть по лотерее, — соврал вместо нее Роберт. — У нее много билетов. Что вам привезти, мадам, из Аргентины?

Та закокетничала.

— Так много внимания!.. Говорят, там пончо хорошие. Здесь сидеть прохладно.

— Как в прерии: так и дует, — согласился он. — Заказ принят, — и поднялся с Рене на этаж. — Сейчас принесу вам поесть да выпить. Какое вино предпочитаете?

Ей стало совестно.

— Роберт, не утруждайте себя, пожалуйста. Мне неловко. Потом вы сказали, что у вас через час поезд?

— Другой будет. Их много. Невестка для меня — после матери сама близкая родственница, — после чего, усмехаясь, пошел за покупками и вернулся с огромным узлом, который сложил по-походному в угол. — Вы извините: мы в Аргентине так привыкли и не можем и в Европе отвыкнуть, — потом ушел, благопристойный и чинный, как какой-нибудь клерк из провинции, и она заметила, что он не взял с собой саквояжа, приготовленного в дорогу…

О большем и мечтать было нельзя. Квартира с едой, с телефоном и с благожелательной консьержкой, мечтающей о пончо из аргентинской шерсти. Оставался Робер, которого она (она знала это) выставила из дома и который бог знает где сейчас обретался. С Огюстом они были как антиподы, и революция из двух братьев выбрала не лучшего.

Роберт вернулся через три дня, бодрый, деловой, целеустремленный. Он принес ей огромный сверток газет — от «Юманите» до злобно-правого «Intransigeant», взял для приличия что-то из ящика письменного стола и сказал, что едет в новую командировку. На нем была в точности та же одежда, в какой он уехал три дня назад, а так не бывает, когда человек где-нибудь останавливается: что-нибудь да переменит — галстук завяжет иначе или поправит узел.

— Роберт, — сказала она ему, — давайте не ломать комедию. Я в последний год только и делаю, что езжу взад-вперед и кое-что в этом понимаю… Где вы ночевали сегодня? К вашему костюму прилипла соломинка.

— Наверно еще из Аргентины. Вы же знаете, как мы там ночуем.

Она не дала обмануть себя:

— Может, это и любовное приключение, не спорю, но мне кажется, что вы отдали мне квартиру, а сами мыкаетесь где-то, — и чтоб он не врал далее, спросила: — Когда вы должны вернуться в Аргентину?

— Это вопрос, — признал он. — Тот билет, что через час, был в Гавр.

— Чтобы оттуда ехать в Буэнос-Айрес? — Он молча признал это. — Так сказали бы мне. Я б нашла другое место.

Он посмотрел на нее в своей излюбленной ястребиной манере: вскользь и сверху.

— Квартиры у вас, Рене, не было. Это у вас на лице было написано. И как мне было не уйти? Остаться с невесткой под одной крышей? Что б сказала консьержка?

Она смешалась от этого упрека, сказала невпопад:

— Так отдали бы ключи в крайнем случае. Оформили бы договор сделки.

— Оставить вас одну, без прикрытия, тоже было нельзя, — сказал он так, словно уже думал над этим. — Консьержка бы донесла. Я тоже читаю газеты. Кругом полно полицейских. Меня, с моим благонравным видом, три раза останавливали на улице.

— Вы спали где придется?

— Вроде того, — признал он. — Хотя мы в Аргентине привыкли к этому.

— К тому, чтоб на улице спать?.. Знаете что, Роберт?..

— Зовите меня, пожалуйста, Робером.

— Тем более. Либо вы ночуете здесь же, либо я иду искать себе другое место. Не хватает еще, чтоб вас под общую гребенку загребли. Когда вы вообще думаете возвращаться в Буэнос-Айрес?

— Туда я уже отзвонился. Сказал, что у брата неприятности. Они поняли: и у них тоже есть газеты… Давайте так. Я буду спать на кухне, вы — где спали… Пойду в ванную — мечтаю о ней, как конь о конюшне. Вам ванна не нужна?..

Пока он мылся, она дозвонилась до Казимира. Он приехал раньше времени и обещал принять ее на следующий день, на явочной квартире. Она думала, что шум воды заглушит разговор, но Робер все слышал:

— Вы идете куда-то? — Он спросил это почти безразлично, но было заметно, что он насторожился. Ее вдруг взяли сомнения.

— Да. Надо решить кое-что, — сказала она уклончиво, исподтишка следя за ним.

— Поедешь куда-нибудь или здесь останешься? — спросил он, и в голосе его послышалась требовательность и личная заинтересованность.

— Это важно? — так же напрямик спросила она.

— Конечно. И брату… И мне тоже.

— Так кому больше?.. У меня с твоим братом, Робер, считай, ничего не было. Приехала к нему больная до бесчувствия, показалось, что умираю, и испугалась, что никогда любви не узнаю.

— Узнала?

— Отношения эти — да, любви — нет. Что тебе еще сказать?

— Мне это все без разницы, — сказал он довольно грубо и жестко, чего она от него не ожидала. — Мне нужно знать, останешься ты или уедешь.

— Это не только от меня зависит.

— А от кого еще? Мы свободные люди.

— Я связана с другими… Пойду завтра и узнаю, что к чему… — и он отошел от нее, пасмурный и неприветливый, и всю ночь проворочался на кухне: она слышала это, пока не заснула…

Казимир сказал ей, что нужно эмигрировать. Сначала в Германию, потом, когда будут готовы документы, в Россию: ее ждут там в школе особо одаренных разведчиков. Документы нужны и для Германии, но эти проще — ими займутся здешние товарищи. А те, что для России, надо будет ждать довольно долго, потому что для каждого такого паспорта готовится целая легенда.

— А здесь вам оставаться нельзя, — сказал он. — Они не

успокоятся, пока всех не пересажают: Хотят уничтожить вас с корнем — об этом у нас прямые сведения из французского правительства.

— Это мне решать или кому-то другому?

Он устало посмотрел на нее.

— Вам — кому еще? Но в случае отказа мы слагаем с себя все обязательства. И вообще ни мы вас не знаем, ни вы нас. Вы понимаете, что я хочу сказать.

— Когда мне дать окончательный ответ? Это все-таки не шутка — оставить родных, родину, товарищей.

— Никто не говорит, что шутка. Нам не до шуток, Рене. Я сам не знаю, когда видел в последний раз своих родителей. Они в Румынии — и что там с ними сигуранца делает, не знаю… — и поглядел на нее с тяжелым спокойствием, почти нечеловеческим в своем бесстрастии. — Тебя за полицейского агента приняли?

— Да. Может, я вправду на него похожа?

— Да похожа! Что ты говоришь? Лишь бы он не был на него похож. Извини меня за него. Черт бы побрал — никогда не знаешь, где поскользнешься… Он не знает, где ты?

— Нет, разумеется.

— Я так и думал. Тебя учить — только портить, как русские говорят. Учи вот русский — пока ждешь поезда. Сейчас сентябрь у нас?

— Сентябрь.

— Уедешь в октябре где-нибудь…

Она вернулась к Роберу. Когда она приближалась к дому, странное чувство овладело ею: она подходила не столько к дому, сколько к находящемуся в нем мужчине. Такого с ней никогда не было.

— Чем кончилось? — спросил он, едва она пришла.

— Не знаю. Думать буду.

— Ну думай! — сказал он враждебно и схватился за шляпу.

— Куда ты?

— Пойду проветрюсь. Не могу дома сидеть.

— Сидел же без меня?

— А теперь раздумал, — и поспешно ушел, сбежал от нее на улицу…

Она постояла в замешательстве, встряхнулась, начала думать, но мысли не шли в голову. Робер пришел поздно вечером и сразу прошел на кухню. Она позвала его.

— Почему ты от меня бегаешь?

— Потому что хочу знать, останешься ты или уедешь, — снова грубо сказал он, но грубость эта почти что шла ему и ее не задевала.

Она прибегла к женскому средству — привлекла его к себе. Он подался ей, но выглядел при этом обиженным и выговорил настоящую дерзость:

— Хочешь сравнить меня с Огюстом?

Она опешила, посмотрела на него, изучая проносящиеся по его лицу чувства, которые были бесконечно далеки от мужского самодовольства и спеси — равно как и от желания оскорбить ее и унизить.

— Что с тобой? — спросила она, хотя можно было и не спрашивать. — Обидел меня ни за что ни про что…

— Я хочу жениться на тебе и уехать в Аргентину — вот и все. Что может быть проще?

Она была беззащитна перед такой просьбой, повторила старую отговорку:

— Это не только от меня зависит.

— Неправда! — горячо и сухо возразил он. — Все в тебе, все от тебя зависит! — И это была правда, в которой ей нужно было раз и навсегда разобраться.

— Потом об этом поговорим. Поужинаем сначала. Вина выпьем: ты ж мне принес в прошлый раз всего на год и потом, в другой обстановке, обсудим…

Другая обстановка была, конечно, постельная. Робер перебрался к ней. Но и близость с ней и порывы южноамериканской страсти не успокоили его, не угомонили французскую, картезианскую, жажду знания:

— Ты едешь или нет?

— Мне надо подумать. Я не разобралась в себе.

— Рене, это не ответ на вопрос.

Она собралась с духом, потому что отвечать ей пришлось не столько ему, сколько себе самой.

— Ты хочешь, чтобы я ехала с тобой в Аргентину?.. — Он молчал — это не требовало подтверждения. — Чтобы что там делала?

— Вела хозяйство, воспитывала детей, занималась тем, чем занимаются женщины. Только там просторнее, чем здесь, грудь дышит свободнее и к деньгам совсем другое отношение.

— Какое? — поинтересовалась она, потому что никогда в жизни не упускала случая узнать новое.

— Все проще. Когда деньги зарабатываешь собственной шкурой, на коне, с опасностью для жизни, к ним относишься иначе. Ты по себе должна это знать.

— Но работаешь ты все-таки из-за денег?

— А как же? Надо свое дело открыть, собственную торговлю наладить, там контору открыть, здесь. Надо перекачивать из

одного континента в другой то, что там лишнее, а здесь нехватает. Не так разве?

— Так. Ты марксист, Робер.

— Правда? — почти обрадовался он. — Тогда за чем дело стало? Ты, я думаю, тоже не из Святого писания?

— А я плохая марксистка, значит. Мне своего дела не нужно. И денег тоже. Деньги нужны, конечно, но в небольшом количестве. Необходимом для того, чтоб жить и о них не думать.

— А что тебе нужно еще, Рене?.. Ты меня любишь хоть немного?

— Люблю.

— Я тебе нужен?

— Нужен, — отвечала она без тени сомнения, потому что это ничего не решало.

— Так в чем дело? Ничего не понимаю.

— Если бы люди хоть что-нибудь понимали… Мне идея нужна, Робер. Это самое ненадежное из всего придуманного человечеством, но и самое притягательное.

— Так гоняйся за ней там по степи — за идеалами своими. Что я, против разве?

— Мне нужна компания.

— Из таких же, как ты, головорезов?

Она замялась: он попал в точку — она сама бы не сказала этого с такой беспощадной определенностью.

— Наверно. Хотя я этого не говорила. Обычно приходится самой до всего додумываться, а здесь ты помог. Почему, не знаешь?

— Потому что люблю тебя, глупая!.. — и через некоторое время, после любовных исканий и стараний, словно не переставал ни минуты думать об этом, сказал грустно: — У меня впечатление, что я сейчас двух самых близких мне людей теряю, а за что такое наказание, не знаю, — и пояснил: в случае, если она не поняла его: — Брат совсем плох стал, развалина: тоже вот с идеями. У него это во флоте началось, когда он по дурости своей против капитана начал интриговать, а теперь с маленьким сухогрузом справиться не может… Ты… Одно расстройство, словом. Какая бы пара из нас вышла!.. Все. Надо задний ход давать, пока не поздно. Пока сам не свихнулся, с идеями вашими.

— Уедешь? — спросила она не без ревности в голосе.

— В Аргентину? Уеду конечно. После тебя только. Провожу вот — куда, не знаю, и вернусь — залечивать раны…

Они перестали говорить о будущем, но месяц прожили как супруги: это были те отступные, которые идея дала влюбленным: она ведь тоже не вовсе лишена милосердия. Надо было, конечно,

блюсти конспирацию, но она совершила за это время не один вираж, не один заячий прыжок в сторону.

— Консьержка спрашивает, что это ты никогда из дома не выходишь, — сказал он, возвращаясь домой после покупок. — Мол, ходить в магазины вдвоем надо. Теряешь половину удовольствия.

— Выходить не разрешают, — сказала она. — Хотя бы все отдала, чтоб пройтись с тобой по городу.

— Что ей сказать? Она ведь и полиции донести может. Спрашивала меня, когда в Аргентину поеду.

— И пончо привезешь?

— Ну да. Пришлось еще и кожаный пояс пообещать ее мальчишке. В следующий раз кобуру попросит с браунингом.

— Скажи, что мне неудобно выходить. Как-никак невестка.

— Господи! Я и забыл о том, что мы с тобой моральные уроды и преступники. Скажу — она этого полиции не скажет, но всему кварталу растрезвонит, это как пить дать.

— Это не страшно. Любовь, Робер, лучшее прикрытие для подпольщика.

— Поэтому ты и занимаешься ею со мной? А я, дурак, думал…

— А можно и пойти, — передумала она из-за его упрека. — Тошно взаперти.

— А что теперь ей сказать?

— Скажешь, что я решила развестись с ним и за тебя замуж выйти.

— Если бы. Ну и горазды вы на обман… После этого за нами толпами ходить будут…

Они стали выходить в город, посещать кино, театры, концерты, где полиция искала их всего меньше. Если вообще искала…

Можно было не прятаться вовсе, но таков был приказ начальства. У него же был свой расчет — не упустить завербованного агента, к тому же хорошего, неординарного…

К октябрю документы были готовы. Рене решила объехать родных, чтоб попрощаться с ними — может быть, навеки. Робер, не имевший права сопровождать ее, поскольку отношения их были неофициальными, вздохнул и решил воспользоваться двухнедельным перерывом, чтоб доделать дела во Франции и в Аргентине и вернуться к ее отбытию.

Рене объехала многочисленных теток и кузин и везде говорила, что едет учиться за границу — возможно, в Германию и дальше. Это отчасти соответствовало истине, но мать, сопровождавшая ее, всякий раз начинала плакать, когда она это

говорила, и этим всех расстраивала. Хотя все думали, что она плачет из-за предстоящей разлуки, от внимания родных не ускользала безутешность оплакивания, и они заражались ее настроением. Поскольку родных было много, Рене нигде подолгу не задерживалась, и это облегчало дело: длинные проводы, как известно, — долгие слезы.

Она доехала и до Манлет. Бабушке было за семьдесят, и она сделалась неразговорчива. Она жила теперь в старом доме на дальнем конце деревни. Рядом никого уже не было: все жили на ближних ее подступах, где был свет и подводили канализацию. Манлет упрямо не желала переезжать к дочерям и одна вела хозяйство. Она не сразу узнала Рене и не сразу вспомнила, кто перед ней: память ее стала плоха — но осанка и достоинство облика остались прежними, и они без слов сказали Рене то, что она хотела от нее услышать. Впрочем, кое-что она все-таки произнесла с прежними своими пророческими интонациями:

— Это Рене? Я плохо помню уже людей… Будь честной. На свете нет ничего лучше этого… — и Рене, услыхав ее, пустила первую слезу: до этого плакали ее родственники…

Приближался день отъезда — Рене решила заехать и в Даммари-ле-Лис, оставив эту поездку напоследок: она была для нее самой трудной. Ее тетки и кузины по материнской линии были ей преданы: они гордились ее успехами, она стала в семье притчей во языцех, и теперь всем казалось, что она совершает новый рывок в будущее, — поэтому к слезам прощания примешивались надежды, связанные с ее будущей славой. Труднее было с бабушкой Франсуазой, и Рене откладывала этот визит, сколько могла, но все-таки поехала. Бабка все поняла без слов, не стала ни ругать ее, ни жалеть, а сказала лишь странную, в ее устах, фразу:

— Я знаю, куда ты едешь. Не знаю, что тебе и сказать… Я читала про русских у этого Достоевского. Странная и тяжелая нация, но есть в ней и что-то очень привлекательное. Ты только не задерживайся у них. Это не для нашего ума и не для нашего желудка. Напиши, если сможешь. А этот прохвост снова пропал. Теперь и телефон есть — специально для него поставили, а не звонит! Что за странная манера? Взяла бы ты его с собой в эту Россию. Может быть, они б его переделали…

Отца она не дождалась. На Северном вокзале ее провожал другой Робер. Она весь день до этого была как в горячке. Франция, воспоминания о ней, Манлет, деревня в Пикардии, парижские улицы и бульвары, домик в Даммари-ле-Лис, комнату в котором ей посулили снова, Робер, ходивший за ней по пятам неразлучной унылой тенью, — все это до краев переполняло ее,

связывало ей ноги и нашептывало остаться дома: тем более, что она одумалась и страх ее за это время поблек и поистерся, — было неясно, что именно угрожает ей от полиции. Но она все-таки поехала. Она была человеком слова, а узы слова самые жестокие и безжалостные — они-то и обрекают нас на нравственное рабство. И еще один, уже вселенский, рок, напрямую с ней не связанный и от нее не зависящий, сама История, гнала ее вперед, в сходящуюся на горизонте двойную рельсовую нитку бегущей на восток железной дороги…

Прогудел звонок, она села в поезд. Мать, сестра, родня, Робер, сама нежная, благословенная Франция — все дрогнуло, сорвалось с места и осталось у нее за спиною…

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ВОКРУГ СВЕТА

1

Берлин был первой из чужих столиц, повстречавшихся на ее пути. Маршрут его составлялся не ею, она делала отныне то, что ей приказывали, но это не ущемляло ее самолюбия. У нее была душа солдата — недаром она грезила когда-то судьбой Жанны д'Арк, а солдатская жизнь, как известно, такова: во-первых, кочевая, во-вторых, подневольная. Но это не мешало ей глядеть с любопытством по сторонам и составлять обо всем собственное мнение. Таковы военные: они послушны приказам, но ревностно отстаивают независимость своих суждений.

Берлин ей не понравился, показался бедным, почти нищим. Она приехала сюда дождливым утром ноября 32-го. После красочной пестроты Парижа, с его толчеей на улицах и нарядными вывесками кафе и магазинов, Берлин поразил ее сумрачностью. Прямоугольные дома были черны, серы или грязно-желтого цвета. Неуютные площади, булыжные мостовые, залитые дождем, неровно и дробно блестели под ногами и такими ей и запомнились: у нее была фотографическая память, оставлявшая ей подобие снимков со вспышкой, и одной из таких мысленных фотографий был мокрый горох берлинского булыжника. Прохожие глядели сурово, прятали носы и глаза под зонтики и были одеты хуже парижан, а возле вокзала она увидала мужчину, который не разбирая дороги шлепал босиком по лужам, — зрелище в Париже совершенно невероятное. Она зашла в кафе — эти впечатления усилились. Всюду в глаза бросалась бедность. Хозяин не мог сдать сдачи со стомарковой купюры (ей, как водится, дали с собой одни крупные деньги) и долго искал ее по соседним лавкам, а к его столам подходили озабоченного вида клиенты, брали с подносов булочки и поспешно отходили, пряча хлеб в карманы: он в этом заведении был бесплатным. В воздухе, как ей показалось на первый взгляд (а он самый верный), были разлиты тревога и напряжение, порожденные народным унижением и нищетою: горе побежденным, но это то горе, которое может обернуться бедой для победителей.

Следуя инструкциям, она нашла гостиницу, где была назначена встреча, но, как это часто бывало и впоследствии, ее никто не встретил: что-то где-то не сработало. У нее был паспорт на имя люксембургской подданной и деньги, которых, хотя и в больших купюрах, было не так уж много. Она прождала два дня — никто не являлся. У нее, к счастью, был в запасе звонок в Париж: в одном из кафе, в определенный час и день недели сидел не кто иной, как Огюст, который, с помощью ли Марсель или как-

то иначе, но переехал в Париж и включился в прежнюю работу: она узнала об этом от Робера незадолго до своего отъезда. Он должен был прикрыть ее на случай недоразумений, которых всегда много в таком деле. Огюст сказал ей, что решил оставить революционную деятельность, уезжает с Робером в Аргентину и лишь из-за нее сидит еще в Париже, и она поняла из его намеков, что Робер приложил руку к этому промедлению. Она отнеслась к отступничеству товарища не так, как должна была настоящая революционерка: не осудила ренегата, а порадовалась за Робера, терявшего теперь не двух близких ему людей, а лишь одного, который, наверно, был ему все-таки дороже.

— Ты не передала моих писем? — У Огюста на уме были только свои заботы.

— Когда? Я не успела с поезда сойти, как меня завертело.

— А где они сейчас?

— Ты обязательно хочешь, чтобы я сказала это по телефону?..

Она оставила их матери — та сначала решила, что это какие-то важные нелегальные бумаги и взяла с опаской. Рене сказала, что это любовные письма, — тогда мать отнеслась к ним с иным, тоже трепетным чувством, но иного рода, и успокоилась окончательно, когда Рене объяснила, что письма чужие и не имеют к ней отношения.

— Уничтожь их: они больше не нужны, — сказал ей Огюст, и она обещала сделать это при первой же возможности…

Связь была налажена, к ней через день пришла представительница Центра, русская, назвавшаяся Марией: рослая, крупная, светловолосая, с правильными и спокойными чертами лица — «типичная русская красавица», как нарекла ее мысленно Рене: такими они рисовались ей во Франции. Мария хорошо говорила по-немецки и начала с того, что проверила немецкий Рене, осталась им довольна и приступила к делу…

Рене узнала потом то, о чем никогда бы при первой встрече не догадалась, а именно что у Марии семья в Москве, что муж ее занимает видное место в Коминтерне, сама же она не первый год сидит в Германии и в Москве бывает редкими наездами — такое тогда случалось…

Дело началось с политинструктажа: это была обязательная часть бесед с начинающими и с приезжающими в страну агентами: надо было дать им перспективу будущего. Со слов Марии выходило, что многолетнее правление правых социал-демократов в Германии закончилось, что политика их, всегда двусмысленная и демагогичная, никого не устроила и подготовила почву для фашизма, обещавшего немецкому народу порядок и благоденствие…

Русские всегда во всем винили социалистов. Это была их навязчивая идея, и Рене научилась пропускать мимо ушей обязательный набор брани, ей сопутствующий. Отчего они так взъелись на социалистических чинуш и почему те оказывались хуже фашистов, она понять не могла и полагала, что русские в данном случае ошибаются, но вслух этого не говорила: научилась принимать их злоречие за неизбежный довесок к тому, с чем соглашалась и за что готова была бороться вместе с ними. Какая-то тень — если не сомнений, то собственных мыслей на этот счет — пробежала по ее лицу, и Мария, заметив это, не усомнилась в недавних рассуждениях, но внесла в них существенное уточнение.

— Мы тоже оказались не на высоте, — признала она. — Недооценили угрозу правых. Вообще недооценили Германию и, наоборот, переоценили силы Франции, которую считали сильнейшей военной державой на континенте. Сосредочились на ней — в ущерб всему прочему…

Рене почувствовала себя частью этой ошибки и переменила тему — что не положено в разговоре старшего с младшим ни в одной армии мира:

— Фашисты имеют шанс прийти к власти? — спросила она в упор. Она видела на улицах пикеты штурмовиков в коричневых униформах с красно-черными повязками на рукавах и свастиками. Зрелище было не из приятных: те уже чувствовали себя хозяевами положения. Прохожие боялись их задеть и обходили стороной: чувствовали исходящую от них силу и угрозу, но многие и приветствовали и провожали сочувственными окликами и напутствиями…

Мария помолчала.

— Имеют. Гинденбург склоняется к тому, чтоб сделать Гитлера канцлером… — и прибавила для равновесия: — Но есть и сильная компартия. Получившая на последних выборах шесть миллионов.

— Шесть миллионов голосов не двенадцать миллионов кулаков. Если те придут к власти, большая часть их подчинится… — Рене глянула на Марию, ожидая дискуссии на этот счет, но та не стала возражать: русские женщины, как потом выяснила Рене, не любили спорить на отвлеченные темы. «Что будет, то и будет», — было написано на большом гладком лбу и ровном лице Марии, и она почти соглашалась с нею — если бы не светлые, прозрачные глаза, изучавшие ее теперь с удвоенным вниманием.

— У коммунистов боевые отряды, — напомнила она все-таки.

— Если только это, — сказала Рене. — Но их будет недостаточно. Немцы любят порядок и подчинение.

— Это верно, — сказала Мария. — В отличие от вас, французов… Посмотрим. Пока что вам в этой ситуации надо сидеть как можно тише и ждать переброски в Советский Союз. Я вам нашла пансион — спрячетесь в нем как мышка в норке. Никаких авантюр и любовных приключений, — еще и пошутила она, а Рене, не любившая советов и нравоучений на этот счет, даже заимствованных из воинского Устава, съязвила:

— Это общее правило? Нелегкое, наверно? — И Мария, вместо того чтобы отчитать ее и указать на недопустимость такого тона, напротив, вздохнула и сказала сокрушенно:

— Не говорите… Давайте-ка я вам денег дам. Купите что-нибудь, чтоб на люксембургскую барышню больше похожи были. Посмотрите, что носят здешние… — и ушла, укутывая лицо в шарф, а красивое рослое тело — в черный плащ с капюшоном, в котором всякая француженка в два счета бы замерзла…

Отсидеться мышью в норке не удалось. Неизвестно, как Мария нашла ей это прибежище: наверно, по объявлениям в газетах — но находка была явно неудачной. В пансионе жили ветераны недавней войны в чине от поручика до капитана, они блюли в своем общежитии нравы офицерской столовой и согласились с присутствием Рене лишь потому, что хозяйка сдала освободившуюся комнату за двойную, по сравнению с ними, плату, о чем несколько раз повторила за завтраком. Жильцы, с которых нельзя было содрать лишний пфенниг, потому что они были скупы, как могут быть скупы лишь отставные военные, полагающие, что и так уже все, что могли, отдали отечеству, почувствовали здесь нечто вроде угрызений совести и позволили уговорить себя на вторжение молоденькой штатской. Но договоренность эта немногого стоила. Они терпеть не могли всего французского, были натасканы на него, как охотничья собака на дичь, и сразу разгадали в ней представительницу этого племени — а, стало быть, в их рассуждении, особу наглую и развязную: да и какая другая согласится жить в пансионе для отставных вояк и инвалидов? Рене еще по неловкости, неудачно пошутила за первым завтраком, сказав, что теперь будет в их роте чем-то вроде юного барабанщика. Она очень гордилась тем, что вспомнила, как звучит барабанщик по-немецки, и произнесла это слово с особой гортанностью южно-немецкого, как ей казалось, диалекта. Шутка была встречена ледяным молчанием — как в высшей степени неуместная. Если бы Рене сказала, что у них появилась домашняя медсестра, ей, глядишь, и сошло бы с рук, но барабанщик, отбивающий ритм парада, посылающий в бой армии и выполняющий некоторые иные функции? Это было посягательство на святая святых, и Рене сразу оказалась как бы на

осадном положении. В довершение всех бед она совершила еще одну, тоже нечаянную, но еще более опасную оплошность: вынесла из своей комнаты стоявшую там фотографию прежнего жильца, которую, как она посчитала, тот забыл при переезде. Хозяйка, сдавая жилье, не сказала ей (по понятным соображениям), что прежний его обитатель недавно скончался от полученных в войну ран. Между тем этот жилец был своего рода гордость и примечательность пансиона, потому что был ранен одновременно буквально во все места: в голову, живот, грудь, ноги, руки и другие, так что когда он, разойдясь, показывал шрамы, удивлению и обмиранию его соседей не было предела, — настолько он был весь разрисован ими. Теперь, когда Рене небрежно выставила из комнаты святыню, не было уже конца общему негодованию, и оно неизбежно должно было вылиться в действии. Когда Рене, погуляв по городу, вернулась к обеду, ей показалось, что после завтрака ее соседи не расходились, — только съехались со своими столами ближе друг к другу, обсуждая неслыханную дерзость и торча в разные стороны черными, нафабренными усами-пиками. Здесь были представлены все усы того времени, от Бисмарковых до Гинденбурговых включительно, и каждой паре таких клинков сопутствовал колкий и неприязненный взгляд — своего рода совмещенное колющее и стреляющее оружие.

— Если она люксембуржка, — успела услышать она из прихожей: это говорил лысый толстяк с усами, свисавшими по бокам с двумя прядями, как у некоторых собак уши, — то пусть скажет нам что-нибудь по-люксембургски, — на что другой, долговязый и самоуверенный, с бобами, похожими на гитлеровские, возразил:

— Люксембургского языка нету — это знать надо: там все говорят на плохом французском и ломаном немецком. Очень удобно для всяких аферистов, а вот как бы она дочкой Розы Люксембург не оказалась — это другое дело.

— Дочкой — ты скажешь! — возразил третий, более добродушный и покладистый. — Внучкой скорее.

— Ну внучкой. Их тут много. Пока их всех грязной метлой отсюда не вымели…

Неизвестно до чего бы они договорились. Надо было выезжать из этого осиного гнезда. К счастью, она не внесла при вселении месячной платы, как того требовала хозяйка, а то пропали бы деньги и был бы двойной выговор от Марии, и без того неизбежный. Не заплатила же она потому, что ее напугало огромное количество висящего в прихожей оружия: здесь были пехотные шлемы, винтовки, порожние гранаты — даже турецкий

ятаган и пустая ипритовая шашка: особая гордость этого дома. Она решила, что попала в тайный оружейный арсенал и поделилась страхами с хозяйкой. Та посмеялась, но вынуждена была признать, что принимает отставных военных, для кого это оружие дорого как воспоминание. Тут-то осторожная Рене и дала задний ход: она не знала, сможет ли ужиться с отставниками, и, когда хозяйка начала ворчать и полезла в амбицию, Рене обратила ее внимание на то, что ее плата вдвое превышает обычную, так что она сама не знает, почему на нее соглашается. Она знала, конечно, почему, но хозяйку разобрали примерно те же совестливые чувства, что накануне на время навестили ее постояльцев, — она согласилась взять деньги за первые два дня: при условии, что потом Рене будет платить уже без всяких пререканий и с надлежащей исправностью.

И дня не прошло, как контракт был расторгнут. Новость облетела столовую за ужином, и пансионеры, ничего уже не стесняясь, устроили ей форменную обструкцию: отодвинулись со столами подальше от нее, старались сесть к ней спинами и испепеляли ее гневными взглядами, сталкиваясь с нею возле туалета. Почему они выбирали именно это место для выражения непримиримых и враждебных чувств, было неясно, но какая-то связь несомненно наличествовала. Короче говоря, не отбыла она и второго, уже оплаченного ею дня, как оказалась на улице. Найти себе новый приют не составляло никакого труда. Она могла просто перейти улицу и постучаться в дверь напротив, но ей хотелось уйти подальше от покинутого ею вражеского логова: она никогда в жизни не сталкивалась с такой единодушной, объединяющей десяток лиц неприязнью — и пересекла несколько улиц, прежде чем остановилась возле одной из вывесок, напомнившей ей чем-то родную Францию: легкостью почерка и кокетливостью завитушек. Хозяйка была сродни этому произведению искусства — игривая толстушка, одетая в легкомысленные кружева и оборки. Неизвестно, чем она занималась в юности, но кто спрашивает об этом домовладелицу и хозяйку пансиона? Сама она представилась актрисой в прошлом, но для актрисы, даже бывшей, она была чересчур хозяйственна и домовита. Она внимательно оглядела молоденькую жилицу и сразу предупредила ее, что приводить в дом мужчин не положено.

— Только не здесь, где угодно — только не в моем доме! — пропела она, сочувствуя миловидной девушке и, кажется, призывая ее к флирту на улице.

— Упаси бог! — сказала Рене. — Мне мужчины не нужны и даром.

— Тогда надо в монастырь идти, милашка! Какой у вас интересный немецкий. Вы откуда?

— Из Люксембурга.

— У меня были жильцы оттуда. Тоже так говорили — не поймешь: не то свои, не то чужие… — и еще раз оглядела Рене с симпатией, смешанной с желанием заработать на ней. — Вы цены мои знаете?

— Нет.

— И вам это тоже не нужно?

— Почему? Горю желанием.

— Опять! Как интересно говорят в Люксембурге!.. — и назвала цены — впрочем, разумные и умеренные. Они сразу же столковались. — И еще! — допела свою арию хозяйка. — У меня никакой политики! Говорят о чем угодно, только не о партиях и не о выборах канцлера! Я пожить еще хочу — сейчас начала только.

— Ваша политика меня тем более не интересует. — Рене старалась теперь говорить правильно, потому что шутки на немецком явно ей не удавались.

— А что вас, милая, интересует?

— Юриспруденция, — отвечала Рене. — В особенности Гуго Гроций. Я приехала, чтоб подготовиться к экзамену. У вас хорошие библиотеки. — И хозяйка, застеснявшись и даже испугавшись такой учености, оставила ее в покое и провела в апартаменты. Рене наскоро осмотрелась: народ в доме был веселее и сговорчивее, чем в прежнем, но ей было пока не до этого. Надо было известить Марию, что она самовольно покинула предписанное ей жилище.

У нее был телефон на крайний случай: лишний раз звонить по нему не советовали. Ей не хотелось начинать с нарушений правил, и она стала думать, как выйти из положения. Телефон в парижском кафе, конечно, на связь уже не выходил, но можно было позвонить в контору к Роберу — тем более что ей захотелось с ним проститься. Она позвонила из почтамта. Ей повезло, и повезло дважды: братья готовились к отъезду и паковали в офисе чемоданы, Огюст за чем-то вышел, и она попала на Робера.

— Это ты? Рада тебя слышать, — весело сказала она.

— А уж я-то! Где ты?

— Все там же. Доволен, что хоть одного из нас получил?

— Мне б обоих, Рене. Это разные вещи… Может, передумаешь?

— Уже поздно. Да и тогда так было.

Он помолчал, переваривая ее слова.

— Наверно. Иначе бы согласилась… Позвонила, чтоб проститься?

— Ну да… Потом, у меня небольшие сложности.

Он встревожился:

— Что-нибудь серьезное? Может, приехать?

— Опять пароход менять? Нет уж. Свои трудности я сама буду расхлебывать.

— Я это тогда уже понял. Но что надо все-таки? Так бы не позвонила.

— Пусть Огюст позвонит по телефону, который знает, и скажет, что я в новом пансионе, — и продиктовала ему адрес и телефон нового жилища. — Пусть только звонит не из дома. Он это знает.

— Это серьезно?

— Ничего серьезного, Робер. Пустяки, ничего больше. Но на всякий случай — пусть позвонит. Когда едете?

— Завтра.

— Хорошо, что успела.

— Связаться через нас?

— Нет, с тобой попрощаться, — и положила трубку раньше времени: веселость ее вдруг сменилась грустью…

Мария позвонила на следующий день и предложила встретиться на улице. Вопреки ожиданиям она не стала выговаривать ей за переезд: только выслушала и виновато покаялась:

— Надо было самой внутрь зайти. Я с хозяйкой в бюро найма познакомилась. Показалась мне приличной. И про соседей твоих будущих спросила — говорит, пенсионеры. Ну, думаю: то, что надо.

— Туда вам не надо было идти. Опасно.

— Да конечно! — с досадой сказала та и посмотрела испытующе: — А почему через Париж звонила?

— Потому что мне сказали, что пользоваться вашим телефоном следует только в крайних случаях.

— Можно было и позвонить. В центре тревога поднялась: непредусмотренные контакты… Да ладно. Все, говорят, хорошо, что хорошо кончается. У вас есть такая поговорка?

— Она, наверно, на всех языках есть.

— Можешь процитировать?

— На трех языках, наверно.

— И на всех так же хорошо, как на немецком?

— По-немецки я, оказывается, говорю неважно. Угадывают чужую.

— Никто не говорит на языке чужой страны так, чтобы этого

не почувствовали местные. Я здесь уже столько лет и прежде немецкий знала, а до сих пор за немку из Силезии прохожу — польского происхождения. Или польку немецкого — еще не определилась. В любом случае не своя — но зато и легкий акцент прощают и то, что я юмора их не всегда понимаю. Не знаю уж, из-за языка или из-за чего другого.

— Вот-вот. И у меня с шутками плохо.

— А ты и не шути. Нашла место. Что ты по вечерам делаешь?

— Пока не знаю. Вчера со своими вахмистрами воевала.

Мария кивнула с пониманием.

— Пойдем погуляем как-нибудь. Тут, говорят, одна певица-антифашистка в кафе-кабаре песни поет против Гитлера.

— Ходят слушать?

— Ну да. Те, кто вслух это сказать боится…

Это было политическое кафе-кабаре. До сих пор Рене знала одну только разновидность политического кафе: ту, в которой сначала заседала, а потом пила ячейка отчима, но чтоб одновременно пили и пели на злобу дня, такого не было — французы, при всем своем вольнодумстве, слишком уважали еду, чтобы сочетать ее с политикой. В кафе было два десятка мест и сцена в глубине зала: на ней играл пианист, вокруг фортепьяно ходила женщина, певшая баллады и зонги антифашистского содержания. Это была немолодая дама, казалось, черпавшая силы в своем пожилом возрасте. У нее были длинные, седые, намеренно не чесанные волосы, она была размалевана румянами и белилами, как цирковой клоун, и, когда пела, маршировала по сцене, изображая идущих по городу фашистов, и рот ее растягивался в гримасе, и лицо дергалось как под ударами.

— «Они зовут немцев проснуться, — пела она, — а на самом деле убаюкивают их, усыпляют, чтоб вернее провернуть свои делишки. А тех, кто не захочет слушать их, они проучат плеткой, плеткой, плеткой!..»

Это было пол-беды: она не называла ни имен, ни партий — хуже было то, что когда она доходила до подобных мест, ее напарник-пианист, продолжая играть одной рукой, вставал и другой дергал за картонную фигуру с круглыми, как две фасолины, усиками, а она поднимала руку в ставшем известным на весь мир древнеримском приветствии.

— Они рискуют, — прошептала Мария, и, хотя это было сказано Рене, мужчина за соседним столом переглянулся и молча согласился с нею…

Как бы в подтверждение этих слов в кафе вошли четыре штурмовика в их еще не официальной форме и, следуя команде одного из них, приступили к делу: двое стали у дверей, следя за

действиями посетителей, двое пошли на сцену.

— Ну вот! Надо смываться! — Их сосед оглянулся на дверь: он и перед этим словно каждую минуту ждал чьего-то вторжения…

Один из штурмовиков выхватил картонную фигурку из руки пианиста, который в это время как раз ею размахивал, и порвал ее, второй содрал с задника и растоптал сапогами афишу концерта. Пианист не сказал ни слова в ответ — только когда штурмовик хлопнул крышкой рояля, знаменуя этим окончание представления, позволил себе проворчать что-то враждебное и неразборчивое. Певица же сразу вступила в драку с обидчиками: размахивала руками, пытаясь дотянуться до лица того, что расправлялся с афишей, или хотя бы сорвать с него кепи, чтобы хоть таким образом унизить, но тот был слишком для нее рослым — она до него не доставала. Вначале он смеялся и увертывался, а те, что стояли у дверей, потешались над этим почти цирковым номером, но когда она все-таки вывернулась и зацепила его, штурмовик разозлился и дал ей пощечину, так что с ее физиономии, как с крашеной стены, посыпалась побелка.

Это был сигнал — либо к началу драмы, либо к ее окончанию. Пианист, до того не двигавшийся с места, дернулся в направлении дерущихся (может быть, это был муж актрисы, как это часто бывает в таких парах), но в ту же минуту в кафе, от одного из столов, раздался тревожный и звонкий голос, предостерегающий драчунов и предлагающий им немедленное отступление: их антрепренер или товарищ, лучше оценивающий ситуацию. Актеры замерли среди начавшейся стычки, переглянулись и сошли с подмостков.

— Идите, идите, — напутствовал их тот, что порвал картонную марионетку. — Далеко не уйдете. Вы у нас на примете. На прицеле, я бы сказал…

Посетители кафе, униженные увиденным, молчали и бездействовали — никто не вступился за лицедеев. Только владелец кафе вышел на шум и попытался, на свою беду, разыграть роль арбитра или, что хуже, стороннего наблюдателя. До него не дошли последние слова незваных гостей — если б он их услышал, то, наверно бы, повел себя иначе.

— У нас гости? Им не нравится представление? Так это ж невинная шутка — от нее вашему Адольфу только прибавится популярности. Смеются над тем, кого любят. Потом, у них есть разрешение, — поспешил прибавить он: на случай, если штурмовики этого не знали. — Те отвечали каменным безразличием. У них было свое мнение на этот счет. — Мы, конечно, уберем эту фигурку, если она вам не нравится, —

продолжал хозяин заведения, — но как быть с контрактом? Кто будет платить неустойку? Может, мы все-таки договоримся?

— Мой тебе совет, — сказал один из стоявших у дверей, — закрывай свою лавочку.

— Что ты с ним разговариваешь? — сказал ему напарник. — Не видишь, он еврей?

— Разве? — удивился тот. — А я ходил сюда, не знал. Ты, оказывается, еврей, хозяин? А имя немецкое взял — Генрих!

— А что в этом плохого? — взъерошился тот, не привыкший еще к такому обращению. — Гейне тоже был Генрихом.

— Вот оно что! — не отвечая на этот экскурс в историю, протянул его недавний советчик. — Тогда все ясно. Тогда и говорить не о чем.

— Ладно! — сказал главный цербер у двери, подводя итоги акции. — На этом сегодня закончим. Если что-нибудь в этом роде повторится, пеняйте на себя. И не думайте жаловаться в полицию. Он вон в полиции работает, — и указал на одного из своей компании. — По утрам там, а вечером с нами. — Приятель ухмыльнулся в знак согласия, и вся компания покинула помещение, оставив посетителей сетовать на происходящие в стране перемены и запоздало и приглушенно обвинять налетчиков в хамстве и беззаконии…

— Никто не заступился, — сказала Рене, более всего потрясенная этим. Они шли с Марией по Берлину, который впотьмах утратил дневное скучное однообразие, но обрел зато нечто мрачное и угрожающее: как ночной лес с одинаковыми черными елками, в которых зашевелились вдруг дикие звери.

Мария глянула искоса:

— Никто… Здесь, правда, не было рабочих дружинников и спартаковцев… — но тут же добавила: — Но у них и не было бы приказа действовать.

— А без приказа нельзя? — спросила Рене, и Мария деликатно промолчала. — Во Франции была бы драка: никто б не ждал, когда ему это скажут. Чтоб на людях ударили женщину?!. А с евреем-хозяином?!

Мария, словно была в чем-то виновата, перевела разговор на другие рельсы:

— Хорошо, что мы в стороне остались… Я, собственно, сюда по заданию шла. И тебя с собой взяла, потому что по одному в такие места не ходят. Так что ты, считай, участвовала в боевом задании.

— Ходили смотреть певицу, чтоб вовлечь ее в нашу деятельность?

— Что-то в этом роде. Но ничего б не вышло.

— Почему?

— Разве ты не видела, какая она? С ее лохмами и румянами? Богема, Рене — нам не нужны такие.

Рене была все еще зла: на штурмовиков, на себя самое, на завсегдатаев кафе, на его случайных посетителей.

— Тебе не кажется, что мы чересчур разборчивы? — Ей хотелось сказать «вы» вместо «мы», но она вовремя спохватилась. — Может быть поэтому все так и идет? У хорошего хозяина все в хозяйстве сгодится… — («А у плохого и сам он лишний», хотела добавить она, но снова удержалась.)

— Ты как крестьянка рассуждаешь, — не споря с ней, заметила Мария. — Мы, русские, тоже такие… — Потом у нее невольно вырвалось: — Иногда мне кажется, что мы сами хотим, чтоб он пришел к власти… С ним проще воевать, чем с традиционными западными демократиями… — и испытующе глянула на Рене: можно ли открываться ей подобным образом. Но инерция доверия взяла верх, и она сказала еще: — Тут скоро жарко станет. И не только здесь… Мы раньше вдвоем с мужем работали — его теперь в Москву взяли, и я не знаю, к лучшему это или к худшему… — И Рене, образумившись, перестала нападать на нее, а взглянула с острым сочувствием. Мария умолкла, и Рене не стала расспрашивать, кто ее муж и что он в Москве делает. И так Мария сказала больше, чем следовало…

Надо было вести светскую жизнь и готовиться к мнимому экзамену. Рене купила учебник русского языка, обернула его бумагой, чтоб не было видно названия книги, зубрила неодолимые для француза склонения и спряжения и, уходя, прятала его подальше: на высокий шкаф, под книги или в старую изразцовую печь, ныне бездействующую и служившую украшением комнаты, — на случай, если любопытной хозяйке вздумается обыскать ее вещи. Она жила уединенно. Обсуждать то, что ее волновало, было решительно не с кем. Мария, в редкие встречи с нею, говорила теперь мало: может быть, жалела, что разоткровенничалась в прошлый раз, и хотела показать, что это был случай, на который не следует рассчитывать в будущем. В начале декабря прокатили Гитлера: вместо него (а все ждали, что будет он) канцлерское кресло получил генерал Шляйхер. Это было событие, могущее повести к политическим дебатам, и хозяйка дежурила в этот день в столовой с особенной бдительностью. Она первая завела разговор о случившемся: чтоб направить его по верному руслу и предупредить ненужные кривотолки.

— У нас с сегодняшнего дня новый канцлер, генерал Шляйхер, — объявила она, помахивая сложенной газетой: словно

не решаясь дать ее остальным в руки. — Он будет формировать правительство. Я очень рада этому. Я люблю, когда у нас формируют правительство.

— Министр обороны Шляйхер, — уточнил один из ее жильцов, будто это имело существенное значение. Это был отставной чиновник, живший отдельно от семьи, которая иногда его навещала, и предпочитавший пансион, где ему никто не мешал читать газеты и делать из них далеко идущие выводы, которыми он ни с кем не делился: среди обитателей пансионов много разного рода уникумов. — С тринадцатого года в Генеральном штабе, женат, любит старые картины.

— Верно, господин Зиберт! — воскликнула хозяйка: она заглянула в конец статьи, который не удосужилась прочесть прежде, и нашла там примерно те же сведения. — Все так, только про картины нет. Вы читали этот номер? Он же только что вышел — когда вы успели?

— Я читал не этот номер, — назидательно ответствовал тот, — а все номера всех газет за последние двадцать четыре года, и мне не нужна последняя газета, чтоб знать такие вещи. Круг влиятельных людей узок, фрау Мюллер, карты тасуются, но выпадают всякий раз одни и те же картинки — разве только разной масти и достоинства. Кроме того, это можно было прочесть во вчерашнем номере: тогда он еще не был канцлером и можно было писать о его увлечениях.

Все это прозвучало не слишком патриотично и не в духе времени, каким представляла его хозяйка, — поэтому она обернулась к другим гостям.

— А я люблю Адольфа Гитлера, — рискнула сказать она, хотя это было против ее правил и граничило с вмешательством в политику. — Он мне больше по душе: молодой, веселый, энергичный, с усиками. Женщинам нравится — я вчера об этом на рынке говорила. Многие бы его в постель к себе положили. Вы так не считаете, доктор Бременер? — совсем уже невпопад спросила она еще одного жильца. — Вы, наверно, тоже ему симпатизируете?..

Она добилась своего: в пансионе в этот день прозвучал голос правды.

Доктор Бременер был врач, оставивший дела и перешедший на заслуженный отдых, который он по привычке занимал чтением новой и старой медицинской литературы. Он находил, видимо, в книгах свои прежние ошибки и ставил, с запозданием, правильные диагнозы — потому что, читая, время от времени качал головой и покряхтывал. Жил он в пансионе с недавних пор и платил больше других — по той причине, что был евреем,

который в ожидании худших времен продал, пока это было возможно, все, что удалось сбыть с рук, и теперь сидел и ждал у моря погоды. Прежде чем ответить, он, выведенный из себя ее бестактностью, подождал, помешкал и неожиданно согласился с нею:

— Да вы знаете, я тоже бы хотел, чтоб назначили его, а не Шляйхера. — И хозяйка, не чувствуя подвоха, закивала в полнейшем удовлетворении. — Потому что тогда бы я на следующий день сел на пароход и отплыл бы в Америку. У меня все к этому готово, — еще больше выходя из себя, но сохраняя благопристойный, вводящий соседей в заблуждение тон, разговорился он. — Все, что можно, уже продано, и деньги помещены в американские банки.

Хозяйка была не то глупа как пробка, не то прозорлива, как Сивилла.

— Но вы еще не все потеряли, — простодушно возразила она ему. — Могут пересмотреть и выбрать его — вместо генерала Шляйхера. Мы с вами тогда вместе порадуемся.

Это было чересчур даже для доктора Бременера.

— Если это произойдет, фрау Мюллер, вы сами меня отсюда выгоните. Так что я не буду этого ждать, — походя решил он, — а воспользуюсь данной мне отсрочкой и поеду прямо сейчас к моим родственникам.

— Но я потеряю такого жильца?! — сокрушенно воскликнула она. — Который так хорошо платит?

— Что делать, фрау Мюллер, — посочувствовал он ей, уже вполне овладев собою. — Нельзя резать курицу, несущую золотые яйца. А вы как раз этим и занимаетесь. Сколько, кстати, стоит сегодняшний завтрак? — и полез в карман.

— Вы заплатите в конце месяца! Какие могут быть расчеты сейчас?

— Но все-таки?

Хозяйка помешкала.

— Если вы так настаиваете, — чопорно сказала она, — то сегодня я особенно старалась. Потому что день праздничный… — и примолкла в нетерпеливом ожидании.

Доктор Бременер расплатился, как всегда, с избытком, встал, раскланялся и пошел наверх собирать книги и чемоданы. В Чикаго жили его сестры и племянники, более расторопные, чем он, — они давно его ждали. Сам он семьи не имел, а задерживался в Германии из-за свойственного многим врачам заблуждения: они почему-то думают, что стоят в обществе особняком и что общая участь их не коснется, — но хозяйка, надо отдать ей должное, помогла ему принять необходимое решение и

спасла от иной, более печальной, участи.

30 января Гитлер пришел к власти: Гинденбург-таки передумал и назначил его канцлером. В воздухе запахло насилием. Теперь по радио неслись крикливые речи Геббельса. Он начинал каждый день одним и тем же: «Четырнадцать лет мы терпели это!», имея в виду правление социал-демократов и натравливая немцев на левые партии. Еще он говорил о «жизненном пространстве» для Германии, и простодушные слушатели, не вполне понимая смысла этих слов, задерживались под громкоговорителями и во всеуслышание его одобряли: чтоб слышали соседи по дому и просто — случайные прохожие; в стране устанавливалась атмосфера всеобщего единения и подъема.

Доктор Бременер отбыл в Америку вовремя. Рене стала свидетельницей одного из первых еврейских погромов. Это был еще не погром в тесном смысле слова, а так — проба пера, репетиция будущего. Рене шла по благополучному кварталу города: ей не советовали заходить в рабочие районы, где можно было нарваться на какую-нибудь историю. Тем отвратительней было то, что она увидела: в окружении благополучных домов и их хорошо одетых обитателей. Возле небольшого кафе, предлагающего берлинцам бочковое пиво и к нему — добротную домашнюю закуску, стояли трое молодых рослых парней в коричневых рубашках и в армейских галифе и швыряли камни в окна и стеклянные двери. Совершали они это как нечто обычное и естественное и смеялись при этом, будто бросали камни не в стекла окон, а в речку: как делают это на спор соревнующиеся подростки. Стоявший рядом полицейский пытался урезонить их, но не вступал в прямое противоборство.

— Ребята, я все понимаю, но закон против вас. Это не дозволяется. Если он завтра жалобу подаст, что мне начальству отвечать?

— А он не будет жалобу подавать, — сказал пренебрежительно один из нападавших. — Нам тоже есть что на суде сказать. Пришли к нему, попросили пива бесплатно: пить очень хотелось — а он не дал, морда этакая. Да после этого ему вообще тут, на этой улице, делать нечего! — и снова бросил камень, который достал из-за пазухи: они запаслись ими заранее. На этот раз он кинул сильнее, и щебень, пролетев отсутствующее стекло, разбил что-то в доме — видимо, посуду в горке. — Вот, — удовлетворенно сказал молодой человек и огляделся в поисках похвалы и поощрения, но люди кругом молчали и выглядели угнетенными: битье чужих стекол действовало им на нервы.

Хозяин кафе сидел в осаде и не высовывался из дома.

Молодая девушка: видно, его дочь, с явно неарийской внешностью, курчавая и носатая, — прошла мимо, высоко подняв голову, сохраняя на лице презрительное отношение к обидчикам: она преодолевала страх и мстила им за него вызывающей походкой. Ей вслед посыпались оскорбления и улюлюканье…

Трое парней не то рабочего, не то спортивного вида задержались возле дома и переглянулись. Штурмовики насторожились, умолкли, ожидая стычки, а полицейский отошел от греха подальше, чтоб не оказаться вовлеченным в потасовку, где ему одинаково невыгодно было оказаться как ее участником, так и свидетелем. Но те трое, переглянувшись, не стали ни во что вмешиваться: на то не было приказа — Компартия готовила своих членов к решительному сражению и не хотела распылять свои силы без надобности…

Рене отошла в бешенстве. Если бы те трое полезли в драку, она бы, несмотря на запреты, тоже бы в нее ввязалась. Она начала тяготиться своим пребыванием в Берлине, где от нее требовалось только молча наблюдать за происходящим. Документов из Москвы все не было. Если кто-то нарочно захотел задержать ее здесь на время прихода фашистов к власти, то это был гениальная выдумка: за месяц она стала законченным антифашистом, увидевшим врага в лицо и не нуждающимся в дальнейшей учебе и вразумлении. Но конечно же это было не так: просто документы делались очень долго, и будущим агентам приходилось ждать месяцами, пока из Москвы придут их липовые бумаги.

27 февраля подожгли рейхстаг. После этого оставаться в городе стало опасно. Компартия ушла в подполье, не дождавшись ни решительного сражения, ни своего звездного часа. Рене послали с глаз долой — и не куда-нибудь, а на лыжный курорт: даже купили ей лыжную экипировку — благо времена стояли тревожные, гостей в Альпах было немного и жизнь там была не дороже, чем в берлинском пансионе. Всякая обновка радовала ее, будто она все еще была подростком — у нее даже мелькнуло желание заняться этим доселе не доступным ей светским спортом. Но оно улетучилось, едва она стала на лыжи. Дело было не в том, что они не подчинялись ей: они никому сразу не даются — она не могла понять, как можно развлекаться и заниматься пустяками, когда земля горит под ногами. Ей попался добросовестный инструктор, который сидел без дела и, желая отработать зарплату, добивался от нее, чтоб она хотя бы освоила спуск с пригорка, хоть умение ходить по ровному месту. Она играла роль отдыхающей барышни из хорошего дома, но делала это из рук вон плохо и в конце концов послала его ко всем чертям:

— Ну что вы ко мне пристали?! Не видите, что у меня ничего не получается?! Да и не хочу я учиться, по правде говоря! — На это он резонно заметил:

— Зачем же тогда сюда приехали?

— Сама не знаю. — Она вспомнила конспирацию. — Не выходит, и все тут. Видно, развлекаться тоже надо уметь и учиться этому с детства…

К счастью, вскоре подоспели документы. Она прервала альпийский отдых, вернулась в пансион к фрау Мюллер, отдала Марии люксембургский паспорт, который мог еще кому-нибудь пригодиться, дождалась, когда ей проставят в новом необходимые визы, села на поезд и поехала в страну, о которой много думала и давно хотела увидеть ее воочию…

2

В Москву она прибыла 15 марта 1933 года. Опять что-то где-то не состыковалось: на вокзале ее не встретили. Но она была в приподнятом настроении, совсем не обиделась на это, а решила осмотреть город в одиночестве — для первого знакомства это не помеха, а преимущество. Погода стояла великолепная: снег, солнце, мартовский морозец — всего этого она прежде не видела. Москва: тогда малоэтажная, убранная снегом, сверкающая под солнцем, — показалась ей средоточием русской души, приветливой и добродушной, о которой она составила себе представление во Франции. В тон зимнему солнечному пейзажу были и лица людей на улицах — москвичи представились ей добродушными, улыбчивыми и свободными, и впечатление это осталось в ней если не навсегда, то надолго. Первые ощущения, вообще говоря, самые верные: пока чувства наши не пообвыкли и не утратили остроты и свежести восприятия, — но к ним примешивается восторг первой любви и увлечения: они пристрастны и требуют уточнения.

Берлинские товарищи, зная российскую необязательность (впрочем, мало отличавшуюся от их собственной), дали ей номер телефона, который она, не зная русского, могла предъявить в любом отделении милиции. Бумажка с шестью цифрами возымела волшебное действие — тут же приехал шофер, говоривший по-немецки, и повез ее в гостиницу, называвшуюся тогда «Новомосковской», позже «Бухарестом», потом снова, как встарь, «Балчугом». По-русски она знала только «спасибо» и «товарич», но большего и не требовалось: в гостинице жили приезжие из разных стран мира — с такой же судьбой, что и у нее, говорившие на нескольких языках каждый. Ее поселили в небольшом номере в одном из длинных узких коридоров, обитых темно-красным стершимся от времени плисом, и освещаемых постоянно горящими тусклыми лампочками. Она выложила вещи, расставила их в надлежащем порядке: поскольку собиралась остаться здесь надолго, — и пошла знакомиться с соседями.

Знакомятся в таких местах не как во всех прочих. Ее предупредили в Берлине, что в Москве она будет Кэт и не будет никому о себе рассказывать — кроме тех, кому положено об этом спрашивать. На ее крохотную площадку выходили три двери, включая ее собственную. Первая не откликнулась на ее стук, вторая отозвалась — после непродолжительного, наполненного особенной, затаенной тишиной промедления. Открыл ей высокий мужчина лет сорока с лицом характерным, крупным, но

одновременно выразительным и подвижным. Такие мужские лица, большие и переменчивые, нравятся женщинам: они подобны ожившим портретам, вышедшим из картинных рамок. Понравился он и Рене: ведь она, после знакомства с Марсель, пристрастилась к живописи. За незнакомцем, у стола, в неопределенном ожидании стояла женщина лет тридцати; она, как представилось Рене, была не слишком рада ее появлению — мужчина же был удивлен и ждал, что за ним последует: в этой гостинице, видно, не было принято беспокоить друг друга. Впрочем, увидев приоткрытую соседнюю дверь, он все понял, и легкая настороженность на его лице сменились гостеприимством и радушием.

— Это новая соседка, — объяснил он стоявшей за ним женщине. — Заходите, будем знакомиться. — Его подруге эта причина показалась недостаточной для вторжения, но в следующий момент и она заставила себя улыбнуться и отошла в сторону, уступая Рене дорогу.

Мужчина назвался Паулем, женщина Луизой. Пауль обратился к ней сначала на русском, которого Рене, естественно, не поняла, потом последовательно на французском, английском и немецком: каждый звучал у него чисто и правильно, но немецкий уютнее прочих и по-домашнему. Она, блюдя конспирацию, выбрала немецкий — тем более что за четыре месяца, проведенных в Германии, научилась думать на этом языке и говорить довольно бегло, с берлинскими замашками. Она снова переоценила свои способности: Пауль глянул на нее с легкой иронией, но не стал спорить.

— Знаете немецкий? — спросил он только. — Это очень удобно, потому что с остальными у нас швах — ковыляем да прихрамываем. — Он, видно, имел в виду свою соседку, потому что сам был полиглотом. — Вы откуда?

— С вокзала, — отвечала она. — Только что приехала.

— Ну да. Понятно… — и подмигнул Луизе, которая разглядывала Рене с любопытством и без прежнего отчуждения. Женщина, в отличие от мужчины, была некрасива: лицо ее, тоже большое, с крупными мясистыми чертами, выглядело поначалу застывшим, невыразительным и пренебрежительным, но позже за этим малоподвижным фасадом становилось видно некое горение — настолько постоянное, что лица оно уже не меняло, а отражалось в нем непрерывным внутренним накалом.

— А что ж вы дверь не закрыли? — полюбопытствовал Пауль, сразу принимая по отношению к Рене тон старшего товарища: ей ведь было всего девятнадцать.

— Там нет ничего, что может приглянуться ворам.

— Воров тут, конечно, нет, — протянул он, заглянув с любопытством в ее комнату и сразу увидев в ней нечто стоившее его внимания. — А вот газета у вас из саквояжа торчит — это интересно…

Это была непростительная ошибка с ее стороны. Номер фашистской «Фелькише беобахтер» с большими черными готическими буквами, похожими каждая на свастику, служил на немецкой границе доказательством ее лояльности, но в Москве выдавал ее с головою. Она смутилась.

— Дайте почитать! — не обращая на это внимания, попросил он почти детским голосом. — Я ж знаю, что вы оттуда. В это время приходит только поезд из Берлина.

Пришлось открыться.

— Я действительно из Германии. Меня зовут Кэт.

— Долго там были?

— Достаточно, чтоб узнать немца по выговору.

— Но недостаточно, чтоб самой сойти за немку. Луиза! Она из Берлина, — сказал он, оборотившись к соседке — не потому, что та не слышала их разговора, а потому что это был способ представить новенькую. — Сейчас расскажет нам, что там. Пойдемте к нам. К Луизе, вернее. Газету только непременно с собой возьмите.

— Она фашистская.

— «Фелькише беобахтер»? Я знаю. Тем лучше. Получим сведения из первых уст. Из первоисточника.

— Я не буду ее читать, — предупредила Луиза. — Слишком их ненавижу.

— А я для тебя ее просил. Я-то их читаю — время от времени. Тогда выкладывайте, Кэт. Это имя очень идет к вам: видно, сами выбирали…

Через некоторое время она узнала, что это были немцы Рихард Зорге и Ольга Бенарио, будущая жена председателя Бразильской компартии Луиса Карлоса Престеса. Ольга была арестована вместе с мужем в 1936 году в Рио-де-Жанейро, передана бразильцами гестапо и погибла в концлагере. До этого, в Германии, она участвовала в похищении из зала суда первого своего мужа, тоже коммуниста, — он эмигрировал с ней в Москву, но здесь пути их разошлись: он выехал с заданием в другой конец света. Рихард Зорге, к моменту встречи с ним Рене, успел побывать в верхах германской Компартии, потом был в Коминтерне, а с 1929 года находился в распоряжении разведки Красной Армии: работал в Китае и Японии. Он везде преуспевал и умел расположить к себе людей — настолько, что те забывали о его коммунистическом прошлом, которого он ни от кого не

скрывал, что было лучшей из конспираций. Тогда многие проделывали этот путь: переболев коммунистической ветрянкой, как бы получали необходимую прививку и вовремя возвращались на проторенную и испытанную тропу жизни — ошибки юности не укор зрелому возрасту…

Рене поведала им свои наблюдения. Рассказывать она не умела и не любила — особенно то, что не считала важным и достойным упоминания, — ее невозможно было разменять на мелочи, но то, что ей в свое время запомнилось и ее взволновало, излагала кратко, но доходчиво. Они слушали молча, не перебивая и не задавая вопросов, словно это не было у них принято или то, что она говорила, было им известно и их интересовала больше сама она и ее манера рассказывать. Но видимость была обманчива: ее повествование произвело на них сильное и тяжелое впечатление.

— Даже так? До погромов дело доходит? — переспросил Пауль, когда она рассказала, как три штурмовика громили кафе, где им утром не дали бесплатно пива. — Отношение к евреям — это у них показатель наглости и безнаказанности. Как термометр у больного. Видно, решили вовсе не считаться с законами.

— Да они никогда с ними не считались! — холодно возразила Луиза, у которой рассказ Рене оживил давние гневные воспоминания, отчего ее лицо, и без того несимметричное и неправильное, перекосилось еще больше.

— Но это у себя, в своих казармах, а на людях? На публике?.. — и Пауль пожал плечами, раздумывая над услышанным. — Ладно, — отвлекся он. — Надо и о Кэт подумать. Она с дороги, ей отдохнуть надо…

— Мне это не нужно. Я выспалась в поезде.

— Вот чего мне никогда не удавалось — так это спать при переезде границы. Москвы не видели?

— Походила немного возле вокзала. Меня, конечно, не встретили.

— Это надо сказать! — обеспокоился он. — Что за новости?

— Ради бога, не нужно! — воскликнула она. — Я не люблю жаловаться. И уж тем более начинать с этого!

Он не стал возражать — вернулся к разговору:

— Ну и как вам Москва? Если отвлечься от того, что вас не встретили?

— Понравилась. — И Рене кратко сформулировала им свое минутное, но уже неколебимое впечатление о городе: сказала и про радушную улыбчивость москвичей и про их чувство внутренней раскрепощенности. Они и это выслушали молча, не тратясь на комментарии: предпочитали смотреть и слушать и

делать это по возможности незаметно. Пауль сохранял при этом на лице некий благожелательный нейтралитет, а Луиза была настроена более скептически и, слушая Рене, чуть-чуть кривила губы — но это было у нее скорее привычка, тик, чем выражение недоверия.

— Красной площади и Кремля, словом, не видели, — подытожил Пауль. — А это здесь почти паломническая обязанность.

— Меня больше интересуют пригороды, — сказала Рене с юношеской запальчивостью и прямолинейностью. — В них лучше видишь людей и чувствуешь дух города.

Пауль мельком глянул на нее.

— Вы не из Сен-Дени? — с точностью до нескольких километров угадал он. — Вы же француженка, Кэт. Не только вы умеете узнавать людей по голосу.

— С чего вы взяли? — уперлась Рене, не желая сознаваться и следуя в этом инструкции.

— Похожи. Акцент похож. И кто еще пригородами хвастает? Пригороды больше самого города, так? — (Эта французская пословица означает примерно то же, что наша: «Не видеть за деревьями леса». — Примеч. авт.)

Она улыбнулась:

— Примерно так. Хоть это и говорят в насмешку, но так оно и есть.

— Конечно француженка, — повторил он, еще раз приглядевшись к ней. — Хотя и не совсем обычная.

— Обычных здесь нет, — сказала Луиза. — Обычные дома остались, — и с ней трудно было не согласиться…

Они пошли гулять по городу. На выходе из гостиницы офицеры охраны поздоровались с Паулем как со старым знакомым, но проверили документы его спутниц, после чего лихо откозыряли. Они перешли Каменный мост, вышли через Владимирский спуск к Красной площади. Рене хорошо знала площадь по фотографиям, у нее не возникло чувства новизны, когда она на нее ступила, но зато ее привел в восторг собор Василия Блаженного, и она дважды обошла его, задирая голову и запоминая шишки и навершия разноперых глав и луковиц. На снимках Красной площади, которые она видела, собор многое терял в плоскостном изображении, его надо было видеть в объеме и движении: она вспомнила тут уроки Марсель в Лувре.

— Сколько шапок — и все разные! — восхищалась она. — И нет симметрии. Не это ли основное качество русских?

Пауль согласился с осторожностью:

— Да, это, пожалуй, самое русское из всего, что здесь есть.

Кремль строил итальянец Фиораванти, соборы в Кремле прекрасны, но и они не новы для Европы, а этот собор делал русский зодчий, Барма. Ему выкололи глаза — чтоб другого такого не поставил.

Рене ужаснулась:

— Была такая русская традиция?

— Скорее восточная, — с той же предусмотрительностью: будто ходил по болотным кочкам — сказал Пауль. — Так поступал, например, Тимур: русский царь в этом случае его скопировал… Вы говорите, русские люди на улице произвели на вас впечатление внутренней свободы и раскованности?

— Да. Не так разве?

— Так, наверно, — дипломатично отвечал он, как бы извиняясь перед нею за свои сомнения и уточнения. — Но иностранцы редко находят их такими… С русскими вообще надо, как они говорят, много каши съесть, прежде чем их поймешь: они и просты и сложны одновременно.

— Как всякая другая нация, — вмешалась Луиза: она, видно, не любила национальных отличий и предпочтений, в какой бы форме они ни выражались.

— Как и всякая другая нация, — покорно согласился он и сам привел пример: — Кто бы мог подумать десять лет назад, что немцы способны на такое? У меня перед глазами ваш рассказ стоит. С этой девушкой, вслед которой летят камни… Давайте-ка мороженое купим. Если хотите русского своеобразия, то вот оно — в Москве в самый сильный мороз на улице едят мороженое.

— Так проще всего утолить голод, — сказала Луиза. — И всего дешевле.

— Правда? — удивился он. — А я об этом не подумал, — и подошел к мороженщице, стоявшей с двухколесной тележкой возле Лобного места.

— Спросите у нее что-нибудь, — попросила Рене. — Хочу послушать, как звучит русский в оригинале.

— Еще услышишь, — перейдя на «ты», сказала ей Луиза: признала наконец за свою и установила с ней с этой минуты товарищеские отношения, а Пауль уже разговаривал о чем-то с закутанной в шаль пожилой женщиной, одетой в перепоясанный ремнем длинный, до пят, ватник, и в валенках и галошах: то и другое Рене увидела впервые. Пауль говорил по-русски свободно и, наверно, чисто, потому что у мороженщицы не возникало сомнений на его счет и она отвечала ему охотно и без задержек. Она и в самом деле держалась свободно и непринужденно, и в поведении ее, когда она предлагала свой товар, не было того унизительного налета угодливости, которым сопровождается

всякий акт купли-продажи на Западе: она будто раздавала порции мороженого бесплатно.

— О чем вы говорили? — спросила Рене, когда Пауль вернулся к ним и показал ей на своем примере, как надо есть на улице мороженое.

— О чем говорили? Да ни о чем, собственно. Я спросил ее, не холодно ли стоять, она ответила, что в валенках не очень, что ей прислали их из деревни и они сильно ее выручают: их там делают каким-то особым образом. «Сваляли», — сказал он по-русски, будто Рене так было понятнее. — Спросил у нее, как идет торговля, она мне: как идет, так и идет — «вечером видно будет».

— Можно, наверно, в другое место отойти, если здесь покупателей мало? — предположила Луиза.

— Да она и сама это знает, — сказал Пауль. — Нет ничего хуже, как давать советы русскому человеку — я этого никогда не делаю… Может, ей сказали здесь стоять — поэтому она не уходит.

— А если у нее спросить что-нибудь серьезное? — поинтересовалась Рене. — Например, как она относится к Гитлеру?

Пауль пожал плечами:

— Думаю, никак. Вряд ли вообще о нем думает. А если и думает, то не скажет. Здесь не принято, Кэт, решать серьезные вопросы на улице. Так что и не задавайте их, если хотите, чтобы они и дальше выглядели и чувствовали себя непринужденно. Здешнее искусство разговора состоит в том, чтоб болтать обо всем, ничего не сказавши. Вот мавзолей. Если захотите посмотреть, скажете — я устрою пропуск. Сегодня выходной день: обычно здесь выстраивается длинная очередь.

— Нет, туда я не пойду. — У Рене еще во Франции сложилось свое мнение на этот счет. — Мертвеца смотреть не буду. Мы не в Египте, и он не был фараоном, — на это Пауль лишь усмехнулся, но смолчал из дипломатических соображений, а Луиза поморщилась и передернулась: будто именно в эту минуту закоченела.

— Домой пора идти. Я здесь моментально начинаю мерзнуть.

— Потому что плохо одета, — озабоченно сказал он. — Не по климату и не по сезону. Тебе давно сказали: купи шубу и надевай в холод. Тебя ж не просят носить валенки, хотя и они бы не помешали, — но без шубы не обойдешься.

— В шубе сам ходи. Это только русская женщина может выдержать — носить на себе эту баню. Они называют это парная? — спросила она, выговорив по-русски последнее слово, и из этого Рене вывела, что она знает русский лучше, чем думалось

поначалу.

— Парная или парилка — у них большой выбор на слова. Пошли домой, раз замерзла. Чай будем пить: он хорошо согревает. Русские чай пьют, — объяснил он Рене, снова взяв на себя роль экскурсовода. — Как англичане — только с сушками. Не пробовали? Да и откуда? Этого нет нигде. Зубы надо хорошие иметь, но, на худой конец, можно мочить их в чае. Я покажу, как это делается.

— Ты у русских научился болтать? — уколола его Луиза. — Наши тоже вот — болтали, болтали и все проворонили.

Пауль до сих пор пропускал мимо ушей ее укоры, но этот задел его за живое.

— Не бойся за меня и за них тоже, — в первый раз за все время возразил он ей. — Здесь болтают не потому, что не ценят слов, а как раз наоборот — потому что слишком хорошо знают им цену…

Они пили чай с сушками — уже в комнате Пауля, которая была как бы столовой в их двухкомнатном номере, и продолжали знакомиться. Улучив минуту, когда Луиза вышла к себе, Рене, еще раз присмотревшись к Паулю, сказала заговорщическим тоном:

— Все-таки в вас есть что-то татарское. Скулы, наверно.

— У меня мать была русская, — неожиданно открылся он ей. — Отец — инженер, немец, мать русская. Сошлись по любви, но потом отец стал плохо к ней относиться. Высокомерничал…

«Внебрачный сын, наверно», — подумала Рене, но вслух этого, конечно же, не сказала. Он угадал ее мысль, но прямого ответа не дал — сказал вместо этого:

— Я, стало быть, наполовину русский, — хотя сам, кажется, не очень-то верил в это.

— И меня однажды назвали монголочкой.

— Вот на кого вы действительно не похожи, так это на монгольскую женщину, и тот, кто назвал вас так, ничего не понимал в том, что говорил.

— Наверно, — согласилась Рене. — Он не выезжал из Франции… — А сама в это время смотрела на него и думала, на кого он больше похож: на сына матери, мстящего за нее, или на отцовского сынка, продолжающего семейную донжуанскую традицию. В любом случае он был привлекателен — может быть, сочетанием этих двух, обычно несовместных, качеств, соединением в одном лице обидчика и обиженного…

В Управлении на Старой площади ее принял один из заместителей Берзина, невысокий сухопарый человек с характерным остроугольным «пушкинским» лицом, с

неприметными манерами и жесткой экономией в поступках и в движениях. Для подобных встреч у него выработался общий тон и примерный ход разговора, но беседа в его исполнении всякий раз звучала импровизацией: как у хорошего актера, который и в сотый раз искусно перевоплощается — вместо того, чтобы играть роль по заученному шаблону. Перед ним лежала папка с ее пухлым личным делом, с которым он наскоро ознакомился, прежде чем ее вызвать. Из папки торчала углом анкета, заполненная ею во Франции. Он поймал ее взгляд.

— Нашли свое творчество? Тут много всего, но рекомендации у вас самые блестящие, — и поглядел со значением, как бы удостоверивая этот факт и ставя на нем печать своего ведомства. — Вы извините меня за мой ужасный французский, — (его французский был вполне сносен), — но немецкий у меня еще хуже. Как вам в Москве? Я слышал, вам здесь нравится?

Она отметила про себя это «слышал», но не подала виду, а бодро согласилась с собственной оценкой, прибавила из чувства справедливости:

— Без языка трудно, но, надеюсь, выучу.

— Все со временем учатся, а вы, говорят, к языкам особенно способны.

После этого «говорят» она не сдержала легкой улыбки. Он понял ее причину.

— «Слышал», теперь «говорят» — подумали, наверно: попала — как это сказать по-французски — в царство слухов?

— В ведомство скорее.

— Ведомство — это что-то вроде департамента?

— Да. Хотя я так не думаю.

— И напрасно. Так оно и есть. Только слухи должны быть достоверными и проверенными… — Ход разговора выбился из привычной колеи, и он вынужден был искать попутного ветра. — Вы во Франции, я читал, — теперь он сослался на письменные источники, — учились в Политической школе?

— Да. И одновременно в Сорбонне на юриста.

— И все оставили и приехали сюда? Почему?

— Это сложный вопрос, — не робея призналась она. — Сама не могу разобраться.

— Ноги принесли? — он подосадовал на свое незнание французского, сказал по-русски, потом с грехом пополам перевел. Она поняла его.

— Что-то в этом роде. Никогда не знаешь до конца, почему поступаешь тем или иным образом. Это как любовь: нравится, а почему, не знаешь, — но затем прибавила, став на реальную почву: — Но Германия мне объяснила, зачем я сюда приехала.

Оттуда я ехала уже с ясной головою.

Он сочувственно и одобрительно кивал: она словно расставляла вехи в психологическом процессе, идущем параллельно историческому.

— Да, Германия… Мне Пауль рассказал ваши впечатления. Они очень ценны для нас. Для нас это вообще неожиданность, — доверительно признался он, снова переходя на обычный тон разговора с новичками. — Не приход Гитлера к власти — к этому мы были готовы, а то, какой заряд агрессии он несет с собой, и то, что немцы в массе своей ему не воспротивились. Это меняет положение в Европе… — и многозначительно примолк, ожидая, что остальное она додумает сама. — У вас родственники во Франции? — Он вспомнил еще одну фразу из общего набора.

— Мать, сестра и отчим.

— И больше всего на свете вы бы хотели получить от них весточку? — Он глянул испытующе, а она выразительно смолчала: об этом можно было и не спрашивать. Но он спросил лишь для того, чтоб сказать дальше: — Но боюсь, именно тут мы вам помочь и не сможем. Им не надо знать, где вы. Со временем, может, удастся навести мосты, но пока пусть все сначала угомонится…

Она продолжала держать паузу: не знала, что должно угомониться во Франции, чтобы можно было послать родным письмо или открытку. Он почувствовал трещину в их разговоре, спросил на всякий случай:

— Не жалеете, что оставили свои университеты?

— Нет. Я никогда ни о чем не жалею.

— Это касается только себя или и остальных тоже?

— Нет, других мне обычно жалко. Поэтому, наверно, сюда и приехала.

Он снова кивнул: она будто озвучивала его мысли.

— Все мы так. Живем жалеючи, а по отношению к себе поступаем иной раз без всякой жалости. Вы будете радисткой?

— Наверно.

— Да, — подтвердил он и деликатно съязвил: — Вы же с самого начала сказали, что предпочитаете не вербовать людей, чтоб не склонять их к преступлению, а быть у уже готовых преступников связным или курьером. — Она удивилась: в его ведомстве и в самом деле ни одно слово не оставалось неуслышанным. — Но женщины у нас обычно этим и заняты, и дело тут не в принципах. Это мужчины добывают информацию и ищут источники, желающие помочь нам из идейных соображений или просто подзаработать…

Он хотел кончить на этом: время для разговоров было

ограничено — но передумал и добавил несколько иным тоном, чем прежде:

— У меня к вам только одна просьба. Будьте сдержаннее в высказываниях. Вы что-то сказали про Египет и фараонов. Мне Пауль шепнул, — не делая лишней тайны, объяснился он. — Он сам бы мог это сказать, но постеснялся: это не его дело, а меня попросил, чтоб я предостерег при случае… Это не значит, что вы не правы: может, оно и так и не вы одна так думаете, но это уже решено и сомнение может быть понято неправильно. Такая уж у нас страна — сдержанная и осторожная в высказываниях. К сожалению, не в поступках… А с Паулем мы старые приятели, он о вас, кстати, самого высокого мнения, а его мнение дорогого стоит. Так что мы говорим это вам из дружбы, а не как начальство…

Он подслащивал пилюлю, залечивал только что нанесенную рану, но, несмотря на это, у Рене было ощущение, что она получила оплеуху. Она обозлилась, внутренне напряглась, но спорить не стала. Слишком многое было поставлено на карту, а он пытливо глядел на нее, ожидая ее реакцию.

— Договорились? — поспешил заключить он, видя, что она крепится и держит удар. — Не стоит говорить лишнего. Не мы одни слухи собираем… — и повеселел, готовясь закончить разговор на более веселой ноте: — А так — учитесь, радуйтесь жизни, знакомьтесь с Москвой, пока это возможно… Сколько вам? — спросил он уже не для протокола. — Самого главного я из дела-то и не вычитал.

Все он вычитал — хотел только подтверждения с ее слов: возраст был слишком уж неординарный.

— Девятнадцать, — с гордостью сказала она: она была уже совершеннолетней — во всяком случае по здешним установлениям.

— Господи! — только и сказал он по-русски и отпустил ее душу на покаяние…

Каждый день теперь ее отвозили в машине с задернутыми шторами на Воробьевы горы, где в глубине отгороженной высоким забором территории пряталась школа Разведупра. К ней приходили офицеры и поочередно вели с ней уроки: как к ученице из богатой семьи, которая может позволить себе не посещать общие занятия. Остальных слушателей школы она видела только за обедом, поскольку ели все-таки в общей столовой.

Постоянных учителей было четверо: по фотографии, по русскому и два по радиоделу — один по теории, другой — по ремеслу «пианистки». Они были деловиты, подтянуты и особым,

служебным, образом корректны и участливы. Характерами они были, конечно, разные: один стеснителен, другой вел себя свободнее, третий обнаруживал начальственные нотки, но у всех было нечто общее — не холодок, но некая обособленность и закрытость: они постоянно помнили, что находятся на службе, а она хоть и своя, но приезжая, — чтобы не сказать чужая. Во Франции, после «Путевки в жизнь», она представляла себе русских мужчин беспечно и широко улыбающимися — эти же если такими и были, то где-нибудь на стороне, а здесь улыбались скорее из любезности и ни на минуту не расслаблялись — будто их всех заперли на замок и на всякий случай вынули из них ключики. Странно, что так было именно с коренными русскими. С евреями (или русскими еврейского происхождения, поправляла она себя, потому что для француза еврей не национальность, а вероисповедание): например, с Шаей или с тем, кто ее принимал в Управлении, ей было легче, они быстро начинали понимать друг друга и соответственно друг к другу относиться. Им нечего было скрывать: кроме, разумеется, профессиональных секретов, — с русскими же между нею и ее собеседниками вырастала если не стена, то перегородка вполовину роста: поверху можно было говорить, но внизу все пряталось. Эти молодые люди ничего, например, не говорили о себе; из посторонних тем обсуждалась погода или передаваемые по радио новости, но и о них они говорили как-то слишком общо, не сопровождая их комментариями. Можно было сказать, что они хорошо вымуштрованы, но слово это к ним не подходило: Рене казалось, что они были такими и до поступления на службу — если это и не было у них в крови, то глубоко засело в привычках.

Один, правда, проговорился — стеснительный учитель теории радио. Она спросила его, откуда у него такой хороший французский, — он сказал, что на французском говорили у него дома.

— За это и держат, — прибавил он забывшись, после чего запнулся, пожалел, что сказал лишнее, и с удвоенным усердием принялся объяснять ей устройство диода, которое она и без него хорошо знала по учебнику. Эти слова: «за то и держат» — засели в ее памяти, и она часто над ними задумывалась. Ей было не ясно, почему молодому Ивану Петровичу так важно, чтобы его тут «держали», и что это вообще за отношения между служащим и работодателем, когда один «держит» другого. Она думала еще о том, что если бы ей пришлось остаться в России, то ей было бы тяжело не из-за языковых препон, а из-за этих трудно преодолимых преград в общении.

В столовой обедали человек десять — почти все сплошь

немцы. Они легко приняли ее в свой круг: она свободно говорила по-немецки, а на чужой стороне знание родного языка ценится в особенности. Их вывезли из страны после прихода Гитлера к власти, и она сразу почувствовала разницу между самостоятельно принятым решением и вынужденным отъездом. Многие из них открыто роптали, скучали по родине (хотя сознавали, что им нет туда возврата) и, отводя душу, ругали все русское. Слушая их, она понимала, почему русские иной раз замыкаются в себе при встрече с иностранцами: открывшись, делаешься уязвимым, и тебе могут бросить в лицо что-нибудь язвительное и не вполне тобой заслуженное.

— Разве это картофель? — пользуясь тем, что работавшие в столовой женщины не знали немецкого, бранился один из них, в расшитом жилете: он, видно, любил приодеться и донашивал здесь берлинские наряды. — Это пюре? В пюре кладут сливочное масло, а не паршивое растительное, от которого у меня изжога! Котлеты, конечно, из вчерашнего мяса! Или позавчерашнего: если не воняют, то попахивают. Пивом бы все это запить — не было бы так противно, но их пиво?! От него несет мочою! Франц, ты помнишь, какое пиво мы пили в нашей пивнушке?.. — и так каждый день, до бесконечности.

Русские женщины хотя и не понимали его, но догадывались о смысле его речей, потому что они сопровождались красноречивой жестикуляцией и тыканьем пальцем в тарелки. Они дежурно улыбались и изображали некое безликое улыбчивое гостеприимство: им говорили перед работой, что у них столуется цвет европейского рабочего движения, и они хоть не знали толком, что это за цвет, но твердо знали, что им не следует ввязываться с ним в ссоры. Парень в жилетке, однако, настаивал: хотел, чтоб и они узнали, на какие жертвы он идет, обедая в их столовой, и что оставил на родине.

— Картошка плохой, мятый, — разгорячившись, переводил он свое негодование на ломаный русский. — Масло зонненблюм. Мясо есть испорчен. Фон гестерн! Позавчера! Другая неделя!.. — И они, продолжая улыбаться, поспешно спасались от него бегством за перегородку. — Не понимай! — говорил он им вслед. — Ничего не понимай! Своя работа не понимай!.. — Это он говорил уже своим, но в расчете на то, что его услышат и в раздаточной…

Рене хмурилась, слушая такие речи. Она не была привередлива в еде и не находила, что их так уж плохо кормят, но, главное, не могла понять, как можно в таком настроении готовиться к заграничному подполью. Она знала, насколько оно бывает трудно в собственной стране, где тебе все известно, но в

чужой? Где будешь тыкаться носом в каждую щель, пока какая-нибудь тебя не прихлопнет? Однажды она не выдержала и сказала:

— Это неумно — ругать в гостях хозяина. И не очень-то справедливо…

— Сообщите по инстанции? — язвительно спросил один из них, и остальные враждебно нахмурились, поосунулись и примолкли. Она сразу стала среди них белой вороной: они решили, что она собирается донести в Управление, а она всего-навсего выразила свое мнение и не думала передавать его дальше. Так бывает всегда, когда запрещают мыслить вслух и говорить по существу дела: что бы вы ни сказали среди общей игры в молчанку, все будет невпопад и некстати. Немец знал, что делал, когда ругал местную кухню, — его бы за это не осудили, Рене же, назвав вещи своими именами, подняла предмет спора на идейный уровень, и в воздухе запахло жареным. Одна из его соотечественниц, которую звали Кларой, вмешалась в ссору, чтобы все уладить. Она была влиятельна в своей компании: не умолкала и говорила больше других, встревала в разговоры за несколькими столами сразу, рассуждала обо всем на свете и при этом не теряла, как ей казалось, чувства юмора. Она и к Рене приглядывалась и призывно улыбалась ей, надеясь вовлечь ее в сферу своего притяжения, но Рене избегала соседства с ней и садилась в противоположном углу комнаты.

— Не стоит видеть политику там, где ее нет, — мягко выговорила она Рене. — Шульц просто тоскует по домашней еде, по пиву, к которому привык дома. Он, наверно, слишком ругает здешнюю еду и напитки, но к Советскому Союзу он, как и все мы, относится с глубокой благодарностью. Это страна, которая приютила нас в тяжелую минуту и которой мы всем обязаны… — и долго еще распространялась таким образом, так что Рене уже не знала, что хуже: ругань Шульца или ее разглагольствования. Она решила не вмешиваться больше в чужие распри: скажешь что-нибудь против официальной версии, тебя предупреждают о твоем несоответствии и возможных последствиях, скажешь в ее защиту, заподозрят в доносительстве: она, иначе говоря, отчасти обрусела.

Паулю она все-таки рассказала об инциденте в столовой: надо же было хоть кому-то излить душу — хотя и его начала остерегаться. Она даже предупредила его о том, что делится с ним и ни с кем больше. Он поглядел неодобрительно, но конечно же дослушал до конца: ни один разведчик не останавливается в таких случаях на полдороге. Ее соображения не были для него новостью.

— Мои соотечественники? От них тут плачут. Вывезли всех подряд, а не как у вас — готовя каждого по одиночке… Тут не все ясно, Кэт. Дураков среди немцев мало. Может, он таким образом себя бракует? Чтоб за рубеж не послали. А его и не пошлют. Что там с таким нытиком делать?.. Не будь вообще наивной.

Это была невинная месть с его стороны, и она не обратила на нее внимания.

— А чем он будет тут заниматься?

— Не знаю. В радио, например, работать. Вещать на великую Германию. Тут немцы скоро понадобятся. А доносить на них? Зачем? — и глянул с легким упреком. — Там и без меня есть уши. О вас это я так, по-дружески, настучал: чтоб в будущем остерегались.

Она кивнула — в знак того, что инцидент исчерпан.

— Там Клара вмешалась, все уладила.

— Эта самого дьявола заговорит. Скоро мне понадобится… — и поскольку Рене не поняла его, пояснил: — У меня каша заваривается.

Она поняла еще меньше и подняла голову в недоумении.

— Луиза бунтует. Может, ты ее урезонишь? — попросил он со знакомой уже ей детской интонацией и пошел к себе: разговор происходил в ее номере, они встретились в коридоре, а он, вопреки обыкновению, не пошел в соседнюю комнату.

Она пошла к Луизе, постучала. Та ответила не сразу, но пригласила войти. Когда Рене вошла, она сидела спиной к ней в глубине комнаты и вчитывалась в какую-то книгу. Свет от лампы падал на нее, и Рене увидела, что это немецкий путеводитель по Японии. Тут и Луиза поняла, что совершила оплошность: самой большой тайной, которую скрывали жильцы этой гостиницы, было место их будущей работы. К гневу, испытываемому ею до этого, прибавилась новая досада, она рывком засунула книгу под подушку, подальше от глаз непрошеной гостьи, и стала во весь рост, пряча взгляд, мечущий молнии. Речь ее, прежде рваная и обрывистая, которую Рене понимала с трудом, да и Пауль вынужден был прислушиваться, чтобы разобрать богемную берлинскую скороговорку, — стала необычайно четкой.

— Вы завтракать идете? Я сегодня пропущу. Идите с Паулем! — и резко отвернулась: глаза ее сверкнули и налились слезами, а некрасивое неправильное лицо набухло и покрупнело еще больше — она была близка к истерике.

Ни о каком завтраке не было и речи, Рене не за этим шла сюда, но поневоле ретировалась:

— Встретимся тогда за обедом. — День был воскресный…

Она засела у себя в номере, раздумывая над тем, что

происходит у нее на глазах и не находя в нем смысла. Через некоторое время она пошла за чем-то в администрацию и как нарочно столкнулась на лестничной площадке с женщиной, вышедшей из комнаты Пауля. Женщина эта, рослая, даже дородная, из тех, кого она причисляла к русским красавицам, глянула на нее со стеснительной улыбкой и прошла мимо, а за ней в двери показался задержавшийся на миг Пауль. Увидев Рене, он удивился, решил, что она за ним шпионит. Она же боялась именно того, что он ее в этом заподозрит — и всем своим отчаянным видом и взглядом показала, что попала сюда совершенно случайно. Он усмехнулся, пошел за женщиной далее, а Рене как в столбняке отправилась к администратору, с трудом припоминая на ходу, зачем он ей вдруг понадобился…

Пауль позже зашел к ней.

— Это моя жена, Кэт. Я советский гражданин, и это моя законная супруга. По субботам она ко мне приезжает. Ночевать-то я тут должен… Она все понимает, а Луиза бастует. Женщины требуют своего, но мы не можем жить как все, нормально… А у Луизы еще и не все в порядке с нервами… В такой степени, что я не знаю, ехать ли нам вместе или нет. Там такое непозволительно… Вы когда кончаете учиться?

— Через полтора месяца.

— Нет, мне это не подходит. Я скоро уезжаю. Вы извините, если я не попрощаюсь с вами, все зависит от случая. Давайте руку, Кэт. Может, еще увидимся…

Он ушел, не зайдя к Луизе, которая слышала, конечно, все его перемещения и, наверно, затаила на него новое зло, а Рене осталась сидеть у себя, раздумывая над тем, в каких отношениях находится ее теперешняя профессия с привычными моральными ценностями, которые жили в ее сердце и которым, чувствовала она, грозила опасность со стороны ее новых друзей и соратников…

Он и в самом деле вскоре уехал не простившись. Луиза тоже исчезла — куда, никому известно. В один из освободившихся номеров въехала Клара. Вблизи она оказалась не столь громогласна и утомительна, какой представлялась на расстоянии. У нее был поклонник, гамбургский моряк Герберт — такой же Герберт, как и Рене — Кэт и кто-то еще — Клара: имена давались для маскировки. С ним она забывала свое доктринерство и всезнайство и опекала его как маленького ребенка. Это был очень стеснительный и интеллигентный матрос — Рене таких прежде не видела. Он был настолько деликатен и щепетилен, что не посмел переехать в номер Луизы, чтоб не компрометировать подругу, — Клара не могла этого простить и все время мягко выговаривала

ему за это. Вместо Герберта сюда вселился некий вьетнамец, вконец засекреченный и зашифрованный. Он жил, как ночная бабочка, и, если б не потребность в еде и других делах, его б никто не видел и не слышал: он выходил из своего номера и крался по коридорам ночью, когда остальные располагались удобнее в своих креслах: набирал в буфете продукты на сутки и шел боком назад, стараясь, чтоб его если увидели, то не в фас, а в профиль, будто так труднее было запомнить и опознать впоследствии.

— Видишь, — говорила Клара Герберту, — вместо него ты бы мог здесь идти. Тоже, как он, красться, как воришка. Ты ж у нас воришка: крадешь то, что тебе не положено… — и Герберт не знал что ответить, смущался и отмалчивался.

Они были влюблены друг в друга и готовились к совместной командировке. В присутствии Рене они вели себя безукоризненно, но так, что ей все время казалось, что они ждут не дождутся, когда она их оставит. Она охотно их покидала: ей доставляло удовольствие ублажать эту и без того счастливую парочку. Теперь она проводила много времени в семье Марии: та на прощание дала ей в Берлине московский адрес — самое ценное свое достояние. Ее муж, чех Дицка, жил с матерью в коммуналке на Собачьей площадке. Когда она пришла к ним в первый раз, он не знал, куда ее посадить и какие воздать почести. Он знал, что не имеет права задавать ей вопросы — кроме самых пустых и бессодержательных, и все спрашивал, как чувствует себя Мария и как выглядит: пытался по невинным ответам Рене домыслить и воссоздать все прочее — напрягался и чуть ли не входил в транс, как медиум-прозорливец на сеансах ясновидения.

— Но настроение у нее бодрое? — допытывался он в десятый по счету раз. — Головы не вешает?

— Нет, — успокаивала его Рене.

— Это главное, — итожил он. — А как у нее с венами на ногах? У нее же ноги больные.

Рене ничего не знала про больные ноги Марии.

— Вроде ничего. Мы с ней много ходили по городу.

— Значит, не жалуется. А раз так, значит, не очень беспокоят…

На самом же деле ему хотелось знать, конечно, не это, а то, как живет его горячо любимая им жена, чем занимается и каким опасностям подвергается. Он был коминтерновец, работал в соседнем отделе, знал, что делалось в Германии, и на душе его было тревожно. Он старался скрыть это от матери.

— Вроде ничего себя чувствует, — переводил он на чешский: его мать, как и многие другие пожилые родители взрослых детей-

коммунистов, переехавших в Союз, продолжала говорить на языке своей родины. Сам Дицка свободно говорил на трех языках, и Рене оставалось только выбирать, какой больше подходит по настроению; в последнее время она старалась говорить по-русски, но это давалось ей пока плохо. — И выглядит хорошо…

Мать принимала это к сведению, кивала, тоже довольствовалась малым, не спрашивала большего и щурилась спокойно и доброжелательно. Но Рене чувствовала за этим невозмутимым и нетребовательным фасадом нечто иное: в сморщенном от сплетения старческих морщин лице и в самой посадке головы была какая-то незримая застарелая горечь и негласный дух противоречия. Может, старуха думала в эту минуту о том, что у ее сына не самая лучшая супружеская жизнь на свете, что жена не может жить отдельно от мужа и подвергаться на стороне чудовищным опасностям, а муж при этом не имеет даже права спросить, что происходит, и довольствуется пустяками: старики часто боятся высказаться вслух, и нужно следить за игрой теней на их рембрандтовских лицах, чтобы приобщиться к их думам и сомнениям…

— А как она одета? — задавал новый вопрос Дицка, думая хоть так подобраться к существу дела. — Там холодная зима была?

— Не очень. — Здесь Рене могла позволить себе большую откровенность и подробно и обстоятельно описывала гардероб Марии и погоду в Берлине.

— Значит, в этом отношении все в порядке, — в очередной раз утешался Дицка. — А остальное вы мне обе когда-нибудь расскажете? — надеялся он вслух и глядел на Рене бодро и просительно разом — она соглашалась, но большего из нее нельзя было вытянуть…

Дицка, несмотря на занятость, обошел с ней все московские театры: у Рене было впечатление, что он относится к ней не как к товарищу жены, а как к ней самой, к ее второму воплощению. Она посчитала, что была на семнадцати спектаклях. Больше всего ей запомнились «Ревизор» Мейерхольда, «Бронепоезд 14–69» во МХАТе и «Красный мак» в Большом. Но еще больше полюбилась ей московская публика. Она и сама обожала театр, но москвичи любили его особым образом, самозабвенно и трогательно. На сцене громко, ясно и во всеуслышание излагали свои мысли, спорили, ссорились и мирились актеры, и зрители, сами такой свободой не обладавшие и предпочитавшие в жизни глухие намеки и иносказания, с восторгом следили за смельчаками, любовались их ораторскими позами, бесстрашными разоблачениями и выпадами в адрес врагов и недоброжелателей.

Сцена дополняла жизнь, возмещала ее изъяны, и артисты, безмерно талантливые и почти гениальные в своем театральном рыцарстве, были героями поколения: они за него говорили и безумствовали. А еще была музыка: балет и опера. Москва, бедная и недоедающая, с хлебными карточками, с перегруженным транспортом, с людьми, гроздями висящими с дверей переполненных трамваев (метро только начинали строить) встречала ее в театрах роскошью постановок, энтузиазмом публики, европейским уровнем исполнительства…

После спектакля Дицка настаивал на том, чтобы она шла к ним на чай с чешскими пирожками, которые пекла мать из ностальгической любви к прошлому. Рене, у которой к этому времени смягчился казарменный режим, так что она могла даже ночевать вне гостиницы, не имела сил отказаться — у нее появился второй дом в Москве, более обжитой и человечный, чем первый. В квартире жили несколько семей, все были дружны и сообща встречали праздники. Она запомнила один вечер, который открыл ей глаза на русское общежитие. Это был какой-то праздник: может быть, день Восьмое марта. Рене знала, что должна скоро уехать, и для нее это было еще и прощание со страной — хотя сказать это вслух она по-прежнему не имела права.

Все, как обычно, собрались на кухне. Семен Иванович, один из соседей Дицки, обычно устраивавший кухонные посиделки, человек кипучей и проворной деятельности, вопросительно поглядел на новую, совсем юную гостью.

— Это Кэт. Знакомая Марии, — представил Дицка, и Семен Иванович понятливо кивнул.

— А вы сами откуда будете? — Рене не поняла замысловато поставленного вопроса и затихла в замешательстве.

— Она еще плохо говорит по-русски, — помог Дицка. — И вообще, Семен, не спрашивай.

— Ясно! — разобрался во всем сосед и проникся к Рене уважительным чувством: он любил все героическое. — Подруге Марии у нас всегда место найдется! — и усадил ее на место, которое показалось ему наиболее достойным. — Когда ж она сама к тебе приедет, Дицка?

— Не знаю, Семен, — с превеликим терпением отвечал тот.

— И как она вообще? Ничего не знаем! — сокрушался за него Семен. — Но видно, так надо… Вам в Москве нравится? — спросил он Рене: из вежливости и еще потому, что ему, как многим москвичам, в самом деле позарез хотелось узнать чужое мнение о собственном городе, будто своего было недостаточно.

— Нравится, — пролепетала она.

— Ну вот! — отозвался тот, удовлетворенный. — А говорите, не может по-русски. У нас здесь всех лучше. Сушки наши едите? Зубы есть?

— Есть.

— Потому что у нас такое угощение, что без хороших зубов делать нечего. — На трех отдельных столиках, сдвинутых вместе в один большой, были дешевые сласти и выпечка: конфеты, сухари, сушки горой и, на счет, бублики. — А что Феклы нет? — спросил он у своей крупной, рыхлой жены, сидевшей рядом, неловко молчавшей и предоставлявшей ему вести переговоры с заграницей. Супруга застеснялась — за нее отвечал сын, которому было лет пятнадцать: он был бойчее и современнее родителей.

— Нести с собой нечего. Хлебные карточки потеряли.

— Как это?.. Это сухари в хлебном отделе по карточкам даются, — объяснил он Рене, ровным счетом ничего из этого не понявшей. — Что ж у них, и хлеба нет?

— Не знаю, — сказал сын.

— Так спроси! Без хлеба-то нельзя… Ладно, разберемся. У нас вроде праздник сегодня? Женский день? Может, по этому случаю того-этого? — загорелся он, обращаясь за разрешением к жене, которая, как оказалось, правила его балом.

— Ничего. Женщины потерпят, — ответила она за всех. — Мы еще к этому празднику не привыкли. — А там — как знаешь, — прибавила она затем: чтоб не предстать в глазах соседей семейным деспотом. — Как хотите, — но муж уже все понял.

— Нет так нет. Чаем обойдемся, — не унывая решил он и послал сына за отсутствующими соседями: — Давай зови их. Что это значит — нести нечего? Сегодня им нечего — завтра, может, нам? Тут на всех хватит…

Сын привел приятеля, сына соседки — сама она осталась дома.

— Что мать не пришла? — спросили его.

— Не хочет.

— Садись ты тогда. Вот тебе за двоих большая чашка…

Чуть позже пришла и она — стала на пороге, глядя на собравшееся общество.

— Садись, что стоишь? Что раньше не шла?

— Да злюсь на себя, что карточки потеряла, — и присела на край стула, будто отсутствие паевого взноса не давало ей прав на большее.

— Как это потеряла? Небось украли?

— Может, и украли, — согласилась она. — Никого ж за руку не поймала. Давайте лучше не говорить об этом. А то снова переживать начну. Налейте мне чаю, попрошайке.

— Да конечно нальем. У нас гостья сегодня. Подруга Марии.

— Вижу. Поэтому и пришла: любопытная… Совсем, гляжу, молодая.

Самой ей было лет тридцать пять, она работала в типографии и жила вдвоем с сыном.

— Вот я и говорю! — сказал Семен, хотя прежде не говорил ничего подобного. — Ей бы в школе учиться. В институт ходить, а она по заграницам мотается. И серьезная вроде девушка. Положительная…

Рене знала, что речь идет о ней, и обратилась за помощью к Дицке. Тот наскоро перевел.

— По-французски говорят, — заметил наблюдательный Семен.

— А ты откуда знаешь? — не поверила жена.

— А я так — не понимаю, но угадываю. Так ведь? — спросил он Рене.

— Этого нельзя спрашивать, Семен, — сказал за нее Дицка. — Я сам не знаю.

— Так я и не спрашиваю, — лукаво возразил тот. — Вслух только свое мнение высказываю…

Семен Иванович излучал некую постоянную живость, тепло и участие. Он пронял ими Рене.

— Это неважно, — улыбаясь сказала она на своем чудовищном русском. — Кто я и откуда… — и неожиданно для себя самой добавила: — Скоро уезжаю…

Дицка вопросительно глянул на нее. Семен Иванович понял без дальнейших расспросов.

— А вот за это-то надо и выпить! — решил он. — И тут ты меня, жена, не остановишь!.. — и пошел к себе и мигом вернулся с сокровенной бутылкой. Все молча ждали его возвращения, будто он чего-то не договорил и остальные ждали продолжения его речи. Оно и в самом деле последовало:

— За благополучное возвращение ваше выпьем — не знаю, как вас по имени и отчеству, только думаю, никакая вы не Кэт — но это уж не наше дело. Что ж мы, не понимаем? Он вон как Марию ждет. Весь извелся. А когда приезжает, вы и представить не можете, что с ним делается. Весь изнутри горит и светится. Вы приехали — он и то вон: просветлел весь, забегал, засуетился… Вон какую жизнь себе выбрали. Врагу не пожелаешь, — и стал разливать водку, сберегая каждую каплю и распределяя всем поровну.

А мать Дицки, сидевшая до того рядом немым статистом, не понимавшая в разговоре ни слова и в нем не участвовавшая, здесь, кажется, все поняла и ее старое сморщенное лицо печально

дрогнуло и застыло затем в еще большем оцепенении…

В середине марта 34-го кончилась учеба Рене в школе. Ей было уже двадцать. Заместитель Берзина вызвал ее незадолго до этого к себе, спросил, куда бы она хотела поехать: у нее был выбор из нескольких стран. В Китай, сказала она, найдя эту страну в коротком списке. Почему туда? Потому что Китай был тогда горячей точкой планеты. Там действовала своя Красная Армия, освободившая районы, которые были названы советскими и управлялись коммунистами. Им помогали антифашисты разных стран, и в первую очередь — Советский Союз, принимавший дело китайской революции за свое собственное. Даже балет Глиэра, так ей понравившийся, был посвящен китайской революции…

Все это она говорила, потому что привыкла к этому времени читать газеты и при необходимости говорить цитатами. Да она и в самом деле так думала, но было еще одно обстоятельство, которое побудило ее к этому выбору и о котором она умолчала. Рядом с Китаем была Япония, а в ней — Пауль. Когда вам предлагают поселиться в чужой, незнакомой вам стороне, то вы поневоле стараетесь держаться людей, хоть сколько-нибудь вам знакомых…

— В Китай так в Китай, — сказал он. — Нас это тоже устраивает. Вас там ждут с нетерпением… Погодите, Рене, — остановил он ее, будто она хотела уйти раньше времени. — Тут для вас подарочек… — и, порывшись в бумагах, подал ей лист бумаги, вполовину исписанный знакомым почерком. Она подпрыгнула от радости и неожиданности.

— Можно здесь прочесть? — по-детски попросила она.

— Читайте, конечно, — и стал наблюдать за ней черным оком испытанного ловца душ, их знатока и поимщика.

Это было письмо от отца, переданное бог знает какими путями, но наверняка — по просьбе ее собеседника. Отец остался верен себе: написал только о своих делах и еще, намеками, о каком-то особом положении во Франции — не мог ради такого случая съездить в Стен, навести справки о сестре и о матери. А может, писал наспех, по требованию…

— Я могу взять это с собой?

— Да, конечно!.. Только туда его не берите…

Это было самым обидным из всего им сказанного, но она была все равно благодарна ему, что называется, по гроб жизни…

Ей предстояла дорога в Китай: снова через Берлин — в Италию и оттуда пароходом до Шанхая.

3

У нее было два паспорта: один — до Берлина, другой — для последующего, вполовину земного шара, путешествия. В первом была голландская фамилия, которую невозможно было произнести без насилия над собой: она боялась, что не вспомнит ее или не выговорит. Прежде она легко пересекала границы: у нее было простодушное и приветливое от природы лицо, в ней трудно было заподозрить злоумышленницу, и она научилась этим пользоваться — здесь же испугалась. Все, однако, прошло гладко. Ей дали место в люксовом вагоне (что было нечасто, потому что денег у Разведупра было мало и на всем экономили) — немец-пограничник отнесся к ней снисходительно: изучил только печати в паспорте, остался ими доволен и вернул, ни о чем не спрашивая. В Берлине она, выполняя инструкции, сдала вещи на хранение в соседнем универмаге, прошла налегке в туалет, изорвала голландский документ в мелкие клочья, спустила их в унитаз, а фотографию, как ей было сказано, тоже изорвала, но не отправила туда же, а разжевала и проглотила, будто сброса в канализацию было недостаточно. После этого она стала уругвайкой Денизой Жислен двадцати трех лет, родившейся в Брюсселе и проживавшей в Нью-Йорке, там же получившей паспорт, а китайскую визу — в китайском посольстве в Риме. Она ехала в Китай на два года — для изучения языка и местных нравов. Быть уругвайкой ее определили товарищи из Управления: устроили ей экзамен и признали ее испанский для этого достаточным. Между тем она учила его только в лицее и не имела потом практики. Расчет был на то, что у нее не будет случая говорить на этом языке, — или же на то, что в Уругвае так коверкают испанский, что сами испанцы плохо его разбирают.

В Берлине она пробыла ночь. Она еще раз проверила вещи и, заглянув в лыжные ботинки, оставшиеся с альпийского курорта, к великому ужасу своему, нашла, что они набиты — хуже не придумаешь — страницами, вырванными из журнала «Большевик». За это и в Москве могло попасть: могли спросить, как она обращается с партийной печатью, — а о чем бы спросили здесь, лучше было и не думать. Это была ей наука. Она была серьезная, осмотрительная девушка, но каждый из нас может быть поразительно беспечным. Впрочем, говорила она себе, это палка о двух концах: бездумность опасна, но без уверенности в себе тоже не обойдешься, а где грань между одним и другим, никто сказать не в состоянии. Она сожгла скомканные листы, набила ботинки немецкими газетами и решила впредь быть

внимательней. «Не надо вообще, — говорила она себе, — брать в дорогу лишнее. Лыжные ботинки в Шанхае пригодиться не могут, я взяла их из женского скопидомства и еще, — добавляла она в свое оправдание, — в память о моей несостоявшейся светской жизни.»

Через день она была в Милане, красивейшем, описанном Стендалем городе. Она не имела времени обойти его или хотя бы обвести взором, но постояла в священном трепете перед «Тайной вечерей» великого Леонардо: есть места, которые культурные люди не могут обойти стороною. Воздав должное святыне, она вернулась к своим обязанностям. Ей нужно было сообщить в Москву, что она благополучно добралась до Милана, и дать для этого объявление в «Коррьере делла Сера», что она потеряла любимого белого пуделя и готова щедро вознаградить того, кто его разыщет. Объявление далось ей трудно: итальянский и французский — родственники, но давно разошлись в стороны, а нужно было составить фразу так, чтобы сойти за местную: не приехала же она издалека, чтобы объявить об этой пропаже. Ее начальники тоже были хороши, раз придумали такую ловушку. Но или редакция не отвечала за тексты объявлений, или Рене написала его грамотно, ей и это сошло с рук, и память об утерянном друге до сих пор хранится в старых подшивках этой газеты.

В Венеции ей не пришлось уже думать об архитектурных красотах города и любоваться каналами, как это делают все, кто сюда приезжает. Выяснилось, что она попала в ту еще историю. Ей было велено приехать 24 марта в Триест, чтоб сесть там на один из двух пароходов, отбывающих в Шанхай по 26-м числам месяца: «Граф Верде» или «Граф Россо». На месте же оказалось, что отбывают они по очереди не по 26-м, а по 16-м числам, — кто-то ошибся на десяток, а ее положение, из-за этой путаницы с графьями, сразу стало безвыходным. Денег было в обрез, жизнь в Венеции, городе туристов, безумно дорога, ей бы никак не хватило до 16-го апреля, да и ждали ее в Шанхае пароходом этого месяца, а не следующего. Она стала искать попутное торговое судно, которые — она знала это с французских времен — соглашаются брать на борт пассажиров, хотя и делают это украдкой, не оглашая дополнительные прибыли. Правда, теперь возрос риск, что ее могут заподозрить в пути или на берегу: из-за того, что она пользуется сомнительными средствами передвижения.

Ей повезло: она нашла в порту сухогруз «Полковник ди Лана», где были кабины для попутчиков. Капитан судна был одновременно и его владелец — все решили за несколько минут,

не сходя с места. Кроме нее был еще один пассажир — молодой юрист из Германии, еврей, уходивший от нацистов, начинавших расширять свое «жизненное пространство», — пока что не за пределами страны, а за счет внутренних резервов — коренных, но «инородных» граждан. Он-то как раз и выбрал сухогруз, чтоб не брать билетов на регулярный пассажирский рейс, где его могли снять с парохода и передать немцам: в Италии у власти был Муссолини, и итальянцы обязались помогать Гитлеру, хотя не старались преуспеть в этом. Пассажир был в нездоровом, взвинченном состоянии духа: нервничал, говорил и делал глупости и был притчей во языцех матросов и кают-компании. Впрочем, итальянцы хоть и подтрунивали над ним, но относились к нему порядочно: помогали, собственно, бежать от Гитлера, хотя офицеры судна, по всей очевидности, принадлежали к правящей фашистской партии. Итальянцы, думала она, наблюдая за ними, народ живой, общительный и расположенный к иностранцам, которые любят ездить в их страну, — фашизм у них не столько в груди, сколько на ней: в мундирах и в знаках отличия. Ей это тоже было на руку.

Началась ее одиссея. Пароход шел через Суэцкий канал с заходами во все основные порты и стоянками в них. Путь предстоял долгий, прибывала она в Шанхай значительно позже назначенного срока, но выбора у нее не было.

На пароходе она стала предметом невинного ухаживания и поклонения молодых офицеров, которые сопровождали ее на берегу и показывали ей попутные достопримечательности. Это была обычная флотская галантность: кроме нее пассажирок на борту не было, и моряки шутливо спорили за ее внимание. Но иногда ей казалось, что за этим кроется нечто большее.

Свита ее доходила до четырех-пяти человек, разодетых в помпезные итальянские мундиры, расшитые галунами и позументом (хотя это был всего-навсего торговый флот), но неотступных ухажеров было двое: Бенито, который гордился тем, что он тезка Муссолини, и все напоминал об этом, и Чарли — почему Чарли, она так и не поняла: они не вдавались в свое прошлое, хотя и выпытывали у нее ее собственное. Бенито был живой, веселый брюнет, Чарли — задумчивее, флегматичнее, белее: может, в нем и правда текла кровь англосаксов. Они были неразлучны и вдвоем же ходили с нею. Они познакомились в Александрии, самом крупном порту Египта, где пароход делал первую большую остановку. Он направлялся в старый порт, куда его вел местный лоцман: глубоководный проход посреди моря был узок и извилист, и странно было смотреть, как сухогруз петляет на гладком, как стекло, зеркале залива. Рене стояла на

борту, офицеры подошли к ней.

— Синьорита хочет в порт? — набравшись духу, спросил Чарли, но передоверил потом разговор другу: не то поленился продолжать, не то решил, что тот справится с этим лучше. Он говорил по-итальянски, Рене хотя и поняла его, но показала на языке жестов, что языка не знает.

— Немка, англичанка? — спросил Бенито.

— Уругвайка. — Рене выучила эти ответы, так, что от зубов отскакивало. Все они были в уругвайском разговорнике, который нашли в Управлении, полагая, что в нем она найдет особенности языка, отсутствующие в испанском варианте.

— И на каком же языке говорят в Уругвае?

— На испанском. Говорите по-испански? — спросила она на грассирующем уругвайском диалекте испанского.

— Нет, — по-итальянски ответил тот. — Французский, немного немецкий.

— Французский меня устраивает, — сказала она на своем языке. — Хотя я давно в нем не практиковалась.

— Неплохо говорите при этом, — заметил он, переходя на ломаный французский.

— Вы тоже. У меня способности к языкам. Еду в Китай учить китайский. Дали на это стипендию.

Она глядела на них весело и с азартом, у нее было приподнятое настроение: мы все остаемся детьми, а она никогда не была на Востоке и в тех экзотических странах, где ей предстояло побывать. Между тем беспечность, как она сама заметила, бывает опасна.

— А я из-под Генуи, — сказал Бенито. — С побережья. Там многие говорят по— французски. Но не так, как вы. Вас, наверно, северяне учили?

— У нас была преподавательница из Парижа.

— Оно и чувствуется. Пойдете в порт?

— Обязательно!

— Составим вам компанию.

— Будете загружаться?

— Пшеницей.

— И привезли что-нибудь?

— Самую малость. Вино своим. Несколько ящиков. Потом разгрузим.

— Не объявили в таможне?

— Еще не хватало. Так — дружеская посылка. Но осторожность не помешает.

— Здесь филиал компании?

— Так точно. Не могут без итальянского пойла.

— Грузоподъемность две тысячи? — У нее со времени ознакомительных поездок по французскому побережью остались кой-какие познания на этот счет, и ей хотелось освежить их и заодно — ими похвастаться.

— Две с половиной.

— По судну кажется меньше.

— А машинное отделение — видите: расположено сзади? Так больше вмещается. Но для этого нужно сыпучий груз иметь: легче распределить вес, чтоб не кренило.

— Что она спрашивает? — спросил на итальянском Чарли, которому надоело молчать: его французский был самый простой и обиходный — для портовых девок, а не для бесед с учеными стипендиатками.

— Сколько мы можем поднять на борт. Ей показалось меньше, чем есть на самом деле… — и Бенито оборотился к ней: — Для специалистки по языкам вы слишком хорошо знаете морское дело.

Это было более чем резонно. Пришлось врать:

— У меня в семье моряки.

— Отец?

— Брат. Показывал мне пароходы в порту, — и пошла потом на попятную: — Я это так спросила — из форсу. Вообще-то я мало что понимаю, но хочется, чтоб за свою приняли…

Пристали к берегу.

— Пойдемте с нами. Документы предъявлять не надо.

— Я и показать могу: там все в порядке…

— Мороки меньше. Быстрее на берегу окажетесь. Идемте. Как вас зовут, прекрасная уругвайка?

— Дениза.

— Скажите еще что-нибудь по-испански. Чарли никогда не слышал.

— Что, что? — обеспокоился Чарли, вслушиваясь в их скороговорку.

— Ничего. Языки учить надо, — сказал ему Бенито. — Раз во флот пошел.

— Мне того, что я знаю, достаточно. А что она говорить будет?

— А я откуда знаю? Слушай.

Рене подождала, когда кончится их итальянский, и продекламировала на испанском стихотворный монолог из Лопе де Веги, который учила наизусть в лицее. Они слушали с завистью.

— Что это? — Бенито ничего не понял, несмотря на близость романских языков.

— Стихи, — отвечала она.

— Хорошо звучат.

— Мои любимые, — с гордостью солгала она: насколько трудно всучить такой товар коренному жителю страны, настолько же просто — иностранцам: что б вы ни сказали на своем мнимом родном языке, все будет звучать в их ушах музыкой, в которой нет ни одной фальшивой ноты. Она подумала тут о том, что, пожалуй, даже лучше, что едет на этом зерновозе, а не на пассажирском лайнере, где наверняка бы нашелся если не уругваец, то испанец и у нее были бы нежелательные очные ставки и совсем ненужная конкуренция…

На берегу было столпотворение. У причала стоял большой пассажирский лайнер, арабы высыпали на берег. Узкая полоса набережной кишела туземцами в рваных бурнусах. Все занимались торговлей вразнос, протягивали безделушки и взахлеб расхваливали их на гортанном наречии. Матросов они не замечали, офицеров тоже: эти, как известно, не платят — но пассажирку, глядевшую на них с симпатией, облепили как мухи сладкое — от них отбоя не было.

— Быстро, быстро, — показывал ей короткими жестами Бенито. — Проходим, проходим! Тут таких много…

Но одному из торговцев и они воздали должное. Мальчишка лет двенадцати, которому бурнус еще не полагался, в тряпье на голое тело, дочерна загоревший, со смышлеными вороватыми глазами, видно, угадал в ней интерес к жителям колоний — умело перегородил ей дорогу и стал предлагать: то камешек из пирамиды фараона, то бусинку из той же гробницы. Убеждения убеждениями, но деньги, которых у нее было мало, она умела считать и ни до одного его товара не докоснулась — только продолжала выражать ему глазами живое сочувствие. Видя, что древностями ее не соблазнишь, мальчишка не растерялся и в качестве последнего и неотразимого довода предложил ей живого утенка, которого, как факир, вытащил из-за пазухи. Ее спутники засмеялись и протянули ему пару мелких монет, оставив ему птенца. Толпа, увидав деньги, разом обернулась к ней и охватила таким плотным кольцом, что вызволять ее пришлось им обоим и вытаскивать чуть ли не силой.

— Таланты надо конечно поощрять, — сказал Бенито, — но не такими жертвами. Верно, Чарли?

— Им нельзя деньги показывать, — сказал тот, поправляя мундир. — Они от них звереют.

— А как без денег купить что-нибудь?

— В этом-то все и дело, — сказал Чарли. — Если б я знал, то был бы в другом месте.

— Ладно, — сказал его друг. — Не все им нас обманывать — пойдем и мы их облапошим.

— Это как? — обеспокоилась Рене, не желавшая никаких историй. В Москве ей советовали отсиживаться на пароходе во время стоянок, но она рассудила, с известной долей лицемерия, что тем лишь быстрей обратит на себя внимание.

— Пойдем кофе задарма пить. В лавку одну… Только ничего там не трогайте — тут же всучат…

Они пошли через живую стену людей; вопреки законам галантности они двигались вдвоем впереди, рассекая человеческие волны, — она, как на буксире, шла сзади. В лавке, куда они пришли, густо пахло благовониями. Под низким потолком лежали пласты ковров ручной работы, керамика и другие местные товары. Хозяин, толстый, пожилой, в феске, был словно облит с головы до ног маслом и патокой: вязко, медоточиво улыбался и являл собой образец восточного гостеприимства. Говорил он на приличном английском, который Рене знала плохо, но понять могла, — тем более что он приспосабливал его к итальянцам.

— Привел вам клиентку, — подмигнув Рене, сказал Бенито. — Хочет посмотреть ваши сокровища. На набережной ей уже кое-что показали.

— Ооо! — запел тот и оглядел ее с головы до ног и со знанием дела: словно всю обцеловал глазами. — Для такой покупательницы ничего не жалко. Сейчас кофе будем пить. Синьорита любит кофе?

— Yes, I do, — сказала Рене.

— Ооо, она еще и по-английски говорит?

— Да, с ней поосторожнее, — сказал Бенито. — Пойдемте, Дениза. Такого кофе больше нигде не будет…

Это было правдой. Такого кофе она нигде больше не пила: от крохотного глотка у нее посветлело в голове и словно распахнулась душа — так стало легко и весело.

— Как кофе? — спросил тщеславный хозяин.

— Marvellous! Ausgezeichnet! Magnifique! — на трех языках выразила она восхищение: будто одного было мало.

— Синьорита многоязычна? Откуда она? — спросил хозяин Бенито.

— Из Уругвая.

— Там все так. Говорят на десяти языках. У меня был один оттуда. Разве что китайского не знал.

— А она вот едет изучать его.

— Значит, перегонит. Пойдите, синьорита, в лавку — может быть, что-нибудь выберете. Хотя бы на память. Я так и быть —

вам цену скину…

Она заранее поблагодарила и ушла, окрыленная чашкой кофе. Но уходя, она не упустила взглядом человека, сидевшего с безучастным видом в глубине комнаты: по всей видимости европейца, светлого и высокого — может быть немца или скандинава…

Она перебрала ковры, осмотрела чеканку и керамику — выбрала самую маленькую глиняную вазочку величиной с чашку. Офицеры вскоре вернулись. Хозяин, уже более спокойный и сдержанный, лишь покосился на нее, когда она показала ему свой выбор, и еле заметным знаком показал, что платить не надо. Они вышли на залитую южным солнцем набережную. Была весна, настоящей жары не было, но солнце уже припекало: местные его не замечали, а европейцы заслонялись от него зонтиками и панамами.

— С покупкой? — спросил Бенито.

— С подарком. А кто там был у него в комнате? Европеец?

— А вам-то что за дело? — грубовато спросил он и неодобрительно глянул на нее. — Для туристки вы слишком наблюдательны, синьорита…

Она осеклась, прикусила язык, оглянулась на Чарли, который молча выразил те же чувства, и поняла, что с обоими надо быть осторожней. Бенито посмотрел на нее, пожалел, что нагрубил, извинился:

— Не знаю. Гость какой-то. А может быть, покупатель.

— Я действительно слишком любопытна, — повинилась она. — Но это первое мое путешествие — мне поэтому все интересно.

— Наблюдайте — кто мешает? Вслух только говорить не надо, — совсем как инструктор в Москве, сказал он, и урок этот был вполне ею заслужен…

На борту их встречал капитан.

— Где были?

— По набережной прошвырнулись. Дениза в лавку захотела зайти — пошли с ней.

— К Мустафе ходили?

— Ну да.

— Что-нибудь купили?

— Нет. Он ей вазочку подарил. Для фиалки или ландыша.

— Плохую покупательницу привел, — сказал он, оглядывая пассажирку.

— Так нет других. Не с Блюменфельдом же идти. — Это был еврей, спасавшийся от гонений на родине.

— Нет, только не с ним. Он там, пожалуй, все вверх дном

перевернет. Сегодня камбуз с кабиной спутал и котел с супом опрокинул. Если так дальше пойдет, я его, пожалуй, в Адене арабам скину.

— Аден — это чересчур, капитан. Нельзя быть таким жестоким.

— Суп тоже жалко. На такой жаре снова его варить… Зайдешь ко мне потом, — и отошел от них, снисходительный и чуть-чуть рассеянный.

— Разбежались? — спросил ее Бенито. — Теперь до Порт-Саида. С вечера мы на вахте…

Она вернулась в каюту, которая за день раскалилась — не усидела в ней и вышла на палубу, движимая любопытством, обострившимся и усилившимся во время путешествия, и, уже избалованная мужским обществом, решила присоседиться к Блюменфельду, который скучал в одиночестве на корме возле машинного отделения. Он и во время движения судна сидел там же: словно не слышал рева машин, — а может, нарочно лип к этому месту: чтоб никто не составил ему компании. На берег он не выходил: боялся преследователей и погони.

— Я вам не помешаю? — Она присела на соседнее кресло, от которого он забыл или не сообразил вовремя избавиться. — Жарко, не правда ли?

Он поглядел на нее в упор с неприкрытой подозрительностью, отвернулся и ничего не ответил. Ей бы посидеть для приличия, встать и уйти, но ее разобрала ненужная и неуместная жалостливость.

— На берегу интересно. Я в первый раз в этих местах. А вы?..

Вместо ответа он рывком вскочил и убежал в свою каюту, расположенную по соседству с ее, а она замерла опешив. «Не надо совать нос куда не просят», — сказала она себе, но раскаяния такого рода всегда приходят с опозданием…

В Порт-Саиде, с которого начинается Суэцкий канал, офицеры, как и обещали, появились снова и пригласили ее — не куда-нибудь — а в известный публичный дом, именуемый за роскошь адмиральским: не то развлекали ее таким образом, не то испытывали на прочность.

— А что я там буду делать? — удивилась она.

— А там ничего делать не надо, — отвечали они. — Это как магазин: можете покупать, можете нет… Мы, собственно, будем в таком же положении…

Публичный дом так публичный дом. В конце концов, туристы для того и существуют, чтоб осматривать рассыпанные по свету достопримечательности. Они прошли мимо бронзового памятника Лессепсу и углубились в город: заведение было

расположено рядом с морем, но скрыто для приличия стоящими в первом ряду домами. Здание было снаружи неприметно, но внутри оказалось едва не дворцом, украшенным мозаикой и выложенным персидскими коврами. Они прошли в роскошно обставленную большую общую залу. Туда вслед за ними сразу вошли пять или шесть женщин — явно европейского происхождения. Одеты они были со скромностью миллионерш: просто и дорого — от профессии у них был только резкий, дурманящий запах восточных духов, настоянных на розовой эссенции. Они относились к своему занятию как к самому естественному в мире и держались с удивительным, почти врожденным достоинством, которое, видно, всегда в них жило или было обычной их маской, а теперь еще и подогревалось присутствием в зале женщины. Зрелище это произвело на Рене неизгладимое впечатление. Она почувствовала, что их судьбы в чем-то схожи. Она тоже рисковала, как они, и все ставила на карту, но они делали это за деньги, за обеспеченность в будущем, а то, что придумала для себя она, не даст ей ни вознаграждения сейчас, ни покоя в старости…

С ними был еще один офицер, совсем юный мичман, который сбежал от них и через некоторое время вернулся: он молчал с виноватым видом, но заметно порозовел и оживился.

— Сбегал уже? — спросил Бенито, не стесняясь попутчицы. — Это у нас денежный мешок — ему все нипочем. Ты когда у родителей деньги просишь, говоришь хоть, на что они уходят? — Юноша молчал: ему было неловко. — На самом деле, все это пустое, — сказал Бенито, будто и это разъяснение входило в программу экскурсии. — Все эти ковры да пианино у окошка. Нужны адмиралам — чтобы вспомнили о доме, о котором тоскуют. Поэтому и называется адмиральским.

— А тебе это не нужно? — не то спросил, не съязвил Чарли.

— Нет. У меня и дома ковров нет — зачем они мне здесь? Ничего, что мы вас сюда сводили? — спросил он попутчицу.

— Нет, — с легким сердцем отвечала она. — Интересно.

— Вы у нас молодец, — похвалил он. — Ничем не гнушаетесь…

Они вернулись на пароход: больше в Порт-Саиде смотреть было нечего.

— Что-нибудь интересное видели? — спросил их капитан.

— Даже очень, капитан. Но один Бенедетто мог это пощупать.

— Этот Бенедетто! Где он?

— Сбежал по дороге. Побоялся, что будете его расспрашивать.

— Жди! Небось, в другое такое место побежал. Его отец сюда

и отправил, чтоб оградить от него соседских девок. Вы извините меня, ради бога, — спохватился он, вспомнив о стоявшей рядом девушке. — Эти наши морские подробности…

— Ничего. Она своя в доску, — сказал Бенито, и Блюменфельд, почему-то оказавшийся рядом: он незаметно подошел к ним с борта — здесь вздрогнул, словно ему раскрылся некий секрет, отвел от них невнимательный, напряженный взгляд и пошел спотыкаясь на корму — коротать время в одиночестве…

Суэцкий канал прошли за пятнадцать часов: вечер, ночь и утро. Допускаемая скорость здесь была десять километров в час, пять с лишним узлов в морском исчислении, — только в естественных расширениях канала, в озерах, которые он пересекает, разрешалось ее увеличение. Они выходили в Суэце, Джидде и Адене. В Адене было светопреставление, кошмарный сон наяву: голая скала над морем, костлявые, хилые, истощенные арабы разного возраста — многие из них харкали кровью — лезли с борта на корабль, брали его приступом: клянчили, вымогали истошными голосами подачки, почти угрожая пассажирам своим изнуренным туберкулезным видом.

Едва отошли от этого ада, как новое событие, на этот раз чрезвычайное. Сбежал Блюменфельд — как раз в том Адене, куда капитан грозил его высадить: исчез после кратковременной стоянки в порту. Вещи его остались — он взял с собой только самое ценное: паспорт, деньги.

— Зачем я сказал тогда это? — сокрушался капитан. — С кормы же все слышно. Когда машины останавливаются. Испугался, что я его им брошу.

— Может, он с самого начала знал, что высадится? — спросил Бенито, более скептичный и недоверчивый. — А вас водил за нос? И всех других тоже?

Капитан не поверил.

— Что ему делать в Адене? Пропадет же. Вот дурак! — повторял он, неизвестно кого: себя или пассажира — имея в виду, а Рене думала о том, что виновата она и никто больше. Нечего совать нос в чужие дела и навязывать свое общество нервным людям — особенно когда сама не в порядке и можешь произвести впечатление человека с двойным дном, выдающего себя не за того, кто ты есть на самом деле…

В Бомбее оба офицера снова вызвались сопровождать ее — на этот раз, как ей показалось, для того, чтоб подвести итог знакомству и поставить в нем точку: такое было, во всяком случае, выражение на их лицах. До Бомбея она выходила на берег одна: они работали. Кое-что из того, что она увидела в Индии, надолго запомнилось ей — как аллегории или предзнаменования,

откладывающиеся в сознании и требующие истолкования в будущем. В Карачи она была на ферме крокодилов и кормила их мясом. Животные были пресыщены и ленивы, но служащий, стоявший рядом, не уставал напоминать посетителям, чтоб они не кормили их с рук, а подавали мясо на шесте, снабженном крючьями: иначе те могут отхватить и руку с подачкой вместе. Крокодилы на людей не зарились — они и на мясо еле глядели: скашивали на него сонные одурелые глаза и не всякий раз сдергивали его с палки. Вход был бесплатен, платить надо было за кормежку — возможно, за всем этим стоял какой-то особенно предприимчивый торговец мясом…

Британская Индия не понравилась ей: уличной нищетой и бесправием местных жителей и английской ухоженностью европейских кварталов — красными, как на родине хозяев, кирпичными домами, пальмами и стрижеными газонами. Рене была не только антиколониалисткой, но и, как большая часть французов того времени, еще и противницей Англии: тут были давние счеты наций — отсюда и ее особая антипатия к увиденному. Хорошо, что она не сказала об этом вслух: учитывая дальнейшее развитие событий, — научилась к этому времени держать язык за зубами. В Бомбее, по которому они гуляли втроем, на тротуарах рядами, вповалку лежали люди. На проезжей части, и без того узкой, постоянно возникали заторы из-за коров, которые считались священными, но были тощими, состоящими из одних костей, будто у них напрочь отсутствовали мышцы, жир и мясо; они становились поперек движения, и их нельзя было ни согнать, ни тронуть пальцем. И здесь улица жила в ожидании подачки, всегда готовая на мелкое вымогательство. Она сфотографировала факира, который вымазался навозом и сидел неподвижный и бесстрастный, — оказывается, он только этого и ждал и потребовал у нее деньги, вчинил иск за позирование и за натурную съемку. Она дала ему монету: чтоб не ссориться с толпой, которая явно была на его стороне, — он зашумел вдвое, обругал за то, что дала мало, запросил рупию. На ее счастье, вмешалась ее свита в мундирах — увели ее под руки, а то в конце улицы уже замаячил высокий стройный полицейский-сикх в тюрбане, в мундире болотного цвета, который неизвестно чью бы сторону принял…

Они побывали в знаменитой башне молчания, на которую парсы выставляют покойников. Их каста запрещает загрязнять человеческими останками три главные стихии вселенной: землю, огонь и воду — поэтому они оставляют трупы питающимся падалью грифам: эти птицы, тучные и сонные, как крокодилы на ферме, сидели на ветках соседних деревьев — в ожидании

очередной трапезы…

— Ну Дениза, выкладывайте, кто вы такая, — сказал Бенито. Они сидели на террасе маленького кафе, под большим раскидистым зонтиком, спасавшим их от прямых лучей солнца. — У нас с Чарли спор, и мы хотим знать, кто выиграл…

— Я же вам сказала. — Она не очень удивилась вопросу, словно ждала чего-то подобного. — А что вы подумали?

— Что подумали? — Бенито помолчал, Чарли в это время весело ухмылялся, и ей показалось, что он на ее стороне в этом споре. — Сначала испугались, что вы из таможенной полиции…

— Таможенная полиция не берет билета до Китая, — сказала она первое, что пришло ей в голову. — Максимум, до Порт-Саида.

— И не бывает такой умной, — ухмыльнулся еще веселее Чарли, который стал вдруг вполне прилично говорить на французском.

— Возможно, — согласился с обоими Бенито. — Но на свете бывает всякое, и надо было проверить и это. Стало быть, не из таможни — кто тогда?

— Студентка из Монтевидео, — сказала она.

— Нет, — не согласился он на этот раз. — Слишком уж вы любознательны. И смелы к тому же. Студентки так себя не ведут.

— А вы не допускаете, что образованный, всем интересующийся человек сам по себе может быть любопытен? — не сдавалась она: она была в этом уверена, но надо было еще убедить собеседников. — И вести себя соответственно?

Они, однако, так не думали: не сталкивались до сих пор с бескорыстными просвещенными людьми, путешествующими, как герои Жюль Верна, по земному шару из одного научного любопытства.

— Короче говоря, — сказал Бенито, — решили мы, что вы из разведки. Весь вопрос, какой. Я думаю, из британской.

На этот раз она и вправду опешила.

— А Чарли?

— А он, как всегда, не знает. Вот и разрешите наш спор.

— Особого спора не вижу: раз он не знает… Может, из русской? — в насмешку над ними спросила она.

— Из русской вряд ли, — усомнился Бенито, а Чарли призадумался. — На русских работают евреи и коммунисты, а вы ни на тех, ни на других не похожи.

— Что ж вы не донесли на меня? — оценив наконец в полной мере нависшую над ней опасность, спросила она: чтоб знать, чего ждать в ближайшем будущем.

— Кому и на кого? На собственную пассажирку? Моряки своих гостей не выдают.

— Показал бы я ему, если бы он сдал человека из Интеллидженс Сервис! — Чарли выдал свои проанглийские наклонности.

— Да и капитану бы не поздоровилось, — продолжал Бенито. — Чтоб я капитана под удар подставил? Да пусть они оба сдохнут, Гитлер и мой тезка с ним вместе, раньше чем я своего капитана заложу… Не хотите говорить? А я так и знал, что не скажете.

— Не скажет конечно, — сказал Чарли и встал. — Пойдем на борт. С ней сидеть опасно. Если верить тому, что сам говоришь…

Больше они втроем не гуляли, теперь она сама себя развлекала и сторонилась близкого знакомства с кем бы то ни было: когда начинаешь говорить по существу, а не по дежурному этикету, нетрудно и проговориться…

(Есть разряд людей, говорила потом мать, которых разведчик, равно как и другие злоумышленники и лица, скрывающиеся от правосудия, должны остерегаться в первую очередь. Это те, кто по долгу службы видит много людей: они сразу выделяют тех, кто не похож на остальных, не проходит через общую гребенку, — да и полиция нацеливает их на это. К таким людям можно причислить портье гостиниц, поездных контролеров, иногда официантов, комедиантов (потому что у актеров зоркий взгляд и недоверчивая натура) — наконец, таких же разведчиков, как вы сами. Это не значит, что, раскусив шпиона, они немедля побегут в полицию: частные люди вообще неохотно туда обращаются — но вам, чтоб почувствовать себя неуютно, будет достаточно и их скрытного испытующего взора. К таким знатокам относились, наверно, и Бенито с Чарли. Хотя пассажиров за год у них набиралось не так уж много, но половина из них была сомнительного свойства — поэтому, наверно, они ее и вычислили.) Пароход полз по подбрюшью Азиатского континента, промышляя каботажем и оставляя далеко позади себя все сроки плавания, — ее появление в Шанхае отодвигалось все дальше. Капитан брал на борт пассажиров, на которых не хватало местных катеров, и высаживал их через две-три остановки: в каютах они не нуждались и пережидали время на палубе, не тяготясь безжалостным пеклом. Он заработал, по наблюдениям Рене, кругленькую сумму, но она не была, как догадались Бенито и Чарли, ни контролером его компании, ни агентом таможенного ведомства.

Любопытства у нее не убавлялось, но она довольствовалась теперь своим обществом. Между Пинангом и Сайгоном они оставили по правому борту остров Пуло-Кондор — место каторги, известное страшными «тигровыми клетками», в которых уже ее соотечественники, французы, держали политических узников

руками вьетнамских наемников. Это были ямы, крытые сетками, где можно было только сидеть под палящим солнцем и нельзя было встать, — сюда попадали революционеры-аннамиты, которых она знала в Париже. Пароход туда не заходил, но она не могла не содрогнуться, не исполниться священного ужаса, минуя этот остров, — это тоже была святыня: как «Тайная вечеря» Леонардо, только иного свойства…

В Пинанге на пароход сел «типичный колонизатор», как она его назвала, — конечно же англичанин, владевший каучуковой плантацией во Французском Индокитае. Она до конца жизни затаила к нему неприязненное чувство. Сухопарый, подтянутый, поджарый, он являлся к столу капитана в страшную жару в смокинге и держался со смешными церемониями. Присмотревшись, она заметила, что под смокингом у него лишь манжеты и манишка и надет он на голое тело, но в этом не было еще ничего плохого — лишь комическая преданность традициям. Ехал он до Сайгона и пригласил офицеров, и Рене с ними, в свой загородный дом отобедать. Среди приглашенных были и Бенито с Чарли: теперь они ее сторонились и лишь любезно раскланивались на расстоянии — ее это устраивало. У себя дома хозяин повел себя со всем своим колонизаторским блеском. Вилла, по которой он их торжественно провел, была похожа на магазин, в котором дорогие вещи казались случайно выставленными рядом на продажу. Но и это было полбеды. Хуже было то, что он оказался любителем розыгрышей, столь же пошлых, как и он сам и все в его доме. Это были разного рода метлы и ведра, спускающиеся на голову того, кто входил в комнату, чучела змей, бросающиеся стрелой в сторону гостей: эти розыгрыши были его страстью, для удовлетворения которой он и пригласил к себе их компанию. Рене запомнила в особенности один фокус, коснувшийся, так сказать, ее лично. Она села на стул и не заметила на пестрой обивке свежий птичий помет, замаскированный под рисунок ткани. Радости хозяина не было предела. Он буквально заржал от счастья, а она распрощалась с единственным белым костюмом, который имела глупость надеть в экскурсию. Он повел их затем в свою спальню. Кровать в ней была не двуспальная, а трех— или четырехместная и рядом — огромное зеркало. Рене решила, что он спит с несколькими женщинами, и он, поймав ее взгляд, усиленно закивал и сказал, что она поняла его совершенно верно, что большая кровать нужна, чтоб спать сразу с двумя и тремя «конгай» (женщинами по-вьетнамски) и чтоб отображение в зеркале еще их и удваивало. Эти «конгай» были повсюду, они держались развязно: постоянно заглядывали в двери, нагло изучали гостей, призывно

дефилировали перед хозяином. В доме царила разнузданность гарема, в котором забыли закрыть двери: он, видно, набрал свой штат на набережной. Сам он через некоторое время начинал производить впечатление чудака: угловатый, вызывающе дерзкий — джентльмен в смокинге, но без нижнего белья, как аттестовала она его потом попутчикам, не попавшим в эту увеселительную прогулку. Ее костюм и вечер были окончательно испорчены…

В Сайгоне, преддверии Китая, ее повели в опиумную курильню. Она увидела курильщиков опиума, лежавших в неудобных позах, с отрешенными безучастными лицами — спящих с приоткрытыми глазами. Впечатление было тягостное, но для нее не новое. В Париже она пришла как-то к товарищу-аннамиту и застала его за этим занятием. Обычно живой, восприимчивый, деятельный, он предстал перед ней тупым существом, не желавшим ничего видеть и слышать…

В Хайфоне начались муссоны. Каждый день в один и тот же час начинался проливной, как из ведра, дождь, который длился неизменно полчаса — не более того и не менее. С непривычки было странно: будто кто-то наверху, сверяясь со временем, льет вниз воду из гигантского чайника.

В Гонконге (они все-таки приближались к Шанхаю) ей запомнилось другое. До этого в Хайфоне к ним присоединился японец, образованный и хорошо говорящий по-французски. Он счел своим долгом познакомить пассажиров со своим уголком земного шара и повел их в китайский ресторан, где собирался удивить китайской кухней. Но в ресторане говорили на южнокитайском диалекте, а он знал только северный и, поскольку его не понимали, не смог сделать заказа: на пальцах в китайской кухне можно показать только палочки для риса, все остальное слишком изощренно для языка жестов. Они сидели в невыносимом пекле и спасались тем, что сушили лицо салфетками, которые держат перед этим на сильном жару: только их раскаленное прикосновение облегчает зной и делает еду возможной. Дело не двигалось, они собирались уйти, когда их вожаку пришла в голову счастливая, хотя, в общем-то, заурядная мысль — спросить меню, написанное китайскими иероглифами (знание их обязательно для ученого японца). С их помощью он в два счета сделал заказ, а ей пришло в голову, что эти магические знаки не зря сохраняются со времен египетских пирамид: языки приходят и уходят, а рисунки остаются и обеспечивают общение в разноязыком регионе. Такова была догадка, и она была довольна ею, потому что любила мыслить дедукциями…

В конце мая она прибыла наконец в Шанхай — огромный порт, ворота Китая и его проходной двор. Никто ее не встретил:

она опоздала на месяц. Она поселилась в одной из двух указанных ей гостиниц и стала ждать — всерьез опасаясь, что ее не хватятся. Так оно и вышло. Прошел месяц, деньги ее кончались, никто на связь с ней не выходил. Она ходила взад-вперед по грязной, словно вымазанной салом комнате, пела куплеты из полюбившейся ей русской песни о том, что «никто не узнает и никто не придет», и смотрела в окно, где напротив гостиницы располагалось… советское консульство! Путь туда был ей заказан — пойти к своим было бы вопиющим нарушением конспирации.

В те годы иностранцы в Китае могли жить в отелях и есть в долг в течение месяца — после этого наступала неминуемая расплата. Месяц подходил к концу, ждать было нечего — она решилась. В один из вечеров — это было 10 июля, лил сильный дождь — она отошла подальше от гостиницы, наняла рикшу и попросила доставить ее до отеля, объяснившись с ним на здешнем ломаном английском, который назывался «пиджин-инглиш» и представлял собой чудовищную смесь из всех языков и наречий. У ворот консульства она попросила остановиться раньше времени и, расплатившись последними монетами, выпрыгнула из повозки — полуголый рикша побежал враскорячку дальше, а она нырнула под сплошную стену ливня к двери консульства: слава богу, вокруг никого не было. У входа стоял старик-китаец, работавший по найму. Он, к счастью, впустил ее в прихожую и внял ее просьбам — позвать кого-нибудь из советских. Вышла русская женщина, которой она сказала только, что приехала и никто ее не встретил. Этого было достаточно. Женщина позвала ее в вестибюль, где к ней вышел молодой человек, которого она случайно видела в Москве на встрече зарубежных антифашистов с московской молодежью. Он тоже ее узнал, нисколько ей не удивился, будто все происходило не в Шанхае, а на Арбате, и молча провел ее внутрь дома, за закрытые от чужих глаз двери…

На следующий день она вошла в комнату, где сидел красивый брюнет с тонкими, одухотворенными чертами лица, глядевший рассеянно, сосредоточенно и в то же время чуть свысока и покровительственно, с пышной шевелюрой, плотного, упитанного телосложения: что называется, в теле. Увидев ее, он поднялся и пошел ей навстречу, радостно улыбаясь, живо блестя глазами и кривя рот в гостеприимной, подкупающей улыбке.

— Это вы, Кэт? Вы наконец приехали? Теперь у меня будет настоящая радистка!..

Это была ее первая встреча с Яковом.

4

— Но как же так вышло, что ты приехала с таким опозданием? — озабоченно спрашивал он, продолжая улыбаться. — Я ходил две недели подряд, наводил каждый день справки в обеих гостиницах — потом решили, что что-то случилось и ты уже не приедешь. В Центре о тебе знали только, что ты благополучно добралась до Милана.

Она рассказала об ошибке готовившего ее работника и о своих, в связи с этим, злоключениях.

Во всех наших бедах виновата именно такая безалаберность, — сказал он, внимательно ее выслушав. — Но я действительно тебе рад! — повторил он, невольно скосив глаза с лица вниз и окинув ее всю виноватым взглядом. — Теперь я смогу передавать куда больше информации.

— А что с прежним радистом?

— Пьяницей оказался, — наигранно-равнодушно сказал он, но по лицу его прошла тень давней неприязни. — Работает под настроение, когда захочет. Он тебя ждет — поедет теперь в Союз.

— С плохими рекомендациями?

— С наихудшими. Ты наверно устала?

(Они сразу перешли на «ты», что было принято в их кругу и, к тому же, они говорили на немецком, где это обращение естественно.)

— Почему? Я хорошо выспалась в консульстве.

— Где?! — поразился он. — Они мне этого не говорили.

— Мне некуда было деться, — и рассказала о последних днях в Шанхае. Он глядел недоверчиво.

— И как выехали из консульства?

— В машине с занавешенными створками. Я пригнулась, когда выезжали с территории.

Он покачал головой.

— Это непорядок. Китайская полиция, конечно, слаба, но все-таки…

— Иначе бы я тут не сидела. Ни явки, ни телефона.

— Это они в Москве напортачили. Ладно, — повеселел он. — Alles gut, das endet gut. («Все хорошо, что хорошо кончается», нем.) Пойдем пообедаем. Я проголодался… Надо бы и представиться друг другу. Я Максим Ривош, а ты?

— Дениза Гислен.

— Дениза на каждый день не пойдет. Слишком запоминается. Что-то аристократическое, из высшего света… — И оглядел ее с головы до ног так, как если бы в ней не было ничего

аристократического. Он смотрел на нее уже без стеснения, с полным на то правом, и ей показалось, что он ждал ее приезда не для одной смены радиста. — Будешь Элли.

— Почему? — После стольких смен имен ей было безразлично, кем она станет теперь, но все-таки…

— На таких именах не задерживаются. И тебе оно подходит. — Он не подумал, что такая похвала может и обидеть, а она сделала вид, что не заметила этого. — Как ты относишься к китайской кухне?

— Положительно. Правда, в последнее время кормили из рук вон плохо. Я в кредит жила. Там, между прочим, порядочный долг скопился.

— Надо будет заплатить. А то могут возникнуть неприятности.

— По почте вышлю. Если она здесь надежная.

— Тут все ненадежно, но почта как раз приличная… Пожалуй, так лучше будет, — согласился он, и она только потом узнала, как много значило это согласие: он всегда оставлял за собой последнее слово. — Тебя мог кто-нибудь увидеть?

— Если только из окошка. Такой дождь, что на улице ни души не было.

— Все равно… Идем обедать, а я тебе потом прочту небольшую лекцию. Введу, так сказать, в курс дела…

В ресторане он заказал утку по-пекински и стал учить, как есть ее, она же показала ему, как пользоваться палочками.

— Ты умеешь? — удивился он. — А я не смог научиться. У меня с руками вообще плохо. Головой — пожалуйста, могу работать сколько угодно, а руками на хлеб не заработаю. Ты когда из Москвы?

Ее удивило, что он говорит здесь об этом, и она это ему сказала.

— Аа! — отмахнулся он. — Никто не слушает. Так когда?

— В марте, — невольно переходя на шепот, сказала она. — А что?

— Значит, ничего не можешь рассказать… Там все переменилось. Сняли Берзина, теперь на его месте Урицкий, а по нашей линии — Карин. Ты их не знаешь? — спросил он: в надежде узнать хоть что-то.

— Нет. Вообще мало кого знаю. Мое дело было учиться. — Он взглянул с разочарованием: его волновали кадровые перемены, а она по-прежнему мало интересовалась руководителями, зная по французскому опыту, что они могут меняться, но на деле это отражается мало…

Дома он, как и обещал, прочел ей лекцию о положении в

Китае и в сопредельных ему странах.

— Чтобы понять, что здесь происходит, — перейдя на дружеский лекторский тон, начал он, — надо представлять себе, что Китай, при всех переменах в нем, остается, как и прежде, предметом вожделений и яблоком раздора основных империалистических держав: здесь сталкиваются интересы практически всех стран — прежде всего Японии и Великобритании, но еще и Соединенных Штатов и твоей Франции. При этом они не забывают все вместе нападать на Советский Союз и чинить нам препятствия в любом нашем, даже самом невинном, начинании. Мы здесь поддерживаем Красную Армию и объявленную в Цзянси и Фуцзянь Советскую республику, хотя знаем, что в руководстве ее не все гладко и что вообще марксизм тут очень специфичен и имеет, так сказать, национальную окраску. — Последнее он произнес с заметной иронией, но не стал распространяться на эту тему. — Сейчас они вынуждены перебазироваться в западные, более безопасные области, где можно спрятаться в горах: но в Жуйцзине их со всех сторон обложили войска Чан Кайши и готовы их уничтожить. Однако, и у самого Чан Кайши дела далеко не блестящи и положение его очень шатко. От него фактически отпали южные провинции, север под властью японцев, которые ставят здесь марионеточных правителей и подкупают генералов здешних армий. Его положение усугубляется еще и тем, что в Китае существуют давние традиции гражданских войн, в которых провинции и вооруженные силы легко откалываются от центрального правительства и объявляют себя независимыми. При этом им совершенно все равно, какими лозунгами пользоваться, — лишь бы дорваться до власти и грабить. Сейчас, например, на сторону Красной Армии перешли несколько генералов правительства, но, как ты понимаешь, им коммунистические идеи меньше всего свойственны. Но Япония для Китая — первый враг: она готовит его захват — и рано или поздно, но Чан Кайши вынужден будет обратиться к союзу с нами, потому что западные державы здесь ему не помогут. Пока что он ведет себя к нам враждебно и преследует коммунистов, но Китай — такая страна, где общая картина может каждую минуту перемениться…

Его разветвленная, как ветки большого дерева, чересчур связная речь, хорошо поставленный голос смутили ее, но она дослушала до конца и спросила:

— Чем мы, в связи с этим, должны заниматься? — Она была человеком дела, и ей нужно было знать, что будет делать она, а не великие мировые державы.

— Погоди, до этого еще дойдем… Хотя могу и сейчас сказать. Если ты так хочешь… — Он был недоволен тем, что его прервали, но, посмотрев на нее, вернулся в хорошее расположение духа: Элли положительно ему нравилась. — Заниматься будем всем. Снимать и передавать по рации то, что попадет в руки, а найти здесь можно что угодно — лишь бы были деньги… То, что я сказал, — прибавил он веско и многозначительно, — нужно, чтоб увидеть картину во всей ее полноте и совокупности. Марксист должен видеть явление в его законченной целостности — нельзя не видеть за деревьями леса.

— Вы покупаете информацию? — спросила она.

— Не всегда. Бывают и идейные источники… Хотя с ними трудно. За их идейностью часто стоит страх. Боятся, что покарают, если не согласятся. Красные если не на пороге власти, то имеют длинные руки… — и глянул выразительно. — Потом, есть и общие беды, связанные с тем, что все это интеллигенты, а это, как понимаешь, народ не шибко надежный. Приходится иметь дело с ними, потому что именно они работают в министерствах и могут достать то, что тебе нужно, а не рабочие шанхайских верфей и заводов… Вот у меня сейчас один такой. Я тебе покажу переписку с ним, — и полез в сейф, вмурованный в стену. — Мне кажется, это письмо удалось мне. Я оставил себе копию.

— Зачем? — удивилась она.

— А что? — Он глянул с веселой снисходительностью. — Не положено? Ничего: тут нет ничего особенного. Прочесть?

— Прочти, — согласилась она, хотя предпочла бы сама ознакомиться с его произведением: предпочитала верить глазам, а не ушам.

Он приготовился к чтению.

— Чтоб понять все это, надо знать, что адресат мой — из хорошей семьи, европеец с университетским образованием: он пока у нас не работает, но мог бы претендовать на самые трудные задания. Вызвался по идейным соображениям помогать нам — одно дело сделал, а другое не стал, посчитал ненужным. У меня есть еще одна такая — с приличными родителями: я ее вызвал, сказал ей, чтоб она сняла для разговора номер в гостинице, а она отказалась: девушке ее круга, видите ли, не пристало посещать бордели, — и глянул саркастически.

— Может, так и есть? — потеряв на время осторожность, сказала Рене: она понимала чувства девушки. — Может, надо было в другом месте встретиться?

Он снова недовольно поморщился, но у них был медовый месяц знакомства.

— Нет, — поправил он ее все-таки. — Задания старших товарищей не обсуждаются, а выполняются. Она могла при встрече сказать мне, что в следующий раз хотела бы увидеться в другом месте, и мы бы вдвоем подумали, как лучше, но если так рассуждать, то вообще ничего не сделаешь… — и глянул выразительно, ставя в споре точку и не допуская дальнейших возражений. — Ей стало не по себе, но она благоразумно смолчала. Он вернулся к письму: — Читать?

— Читай, конечно.

— «Дорогой друг! — начал он вслух — не тем тоном, каким читал лекцию, а более оживленно и поучительно. — Мы должны решить сейчас, каково будет в дальнейшем Ваше участие в работе. Но прежде чем принять окончательное решение по этому вопросу, мы должны обсудить и уяснить себе некоторые фундаментальные для этой цели вещи…» Извини, если не все гладко: я перевожу сейчас с английского на немецкий. «В мире нет ничего более почетного, чем быть рабочим революционером, состоять в пролетарской революционной организации. Право называть себя рабочим революционером не может быть дано себе самому, нужно заслужить его делами, революционной активностью, преданностью нашему делу. Вы еще не совершили таких поступков, у Вас почти нет революционного опыта. Нельзя винить Вас в этом. Вы молоды и только начинаете работать на Революцию. Насколько я Вас знаю (а знаю я Вас, конечно, мало), Вы можете стать настоящим опытным борцом — при условии, если всецело посвятите себя этому делу. Мне показалось, что Вы серьезны, что на Вас можно положиться, что Вы сильны духом. Мне представляется также, что в Вас есть необходимый хребет революционера и что Вам не хватает только опыта и практики революционной деятельности. Конечно, я увидел в Вас и некоторую самонадеянность, но этот грех обычно не слишком опасен, потому что проходит с опытом и со временем…» Это пока что китайские любезности, — пояснил он, чтоб она не уставала слушать, — а теперь я ему слегка всыплю, — и продолжил: «Однако некоторые последние Ваши поступки в значительной степени поколебали мою веру в Вас и эту мою оценку. Самое важное в работе революционера — дисциплина. Каждый член революционной организации должен безоговорочно подчиняться любому ее приказу — без колебаний и «торговли». Кто этого не делает, кто не хочет понять этого элементарного требования революции, тому лучше держаться от нее подальше. Мы борцы, каждый из нас принадлежит огромной армии единомышленников, которая сильна и побеждает, будучи дисциплинированной, и неизбежно терпит поражение от

классового врага, если забывает о порядке в своих рядах. Кто не может или не хочет подчиняться, тот не боец — какими бы соображениями он при этом не руководствовался. Я имею в виду, конечно, же случай, когда Вы отказались выполнить приказ, данный Вам нашей организацией. Этот приказ был серьезен и ответствен, он составлял существенную часть работы, которую Вам хотели доверить. Мы все обдумали и решили, что Вы можете ее выполнить и что Вам можно ее поручить. Мы очень удивились, и это было для нас большим разочарованием — когда мы услышали, что Вы, невзирая на революционный долг, отказались выполнить этот приказ и нарушили таким образом революционную дисциплину. Я все еще надеюсь, что эта серьезнейшая ошибка была случайного характера. Однако, прежде чем решить вопрос о Вашей дальнейшей работе, мы должны поставить перед Вами ряд вопросов и услышать на них исчерпывающие ответы.

A) Готовы ли Вы соблюдать строжайшую дисциплину? Готовы ли Вы подчиняться без оговорок и сомнений?

B) Согласны ли Вы подчинить интересам организации все стороны своей жизни, каждую частность Вашей личной жизни — в той степени, в какой они могут быть связаны с интересами нашей работы?

C) Хотите ли Вы быть в полном распоряжении нашей организации, которая и будет решать, что Вам делать и куда ехать?

Если Вы не можете или не хотите принять к руководству эти элементарные правила революционной деятельности, Вам и нашей организации лучше прервать всякие связи. Мы не потерпим повторения случая, аналогичного тому, что имел место, и должны быть уверены в том, что отныне Вы будете строго выполнять все наши указания…»

Яков приостановился — не для того, чтобы она задумалась над смыслом прочитанного, а чтобы дать ей необходимую паузу перед наиболее существенной частью послания.

— «Что-то с Вами не так. Со мной редко случалось, чтоб я в корне неверно оценил политическое лицо того или иного человека. Я по-прежнему надеюсь, что мое первое впечатление о Вас было правильным, что Вы действительно обладаете необходимыми для революционера качествами. Мне кажется, что на Вас оказывает плохое влияние окружение, что Вы дали увлечь себя выполнением так называемых социальных функций, которые сами по себе ничтожны. Вы все еще стоите на перекрестке путей. Есть только одна дорога, достойная жизни, — это путь к Революции. Вы должны пойти по нему. Но для этого нужно

соблюдать правила движения на этой главной магистрали человечества. С лучшими пожеланиями и т. д. «И далее постскриптум: «Если Вы хотите встретиться со мной лично, мы это уладим…» Ну как? — и поднял глаза в ожидании ее оценки.

Рене притомилась, слушая его. Она давно уже не слышала столько слов кряду, прочитанных или произнесенных без задержки и остановки. Ей показалось, что он прочел это письмо не без задних мыслей, а ей в назидание, — после того, как она заступилась за девушку из хорошего семейства. Ей стало не по себе, но ссориться не имело смысла.

— По-моему, все хорошо, — сказала она.

Он загадочно улыбнулся: готовил какой-то хитроумный ход.

— По-моему тоже. Я ему ловушку поставил. Не заметила какую?

— Нет. — Рене любила прямодушного Декарта и плохо понимала иезуитов.

— Неужели?.. Я приглашаю его свидеться. Это приглашение — даже замаскированное под предложение — должно быть принято: молодой революционер должен стремиться к таким встречам — они ему нужны как воздух. Посмотрим, что он ответит…

Она примолкла.

— А та девушка, которая не захотела в номерах останавливаться, — тоже получит такое предупреждение?

Он почувствовал противостояние, натянуто улыбнулся.

— Эта за деньги работает. Хотя и притворяется идейной. С ней проще.

— Большие деньги?

— Разные. В зависимости от качества информации. От ста пятидесяти до пятисот китайских долларов. — Это были большие деньги по тем временам, и он объяснил: — Она приносит интересные бумаги. Например, годовой отчет Китайского банка.

— Но она коммунистка или нет? — Ее заинтересовала эта девушка: тень от нее падала каким-то образом на нее самое: может быть, потому, что они были одного возраста.

— Не думаю, что формально она в партии. Тут не ясно, где кончается одно и начинается другое, и потом — никто тебе эти вещи не скажет: это не Европа. Что касается денег, то сначала она просила на жизнь, когда что-нибудь приносила, потом это стало системой. Ей нужны деньги, чтоб поддерживать определенный уровень и продолжать на нас работать. Она показывала мне свои расходы — в месяц получается около трех тысяч… — И поскольку Рене поглядела с сомнением, поспешил отговориться: — Такая худая, невзрачная. Совершенно не интересна как женщина. И

глупая. Недавно сказала, что хочет посоветоваться с отцом, продолжать ли наши отношения или нет, — я насилу разубедил ее. Отец — видный чиновник в Нанкине.

— Это теперь столица. — Рене покачала головой. — А нашего адреса она не знает?

— Нет, конечно. И лица тоже… — и пояснил: — Я, когда иду на такие встречи, усы приклеиваю. Делаюсь усатым джентльменом. Узенькие усики, как у Гитлера… У нее брат коммунист — поэтому ее привлекли. Здесь все на родственных отношениях держится, а идейны они или безыдейны — тут всякий раз путаница. Они вступают в партию семьями… Пройдемся по Шанхаю?

— Нет, — воспротивилась она хоть этому. — У меня вещи, надо разобрать их… Где я буду ночевать?

— В этой комнате. Я на кухне.

— Здесь тесно, — согласилась она и добавила из приличия: — Главное, что негде развернуть антенну. Надо искать другую квартиру. Где Вилли работал?

— У себя дома. Здесь мы с ним не сработались. Но это неудобно.

— Еще бы! Нести через город документы?!

— У нас машина.

— Все равно… — но он уже утомился от ее возражений и углубился в свои дела, в предполагаемые встречи с информаторами, во внутриполитическую ситуацию в стране, где все было так запутано…

Вилли заехал за ней на следующий день утром на видавшем виды «форде», содержавшемся, однако, в образцовом порядке. Яков еле кивнул в ответ на его приветствие, Рене же встретила с тем радушием, которое выказывают друг другу люди одной разведывательной профессии. Они тотчас спустились вниз. Вилли был невысокий русый парень лет тридцати пяти: немного старше Якова, которому было тридцать три, но это никак не сказывалось на их отношениях. У него была легкая беззаботная улыбка, которая не сходила с его лица — даже тогда, когда его что-то коробило: как сейчас встреча с Яковом. Он любовно огладил бок машины.

— Водите? — спросил он Рене.

— Нет.

— На курсах не учили? Что ж они? Никак не могут решиться. Машин, наверно, нет… — Она смолчала: ему не следовало знать и говорить о том, что она была на разведкурсах, но здесь царили свободные нравы. — Как вы без меня будете?

— Шеф не водит?

— Он? Да он самовар не разожжет — не то что это. Меня поначалу из дома вызывал — гвоздь забить… Не знаю, как теперь. Тут езда взад-вперед — половина всей работы.

— Такси будем брать.

— Таксист заложить может… — и поскольку она не поняла, пояснил: — Выдать. Вы по-русски ни бум-бум?

Она не знала, что такое «бум-бум», но поняла его.

— Нет.

— А я, наоборот, только его и знаю. По-китайски еще могу — понимать начали.

— Здесь можно жить с одним русским?

— А почему нет? Русских полно.

— Белогвардейцы?

— Всякие. Кто сызмалу тут, кто бежал: одни от белых, другие от красных. Китайцы к нам лучше, чем к европейцам, относятся. Так что делаем сегодня?

— Квартиру ищем. Общей длиной пятнадцать метров.

— Ни хрена себе! Сколько ж она денег жрать будет?

— Много, наверно. А вы как из положения выходили?

— Да у меня маленький домишка — я проволоку протянул: белье повешу — вот и вся любовь. Сосед спрашивать начал: что ты все время белье сушишь — ссышься, что ль, по ночам?

— Что такое ссышься?

— Мочишься, значит. Вы извините — это я его слова передаю. Так я теперь ее без белья держу — надо будет, повешу. Где квартиру будем искать — во французской концессии или в английской?

— Во французской.

— К своим потянуло? — Она только потупилась от этого очередного нарушения конспирации, а он не заметил — вел машину по оживленной трассе, ловко маневрируя между рикшами, которые держались тротуаров, но не пренебрегали и серединой улицы…

— Меня вот тоже к своим потянуло, — продолжил он прерванный разговор. — Поеду к себе на Рязанщину, уйду из армии к чертовой матери. Если отпустят, конечно… Завтра вас учить водить машину буду. А то отберут — если узнают, что водить некому. Тут многие на нее зарятся.

— Остаться водителем не хотите?

Он покосился на нее.

— Да меня вроде не этому учили. Это я сам осилил. И нет такой должности… В любом случае с Абрамом я не сработаюсь. Он меня терпеть не может.

— Абрам — это Яков?

— Ну да. Его кличка. Ничего про меня не говорил?

— Нет, — соврала она.

— Ну да! — не поверил он. — Всем говорил, а вам нет?.. Что пью, не подчиняюсь? Все пустое. Просто он все с места в карьер делать хочет и злится из-за любой промешки, а я люблю, чтоб все с чувством, с толком было, покушавши. Мне в разведке делать нечего… Хотя, с другой стороны, я и ошибок почти не делаю… С какой улицы начнем?

— Да с какой угодно. Вот маршала Жоффра — очень привычно для французского слуха.

— В каждом городе есть? — Она не отвечала, и он, усмехаясь, притормозил возле большого дома с европейским фасадом, с чистым ухоженным газоном и с француженкой-консьержкой, уже выглянувшей из окошка…

Шанхай в те годы был разделен международными соглашениями на китайскую и европейскую части: последняя состояла, в свою очередь, из французской и английской концессий. Европейская часть была обозначена линией, за которую не заходила власть китайской полиции: она не имела здесь права арестовывать кого бы то ни было — тут были свои службы порядка, подчинявшиеся иностранцам. Прислуга была в массе своей китайская, и в ней, наверно, все были осведомителями шанхайских служб безопасности, но делала это она спустя рукава, исходя прежде всего из собственных интересов.

— Пойдете со мной? — спросила она Вилли, покидая машину.

— Зачем? Пусть думают, что вы с личным шофером приехали: больше будет уважения. Тут все на таких пустяках держится… Торгуйтесь с ними. А то обманут, как на базаре…

Она обошла несколько домов, и к каждому он подвозил ее и ставил машину на видном месте, под носом у боев и консьержек. В одном из домов, называвшемся почему-то Самаркандским, она нашла то, что искала, — анфиладу комнат общей длиной двадцать метров, с камином (где можно было жечь бумаги), с черным ходом и даже с вмонтированным в стену сейфом. Управительница дома запросила двести долларов в месяц, она сбила цену до ста семидесяти, и та еще осталась довольна: значит, можно было торговаться и дальше. Она обещала переехать на следующий день и вернулась к Вилли.

— Ну что?

— Все нормально.

— Сколько содрали?

— Сто семьдесят.

— А сколько вы срезали?

— Тридцать. Начали с двухсот. Можно было дальше снижать. Она что-то слишком довольна осталась. Улыбалась.

— Да они всегда улыбаются. Такой народ, не обращайте на это внимания. Погодите, надо еще к Ван Фу съездить, вас с ним познакомить: чтоб знали хоть, где это… Не знаю, как у вас это теперь получаться будет. Пирожки им вон везу.

— Где?

— В корзине — не чувствуете, как пахнет? И мне ни к чему: не угостил вас. Абрам сбил с толку. Угощайтесь. Русские пирожки — на них тут такой спрос, что на всех не напасешься…

Рене, которая до сих пор и вправду словно нюх потеряла — настолько была сосредоточена на деле, — теперь почувствовала роскошный запах, издаваемый корзиной на заднем сиденье, прикрытой белой тряпкой. Она взяла пирожок — с луком и с яйцами и с удовольствием его съела.

— Понравилось? Еще берите.

— Хватит. Это ведь для дела?

— Ну? За что они нам почту-то дают?..

Они выехали из французских владений в китайскую часть города, где было шумно, людно и грязно, и вскоре подъехали к незаметному невзрачному дому, скрывавшему в своих стенах экспедицию некоего китайского государственного учреждения. Вилли надел белый фартук, взял корзину и, наподобие лоточника, понес ее к заднему входу дома, где его хорошо знали и приветствовали гортанными китайскими звуками. Вернулся он с пустой корзиной, на дне которой лежал сверток, аккуратно прикрытый той же пеленкой. За ним вышел китаец в чиновничьем мундире с круглым безучастным лицом и решительными, начальственными манерами. Он заглянул в машину, увидел там Рене, не поздоровался с нею, но сказал что-то Вилли по-китайски, потом Рене — на скверном английском:

— Так не пойдет. Я приду завтра.

Вилли сказал ему что-то, он согласился, но повторил Рене:

— Скажи Ривошу, чтоб пришел. В пять вечера, — и показал, во избежание недоразумений и для большей доходчивости (видимо, не доверял сообразительности женщин) пять коротких толстых пальцев.

— Что он сказал? — спросила Рене.

— Да то же, что и я. Почту надо каждый день забирать. Я под разносчика пирожков работаю, и рожа у меня простецкая — очень удобно и все довольны. Я еще и соседу своему русскому помогаю: он без денег сидит. Мне за комиссию платит, — и засмеялся. — А тебя он видеть у себя не хочет. Чтоб, говорит, европейская

барышня каждый день ко мне сюда являлась и от меня с подарками уходила — только об этом говорить и будут.

— И что делать? — Она понимала у него лишь каждое второе слово из двух, но этого было достаточно: он говорил, как и работал, обстоятельно и с избытком.

— Это уж не наше дело. Поладят как-нибудь. Когда двое хотят одного и того же, то найдут выход из положения… Приехала, значит? — Он поглядел весело и лукаво. — А мы тут совсем тебя заждались. Абрам места не находил.

— Вконец разругались с ним?

— Да не я с ним, а он со мной. Как я могу с начальником ругаться?.. Надеюсь, у вас лучше получится. Как-никак, женщина. Девушка. Не будет вас марксизмом есть. А я с расстройства даже «Капитал» купил, начал первый том читать: чтоб развиваться, — так еще и по шее схлопотал. Нарушаешь, говорит, конспирацию это раньше надо было читать и в сердце держать, а теперь выброси и так, чтобы никто не видел.

— Выбросили?

— Еще чего! Продал букинисту в лавку. Что добру пропадать?.. Не все ж делать, что начальство велит. Не всякое, говорят, лыко в строку… Ему только не говорите, а то прибавится — новый штрих в отрицательной характеристике…

Он подвез ее к дому. Она настояла, чтобы Вилли поднялся с нею. Яков удивленно поднял бровь, увидев его, но ничего не сказал. Рене рассказала ему о нанятых апартаментах и о новых трудностях в экспедиции. Яков озадачился: Ван Фу был ценным поставщиком информации, и ему не хотелось его терять.

— Может, встречаться с ним на улице? — предложила Рене.

— Будешь стоять часами, — сказал Яков, и Вилли подтвердил:

— Они никогда вовремя не приходят… Может, я соседу предложу?

— Какому? — недоверчиво спросил Яков.

— Тому, что пирожки делает. У него свой интерес в деле. Можно сказать, живет на это. Будет теперь все от начала до конца делать. Без комиссионных.

— И его здесь потом принимать? — скептически спросил шеф.

— Почему? Можно выходить на улицу, каждый раз в одно место — этот-то опаздывать не будет. Деньги только не надо через него передавать.

— Украдет?

— Да почему?!. Я б такого не рекомендовал. Просто испугается больших сумм — подумает: что-то неладно.

— А в почту не посмотрит?

— Нет, — спокойно сказал Вилли. — Скажете ему, чтоб не смотрел, — и не будет. Я скажу, вернее. Вас испугается. — Он вскоре уезжал и не боялся говорить дерзости. Яков не заметил ехидства или притворился, что так, задумался.

— Может, правда, так сделать?

— Конечно. Главное — ничего не меняется.

— Кроме того, что наши бумаги бог знает в чьих руках будут. Кто он хоть?

— Русский человек. Назад на родину хочет… Если ему намекнуть на это, то все будет делать и денег не запросит. Я, пока здесь, все отрегулирую.

— По положению он кто?

— Рабочий. Токарь. Работы вот только нет.

Профессия безработного произвела на Якова выгодное впечатление.

— Но кадровый рабочий?

— Кадровый, кадровый. Какой еще? Других не бывает.

— Ладно. Надо будет на него взглянуть и с Ван Фу переговорить, — согласился Яков. — Перейдем с ним на месячную оплату. Раз в месяц можно и встретиться. На нейтральной территории.

— Да хоть на его собственной. Этого он не боится. Делится, видно, со своими…

Вилли ушел, Рене решила замолвить за него словечко:

— Может, лучше, если он останется?

— Кто? — Яков не сразу ее понял.

— Вилли. Тут работы на троих хватит, а он, смотрю, оборотистый парень.

Яков замер: он не привык, чтоб совались в его дела и в принимаемые им решения.

— Он тебе понравился? — на всякий случай спросил он.

— При чем здесь это? — Она удивилась тому, как быстро переводят мужчины дела из служебных в интимные. — Я о работе думаю.

Яков хмыкнул.

— Это он перед тобой старается, а вообще второго такого оболтуса и разгильдяя нету… Не вмешивайся, Элли. Все уже решено, и бумаги отосланы. Как ты это себе представляешь — я назад их запрошу? У нас тут серьезная лавочка. — Он был недоволен, но попытался скрыть это. — Когда переезжаем?

— Завтра.

— Так надо все готовить? — и остановился в замешательстве среди квартиры, ставшей сразу и чужой и тесной…

Всю ночь Рене паковала и собирала вещи — Яков стоял рядом и если что и делал, то самые простые вещи: связывал веревками готовые узлы или давил на крышки чемоданов, чтобы захлопнулись. Нельзя сказать, чтоб он отлынивал от дела, — напротив, он искал его и ждал, когда оно подвернется, но был просто удивительно непригоден к любой ручной работе. Даже когда он давил на крышки чемоданов, Рене боялась, что от избытка усердия он продавит их насквозь: так с одним и вышло…

Утром Вилли привез рацию. Рене, давно уже горевшая желанием увидеть и потрогать ее, потянулась к ней, Вилли попридержал ее руку.

— Успеешь. Поехали?.. — и, загрузив доверху машину, повез Рене и ее новое имущество в четырехкомнатные апартаменты на улице маршала Жоффра, куда они вдвоем перенесли вещи и где она с помощью Вилли протянула из конца в конец антенну, скрыв ее за плинтусом, так что снаружи не было видно. Рация была исправна, Рене вышла на связь, передала условный сигнал, отключилась и с признательностью поглядела на своего предшественника: каким бы разгильдяем он, по оценке Якова, ни был, но рацию и машину содержал в образцовом порядке. Они вернулись. Вилли распрощался с обоими: с ней сердечно, с Яковом сдержанно и ушел — ему надо было готовиться к собственному отъезду.

— Даже не попрощались как следует, — заметила Рене: она работала с Вилли два дня, но успела к нему привыкнуть. — Надо было хотя б стол устроить, отметить… — И Яков, который работал с ним два года, ничего не сказал в ответ: и сам понимал, что следовало поступить именно так — сделать вид, что не помнит на Вилли зла и проводить его по-товарищески, но для этого он был слишком упрям и своенравен.

Квартира, которую она нашла, имела лишь один недостаток: была чересчур хороша и, как красивая невеста, нравилась многим. Ночью она вышла в эфир, чтобы установить постоянную связь, начала передавать сообщение, но сразу обнаружила, что где-то рядом действует и создает ей помехи сильная радиостанция. Она тут же прекратила связь: ее тоже могли засечь таким же образом — и доложила об этом Якову. Тот на следующий день навел справки. Оказалось, что этажом ниже работал товарищ из Коминтерна, которому его гнездо подошло по тем же параметрам. Военная разведка имела приоритет над коминтерновской — товарищу оттуда, хоть он и занял место первый, пришлось переехать, и она работала теперь без помех, спокойно. (Мать замечала по этому поводу, что из этого не следует делать вывод, что в Шанхае тогда на каждом углу сидели

советские разведчики, но в этом занятии возможны самые невероятные случайности — как безобидные, так и достаточно опасные.) С Ван Фу все уладилось простым образом. Вилли провел своего соседа по маршруту, и отныне он каждый день приходил в экспедицию, продавал там пирожки, заходил в кабинет к чиновнику, получал от него конверты, клал их на дно лотка, висящего у него на ремне, отдавал уже использованные бумаги, переложенные салфетками, и в строго назначенный час появлялся на перекрестке, где его ждала Рене, приходившая тремя минутами раньше. Он передавал ей посылку, отдавал последние пирожки, за которые не хотел брать денег, — она вручала ему почту, полученную и переснятую накануне, и спешила с новым поступлением к ждавшему ее дома Якову. Связной ничего не просил для себя и ни о чем не спрашивал: видно, ждал обещанного переезда в Союз и лишь иногда туманно напоминал о нем. Однажды он попросил врача для заболевшей супруги. Яков связался со своими, и в тот же вечер больную посетил врач посольства — он несколько раз приходил еще и довел ее до выздоровления. После этого сосед ни на что уже не намекал, ни о чем не просил, а ждал, видно, новой беды, чтоб обратиться за помощью. Яков как-то сам вспомнил о нем:

— Он ничего не просит?

— Нет. Как воды в рот набрал.

— Считает, наверно, что мы и так сильно помогли ему, когда жена заболела. Надо будет ему на День Октябрьской революции праздничный набор сделать…

Вместе с документами, которые поступали к Якову по иным каналам и за которыми он часто и надолго уходил из дома, пряча в кармане маскарадные усики (он прилеплял их где-нибудь в безлюдном парке или в подворотнях, которыми богаты шанхайские улицы, и старался уходить не той дорогой, какой являлся), — собиралась большая кипа бумаг, нуждавшаяся в фотокопировании и отправке по радио. Для радио Яков делал короткие выжимки, сообщавшие голые факты и цифры, фотографировалось же все подряд — пленки передавались затем из рук в руки по назначению. Иногда негативы приходили в письмах: у Якова был на стороне почтовый ящик, где накапливалась подобная опасная корреспонденция. Нареканий на работу Рене не было: и шифрограммы, и фотографии ее были ясны и легкочитаемы, но занята она была чуть ли не целые сутки: днем ее руки не просыхали от химических реактивов, а ночью она допоздна передавала радиосообщения. Яков сидел рядом и, поскольку ни на что другое не был пригоден, был занят тем, что делал ей маленькие бутербродики и кормил ее с рук, как своих

птенцов большая крупная птица. Бутерброды были с красной икрой: она была здесь недорога, Яков любил ее и покупал в больших количествах…

Он явно ухаживал за ней и все более подпадал под ее неброские, но действенные чары. Да и было бы странно, если б было иначе. Они жили вдвоем как на необитаемом острове, где нет выбора, где все предопределено и дело только во времени. Болтая с ней, он представал перед ней в ином свете, выглядел покладистым и уступчивым — особенно когда рассказывал о своем детстве и юности вплоть до комиссарства в Красной Армии: в нем тогда что-то таяло, черты лица разглаживались, и в голосе появлялось нечто мягкое и даже добродушное. Он был родом из Латвии, его отец был раввин в городе Тукумсе на Рижском взморье, а сам он с малолетства готовился к тому, чтобы заменить его на этом столь почетном для евреев месте. У него был старший брат — он должен был бы занять его, но отец рассудил иначе.

— Про Лазаря он сразу сказал: ему тогда и десяти лет не было — этот раввином не будет. Застал его за разглядыванием голых женщин. — И улыбнулся с лукавой стеснительностью. — Тоже вот — наметанный взгляд был, только не на марксистов, а на правоверных иудеев. Брат у меня шутник и правда любил женщин. Сейчас в банке работает, у него впереди большая карьера. А я в пять лет уже учил Торе бедных детей в хедере.

— Но с тобой он ошибся?

— Да. — Он сидел, погруженный в воспоминания. — Я помню: он умирал — это было в шестнадцатом году, в Кременчуге, куда нас выслали как пронемецки настроенных и неблагонадежных, — он вызвал меня за два дня до смерти и сказал: «Янкель, я чувствую, тебя на сторону тянет — так вот знай: еврея без Бога нет, выбрось из головы все остальное», — и Яков от души посмеялся, как если бы сказал что-то очень смешное.

— А ты?

— Я говорю: конечно, отец, конечно. А сам читал одного Маркса и вел занятия по «Капиталу». В Кременчуге была большая социал-демократическая секция — почти все стали большевиками. За редким исключением.

— А мама?

Тут он снова настроился на шутливый лад — только иного рода, насмешливый.

— Эта ничего по дому делать не хотела — романы писала. Которые никто не читал и не печатал. Немного странная была особа.

Ей не понравилось, что он так говорит о матери, но она ничего не сказала.

— Что с ними сейчас?

— Не знаю. Все контакты утеряны. Я не знаю о них ничего с девятнадцатого года. С тех пор, как они вернулись из Кременчуга. Один из братьев — это я знаю уже по нашим каналам, — добавил он с гордостью, — нашего поля ягода: коммунист и из активных. Самуил.

— Ты сразу в разведку пошел?

— Нет. Я должен был стать историком. Меня в двадцать четвертом из Института красной профессуры вытащили. Устроили экзамен по иностранному — мы еще удивлялись: чего ради среди семестра. У меня немецкий — второй язык с детства: дома на нем разговаривали — отец любил все немецкое. Я говорю практически без акцента.

— Это так, — согласилась она. — Появляется небольшой, когда по телефону говоришь.

— Правда? — удивился он. — Мне этого не говорили. Это, наверно, особая интонация, а не акцент: я с шестнадцати лет ораторствую.

— Значит, ты с двадцать четвертого года в стране не живешь? — Рене посмотрела на него, оторвавшись на минуту от пленок. — Это кое-что проясняет.

— Что? — Он был настроен миролюбиво.

— Я имею в виду твою непреклонность и категоричность. В Москве уже таких нет. Там, насколько я поняла, все пообтерлись и пообтесались. Ты же сохранил пыл гражданской войны и молодости.

С этим он не мог согласиться — при всем тогдашнем благодушии.

— Это ты просто не с теми людьми общалась и не в тех обстоятельствах… Настоящие революционеры не меняются, остаются такими, какими были в восемнадцать. Иначе это не революционеры… — Он переждал неловкость, возникшую из-за короткой размолвки, вернулся к себе: хотел, чтоб она знала о нем побольше. — Вообще, мне надо было стать историком. Историком я был бы, думаю, не последним… А для разведчика у меня есть кой-какие недостатки.

— Какие именно? — заинтересовалась она: это было немаловажно.

— Я рассеян или, наоборот, слишком сосредоточен.

— Это практически одно и то же.

Он не стал спорить, продолжил свою исповедь:

— Однажды в Берлине оставил в кафе портфель, полный

архисекретных документов… — и поглядел с виноватой, чуть озорной улыбкой.

Ей стало не по себе.

— И что же?

— Вернулся через час — лежит, слава богу, на своем месте.

Она покачала головой:

— Не доложил никому?

— Нет. Зачем?.. Там же ничего не тронули.

— Могли прочесть и положить на место.

— Вряд ли, — сказал он с сомнением. — У меня чутье на такие вещи.

— Обязан был, — сказала она, а он промолчал, не очень довольный ее замечанием: дело было старое, но разведка ничего не забывает…

Он был уже однажды женат, жена отказалась ехать с ним за рубеж, и они развелись, если вообще были зарегистрированы: тогда в партийной среде это не было принято — теперь она жила в Москве с высокопоставленным сотрудником министерства.

— Была плохая марксистка? — простодушно подколола она его, а он не понял лукавства.

— Почему? Здесь-то как раз все было в порядке: она и меня поправляла. Латышки если становятся коммунистками, то святее самого папы.

— А что же тогда?

— Не хотела просто. Опасно — и дочь не хотела вывозить.

— У тебя и дочь есть?! — несказанно удивилась она.

— А я не говорил разве? Есть. Сколько ей сейчас? Дай посчитаю. Семь или восемь.

— Когда она родилась?

— В двадцать седьмом. А месяца не помню. Тебе бутерброд еще сделать?

— Сделай. Только не с икрой: это, наверно, десятый будет. Еще с чем-нибудь.

— Не любишь икры? — удивился он. — Пирожки с утра остались. От нашего поставщика.

— С луком? Давай, — и откусила из его рук пирожок, потому что свои были заняты.

— Ты смотришь хоть, что печатаешь? — Яков гордился получаемым им материалом.

— Нет. Невозможно при таком количестве документов. Мне б только не смешать то, что от Ван Фу приходит, со всем прочим.

— Это действительно было бы ни к чему. Там пометка о поступлении, его печать и подпись.

— Я знаю. Что мы переснимаем сейчас?

— Это ценная бумага, — с важностью сказал он. — Я по радио ее продублирую. Секретная сводка о расходах на армию по провинциям и по родам войск. Из нее многое можно вытянуть.

— Это все та же девушка из приличной семьи?

— Этого я говорить не имею права: чем меньше знаешь, говорят, тем лучше спится, — но поскольку ты уже в курсе дела, то изволь — она.

— Во что это обошлось?

— Дорого, но документ того стоит… Ее, правда, из министерства выгоняют.

— Жалко.

— Конечно, жалко. Такой источник уплывает.

— Я имею в виду девушку, — осторожно сказала она. — Столько училась.

— А это меня меньше всего волнует! — отрезал он. — Подумаешь — училась. Что это значит для мировой революции?

Рене поглядела на него с легким осуждением, не зная, с какой стороны за него взяться.

— Тебе любой рабочий то же самое бы сказал. Они людей жалеют.

— А ты откуда знаешь? — он поднял брови.

— Я из рабочей семьи. Мой отец — столяр.

— Правда? — удивился он. — Мне сказали, что ты из студенток.

— Я проучилась неполный год в Сорбонне, потом ушла в подполье, но до этого прожила всю жизнь в рабочей семье. — Она замяла этот не очень приятный для себя разговор, оглядела вороха и кипы переснятых или ждущих того же бумаг и усомнилась: — Зачем все это? Москва требует?

Он, узнав о ее социальном происхождении, заметно переменился в отношении к ней, но с тем большим рвением напал на нее сейчас:

— А ты как думала? Там все собирается в одну большую картину, которая позволяет правильно расходовать силы и средства. Мировая революция не придет сама, ее надо готовить и обеспечивать.

— Подталкивать? — подсказала она, не думая на этот раз насмешничать, а он принял ее слова за подначку и французское вольнодумство: видно, вокруг термина «подталкивание революции» велись ожесточенные диспуты и само слово было из лексикона левых.

— Подтолкнуть ее нельзя, — суховато произнес он, — она должна созреть, но мы, не впадая в авантюры, должны вовремя вмешаться и помочь ей родиться. В Китае мы как раз этим сейчас

и занимаемся… — и отошел, рассеянный и чуть-чуть отстраненный: видно, был задет ею и боялся наговорить колкостей…

Иногда этим все и ограничивалось, в другой раз он был более настойчив и предприимчив в любви: садился ближе и, доказывая что-нибудь, размахивал руками в опасной от нее близости. Она чувствовала его напор и исходящее от него желание, но не отвечала на них: она многого еще в нем не понимала, и ее многое не устраивало. Он обращался к ней с заготовленными экспромтами: видно, обдумывал их в одиночестве, расставлял ловушки — как своему корреспонденту, ставшему на идеологическом перепутье.

— Мне уже тридцать три, — доверялся он в такие минуты. Пора завести семью. Без нее мужчина моих лет не смотрится… — Она не могла не согласиться с этим: у нее у самой были те же мысли — только вместо тридцати трех лет она думала о двадцати с хвостиком. — Я очень хочу детей! — и, окрыленный ее сочувственным молчанием, распространялся далее: — И чтоб их было не один, а много. Как у моих родителей. Я по духу своему домосед и человек семейный.

— Да и я тоже, — призналась она. — Я тоже детей хочу. Но не много, а двоих-троих хватит.

Он понял это превратно, просиял, воспрянул духом.

— Элли! Я знал, что ты хочешь того же! Я счастлив! — и вскочил и нескладно, пренебрегая условностями и не соразмеряя усилий, попытался заключить ее в объятья и неуклюже поцеловал в висок.

У нее был небольшой любовный опыт, но, будь он и много богаче, все равно вряд ли можно было встретиться с более неловким ухаживанием. Она поспешила высвободиться из его тисков, сказала с неудовольствием:

— Вот это лишнее! Кто ж так накидывается, не спросясь?.. — и он, обескураженный, закусил губу, отошел и весь вечер потом дулся: они провели его молча…

На следующий день чувство досады и неловкости было все еще сильным, и она сказала ему:

— Давай не путать служебные дела с личными. Так мы далеко с тобой не уедем… — И он покорно согласился с этим: признал, что в их условиях всякая поспешность может лишь привести к ненужным осложнениям.

— Вот видишь, — сказала она и решила впредь не доводить его до кипения и избегать в разговоре всего чересчур личного.

Но вода, как известно, точит камень, и того, что суждено, не минуешь. Хотя, оставаясь с ним дома, она, может быть, не

уступила бы ему, воздержалась от близких отношений с человеком, парившим в столь возвышенных сферах и спускавшимся на землю, лишь чтобы удовлетворить телесные нужды. Дело решили их походы в гости, в компании таких же вынужденных, как они, отшельников. Среди советских друзей Яков преображался: делался веселым, заразительно общительным, едва ли не компанейским, смеялся и говорил без умолку. Она с удивлением смотрела на него в такие минуты и думала, что в нем сидят два человека: один дежурит в повседневной жизни и на работе, второй просыпается, когда подсаживается к праздничному застолью. Правда, для этого нужно было, чтобы его сотрапезники занимали видное положение: Яков зорко следил за этим и, если попадал в общество второразрядных лиц и неудачников, то тяготился их соседством и был строг и пасмурен. Они ходили чаще всего к Муравьевым, которые днем легально работали в Центросоюзе и торговали лесом, пшеницей и икрою, а после работы оказывали посильное содействие Якову и другим нелегалам: они могли ходить в консульство с их поручениями и даже посылками. Хотя они и говорили, что служат Якову и ему подобным мальчиками на побегушках, но Яков как-то сказал ей, что Муравьев занимает высокий пост в их иерархии…

(Собственно говоря, ходить к ним они не имели права — это не дозволялось правилами, но они делали друг другу поблажки, принимая известные меры предосторожности: приходили к друзьям поздно, когда на улицах никого не было, оглядывались в поисках слежки, заходили, при необходимости, в тупики и подворотни и выныривали на соседних улицах… В любом мало-мальски нормальном государстве за официальными представителями чужой страны устанавливается наблюдение, и разведчики должны держаться от них за версту и дальше, но Китай был страной особенной. В Шанхае иностранцы чувствовали себя хозяевами. В случае ареста их передавали их миссиям — надо было только предъявить паспорт, вовремя зарегистрированный в консульстве. Советских людей это не касалось, но наши нелегалы прикрывались западно-европейскими паспортами и вели себя, как их законные владельцы: юридическое двоевластие избаловало приезжих и вконец испортило шанхайскую полицию, и без того поголовно коррумпированную.) Муравьевы: Александр Иванович и Зинаида Сергеевна — жили в удобной двухкомнатной квартире возле советского консульства: с этим кварталом Рене познакомилась во время своего вынужденного сидения в гостинице. Это были спокойные, благожелательные и приветливые люди, относившиеся к Якову с

невольным почтением: как относятся к нелегалу разведчики, пользующиеся официальным прикрытием. О Рене они были наслышаны и встретили ее радушно и с любопытством. Яков был увлечен своей спутницей, гордился ею и ввел ее в дом с особенным чувством, которое хозяева сразу распознали и про себя отметили. Они угощали их сибирскими пельменями: Зинаида Сергеевна была из Томска, и в их доме это было фирменным угощением.

— Подруга твоя, наверно, никогда их не ела? — спросила хозяйка. — Как звать ее? Ты ведь нам ее не представил? Или у вас это не принято?

— Элли, — ответил за Рене Яков.

— Элли — так Элли, — не стала спорить Рене. Хозяева засмеялись.

— Ну что? — спросил Муравьев. — Пойдем за стол? Или Абрам нам лекцию сначала прочтет?

— Лекцию, конечно, — сказала его супруга. — Ты же мне ничего не рассказываешь. Вот Элли — счастливица: с утра до вечера может слушать…

Встреча их начиналась обычно с того, что Яков давал краткий обзор происшедшего в мире за неделю: он ежедневно слушал английское радио, которое опережало газетные новости и было кратким и всеобъемлющим. Зинаида Сергеевна, выслушав его, восклицала:

— Интересно-то как! А мы живем — ничего не знаем. Ты все это знал? — спросила она мужа.

— Слышал кое-что в консульстве. Нам тоже по утрам политинформацию читают.

— А почему мне не рассказываешь?

— Не думал, что это тебе так интересно. В следующий раз доложусь.

В следующий раз было то же самое, да и в восклицаниях Зинаиды Сергеевны Рене слышала наигрыш и дань гостеприимству.

— Ты лучше нам расскажи теперь, — говорил хозяин, когда Яков заканчивал свой облет земного шара и приземлялся в Шанхае, — кого ты еще разыграл? Мы с Зиной в прошлый раз смеялись очень.

— Ах это?! — засмеялся и Яков: он сам любил рассказывать о своих проделках и даже гордился ими. — На днях был на выставке — меня водила по ней очень серьезная особа…

— Кто? — Александр Иванович любил в таких делах точность.

— Приятельница Сун Цинлин, — пояснил ему Яков: женщины

могли не знать связанных с этим именем обстоятельств, Александр Иванович же кивнул, подтверждая, что ему все понятно. — Весьма утомительная особа. Сун Цинлин, собственно, сплавила ее мне: англичанка, занимается историей живописи, может назвать наперечет всех художников эпохи Мин и знает о них столько, что никакого китайцу не снилось. Тут полно европейцев, помешанных на китайской культуре, — сказал он Рене.

— Коммунисты их, между прочим, вербуют, — сказал Александр Иванович, а Рене подумала, что то же происходит с любителями русского во Франции, но говорить об этом не стала. — Ладно, давай дальше.

— Так вот, повела она меня по картинной галерее, называет всех авторов по имени…

— А ты, небось, спросил, как они переводятся на английский? — попытался угадать хозяин.

— Нет. Слушал, слушал, потом спрашиваю: я все это понимаю, мне одно непонятно — как эти картины держатся на стене и не падают.

Они засмеялись, и больше всех — Яков.

— Не поняла? — спросил Александр Иванович.

— Нет, конечно, — я ведь с серьезнейшей миной спросил это. Каждая картина, говорит, прикреплена шпагатом к гвоздю — все десять раз проверено. — И не падают? — спрашиваю. — Нет. Вы же видите, висят. Я, говорит, извините, мысль потеряла и не помню, на каком из художников остановилась… — и Яков снова заразительно засмеялся.

Однажды и Рене стала жертвой такого розыгрыша. Яков позвонил ей из города, представился хозяином жилища и, изменив голос, начал выспрашивать, чем они занимаются и не нарушают ли китайских законоположений. Рене насторожилась, отвечала со всей доступной ей вежливостью и беспечностью, а у самой кошки скребли на сердце — пока Яков не засмеялся, не выдал себя и не похвалил ее за выдержку. Она сильно тогда разозлилась:

— Ты что?! Разве так можно?! Я уже черт знает что подумала! — но он так и не понял неуместности своего озорства…

Потом мужчины уединялись в кабинете хозяина: чтобы обсудить то, что не предназначалось для ушей женщин. Зинаида Сергеевна оставалась наедине с гостьей. Она хотела бы задать ей сотни вопросов, но знала, что это не положено, и потому разговор вертелся вокруг невинных тем: вроде того, где они с Яковом едят и где покупают продукты. Иногда, впрочем, она не выдерживала и

осторожно выспрашивала ее о прошлом. Рене говорила то, что не могло навести на ее след: она и прежде была сдержанна на язык, а теперь вовсе замкнулась. Но о своих злоключениях на «Полковнике ди Лина», о том, как ее раскусили два итальянских морских офицера, она все-таки рассказала. К этому времени подошли мужчины. Зинаида Сергеевна пришла в ужас:

— Так и спросили — из какой вы разведки?!

— Да. У них спор был: один считал, из английской, другой не знал — сказал только, что на русскую разведчицу я не похожа. На русских, говорит, работают одни евреи и коммунисты, а я на ни к тем, ни к другим отношения не имею.

— Интересное замечание, — сказал Александр Иванович. — Ценный работник у тебя. Ты-то Абрам, похож на того и на другого — тебя бы сразу вычислили.

— Раскусили, — сказала Рене. — Хотя я ничем особенным там не занималась.

— Способные ребята, — признал хозяин. — От таких подальше надо держаться.

Яков принял все близко к сердцу, посерьезнел, сделался озабочен.

— Надо менять паспорт. Они могут сообщить по приезде в итальянскую контрразведку.

— Не думаю, — сказала Рене. — У них не было ничего — одни предположения. И не будут они впутывать в это дело своего капитана: ему ж в первую очередь влетит, если выйдет наружу. Эти ребята из тех, кому своя рубашка ближе к телу. Говорят так по-русски?

— Именно так и говорят! — поздравил ее с успехами в изучении русского Александр Иванович. — И главное думают! — а Яков не унимался:

— Ты уверена?

— Абсолютно. Половина людей такова.

— Если не девять десятых, — сказал хозяин. — Как вот только с ними социализм строить?

— Ничего! — Яков не унывал. — Десять процентов, если они организованы и сжаты в кулак, могут все. Остальных уговорят или заставят.

— Вопрос только в том, что из этого выйдет, — сказал Александр Иванович, и Яков поглядел на него в минутном замешательстве. — Дай-ка им с собой икры, — распорядился он жене, и та принесла большую банку, наполненную красными зернами.

Яков, любивший икру до беспамятства, скорчил виноватую физиономию.

— Но это ж дорого, наверно?

— Перестань. Своим за копейки дают. Надо же как-то стимулировать. Чай будем пить. Элли, наверно, красное вино предпочитает? — Это был единственный намек на происхождение гостьи, но им все и ограничилось…

Посещение благополучных супружеских пар: а от их дуэта так и веяло покоем, взаимопониманием и сыгранностью — могло склонить к браку кого угодно. И Яков в гостях, хотя оставался собою, выглядел иначе и вписывался в приемлемые для Рене рамки. В нем чувствовалось что-то надежное и безопасное — подобное утесу, за которым можно спрятаться в бурю. Рене тогда сильно ошиблась, но ее подталкивала к этому внутренняя готовность к браку, потребность в мужчине-защитнике и помощнике. Она к этому времени была уже вполне зрелой и самостоятельной женщиной и именно поэтому начала нуждаться в постоянном спутнике: к этому времени женщина начинает думать о семье и детях, и мужчина нужен ей в первую очередь для этого. Она сама не знала, как и почему ответила согласием на его очередное предложение, но помнит, что, когда произнесла его, по ней, по всему ее телу, растеклось чувство безбрежного мира и спокойствия, будто она окунулась в мировую нирвану.

Яков тоже был счастлив — но выразил это по-своему:

— Элли! Теперь мир у наших ног! Мы с тобой будем вдвоем делать мировую революцию!..

Она широко раскрыла глаза, чувство блаженства в ней пошатнулось, поколебленное прозвучавшим в ее ушах призывом. Она сама была сторонником той же идеи, но не хотела основывать на ней или впутывать в нее свое личное счастье. Но дело было сделано, отступать было некуда.

Было 8 августа 1934 года. Через два дня ей исполнялся двадцать один год. Яков от избытка чувств принес домой столько цветов, что они не поместились в двух оставленных прежним квартиросъемщиком вазах и в тех немногих кастрюлях, что были на кухне: дома они почти не готовили. Цветы положили в наполненную водой ванну, а счастливый жених побежал покупать к ним кувшины и чаши. Брак, конечно, не регистрировали, но Яков сообщил о нем в Управление, а оно было для них святее церкви и самого ЗАГСа.

В этот день он накупил ей цветов на всю оставшуюся жизнь: позже их почти не было.

5

Однажды Яков принес от Ван Фу запечатанный конверт — с интересными, по мнению китайца, материалами. Прежде он давал им документы в отдельных листах: взламывать и подделывать потом печати они не умели, и некоторые, и по всей видимости наиболее ценные, бумаги оставались им недоступны. Яков, увидав пакет, «пожадничал», позарился на него, как лисица на виноград, и взял его на авось: вдруг что-нибудь да удастся — у него бывали такие «наития», когда он руководствовался мотивами, ему самому не вполне ясными. Вечером, уже по рассеянности, он положил конверт на холодную батарею отопления. Ночью без предупреждения провели пробную топку — печати расплавились и расплылись: товар был безнадежно испорчен. Яков был в отчаянии. Рене отличалась большим бесстрашием: в ней в минуты опасности появлялось особенное, телесно ощущаемое, «физиологическое» хладнокровие и бесстрастие — она посоветовала рассказать все Ван Фу. Тот тоже отнесся к происшедшему с завидным спокойствием, хотя и по иной причине: почта проходила через его учреждение с проволочками — пакет мог застрять на неделю без ущерба для его репутации. Но через неделю печати должны быть готовы и не отличаться от настоящих, предупредил он и сказал это тоном, не допускающим возражений: мол, раз занимаетесь таким делом, то для вас это пустяки, а не работа. За дополнительное вознаграждение он передал им образцы печатей, подлежащих восстановлению. Надо было сделать с них достаточно твердый слепок и с его помощью сделать оттиски. Подобной службы в консульстве не оказалось, посылать печати дальше по инстанции не было времени — пришлось все делать самим, то есть Рене, потому что Яков пасовал перед всякой ручной работой: он и гвоздя не мог забить, чтоб не отбить себе пальцы, ни зарядить авторучки без того, чтоб не измазаться с головы до ног чернилами. К тому же Рене многому научили в школе, которую Яков, имевший к началу службы в разведке чин бригадного комиссара, конечно же не закончил.

Из известных им материалов, употреблявшихся с этой целью, относительно доступна была ртутная амальгама, соединение металла с ядовитой ртутью. Она применялась в зубоврачебном деле и была в продаже, но требовалась в таком количестве, что его и спросить было страшно. Рене все же набралась духу, пошла в самую дальнюю аптеку на краю города, обратилась с необычной просьбой к фармацевту. Тот, не говоря ни слова, вышел из-за

прилавка и так же молча выпроводил ее на улицу. Она вернулась домой и объявила Якову, что, если он не хочет, чтоб ее заподозрили в попытке отравить целый город, пусть достает амальгаму через легальных товарищей. Яков так и сделал, и через день у них было два килограмма этого вещества, не вполне безопасного для здоровья.

Амальгама была, так сказать, крупного помола и, чтобы тесто из нее схватило и повторило подробности иероглифов на образце, ее надо было разогреть до появления капелек ртути и полчаса тереть в ступке до образования плотной однородной массы. Этим и занялась Рене. Работа была сделана, печати восстановлены, китаец взял пакет со снисходительной улыбкой: мол, было из-за чего расстраиваться. Но этим дело не закончилось, а только началось. Появилась возможность брать документов вдвое больше прежнего, и в апартаментах на улице маршала Жоффра, помимо радиорубки и фотолаборатории, заработала мастерская по восстановлению взломанных печатей. Китаец был доволен: он и получал теперь вдвое больше — пришлось только отказаться от услуг курьера: сверхсекретные пакеты с печатями выглядели бы странно на дне лотка с выпечкой. И так уже начальник Ван Фу, хоть и получал свою долю, но, не будучи посвящен в тонкости дела, ругался по поводу того, что его подчиненные едят пирожки, стеля под ними важные документы, отчего те выходят из экспедиции с большими жирными пятнами, и грозился выгнать зачастившего к ним пирожника.

Ходить за почтой стал Яков. Они встречались с Ван Фу в китайском ресторане, куда тот заходил после работы, садились спинами друг к другу и обменивались похожими сумками. Иногда, когда Яков был в отъезде, это делала Рене. Китаец был великий мастер камуфляжа: сидя с приятелями, он болтал, не глядел на Рене, а если бросал случайный взгляд в ее сторону, то словно не замечал и брал подложную сумку с рассеянным и невинным видом, продолжая спор с собутыльниками; подскажи ему кто, что он ошибся, он бы самым естественным образом поблагодарил соседа и сослался на невнимательность. Но такого никогда не случалось. Сидя в этом злачном месте, посещаемом чиновниками средней руки, Рене обратила внимание на то, что в разговоре между собой китайцы улыбаются куда реже, чем с иностранцами, — более того, улыбка показалась ей не характерной для них: они чаще спорили, наскакивали, наседали друг на друга, ежеминутно менялись в лице, но сохраняли в душе некое пренебрежительное, глубинное, имперское равновесие и бесстрастие. Ей показалось еще, что мужчины относятся здесь к женщинам свысока и неуважительно. Ван Фу так и не сказал ей

ни одного слова, хотя имел такую возможность, от него исходили ничем ею не заслуженные враждебность и осуждение: может быть, потому, что ей, хоть она и была европейкой, не следовало сидеть в заведении, облюбованном мужчинами: китайские правила на этот счет были суровы — как и многие другие тоже.

Пришлось расстаться с курьером, до того верно им служившим. Рене пришла к нему в последний раз с пустыми руками. Он растерялся, когда услышал, что от его услуг решили отказаться, отнесся к этому как к большому несчастью. Рене спросила, чем они могут ему помочь.

— Да что уж теперь? — развел руками тот. — На свой страх и риск работать буду… Может, лицензию мне справите?

— А у вас ее до сих пор не было?! — и Рене похолодела, подумав о том, что им грозило, если б его задержали за незаконную торговлю. Она обещала помочь. Яков попросил людей из Центросоюза, те внесли их недавнего сотрудника в списки, дающие право на торговлю, дали патент, и теперь он, когда бояться было уже нечего, начал работать с надежным прикрытием…

К концу года Рене забеременела: Яков был неосторожным и чересчур страстным любовником. Это было безусловно лишнее, она колебалась и не знала, что делать. Яков, узнав о беременности, решил неожиданно и по-своему: он сказал, что ребенок не помешает, а будет работать на конспирацию. Она так хотела ребенка, что готова была на любое его оправдание, — тем более исходящее от другой заинтересованной стороны и одновременно ее начальства, — и с облегчением оставила себе уже полюбившегося ей младенца. Дальнейший ход событий опроверг замысел руководителя: ребенок не успел помочь им в деле, но план этот, видимо, изначально был порочен: нельзя вовлекать детей в военные действия, а для Якова и любовь и рождение ребенка были лишь частью мировой революции.

Между тем он вскоре начал испытывать сомнения, и немалые. Поддавшись великодушному порыву, он быстро понял, что ребенок принесет с собой не одни только конспиративные преимущества, но и ощутимые тяготы и нагрузки: как бы не пришлось ему, советскому резиденту в Шанхае, стирать и гладить пеленки — Рене была вконец загружена работой, и никто бы не стал освобождать ее от ее обязанностей. Менять свои решения он не хотел: не любил терять лица, как говорили китайцы, — тем более что сроки прерывания беременности вышли — но вдруг охладел и стал хуже относиться к жене, будто она была единственной виновницей всего происшедшего. Он стал безразличнее к ней как к женщине и в то же время начал

ревновать ее; нежная любовь сменилась колючим недоверием: он подозревал не то ее, не то не родившегося еще ребенка, которого хотел бы спровадить на сторону…

Но прежде был, как водится, политический конфликт, многое решивший в их отношениях: спор из-за Франции, за положением в которой Рене следила со всей пылкостью первой любви и молодости.

— Что Франция? — шутил он и прежде, когда отношения их были безоблачными. — Там ничего не решается. Страна пошлых рантье и беззубых политиков. Китай — другое дело. Или Австрия, где дело дошло до драки! — (В Вене в феврале в течение нескольких дней строились баррикады и шла война между рабочими бригадами и армией канцлера, сдавшего страну Гитлеру.) Она неизменно обижалась.

— Но это моя страна!.. И не такие уж они беззубые!

— Ну ладно! — шутливо, для видимости соглашался он. — Пусть будут зубастые. Если тебе это нравится… Акулы империализма!..

Но на этот раз все было серьезнее и чревато последствиями. Предыстория спора была такова. Французские социалисты и коммунисты под угрозой фашизма пошли на сближение: готовилась политика Народного фронта. В начале года было достигнуто соглашение между обеими партиями и радикалами о согласованности действий, в июле был подписан пакт о совместных выступлениях. На следующий день после этого, в двадцатую годовщину убийства Жореса (Вождь французских социалистов, пацифист и антимилитарист, убитый в канун первой мировой войны. — Примеч. авт.), состоялась огромная демонстрация, в которой участвовали все левые. Рене была от души рада этому, Яков же, по своему обыкновению, кривил рот в скептической улыбке и ни во что не ставил подобное единство.

— Но почему?! — добивалась она от него: они не были тогда в открытой ссоре, и она позволяла себе вольности. — В одиночку с фашизмом не справиться! В Германии все это уже было — и чем кончилось?!

— В Германии еще ничего не кончилось, — вопреки очевидности спорил он: он слишком любил эту страну, чтобы так скоро от нее отречься. — А с твоими социалистами можно только вымараться в дерьме — ничего другого ждать не приходится.

— Но почему?! — не понимала она. — Почему мы так ополчаемся против возможных союзников? — а Яков злился в таких случаях всерьез:

— Кто тебе сказал, что они наши союзники? — неприветливо спросил он и на этот раз. — Если ты так думаешь, значит, ты не

понимаешь азов марксизма. По мне лучше прямые враги, чем гнилые союзники. Которые в последний момент сбегут с поля боя, оставив тебя неприкрытым! Спаси меня от друзей, а с врагами я как-нибудь сам справлюсь — так ведь говорится? Ты что, не понимаешь, что тот, кто однажды стал на стезю реформ, а не революции, никогда с нее не сойдет и будет всю жизнь пресмыкаться перед власть имущими! Хорошо еще, если скажет это прямо, как твой Дорио, который просто перебежал к фашистам и объявил об этом в открытую. А то будут болтать, говорить, философствовать — пока дело не дойдет до драки и тогда только обнаружат свою сущность!.. Публика-то известная!.. — и замолкал — не потому, что кончались слова, а потому что закипал от злости и у него дух перехватывало.

Дорио и в самом деле откололся со своими друзьями от коммунистов, стал публичным антисемитом и в своих речах симпатизировал Гитлеру: из двух зол выбрал ближнее. Рене была потрясена его изменой: она ожидала от него чего угодно, только не этого — но не преминула напомнить мужу:

— Он, между прочим, был не социалистом, а коммунистом.

Он поднял на нее тяжелый взгляд и проронил тяжко и весомо — как жерновами промолол:

— Значит, такие у вас коммунисты. А ты хочешь еще социалистов нам на шею повесить… Знаешь что, Элли? — Ему надоела полемика, где он чувствовал себя профессором, с которым спорит студентка, не слишком сведущая в его предмете. — Тебе надо начинать с азов. Чувствуется, что ты изучала марксизм неосновательно. Как это полагается делать каждому, кто хочет стать настоящим коммунистом. А не так — симпатизантом на французский манер.

Это было сказано со злым чувством и было явной несправедливостью — учитывая то, что она здесь делала, как рисковала и как на него вкалывала. Мог бы и вспомнить, что она беременна. Но политика для него была превыше всего, и он от нее вел отсчет всему прочему. (Особенно когда это было ему нужно или почему-то выгодно.) Она тогда ничего не сказала, но обиду затаила. А он и не думал извиняться или как-то сгладить впечатление от разговора: нарочно говорил грубо, чтобы показать выросшую между ними пропасть…

Он стал, как было сказано, открыто ревновать ее — будто политическая неблагонадежность неизбежно влекла за собой ненадежность иного рода. Может быть, она была отчасти виновата в его ревности, но если она и изменяла ему, то, конечно, не телом, а душою, начавшей грустить и тосковать по обычным человеческим радостям…

Она встретилась с проезжавшим через Шанхай Гербертом: они с Кларой работали по соседству, в Северном Китае. У Герберта было два часа до поезда, и они провели их в европейской части города, в чайном домике, где пьют одну и ту же заварку до десятых промывных вод, сохраняющих густой вкус чая, от которого в конце концов кол встает в горле. Герберт был весел и доволен жизнью: будто сбросил с себя груз, обременявший его прежде.

— Мы по-прежнему вдвоем, — поведал он ей едва ли не в первую минуту встречи. — Клара развелась с мужем…

Муж Клары был из того же ведомства, что и все они, и Герберт до ее развода тяготился своим мнимым «предательством» и двусмысленностью их отношений. Они сидели в Мукдене и «обслуживали» несколько «точек»: Герберт разъезжал по Маньчжурии и собирал материал, Клара передавала его дальше. Главным поставщиком товара был Рамзай и его группа.

— Ты должна его знать, — сказал Герберт. — В Москве он был Паулем. Твой сосед по коридору.

Рене обрадовалась, хотя и постаралась скрыть это.

— Но он ведь собирался в Японию? — сказала она — как нечто само собой разумеющееся.

— А ты откуда знаешь? — лукаво спросил он. Рене отмолчалась: не говорить же, что она видела в руках Луизы справочник по Японии, а Герберт подтвердил, что Рамзай действительно собирается в Токио.

— Твой шеф был у нас недавно, — вспомнил он. — Имел с ним крупный разговор, после которого Рамзай неделю ворчал и чертыхался. Они вообще не в очень хороших отношениях с твоим, — предупредил он ее — на случай, если она этого не знала. — А мы жалеем о Рамзае, — искренне посетовал тот. — Лучшего товарища и более приятного в обращении человека представить себе трудно… — И Рене невольно сравнила его настроение и их образ жизни со своими собственными, и в душу ее вкралось нечто похожее на зависть и сожаление…

С этими чувствами, засевшими в ней, как заноза, она вернулась к Якову, с нетерпением ее ждавшему: была срочная работа, и он не находил себе места.

— Что так долго?! — спросил он, едва она появилась на пороге: он не выносил промедлений и ожидания — и глянул неодобрительно.

— Встречалась с Гербертом, — с независимым видом, слегка отчужденно ответила она и прошла в спальню переодеться — вместо того, чтобы с порога кинуться к исполнению своих обязанностей…

Яков призадумался. Он не зря хвастался интуицией: у него был почти звериный нюх на всякое изменение отношения к нему, на уклонение, если говорить политическим языком, от проводимой им линии, — но, будучи чуток, зорок и проницателен (он сразу понял, что пришла другая Рене, нежели та, что ушла из дома), он, как многие теоретики и идеологи, был способен лишь к грубому, приземленному объяснению событий. Он заподозрил ее во флирте с Гербертом.

— Ты знала его раньше? — спросил он, нащупывая, как ему казалось, истину.

— Мы жили в Москве в одной гостинице, — отвечала она, поняв, куда он клонит. — Он ухаживал за Кларой. Сейчас они вдвоем в Мукдене.

Яков загадочно улыбнулся и натянуто пошутил:

— Женщины любят уводить мужчин от своих приятельниц.

Рене оторопела:

— Заподозрить меня в этом?! Когда я беременна?!. Яков, ты совсем не знаешь женщин!..

Так он и было: Яков был очень неловок и нескладен в обращении с женским полом — но говорить этого не следовало. Ни один мужчина не захочет в этом признаться, но решит, что за этим попреком таится нечто иное, более серьезное и потому умалчиваемое. Он наградил ее памятным взором и насупился. Она не обратила на это внимания, потому что ей хотелось поскорее узнать другое:

— Рядом с нами работает Рамзай?

— Работает, — отчужденно согласился он, думая о своем. — До меня он был в Шанхае — я сменил его. Ты этого не знала?

— Откуда? Ты же не говорил этого.

— Я не все говорю, что знаю. — Он хотел уклониться от лишнего, как ему казалось, разговора, ей же хотелось во что бы то ни стало его продолжить:

— Я его знала в Москве как Пауля.

Яков снова насторожился: начал понимать, откуда дует настоящий ветер.

— Он не Пауль, а Рихард. Рихард Зорге… Ты с ним тоже в одной гостинице жила?

— В соседних номерах, — отвечала она с легким вызовом в голосе.

Двери соседних номеров и известная амурная репутация Зорге — пылкое и испорченное воображение Якова дорисовало все прочее.

— И ты не была тогда беременна, — прибавил он, криво усмехнулся и окончательно утвердился в своих подозрениях. Она

глянула с иронией, но решила пропустить мимо ушей и это.

— Герберт мне сказал, что ты ездил к ним в ноябре, — это правда?

Голос ее звучал нейтрально и бесстрастно, но для Якова это была лишь очередная уловка — ему было ясно, что Рамзай был его предшественником не в одном только в Шанхае.

— Ездил, — и глянул с непримиримым осуждением: это была его манера выказывать свое недовольство — одинаковое, чем бы оно ни было вызвано. — У нас был серьезный разговор на общие темы, и я составил докладную Центру. Меня, собственно, и направили туда для этого… У нас выявились серьезные разногласия. Вернее, не у меня с ним, а у него с генеральной линией.

— И в чем они заключались, я могу спросить? — внешне невинно, но на деле уже сердито спросила она.

— Кое-что могу и сказать, — с расстановкой сказал он и, взвешивая откровения, продолжал с менторской дикцией: — Он считает, что линия Коминтерна, начиная с 1929 года — с тех пор, как из его руководства ушли правые с Бухариным, с которыми он сотрудничал, сводится главным образом к обеспечению существования СССР, а значение активности компартий на Западе принижается и ограничивается. Критиковал недостаточную активность нашей внешней политики, наше вступление в Лигу Наций. Это означает, что в оценке политики Коминтерна он занимает явно неустойчивую позицию, уклоняясь вправо от линии партии и недооценивая роль и значение СССР как базы мирового коммунистического движения, и одновременно выдвигает «ультралевые» требования активизации коммунистического движения на Западе…

— Ты все это написал в докладной?

— Конечно, — сказал он — как само собой разумеющееся. — Я цитирую себя почти дословно.

— А это обязательно надо было делать? — с наигранным легкомыслием спросила она, но Яков не допускал легковесности в идеологических спорах — особенно теперь, когда они поссорились.

— А ты как думала? — вскинулся он. — Речь идет о принципиальнейших вопросах — какие тут могут быть скидки и приятельские поблажки?!

— В условиях, когда мы воюем в тылу врага и подвергаемся ежедневной опасности?..

— Что ты говоришь?! — еще больше изумился он. — Какое это имеет отношение к принципам?! Что за дикость вообще?!. Элли, я все больше начинаю думать, что ты плохая марксистка!..

Он не в первый раз говорил это, но теперь это был приговор: не вспышка гнева, а обдуманное и выношенное решение — Яков такими словами не кидался. Она же вышла из себя: мужчин и идеологов она никогда не боялась.

— А у тебя женщины вообще были когда-нибудь хорошими марксистками, как ты говоришь?!

Он поднял голову: не ожидал от нее нападения — отвечал с вызовом:

— Почему же нет? Моя жена, например…

— Бывшая или она и теперь ею остается?.. — Он промолчал: понял, что перегнул палку. — Зато она с тобой сюда не поехала! Потому что умная, а не дура, как я!

Он покривился, спросил с двусмысленной улыбкой:

— Ты считаешь, что помогать мировой революции — значит быть дурой? — И вид у него был такой, будто он заглянул в бездонную пропасть.

Она помолчала, собираясь с мыслями: за десять минут разговора они чуть ли не дошли до разрыва прежних отношений.

— Если бы я так думала, — по-прежнему зло сказала она, — то сидела бы не здесь, а в Сорбонне и изучала бы римское право. И не думай, что я жалею об этом! Я ни о чем вообще не жалею!.. — Но Яков уже оставил идейную стезю и вернулся на интимную.

— Значит, это был Рихард? — не слушая ее излияний, поправился он. — Извини, я подумал на Герберта. Он, говорят, хороший парень…

Глупость и неуместность его слов, вместо того чтоб оскорбить и обидеть еще больше, только отрезвили ее — она поглядела на него едва ли не с сочувствием: ревность ослепляла и туманила ему голову. Но ее задело другое:

— Яков, ты можешь вообще думать и говорить о женщине иначе как о предмете сексуальных домогательств? Или для тебя они все существа второго сорта?

Он почувствовал, что его загоняют в тупик: женщины не были его сильной стороной — и прибегнул к запрещенному приему: чтобы взять свое и отыграться.

— Почему же?.. О Сун Цинлин я так не говорю. И не думаю, — и улыбнулся едва ли не с победным превосходством…

Так. Номер два в его послужном донжуанском списке. Сначала первая жена, потом вдовствующая императрица. Но теперь у него за спиной была разведка, он чувствовал себя прикрытым ею и мог беспрепятственно использовать свою козырную карту и мстить ревностью за ревность…

Потому что Рене тоже ревновала его — к этой женщине. Сун

Цинлин была одной из трех сестер, искательниц приключений и охотниц за женихами: две из них женили на себе следующих один за другим властителей Китая, оставивших для них своих первых жен и обожаемых в стране сыновей-первенцев. Яков был восхищен этим подвигом и все время твердил о нем Рене, будто она не знала об этом прежде и не выучила наизусть от его многократного повторения. Выйдя замуж, сестры заняли весь политический спектр Китая и приняли деятельное участие в борьбе мужей: вначале Сун Цинлин, жена Сунь Ятсена, первого президента Китайской республики, друга Советского Союза, оказалась на вершине власти, потом ее сменила жена Чан Кайши, нашего врага, воевавшего с китайской Красной Армией. Третья вышла замуж за известного промышленника. Влияние сестер поднималось и опускалось вместе с политической конъюнктурой, но никогда не падало окончательно: они лишь уходили в тень и действовали тайно, а не в открытую. Сун Цинлин была председателем большого числа общественных и профсоюзных организаций: вроде Союза докеров Шанхая или Клуба собирателей старой живописи, под вывеской которых скрывались курьеры и собиратели разных сведений. Если ловили рядовых исполнителей, их сажали и казнили, но сами сестры были неприкосновенны — как принцы в эпоху французских Людовиков, которые всегда выходили сухими из воды, так как королевская кровь не может быть пролита. Зорге, работавший до Якова в Шанхае, преуспел в знакомстве с Сун Цинлин и ее окружением: Яков шел по уже избитой и протоптанной дорожке. Он восхищался умом и красотой этой женщины, тщательно выряжался перед визитами к ней (он вообще любил приодеться), хвастал тем, что она, в свою очередь, говорит о нем много лестного. Брала ли она от него деньги или нет, Рене не знала: ее это не касалось, но думала, что пользовалась этой возможностью, как делали это в Китае многие: слишком уж восторгался Яков ее изворотливостью. Наверно, она и мужчин любила и меняла их с неразборчивостью аристократки и жадностью сорокапятилетней любовницы: здесь Рене могла только ревновать и подозревать Якова в профессионально необходимой супружеской неверности. Сомнения ее упрочились, когда Сун Цинлин, переодевшись горничной, пришла к ним домой — поздравить Якова с днем рождения. Это было уже совсем ни к чему с точки зрения конспирации — Яков тоже себя вел подчас так, будто и он был особа королевской крови, не боящаяся ее пролития. Рене между тем относилась к Сун Цинлин не только как к сопернице, но еще и как к своему социальному антиподу: сестры вышли из одной из богатейших семей Китая. Странное дело: Яков, без конца

говоривший о классовой борьбе, этого не чувствовал, Рене же, будучи из простых, привыкла относиться к сильным мира сего с неискоренимым недоверием: те не любили класть яйца в одну корзину и распределяли между собой все кормушки, чтоб в любом случае оказаться у еды и у власти. Так или иначе, но Рене не верила Сун Цинлин и относилась к ней примерно так же, как бабушка Манлет к своей графине: с опаской и со многими оговорками. Последней выходки с переодеванием она ей не простила и наябедничала о ней начальству (что вообще было ей несвойственно). Сделала она это самым благовидным образом: рассказала о ряженой и ее приходе к ним Зинаиде Сергеевне: когда они с Яковом в очередной раз пришли в гости к Муравьевым и мужчины уединились для доверительного обмена мнениями. Зинаида Сергеевна поняла ее, передала мужу, тот — дальше по инстанции или сам сделал Якову внушение. Сун Цинлин у них больше не появлялась, да и Яков стал говорить о ней меньше прежнего — сейчас только вспомнил, когда Рене разозлила его своими нравоучениями.

— С Сун Цинлин мы, кажется, разобрались, — напомнила она ему, — и надеюсь — окончательно, — и он должен был проглотить эту пилюлю и даже лицемерно кивнул, как если бы признал свою неправоту в этом деле…

Впрочем, с ним теперь все время надо было быть начеку. Рене показалось вдруг, что он не простил ей предательства и обращения к старшим, а что-то предпринял в ответ, хотя и представить себе не могла, что именно. Ее насторожило, что он слишком безропотно пошел на мировую, на попятную и чересчур быстро успокоился, — это было не в его характере. Вообще жизнь с ним становилась опасным приключением, полным недосказанностей, неясностей и даже ловушек, прежде ограничивавшихся невинными розыгрышами; это был не высокий утес, за которым можно было спрятаться в непогоду, а непрочная соломенная крыша, готовая рухнуть при первом напоре ветра.

6

Но все это было полбеды — хуже было то, что началось у нее с памятью. Она стал замечать в ней зияния и пропуски — провалы, которые могли привести к провалу совсем иного рода. Она относилась к ним до поры до времени беззаботно, объясняла их беременностью и переутомлением — пока не прозвенел звонок, встревоживший их обоих по-настоящему.

Рамзай со своей группой был в Токио. У него никак не налаживалась связь с Владивостоком. Вместо Ольги Бенарио с ним поехал ас радиодела, передававший в минуту рекордное количество знаков. Но то было в Москве, на Воробьевых горах, а здесь ни Рене в Шанхае, ни радисты на советском Дальнем Востоке его не слышали. Рамзай нервничал, сердился, считал, что виновата принимающая сторона, передавал Рене записки, в которых писал полушутя-полусерьезно: «Кэт, прочисти ушки». Начальство решило направить к нему кого-нибудь для проверки рации и устранения неполадков. Рене послали, может быть, для того, чтоб дать ей проветриться и развести на время двух неуживчивых товарищей по работе, к тому же брачных партнеров, которые никак не могли притереться друг к другу окончательно: замечено, что короткая разлука в таких случаях действует иногда целительным образом. Так или нет, история об этом умалчивает, но приехал человек, который должен был сменить Рене на время отъезда, а ее послали в Токио, дали большую сумму денег для Рихарда и новый шифр, который она должна была выучить наизусть и пересказать Зорге при встрече: такие секреты бумаге не доверяли.

Злоключения ее начались в день отъезда. До того, в обычной обстановке, память ее, в общем, со всем справлялась, а здесь, в предотъездной суете, в один момент отказала. Пароход на Йокогаму уходил вечером, легальная связная, которая должна была привезти деньги, опоздала, Рене получила от нее доллары: их нужно было обменять на иены. Банки были уже закрыты — пришлось менять у частников, которые дали ей ворох мятых, не складывающихся вместе ассигнаций. Она забегалась. Кроме денег связная передала ей документ для Якова, который тот должен был прочесть и немедленно вернуть, — Рене положила его в конверт с билетами и начисто о нем забыла. На пароход она успела вовремя, но все действия ее с этой минуты стали машинальны, она перестала управлять собой и двигалась как заведенная. Яков узнал от связной об адресованном ему документе, понял, что Рене увезла его с собой, послал ей на борт

парохода предостерегающую телеграмму: «Ты забыла ключи», а она, прочитав, пожала плечами: «Что еще за ключи?» — не придала ей значения…

Они встретились с Зорге на улице. Рене была в Токио туристкой. Она ходила по улицам, разглядывала живописные одноэтажные улицы, и их встреча на условленном перекрестке, куда оба подошли в назначенное время, выглядела со стороны совершенно естественной и случайной. Они обрадовались друг другу и, как старые знакомые, направились к ближайшему кафе, которых здесь было великое множество. Зорге улыбался лукаво и жизнерадостно, Рене попала с ним в другой мир, не имевший отношения к прежнему, и на время забыла о своих неприятностях — посветлела лицом, как на празднике.

— Здравствуйте, Пауль, — напирая на это имя, поздоровалась она с ним. — Не знаю уж, как звать вас теперь.

— Зови просто Рихард, — прошептал он ей на ухо, подавая стул. — Я ведь здесь снова легализовался, выступаю под настоящим именем и фамилией. Для своих только кличка — Рамзай, а для всех прочих, как положено, Рихард Зорге. За мной ведь нет ничего — я чист перед родиной. Если только грехи и ошибки молодости — так у кого их нет? Сейчас оттуда такие головорезы приезжают, что я, по сравнению с ними, божья коровка. За это, наверно, и любят. А ты — Рене? — Он знал это еще с Москвы.

— Рене, — добродушно отвечала она. — За мной тоже ничего не числится.

Он посмотрел на нее с любопытством:

— Жалеешь, что уехала?

— Нет, конечно. Что жалеть? Прежнего не воротишь.

Он согласно кивнул, построжел чуть-чуть:

— Вернуться можно, но себя там не найдешь. И до сегодняшних проделок могут докопаться… — и снова заулыбался. — Как тебе Япония?

— Да вот хожу… — Она огляделась по сторонам. — Смотрю: дети пользуются неограниченной свободою.

— До пяти лет, — уточнил он. — Потом начинается восточное рабство… — Он посмотрел с новым любопытством — уже другого рода. — Тебя это сейчас особенно интересует?

— А что, видно? — удивилась она.

— Да не видно, — успокоил он ее, — а сплетничает народ. Живем как в маленькой деревне — все наперечет. А как узнают — одному богу известно. Такая уж профессия… А с Абрамом тебе как?

— Да ничего. — Она отвела взгляд в сторону. Он не стал

расспрашивать, сказал только:

— Он человек редкой принципиальности… — и вернулся к своим заботам: — Приехала помочь мне? Не работает моя связь. Радист вроде крупный специалист, а не может наладить. Наверно, потому, что пианист чистой воды — к нему еще техник нужен. Ты в технике разбираешься?

— Разбираюсь немного.

— Золото, а не работник. Да еще такая красивая. Повезло Абраму во всех отношениях. Осторожней только, — предупредил он. — Тут пеленгаторы. Они, правда, очень медленные, им полчаса надо, чтоб тебя засечь, но все-таки. Мы будем передавать потом из машины — разъезжать или места менять, но сначала надо с рацией разобраться. Не возить же поломанную… Москву вспоминаешь? — спросил он еще.

— Вспоминаю, конечно.

— И как она на расстоянии?

— Такая же, как вблизи. Симпатичная.

Он весело усмехнулся:

— Это у тебя взгляд такой счастливый. Всем симпатизируешь.

— Да нет. Взгляд обычный… — и припомнила ему московский разговор: — Смотрю не на город, а на пригороды.

— А я за деревьями леса не вижу? — засмеялся он. — Это то, что твой муж мне сказал. Как ты ладишь с ним? С твоей терпимостью ко всему.

— По-всякому, — осторожно сказала она, не умея и не любя жаловаться, и прибавила с излишним оптимизмом: — Все образуется.

— Зерно перемелется, мука будет? — сказал он ей в тон другую широко известную пословицу и встал из-за стола. — Пошли, а то мне не терпится. Хотел бы я, чтоб и с моей рацией тоже все перемололось. А то, что я сказал про пеленгаторы, — информация самая точная. Можешь считать, из первоисточника. Минута-другая связи совершенно безопасна, но злоупотреблять не следует. — И они пошли на квартиру к радисту — уже не прогуливаясь, а прямиком и быстрым шагом (но если бы за ними и следили, то и этому можно было найти иное и простое объяснение).

Радист ждал их у себя. Вид у него был чинный и озадаченный — как у хорошего немецкого мастерового, неожиданно попавшего впросак и не справившегося с работой. Рене взялась за рацию и нашла ее исправной. Приближался час передачи из Шанхая, она поймала знакомый почерк ее заместителя, который передавал шифровку на север: у него была особая манера передавать букву «л», она знала ее с тех пор, когда он сидел во Владивостоке. Она

сразу установила с ним связь и, памятуя о пеленгаторах, немедленно ее оборвала. Она переглянулась с Зорге, оба посмотрели на радиста: тот сидел белый как мел и руки его тряслись. Зорге сильно расстроился — вместо того, чтобы, как Яков, задрожать в гневе.

— Что ж ты так? — спросил он радиста. Тот залепетал в ответ что-то невнятное про пеленгаторы и ушел — почти выбежал из комнаты из-за неодолимого стыда и чувства собственного бессилия.

— Кто б мог подумать? — Рихард искал ему и себе оправдание. — Вроде надежный парень. Я его еще по Германии знаю. Испугался пеленгаторов… Ладно. Дело хоть так, но сделано. Очень много уж материала накопилось…

Он конечно же не говорил, что за информация и откуда, и Рене не задавала ему вопросов. Только потом она, как все, узнала, что Зорге вошел в близкое окружение немецкого посла в Токио, пользовался его доверием, был у него кем-то вроде консультанта, имел доступ к приходящим в посольство документам и умудрялся переснимать их: не современной техникой, которую можно спрятать в очки или в булавку галстука, а тогдашней, громоздкой, допотопной…

— Что с ним будет? — спросила Рене.

— Да что с ним будет? — с досадой повторил он. — Отправлю назад с нервным срывом и с рекомендацией не посылать больше. Не губить же ему жизнь за то, что он сдрейфил. Эх, Рене, Рене! Почему я тогда не взял тебя с собой? Не доучилась бы немного, и что с того? Тебе ведь и звания не дали?

— Почему? Была рядовой, теперь старший сержант.

— Аа! — протянул он. — Это меняет дело…

Ее миссия была закончена: она восстановила связь, отдала деньги (про деньги она помнила бы и в полном беспамятстве) — ей оставалось теперь, для поддержания легенды, посетить какой-нибудь храм: она сама ничего не имела против этого, потому что оставалась любопытна, как и прежде.

Но поездка не удалась — вернулась полоса стихийных бедствий, нездоровья, недомоганий, затмений памяти и последующих пренеприятнейших прозрений. Она поехала в ближний Киото, попала туда как раз под Новый, 1935-й, год, посетила древний буддийский храм, от которого не получила никакого удовольствия, потому что ее постоянно мутило, тошнило и рвало: не то от беременности, не то от чего-то еще — вернулась в гостиницу с намерением лечь как можно раньше. Помнится, она столкнулась в лифте отеля с Хертой Куусинен, которой они незадолго до этого помогли перебраться из Шанхая в

Японию. Херта разыгрывала здесь роль богатой американки, и это ей, видимо, удавалось — судя по тому, как увивались возле нее два молодых итальянца, очевидно, привлекаемые шелестом воображаемых ассигнаций. Женщины сделали вид, что не знают друг друга. Рене поспешила в номер, чтоб быстрее лечь и забыться, да не тут-то было. Из ресторана звенела музыка, прерываемая криками: шло празднование Нового года. Только она начала привыкать к этому шуму, послышался другой, уже нездешний, грозный, мерный и глубинный, словно идущий из-под земли грохот — потом все зашаталось, как на палубе. Началось обычное для Японских островов землетрясение, на которое местные жители не обращают внимания: праздник внизу продолжался как ни в чем не бывало — но для нее оно было внове и усилило, как в качку на корабле, ее тошноту и рвоту. Самочувствие ее было настолько скверное, что землетрясение она встретила уже с фаталистическим спокойствием: это, мол, стихийное бедствие и она не в ответе за него перед Центром — останется в номере и будь что будет. Но и этого оказалось мало. Все тряслось и ходило ходуном, когда в дверь постучали и вошла молодая японка. Беспокоить иностранцев в номере не было принято, и Рене насторожилась, напряглась и, собравшись с силами (а ей было так плохо, что она почти не различала черт лица вошедшей), спросила, что ей надо. Японка вместо ответа подала ей альбом и раскрыла его — там были все сплошь усатые мужчины. Зачем, почему?! Вошедшая, извиняясь, объяснила, что у хозяина гостиницы такие же пышные усы, — даже еще длиннее, что он состоит членом всемирной лиги усачей и каждый Новый год дарит своим гостям такие альбомы, — считая, видимо, что если с пустыми руками тревожить постояльца нельзя, то с подарком можно. Рене, которая готовилась к худшему, поблагодарила ее, попросила положить альбом на столик и остаток ночи провела в относительном спокойствии: даже землетрясение прошло — как проходит в наших широтах сильный, но короткий ливень…

Перед отъездом она снова свиделась с Зорге. Они провели полчаса в какой-то кондитерской. Беседа была пустяковая, на неслужебные темы — оба смеялись и шутили, и она вспоминала потом этот разговор с запоздалым стыдом и раскаянием: что он должен был о ней подумать? Рихард говорил ей, что ему нравятся японки, что они очень милы, ему жалко их, потому что их ни во что здесь не ставят, он хотел бы завести с кем-нибудь знакомство, но боится: слишком опасно. Она же жаловалась на крыс и тараканов, которых страшилась до смерти: в Шанхае водились огромные, с мышь, тараканы, а в Токио в ее номере хозяйничали

крысы, которые ничего не боялись: то замирали под половицами, то шныряли из угла в угол в поисках съестного, а когда она пожаловалась соседям, то те, уже привыкшие к этому соседству, хладнокровно посоветовали ей швырять в них Библию, которую японцы, в подражание Западу, клали (наверно для этой цели) европейцам на прикроватные столики…

Рихард слушал все со своей обычной, понимающей и лукавой, улыбкой — на этот раз немного грустной. Потом он неожиданно сухо прервал ее:

— Ладно. Надо идти. Тебе еще собираться в обратную дорогу. А то так можно и заговориться… — и посмотрел подбадривающе и заботливо: — Давай, Рене. Спасибо за помощь. Дай бог, еще увидимся… — и снова одарил ее одной из своих чарующих, призывных улыбок, похожих на ту, которая когда-то выманила ее из Франции в Россию — только, в сравнении с той, глуше, прозрачнее и бледнее…

Больше они не виделись, и странное дело — для нее это была не просто последняя встреча с товарищем, а нечто большее, что поставило точку в ее старой жизни и окончательно отделило ее от новой. Может быть, виной тому был Рихард, который так неожиданно прервал их разговор, может, ей вдруг показалось, что он был последним человеком из ее старого окружения — мостиком, по которому она перешла из того мира в нынешний…

Она вернулась задумчивая в гостиницу, случайно получила тот же номер (она сдала прежний и отдала вещи на хранение, не зная, сколько времени пробудет в городе) и, к великому удивлению своему, увидела, что оставила свое грязное белье в корзине: его не успели забрать оттуда. Сильно обескураженная этим: она всегда берегла одежду, это было заложено в ней с детства — она взяла конверт с билетами, который с Шанхая лежал в ее сумке, открыла его и увидела злополучный документ — вспомнила о нем и о том, что ему совершенно незачем было ехать с ней в Японию. И только вернувшись в Шанхай, она, к великому ужасу своему, вспомнила, что забыла передать Зорге новый шифр. Этого уже она никак понять не могла и, что называется, остолбенела. Ясно было, что с ней творится что-то неладное. Яков, обычно не спускавший промашек своим подчиненным, здесь ничего не сказал — только глянул на нее с тревогой и озабоченностью, и за эту тревогу в его глазах она простила ему многие его прежние нападки и несправедливости.

Ее отстранили от работы и вызвали врача посольства. Он осторожно расспросил ее об условиях работы и, узнав о ртути, сразу поставил диагноз ртутного отравления — сказал, что если работать с амальгамой, то надо делать это с вытяжкой, которую,

на худой конец, можно устроить в камине: такой был всесторонне образованный доктор. Она стала заниматься теперь только фотографией, ей велено было побольше лежать и поменьше напрягаться. Группу дополнили товарищем, который сосредоточился на печатях, — уже с соблюдением необходимых мер предосторожности.

Здоровье ее поправлялось медленно. В феврале у нее открылось маточное кровотечение: дело было на улице, под ней пролилась большая лужа крови. К счастью, она была не одна: Яков, сопровождавший ее, нанял рикшу и отвез ее в американский госпиталь, где кровотечение остановили. Через неделю ее выписали. Она изменилась: стала раздражительна, уже не мирилась с тем, что терпела прежде. Под ними, этажом ниже, жил китайский чиновник, который каждый день после обеда курил опиум, — зловонный дым поднимался к ним и вызывал у нее спазмы горла. Уговорить китайца не курить было невозможно: он церемонничал, вкрадчиво улыбался и отмалчивался — она заставила Якова сменить квартиру, и они переехали. Их «мальчик», «бой», которому было за шестьдесят и который выглядел еще старше, беспрестанно и надрывно кашлял: был явно болен туберкулезом. Она говорила мужу, что его надо рассчитать и взять другого, — иначе он заразит их и будущего ребенка. Яков возражал, говорил, что как коммунист не может уволить больного человека, и ничего не предпринимал, хотя она знала, что из любого положения можно при желании найти выход. Так оно и получилось: со стариком договорились, что он передаст место племяннику — оно осталось в семье, а для китайцев это главное…

Приближались роды, она думала теперь только о них, полагала, что все худшее позади, и готовилась к самому светлому, что может быть у женщины.

Но оказалось, что и это были не беды: настоящие несчастья зрели в тишине и готовились выйти из небытия наружу. В апреле Яков стал скрытен, замкнут, задумчив и сумрачен. Она чувствовала неладное, но ни о чем его не спрашивала: раз не говорит, значит, так надо — таковы были законы их профессии. Дело было не только в его тревоге, передававшейся на расстоянии, — он и вести себя стал так, будто попал в некий опасный круг, будто его загоняли в сети: стал делать что не положено — приносил, в частности, домой в большом количестве секретные документы, чего раньше не делал, потому что у него были другие места для хранения, в которых он, видно, боялся теперь их оставить. Ей он сказал только, что перестал доверять одному из своих китайских помощников и что идут провалы.

Вечер третьего мая они провели в гостях у отъезжавшего в Москву товарища. Перед этим Яков был в консульстве, что вовсе было необычно, но он не сказал ей, зачем ходил туда. Когда они вышли, он сказал вдруг, что не может проводить ее домой, что ему нужно в другую сторону, — посмотрел на нее искоса, с глухой тревогой, и ушел. Роковым оказалось именно то, что он не проводил ее до дома и не оставил там компрометировавшие его документы. Она вернулась одна, отпустила боя, села ждать. Якова не было ни в тот день, ни в следующий. Позвонили легальные товарищи, спросили, дома ли он, — она ответила, что нет. «Тогда бросай все и иди к нам», — сказали они. Она ушла, захлопнув дверь квартиры: у нее даже ключа не было — ей открыл бой, который унес с собой ключ, другой был у Якова.

«Яков арестован, — сказали ей, когда она пришла к своим. — Его заманили на китайскую территорию. Его выдал китаец, работавший на него и перешедший на другую сторону» — все успели выяснить, пока она до них добиралась.

Началась новая жизнь, в которой старые обиды и недоразумения показались удивительно ничтожными: так, когда начинается война, прежние беды в глазах людей становится пустячными, не заслуживающими даже упоминания.

7

Яков имел все основания тревожиться перед арестом. В Ханькоу был задержан китайский коммунист, бывший посредником между ним и Лю Сяо. Последний служил офицером в тайном отделе полиции, готовившем войсковые операции; он получал сведения о предстоящем перемещении армий и обеспечивал их полицейское прикрытие: превентивные аресты, слежка за подозрительными лицами и прочее — поэтому обладал, по меньшей мере, двумя важными секретами: войсковыми и полицейскими. Прежде он был (а для немногих оставался) важной фигурой в Китайской компартии, но при разрыве с Гоминьданом сумел выдать себя за раскаявшегося коммуниста, прошел через сито специально созданного для этого управления Тангпу, пользовался полным доверием начальства и быстро продвигался по службе: в соблазн и в назидание бывшим товарищам по партии, оказавшимся не столь способными вывернуться наизнанку. Он тем более преуспевал, что, как все перевертыши, работал не за страх, а за совесть: как бы наверстывал упущенное и всегда был готов к выполнению приказа, а не думал только о выпивке и борделях и о скорейшем выходе на пенсию, как его коллеги в полиции, лишенные каких-либо убеждений. Скопление положительных качеств в одном лице подозрительно и должно было породить сомнения его начальства, но каждый живет, как ему удобнее, и его руководители, такие же бездельники, как и их подчиненные, не могли ему нарадоваться. Работал он не столько на Якова, сколько на своих — они терпели сейчас поражения в южных провинциях страны и готовились к переходу в западные, более безопасные, районы — Чан Кайши же стремился заблокировать их в Южном Китае. С Яковом у него были взаимовыгодные отношения. Тот помогал ему передавать наиболее важные и срочные сообщения по радио: рации у Лю Сяо не было, и связь со своими осуществлялась по старинке, курьерами. Ввиду важности этого союза ему было придано несколько посредников. Пленки и секретные документы, которые нельзя было никому доверить, возила Вонг, двадцатидвухлетняя, не по-китайски рослая и крепкая девушка, всецело преданная Лю, его представительница в Шанхае. Она регулярно ездила к нему в Ханькоу — под предлогом тайных любовных свиданий (которые были, видимо, не столь ложными, как оба они это представляли, но это никого, кроме них, не касалось). Якову Вонг напрямую не подчинялась, но любезно выполняла его деловые просьбы, а в непосредственное подчинение ему были приданы двое: 29-летний

Ло Хайпонг и 22-летняя Ванг Вейли — вот из-за них-то Яков и нервничал и сетовал на китайских товарищей, следовавших китайской мудрости, по которой ни один добрый хозяин не отдаст другому хорошего мула, но оставит в своей упряжке.

Вербовка обоих происходила у Якова на глазах и осуществлялась одинаково: давно налаженным и довольно грубым, обезличенным способом. Занимался ею Сяо, приятель Лю Сяо и Вонг и, как понимал Яков, один из резидентов Компартии в Шанхае. Сяо работал под маской шанхайского интеллектуала из бывших профессоров или учителей, оставивших службу, живших случайными заработками и разглагольствовавших дни и ночи напролет в пяти-шести излюбленных ими кафе и чайных. Официанты этих заведений, люди наблюдательные и памятливые, давно заметили, что каждое из них посещается им в определенные дни недели, и шутили над этим, но Сяо только отмахивался и говорил о неодолимой косности своих привычек — на деле это были его приемные часы и явки. Свою роль Сяо разыгрывал блестяще: будто и в самом деле был прирожденным и неистощимым болтуном и краснобаем, жившим лишь для того, чтоб побольше поговорить на этом свете, — но в жизни это был человек жесткий и довольно грубый, что часто давал понять завербованным им людям — как правило, легковерным, внушаемым и чересчур верившим создаваемому им светлому, безоблачному облику. Да и глаза его выдавали — они глядели особняком, отдельно от празднично улыбающегося лица, въедливо и настороженно, — но это надо было еще увидеть, потому что он искусно прятал их в узких щелках век и в толстых складках лица. У обоих новобранцев: у Ло и Ванг были братья-коммунисты, активисты и функционеры Компартии, — поэтому на них и упал их жребий: родство вообще — вещь великая, а в Китае в особенности: никто не покажет против родственника, они были как бы в заложниках. Обоим дали сначала читать «прогрессивную» литературу, затем обменялись с ними мнениями о прочитанном. И Ло и Ванг из любезности отвечали на вопросы учителей так, как те ждали от них, потому что в Китае не принято возражать старшим, а что они в действительности думали на этот счет и думали ли что вообще, было уже не столь важно. Почва была нащупана — следующий и решающий шаг заключался в том, что обоим, уже за деньги, давали перевод других подобных книг: Ло, например, перевел на английский книгу самого Сяо, которая называлась «Разрыв с рабством»; она вышла на китайском и была как бы его визитной карточкой, узаконивавшей его сидение в кафе, на литературных и прочих диспутах, — он по десять раз на дню ссылался на нее в своих спорах. Деньги — самая хитрая вещь

на свете: вам кажется, что вы зарабатываете на жизнь, а вы, оказывается, участвуете в распространении опасных, порочащих правительство взглядов, а если еще и переводите их на иностранный, то выдаете их чужим и повинны еще и в государственной измене и предательстве. После книг оба переводили условные письма, приходившие Якову с мест (плата за работу тут снижалась вдвое: чтоб новички не воображали себя профессионалами). В этих письмах они ровным счетом ничего не понимали, потому что они были написаны обиняками и звучали примерно так: «Тетушка ждет вас к себе в гости. Она сломала ногу» — откуда было им знать, что тут не столько приглашение приехать, сколько просьба выслать денег и побольше: чем важнее была поломанная часть тела, тем большая сумма требовалась. Чем бессмысленнее, с другой стороны, были такие послания, тем сильнее связывались ими переводчики: они чувствовали, что участвуют в чем-то зловредном и таинственным, — письма так и кишели вывихами, ушибами и иными травмами. На следующем этапе неофиты становились посыльными, почтовыми курьерами, перевозчиками денег и здесь-то и вовлекались в работу по-настоящему: теперь им было не отвертеться. Тут начинались трудности: понимая, что погрязли в деле по макушку, они если не спохватывались, то начинали упираться, спорить по пустякам, тормозить и пробуксовывать.

Ло Хайпонг в недавнем прошлом был учитель английского. Он успел проработать последовательно в нескольких школах, но ни в одной из них не удержался и из-за своей необузданной чувственности потерял в конце концов и семью и работу: заболел одновременно гонореей и сифилисом и вынужден был уехать лечиться в другой город — подальше от своих работодателей. Те каким-то образом узнали о случившемся, и то, что он заболел сразу двумя нехорошими болезнями, а не одной, сыграло роковую роль в его судьбе: ему это запомнили — одну бы, может быть, и простили. Устроиться в школу по возвращении он не смог и подрабатывал частыми уроками, мечтая о литературных переводах. Этим и воспользовался хитрый Сяо. Ло и прежде водил с ним знакомство, но не как самостоятельная фигура, а через своего брата. Тот был видным коммунистом — Ло же в партию не шел, да его туда бы и не пригласили: Сяо позвал и подобрал его не для себя, а для Якова. Ло был человек своенравный, ненадежный, в глазах европейца непредсказуемый, экстравагантный и едва ли не странный, но китайцы ничего особенного в нем не видели и относились к нему заметно пренебрежительно. Пока он переводил «Разрыв с рабством», все было ничего, но когда ему доверили перевод секретных

документов, требующих дословной точности и педантизма в передаче цифр (из-за которых они, собственно, и похищались), тут Яков, что называется, взвыл по-черному. Ло пропускал целые абзацы, перевирал цифры, писал китайские фамилии и названия здешних мест на английском так, будто нарочно зашифровывал их: ему было невыносимо тошно переводить эту скучную материю. У Якова были из-за него крупные объяснения с Центром, и он зарекся давать ему такие переводы в будущем. Ло перевели на оперативную работу и дали ему в подчинение Ванг, которая тоже была хороша штучка, только в ином роде. Это понравилось Ло больше: как многие педагоги он любил распоряжаться людьми, а Ванг нуждалась в постоянной опеке, поскольку была нерешительна и беспомощна, как ребенок. Ло запугивал ее и, кажется, склонял к сожительству. Яков это чувствовал и вступился бы за нее, если б она пожаловалась, но Ванг, при всей своей детскости, предпочитала, как многие китайцы, не выносить сора из избы и не доносить иностранцу на соплеменника.

Ло был большим фантазером. Он мог принести список японских консулов в главных городах Китая и вручить его Якову, всем видом своим показывая, что ждет за него большущее вознаграждение.

— Нет, за это я вам ничего не дам, — говорил Яков: он всегда был прижимист, а в Китае, будучи стеснен в средствах, — в особенности.

— Но это список консулов, — повторял тот, явно рассчитывая на другой прием и на солидный куш: чтоб немедля отправиться с ним в веселые кварталы города.

— Да я его в справочнике найду. Если он мне будет нужен, — иронизировал Яков, постепенно выходя из себя, хотя и не показывал еще этого. — Я вас о чем просил в прошлый раз? Мне нужны списки частных детективов Шанхая — вы на них и сосредоточьтесь. За них и деньги получите. Зачем мне список японских консулов?

— Но я над ним работал, — упорствовал тот, не думая уступать, и тогда Яков (он умел это) переходил на иной, фельдфебельский, тон и рявкал что-нибудь нечленораздельное и по-английски не слишком грамотное — только тогда Ло уходил — не прощаясь и сохраняя на лице выражение скорбного, уязвленного самолюбия. Яков платил ему 50 долларов в месяц, но выдавала их Вонг (не путать с Ванг), которая продолжала опекать его со стороны китайцев: Яков не доверял ему и не хотел иметь с ним денежных отношений. Ему оплачивали квартирку на улице короля Альберта и закрывали все счета, имеющие какое-либо

отношение, даже самое отдаленное, к подпольной деятельности: газ, свет, лампочки, которые он жег одну за другой, бумагу, которой изводил столько, сколько не переводит большой писатель, — он нес на оплату все, включая совсем сомнительные расписки на клочках бумаги, пахнущие откровенным надувательством. Ему указывали на это: бывший учитель привычно оскорблялся — унижения и обиды копились в его душе и ждали своего часа, умеряемые лишь страхом и желанием подзаработать. Яков решил расстаться с ним при первой же возможности, но она пока что не представлялась.

Что касается Ванг (чьей судьбой заинтересовалась Рене), то она была из хорошей семьи: ее отец и дядя были видными чиновниками в Нанкине, бывшем тогда столицей Китая. Брат ее, на погибель семьи и свою собственную, был отправлен на учебу в Германию, откуда вернулся законченным коммунистом — настолько прожженным, что сдал товарищам по партии сестру, которая меньше всего подходила для этого. Эта переводила как раз прилично, без пропусков и ошибок, но постоянно бегала спрашивать о трудных местах к опекавшей ее Вонг, которая была для нее во всем высшим авторитетом. Та в конце концов сбыла ее с рук, хотя и ее должна была вести, как Ло Хайпонга: во-первых, редко когда могла ей помочь, потому что не имела, в отличие от нее, университетского образования, во-вторых, та шла к ней через весь Шанхай с секретными документами так, будто это были письма от деревенского дедушки. Для оперативной работы Ванг годилась еще меньше: это с ней был казус, когда она отказалась снять номер в дешевой гостинице для свидания с Яковом. Яков вовсе не доверял ей и каждую свою встречу с ней обустраивал конспиративным образом: не открывал ей мест своего пребывания, ни самого своего вида, — являлся к ней в опереточных усах, похожий на Гитлера. Что же касается Ло, то этот знал его в лицо: с ним надо было встречаться чаще и приклеивать и отклеивать усы по десять раз на дню было бы еще опаснее. Ванг заподозрила и Якова в том, что он, вслед за Ло, имеет на нее особые виды, но это было уже совершеннейший абсурд: Яков, еще с России, любил рослых, статных, уверенных в себе светло-русых женщин, с которыми и Рене было не сравниться и которым он прощал все, включая плохое знание марксизма, а тщедушную, незрелую Ванг он и представить себе не мог в своей постели, чему она, как многие женщины в подобных ситуациях, не могла поверить, и на честного Якова легла тень: дыма, мол, без огня не бывает. Это она похитила секретный годовой финансовый отчет страны, то есть брошюру с основными его цифрами, в министерстве, где в это время работала, и сделала это

нагло и просто, как не посмел бы ни один ас шпионажа: подняла вместе с другими бумагами со стола начальника, который не заметил этого, ни того, как она она вернула его на место на следующее утро. Она получила тогда большое вознаграждение и месяц ходила именинницей, но потом ее выгнали из министерства: не за украденный отчет, а за полную непригодность к ежедневному будничному труду, — и она повисла тяжким грузом на разведсети Якова: выполняла, как говорят в таких случаях, отдельные поручения. Когда она поехала отдыхать к бабушке в провинцию, Ло дал ей по просьбе Якова вопросник для заполнения, по которому в Центре хотели составить впечатление о настроении рабочих, крестьян и армии в провинции, — она привезла вместо этого годовой план ремонта дорог в Синцзяне: тоже стянула со стола дядюшки, который потом дома все вверх дном перевернул в поисках пропажи. С этим планом дорожных работ у Якова было связано одно неприятное воспоминание. Его следовало выбросить, но Яков отличался какой-то плюшкинской скупостью в отношении похищенных им бумаг и почти физической невозможностью расстаться с ними. Он ни с кем и ни о чем не советовался, а тут решил вдруг спросить Муравьева, как поступить в этом случае, — сама ничтожность предмета подтолкнула его к этому. То ли Муравьев встал в этот день не с той ноги, то ли еще что, но, посмотрев на толстый сброшюрованный альбом, каждая страница которого была покрыта сверху донизу китайскими загогулинами, которые надо было еще грамотно перевести, он рассердился и заворчал:

— Да выкинь ты его к такой-то матери! Мы Центр совсем хламом завалили — скоро хранить будет негде! Что им этот план — свои бы дороги строили!.. — И поскольку сказано это было без должного уважения не только к Якову, но и к отечественным дорожникам, Яков поглядел на него с недоумением и, в свою очередь, обозлился и проникся еще большей неприязнью к виновнице выговора. Это она же простодушно сказала ему, что хочет посоветоваться с отцом: продолжать ли ей нелегальную работу или отказаться от нее, — Яков еле уговорил ее не делать этого…

Сейчас он направлялся скорым шагом (он всегда так шел: не умел ходить медленно) на поиски Сяо, который в этот день и час должен был быть в клубе любителей американской книги. Здесь при магазине был бар для постоянных клиентов, которые могли пригласить с собой одного-двух приятелей. Хозяева подобных заведений сочетали европейскую рекламу с восточной патриархальностью в общении с клиентами: их бесплатно потчевали чаем, сухариками и даже пивом — последнее было

местного изготовления, теплое и скверное на вкус, но китайцы пили его с важностью и, оставаясь в душе тысячу раз подданными Поднебесной, воображали, что приобщаются таким образом к западной цивилизации; бесплатно здесь пили, впрочем, одни постоянные клиенты, приглашенные платили за них вдвое. Подобные места высоко ценились подпольщиками и заговорщиками всех мастей: даже сыщики не могли запросто придти сюда и подсесть к столику — нужна была клубная карточка. Яков не нашел Сяо и вежливо, едва ли не подобострастно обратился с вопросами к бармену. Тот, хоть и знал его в лицо, отнесся к нему с полнейшим равнодушием — лицо его сделалось каменным и непроницаемым, он и самого Сяо припоминал уже с трудом, путал с кем-то и совсем не знал, где его искать и как с ним связаться. Кроме того, как это часто здесь бывало, когда это было им нужно, такие люди напрочь забывали английский и говорили на нем, как рикши, знавшие только два слова — куда и сколько; в довершение дерзости он спросил у Якова ту самую карточку, которой тот обзавестись так и не удосужился. Дело пахло заговором. Вонг тоже исчезла не сказавшись: очевидно, китайцы узнали о провале в Ханькоу и разбежались в разные стороны. Якову тоже бы надо было сжечь мосты и уйти в тень, но он жил по европейским понятиям и не считал себя вправе поступить таким образом — оставить Лю Сяо без помощи и без прикрытия. Сам Лю имел возможность сбежать в любую минуту, поскольку по роду службы мог выписать себе командировку хоть в Аляску, но в Ханькоу у него оставалась семья с тремя детьми — их-то и надо было оттуда вызволить. Накануне Яков послал туда Ванг: она отвезла тревожные письма и семьсот американских долларов. Ванг должна была уже вернуться, и теперь ждали мадам Лю: ее надо было переправить с детьми в какое-нибудь безопасное место…

Отказавшись от мысли связаться с китайцами, Яков решил пойти по своим адресам: надо было предупредить людей — чтоб отсиживались дома и не высовывались наружу. Он шел, сосредотачиваясь на шанхайской ситуации, но не забывая и ежедневно складывающейся в его голове картины, отображающей движение мирового революционного процесса: подобная светящаяся карта постоянно горела разными цветами в его воображении, и красной краске в ней предстояло вытеснить все прочие цвета радуги. Сейчас его более всего занимали события в Европе: перспектива Народного фронта во Франции и становление фашизма в Германии. Германия была его второй духовной родиной: отец и вслед за ним вся семья боготворили немецкую культуру, читали наизусть Гете — потом уже сам Яков

в начале тридцатых пробыл там два года советским резидентом и проникся на месте немецким революционным духом. Насколько любил Яков эту страну, где коммунисты были людьми особенно надежными и твердыми, которыми он не уставал восхищаться, настолько же недоверчиво и скептически относился он к Франции, отличавшейся политическим и иным легкомыслием: тамошние товарищи позволяли себе, пусть в шутку, сомневаться в том, что сам Яков считал незыблемым и неприкосновенным. Эта оценка не изменилась даже тогда, когда Германия пошла по роковому для нее пути, а Франция заигрывала с левыми идеями: люди могут заблуждаться, но нутро их остается прежним — лучше терпеть временное поражение в борьбе с открытыми врагами рабочего класса, чем водить дружбу с оппортунистами, с гнилыми временными попутчиками, — так думал Яков в эту минуту, хотя иному было бы сейчас не до этого…

Он направлял шаги к человеку, занимавшемуся паспортами, которые могли понадобиться в случае общей тревоги. Идти туда было не время и небезопасно, но накануне он взял в консульстве четыре паспорта, ждавшие транзитной визы, и они сейчас мертвым грузом оттягивали его карманы. Не надо было их брать, да и сотрудник, согласившийся вдруг отдать их, не имел на это права, но Якова, когда он увидел их, словно что-то озарило, и он настоял на своем: разведчики падки на чужие паспорта и не могут смотреть на них равнодушно. Он поколебался еще некоторое время: идти ли, нет, к этому «Мартынычу», который занимался такой работой еще в России, или вернуться в консульство и отдать злополучные «корочки», но по обыкновению своему решил продолжить начатое: он не любил отступать, менять решения и создавать у людей впечатление человека, который сам не знает, чего он хочет.

Он сделал крюк, подошел к киоску, торговавшему газетами со всего мира, и купил как обычно с десяток газет на разных языках и различных идейных направлений. Он предпочитал сухую и бесстрастную информацию, которую могли позволить себе только официозы правящих правых партий, так что по спектру покупаемых газет его можно было принять за консерватора. Такими газетами были в то время (да и потом тоже) английская «Таймс», швейцарская «Нойе Цурихер Цайтунг», парижская «Фигаро» — но он докупал к ним еще и австрийские, и китайские для иностранцев, и даже чешские и новозеландские: эти он просматривал наискось, по диагонали и тут же выбрасывал, на что оба боя, старый и потом молодой, глядели как на сущий перевод денег и если не теряли к нему уважения, то принимали его за сорящего деньгами богача, которого не грех

лишний раз обсчитать и выставить. Хозяйка киоска, уже знавшая выгодного для нее покупателя, которого интересовал весь земной шар, подготовила ему толстый сверток, и Яков, не заглядывая внутрь, заплатил не торгуясь.

— Вы, наверно, деловой человек? — спросила она: видно, накопилось любопытство к этому времени. — Смотрите, что где поднялось, а что упало?

— Нет, я журналист, — вежливо отвечал он. — Пишу книгу про Китай. Поскольку страна большая, приходится следить и за остальным миром тоже. — И она почтительно кивнула: из уважения к его атлантовой ноше, а Яков пошел дальше, заглядывая на ходу в лондонскую «Таймс», где внимание его равным образом привлекали как близкие, так и далекие от Китая столбцы и события…

Мартыныч жил в конце города. Яков, вооруженный плохим планом Шанхая, долго ехал к нему на трамвае, потом на рикше, затем ему пришлось попотеть в поисках адреса с четырехзначным номером. Рикша тоже не был знаком с высшей математикой, но сообразил, что время идет, а денег ему не прибавляется, и лихо выгрузил его у первого фонарного столба, объявив с важностью, что его дом здесь и нигде больше, после чего укатил к центру, подальше от рабочей окраины, где люди не хотели ездить на себе подобных. Китайцы то ли не знали арабских цифр, то ли не желали впутываться в чужие дела — но лишь пожимали плечами в ответ на просьбы Якова и предлагаемые им бумажки с адресом. Он долго бы крутился здесь по дворам и закоулкам, если бы не любезный, учтивый серб, который разъяснил ему на языке близком к русскому, куда и как идти, довел до дома, видя, что тот его не понимает, и даже отказался от вознаграждения — в Шанхае кого только не встретишь. Мартыныч был дома. Он не ждал Якова, но нисколько не удивился его приходу: незваные гости были здесь чаще приглашаемых. Это был невысокий плотный человек лет пятидесяти и самого невзрачного вида: в выцветшей, когда-то клетчатой рубашке и в потертых коротких брюках, висевших на новеньких помочах, единственной обновке в его одеянии, — но глядел при этом независимо и даже начальственно. Про него говорили, что он специалист по подделке паспортов и трудился вначале на уголовников, — потом его, из уважения к незаурядным способностям, взяла в штат российская полиция. После революции он похитил и вывез бланки паспортов разных стран и печати к ним: одно время работал на белую армию, потом, с ее крушением, бежал с драгоценными «ксивами» в Китай и здесь промышлял на свой страх и риск, постоянно подвергаемый опасностям, ставшим его

привычкой. Про него говорили, что он «рисовал» документы за сутки, — в Москве целый отдел Разведупра занимался тем же чуть ли не целый месяц: со всеми необходимыми для этого запросами и пересылками. Открыла Якову его жена или сожительница, которую он тут же выставил из комнаты, но она мелькала в просвете двери и явно подслушивала.

— Не бойся. Пусть слушает, — успокоил хозяин гостя, видя, что тот косится в ее сторону: одного этого взгляда было ему достаточно, чтоб составить представление о том, кто к нему пришел и что, следовательно, ему нужно. — Она у меня немая.

— Совсем не говорит? — удивился Яков.

— Почему? Говорит, если спросишь, а так помалкивает. Что надо?

— Кое-что по вашей специальности. — Яков огляделся по сторонам. — Может, присядем?

— Садись конечно — чего спрашиваешь? — Хозяин продолжал изучать его, и невнимательное лицо его отражало эту внутреннюю работу: он словно заполнял на посетителя карту. — Это я засиделся, не хожу никуда в Шанхае этом, а люди ходят. Ты по-русски-то ботаешь?

Надо сказать, что разговор до сих пор происходил таким образом, что Яков обращался к нему по-немецки, а он отвечал по-русски: Мартыныч тоже был хороший полиглот, поездил по белу свету и понимал разную речь, но говорил только на языке своих предков. Яков решил не выдавать себя:

— Очень плехо, — сказал он. — Предпочитай немецкий.

— Да? — Мартыныч поглядел недоверчиво и проницательно. — А я думал, ты из русских жидов.

— Найн, — сказал Яков. — Еврей, только немецкий.

— Хорошо хоть от веры не отрекаешься. Сбежал оттуда? Вам там сейчас туго приходится — ждем от вас пополнения. Давай, чего надо?

Он настроился благожелательно: уголовный мир (сходившийся в этом с коммунистами) был на стороне угнетаемых и преследуемых — изгнанный фашистами еврей нуждался в его помощи. Яков понял, что может продолжать, и во избежание недоразумений, перешел на ломаный русский:

— Есть четыре паспорта. Нельзя сделать дубли? — сказал он с просительной интонацией, которая появлялась у него всякий раз, когда он просил о чем-нибудь: будто всякая просьба была для него необычна и требовала самоуничижения.

— Четыре дубля? — удивился тот, вовсе не ожидавший такого размаха сделки.

— Да. Говорят, вы умеете?

— Могу, — признал Мартыныч без ложной скромности. — Если только трех девяток в номере нет. Тем более — если больше.

— Трех девяток? — Яков глянул непонимающе.

— Ну. Печаточки потерял при переезде. Переезжать с место на место приходится. Как тебе вот. А откуда ксивы? Из каких стран, я имею в виду. Откуда они у тебя, ты мне все равно не скажешь, да мне и не надо.

— Два французских, один чешский, один китайский.

Мартыныч глянул еще недоверчивее.

— Французский — это корочки у меня есть, — сказал он с важностью, не означавшей, однако, что он берется за работу.

— А я, естественно, любую сумму.

— Любую — положим, не любую, — поправил хозяин, зорко следивший за бравадой и преувеличениями и выдавая этим человека из уголовного мира: насколько этот мир любит позерствовать в обыденной жизни, настолько же пристрастен к точности в торговле. — Я ведь тебе ничего еще не предлагаю. Покажи, что принес.

Это был решающий момент. Показать паспорта значило открыться больше, чем хотелось Якову, но и не показать тоже было нельзя: разговор бы на этом прекратился. Яков достал злополучные документы.

— Но это между нами, — снова просительно и настойчиво сказал он.

Мартыныч поморщился: он не привык к такого рода предупреждениям.

— А между кем еще? Мы ж с тобой не на площади торгуем… — и просмотрел документы с дотошностью хорошего пограничника. — Настоящие, — признал он. — И девятки всего две… На. А то ты на месте не сидишь, боишься: отберу я их у тебя. Номера обязательно те же?

— Натюрлих, — сказал Яков, беря паспорта и успокаиваясь. — Кому они нужны с чужими номерами?.. Проверить могут.

Мартыныч покосился на него:

— Все-то ты знаешь… Некоторые так берут — было бы что полицейскому под нос сунуть. А у тебя, гляжу, фирма серьезная. — Он, кажется, принял решение и лишь из приличия тянул время.

— Ну так как? — подторопил его Яков. — Можно надеяться?

— Надеяться всегда можно, — возразил тот: его снова не устроила неточность формулировок. — Подумать надо.

— Долго думать нет времени. Возвращать надо.

— Ну и верни. Перепиши текст — может, и сделаю.

— Фотокопии подойдут?

— Еще лучше: печати легче срисовывать…У тебя, гляжу, все налажено… Что ж ты своего ксивщика не имеешь?

— А что это? — Яков вспомнил, что он немец и не обязан знать русскую феню.

— Не понимаешь? Ну да, ты ж германец… Оставь свой телефон или адрес — я сообщу, когда соберусь.

— Этого-то как раз у меня и нет, — сказал Яков со вздохом, пряча паспорта во внутренний карман френча.

— Чего у тебя нет?

— Ни телефона, ни адреса.

— На улице ночуешь?.. Ну нет значит нет. Я только с солидными людьми дело имею, — сказал он, хотя предпочитал как раз маленьких клиентов, которые не могли втянуть его в большие неприятности. Якову оставалось лишь криво усмехнуться, пожать плечами и забыть о паспортах — до поры до времени…

После него Яков пошел к двум молодым американцам, которым в этот день была назначена встреча. Собственно, учитывая обстоятельства, можно было перенести ее, но Яков, как было сказано, не любил отменять принятых решений, зная, как расхолаживающе действует это на новичков: революция должна быть подобна поезду и следовать твердому графику, не знающему в пути задержек и опозданий. Американцы были присланы ему из Коминтерна — с советом проверить и прощупать их, прежде чем допустить к делу. Они прибыли из Нью-Йорка и мечтали об участии в китайской революции. Якову они сразу же понравились. Это были энтузиасты, рвущиеся в дело. У них не было за плечами марксистской школы — оба были из интеллигентов: Марк — учитель, Эдвин — юрист, так и не начавший практиковать, но оба возмещали ее отсутствие практической сметкой и развитым классовым чутьем: будто оба вышли из гущи пролетариата, а не из рыхлой безыдейной прослойки американского среднего класса. Следуя полученной директиве, Яков испробовал их в двух делах и недавно назначил последнее испытание: отправил обоих в Кантон — для военной рекогносцировки и зондирования населения. Правда, китайский, с которым они знакомились по самоучителю в Нью-Йорке, они знали лишь настолько, чтоб спросить дорогу от вокзала до отеля, но это ведь не помеха для зоркого наблюдателя: настроение населения можно оценить и по выражению лиц на улицах и по языку жестов.

Они жили в квартире, за которую платили сами: настаивали на этом и говорили, что скопили в Нью-Йорке достаточную сумму, чтоб доставить себе это удовольствие.

— Это у нас политический туризм! — сказал в прошлый раз, засмеявшись, Марк — из них двоих он был общительнее и вел внешние переговоры: Эдвин же был вдумчив, сосредоточен и расположен к меланхолии. — Подумаешь: пятьдесят долларов! Для нас это небольшие деньги! — Но пятьдесят долларов были деньгами и для американцев, и Яков все-таки всучил их им: это была оплата проезда и гостиницы в Кантоне. Насколько он был скуп, когда из него вытягивали деньги, настолько же неосмотрительно и безоглядочно щедр, когда от них отказывались; хорошо, что такое случалось нечасто, а то бы он вконец разорился. Сейчас он спешил к ним на свидание, хотя время для этого было самое неподходящее: ему еще надо было поспеть к Элли.

— Так что же удалось выяснить? — спросил он, когда они все уселись за столом в маленькой квартирке во французской концессии, на улице маршала Ош (французы любили называть улицы именами своих маршалов: в память о своем боевом прошлом и в назидание прочим). Жилье было сдано на одно имя, потом переуступлено в аренду последовательно четырем контрагентам: чтобы сбить с толку полицию и задержать дознание, если таковое начнется.

— Съездили! — Марк весело, во весь рот, заулыбался, будто речь шла об увеселительной прогулке, а не боевом задании. — За неделю через вокзал прошло восемь составов с пехотой и артиллерией. На каждом примерно по триста солдат: плюс-минус двадцать — и с десяток пушек.

— Но мы не знаем их калибр и назначение, — оговорился, склонный к педантической точности, Эдвин. — Были крупные и мелкие.

— Больше крупного калибра, — примирительно сказал Марк. — Судя по тому, что торчало из-под брезента. Может быть, гаубицы? — предположил он, обратившись к Якову, который был для них высшим авторитетом во всех вопросах, включая военные. Они знали, что он воевал в Гражданскую, но Яков был там политкомиссаром и, хотя и дошел до звания бригадного комиссара, вряд ли мог бы сам отличить гаубицу от миномета. Но он не сказал им этого.

— Напишем, крупного калибра — этого достаточно, — снисходительно сказал он. — Это интересно, что вы говорите. Я пошлю это в Центр и китайским товарищам. И все двигались в северном направлении?

— Ну да. Там одна ветка всего… Готовят заслон перед коммунистическими районами? — Марку не терпелось ввязаться в бой на стороне красных.

— Или готовятся к высадке японцев, — сказал Яков. — Им будет трудно воевать на два фронта, а Европа и Америка помогать не станут. Гражданская война в Китае тесно связана с противоречиями между империалистическими державами, и наша задача — этим воспользоваться. Я вас просил поэтому, когда вы уезжали, прощупать антияпонские настроения в населении. Удалось что-нибудь в этом смысле? — и глянул пытливо сначала на Марка, потом на Эдвина. — Сейчас это очень важно.

— По-моему, есть. — Марк глядел на жизнь с неодолимым природным оптимизмом. — Если судить по тому, что наш рикша назвал их япошками.

— Но он на пиджин-инглиш говорил. — Эдвин олицетворял в этой паре скепсис и осмотрительность. — У него и американцы американкашками были.

— Значит, он так и к американцам относится, — сказал Марк. — Для него все иностранцы — империалисты.

Яков, как бы ни хотелось ему, чтоб подтвердились его догадки, предпочитал все-таки голые факты.

— Без языка, конечно, судить трудно… Но мне отсюда кажется, что так оно и есть. Должно быть, во всяком случае. — Молодые люди выслушали это как высказывание пророка, Якову стало неловко, и он улыбнулся, чтоб сгладить это впечатление. — А как вам удалось это? Ходили каждый день на вокзал? Могли же примелькаться?

— Мы и примелькались. — Марк снова заулыбался, вспоминая поездку. — Узнавать стали.

— Что вы на это говорили?

— Что встречаем знакомую из Шанхая и не знаем, когда она приедет. Ходили каждый день к шанхайскому поезду. Поскольку он всякий раз опаздывал, то времени было предостаточно. Прогуливались по перрону и на задние пути ходили — потому как скучно целый час по одной платформе топать.

— Это хорошая легенда, — признал Яков. — А кто вас приметил? Полицейский?

— Этим как раз все безразлично. Они как наши копы: ждут, когда за ними придут, а не ищут себе приключений на голову. Военные патрули были, но мы не производим впечатление злоумышленников, а с американскими паспортами можно вокруг любой базы ходить… Дежурный по станции нас разглядел: назвал нас по-китайски, — и Марк выговорил тут нечто гортанное и трудно произносимое.

— Что это означает?

— Шанхайская парочка. А если чуть-чуть в другом ключе

выговорить, тоном повыше, то ключ с замком, — и Марк огласил вторую версию своей легенды, произнеся ее немного иначе. — Занятный язык. Все зависит от того, говоришь ли в ты нос или в глотку.

— А это откуда вы узнали? Перевод, я имею в виду, и лингвистические тонкости. — Яков тоже был дотошен в установлении истины. — И как запомнили эту ахинею? — Сам он был не в состоянии воспроизвести ни одного китайского звука.

— Запомнили. Повторяли вслух, пока до гостиницы шли. А там портье с университетским образованием. И с очень приличным английским.

— Вот его-то и надо было в первую очередь остерегаться, — поучительно сказал Яков. — Не люблю дорогих гостиниц: в них всегда есть осведомители. Лучше уж дешевые номера с клопами и тараканами.

— Брр! — сказал Марк. — На это я не пойду даже ради революции.

— Припрет, пойдете. Всякие бывают ситуации. — Яков вспомнил тут о собственном положении и об Элли, ждавшей его дома, но у всякого разговора есть своя логика и инерция, а этих ребят нельзя было оставлять одних — вся предварительная работа пошла бы насмарку. — Словом, вы неплохо справились с заданием, — подытожил он. — Теперь, прежде чем окончательно принять вас в наши ряды и представить вас, пока заочно, командованию, я бы хотел расспросить вас о прошлом. В общих чертах оно нам известно, но мы бы хотели узнать некоторые подробности… — Марк тут изготовился отвечать, а Эдвин осекся, и лицо его вытянулось, будто ему было что скрывать и он был не вполне готов к такому расспросу. — Вы ведь оба из хороших семей? — продолжал благожелательный Яков, не замечая этих нюансов. — Так называемых хороших, потому что для нас нет ничего лучше настоящего пролетарского происхождения.

— Марк был с этим согласен: он давно отрекся от родителей, да и Эдвин ободрился, узнав, что ветер дует не с той стороны, какой он опасался. — Как все-таки вы вышли на верный путь? Как произошел поворот? Мне и самому это интересно. Общие закономерности я знаю, но каждый случай индивидуален. Давайте начнем с вас, Марк. Родители были, наверно, против вашего решения? Или это произошло тогда, когда они не имели уже на вас большого влияния?..

Что-то жесткое проглянуло в лице Марка, до того беспечном и покладистом.

— Они на меня никогда большого влияния не имели, — против обыкновения кратко и почти недружелюбно сказал он.

— Вы были самостоятельны?

— Да нет. Просто им было все равно, что со мной и с моим братом. Оба были заняты собственными проблемами.

— Финансового свойства?

— Всякого. — Марк поглядел внушительно, и на его лице прорезалась жесткая складка. — Жили-то мы как раз обеспеченно. Просто не думали они о нас — и все тут. В доме было всегда полно гостей — не дом, а проходной двор.

— Вы, наверно, дружили со старшим?

— Еще того меньше. Объединялись против родителей, это да, а между собой дрались как заклятые враги. Он вечно меня задевал: был старше, но я ему тоже не спускал. Сейчас он помощник прокурора. Всегда был такой: искал, кому б ножку подставить.

— Не скажешь, глядя на вас, что у вас такое детство.

— Потому что я веселый? Это видимость — и то благодаря Эдвину: он мне и друг и брат и родственник.

— Он вас и к марксистской идее подвел? — Внимание Якова переключилось на его товарища, который снова застеснялся и стушевался. — Вместе учились?

— Снимали вместе квартиру, — сказал Марк, потому что Эдвин по-прежнему не хотел отвечать ни за себя, ни за друга. — Оба приехали учиться в Кливленд.

— Вами тоже родители не занимались? — спросил Яков Эдвина и подумал тут о том, что было у него самого дома. Ему вспомнилась сосредоточенная и рассеянная мать, писавшая романы и прятавшая их на полках книжного шкафа (она их не то что в издательства не носила, но и читать никому не давала), и отец, вечно занятый синагогой — да и чем еще раввину заниматься? Но Янкеля никто не обижал, он не чувствовал ни избытка, ни недостатка внимания к своей особе. Уже маленьким он чувствовал себя призванным свыше и в пять лет вел занятия с детьми бедных в хедере: такие, как он, довольствуются собой и не нуждаются в чьем-либо одобрении и поощрении.

Эдвин вынужден был наконец разжать рот:

— Почему? Напротив, только и делали, что опекали меня. Я у них один, и они только мной и дышали. Гостей у нас не было.

— Кем они были?

— Отец, вы имеете в виду? Санитарный врач. Отвечал за чистоту воздуха в Детройте. Чиновник, иначе говоря.

— Вы с ними порвали?

— Почему? — удивился тот. — Регулярно переписываюсь.

— Надеюсь, не все им пишете? Про кантонскую поездку ни звука?

— Написал, что съездили в Кантон и посмотрели город. Что в этом запретного?

— Ничего, конечно. — Яков усмехнулся. — Но писать лучше не надо, — и глянул выразительно. — Может, придется много ездить, и тогда разъезды могут показаться подозрительны.

— Моим родителям ничто во мне никогда не покажется подозрительным.

— Другие могут заинтересоваться… Но я сейчас не об этом. Как вы подошли к марксизму? Пока что я не вижу связи. Марком родители не занимались, вас чересчур опекали…

— Именно поэтому. Слишком оберегали от реальности. И слишком учили правде и справедливости. Я рос взаперти: боялись лишний раз на улицу выпустить — вот я и оказался в конце концов совершенно не приготовленным к действительности. Мир показался мне чересчур несправедливым.

— Вы сейчас так не считаете?

— Почему? Так же отношусь, но много спокойнее. И тогда бы, наверно, так отнесся, если б меня к этому подготовили. Я не знал, например, сколько стоит булка хлеба и кто сколько зарабатывает. Самое мое большое впечатление первого года учебы в Кливленде было то, что уборщица мыла полы в мужском нижнем белье.

— И вы разглядели это?

— Она нагнулась, а я увидел. Даже спросил ее об этом.

— И она что?

— А что было, говорит, то и надела. Не напасешься на всех разное покупать: не те у нас деньги. Мне это показалось верхом несправедливости. С этого все и началось. Начал читать Маркса, потом Ленина.

— Что именно?

— «Капитал», а у Ленина «Государство и революцию» и многое другое.

— Вы тоже это читали? — Яков повернулся к Марку.

— Нет. Он мне пересказывает. Я ему на слово верю. Я сам не по этой части. Мне чтение противопоказано, я люблю дело.

— Стало быть, вы хорошо дополняете друг друга. — Яков поглядел на обоих с явной симпатией. — И женаты оба не были? Своих семей не имели? Это второй, после родительской семьи, барьер на пути всякого революционера. Если, конечно, подруга не разделяет ваши идеалы.

Эдвин тут опустил голову, и Марк снова перенял нить разговора.

— Нет. Я по продажным девкам шлялся — это хорошо от женщин отвращает, а Эдвин был как красная девица: от всех отворачивался, хотя на него многие глаза пялили. Скромник и

тихоня, каких мало. Но когда речь идет о принципах, железный человек. Я из-за него и поперся на этот край света! — Марк ткнул приятеля в бок и весело засмеялся.

— Слова не должны расходиться с делом, — сказал Эдвин. — Мы должны поступать в соответствии с нашими принципами. Так меня во всяком случае учили родители. Даже если оказываемся не правы.

— А мы правы, — сказал Яков. — Вернее, прав марксизм, в который мы верим. И все решает соотношение сил, а оно в нашу пользу…

Это была заключительная фраза в экзамене, прошедшем успешно для американцев: Яков остался ими доволен и думал уже над тем, как пристроить их к делу. Но пока что надо было решать, что делать самому. Было поздно. Идти домой по ночному Шанхаю с чужими паспортами в кармане было опасно. Он хотел позвонить Элли из расположенного рядом кафе, но каким-то образом рассеялся, забылся и вернулся в мыслях к понравившимся ему американцам. У них шло приготовление к ночлегу. Молодые люди думали уступить ему двуспальную кровать, а самим расположиться на диване: это было как на свадьбе бедняка, где богатому почетному гостю готовы уступить ложе новобрачных. Яков отругал их за непролетарские замашки, устроился на диване и через минуту заснул: он умел засыпать на полуслове и гордился этой своей способностью — а те долго еще совещались в соседней спальне и обсуждали свой прием в ряды мирового революционного рабочего движения.

После американцев, наутро, Якову точно уж следовало идти домой, чтоб успокоить тревожливую Элли (он все не мог никак назвать ее про себя женою) и привести себя в порядок после проведенной не дома ночи. Но у него на этот день была намечена еще одна встреча, а он не любил откладывать дела: они оседали тяжким грузом в его сознании, сбивали настрой его внутренних часов, отяжеляли их быстрые стрелки, двигавшиеся с точностью хорошего швейцарского механизма. Со временем у Якова были свои счеты: оно если не подчинялось, то сочувствовало ему и тесно с ним сотрудничало — он мог, например, заказать себе сон в течение двенадцати с половиной минут и проснуться в точно назначенное время, словно у него была прямая связь с космическим маятником. Дело было еще и в доверительном характере поручения, от которого нельзя было отмахнуться, — впрочем, все задания и дела Якова были такого свойства и одно нанизывалось на другое, как шашлыки на острие шампура…

Дело было таково. Один из коминтерновцев начал вызывать у руководства определенные и, по мнению наверху, законные

опасения — Якову как человеку строгому и требовательному дали поручение прозондировать почву и высказать свое суждение в письменном виде. Товарищ этот, Арнольд Ваксман, был выходец из Польши и работал под прикрытием русской фирмы, испокон веку торгующей в Китае сельскохозяйственной техникой. Она осталась с царских времен и теперь вела как бы независимое от бывшей метрополии существование, но на деле широко ею использовалась: советских как раз устраивала эта мнимая автономия. Управлял фирмой — с царских же времен — некто Поляков, человек проницательный, умный, оборотистый, вросший корнями в благодатную, жирно унавоженную китайскую почву и бывший своим в здешнем высшем обществе, которое есть везде и повсюду одинаково. Он быстро вычислил выгоду, которую можно было извлечь из почти бесплатно представляемых ему на реализацию тракторов советского производства, и, продолжая вести прежний светский образ жизни и ни во что не вмешиваясь, согласился смотреть сквозь пальцы на некоторые делишки, творившиеся в его конторе и от его имени, а также на нескольких новых сотрудников, имевших не крючковатую спину клерков, а плохо гнущуюся — недавних офицеров. Для большей надежности и для удобства совершения сделок ему еще и предложили в зятья кого-нибудь из образованных, знающих языки молодых людей спортивного вида: у него была дочь на позднем выданье. Это уже его задело — он пробурчал ведущим с ним переговоры представителям разведки, что завещание свое он оформил на жену и что таким образом они компанию не заполучат. На это ему объявили с превеликой почтительностью, что им нужен именно он с его связями в Китае, что они желают ему многих лет здравствования и просто хотят оградить его от личного участия в делах, могущих повредить его репутации: ими будет ведать зять, который займет место руководителя отдела или филиала учреждения. Поляков подумал, подумал, взвесил все за и против, учел, в частности, скверный характер своей Любы, которая не была создана для замужества, решил, что именно такой, фиктивный, брак ей единственно и подходит, — и согласился, поставив единственным условием, чтоб соискатель дочери был евреем: не то вера отцов взыграла в нем, не то требования еврейской общины Шанхая: хоть она и была мала, но ее мнением пренебрегать не следовало. Представители разведки переглянулись, сказали: «Нет ничего проще», и на следующий же день Ваксман стучался в двери местного богача — свататься. Теперь у руководителей Коминтерна возникли опасения, что он слишком близко к сердцу принимает интересы компании, чересчур много разъезжает по стране, навязывая малоземельным

китайцам ненужные им трактора, несоразмеримые с их крохотными участками, напрасно предлагает им сорганизоваться в кооперативы с совместным использованием техники и забывает для этого другие, истинные свои, обязанности. Яков должен был посетить его на дому, проверить состояние дел и вынести свой приговор: его мнением в таких случаях дорожили — он обладал чутьем на людей и умел отсеять зерно от плевела.

Арнольд сам назначил ему время, поэтому он и пришел к нему в этот день, и то, что его не было на месте, показалось ему плохим предзнаменованием: он не любил, когда его подводили таким образом, и не верил причинам, будто бы помешавшим прибыть вовремя. В апартаментах, которые молодая чета снимала в фешенебельной части города, на улице королевы Виктории, кроме Любы, супруги Арнольда, тридцатипятилетней глазастой и губастой женщины, начинавшей глядеть зло и неприветливо всякий раз, когда речь заходила о ее муже, был еще отец, которому Арнольд, видно, тоже назначил свидание, но часом раньше: чтоб покончить со всеми неприятностями разом. Поляков был неприметный, деликатный на вид пожилой человек, в котором никак нельзя было заподозрить преуспевающего дельца, одну из акул местного капитализма. Яков не был с ним знаком, и это позволило ему выдать себя за человека, собирающего средства в пользу жителей южного Китая, который недавно перенес сильное наводнение.

— Он обещал мне крупную сумму, — виновато оправдался он, усаживаясь без разрешения в гостевое кресло и оглядываясь в поисках впечатлений, из которых должно было составиться его будущее мнение.

— Садитесь, раз большую, — с запозданием и из приличия сказал Поляков, недоверчиво его оглядывая. — Что-то не похожи вы на человека, собирающего деньги в пользу утопающих китайцев.

— Я из Международного Красного Креста, — объяснил Яков. — Хотите, покажу документы? — Бумаг у него не было, но он знал, что в обществе, где вращался Поляков, проверять их не принято: там было много аферистов разного рода, которые все были снабжены наивернейшими и подозрительно новыми документами.

— Обойдемся без этого, — сказал Поляков. — Документы — это то, что как раз легче всего надыбать. Вот деньги — другое дело. Так где же он? — снова обратился он к дочери — на этот раз, чтоб ввести в курс дела гостя и поскорей от него избавиться.

— Кто б самой сказал! — взорвалась злая красавица Люба: будто отец в первый раз спрашивал ее об этом. — Уехал в Тонкин

торговать комбикормом — и ни слуху ни духу! В борделях, небось, завис! Чего только там не предлагают! Никакого воображения не хватит…

Стыдливый Яков потупился здесь с ироническим видом, а правоверный отец возроптал и вступился за отсутствующего зятя:

— Погоди. Почему так сразу?.. И зачем это посторонним? — выговорил он ей, после чего снова недоверчиво покосился на не думавшего уходить гостя. — Особенно из Армии спасения.

— Пусть его и спасает — ему больше всех это надо. — Яркая и чувственная Люба обратила наконец внимание на терпеливо сидевшего в кресле и ждущего денег посетителя: будто отец именно этого от нее и добивался. — Что он — про шанхайские бордели не слышал? — прибавила она — в надежде на то, что гость и в самом деле не новичок в таких делах: время делало свое дело и курчавый, рослый, с сильными руками, несомненно еврейского происхождения, молодой человек успел ей понравиться. — Я вам заплачу, — прибавила она Якову. — Если этот подонок не явится…

Не известно, чем бы все кончилось, если бы их общее ожидание не было прервано появлением китайчонка-письмоноши, принесшего, как в спектакле, письмо от пропавшего зятя. Поляков взял конверт и мельком на него глянул.

— Это от него. Хоть что-то. Самого, видно, не скоро увидим. Дай ему что-нибудь, — сказал он дочери, поскольку число желающих разбогатеть увеличилось за счет разносчика писем, ждущего своей доли счастья.

— Это я сначала посмотрю, что он пишет! — отрезала она, не думая ни в чем уступать мужу, взяла письмо, проглядела его сначала молча, потом стала читать вслух, с особым удовольствием выделяя оскорбительные для себя места и грубости: будто приводила доказательства в ходе бракоразводного процесса. Отец сунул монету мальчишке, велел ему удалиться, а Люба продолжила чтение:

— «Моя несравненная и неоценимая, — с явным сарказмом писал ей муж. — Я задерживаюсь — но не потому, что залег, как ты испорченными мозгами своими решила, в кантонских борделях: мне нечего делать в этих пристанищах для слабоумных, я слишком берегу наши общие с тобой деньги — а потому, что не смог продать комбикорм, который застрял на складах и начинает в эту жару тухнуть. Я прихожу к выводу, что китайцам можно всучить только то, чего они в глаза не видели и о чем не имеют ни малейшего представления: трактора, комбайны, полотенцесушилки, почтовые ящики — а там, где им кажется, что они что-то знают, тут их не переучишь. Комбикорма им не нужны

и даром. Хорошо наткнулся на немецкую сельскохозяйственную колонию: эти сразу за него ухватились и закупили все что есть и что привезу еще, — лишь бы не они доставляли: этим чем меньше хлопот, тем лучше. И денег у них куры не клюют — платят по высшей планке. Теперь надо только выбраться отсюда: это от Тонкина верст сто, но не знаю, в каком направлении, — надо ждать их машины, потому что другого сообщения нет и не предвидится. Это письмецо согласился взять с собой и отправить по почте местный летчик — у них и аэродром свой есть, но меня и на него-то не пустили, не то что на борт их кукурузника. Вообще вид у них у всех здесь такой, будто свиньями они занимаются для маскировки, а что у них на уме, одному Богу известно. Впрочем, зачем я все это тебе рассказываю?..»

— Действительно, зачем? — переспросил озадаченный Поляков и поглядел на Якова, потом, вопросительно, на дочку. — Это нас с тобой не касается…

— Просто зубы заговаривает! — завела свою песню несгибаемая, непреклонная Люба, которую не так просто было заморочить и склонить на свою сторону. — Не знает, как себя выгородить. Послушайте дальше! — И продолжила с особенным чувством: — «Я бы, дура ты этакая, все это по телефону тебе из Тонкина сказал, но ты ведь слова не даешь сказать, затыкаешь мне рот дрянью, о которой и говорить на людях неудобно — не то что кричать на всю улицу: чтоб тебя переоорать и до твоего уха дорваться. Если б ты знала, как мне все это надоело. Ездить по Китаю, продавать — кому сказать только — немцам корма для китайских хряков: вавилонское столпотворение, а не жизнь — не знаешь, какому Богу молиться. Хотелось бы уехать с тобой в какую-нибудь уютненькую Голландию и жить там и никого не видеть — кроме голландцев — или кто там еще живет, в этой Голландии?..»

— Это он плохое место выбрал, — вмешался в чтение отец и глянул многозначительно. — С плохими соседями. Выбирать надо соседей, а не место. Пусть здесь крутится. Китайцы как хозяева хороши: ненавязчивы. Правда, и у них соседи так себе… А с немецкой колонией он хорошо придумал: с немцами можно дело иметь — когда они не у себя дома…

Яков поднялся со своего места: он узнал все, что ему хотелось.

— Куда же вы?! — воскликнула с разочарованием Люба, сильно на него рассчитывавшая. — Я же вам денег не дала!.. — Но Яков оставил без внимания и этот сильнейший из аргументов — рассеянно попрощался с обоими и поспешил к выходу: вспомнил, что ему почти не осталось времени для еще одной

встречи, может быть, более важной, чем все прежние, вместе взятые.

— Кто это? — спросила Люба отца.

— А я знаю? Может, из шанхайской контрразведки, может, из Коминтерна. Ничего страшного: у меня и здесь и там свои люди. Но болтать лишнее ни при ком не следует. И сожги это письмо: оно мне не нравится. Немцев еще не хватало на нашу голову. Наверно, тоже какая-нибудь шпионская колония…

8

Яков успел подумать еще о том, что нужно написать два отчета: теплый и сердечный — об американцах и осторожно-неприязненный — о родственниках Ваксмана и о нем самом, и сделать это по возможности скорее: пока воспоминания свежи и просятся на бумагу. Но на большее его не хватило: надо было срочно перестраиваться на встречу с Ло — ту самую, которая могла быть посущественнее всех прочих. Ло ждал его на углу некой двузначной и трехзначной улицы Шанхая: свидание назначили в ближней к порту китайской части города, где улиц, узких и извилистых, было так много и они были так грязны и неприглядны, что не удостаивались особого имени: любое могло бы посчитать за обиду, если б им назвали эти тупики и отстойники. Обычно старались встретиться с агентом в европейском сеттльменте, где иностранцы пользовались правом экстерриториальности и куда китайская полиция не имела доступа, но в этот раз экономили деньги и время: Ло ехал к Якову из порта на рикше и заломил бы за поездку неслыханную сумму.

Яков терпеть не мог этого человека — на его взгляд совершенно ненадежного и вероломного, но Ло угодил в гущу событий и от него поневоле зависело многое. Он возвращался из Ханькоу, где должен был узнать последние новости о Лю и приготовить переезд его семьи в Шанхай для последующей пересылки в более безопасные западные районы.

Что перед этим произошло, Яков знать не мог, и незнание это оказалось роковым для них обоих. Пароход от Ханькоу до Шанхая шел по Янцзы немногим меньше ночи. Господин Лю поднялся на него с семьей, но к концу перехода в каюте осталась одна госпожа Лю и ее дети; муж ускользнул от слежки, которая велась за ним на борту парохода отряженными для этого детективами: видимо, выбрался в окно и потом — за борт. Детективы бросились на его поиски, о госпоже Лю забыли и ее бы упустили, — если бы она, боясь, что ее не найдут те, кто должен был ее встретить, не назвала стюарду, который показался ей человеком надежным и неразговорчивым, гостиницу, в которой намерена остановиться. Стюард и в самом деле был человек скромный и немногословный, но больше всего на свете боялся потерять работу, он се рассказал шанхайским сыщикам — те напали через него на след госпожи, проверили его и обнаружили в отеле пропавшую мадам Лю с ее выводком. После этого в номере напротив поселились агенты из руководимого англичанами отряда, состоявшего из европейцев-наемников: когда речь шла о поимке важной китайской персоны,

англичане предпочитали действовать самостоятельно, боясь, что местная полиция, намеренно или по оплошности, даст злоумышленнику уйти через свои чересчур широко расставленные руки.

Днем госпожу Лю посетил ее соотечественник, которого детективы (там были швед, чех и американский негр), руководствуясь имевшейся у них фотографией, приняли за господина Лю, ее мужа. Это был Ло — он вернулся из Ханькоу предыдущим рейсом, пробыл в номере госпожи около часу, о чем-то говорил с нею — о чем, установить детективы не смогли, затем оставил гостиницу и взял рикшу. Сыщики пошли за ним следом, уверенные, что он и есть главный разыскиваемый преступник.

Между тем Ло, сидя за спиной рикши, против обыкновения не торопил и не толкал его в спину, а едва ли не тормозил его бег, пребывая в сомнениях и терзаясь неизвестностью. В Ханькоу он узнал, что арестовали его брата, через которого он был связан с Компартией и, стало быть — с Яковом, которому был придан как бы в услужение. Не будь брата, он никогда бы не ввязался в эту авантюру, да его бы туда и не позвали — теперь это родство утрачивало свои сомнительные выгоды и становилось опасным: семейные узы в Китае сильны во всех отношениях — задержание одного члена семьи могло привести к слежке за родственниками. Ло могли и арестовать — только для того, чтоб разобраться во всем на досуге и без спешки. К тому же его брат при аресте выдал себя за господина Лю: сделал это, видимо, по наущению руководства, чтобы запутать следствие и дать настоящему Лю уйти от погони. Новое братство совсем уже не устраивало Ло — для него было самое время явиться в полицию с повинной, признаться в чем-то несущественном, выдать кого-нибудь и продаться подороже — но так, чтоб не поставить под удар ни себя, ни брата. Вопрос заключался в том, что можно было говорить и о чем — молчать до упора. О сдаче Лю нельзя было и помыслить — после этого из страны надо было бы бежать сломя голову; можно было выдать мелкую рыбешку, не связанную с тузами партии, но главное — сдать полиции Якова, который должен был особенно ее интересовать, но за которого в Китае никто не будет мстить и требовать с Ло ответа. Но прежде надо было вывезти из Шанхая проклятую госпожу Лю, которая висела у всех на шее камнем и слишком много болтала: видно, успела побывать в высшем обществе, где говорят обо всем и без оглядки, полагая, что в любом случае останутся целы и невредимы.

В кармане у него был адрес, где ее должны были временно устроить до отправки далее. Он не был профессионалом и не надеялся на память, ослабленную вином и прочими

излишествами, а адрес был в китайской части города и напоминал собой магическую формулу. С госпожой Лю сейчас были Вонг и Ванг: они готовились вывезти ее из отеля — Ло же должен был заехать к усатому иностранцу, взять у него побольше денег и покатить дальше, по жгущему его карман адресу, чтоб подготовить там прием беженцев. Устроив госпожу Лю, уже на досуге и в покое, он должен будет хорошенько подумать над тем, что ему предпринять в ближайшие часы и дни, — может быть, посоветоваться об этом с верной приятельницей, с которой любил обсуждать свои планы, потому что она мечтала уехать с ним и оставить свое постыдное занятие. Решив таким образом, он уже приготовился ткнуть в широкую спину возчика тростью, лежащей в коляске и предназначенной именно для этой цели, когда преследователи, которые до этого его не беспокоили (чтобы увести подальше от гостиницы), а теперь увидели, что он нацелился на быструю езду, окликнули его. Но назвали они его господином Лю, и Ло сразу понял, что это означает: на него вышли как на брата арестованного, и такая путаница его никак не устраивала и не сулила ему ничего хорошего. Он выскочил из коляски, бросился бежать и на ходу проглотил бумажку с адресом: постарался сделать это незаметно, но сыщики увидели — поспешили к нему, скрутили, но записка была уже в желудке, и он был рад этому: не хватало еще, чтоб они устроили засаду по указанному в ней адресу.

Уничтожение улик сильно повредило ему в глазах его поимщиков: они настроились враждебно и отныне каждое его слово и предложение встречали с сарказмом и юмором тюремщиков, который располагается где-то между юмором гробовщиков и висельников: они были уверены, что он каждым словом своим вводит их в заблуждение. Его отвели в ближайший участок — здесь он в категорической форме потребовал к себе старшего офицера для дачи важных показаний в обмен на гарантию неприкосновенности или хотя бы снисходительности к нему в будущем. Важное лицо из Коминтерна, сказал он, готовит вооруженный заговор против Китайской республики, и он может помочь в его разоблачении, если ему дадут такую возможность, — по времени разговор этот происходил как раз тогда, когда Яков входил в поляковские апартаменты.

— Что ж ты бумагу-то проглотил? — спросили его на ломаном китайском: все европейские детективы начинали говорить на здешнем языке, но никто, за малым исключением, не шел дальше невнятного лепета. — Если хочешь сотрудничать?

— Бумагу — так, от испуга. Там ничего не было. Страничка из дневника, ничего больше. Что вы со мной по-китайски

говорите? Я и по-английски могу.

— Скажешь потом, что не понял.

— Я скорее ваш китайский не пойму, чем английский.

— Все равно скажешь. Народ вы ушлый. Что ж там написано было? В дневнике твоем.

— Адрес публичного дома.

— Боялся, что в газету попадет?

— Нет, что вы туда нагрянете и всех арестуете. Там моя девочка.

— С каких это пор публичные дома запрещены стали?

— Он особенный. Там не все разрешается. Так как с иностранцем? Настоящий шпион — вам за него спасибо скажут.

— Никто нам ничего не скажет… Это твой родственник? — ему показали фотографию господина Лю.

— Нет. Не знаю вообще, кто это.

— А это? — На этот раз была фотография его брата.

— Этого знаю. Мой брат.

— Да? Кто ж из вас настоящий господин Лю?

— Не знаю. Не я — точно. И не брат мой.

— Темнишь все?.. Но что-то ты и в самом деле знаешь… С иностранцем начальники решать будут: сейчас прикатят. А пока в наручниках посиди. Пока еще что-нибудь не сожрал…

Начальники — двое англичан в темно-зеленых мундирах, перепоясанных портупеями, — тоже ни одному слову Ло не поверили, но к его желанию выдать иностранца отнеслись с большим пониманием: им уже встречались подобные торги. Узнав время и место явки, они послали туда четверых дюжих парней скандинавского типа (из которых скандинавом был только швед, оставшийся на вторую смену, а остальные лишь казались северянами, а на деле были людьми самого разного и темного происхождения, о котором знала только служба набора, снабжавшая их паспортами и обмундированием).

Яков подошел к перекрестку улиц, на котором должна была состояться встреча с Ло, и привычно огляделся: это было последнее, но далеко не первое подобное свидание в его кочевой жизни. Все было как обычно, ничто не предвещало западни, расставленной ему его собратьями-европейцами. Он задержался на стороне, где тротуар был шире и перспектива обзора лучше, задумался еще раз, в последний, над всем происходящим и дал зарок выйти из этой игры, становящейся чересчур опасной для него и для его окружения. На улице, как всегда в Шанхае, была людная толчея — он поэтому не сразу заметил трех возвышающихся над толпой молодцов: они подошли к нему с разных сторон, но, увидев одного, Яков тут же разглядел рядом и

второго и третьего: так они были похожи друг на друга. Они тоже увидели, что он их заметил, и не стали терять времени даром: двое вцепились в его руки, а третий стал перед ним, ловя каждое его движение. Они хотели произвести арест как можно тише: Яков был иностранцем, пользовавшимся в Китае льготами, и им не хотелось унижать в глазах населения свою братию. Яков невольно перевел взгляд на противоположную сторону улицы: словно там таилась загадка его ареста, — и действительно увидел Ло, только что вышедшего из лавки в сопровождении четвертого охранника, тоже державшего его за руки. Ло глядел на него с деланым сочувствием (потому что без лицемерия в китайском этикете вам и в лицо не плюнут) и с явным, хотя и скрываемым, злорадством, словно ему было приятно находиться сейчас не одному в подобном сопровождении, — или же он вдруг почувствовал себя патриотом и был рад поимке шпиона-иностранца. Якову стало ясно, кто его выдал, но это не слишком его обеспокоило, он даже иронически усмехнулся: Ло мало знал из того, что могло бы лечь потом в основу обвинительного заключения. Но в следующую минуту Яков вспомнил о паспортах, лежавших в его кармане, и тут его словно пронзила молния. Неистовство овладело им в эту минуту: он должен был винить во всем себя и никого больше — а для него, привыкшего к безупречной, незапятнанной репутации, это было всего несноснее. Он был сильным человеком, руки его гнули толстый металл, а охватившее его бешенство удвоило эту силу — он оказал противникам бессмысленное сопротивление. Посреди мирного шанхайского перекрестка завязалась жестокая драка — рукопашная мельница, из которой то и дело выскакивали мужские кулаки и ноги. Прохожие бросились врассыпную, но в конце концов возмутителя спокойствия связали и укротили, приложив к тому немалые усилия и не оставшись без вознаграждения. Драка была ненужной: нападающих было трое, они тоже были неслабого десятка и затаили на Якова зло, обещая вернуть ему долг в более подходящих для этого обстоятельствах.

Подъехала машина, в которой Яков получил еще несколько тайных тычков в бока и в солнечное сплетение, но в конце концов был доставлен в полицейский участок, благо он был рядом. Здесь он упрямо молчал и пренебрежительно, сводя в одну линию и без того сросшиеся на переносице кустистые брови, следил за тем, как сыщики перебирают и переминают каждый сантиметр его одежды — для этой работы они оставили его в исподнем. Четыре иностранных паспорта придали им резвости и воодушевления: они решили, что напали на крупную птицу, и даже простили ему сопротивление при аресте: ему было что защищать и отстаивать. Он был внутренне готов к этому разоблачению, которое, несмотря

на сенсационность, ничем особенным ему не грозило: лишь узаконивало его задержание — и даже следил за происходящим без большого интереса. Еще один человек: из присоединившихся позже к группе захвата — невысокий, худой, почти щуплый офицер, учтивый на вид и несколько рассеянный, которого все звали Сержем, тоже не придал, кажется, большого значения чрезвычайной находке, но продолжал методично заниматься одеждой — тогда как остальные, все побросав, набросились на злополучные документы. Этого офицера ждали, без него не начинали обыск, но он, присоединившись к остальным, не начальствовал, не руководил их действиями, а напротив, старался оставаться в тени, словно не чувствовал себя хозяином положения. Фамилия его была Прокофьев, он пришел к англичанам из распущенной Белой армии, был прикомандирован к особому отделу и привлекался к работе всякий раз, когда задерживали нелегала, подозрительного на принадлежность к советской разведке, — иначе говоря, едва ли не всякого нелегала, потому что традиционные разведки предпочитали в странах, подобных Китаю, легальные прикрытия и редко когда прибегали к помощи тайных суперагентов. Там считали, что дела здесь решаются сверху, подкупом нужных людей и ключевых фигур в правительстве, а для этого достаточны дипломаты, журналисты и другие официальные представители, — лишь революционная Россия стремилась влезть в гущу событий, вербовала сторонников во всех слоях общества и готовила почву для советской власти: для этого услуг подкупленных чиновников и журналистов было недостаточно. Говорил Прокофьев на безупречном, но не родном ему английском. Яков понял, что он русский, что происхождение его если не установлено, то заподозрено и что этот Серж будет ключевой фигурой следствия. Старания Прокофьева не прошли даром: он нашел, кажется, что искал. В одном из задних карманов большого френча, снабженного огромным количеством карманов: нагрудных, задних, потайных и прочих, — за что и любил его Яков: этот френч был как бы переносное бюро с множеством отделов и секций — в самом нижнем и труднодоступном кармашке Прокофьев нашел сложенный листок, о существовании которого Яков забыл, но который стоил четырех паспортов, вместе взятых. То, что он обнаружил, был мятый, стертый на сгибах, исписанный неловкой рукой черновой список лиц, за которыми осуществлялась полицейская слежка — и не кем иным, как той самой службой безопасности, к которой принадлежал по найму и сам Прокофьев, — только не головным ее учреждением, а одним из филиалов, работающих под вывеской частного бюро, но руководимых английскими офицерами. Яков вздохнул, увидев

листок в его руках, а Прокофьев поймал его взгляд и напрягся, сохраняя на лице бесстрастное выражение.

— Это ваше? — как бы невзначай по-русски спросил он, но Яков, естественно, не моргнул в ответ и глазом. — А какими языками вы владеете? — спросил Прокофьев уже по-английски.

— Английским и немецким. Немного шведским, — добавил Яков, подпуская тумана. — Но больше я ничего говорить не буду, поскольку протестую против незаконного и насильственного задержания.

— Скажи что-нибудь по-шведски, — попросил Прокофьев высокорослого соседа-блондина. Тот сказал на своем языке «Доброе утро, приветствуем вас в нашем доме», Прокофьев попросил арестованного перевести — Яков пренебрежительно отмолчался. Тогда Прокофьев сказал, уже по-русски, нечто оскорбительное и угрожающее: обратился с этим к шведу, а сам скосил глаза на Якова, изучая движения его лица, заволоченного тучами. Яков снова бровью не повел, но лицо его словно окаменело — из этого Прокофьев вывел, что русский он все-таки знает и по-видимому не так уж плохо. Яков и это понял и посмотрел на него в эту минуту особенно дерзко, почти нагло — Прокофьев первый отвел глаза в сторону. Сделал он это не потому, что не выдержал дуэли, а потому, что она напомнила ему прежние, старые бои в его отечестве и преисполнила его душу гневом, желчью и яростью. Его соперника нельзя было недооценивать: в его взгляде скрывалась угроза. В России у Прокофьева остались родственники: не родители, которые они рано скончались, и не своя семья, так как он не успел жениться, а многочисленные дядья и тетки, особенно дорогие его сердцу, потому что ближе никого не было. Можно было оставить все как есть, устраниться от дела, предоставить англичанам и китайцам эту крупную птицу, случайно угодившую в их сети, но Прокофьев не мог на это пойти. Всякая классовая борьба, учат классики марксизма, имеет свою логику, и заключается она в конечном поголовном изничтожении всех ее участников, на что те идут вполне сознательно, хоть и знают наперед, чем все кончится.

Прокофьев положил драгоценную бумажку в планшет и предоставил сотрудникам довершать обыск и доискиваться того, что, возможно, прошло еще незамеченным, а сам направился в штаб-квартиру своего управления: будить дежурного и настаивать на срочной встрече с генералом, которому нужно было еще втолковать важность происходящего. Его новые руководители не отличались гибкостью ума, откровенно позевывали при разговорах о деле и предпочитали обсуждать давние охоты: будто жили не в охваченном гражданской войной Китае, а где-нибудь в

Индии, двести лет назад ими покоренной и приведенной в состояние бездействия и безмолвия.

Якова, которому пока так и не отдали брюк галифе и френча, словно они с их содержимым должны были предстать в качестве доказательств на судебном процессе, отвели в одну из многочисленных тесных клетушек, из которых, как из пчелиных сотов, состоял полицейский участок. В европейской части города было бы чище и уютнее. Здесь стены были дощатыми, ложа для задержанных — каменными: плиты были положены на голую землю, и спать без верхней одежды, которую можно было бы постелить вместо матраса, было рискованно. В довершение всех бед его, памятуя об оказанном им сопротивлении, приковали к торчащему из стены кольцу, которое в недавнем прошлом соединялось цепью с кандалами, ныне упраздненными. Наручники были не лучше, а, наверно, хуже ножных оков, поскольку не давали ни лечь, ни повернуться. Но Яков и не думал растягиваться на этом неудобном ложе: он уселся, уперся спиной в теплые доски и приготовился ко сну сидя — ему после гражданской войны в Туркестане, с ее походной жизнью, это ничего не стоило.

«Надо будет придумать что-нибудь с этими проклятыми паспортами, — сказал он себе. — Представляю себе, что говорят сейчас об этом в Управлении или, не дай бог, выше: если наши побоятся скрыть это от начальства. Надо будет подумать…» — и с этим почти вслух произнесенным заклинанием он уселся с поднятой вверх рукой: будто давал какой-то зарок или клятву, отпустил себе четыре часа сна — с тем, чтоб утром найти какой-нибудь хитрый ход, и в следующую минуту заснул: будто происходило это не в шанхайском околотке, а дома, возле дождавшейся его наконец супруги…

На этот раз он спал меньше назначенного срока. Напряженная работа мысли совершалась в нем и во сне и, закончившись, будила звоном своего будильника. Проснувшись, он ясно представил себе линию поведения на допросах. Он, конечно же, не назовет себя и сделает все возможное, чтоб отдалить во времени установление личности: любой, даже поверхностный обыск в квартире на маршала Жоффра найдет (если к этому времени не успеют вывезти или уничтожить компрометирующие его документы) улики не для одного, а для двух и трех смертных приговоров — так много там хранилось в сейфе лишнего. Его товарищи, конечно, позаботятся об этом в первую очередь, но такие вещи на месте не решаются: нужно запрашивать Москву и ждать ответа — эта тревожная нота и разбудила Якова, все остальное терпело отсрочку. Он решил

заняться тем, что было в его силах. Надо было отвести удар от консульства. Он объявит, что пришел туда и выкрал эти злополучные паспорта. Особенной хитростью было, по его мнению, то, что таким образом ставилась под сомнение его принадлежность Советам: кому из советских людей придет в голову красть документы у своих и потом объявлять это во всеуслышание? После этого он умолкнет, даст обещание назвать себя, когда придет время, а пока сошлется на процессуальное право молчать и не давать против себя показаний. Что такое право у задержанных есть, он смутно помнил из общей литературы: у него не было юридического образования, но для суда ему было достаточно и этого.

9

Утром он обратил внимание на какой-то особенно пресный, переваренный, обессоленный, безвкусный рис, застревавший комом в горле: обычно Яков был непривередлив в еде и довольствовался малым — здесь же с трудом доел завтрак, запил его тепловатой водой, у которой был затхлый привкус бочки, и, забывая на ходу о неудобоваримой пище, отправился, все еще в наручниках, в суд, где его ждал судья Цинь, ведущий дело. Его ввели в небольшой присутственный зал, где кроме судьи и писца был еще китайский солдат с ружьем; тот, что привел его, тоже остался для наблюдения: арестованный с момента задержания числился драчуном, склонным к побегу. Яков начал говорить на немецком, приучая суд к тому, что это его родной язык, но судья Цинь попросил его говорить по-английски:

— Мы в Китае терпеливые люди, — с насмешливой вежливостью сказал он, — и согласны вести процесс на чужом для нас языке, но мы бы все-таки хотели, чтобы это был какой-нибудь один язык — английский, раз вы все так его любите. Выучить все языки мира мы не можем — вы уж войдите в наше положение…

Судья Цинь был честным патриотом — в той мере, в какой это было возможно в стране, где все продавалось и куда покупатели съезжались со всех сторон, как купцы на ярмарку. Он сквозь пальцы смотрел на чужие грехи, не боролся с царящим вокруг него взяткодательством: честность его состояла в том, что он не брал денег сам — не более того, но и не менее.

— Я взял эти паспорта в советском консульстве — украл, иными словами. — Яков произнес эти слова с хорошо разыгранным пафосом саморазоблачения и без малейшей тени юмора. — Почему я это сделал, я сказать сейчас не могу и отказываюсь от дачи каких-либо сведений. Поведение мое ни в коей мере не свидетельствует о моем неприятии законов Китайской республики или суда, которому я в вашем лице выражаю глубокое уважение и признание.

— Пока вы не замолчали совсем, — спросил его с любопытством и не без участия Цинь, которому пришелся по душе этот экстравагантный обладатель четырех чужих паспортов, разгуливающий с ними по Шанхаю: в нем было что-то решительное и импонирующее ему лично, — скажите, в чем причина вашего отказа сотрудничать. Почему бы вам не назвать себя? Вы очевидно иностранец и пользуетесь в связи с этим в нашей стране преимуществами, которых нет у ее коренных жителей. Если вы представите нам такие данные и докажете, что

вы иностранного происхождения, вас передадут вашему суду, который, как правило, мягче и снисходительнее нашего, — учитывая в особенности то, что страна наша находится в состоянии войны и законы ее приближаются к законам военного времени… — и поглядел вразумляюще на курчавого побитого европейца, глаза которого заплыли после драки, но продолжали излучать упрямство и своеволие. — Почему вам не воспользоваться этим?

— Я буду молчать, — невозмутимо отвечал тот, — поскольку считаю мое задержание незаконным.

— Даже после того, как у вас нашли четыре паспорта и вы заявили, что украли их в советском консульстве?

— Когда меня арестовывали, то об этом не знали.

— А может быть, знали? Вы плохого мнения о китайской полиции?

— Арестовывали меня не китайские полицейские, а люди из подразделения Гаррисона. — (Английский отряд, осуществлявший полицейские функции на европейской территории Шанхая. — Примеч. авт.) — Ко всему китайскому я отношусь с большим почтением и верю в великое будущее вашего народа.

Яков, старый пропагандист и агитатор, решил сыграть на национальных чувствах и противоречиях, но Цинь только усмехнулся, подал знак писцу, что записывать это не нужно, и пригласил первую свидетельницу обвинения, Ванг, которую он по ряду причин торопился провести через предварительное следствие. Всех троих: Якова, Ло и Ванг — запрашивал военный трибунал в Учани, где шло основное следствие, связанное с разоблачением разведсети Лю, а за Ванг его слезно просил представитель видной чиновнической фамилии, и ее нужно было срочно вывести из этой во всех отношениях опасной компании.

Ванг ждала вызова в соседней комнатке. Она вошла без сопровождения: значит, была отпущена под подписку о невыезде, на поруки родственникам. Это было видно и по тому, что выглядела она слишком ухоженно, не как тот, кто провел ночь в участке, — это отметил про себя хладнокровно наблюдавший за нею Яков. Судья Цинь мельком глянул на нее и потупился. Он видел ее в первый раз, и она произвела на него невыгодное впечатление: изображала, вроде иностранца, несправедливо обиженную девицу и, будучи дома, не привела себя в надлежащий вид: тушь и румяна лежали неровно, а судья Цинь был человек старых правил и не признавал неопрятной косметики; то, что для европейца Якова было верхом макияжа, для него — лишь небрежной его тенью: Восток и Запад, как известно, редко

сходятся в оценках.

— Вы знаете этого господина? — спросил судья и дал понять писцу, что тот запишет все потом под его диктовку.

— Знаю, — поспешно сказала она: давно ждала этого вопроса. — Это крупный агент Коминтерна. Я встречалась с ним четыре раза, отдавала ему переводы — он был в точности такой, только с усами.

— Обвиняемый, вы что-нибудь скажете по этому поводу?

— Я ее в первый раз вижу, — сказал Яков.

— Как это?! — искренне возмутилась обвиненная во лжи свидетельница. — Что ж он: если снял усы, думает, я его не узнаю? Пусть отвечает за свои делишки!

— Об ответственности мы потом поговорим, — осадил ее Цинь: чтоб помнила свое место. — Какую работу он вам давал? С усами или без… Это, кстати, не он? Не человек, который имел с вами дело?.. — и, порывшись в бумагах, извлек из них фотографию усатого Якова, которую тоже нашли в его карманах: Яков взял ее по тем же причинам, по каким взял паспорта: чтоб сделать себе документ с этим снимком.

— Он! — обрадовалась Ванг, будто поимка ее нанимателя была ей на руку, а не рыла ей могилу. — А по ней видно, что это одно и то же лицо! Видите, как глаза глядят? И брови те же. Можно одно к другому приставить!

— Этим займутся эксперты. — Судья отобрал у нее фотографию, которую она прижала к себе — как обеляющую ее улику. — Пока что расскажите, в чем заключалась ваша работа и что вы успели сделать…

Накануне он час толковал у себя дома с почтенным дядей этой паршивицы: тот больше бранился и негодовал на племянницу, чем просил и слушал. Цинь был вынужден грубо прервать его и внушить ему, что все зависит от того, как она ответит на вопросы, которые будут ей заданы: если начнет сознаваться и говорить правду, ее ничто не спасет и судья Цинь не сможет помочь их дому. Дядя сразу потерялся, сморщился в слезливой гримасе и полез расстегивать сумку, но судья Цинь осадил его строгим взглядом и потом — и столь же суровым словом, потому что от языка взглядов почтенный чиновник давно отвык и, вообще, понимал только звон монет и шуршание ассигнаций.

— Наша семья этого не забудет, — поклялся он, ничего не поняв и испугавшись сильнее прежнего. — Мы найдем способ отблагодарить вас. Если все хорошо кончится. Она будет говорить, что ничего не понимала в переводах, — то есть не понимала их тайного смысла. А вот что касается плана ремонта

синцзянских дорог, тут надо подумать! — вскричал он с непонятным судье воодушевлением.

Судья Цинь сбился с толку. Он ничего не знал про план переустройства дорог в Синцзяне.

— Как?! Вы ничего не знаете об этом?! А Тангпу в курсе — не знаю, к счастью или к несчастью!.. Вам в самом деле ничего не известно?! Эта дрянь украла у меня план благоустройства синцзянских дорог на 1935-й год — чтоб передать его этому предателю: прошлым летом, когда гостила в моем доме. Мне еще попадет за это: чтоб не приглашал кого не следует и не держал у себя секретные документы. Я его обыскался! Он был в единственном экземпляре, и у меня были из-за него крупные неприятности!

— Там было что-нибудь серьезное? — осторожно спросил судья Цинь, которому не хотелось связываться с государственной изменой.

— Да что там могло быть?! — пренебрежительно отозвался тот. — Вы что, нашу жизнь не знаете? Карта дорог, которые есть на любом плане местности… — Но не удержался и прихвастнул из важности: — Хотя были конечно и такие, что не на всякую карту нанесут… — Цинь поморщился, а дядя, виляя, побежал, как заяц, по старому следу: — Но ничего секретного! Планы на следующий год — кто их выполнять будет — в наше-то время, когда денег нет и не известно куда они уходят? Однако ж пристали так, что не отвертишься: как же, не хватает — нельзя подавать общий план, пока мой не найдется. Сейчас переделываем наспех — из-за этой проклятой девки! А там работы — начать и кончить!..

Цинь потерял терпение: ему надоел этот отчет, которому отдано было слишком много времени.

— Может, мы забудем о нем? — предложил он. — Раз там не было секретных сведений. Он мне как-то не нравится. То ли дело — письма, в которых она точно уж ничего не смыслила… — И судья недоверчиво поглядел на дядю, чувствуя, что не все так невинно, как он излагает. — Она в Министерстве финансов работала?

— Да что за работа? — со склочным видом возразил тот. — Выгнали через месяц за опоздания… Нет, про мой отчет забывать нельзя. О нем и Танпгу знает: оно проверит. — Судья Цинь уже пожалел, что связался с этим типом, но дядя нашел выход из положения: — Мы лучше выставим его на видное место и переведем ее, по месту совершения этого преступления, в Нанкин: где она его и украла — там с ней разберутся и накажут, как она того заслуживает… У меня там друзья, — повинился он, — а в

Учань лучше не соваться. Обдерут как липку — заикнись только, что из приличного семейства — и оставят потом у себя, чтоб доить и дальше: да еще спасибо им скажи, что не расстреляли. Такая жизнь теперь: каждый норовит урвать свое, пока с места не скинули. А в Учани к нам относятся особенно плохо — к центральному правительству, я имею в виду. Страна развалилась на удельные княжества, нет больше порядка… Этот-то молчит? — спросил он чуть погодя.

— Вы иностранца имеете в виду? Молчит — даже имени не называет.

— Значит есть что скрывать. Ну и пусть молчит. Нам это на пользу: лишних бед не прибавит… А вам наша семья, если все кончится благополучно, подарит участок земли под Нанкином: там хорошие земли, на них и виноград растет и дыни. Дыни особенно хороши. Станем соседями, будем друг перед другом вином хвастать. А то и на рынок поедем — торговать им. Не известно же, чем все это кончится, а земля — она в любом случае и накормит, и напоит…

Это было чистой правдой: все было неустойчиво и шатко — и именно поэтому, а не за деньги и не за подарки судья Цинь помогал брату-чиновнику.

— Так оно и есть, — признал он и ворчливо посоветовал: — Пока у нее не было обыска, вывезите все из ее квартиры — все до последнего блюдца, книжки и бумажки. Чтоб голые стены стояли, ясно? А то найдут еще ваш отчет.

— И куда все это деть? — невпопад озаботился дядя.

— Да куда хотите! — взъелся на него Цинь, видя, что тот начал относиться к нему запанибрата. — Я и так уже сказал вам больше, чем надо.

— Мы этого никогда не забудем, — смиренно отвечал гость, который понял из разговора, что судья Цинь — плохой торговец, и мысленно урезал вдвое участок, первоначально ему отмеренный…

— Так что же требовал от вас этот человек? — повторил на суде Цинь, намереваясь вывести Ванг на чистую воду: не для того, чтобы утопить ее, а напротив — перетащить к спасительному берегу. — Вы переводили письма, в которых мало что понимали? Я правильно вас понял?

— Правильно! — кивнула та. — Там кто-то ломал ноги, приезжали какие-то тракторы — а почему, зачем, мне не говорили.

— А вот что у вас было с докладом о строительстве дорог в Синцзяне. — Он снова потупился. — Вы взяли его у дяди? С какой целью?

Несмотря на то, что вопрос накануне репетировался, Ванг смешалась, будто в первый раз его слышала. Цинь обратился к Якову:

— Вы ничего о нем не знаете?

Яков, услыхав про злополучный отчет, уже доставивший ему неприятные минуты, чертыхнулся про себя, вслух же отвечал ровно и бесстрастно:

— Если я никогда не видел этой девушки, что я могу знать о каком-то отчете о синцзянских дорогах?.. Кому они вообще могут понадобиться?

— Дяде моему! — вспыхнула Ванг: она, освободившись от давящего влияния Якова, была готова перечить ему во всем, даже в этом.

— Если ему только, — усмехнулся Яков. Судья Цинь встрепенулся: решил, что пленник заговорил.

— Вы начали отвечать на вопросы — может, скажете, кто вы и откуда прибыли?

— На эти вопросы я отвечу в последующем. Когда для этого будут созданы необходимые предпосылки.

Судья Цинь кивнул: на сей раз это соответствовало его расчетам. Надо было кончать заседание — пока не явился какой-нибудь английский офицер из среднего звена, потому что с генералами давно обо всем договорились: к ним тоже обратились с ходатайством о заблудшей овце нанкинского мандарина.

— Что вы сделали с отчетом? Отдали этому господину? — Цинь кивнул на Якова.

— Еще чего?! Чтоб я отдала его изменнику родины! Он требовал, а я его спрятала!

— Куда?

— Мне говорить неудобно.

— Может, еще можно найти? Дядя бы очень обрадовался. И нам было бы проще.

— Нельзя. Я его в уборную выбросила!

У Ванг было черное воображение, в эту минуту особенно разыгравшееся, но это не повредило ей — напротив, преступление ее, со столь неприличными подробностями, придавшими ему колорит государственной измены, выделили в отдельное разбирательство и передали в Нанкин по месту его совершения. Это было на руку и Якову: одним соучастником и свидетелем обвинения стало меньше. Если бы то же повторилось с Ло, он остался бы в глазах китайского правосудия паспортным мошенником, неудачливым охотником за чужими документами. Но с Ло все было сложнее: у него не было покровителей.

С паспортами тоже.

Вечером того же дня, когда охранник принес очередную порцию на редкость пресного, насмерть вываренного риса (Якову никогда бы не пришло в голову, что безвкусная пища может быть хуже горькой или вонючей), то вместе с этим харчем и кружкой воды, пахнущей гнилой бочкой, солдат положил на камень возле миски записку. Он сделал это в открытую, будто в этом не было ничего запретного, но всем своим недружественным видом дал понять, что хотя и участвует в неблаговидном деле, но не считает себя им связанным, ничего общего с узником не имеет и тому нечего рассчитывать на его поблажки в будущем: если и имело место нарушение правил, оно было однократным и разово оплаченным. Яков, не думая в эту минуту над этими тонкостями, решил, что в пребывании в китайской тюрьме есть и преимущества — не одни лишения и неудобства, схватил записку, но в целях конспирации не открывал ее, пока охранник не удалился; тот не стал мешать ему и ушел, сохраняя на лице то особое высокомерие, которое свойственно некоторым продажным личностям.

Записка была написана по-русски, открытым текстом и составлена в необычно грубых выражениях, какими в мире разведчиков не пользуются: она и была, наверно, написана на родном языке потому, что ругаться на нем удобнее и доходчивее.

«Что вы выдумали? — вопрошал грозный корреспондент, конечно же не подписавшийся под посланием. — Украли паспорта в консульстве? Мало вам того, что вы уже натворили со своей раввинской рассеянностью? Завтра же возьмите свои слова обратно и сделайте это официально: чтобы все газеты раструбили об этом. Вы нашли паспорта на улице и не успели донести их куда следует. Вы что, не знаете, что именно так и поступают, когда ловят с чем-нибудь неприличным — вроде оружия или наркотиков. Что вы тогда, Абрам, понимаете? Проглотите эту записку, не оставляйте ее в своих бесчисленных карманах и ждите следующих указаний. Сами ничего не предпринимайте».

Записка была ругательская и содержала антисемитские нотки, совершенно не свойственные ни советской общине в Китае, где русские сами были в меньшинстве, что не располагало к национальному чванству, ни Управлению, по коридорам которого ходило столько же лиц иностранного происхождения, сколько их ходит по улицам Женевы или Базеля. Это означало, что она была надиктована свыше, где могли позволить себе что угодно. Это было уже совсем плохо, но Яков, большой оптимист, вообразил, что раз ругают, значит готовы помочь, а бранью лишь спускают пар и взрыхляют почву для последующего вмешательства, требуя с его стороны полного подчинения.

С этой успокоительной мыслью он заснул, готовясь к очной ставке с Ло и надеясь, что она пройдет столь же гладко, как с Ванг, — в спящей голове его строились в шеренгу слова, опровергающие его собственные недавние показания. Поскольку те и другие были ложью, сочинять и брать их назад было в равной степени нетрудно.

На следующий день судебного разбирательства не было: англичане, не связанные в этот раз обещаниями высокопоставленным китайцам, готовились к допросу Ло и проводили у него на квартире основательнейший обыск. Яков вызвал к себе в камеру судью Циня, но тот не соизволил к нему явиться, и дезавуация собственных показаний произошла днем позже, когда судья Цинь выспался и пришел-таки на заседание, созванное по требованию джентльмена без роду и племени — то чересчур молчаливого, то не ко времени говорливого.

«1. Заявление, сделанное мною в суде вчера — то есть уже позавчера, — писал по-английски Яков, и специалист по сравнительному языкознанию мог бы уловить русские обороты в построении его английской речи, — было от начала и до конца ложным и вымышленным». — Яков разбил выступление на пункты, считая, что так лучше доходит до слушателя, — возможно, это шло и от старой партийной традиции, подкреплявшей тезисы цифрами. — «2. Вследствие полного истощения нервов и вытекающего из него болезненного состояния, граничившего с галлюцинациями, люди, задержавшие меня и втянувшие меня в провокацию, сумели внушить мне свою точку зрения и заставить меня выступить с ней как со своей собственной. 3. Я ни разу не был в советском консульстве, не обронил ни слова в разговоре с его сотрудниками, ни разу не встречался с ними. Я не крал найденные при мне паспорта. Я их нашел на улице маршала Петена во французской концессии в 5 часов пополудни в четверг 4 мая и собирался, но не успел сдать в полицию. 4. Против меня ведется нечестная игра, осуществляется крупномасштабная провокация, имеющая целью ложно связать меня с советским консульством, но я не знаю ни одного его сотрудника и никогда не имел с ними дела. Задача полиции — установить тех, кто украл документы, найденные мной на улице. Вместо этого она присоединилась к моим грязным очернителям, поставившим перед собой задачу моего физического устранения, к их махинациям и происками».

Дальше была дата и, вместо подписи — «Ха». Неясно, что он имел в виду, но газеты, опустив «а», начали именовать его отныне то Мистером Х., то «Неизвестным красным».

Яков, как было велено, настоял на внесении заявления в

протокол судебного заседания и с важным видом подал его стенографу. На заседание пришел Прокофьев — как всегда, неприметный на вид и неброский. Ему хотелось еще раз взглянуть на противника: чтобы освежить свои впечатления и оценить его нынешние силу и выдержку. Он остался озабочен увиденным. В Якове, который не уделил ему никакого внимания, не убавилось, а лишь прибавилось внутренней злости и упрямства. Но его меморандумом, состоящим из многих пунктов, Прокофьев остался доволен, и это высветилось на его лице, нарочито бесцветном и невнимательном. Эта игра чувств не ускользнула и от Якова и чуть не ввела его в заблуждение: он вдруг подумал, что передачу записки организовал не кто иной, как этот перевербованный белый, но, слава богу, он поостережся от каких-либо шагов в его сторону. Прокофьев мог иметь и другие причины ликовать и радоваться.

Так оно на самом деле и было. Обрадовался он тому, что с запиской получал достаточно пространный образец почерка задержанного, с помощью которого можно было идентифицировать пометки на полях и надписи на листках, найденных в его карманах, и в бумагах Ло, обнаруженных у того дома. До сих пор записи были слишком кратки и разрозненны, чтоб можно было утверждать, что они написаны одним человеком. В частности, наиболее интересующий Прокофьева список лиц, причастных к коммунистической деятельности, за которыми велось активное наблюдение, был снабжен загадочной пометкой «от дантиста». Прокофьеву было ясно, что написана она той же рукой, что и список расходов на апрель, найденный при Якове и несомненно ему принадлежавший, но эксперты говорили лишь о сходстве, а не об идентичности почерков, ссылаясь на краткость текстов; теперь они смогут судить обо всем с большей определенностью.

После обысков на столе у Прокофьева вырос ворох бумаг, требующих надлежащего прочтения. Кроме блокнота расходов в бумажнике Якова нашли записную книжку, состоявшую из разрозненных слов на английском, перемежавшихся рядами цифр: они могли означать что угодно, но не могли быть расшифрованы без помощи автора — стало быть, не могли служить доказательством его вины, но лишь указанием на необычайно скрытный характер его деятельности. Во время первого обыска, когда Яков сидел и мрачно смотрел, как исследуют содержимое его карманов, молодой детектив спросил его, что означают эти слова и цифры, — Яков, ни минуты не раздумывая, сказал, что вспоминал иностранные слова и записывал, сколько секунд ему для этого требовалось. Версия

была настолько нелепа и неправдоподобна, что молодой сыщик ей поверил, — только Прокофьев неодобрительно покачал головою: не коллеге, а задержанному — мол, чем вы только не гнушаетесь, на что Яков, разумеется, ответил лишь презрительным молчанием. Список расходов задержанного, написанный его жесткой, уверенной рукой, велся с дотошной мелочностью: будто хозяин, человек далеко не бедный, должен был отдавать кому-то отчет в самых мизерных своих затратах. Прокофьев отметил это про себя: такие находки не пришьешь к делу, но для следствия они бывают важнее других улик и доказательств. Была еще одна заинтересовавшая Прокофьева бумага с китайскими иероглифами: над ними Мистер Х. написал своей рукой: «Адрес человека из Сычуани». Внизу адреса не было: Яков, не зная языка, ошибся, но дело было не в этом. «Человек из Сычуани» был у Прокофьева на слуху и, насколько он помнил, был псевдонимом одного из руководителей шанхайской компартии, постоянно менявших свои адреса, но не клички; задержанный хотел, видно, разыскать его в последние смутные дни и не надеялся на свою память; Прокофьев тоже не был в состоянии запомнить китайские иероглифы и потому не винил его в нарушении конспирации. Но вообще-то Мистер Х. был слишком рассеян для своей профессии — и, странным образом, для Прокофьева это тоже было подтверждением его российского происхождения. Он знал по себе, что в России теперь нет шпионов-профессионалов — есть одни одержимые фанатики, плохо ладившие с требованиями своей профессии. При арестованном была также связка из семнадцати ключей, что многовато для горожанина, не имеющего подворья с амбарами, и четыреста двадцать американских долларов в удобных десяти— и однодолларовых купюрах — тоже сумма, которую обычные граждане с собой не носят, потому что в ходу давно были банковские чеки.

В собранном материале было, таким образом, много зацепок и отправных точек для расследования, но не было прямых улик, и Прокофьеву предстояла трудная работа. Мало того, что главный обвиняемый стоял стеной и на его сотрудничество нечего было рассчитывать, надо было еще преодолеть сопротивление китайцев, которые юлили до последнего и, припертые в угол, меняли показания, признавали одно, упорствовали в другом, находили новые рубежи обороны, за которые цеплялись с таким же непреоборимым и внешне бессмысленным упрямством. Они никогда не ломались до конца, не признавались во всех грехах сразу, не рвали на себе рубаху и на саму смерть шли, словно разыгрывая театр и не желая выходить из роли, которую иногда

сами меняли по ходу спектакля, как актеры традиционного китайского театра с переодеваниями. К тому же Ванг сразу вывели из игры, а Прокофьев был уверен, что если бы мандарины не сговорились за его спиной, он бы в полной мере использовал ее след: в конце концов, детективы опознали Ванг в девушке, приходившей к госпоже Лю накануне ее побега. Сам побег тоже был загадочен. Детективы говорили, что оставили госпожу одну, потому что погнались втроем за тем, кого посчитали ее мужем. Двоих для его поимки было бы действительно маловато, и госпожа Лю воспользовалась данным ей шансом, но сделала она это безусловно не без посторонней помощи. Прокофьев не в первый раз сталкивался с таким поворотом дела. Сколько-нибудь высокопоставленные особы с обеих сторон обладали удивительным даром исчезать из-под носа преследователей — ловилась и гибла мелочь, до которой никому не было дела. Верхушка с обеих сторон, видно, знала друг друга и в последний момент выводила старых знакомцев из-под удара — может быть, руководствуясь при этом собственной безопасностью. Его генерал сказал ему, чтоб он не хлопотал лишнее. Их задача — установить связь «Красного незнакомца» с китайской разведывательной сетью, материалы для этого собраны; если он не назовет себя и не окажется ничьим подданным, его передадут в китайский трибунал и там от него рожек и ножек не останется. Вот и вся работа, но Прокофьев делал ее с тройным усердием: боялся, что не соберет достаточно улик для того, чтоб незнакомца (которого он так же глубоко и проникновенно чувствовал, как если бы тот был его соседом по лестнице) осудили, как он того заслуживает. Его английский начальник, у которого была географическая фамилия Эверест, с высоты своего положения не пенял ему за это: в конце концов, каждый русский на его памяти вынашивал месть и мучился, в связи с этим, старой, неизжитой ненавистью.

Англичане, впрочем, тоже были по-своему педантичны. Изъятые у Якова паспорта были в первый же день пересняты и трижды перепроверены. Все они, как уже было сказано, были отданы незадолго до их исчезновения в советское консульство для проставления транзитной визы. Два из них принадлежали почтенным, преуспевающим французским негоциантам, едущим в Европу через относительно дешевую Транссибирскую магистраль; третий — чешской музыкантше, которая аккомпанировала более удачливой подруге в гастролях в Японии, но та неожиданно умерла, и она вынуждена была вернуться в Чехию; владельцем четвертого был двадцатидвухлетний китаец из Тяньцзиня, именовавший себя предпринимателем. Полковник Эверест этим не удовольствовался, но пошел дальше и велел проверить первую

версию показаний задержанного: вдруг тот вначале сказал правду и теперь русские скрывают неприятную для них внутреннюю кражу. Он запросил у своих подчиненных ни больше, ни меньше как список служащих советского консульства: нет ли среди них лиц подозрительных на совершение подобного деяния, — решил, видимо, помочь Советской Республике. Список ему дали: там были указаны все, кто работал в консульстве и в связанных с ним коммерческих фирмах: кто, когда, зачем и на чем прибыл на китайскую территорию. Эверест поглядел на новую гору бумаги, высокую, как его тезка в Гималаях, махнул рукой, но распорядился все-таки пришить ее к делу: авось, когда-нибудь пригодится.

Паспорта были как шило в мешке: отовсюду торчали и всем мешали — Яков всем задал работу. Их требовали русские: надо было ставить визы и отправлять людей дальше — но идти за ними в полицию они не хотели: чтоб не привлекать к себе лишнего внимания и не замарываться в прессе. Через день после ареста Якова, когда вечерние газеты разгласили весть о поимке вора с паспортами, похищенными в советском консульстве, вице-консул СССР М.В. Миликовский, прекрасно знавший, кого задержали, обратился в шанхайскую мэрию с просьбой о возвращении документов для совершения необходимых консульских действий. Мэрия с почтением отвечала, что готова сделать это, но просит, чтобы консульство прислало человека, который бы заполнил необходимые в таких случаях запросы и дооформил дело, возбужденное против сознавшегося похитителя. Миликовскому предлагали, таким образом, начать дело против собственного шпиона — он ответил мэрии, что в консульстве такое не практикуется. Тогда-то и раздался грозный окрик сверху, который из похитителя сделал человека, подобравшего на улице то, что должно было лежать там до прихода полицейского. Показания задержанного были изменены, это тоже прозвучало во всех вечерних выпусках — Миликовский обратился в полицию с новым прошением: если паспорта найдены и не являются объектом преступления, то не проще ли отдать их в консульство, не чиня дальнейших препятствий. В конце концов паспорта отдали — троим иностранцам поставили визы, и они покинули тревожную китайскую землю, а четвертый, китаец, настолько перепугался, что за паспортом не явился и из страны не уехал: видно, ему было что скрывать, и он стал предметом отдельного рассмотрения — как англичан, так и собственной контрразведки.

Обыск у Ло дал следователям много разнородного материала, который трудно было сразу, с ходу, оценить и должным образом интерпретировать. Вначале внимание сыщиков

остановилось на тетради, в которую Ло выписывал примеры из английского учебника: все они звучали одинаково воинственно, как армейские команды: «Это ключевая позиция района», «Неотступно следите за происходящим», «Успех венчает дело» — трудно было представить себе, что это невинные упражнения в английском, а не ключевые фразы для расшифровки военных донесений. На самом деле Ло, как было уже сказано, был большой фантазер и любил поважничать не только на людях, но еще больше перед самим собою: что он имел в виду, выписывая из учебника эти фразы, было только ему известно — наверно, воображал себя фельдмаршалом. То же со списком японских атташе и консулов: детективы накинулись на него, посчитав, что напали на след большой и разветвленной шпионской сети. Прокофьев, участвовавший в обыске, как и в случае с паспортами, пренебрег этой чересчур яркой и бросающейся в глаза уликой и занялся делами куда более земными и житейскими — прежде всего тетрадью расходов, которая у шпионов более содержательна и обстоятельна, чем у прочих смертных: с ее помощью они отчитываются перед своими патронами и выбивают из них новые суммы денег. Некоторые строки в ней напомнили тетрадь Якова: повторялись расходы на газ, на письменные принадлежности и фотоматериалы, зачем-то в большом количестве понадобившиеся скромному преподавателю английского. Были и другие общие цифры: три выплаты некой нанкинской девушке, в которой Прокофьев заподозрил ускользнувшую от него Ванг; деньги были разные: от ста долларов до пятисот, но так бывает, когда суммы соответствуют оплачиваемым услугам; кроме того, дождь расходов в последние дни говорил о панике и лихорадочной активности, обуявшей эту шайку: она наверняка была связана с разгромом красной сети в Ханькоу, и оттуда не зря настаивали на их немедленной выдаче.

Но это было дело китайцев. Прокофьеву нужно было выяснить, как произошла утечка из сыскного бюро: это было уже их внутреннее дело. Но и тут розыски не увенчались ничем достойным. В Китае все решалось на полутонах: полууспех-полунеудача — эта страна не любила окончательных решений и потому, наверно, просуществовала на этом свете столько тысячелетий.

Эксперты сравнили надпись «от дантиста» на интересующем Прокофьева списке с пространной нотой-заявлением «Красного незнакомца» и на этот раз достоверно признали их написанными одной бестрепетной рукою. Сам список был никудышный, и составлял его человек, ничего в деле не понимавший и почти неграмотный. Возглавляла перечень признанная королева

легального шпионажа, американская писательница и журналистка Агнесса Смедли. Она была приятельницей Сун Цинлин и была известна, в частности, тем, что собрала досье на всех китайских генералов, включавшие в себе не только сведения о их профессиональной пригодности и продвижении по службе, но и о житейских слабостях и привычках. Но далее шли совсем уже случайные и даже вымышленные лица, и понять, как они попали в эту подборку, было невозможно. Внимание Прокофьева остановили две фамилии, которые звучали слишком уж свежо и колоритно. Он так и сяк вертел их, пока не прочел вслух уходившим со смены детективам, — те сразу распознали в них двух героев модного японского боевика, недавно вышедшего на экраны: в английской транскрипции они изменились до неузнаваемости, но на слух еще определялись. Видно, кто-то ловко приписал их для полноты счета и для округления гонорара, а неизвестный покупатель принял за чистую монету — половина доставляемых разведчиками сведений грешит подобными приписками. Был еще один персонаж в этом списке, тоже пострадавший от здешнего многоязычия, но с ним произошло, если так можно выразиться, нечто прямо противоположное — а именно его португальскую фамилию написали по-китайски и невольно законспирировали так, что захочешь, лучше не придумаешь. Его звали Ромео Кунья д'Акинья, и участвовал он в подпольном игорном бизнесе, а из него сделали Лоо Йай Кенга и пришили ему коммунистическую деятельность: если бы не адрес, Прокофьев, сам проверявший этот след, в жизни бы не додумался до этого. Результатом его изысканий была, во-первых, записка начальству о состоянии дел в сыскном бюро, на данные которого до сих пор опирались как на бесспорные, — начальство приняло записку к сведению, но от существа ее отмахнулось: как от неисправимого здешнего зла, подобного муссонам. Вторым итогом его исследований было то, что он нашел-таки того, кто составил эту филькину грамоту. Это был бывший детектив бюро, которого из-за крайнего невежества больше не допускали к сыскной работе, но разрешали подрабатывать в качестве ночного сторожа. Он не лазил в ящики каталогов, но списал торчавшие из них шапки формуляры: видно, кто-то наутро хотел проверить листки, показавшиеся сомнительными или нуждающимися в доработке. Старик, в котором взыграл дух прежнего сословия, во всем повинился и покаялся — отказался лишь назвать хозяина пишущей машинки, на которой список был отпечатан: видно, это был его новый работодатель, с которым он не хотел ссориться. Прокофьев плюнул на машинку — спросил взамен, кто поручил ему эту работу. Тут старик оказался уступчивее и назвал

представителя уголовного мира по кличке Кривой Нож, хорошо известного шанхайской полиции. Прокофьев этому обрадовался: суды в Китае не любили, когда политические преступники прибегали к помощи уголовников, — это как бы понижало их в общественном мнении. Заказчик в очередной раз сидел в тюрьме — слава богу, в Шанхае. Его вызвали в камеру для допросов, он был крайне недоволен этим, потому что прервал игру в кости. С трудом вспомнив, о каком заказе шла речь, он сказал через переводчика, что сам он подобных поручений не дает, а сделал это Бродяга Ли, который сидит в тюрьме в другом конце города, и господин судья может туда проехаться, если хочет, а ему нужно идти назад, потому что всем известно, что кости не выносят разлуки, уносящей с собой игорное счастье. Прокофьев вздохнул, поехал на другой конец города, узнал, что Бродяга Ли сидит безвылазно уже четыре года, повернулся, чтоб уйти, но охранник, важный, как все стражи мира, а китайцы в особенности, сказал со значительным видом, что Бродяга Ли — такой проходимец, что из тюрьмы может и яичницу заказать, и убрать кого захочет. Бродяга Ли в кости перед вызовом не играл, поэтому в полной мере воспользовался предоставившейся ему возможностью порисоваться и покрасоваться. Ни о каком списке коммунистов он не знает — не знает даже, что это за птицы такие, коммунисты, но это все Кривой нож, он вешает на него все подряд в последние десять лет, и Бродяга Ли за все это рассчитается — дайте ему только выйти на свободу, и прочая и прочая. Прокофьев уехал не солоно хлебавши.

Парадокс дела заключался в том, что спроси Прокофьев Якова об этом списке и захоти тот вдруг помочь ему, то и он бы ничего не вспомнил. Он припомнил бы только, да и то — смутно, что искал способ наладить связи с сыскными агентствами, чьи сотрудники (он знал это по европейскому опыту) охотно продают свою работу нескольким покупателям сразу: этим достигается большая рентабельность производства. В Германии Яков завербовал трех филеров специального отдела полиции, которые с превеликим удовольствием продавали ему то, что делали бесплатно по месту работы: там был оклад, а здесь сдельщина. Наверно, так могло быть и в Китае. Но здесь вечно приходилось прибегать к помощи посредников — из-за незнания языка и еще потому, что китайцы, за исключением высокого начальства, не жаловали иностранцев и не хотели вступать с ними в деловые отношения: видно, действовали вековые запреты, карающие смертной казнью такое сотрудничество. Посредники же сплошь и рядом были недобросовестны — хотя и блюли вечный этикет, лицедействуя и изображая такое старание, какого в мире нигде не

больше встретишь. Он как-то разговорился с видным местным коммунистом и выразил желание иметь списки лиц, за которыми охотится полиция. Через неделю к нему пришел некий заговорщик, протянул эту самую бумагу, которую держал сейчас в руках Прокофьев, и картинно замер в ожидании вознаграждения. Яков, имея дело с китайцами, никогда не мог угадать по их лицам, достаточную ли сумму он заплатил или оставил их в накладе. Вот и на этот раз — китаец застыл с миной, свойственной скорее разочарованию, чем удовлетворению, но это ничего не значило: он мог переплатить вдесятеро — выражение лица было бы таким же. Гость собрался уходить, Яков спросил его, как быть со следующими поступлениями. Тот, импровизируя на ходу, сказал, что в течение двух недель к нему придет новый человек и ему нужно будет показать этот список, на котором надо написать от руки «от дантиста». «По-китайски?»— спросил сбитый с толку Яков — вместо того, чтоб спросить, почему «от дантиста», на что китаец ответил, задумавшись на миг: «Можно и по-английски. Это пароль» — и был таков. Это о надписи. Яков положил список в карман, забыл о нем, и теперь над ним ломал голову Прокофьев.

Дни между тем шли, следствие рыло Якову могилу, но делало это чересчур неспешно, врастяжку. Ло давно уже передали учанскому трибуналу, а относительно Якова Прокофьев убедил начальство в том, что с ним не следует спешить и расставаться, пока не соберется достаточное количество улик и неотразимых доказательств, — не хотел выпускать его из своих железных объятий. Якова вызывали несколько раз к судье: для того, чтоб услышать от него, не изменил ли он своей позиции и не хочет ли назвать себя и свою страну, — внешне ничего более не происходило. Учанский военный суд требовал его выдачи, муниципальный адвокат, по должности, заступался за него и был в это время его единственным защитником. Это был европеец, настроенный против всех китайцев, вместе взятых, и против китайского суда в особенности:

— В соответствии с 9-й статьей Конституции Китайской республики, — нудил он на заседаниях, — во-первых, никто, не состоящий на военной службе, не подлежит суду военного трибунала. Мой обвиняемый на военной службе не состоит, и потому такая передача незаконна. Во-вторых, до сих пор надлежащим образом не установлен факт совершения противоправных действий вне территории сеттльмента, как того требует Соглашение о взаимной выдаче преступников. Единственное, что вменяют в вину главному обвиняемому, — это присутствие при нем документов, которые могли быть

использованы в незаконных целях вне интересующей нас территории. Но доказательств такого использования нет — если же они только готовились к подобному применению на территории сеттльмента, то и в этом случае преступление, если оно имело место, было совершено на территории, подлежащей юрисдикции данного суда, и не подлежит рассмотрению в иных судебных инстанциях. В-третьих и в последних, не установлена личность неизвестного иностранца. Благодарю, ваша честь.

— А когда ваш подопечный соизволит наконец раскрыть свое происхождение и национальность — и вообще скажет нам, кто он и откуда.

Адвокат обратился с немым вопросом к обвиняемому.

— Когда придет время, я дам такие сведения, — неколебимо отвечал тот. — Пока такое время не настало.

— Спросите его, — снова обратился через адвоката судья, предпочитавший говорить с Яковом через посредника, — знает ли он, что, не сообщая эти сведения, он подвергает себя реальной угрозе быть переданным китайскому военному трибуналу? — Цинь повторялся, но в суде это обычное явление. — При установлении принадлежности его к европейским странам он будет передан национальному суду, который определит меру его наказания и который, как правило, легче смотрит на преступления, совершаемые в Китае, чем наши судебные органы.

Адвокат повернул голову к Якову за разъяснениями — тот остался непреклонен:

— Когда придет время, я сообщу о себе все, что вас интересует и что я сочту нужным. Пока существует ряд обстоятельств, этому препятствующих…

После такого обмена любезностями его отводили в камеру…

Отвечал-то он с неколебимой твердостью, но в душе его росла тревога. Прошло две недели, а Центр, после памятного своей грубостью окрика, не давал о себе знать, хотя имел такую возможность. Охранник, принесший записку, не отвечал на вопросы, светившиеся в глазах заключенного, — напротив, вел себя с ним высокомерно и пренебрежительно: как с тем, кого бросили на произвол судьбы оставшиеся на воле подельники. Могло, конечно, случиться и так, что связь с тюрьмой по какой-либо причине оборвалась, но на такой случай существовал чрезвычайный, авральный, способ связи. В одной из двух газет: одной сугубо благопристойной, почти официозной, другой более дешевой, вечерней — помещалось объявление определенного содержания: в зависимости от того, что хотели передать попавшему в беду товарищу. Хотя на это было мало надежды, Яков затребовал газеты в камеру, отдавая предпочтение двум

органам печати и ссылаясь при этом как на личные обстоятельства, так и на международное право тюремных узников. Газеты ему дали, но, зная эту уловку, не хуже его проштудировали и проверили все, что было помещено в обоих изданиях, — от брачных объявлений до состава редакции и инициалов ее сотрудников. Ни Яков, ни люди Прокофьева не обнаружили ничего примечательного: из номера в номер печатались одни и те же рекламы крупных фирм, в них не менялось ни запятой, ни штриха над неизбежными даже в европейских изданиях китайскими иероглифами.

Яков начал нервничать. Друзья могли хотя бы скрасить его стол: рис, благороднейший из существующих на земле злаков, превращался после обработки его здешними поварами в изощренную, на китайский манер, пытку, склоняющую обитателей тюрьмы к воздержанию от еды и неизбежному угасанию. Яков затребовал бумагу и, за неимением других адресов, начал жаловаться администрации, грозя подняться до Президента и обвиняя своих стражей в нарушении прав человека и в попытке умерщвления его недоброкачественной пищей. Таких жалоб нигде не любят: даже когда не надо отвечать на них по существу, необходимо делать это по форме. Англичане этим воспользовались и прислали к Якову офицера, который, помимо военной должности, имел и гражданскую: числился в местном законодательном собрании «депутатом-инспектором Особого отдела» — таков был его титул, предоставлявший ему возможность встречаться с заключенными на законных основаниях в более непринужденной, чем в стенах контрразведки, обстановке. Офицер этот, по фамилии Локвуд, разродился после посещения жалобщика следующим ведомственным отчетом (он хранится в архивах, а примечания на полях принадлежат его прямому начальнику, полковнику Эвересту, и предназначены, видимо, для последующих проверок и комиссий):

«В ответ на жалобу, направленную на имя начальника тюрьмы «Неизвестным красным» и содержащую обвинения в том, что он так и не был ознакомлен с обстоятельствами дела, инкриминируемого ему шанхайской муниципальной полицией и Китайским правительством, было решено, совместно с депутатом-контролером Особого отдела, доставить его в полицейское управление, в кабинет названного должностного лица — для беседы по поднятым им вопросам. Беседа эта состоялась в 3 часа 30 минут пополудни 22 мая 1935 года.

Депутат-инспектор Особого отдела начал с того, что настоятельно посоветовал заключенному нанять адвоката, который бы взялся защищать его в этом деле, на что он сказал,

что всерьез над этим подумает». (Ремарка на полях: «Я надеялся, что таким образом он вынужден будет раскрыть свое инкогнито. Эверест».) «Из беседы, которая последовала за этим, из того, что «Неизвестный красный» сообщил мне о своей прежней жизни, можно заключить следующее. Он прожил в Шанхае более года: половину времени — во французской концессии, вторую — в международном сеттльменте. Он называет себя писателем и, как он считает, не лишенным дарования, но отказывается назвать опубликованные им произведения, равно как и своих издателей. Он говорит, что немецкий — его родной язык, но он говорит и на других языках, а именно — французском, английском и русском. В беседе он обнаружил неплохое владение английским. Он сказал, что у него хорошая библиотека в шанхайской квартире, приобретенная большей частью здесь же. В отношении современной политической ситуации в Китае он выразил полное одобрение военной тактике и стратегии Чан Кайши, но об общем положении в стране говорил явно пренебрежительно — похвалил только почту, которая работает будто бы на европейском уровне.

Достойно упоминания то, что в ходе беседы он несколько раз произнес фразу: «Это так же верно, как то, что сегодня среда 22 мая». По мнению депутата-инспектора Особого отдела, «Неизвестный красный» повторяет в этом манеру д-ра Вальтера Фукса, недавно покинувшего немецкое консульство.

Когда разговор зашел о его возможной связи с коммунистами, он не отрицал своей принадлежности этой партии у себя на родине, но за время пребывания в Китае он не участвовал ни в одном мероприятии, организованном китайской компартией, не принимал участия в составлении коммунистических документов и листовок или в их распространении и по приезде в Китай вообще не принимал участия в деятельности какого-либо политического движения.

Китайские дела, утверждает он, всегда очень интересовали его, и он вынашивает план написания книги, которая глубже проникнет в современное состояние дел этой страны, чем что-либо, прежде опубликованное. Он не начал еще писать ее, но мысленно построил план, знает ее внутреннюю структуру — так что, дай ему карандаш и бумагу, он немедля перечислит названия глав и изложит их краткое содержание. Он признает, что, собирая материал для этой книги, мог пользоваться не вполне традиционными источниками и сведениями, обычно не подлежащими широкой огласке. Он утверждает, что не может сейчас раскрыть их — это противоречило бы журналистской этике, но подобное происходит и в открытой печати: так, по его словам, еженедельник «Китайское ревью» часто печатает

информацию, раскрыть источник которой не считает возможным или допустимым. Он категорически отрицал какую-либо связь с китайской Красной армией и передачу ей сведений и настаивал на том, что утверждения такого рода никогда не смогут быть доказаны. На вопрос о его шанхайском месте жительства он сказал только, что жил во французской концессии.

Необходимо особенно отметить, что он очень заинтересован в ежедневном получении газет, и следует предположить как возможный вариант, что шанхайские газеты могут содержать зашифрованные послания ему, что делается обычно под видом объявлений.» (Заметка Эвереста на полях: «Все экземпляры, которые он затребовал, надлежащим образом проверены».) «В конце беседы заключенный сказал, что вполне вероятно, что он в скором времени раскроет свое имя и национальность. Это, возможно, означает, что он следит за известиями из газет или ждет какого-то другого сигнала, который бы сообщил ему, что настало время для этого. Когда я спросил о его средствах, которые должны быть достаточно велики: учитывая его месячные расходы и находившуюся при нем немалую сумму денег, то ответ его, вполне благопристойный по форме, по сути граничил с издевкой: он сказал, что получил большое наследство от дядюшки, недавно скончавшегося в Австралии.

Его легенда, согласно которой он всего лишь свободный писатель, приехавший в Китай собирать документы для написания книги, в высшей степени сомнительна и, учитывая имеющийся в распоряжении полиции материал, вряд ли может быть рассматриваема серьезно.

Депутат-инспектор особого отдела Локвуд.»

Яков действительно ждал сигнала и был уверен, что рано или поздно его получит. Но он ошибался. Дела его были хуже, чем он думал. Полиция напечатала его снимок в газетах, и хотя его нелегко было узнать на нем — из-за полученных при аресте побоев, его каждую минуту могли опознать соседи, хозяин квартиры, оба боя, старый и молодой, у него работавшие. Уже посыпались ложные опознания. Осколки Белой армии, осевшие в Маньчжурии и рассеявшиеся по китайскому побережью, «узнавали» в нем коммунистов, допрашивавших их в подвалах особых отделов или председательствовавших в местных советах. Так некто Маклаевский опознал на снимке Евсея Карпуховича, бывшего в 1922 году председателем РИКа в Благовещенске, позже служившего в торговом флоте в Китае и сбежавшего во Владивосток во время советско-китайского конфликта. Другой, А.Л. Рутилевский, увидел на фотографии некоего К. Гартмана, который в 1928 году был агентом ГПУ в Иркутске и имел брата, в

недавнем прошлом — служащего шанхайского отделения Дальбанка. Все эти письма дотошно проверялись Прокофьевым и, хотя ни одно из них не пролило света на личность задержанного, но, как это часто бывает в случаях обращения к населению, они помогли кое-кого выявить: пусть не того, кого искали, но все-таки. Один информатор попал прямо в точку. «Человек, чей снимок опубликован в газете, — писал он, — известен среди своих как Абрам или Абрамов». Неизвестно, откуда шла утечка и кто был источник, но Эверест, видно, ему верил, потому что приказал подшить листок к делу.

Рано или поздно личность Якова должны были установить, и это грозило ему полным крахом: учитывая содержание сейфа в квартире на улице маршала Жоффра, — но начальство отмалчивалось и ничего не предпринимало для уничтожения опасных документов. Остальное было сделано сразу же, без промедления: всех, и Рене в первую очередь, спрятали в безопасных местах, откуда она продолжала радировать, как прежде. К ней относились теперь с удвоенной заботливостью и предупредительностью, но ей от этого не было легче: с ней не говорили о Якове, и она знала о его судьбе немногим больше, чем тогда, когда второпях оставила квартиру. Выходить из дома приютивших ее рабочих, сочувствовавших коммунизму, ей не разрешали: чтоб не ставить под удар хозяев, так что она сама была как под арестом. У нее было впечатление, что о ней забыли, — она же не могла больше оставаться в неведении, плюнула на субординацию и вызвала к себе, через посредника, человека из консульства, который, как она знала, осуществлял общее руководство операциями. Они бывали у него в гостях с Яковом и были едва ли не друзьями, но теперь, когда все изменилось, она повела себя так, будто находилась до сих пор с ним лишь в служебных, официальных отношениях.

Он пришел на ее квартиру — нельзя сказать, чтоб с большой охотой и чтоб был при этом очень любезен. Но пришел все-таки.

— Я знаю, Элли, о чем ты будешь меня просить, — предупреждая лишние вопросы, сказал он. — Ты хочешь, чтобы мы пошли на маршала Жоффра и вычистили все, что там осталось. Но мы этого делать не будем. Нам запретили это — кто, ты сама знаешь. Мы не можем плодить провалы, а там много шансов за то, что уже сидит засада.

— Это проверено? — враждебно спросила она. Он взглянул на нее, прощупал глазами, признал:

— Нет, в точности нам это не известно. Но вполне вероятно. А мы не можем действовать наугад, фифти-фифти, — и уже собрался встать и уйти, чтоб покончить с этим крайне

неприятным для него разговором, как она спросила:

— А если пойду я?

Он остановился, помешкал.

— Я не советую тебе это делать. Это нарушение приказа, а у нас за это по головке не гладят — какими бы ни были результаты… Я не имею права допустить этого. Если это сказано не под влиянием эмоций, а является форменным предупреждением, я обязан немедленно изолировать тебя и отправить с первым пароходом на родину… Не делай этого, — еще и попросил он. — Не думай, что нам легко. Ты же знаешь, как мы к вам обоим относимся — к тебе и к Якову… Если попадешься, от тебя все откажутся.

— От Якова вы уже отказались! — мрачно сказала она, строя в уме далеко идущие планы. — Хотя он был само послушание!

Он скривился как от чего-то невыносимо кислого.

— Во-первых, он не так невинен, как ты говоришь. Чего стоит одна история с паспортами?.. Во-вторых, никогда не говори «вы», когда хочешь сказать «мы» — это может быть неправильно понято… Будем считать, что это оговорка. — Он встал — на этот раз окончательно. — Словом, я запрещаю тебе идти туда и ставлю перед командованием вопрос о твоей немедленной переброске к нашим. Тебе не место здесь — с твоим сроком беременности.

— Но не арестовываете все-таки? — ядовито осведомилась она.

— Не арестовываю, — помедлив, согласился он, хотя в эту минуту был готов и на это. — Будь умницей, терпи. Что делать, когда так вышло. Так сложились обстоятельства…

«Что делать?» Она не была фаталисткой, как эти русские, и, едва он ушел, засобиралась в дорогу: взяла имевшиеся у нее деньги — их у нее, как всегда, было мало: больших сумм ей не выдавали — и вышла на улицу. Был вечер. У нее не было даже ключа от квартиры. Она постучалась к соседке — та не стала с нею разговаривать: они не были знакомы — но выслала к ней слугу, который знал ее боя: прислуга в Шанхае была коротко знакома и не нуждалась в представлении. Соседский бой согласился позвать к ней своего приятеля: тот жил неподалеку и давно уже хотел увидеться с пропавшими хозяевами. Здесь могла таиться ловушка, но дороги назад не было. Пока соседский бой ходил за товарищем, она наскоро огляделась — признаков слежки за домом не было, дверь выглядела нетронутой — такой, какой она ее оставила. Впрочем, бой мог открыть ее кому угодно: у него-то ключи были. Все теперь упиралось в него. Он испугал ее: явился не с улицы, а со двора, откуда она его не ждала. Но он был один, и это было главное. Она вперилась в него взглядом, пытаясь

угадать, знает ли он о случившемся или нет, но, как это всегда бывало в Китае, ничего не сумела вычитать по его лицу. Он сказал только, что ждет денег, ему месяц как не платят: может, и знал о судьбе Якова, но больше всего на свете хотел получить свое жалованье. Она сказала ему, что хозяин («мастер») заболел, а она едет к тетке в Тяньцзинь на роды. Денег у нее немного, она отдаст что есть, а остальное вернет мастер, когда приедет из больницы. Тогда он отдал ей ключ и вошел с ней в квартиру. Сейф был заперт, она не смогла открыть его. Осмелев окончательно, она сказала бою, что ей нужно отпереть его, а ключ остался у хозяина: надо взломать замок. Это оказалось для боя несложной задачей — он привел слесаря, который в две минуты открыл железные дверцы. Тогда она отпустила обоих и всю ночь жгла в камине зловещие документы: они уже были переданы в Центр, но Яков берег подлинники, чтобы при случае переслать их с курьером: бумаги бывают важны сами по себе, а не одним своим содержанием — интересны, например, печати и подписи. Она заглядывала в них и дивилась тому, сколько тут было всякого. Они могли бы получше отнестись к товарищу, который добывал, с риском для жизни, столько важной для них информации…

Утром она собрала чемодан, взяла с собой детские вещи, которые накупила в последнее время и которых не хотела оставлять полиции, написала записку: «Я навела порядок. Люблю, верю и жду», оставила ее на столе. За ней снова — на этот раз навсегда — захлопнулась опасная дверь, она наняла рикшу, приехала к своим и не покидала больше своего жилища.

Муравьев, узнав о посещении квартиры, схватился за голову и немедля пошел радировать о случившемся на Родину.

10

В Москве то, что она не подчинилась приказу и самовольно разрубила петлю, затянувшуюся на шее ее мужа, встретили не громом и молниями, как того ждал Муравьев, имевший такой опыт, а куда снисходительнее и даже благодушнее. По-видимому, сам Сталин принимал решения, связанные с этим делом. Тираны не могут жить без осведомителей: как не обходятся они без доносчиков в собственной стране, так же любят они читать донесения из чужих стран, которые таким образом тоже начинают жить как бы у них под колпаками. Другое дело, что они, одержимые манией величия, полагают, что все знают лучше специалистов, и верят разведчикам лишь тогда, когда те подтверждают их взгляд на вещи, и считают их дураками или, хуже, предателями, когда им сообщают нечто идущее вразрез с их мнением, но это уже другая сторона дела. В Разведупре тогда были большие перемены — тем вероятнее, что Сталин сунул свой длинный нос параноика в дело моих родителей, — наверно, через «курировавшего эти вопросы» Ворошилова. Почему Сталин простил нарушительницу приказа, неизвестно — может, и голова тирана бывает ветреной (если можно назвать так голову, в которой дуют одни самумы и суховеи), может быть, он был доволен в это время Францией, с которой, единственной из крупных европейских держав, готовился или уже был заключен выгодный для СССР договор, и он распространил свое отношение к стране на всех французов и француженок — не знаю, но с тех пор мать, кажется, получила то, что по тем временам можно было назвать правом на бессмертие. Сталин, кончая с этим делом, мог сказать Ворошилову: «И вообще не трогайте ее, эту ослушницу» — Рене после этого не арестовывали и не расстреляли, как всех сколько-нибудь заметных (и неприметных тоже) сотрудников Управления.

Опасная выходка всем сошла с рук и даже изменила отношение к Якову. Никто не думал больше отправлять Рене в Союз — несмотря на то, что живот ее не убывал, а, наоборот, рос с каждым часом. К ней стали относиться с особого рода почтительностью, какой встречается непослушание начальству, когда оно увенчивается успехом. Муравьев сказал ей: «Мы что-нибудь придумаем», и ей показалось, что ее хотят сделать свидетельницей освобождения Якова — в награду за верность и мужество, которые ценились в этом кругу больше, чем где-либо. Сам Муравьев, впрочем, ни на йоту не отступался от предписаний свыше. Ему теперь велено было выручать Якова, и он с ведома

Центра выработал два плана спасения. Согласно первому, Якову нужно было подыскать имя и фамилию и подтвердить их записями в приходской книге где-нибудь в той же Франции (с которой легче было бы потом договориться о выдаче); в случае провала этой операции оставался вариант с подкупом стражи и похищением арестованного. Закипела срочная работа. Резиденту во Франции полетела депеша, излагающая суть дела. Из Франции отвечали, что у них есть на примете мэр одного дальнего, на границе с Германией, городка, которого завербовали, когда он был в Париже, и «законсервировали» до первой необходимости. Граница с Германией очень устраивала Центр, потому что легко объясняла блуждания Якова по Европе и его знание немецкого. Поездку в Эльзас и «расконсервирование» мэра, о котором было известно, что он хороший пьяница, поручили Адаму Львовичу Шипову, человеку с нелегкой судьбой, выжившему после семнадцати лет лагерей в Норильске, — в отличие от многих своих товарищей. Это был польский еврей, работавший в разведке с двадцатых годов, он был в разных странах и, уже на пенсионном досуге, говорил, что иностранцу за границей хорошо в трех странах: США, Швейцарии и в Париже — в Америке, потому что там на тебя никто не обращает внимания, в Швейцарии, потому что там все иностранцы, а в Париже, потому что там хорошо всякому. В те годы это был молодой невысокий, плотного сложения весельчак, обходительный, как все поляки, и смышленый, как почти все евреи. Он поехал в Эльзас с товарищем. Они имели на руках расписку о сотрудничестве, которую мэр дал их предшественникам в разгар пьянки, и немалую сумму денег, которая должна была возместить тому моральный ущерб в связи с предполагаемым должностным нарушением. Деревушка находилась на границе между двумя департаментами и была отдалена от больших городов — в этом были и свои неудобства и преимущества…

В Шанхае тоже произошли перемены и подвижки. В начале июня в камеру Якова вошел одетый, несмотря на жару, во все черное человек средних лет в галстуке и лакированных ботинках — с беглым, но более чем внимательным взглядом, ни на чем подолгу не задерживавшимся: не потому, что был поверхностен, а потому, что ему не нужно было много времени, чтобы во все вникнуть. В его чуть легковесных, юношеских манерах было что-то от француза — действительно, он, не теряя времени, отрекомендовался французским адвокатом Полем Крене, которого наняли друзья Якова. Крене назвал их известными негоциантами — это были хозяева торговых фирм, связанных с советским Торгпредством. Чтоб сразу войти в дело и не вызывать

сомнений у своего подопечного, Крене передал ему привет от Элли.

— А что с ней? — Яков встревожился: он редко вспоминал о жене, и теперь ему показалось вдруг, что она сидит в соседней камере.

— Я о ней ничего не знаю, — успокоил его Крене. — Я и о вас мало что знаю, а о ней — тем более. Мне сказали только, что, если я передам вам от нее привет, этого будет достаточно. Я вообще не хочу знать лишнего: это мой девиз, но вам помогу — в меру своих способностей.

Яков обрушил на него град вопросов о своем положении и перспективах, но это был разговор с глухим: Креме сослался на то, что только что вступил в дело, не ознакомился с ним в должной мере и не может сказать ничего положительного, но зато принес передачу с продуктами, которая была принята подзащитным с благодарностью.

Адвокат был настоящий, его проверила сначала, до найма, наша сторона, потом и тотчас — англичане: едва узнали о новом лице в процессе, который был до сих пор внутренним делом шанхайской полиции и английской контрразведки — муниципальный защитник был, что называется, для мебели. Крене был достаточно известный в своих кругах адвокат, доктор права, имевший собственное бюро во французской концессии и корреспондентов в Париже и Лионе. Вышли на него не прямиком, а, как положено, через двух-трех посредников: как через цепь людей, подающих ведра на пожаре — не так жарко, как лезть в самое пекло. Если быть точным, то обратились к нему через некоего Шикина, работавшего простым информатором в его агентстве, но и тот ничего не знал о существе дела, а сослался на приятеля Дзебоеффа, репортера в русскоязычной шанхайской газете «Слово». Тот знал только, что речь пойдет о «Неизвестном красном», о котором газеты и радио прожужжали все уши, и связал Крене с имевшими такой интерес почтенными предпринимателями Поляковым и его зятем Найдисом, вернувшимся наконец из командировки. Крене пожурил их за то, что уважаемые люди не обратились к нему лично, а воспользовались посредничеством лиц, которые сами по себе были не очень представительны. Впрочем, оттяжка оказалась ему на руку: к моменту встречи он успел заручиться согласием своей, французской, разведки — та захотела обставить здесь английскую, которая не всегда и не всем с нею делилась. Ему обещали большой гонорар в случае благополучного исхода дела, он согласился, но подчеркнул, что не хочет знать ничего, что было бы несовместимо с его адвокатскими обязанностями. Он так

настаивал на этом, что Найдис усомнился в том, что он хочет именно этого, а не чего-то прямо противоположного. Он известил об этом начальство, оно сказало только: «Никто ему ничего не скажет, пусть не надеется. Он нам нужен, чтоб потянуть процесс, а они это умеют».

Адаму Львовичу и его приятелю надо было спешить: было потеряно много времени — началась гонка с преследованием и выбыванием. Яков знал свое новое имя и фамилию, фамилии и имена мнимых родителей и деревушку, в которой его угораздило родиться, — все это Поль Крене принес ему, сам того не ведая, в батоне французского хлеба. Яков каждую минуту мог огласить их в суде, но лучше было сделать это после того, как из Франции пришло б подтверждение, что там все в порядке. Между тем суду первой инстанции всерьез надоело его молчание. Военный суд Учани, где рассматривалось дело разведсети Лю, ежедневно требовал его выдачи. Лю с женой ушли, у них не было видных фигурантов дела — одни мелкие исполнители и посредники, а они жаждали большой крови. Ло им отдали, Якова же придерживал, через англичан, Прокофьев, его враг и неожиданный в этом деле союзник, который никак не мог наскрести компромат, достаточный для смертного приговора. Поль Крене оказался мастером своего дела, он часами выступал на суде и пикировался с представителем военного трибунала, но на суд начали давить, и дело передали в следующую инстанцию. Здесь встал вопрос о правомерности найма Крене: новый суд захотел покончить со всем сразу, не дать защитнику говорить и переправить дело в Учань, как того требовала только что пришедшая телеграмма, — из тех, каким не отказывают, хотя вслух их не оглашают.

Приведем стенограмму последнего заседания.

«Первое июня 1935 года. Вторая инстанция Верховного суда. Присутствуют: судья, г-н Поль Ру, представляющий шанхайскую полицию, г-н Цой Кувонг — в качестве представителя юридической службы Генштаба китайской армии, г-н Крене как защитник обвиняемого иностранца, сам иностранный обвиняемый.

Судья (иностранцу): Ваше имя, обвиняемый.

Иностранный обвиняемый: Я его не знаю.

Судья (адвокату): Получили ли вы предупреждение суда о том, что необходимо установление имени обвиняемого для того, чтобы подписанная им доверенность на ведение дел была признана правомочной и вы выступили на его стороне в качестве адвоката?

Г-н Крене: Я до сих пор не могу назвать суду имя

обвиняемого, но это не может препятствовать мне приступить к выполнению моих обязанностей. Я хочу сослаться на статью 168 Уголовного кодекса, которая представляет каждому задержанному право нанять адвоката, принимающего на себя его защиту. В законе нет ничего, что препятствовало бы осуществлению этого права даже в случае, когда имя арестованного остается неизвестным его защитнику. Обвиняемый в ясных и недвусмысленных словах выразил суду желание иметь меня своим адвокатом, и у суда нет оснований полагать, что я защищаю не этого, а какого-то иного человека. На этом основании я прошу суд утвердить меня в процессе в качестве адвоката арестованного.

Судья (г-ну Крене): В Уголовном кодексе действительно нет статьи, ограничивающей права задержанных на их квалифицированную защиту, но наем адвоката является разновидностью деловой сделки, а согласно Гражданскому кодексу такая сделка не может быть признана действительной в случае, если ее стороны не известны и не названы.

Г-н Крене: В таком случае я прошу суд обратиться непосредственно к арестованному с вопросом о его имени и фамилии…»

Судья обращается к арестованному с этим вопросом. Яков многому научился у своего адвоката, поднаторел за время процесса и вел себя не тушуясь и на равных с присутствовавшими здесь юристами.

«Иностранный обвиняемый (судье): Я, Ваша честь, иностранец, но мною занимается Чрезвычайный суд Китайской республики, который, я верю, поступит со мной в соответствии с законом и ничем более. Я арестован несколько недель назад, но до сих пор против меня не представлены какие-либо конкретные обвинения. Полиция не знает даже, кто я. На заседании предыдущего суда я просил разрешить мне нанять господина Крене в качестве защитника. Господин Крене дал такое согласие и заполнил необходимые для этого формы договора, в которых я именован «Неизвестным иностранцем». Теперь суд говорит мне, что этот документ, эта доверенность на ведение дел несостоятельна, так как в ней не указаны мое имя, национальность и прочее. Вопрос, стало быть, стоит таким образом: может ли факт неоглашения мною моего имени, возраста, национальности и так далее лишить меня права иметь адвоката. Всякий арестованный в любой цивилизованной стране имеет право на защиту. Это священное право человека, признанное в самые отдаленные времена и самыми дикими племенами. Почему я должен называть свое имя, возраст и

национальность в контракте с адвокатом, когда закон не требует нигде подобных уточнений от задержанного. В заполненной мною доверенности я назвался «Неизвестным иностранцем» — то есть лицом, которое доставлено на этот суд шанхайской полицией. Если это имя достаточно для того, чтобы меня судили, оно таково же и для моей защиты. Разве в Уголовном кодексе есть статьи, предусматривающие наказания для лиц, отказывающихся назвать себя и дать о себе паспортные сведения? Пусть те, кто арестовал меня, устанавливают их: если это им так нужно: им следовало сделать это до моего ареста. Как вообще могли арестовать они того, кто им неизвестен? Это делается тогда, когда можно доказать, что данное лицо совершает правонарушение, когда его схватывают на месте преступления, но это далеко не мой случай.

Судья (иностранному обвиняемому): Суд безусловно не может воспрепятствовать вашему праву нанять адвоката, но если вы не внесете необходимые сведения о себе в доверенность на ведение дел вашим защитником, такой документ будет признан несостоятельным и ни один ваш представитель не будет допущен в суд, пока не представит надлежащим образом заполненного поручения представлять в суде ваши интересы. Суд решил прекратить прения и вынести на этот счет Постановление. — (Читает Постановление суда соответствующего содержания.) Иностранный задержанный: Поскольку я нуждаюсь в квалифицированном защитнике, суд вынудил меня сообщить мое имя и другие сведения истории моей жизни и происхождения. Мое имя Жозеф Вальден, мне 39 лет, я родился в деревне Урлус в Эльзасе в 1895 году и являюсь французским подданным. В последующем я жил в разных странах Европы, включая Латвию и Германию.

Г-н Ру (из полиции): Поскольку обвиняемый сообщил нам, что он является подданным Французской Республики, полиция нуждается в проверке сообщенных им данных и факта наличия у него французского гражданства.

Судья (г-ну Ру): Кажется, вы запрашивали уже французское консульство относительно этого арестованного вскоре после его ареста и оно его не опознало?

Г-н Ру: Полиция настаивает на новых контактах с французским консульством для более тщательной проверки сообщенных арестованным сведений. Мы должны сделать это сейчас — во избежание неприятностей в будущем. Если обвиняемый действительно француз, он будет передан французскому суду и ему остается только винить себя в столь длительном пребывании в шанхайской тюрьме — что ему стоило назвать себя раньше?

Г-н Цой (из китайского генштаба): Я не согласен с мнением полиции. Об обвиняемом уже известно во французском консульстве, он не был признан там французским подданным. У меня создается впечатление, что китайские гражданские власти стремятся к выдаче арестованного иностранцам. Если они решат, что он является французским подданным, они отдадут его французам, хотя ясно, что все, что говорит задержанный, является заведомой ложью. Единственное, чего он добивается, — это бесконечной и ни на чем не основанной затяжки процесса, чтобы попытаться таким образом уйти от ответственности за свои преступные деяния.

Обвиняемый: Я протестую, Ваша честь! Я считаю скандальным нарушением уже то, что полиция арестовала меня и распространяет обо мне небылицы, называя меня русским и «красным». Я не был признан своим во французском консульстве по той простой причине, что не зарегистрировался в нем по прибытии в страну. Кроме того, они не знали тогда моего имени и не имели возможности его проверить. Не сделал я этого тогда ввиду обстоятельств, о которых не могу сообщить суду и ныне. Теперь, насколько я понимаю в этих делах, суд должен прежде всего подтвердить или отвергнуть ставшие ему известными мое имя, национальность и прочее — и затем решить вопрос о моей юрисдикции, о том, какой суд должен мною заниматься.

Судья: Вы можете предъявить нам французский паспорт?

Обвиняемый: Я не собираюсь представлять суду какие-либо доказательства сообщенных мною данных. Дело суда — заниматься этим.

Судья: Как вы докажете суду, что вы гражданин Франции?

Г-н Ру: Этим, по существующему порядку вещей, займется полиция.

Судья (Г-ну Ру): Может ли полиция закончить свои предварительные изыскания к ближайшему понедельнику после полудня?

Г-н Ру: Да, Ваша честь.

Судья: Мы получили телеграмму от Юпехского отделения Третьей инстанции Верховного суда, требующую передачу обвиняемого им для дальнейшего расследования его дела. — (Передает телеграмму г-ну Ру.) Г-н Ру (читая ее): Я ознакомился с текстом телеграммы и не вижу препятствий к тому, чтобы обвиняемый был передан в эту инстанцию — в случае, если он не будет признан французским подданным. Я думаю, что для проверки понадобится в общей сложности пятнадцать дней, — учитывая необходимость привлечения к делу компетентных органов Французской Республики». — На этом заседание суда

закрылось.

Теперь пошел счет не на дни, а на часы и минуты. Все зависело от ловкости Адама Львовича и его товарища. Они наняли на фальшивые документы машину и поехали к месту предполагаемого рождения Якова. Выбирали окольные пути, оставляя в стороне крупные города и объезжая полицейские участки: чтоб не примелькаться в дороге и не запомниться парижскими номерами — тогда машин было немного и каждой уделяли внимание — и без осложнений добрались до городка, где жил мэр, которому была подведомственна деревушка, названная Яковом на процессе. О предстоящей встрече его не известили — во избежание лишнего шума и ненужных свидетелей на переговорах. Этот человек, которого парижские коллеги обрисовали как законченного пьяницу, вовсе таким не был: это был коренастый, небрежно, несмотря на свое выборное достоинство, одетый городской крестьянин, глядевший раскосо, в разные стороны, но так, что один глаз другого стоил и ни одному из них нельзя было верить. Когда с ним знакомились в Париже, он там гостил или приехал туда с делами: провинциалы в таких случаях щедры на посулы и готовы завязать знакомство с самим чертом и обещать столичным жителям хоть кресты со своей звонницы — лишь бы те согласились к ним приехать. Он совершенно не помнил, чтобы кто-нибудь его вербовал и, тем более, «консервировал», и никак не мог сообразить, о чем идет речь, несмотря на более чем прозрачные намеки Адама Львовича, делавшегося в ходе разговора все настойчивее и напористее. Наконец они сели за стол, решив, что так память хозяина быстрее прояснится. Гости привезли с собой пару бутылок выдержанного бордоского — запасливый хозяин тут же спустил их в свой погреб и вынес взамен бутыль домашней кислятины. Адаму Львовичу это показалось плохим предзнаменованием, он лишь пригубил свой стакан и без дальнейших проволочек предложил виноделу внести задним числом в его приходские книги своего приятеля Жозефа Вальдена: его родители, мол, были здесь проездом, успели родить сына в такое-то число такого-то месяца в такой-то деревушке, но не оформили сделку, и он попал теперь из-за этого в переплет и в немалые затруднения. Мэру была в новинку и в диковинку эта чисто русская торговля мертвыми душами, и он никак не мог в нее вникнуть. Тогда Адам, бывший в этой паре за главного, пошел ва-банк и выложил одной рукой на стол расписку мэра с его обязательством сотрудничать с советской разведкой и признанием получения от нее некоторой суммы и другой, в качестве противовеса, новую пачку ассигнаций — толще первой, парижской. Мэр глянул одним кривым глазом на расписку,

другим на стопку денег, взвесил их на своей переносице, почувствовал недоверие к гостям и, тем более — к их липовой бумажке, которую не помнил чтоб подписывал: отнесся к ней с презрением крестьянина, который ни в грош не ставит ни один документ, если он не связан с правами на владение землей и стоящей на ней недвижимостью.

— Что за бумага вообще?! — возгласил он, готовясь к драке. — Нотариусом она заверена?! Кто на ней расписывался?! Это не мои каракули!

Он вскочил, поднял шум, попытался отстранить от стола и от лежащих на нем денег Адама и его приятеля, закричал, что позовет полицию, но Адам, не будь дурак, схватил деньги со стола, сунул их в чемодан, сорвал одежду с крючка у двери и был таков, вместе с товарищем. Машину они до дома не довели: побоялись, что скомпрометируют хозяина, — теперь же, радуясь уже за себя, побежали в соседний лесок, где она преспокойно дожидалась их, замаскированная ветками. Назад они ехали с еще большими предосторожностями и на всякий случай перебрались лесными дорогами в соседний департамент: охота на людей идет в пределах административных единиц — для расширения ее за их пределы необходим региональный или национальный поиск. Приехав в Париж, они тут же отбили зашифрованную радиограмму о неуспехе предприятия и крахе всей легенды: имя Вальден нельзя было оглашать на суде, но это было уже поневоле сделано. Хорошо еще, что радиосвязь из Парижа в Шанхай через Москву шла быстрее, чем официальный телеграф французского правительства.

У заговорщиков оставался минимум времени. Вступал в действие план подкупа чиновников и похищения арестованного — к нему начали усиленно готовиться. Дело было рискованное: подкуп большого числа лиц быстро раскрывается, и вместе с Яковом, в случае успеха предприятия, должны были быть вывезены его исполнители. Направляли на такие дела тех, с кем и без того хотели расстаться и вернуть их на родину. Руководство операцией поручили тому же Найдису, который уже засветился в деле, нанимая господина Крене: да с другим бы и не стали разговаривать чиновники, которым предлагали взятку. Они бы и с Найдисом не стали говорить — если бы не предварительный звонок и не протекция его тестя, который был известен в Шанхае и знаком кругам, близким к правительственным; сам он этим делом заниматься не стал: слишком оно было тухлое. Чиновники в разговорах с его зятем отшучивались, расспрашивали, каким образом он хочет провернуть эту аферу, выражали сомнение относительно ее шансов, но деньги, как за консультацию, брали и

даже выдавали расписки: правда, не за всю сумму, а за ее треть или четверть. Найдис шел на это, думая, в простоте душевной, что важно письменное свидетельство, а не бухгалтерски точная квитанция: у него скопился с десяток таких бумажек. Наконец один из судебных предложил ему попросить суд отпустить Якова на день для приведения в порядок его дел, финансовых и прочих — пусть в присутствии конвоира — и для этого дать деньги судье Циню, с которым он будто бы уже договорился и который должен согласиться на такой выезд. Найдис поверил, решил, что ему помогают, а на деле чиновники уже переметнулись на сторону правительства и известили контрразведку о готовящемся похищении. К этому времени пришли и широко распространились вести из Франции — стало известно, что арестованный дал о себе ложные сведения, никто и не думал совать голову в петлю. Один из старых приятелей Полякова, руководствуясь этикой бизнеса, ставящей деловые интересы выше государственных, позвонил ему и предупредил об опасности — тот сказал лишь, что от него мало что зависит и ему наплевать на делишки зятя: сдал его с потрохами. Судья Цинь не стал торговаться, деньги взял не считая, один из всех дал расписку на всю сумму: он ведь был человек порядочный — и разрешил Якову выход из стен тюрьмы для приведения в порядок финансовых дел — конечно же в сопровождении конвойного. Все шло как по маслу. Группе захвата, которая должна была перехватить Якова едва ли не по выходе из тюрьмы, по распоряжению Центра были приданы два американца, с которыми Яков встречался накануне ареста. Он сам приложил к этому руку, и вот каким образом. С этими американцами и без того не знали что делать: они прибыли из Штатов самотеком, без официального представления американской Компартии — два энтузиаста, горящие желанием помочь Китаю в его борьбе с колониалистами, — неизвестно как получили телефон коминтерновского работника в Шанхае, что было подозрительно, — а тут еще Яков подлил масла в огонь, вовсе этого не желая, и вот каким образом.

Господин Крене, которому нечего было делать в ожидании новостей из Франции, отрабатывал свои немалые гонорары, посещая в тюрьме подопечного, принося ему человеческую еду, по которой он истосковался, и соглашаясь на передачу на волю записок невинного содержания, — например, той же Элли, существованием которой он очень интересовался: как всякий француз, который всюду ищет женщину и смягчается душой, когда история приобретает романический характер. Он сам предложил Якову эту услугу. Яков писать Элли не стал, но не нашел ничего лучшего как передать на волю два отчета, которые

задолжал руководству и не написал по причине ареста: хотел, видно, показать, что он все еще в строю, не выпал из боевой обоймы. Он конечно же всячески замаскировал их, не назвал ни имен, ни частностей, по которым можно было бы установить, о ком идет речь, но те, кому они предназначались, во всем сразу же разобрались. Это были отчеты о посещении семьи Найдиса: он был составлен в осторожно неодобрительных тонах — и двух американцев: эти были расписаны в хвалебных, едва не восторженных тонах — два бескорыстных энтузиаста, сочетающих пылкость убеждений с чисто американской хваткой и практичностью. Но после этих восхвалений, после бочки меда Яков выплеснул на своих любимцев ложку дегтя, которая очернила все прочее: он подметил ненароком, что они спали в одной кровати.

Вышел тройной скандал: Яков, видно, плохо представлял себе, с кем имеет дело. Во-первых, господин Крене, когда договаривался с Найдисом, допускал возможность мелких прегрешений, на которые идут все адвокаты мира и которые не грозят серьезными последствиями при их раскрытии: проносят семейные письма, еду, иногда деньги, но такое?! Хоть он и не читал переданных ему листков, исписанных мелким бисерным почерком, было очевидно, что это продолжение той самой деятельности, которую они с его подопечным всячески отрицали и о которой он, Крене, ничего не хотел знать, а его сделали курьером, чуть ли не сообщником преступления. Не будь он профессионалом высшей марки и не залезь так глубоко в дело, то немедля бы из него вышел, но теперь, учитывая новые аспекты дела, он настаивает на повышении гонорара: если рисковать, то хоть было б за что — он согласен проносить такие документы и дальше, но за двойную плату.

— Так и сказал? — спросили Найдиса его руководители. — Ничего он не получит — ни новых бумаг, ни повышения гонорара! Ну Абрам!

Во-вторых, отчет о сложном положении в семье Полякова-Найдиса, которое описывал Яков, попало в руки герою его повествования, и хотя тому было в высшей мере наплевать на него, все равно — мало приятного читать, как роются в твоем грязном белье да еще доносят о нем начальству. Найдис выругался, но передал отчет по инстанции — симпатий к Якову это ни ему, ни им не прибавило. Что касается начальства, то оно пренебрегло его отчетом: с Найдисом и так все было ясно — он слишком увлекся ролью зятя большого финансиста, не являлся на вызовы, ссылался на служебные командировки, путал свои деньги с казенными и как-то весь обуржуазился: стал нервным, злым и

раздражительным — ему давно было пора съездить на родину, проветриться.

В-третьих — и это решало уже судьбу американцев — то, что Яков усомнился в их половой ориентации, делало честь его наблюдательности, но в таких случаях лучше уж прикинуться слепым и глухим, чем быть проницательным ясновидцем: всякий здравый ум требует, чтоб его держали порой в узде, на привязи. В Управлении не жаловали гомосексуалистов: мужчины здоровой ориентации не любят, когда к ним примазываются чужие, — их терпели по необходимости, но старались с ними не связываться. Но это — в Управлении. Что до верхов, которые в данном случае руководили операцией, то там этот народ на дух не переносили: там и бабник Зорге был под подозрением, а уж это?! Были бы свои, к которым уже привыкли, но эти были со стороны, зеленые новички, почти случайные прохожие. Мало того что без рекомендаций и партийных билетов, так еще и педики! Их и решили бросить на похищение Якова — с тем, чтобы в случае как успеха, так и провала операции больше к ним не возвращаться.

Между тем бой с улицы маршала Жоффра, не дождавшись остатка долга, опознал в газетной фотографии своего «мастера». Нагрянула полиция, он рассказал, что хозяева ушли 4 мая, но хозяйка приходила еще раз, чтобы открыть сейф, провела в квартире ночь, после чего исчезла уже окончательно. Было установлено, под какой фамилией неизвестный жил до ареста: в Китае он имел документы на Максима Ривоша, уроженца Латвии и латвийского подданного. В Ригу немедленно полетел запрос об этом гражданине, в квартире был произведен тщательнейший обыск. Даже после того, как здесь прибралась Рене, кое-какие компрометирующие Якова бумаги были все-таки найдены кропотливыми сыщиками — снова не прямые улики, но косвенные доказательства противозаконной деятельности. Это был, в частности, черновик письма, который он когда-то читал Рене как образец революционного творчества: копирка с его оттиском завалилась за диван и прилипла к обивке. Была еще тетрадь расходов за апрель — на этот раз исчерпывающе полная, которая сама по себе выглядела как визитная карточка разведчика. Действительно, кому из обеспеченных людей пришло б в голову тратить деньги таким образом и отчитываться потом в расходах — перед кем, главное?

Вот эта приходно-расходная книга советского резидента, которую Рене не уничтожила вместе с планами операций китайского генштаба: наверно, впопыхах ее не заметила или слишком уж к ней привыкла.

«Платежи в апреле». (Все в долларах.) «255 — фотокамера.

50 — переводчик.

200 — жена (пребывание в Ханьчжоу).

120 — кантонская девушка.

61 — старый дом.

85 — второй человек из радио.

30 — дочь банкира.

20 — второй человек из радио (возмещение его расходов).

30 — Брат (прожитие и встречи в кафе).

25 — Брат (квартира и другие расходы).

25 — Брат (путешествие в Ханькоу)». Похоже на то, что Братом Яков называет Ло, без конца требовавшего денег.

«122 — бою.

14,0 — новый телефон.

7,58 — телефон в старом доме». (Была, видимо, еще одна квартира, использовавшаяся как явочная.) «30.00 — жене на платья.

16.00 — чемодан для Брата.

500 — девушка из Нанкина.

100.00 — мне на прожитие.

55 — человеку из Юпех (30 на прожитие, 25 на устройство).

15 — второй человек из радио (расходы в кафе, связанные со встречей с девушкой).

60 — путешествие жены в Рендри.

10 — японские бумаги (человек из Сычуани).

80 — второй человек из радио (2 месяца, май и июнь).

50 — второй человек из радио (лечение).

Всего до 2 мая — 3,317.

Приход в те же дни 3,600.» (Интересно, что эта сумма выдавалась Якову в течение апреля в семь приемов: видно, в кассе посольства постоянно не хватало денег.) «Баланс 303,21». (Примерно с этой суммой он и был арестован.) Детективы нашли конечно же и записку Рене, оставленную ею на видном месте, и несколько книг-путеводителей, купленных ею во время путешествия и подписанных ее тогдашним уругвайским именем. Ясно было, что это была соучастница арестованного, которая успела попасть в квартиру раньше полиции и сожгла большую часть компрометирующих его бумаг: в камине еще серела горка пепла. Объявили розыск Денизы Жислен 23-х лет, уругвайской подданной, родившейся в Брюсселе в Бельгии, имевшей постоянное место жительства в Нью-Йорке, студентки, прибывшей в Китай из Венеции через Индию и т. д., но поиски, естественно, ни к чему не привели — уперлись в отель, где Рене томилась и ждала связного и откуда бесследно исчезла. Проверили даже тех, кто приехал с ней на пароходе «Полковник ди Лина», — там был

некто с русской фамилией Вовишефф: к нему приставали особенно долго, но все попусту.

Впрочем, у следствия были и успехи — дело шло к концу, раздавались его заключительные аккорды. Почти одновременно с официальным «нет» на Жозефа Вальдена из Франции, из Риги пришло очень сомнительное «да» на Максима Ривоша. Он действительно был известен латвийской полиции, жил сейчас в Латвии, а до того — в Германии, где у него летом 1933 года вместе с бумажником был украден паспорт, который ему пришлось восстанавливать: китайский Максим Ривош жил под этим, утерянным, документом.

Петля на шее Якова стягивалась. Найдису было велено форсировать события и использовать последний шанс, если таковой имелся. Тесть попытался его отговорить: родственные чувства напоследок взыграли в нем.

— Мне сказали знающие люди, — сказал он зятю: до этого все колебался: не отправить ли его и вправду за решетку, как того хотела (на словах, во всяком случае, дочь Люба), — что это дело гнилое и чтоб ты не лез в эту авантюру.

— А как ты себе это представляешь? — спросил его тот. — Что я скажу нашим?

— Скажи, что это невозможно. Лишние потери, и ничего больше.

— Ты думаешь, с ними можно так говорить? Это тебе не бизнес, не партнеры по делу, с которыми можно спорить и торговаться.

— Они тебя хотят подставить, — сказал Поляков, который был в своем роде честным негоциантом, за что его и уважали в обществе, но зять и без него знал это:

— Ничего. Лучше отсидеть пару лет, чем терпеть эту каторгу.

— Ты мою фирму имеешь в виду? — удивился тот.

— И твою и эту — все вместе. Сколько дадут за дачу взятки? Вряд ли много в этой стране: нельзя ж рубить сук, на котором сидишь. Будешь мне передачи носить?

Тесть снова удивился, на этот раз — постановке вопроса, пожал плечами:

— Я собственной персоной нет, но кто-нибудь из еврейской общины — обязательно. Мы своих не бросаем.

— В отличие от наших? — спросил зять, но тесть, не любивший политических обобщений, только выразительно отмолчался. — У меня масса расписок. — Зять кивнул на письменное бюро. — Вряд ли они меня с этим засудят.

Поляков построжел и посуровел: он не любил шутить на краю пропасти.

— Не полагайся на расписки. Эти иероглифы для того и существуют, чтоб не разобрать, кто подписывается. Они ж не пишут, а рисуют — нужна искусствоведческая экспертиза, а не графологическая… У тебя и судья Цинь деньги взял?

— Взял и не моргнул и глазом.

— Ну и плохи тогда твои дела, — сказал тесть и пошел в контору — изымать лишние бумаги: он ведь тоже был не без греха, и ему, в случае обыска, лучше было бы кое-что припрятать…

С этим дружеским напутствием и предупреждением зять отправился встречать у тюрьмы Якова, которого в этот день должны были отпустить на один день с сопровождающим. Яков был предупрежден о предстоящем через помощника адвоката: Крене, учуяв неладное, перестал ходить к нему и посылал вместо себя доверенного — тот и принес Якову длинный батон со скрученной в нем запиской. В назначенный час Якова вывели из тюрьмы, где у ворот его встретил Найдис, — они прошли квартал, дошли до автомобиля, где сидели два американца. Едва они приблизились к ним, Марк и Эдвин выскочили из машины и затолкали Якова вместе с конвоиром на заднее сиденье. Солдат не сопротивлялся: видимо, был предупрежден заранее, — тут же отовсюду набежали скрытые до того агенты в штатском и вновь арестовали пытавшегося бежать узника вместе с его несостоявшимися освободителями, с Найдисом и американцами. Яков на сей раз сопротивления не оказал: слишком обескуражен был неудавшейся попыткой спасения. Дело было представлено как блестящий успех шанхайской контрразведки, на дому у Найдиса провели обыск почище того, что был у Ло или у самого Якова, — все расписки чиновников, вместо средств шантажа, на что рассчитывал Найдис, стали уликами против него, они, впрочем, были изъяты из дела и навсегда скрылись от чужих глаз в полицейских архивах. Высокопоставленные чиновники отдали казне деньги — те, за которые расписались: остальное оставили себе в качестве вознаграждения. От Найдиса требовалось только одно: чтоб он не разглашал в суде истинного размера взяток, — в обмен ему пообещали небольшой срок с относительно мягкими условиями пребывания, и он пошел на этот сговор. С американцами же вышло недоразумение. Эти стали в позу героев и, подражая Якову, отказались назвать себя и приготовились повторить его анонимный подвиг. Лишние «Красные незнакомцы», однако, никому нужны не были. Руководство передало сидевшему в тюрьме Найдису, чтоб он, пусть ценой предательства, назвал на суде их настоящие имена и фамилии, и после установления личностей их передали в американский суд,

который приговорил их к высылке на родину, — на этом их китайская эпопея закончилась.

Якова передали в военный трибунал в Учани. В августе состоялся суд над ним и его немногочисленными сообщниками. На стол судей легли уже известные читателю бумаги, письма и документы, которые, в сочетании со свидетельскими показаниями Ло и Ванг, убедили суд в его противоправной коммунистической деятельности: хотя прямых улик не было, совокупность косвенных была вполне доказательна. Ванг, проходившая в этом процессе как свидетельница (основное ее дело разбиралось в Нанкине), сообщила суду, что 27 апреля обвиняемый направил ее в Ханькоу, чтобы она предупредила предателя Лю, что ему грозит опасность и что он должен бежать, за что получила от Ло семьсот долларов, — цифра, бухгалтерски точно подтвержденная тетрадями расходов Ло и Якова. Она же, по приказу Якова, пошла в гостиницу к супруге Лю, чтобы помочь ей бежать, но были ли у нее другие пособники — она этого не знает. Ло продолжал вилять, путаться, обвинял Якова, но так, чтоб не топить себя самого, выдал еще одного китайца, у которого дома нашли рацию: тот ею не пользовался, хотел только учиться радиоделу, но ему не поверили и, за неимением других, приобщили к списку главных фигур дела. Яков по-прежнему все отрицал, упрямо называл себя Жозефом Вальденом, утверждал, что не знает ни Ло, ни Ванг и что стал жертвой полицейского сговора.

Суд длился неделю. Якова приговорили к пятнадцати годам тюрьмы строгого режима. Могли и расстрелять: к этому дело и шло — но в последний момент застучал правительственный телеграф: Сталин не любил, чтобы его агентов расстреливали без его на то согласия и соизволения. Чан Кайши напомнили, что слишком жесткое обращение с «Неизвестным красным» может плохо сказаться на здоровье его собственного сына, который сидел в Советском Союзе. После этого приговор претерпел неожиданные для всех изменения, и Яков отправился в военную тюрьму в Ханькоу, известную, правда, своими пагубными для узников условиями содержания, так что смертный приговор, вместо отмены, как бы растянули во времени.

Ло и его брат в Ханькоу, а также несостоявшийся радиолюбитель, попавший в жернова процесса в самом его окончании, были расстреляны. Ванг вернулась в Нанкин, где ее взяли на поруки семья и управление Тангпу, ведавшее перевоспитанием раскаявшихся коммунистов. Пострадал еще бой с улицы маршала Жоффра: не дождавшись денег от своих хозяев, он взял у них в счет зарплаты пишущую машинку и радиоприемник. Оба предмета представляли собой интерес для

полиции, которая хотела идентифицировать тексты бумаг, подозрительных на авторство Якова, но машинку так и не смогли найти: она сгинула на шанхайских рынках. Разозлившаяся на боя полиция обвинила его в воровстве, и суд дал ему два года, со всеми вытекающими последствиями для его будущего трудоустройства. Процесс был незаконен во всех отношениях: хозяева не подавали на боя жалобы, они действительно были должны ему, но на китайцев в то время не распространялись поблажки и юридические церемонии, какими одалживались иностранцы. Найдис тоже получил два года, по отбытии которых уехал в Союз. Странное дело: вместе с ним туда последовали и Поляков и его дочь Люба, и следы их после этого теряются…

Кто еще пострадал? Прокофьев, доведший дело до логического завершения, праздновавший победу и испытывавший в связи с этим радость мщения, заметил, что перестал получать окольные весточки от оставшихся в России родственников, а еще через некоторое время положительно узнал, что они арестованы и исчезли из мест, доступных общему обозрению. Вскоре он сам начал видеть вокруг себя людей подозрительных своей серостью и неприметностью — или ему казалось это? — и уехал, от греха подальше, в недоступную для большевиков Австралию…

В одну из темных дождливых ночей Рене доставили контрабандой в порт. Здесь в потемках, по шатким мосткам два офицера подняли ее на руках на корабль, вскоре после этого вышедший в море в направлении Владивостока. Ранним утром разыгрался шторм, корабль трясло, она не усидела в каюте, вышла на палубу, испытывая потребность остаться с глазу на глаз с ревущим морем, ненасытно разверзающим перед ней свои злобные пасти, — оно одно могло если не обуздать, то утихомирить ее чувства. В ней тоже все клокотало и рвалось наружу. Она оставляла в китайской тюрьме мужа, везла в себе их общего ребенка и воспринимала все происходящее с ней как конец ее жизненного пути, как обрыв ее существования. Только зрелище бушующей за бортом стихии, ежеминутно порывающейся напасть на корабль и достать ее рукавами брызг и потоками воды на палубе, могло остудить этот внутренний и сжигающий ее жар: чувство опасности будило в ней слабеющую и прерывающуюся тягу к жизни. Она вцеплялась в поручни, когда ноги проваливались под ней вместе с палубой, не отводила глаз от вплотную накатывающихся волн, готовых снести ее, а рядом с ней стоял вахтенный офицер, тревожившийся за пассажирку и потому от нее не отходивший. Он отдал ей ветровку, и так они и простояли вдвоем весь шторм: офицер в мундире и она в расклешенной ветровке, на девятом месяце беременности…

На следующий день ветер к полудню стих, пассажиры высыпали на палубу, и она увидела здесь людей, знакомых ей по Китаю: здесь была и Херта Куусинен, и радист из Коминтерна, расположившийся со своей рацией этажом ниже на улице маршала Жоффра, и еще несколько лиц, к которым она, по законам продолжающейся конспирации, не подходила и чей срочный отъезд был связан с двойным провалом: Якова и операции по его спасению.

Во Владивостоке над ней продолжали шефствовать офицеры флота, делавшие это с армейской исполнительностью и морской галантностью. Они разместили ее в общежитии, где ее снова, как в Японии, ужаснули крысы: они обнаглели до того, что пили воду из питьевого бачка в коридоре, — затем ее посадили на московский поезд. То ли дорога была перегружена, то ли билет покупали второпях, по-военному, но ей досталось место на верхней полке. На двух нижних сидели четыре мужика в изношенной одежде, какую надевают, когда все равно в чем ходить и чем старее, тем лучше: чтоб не жалко носить было. Они собирались провести ночь на лавках и были сильно выпивши: не навеселе, а, напротив, нагрусте и насурове. В первый раз она приехала в Союз с парадного подъезда — теперь как бы с заднего хода. Впечатления поэтому были иными, чем тогда: она увидела страну под новым для себя углом зрения.

— Попросите их: они вам нижнее место уступят, — не то посоветовал ей, не то попросил тех сопровождавший ее лейтенант. — Женщина в положении, — подсказал он им, поскольку мужики не смотрели в ее сторону и живота ее упрямо не видели: беременность не произвела на них большого впечатления — в деревне к ней относятся проще, чем в городе.

— Да ничего с ней не сделается. Что она, рожать сюда пришла? Здесь шесть мужиков всю ночь просидят — чем ей одной лежать, дрыхать, — произнес один из них: видимо, старший или одаренный даром речи в этой компании — остальные глядели кто куда, не хотели ни во что ввязываться, а слезать с насиженного места — того менее.

— Сидеть и наверху можно, — не унимался лейтенант, которому велено было устроить Рене удобнее.

— Там, пожалуй, недолго просидишь. Что мы тебе — куры на насесте? — И сосед решил кончать затянувшийся спор: — Наливай давай. Пока еще кто не пришел.

Его сосед встрепенулся при этих словах, оглянулся для приличия по сторонам, полез в сапог за начатой бутылкой.

— Ну и народец! — пожаловался лейтенант, но его упрек если и задел их, то на лицах их это никак не отразилось.

Рене только расположилась на верхней полке, как в проходе между нарами: мужик как в воду глядел — замаячило новое лицо. Это был японец: моложавый, как все они, невысокий, подтянутый и улыбающийся во весь рот, вплоть до очков, о которые его улыбка разбивалась, как волна о твердую дамбу. У него был билет на нижнюю полку, который он немедленно выставил на всеобщее обозрение и залопотал что-то на певучем и ломаном русском, пытаясь убедить им пассажиров. Мужики, которые, вообще говоря, случайно оказались в московском вагоне, поскольку ехали до какого-то пункта под Хабаровском, связываться с заграницей не стали, но сели в одну сторону: один держал в руках бутылку, остальные зло и мельком поглядывали на незваного пришельца. Пить в строй, одной шеренгой, передавая стакан от одного к другому и не видя, как пьет товарищ, было неудобно и не по-русски, — японец испортил им все удовольствие. А он словно не видел этого: сидел щеголем напротив, садился то ближе к головному концу, то дальше от него, широко расставлял ноги, натягивал на брюках стрелки, потом встал, прошелся по вагону, вернулся на свое место, перешагнув через ноги сидящих: все как дерзкий завоеватель. Мужики решили не обращать на него внимания, допили водку и разом дохнули в его сторону. Тут он принюхался, забеспокоился, поднял глаза, увидел Рене и предложил ей поменяться местами. Мужики одобрили это переселение. С бабой легче было сговориться: один сел ей в ноги — благо она свернулась в клубок, второй — на чужой чемодан в конце прохода: привычная перекрестная диспозиция восстановилась, мужики распили и вторую бутылку, и все было бы хорошо, если бы они, выпив, не вздумали ссориться и ругаться.

— Я ее разглядел, понимаешь, — говорил один другому в приливе пьяных чувств: остальные ушли к проводнику в поисках новой бутылки. — Мимо других прохожу! С бабами вообще не разговариваю! У меня с ними короткий разговор! — и объяснил какой, отчего Рене поежилась. — А тут рассмотрел! Понимаешь? Вижу, в ней особенное что-то! Это я тебе с глазу на глаз говорю, никому больше, а говорю не зря! Потому как разглядел, а у меня на это глаз острый!..

Он долго бы еще распространялся в таком неопределенном духе — слушатель кивал, соглашался и никак не мог его унять, потому что от рассказа тот только распалялся еще больше. Наконец речь его сама собой пресеклась, он от избытка страстей пошел в тамбур, чтоб досказать кому-нибудь то, что собеседник, по его мнению, понять был не в состоянии. Тот остался сидеть — к нему подсел третий.

— Что он говорил тебе?

— Да, понимаешь, баба какая-то мимо прошла — допек совсем! Пристал как банный лист!.. Слушай, а что он ко мне пристал? — с запозданием обозлился он. — Что я ему, мальчик, что ли? За воротник хватал — баба у него, видишь ли, особенная! Я ему покажу сейчас, какая она особенная! Какая бы баба ни была, зачем рубаху рвать?!

— Да она у тебя не порвана. — Это был мужик, который поначалу отвечал за всех — он был солиднее и основательнее прочих.

— А вот мы ее сейчас и порвем! — без всякой логики воскликнул тот и сорвался с места — догонять обидчика, но по ошибке побежал в другую сторону.

Это задело уже его компаньона.

— Куда ж ты пошел-то?! Тебе в другую сторону надо!.. — Тот, не слушая его, рвался к противоположному тамбуру, сшибая на ходу застрявших в коридоре пассажиров. — Тебе ж говорят, в другую?! — завелся его товарищ и бросился за ним в погоню — вскоре и в этом конце коридора завязалась драка, причина которой была никому уже не понятна…

Потом все угомонились и сели кто куда: двое на лавку против Рене, двое где-то в вагоне. Японец лежал наверху и не спал, боясь за себя и радуясь тому, что вовремя сменил полку. Рене, привыкшая к чувству постоянной опасности, никого не боялась, но ее смутил и озадачил беспредметный спор и настрой ее соседей. Она сама была не из аристократок и понимала, что простой народ живет своими интересами и не склонен к решению мировых вопросов: так было и у нее на родине — но у французских крестьян и в повседневных житейских спорах можно было проследить свой интерес и логику — здесь же она не понимала, о чем идет речь и отчего они так друг на друга взъелись. Правда, она не все понимала в их разговоре: он постоянно перемежался матом, который был ей плохо знаком и который она воспринимала как знаки препинания в сообщениях, передаваемых не вполне понятной ей азбукой Морзе…

Утром смутьянов и драчунов не стало, их места заняли вполне приличные люди в выходных костюмах, извинявшиеся всякий раз, когда в ее присутствии меняли части туалета, — с ними стало и скучней и спокойнее. Поезд стучал на разъемах рельс, дышал гарью, оседавшей на белье, так что окно пришлось закрыть по общему согласию. Пассажиры были воспитанны и ненавязчивы — один только японец, помня услугу, которую оказал молодой даме в интересном положении, считал, что она в долгу перед ним, и в качестве компенсации спрашивал о всех

географических точках, мимо которых они проезжали:

— А что это за речка? А что это за мостик?.. — хотел, видно, заучить все реки и мосты от Москвы до Владивостока…

В Москве ее встретил Федор Яковлевич Карин, начальник восточного агентурного отдела Управления. К ней относились по-прежнему с особой бережностью, вниманием, едва ли не почтительностью. Карин отвез ее к себе домой, потом на дачу — туда вызвали акушера. Врач уверил Рене, что все в порядке, что она должна родить нормального ребенка. Думала она теперь только о предстоящих родах и купила все необходимое для ребенка: то, что было приобретено, осталось в Китае. В частности, в Торгсине она выбрала красивую коляску, которая в ее воображении стала частью ее еще не родившегося детища. На даче началась родовая деятельность — ее отвезли в роддом на Солянке. Ребенок родился и не закричал. Она испугалась, стала требовать, чтобы сделали что-нибудь, а не стояли толпой у ее ног, — вместо ответа ей показали ручку новорожденной: с нее пластом слезала сморщенная кожица. Это было тем более ужасно, что ручка показалась ей до боли знакомой: такой была ладонь Якова и потом руки обоих сыновей ее. Она разрыдалась и потеряла самообладание. Ее выписали, потому что в остальном состояние ее было благополучно. По дороге домой она не могла успокоиться, плакала, а в доме Кариных произошло то, что добило ее окончательно. Войдя в прихожую, она увидела, что нет заранее приготовленной ею коляски, ожидавшей здесь своего маленького пассажира или пассажирку. В ответ на ее немедленный вопрос хозяйка тихо сказала ей, что ее продали, чтобы она не напоминала ей о ребенке. Это довершило удар: до нее теперь только дошла смерть ребенка, каким-то образом с этой коляской сроднившегося.

Затем у нее был психоз. Она ходила взад-вперед по комнате, потирала руки, невпопад улыбалась, слышала, когда ей что-то говорили и не слышала в одно и то же время. Ее положили в специальную лечебницу.

Психоз прошел, но она оставалась тосклива, подавлена. Хозяева, чтобы как-то ободрить ее, рассказали, что история ареста Якова и ее неповиновения Центру стала широко известна, что ее недавно представили к Ордену Боевого Красного знамени, но Ворошилов собственноручно понизил награду до Красной Звезды, а когда руководитель Управления попытался отстоять свое предложение, возразил шутливо и грубовато: «Ничего, она еще его получит», — так что опала ее была, пожалуй, дороже иного возвышения…

Но ей было все равно, каким орденом ее наградят, — ей было

не до этого. Она не могла забыть мертворожденного ребенка, думала о Якове, о том, что ей двадцать два года, что она не сможет найти другого человека, который бы нашел дорогу к ее сердцу, что жизнь ее если не закончена, то лучшая часть ее уже пройдена. А в это время Яков, сидя в учаньской тюрьме усиленного режима, заставлял себя есть донельзя вываренный рис, давился им и часами ходил по крохотной камере-одиночке. Она была шириной в метр и полтора — в длину, и он посчитал, что для того, чтобы выжить и не выйти на волю обезноженным, ему нужно каждый день проходить хотя бы пять километров и делать для этого две тысячи триста ходок взад-вперед по камере — он и накручивал ежедневно эти круги в проходе, остававшемся между стеной и нарами и донельзя узком даже тогда, когда лежанку поднимали и вешали на крюки, вбитые в кирпичную кладку…

11

Через три недели, прийдя в себя, Рене увидела как бы со стороны, новыми глазами, дом, в котором жила, его хозяев, слегка оробевших и растерявшихся от ее присутствия, и себя самое, заблудившуюся в тупиках и лабиринтах жизни. Но более всего ее задела и отрезвила мысль, что она в тягость гостеприимным Кариным. Ей даже показалось, что они с женой как-то нарочно поссорились при ней, чтобы внушить ей это, но это было, видимо, последнее облако болезненной тучи, заволокшей ее сознание. Никаких показных сцен они, конечно же, не ей устраивали: не такие были люди — напротив, уверяли, что она их не стесняет, но на их лицах, чуть натянутых и чересчур озабоченных, было поневоле написано обратное. Более всего на свете она не любила быть людям в тягость: что угодно, только не это — она учтиво поблагодарила их за то, что они поддержали ее и дали ей кров в трудную для нее минуту (это было правда, и она совершенно искренне это говорила), но пошла затем искать себе крышу в другом месте. Жили Карины в конце Плющихи, в доме Управления на Трудениковском переулке. Тут было несколько таких ведомственных домов — не прошла она и части пути, как повстречала знакомую австрийку Элен, которую знала со времен первого приезда в советскую столицу. Та работала в аппарате Управления, знала ее историю и, узнав о последних трудностях, немедленно предложила переехать к ней — благо для этого достаточно было перенести вещи через улицу. Вечером, чтоб не осталось неловкости, она еще раз зашла к Кариным и поблагодарила их — сказала, что хорошо себя чувствует, будет ждать Якова и готова выполнить новые поручения Управления.

Выглядела она бодрой, даже веселой и отдохнувшей, словно забыла о недавних несчастьях: они хотя и тлели в ее душе, но покрылись теперь густым пеплом и не вырывались наружу. Начальству стало ясно, что она оправилась от родильной горячки. Ее вызвали к руководству. Принял ее сам Урицкий, сменивший на этом посту Берзина. В Управлении все шло кувырком, одни люди сменяли других, готовилась всеобъемлющая чистка, но это ее не коснулось: и Урицкий, слывший человеком бесцеремонным до грубости и склонным к самоуправству, вел себя с ней как с дорогой и хрупкой вещью, словно боялся задеть ее или обидеть. Это был плотный, широколицый комдив с длинной холкой черных волос, низко спадавшей на лоб и оставлявшей сотрудникам глаза, глядевшие прямо, дерзко и неотступно. Но на Рене он смотрел шутливо и сочувственно.

— Вы, говорят, отошли от всего? — спросил он вместо приветствия и увидел, что она стоит и не намерена садиться. — Да садитесь вы! Я не приглашаю, потому что это само собой разумеется!..

На самом деле никто в его кабинете без спроса не садился, и хозяин долго выдерживал посетителей на ногах, нагоняя на них страху, но для Рене сделал исключение.

— Да! — согласилась Рене, садясь в широкое кресло напротив. — Роды прошли неудачно, но что поделаешь?

— Другие хорошо пойдут. — Он покосился на нее, вспоминая ее злоключения. — Немудрено после всего, что там было.

— Я больше всего грешу на амальгаму. Можно так сказать по-русски — грешу?

— Да сказать все можно, а что за амальгама?

Она вкратце рассказала ему историю подделки печатей.

— Видите, как бывает? — сказал он под впечатлением от услышанного. — А я и не знал этого. Много чего не знаю, потому как недавно на этом месте… Мне надо спросить вас одну вещь. Вы будете брать советское гражданство?

— Безусловно.

Он удовлетворенно кивнул.

— И какую фамилию мы вам дадим? Документы-то мы готовить будем. На этот раз истинные.

— Бронина. По мужу, — столь же определенно отвечала она.

Он встретил ее слова с непонятным ей промедлением и с сомнением в глазах, но вслух сказал:

— Бронина так Бронина. У него это тоже не своя фамилия — будете вдвоем под одним псевдонимом ходить.

— Я надеюсь, он вернется раньше срока? — спросила она, изучая по его лицу возможности такого исхода. Он подумал, согласился:

— Может быть, — и глянул мельком — как бы подтверждая этим свои слова. — Их меняют. Это те, что сидят здесь, — прибавил он ворчливо, — ничего не значат: грызутся и жрут друг друга, а о тех, кто там, помнят… Может, повезло ему еще, с арестом этим. — Она не поняла его, а он не стал разъяснять. — А имя какое?

— Элли.

— А это откуда?

— Этим тоже он меня назвал. Сказал, что это имя меня ни к чему не обязывает и не останавливает ничье внимание.

— Да? — удивился он. — Может, и так. С именами вообще загадка. У меня вот фамилия — не знаешь, куда от нее деться: пугает выстрелами — а Семен Петрович успокаивает: вроде свой,

не тронет… И то ставят под сомнение. А отчество я вам выберу, ладно?

— Ладно.

— Будете Ивановна. Чтоб точно уж ничье внимание не привлекать. Согласны?

— Согласна. Надеюсь, отец не обидится.

— Вы с ним связь поддерживаете?

— Нет. Он на полулегальном положении.

— Тогда поймет. Может, еще вашу фамилию примет. Он коммунист?

— Анархист. Анархо-синдикалист. Но помогал нашим.

— Помогать-то они помогают… Но вам с ним действительно лучше связи не поддерживать.

— Место рождения мое оставите?

— И это хотите заменить?

— Нет. Это святое.

— И правильно… Да если б и хотели, ничего б не вышло. Этого не меняют. Где вы родились?

— Даммари-ле-Лис, Франция.

— Господи, какие города есть, оказывается! Красивый?

— Красивый.

— Наверно. Но ничего. И в Москве жить можно. Дадим вам две комнаты — в третьей соседка будет жить: тоже из наших — получите деньги на обустройство. Глядишь, еще кто-нибудь из Франции к вам приедет.

— Это возможно?

— Возможно. Франция более других нам благоприятствует, и мы ей отвечаем взаимностью. Чем вы заниматься хотите?

— Учиться. — Это был лейтмотив ее жизни — он так и понял ее и глянул озадаченно.

— Учиться мы вас и помимо вашего желания пошлем. Вас же в лейтенанты произвели, когда Красную Звезду давали. Вы хоть это знаете?

— Нет. Пропустила.

— Не успели? Не до этого было? Вот я вас извещаю. Вы лейтенант, Элли Ивановна, и, стало быть, вас учить надо. Обычно сначала учат, потом в звание производят, а с вами наоборот: решили, наверно, что вы и без того учены. Ладно. Рад был с вами знакомство свести — надеюсь, на долгое время.

— Я, со своей стороны, согласна, — пошутила она, вставая.

— Вы-то да — а я подкачать могу, — и услал ее подальше, чтоб не наговорить лишнего…

Рене дали две комнаты в доме, где она жила у Кариных, — только в другом подъезде. Помещения были светлые, просторные,

окна глядели с обрыва на реку. Была еще соседка-полька, приветливая и хорошо говорившая по-французски, — сюда и в самом деле можно было звать гостей из Франции: они бы не почувствовали себя в изоляции. Заручившись согласием руководства, она завязала переписку с матерью и отчимом и вскоре предложила им переехать в Союз. В своих письмах она, чтоб им было понятно, что их ждет, подробно описывала жизнь в Москве и, стараясь быть честной, перечисляла и светлые, и теневые ее стороны: их дело было сделать выбор, ее — нарисовать будущую картину, не утаив ничего важного. Одна из ее кузин, читавшая эти письма, сказала ей впоследствии, что она все поняла в них и не поехала бы, если бы ей предложили, но у каждого свои вкусы и свои жизненные обстоятельства.

Действительно, обстоятельства определяют выбор, а не наши суждения, обычно ими же создаваемые. Внешне условия жизни оставшейся в Париже семьи не были бедственными. Жан с Жоржеттой и Жанной снимали неплохую квартиру (своего жилья они так и не приобрели), у них была собственная хорошая мебель, пианино для Жанны, дорогая посуда. Отчим время от времени подрабатывал, и его денег, при бережливости Жоржетты, хватило бы для скромного, но достойного существования. Но Жан снова начал пить — на сей раз безвозвратно и бесповоротно. Он дважды уже, будучи в нетрезвом виде, получал травму на производстве: во второй раз угодил правой рукой в станок и сильно ее изуродовал. Компания Ситроен, в которой он работал в это время, после долгих препирательств дала ему пожизненную пенсию, которой он особенно гордился: она была достаточна, чтобы жить не работая. Но дело было не в деньгах, а во всем прочем — начались, уже в отсутствие Рене, на которую нельзя было теперь сваливать общие беды, те же пьяные выходки, утаивания и кражи семейных денег и шумные домашние сцены. Жить с пьяницей тошно и подчас невыносимо — уставшая Жоржетта едва услышала о возможности уехать к дочери, сразу же в нее вцепилась и, хотя не сказала этого вслух, начала загодя готовиться к отъезду. Жан почувствовал происшедшую в ней перемену:

— Нацелилась ехать? Чего ты там не видела? Там рабочий меньше моей пенсии получает. Чего тебе здесь не хватает? Я ж не все пропиваю — кой-что и оставляю? Жанночка вон музыке учится — думаешь, там кто-нибудь будет учить ее этому? У них голодуха только закончилась. Да и то не ясно, кончилась или нет: «Юманите» об этом не пишет. — За время, что прошло с отъезда Рене, он из Компартии не вышел, но стал тем, кого бы мы потом назвали еврокоммунистом.

Жоржетта отмалчивалась, а сама потихоньку продавала: сначала мелочи вроде позолоченной солонки, которую никогда не ставили на стол, потом дорогой фарфор, из которого тоже не пили, но отсутствия которого трудно было не заметить.

— Где фарфоровый сервиз? — загремел Жан, едва окинул взглядом комнату: прежде ему доводилось выносить из дома вещи на продажу, теперь супружеские роли как бы переменились. — Который мы в Дьеппе купили?!

— Продала, — терпеливо и бесстрастно отвечала жена. — Он нам не нужен.

— Сразу стал не нужен?! А прежде молилась на него, пылинки с него сдувала?!. Уехать собралась?! А мне ни слова?!. Что происходит, в конце концов?.. — Он был трезв в этот день и ждал решительного объяснения.

— Я говорила уже, — только и сказала Жоржетта.

— Что ты говорила?! И когда?!. С тобой же как со стеной: молчишь как рыба — ни привета ни ответа, от одного этого спиться можно! — Жоржетта призадумалась над тем, что он сказал, но всерьез его слова не приняла — продолжила свое дело: раскладывала, что взять с собой, что оставить. — Без меня ехать собрались?

— Почему без тебя? — Жоржетта с чувством отставила шкатулку: выбрасывать из нее было нечего. — Поедем поглядим.

— А для этого все продать? А потом покупать, если не понравится?

Жоржетта помешкала.

— Мебель всегда купить можно.

— И мебель продать?! — Жан схватился за стоящий рядом стул, будто оберегая его от посягательств.

— А ты хочешь платить за квартиру, пока мы там будем?

Жан хотел возразить, что мебель можно было бы отдать кому-нибудь на хранение, но подумал потом, сколько хлопот это будет стоить, и главное — по ее твердому взгляду, направленному на него искоса и исподлобья, понял, что она уже все для себя решила и теперь пришел его черед думать, едет он с ней или остается, — один в стране, где у него, хотя она и была ему родиной, уже никаких зацепок, кроме жены, дочери и пенсии по увечью, не было.

Он подумал, подумал и согласился: поднявшаяся волна способна унести и камень — не то что щепку, которой он в последнее время себя чувствовал. Он знал, что, оставшись один, без поддержки, не проживет и года: сопьется и умрет в какой-нибудь канаве, — это и решило его сомнения. Впрочем, он остался верен себе и свое согласие на выезд связал со

множеством оговорок: его везли будто бы почти насильно — он известил об этом родных, съехавшихся провожать семью, и своих приятелей, которые, узнав о его отъезде, прониклись к нему прежними чувствами, ни к чему теперь их не обязывавшими: не надо было ни слушать его пьяные бредни, ни доставлять домой, держа под руки, а иной раз и за ноги. Жоржетта слушала его пророчества и мрачнела и бледнела: не потому, что боялась Москвы, а потому что чувствовала, что подобные сцены будут повторяться и у дочери. Но она ни в чем ему не уступала: раз решившись на что-нибдуь, она двигалась вперед с почти механическим упрямством.

Было еще одно лицо, которое больше всего зависело от принимаемого ими решения, но его меньше всего слушали, — четырнадцатилетняя Жанна: ее вырывали из родной почвы в самом хрупком и еще не сложившемся возрасте. Она ехать не хотела и каждый день плакала в подушку, но ее не спрашивали: дети не имели права голоса.

Пока они все так, каждый на свой лад, готовились к отъезду, Рене училась в школе разведчиков. К ней, пока это было еще возможно, ходили преподаватели: ее готовили к нелегальной работе за рубежом, и занятия в школе, где могли быть (а может, уже и были) подставные лица, были нежелательны. Один преподаватель учил ее тактике, второй стратегии: неизвестно зачем, но она исправно учила схемы сражений — от выдвижных клиньев Александра Македонского до штурма современной эшелонированной обороны. Был еще и третий: преподающий конспирацию, лысый методичный субъект — этот задевал ее всего больше и вызывал постоянное желание спорить. Он был большой фантазер и понуждал к тому же свою ученицу.

— Представьте себе, — он понижал голос, чтоб соседка-полька не слышала его заговорщического шопота, — что вам сели на хвост…

Подобные предположения почему-то возмущали ее:

— Это плохо, что на хвост сели! Надо все бросать и бежать куда подальше.

Он не спорил, но добивался от нее иного:

— Никто не говорит, что хорошо, но что именно вы будете делать? Ваши действия?

Она глядела на него непонятливо, разражалась вопросами:

— Когда это было? В какое время года? Где: на улице или в театре? Миллион вопросов возникает!

— Предположим, на улице.

Она не слушала его, а продолжала свое:

— Опять тысяча вариантов! Только жизнь покажет и

подскажет — зачем вперед гадать? Это как язык по книге учить: можно годами читать и не научиться, а в страну приедешь — поневоле заговоришь. — Она думала в эту минуту, как будут объясняться в Москве ее родичи — когда выйдут из ее гостеприимного дома на гудящую народом улицу.

— Вы все так! — не унимался, а, напротив, возбуждался он, уподобляя ее прочим, что ей, как и всем другим, было неприятно. — Жизнь подскажет! Да ничего она не подскажет, если вы внутренне к этому не готовы. А для этого надо мысленно проигрывать типовые ситуации. Я повторяю: вам сели на хвост — ваши действия в этом случае. Иначе я вам зачета не поставлю! — Он повышал голос, и теперь его, наверно, слышала и полька: она знала дело и могла бы помочь в обсуждении, но ее не приглашали.

— Ну хорошо, — сдавалась Рене и напрягала — если не воображение, то память. — Если бы я увидела на улице слежку и если бы рядом остановился трамвай, если б было уже темно, а в трамвае полно людей и если б стояла ранняя весна, когда носят кто что, все разное: кто в пальто, кто в теплом костюме, а я была бы в каком-нибудь легком плащике… — у преподавателя голова шла кругом от этой бесконечной вводной экспозиции, но он упрямо ее слушал, — то в таком случае я вошла бы в трамвай, быстренько прошла от входа до выхода, постаралась держаться противоположной стороны, по дороге незаметно бы скинула или свернула плащ, вышла бы из трамвая, но сделала бы это спиной вперед, помогая выйти какой-нибудь старушке, а потом пошла бы с ней рука об руку дальше: будто с нею вошла и вышла… — Однажды она именно так ушла от слежки в Шанхае — она до сих пор не знала, была ли она настоящей или ей померещилась: может, она просто понравилась богатому китайцу, но он так строго смотрел на нее и с таким упорством преследовал, будто у него в кармане был ордер на ее задержание. (Позже, когда она узнала китайцев ближе, то стала склоняться к тому, что она все-таки приглянулась ему тогда, а строг он был потому, что китайцы именно так к женщинам и относятся, когда те им нравятся.) — Люди прежде всего смотрят на одежду, потом на обувь. Жалко было бы плащ, — заключила она, потому что в тот раз его обронила и потом действительно долго жалела. — Особенно дорогой, но что поделаешь?..

— Свобода дороже, — заключил урок преподаватель, довольный тем, что она смогла наконец отрешиться от реальностей. — Видите: можете, если захотите. Завтра у нас явочные квартиры. Знаете что-нибудь о них?

— Слышала. — Рене хотела спросить, в свою очередь, бывал

ли он когда-нибудь сам в подобных местах, но конечно же не сделала этого: задавать такие вопросы не положено…

Родители с Жанной приехали в октябре 35-го. Она встречала их на Белорусском вокзале. Радости и слез — особенно с ее стороны — было не описать сколько, Жоржетта с Жанной плакали ручьем, и даже отчим прослезился — чему сам не зная. С вокзала она повезла их на свою квартиру, где событие было достойным образом отмечено. Правда, отчим иронически скривился, узнав, что есть еще и соседка, но самой полькой остался доволен, пригласил ее к столу и шутливым образом за нею ухаживал; Жоржетта, подобных шуток не любившая, в первый же день приревновала его и относилась потом к соседке с предубеждением.

На следующий день после празднества Рене познакомила их с ближайшими соседями: одних попросила об этом, другие назвались в гости сами — иностранцы в Москве были в редкость, и всем, даже тем, кто насмотрелся на них за границей, было любопытно, каково им в здешних условиях. Как Рене и предполагала, родственники ее оказались не на чужой земле, а в своего рода международном анклаве, где говорили на разных языках, и на французском чаще другого: вроде концессии в Шанхае — только, конечно, меньших размеров и с иными гарантиями безопасности.

Приезжие вели себя по-разному в новых для себя обстоятельствах. Жоржетта, которая всегда была необщительна, домоседлива и скрытна до нелюдимости, здесь впала в некое подобие транса: здоровалась с приветливыми соседками и говорила с ними лишь в силу крайней необходимости: ее постоянно тянуло к себе, в квартиру, где она только и делала что перебирала баулы, искала в них свое добро, пыталась расставить его по новым местам, но это ей не удавалось, и она с сожалением припрятывала его обратно. Словно забывшись, она искала и то, что было ею продано, вспоминала и жалела о вещах, потерянных таким образом, перечисляла их красоты и достоинства. Сама Рене из Франции получила немногое — свои школьные учебники, которые попросила привезти во время одного из немногих телефонных разговоров с матерью. Мать не могла вывезти из Франции ничего лучшего: Рене прижала их к груди так, будто в жизни у нее ничего дороже не было. Кроме того, Жоржетта привезла ей стопку старых писем, о которых дочь забыла и думать: это были послания Огюста Марсель, которые Рене сначала не успела, а потом не имела ни возможности, ни желания передать по адресу. Теперь, после стольких событий в ее жизни, она стала смотреть на них иными глазами: они стали реликвией,

частью того, что никогда не вернется, — цветком, засушенным в книге на память о некогда прочитанной в ней странице…

Рене поглядывала на мать с легкой тревогой и старалась вывести ее из оцепенения: знакомила с соседями во дворе, которые сами жаждали поговорить с ней о Париже, соблазняла магазинами, давала деньги на покупки, но мать и приобретать ничего не хотела, словно не намеревалась в Москве задерживаться. Магазины ей тоже не нравились: в них нельзя было пробовать товар, и был он невысокого, по парижским меркам, качества. Позже Жоржетта попривыкла и успокоилась, расставила наконец по местам свои вазы и прочее семейное достояние и — важный момент — достала из чемоданов фамильное, с вышивными инициалами, плотно накрахмаленное белье, постелив его вместо русских простыней: это означало, что Жоржетта переселилась наконец на Трудениковский переулок. Она освоилась и с квартирой — главным образом со своей комнатой, в которой разместилась с отчимом (в другой спали дочери), помирилась с соседкой, и они, разделив на кухне сферы влияния, стали здесь готовить в четыре руки, одалживая друг другу соль и спички. Но знакомиться с городом Жоржетта так и не захотела и дома лишний раз не покидала: ходила по необходимости в магазины, которые всякий раз ругала, да на ближний Усачевский рынок, который нравился ей больше и напоминал французский: все рынки одинаковы и здесь можно было хотя бы пощупать зелень и даже понюхать мясо. Интересовали ее только дела дочерей: и то работа Рене — с оговорками, потому что ее, как и во Франции, близко к ней не подпускали, — зато Жанну опекала и оберегала на каждом шагу и все боялась, что ее в этой чужой и опасной стране ждут беды и неприятности. Рене сначала связывала это состояние с переездом и новшествами в ее жизни, но потом припомнила, что нечто подобное было с матерью уже во Франции: после двойной неудачи в браке Жоржетта словно утратила собственную волю и жила в вечной тревоге — ждала от жизни новых ударов, не знала, с какой стороны они на нее обрушатся, и лишь терпеливо и монотонно крутила домашние жернова, молола ежедневную семейную пищу.

Зато отчим, против ожидания, вначале расцвел в Москве и почувствовал себя вольготнейшим образом. Он любил быть в центре внимания, а его здесь было хоть отбавляй: всем хотелось познакомиться с ним и узнать его мнение о том, что сами каждый день видели: будто своим глазам не верили или собственного мнения было недостаточно. Он повсюду заводил знакомства: и с сидевшими во дворе на деревенский манер пенсионерами, и с

комдивом со второго этажа и, в особенности — с посетителями пивной на углу Плющихи и Долгого, где продавали в разлив водку и к ним — бутерброды с дешевой тогда красной икрой, которую он во всеуслышание ставил выше черной (черную, намазанную тонким слоем на хлеб, он попробовал однажды, на встрече после Белорусского вокзала, и не успел к ней пристраститься). Говорил он по-французски, но быстро освоил несколько русских фраз, необходимых для застолья: вроде «грамм сто-двести», чем всякий раз веселил публику. Домой он возвращался на шатких ногах, но в прекрасном настроении: водка в этом отношении оказалась лучше дешевого красного, которое он пил в Париже. Советское правительство выдало ему на переезд довольно значительную по тому времени сумму — своего рода подъемные, которые он возвращал ему теперь, покупая у него водку. Он, правда, сохранял свое изначальное критическое отношение к Советскому Союзу, но вспоминал о нем реже, чем прежде, и понимал, где можно и где нельзя говорить лишнее. Так, Рене пригласила его, как и всю семью, на парад 7 ноября — он сказал, посмотрев его:

— Так это ж чистой воды милитаризм! — и поглядел на Рене взглядом знатока, которого не так-то просто обвести вокруг пальца.

— Но ты сам говоришь, что нужно готовиться к войне с Гитлером, — возразила она.

— Одно дело — это, другое — всех под ружье ставить и заставлять маршировать под музыку. Ты видела этих физкультурников? Такие же как у немцев на парадах… И повсюду эти портреты Сталина… — Случайный прохожий обернулся и поглядел на него с изумлением: видно, знал французский — но конечно же молча прошел мимо…

Зато когда Урицкий, лично опекавший их семейство, пригласил его на выходной день в служебный дом отдыха в Сокольниках и уделил ему час для разговора и игры в бильярд, отчим показал себя с наилучшей стороны: дал понять, что читает газеты и знает новости, здраво рассуждал о положении мировых дел и смотрел на вещи пролетарским оком, так что Урицкий отозвался о нем положительно:

— У него голова политика. — Да и отчим, в свою очередь, похвалил его:

— Молодец. Не то что другие начальники: не лезет в амбицию, не забирает в голову лишнее, а говорит, как мы с тобой, просто и ясно. И выпить не дурак — в меру, конечно…

Урицкий еще раз позаботился о их семье: теперь к ним на дом, вместо знатоков военного дела, стал ходить преподаватель

русского — учить всех троих российской грамоте. Толку от этого было мало, но важен, говорят, не подарок, а внимание…

Вскоре, однако, идиллия кончилась — прежде всего потому, что кончились подъемные. Надо было думать о хлебе насущном: жалованье лейтенанта Красной Армии в России было тогда столь же невелико, как и сегодня. Ситроеновскую пенсию за увечье отчим получать в Москве не смог, хотя рассчитывал на это, — хорошо, если она шла на его счет в Париже, — пришлось идти работать. Его устроили на мебельную фабрику, где он, в силу плохого знания языка, месячную зарплату при переговорах принял за недельную — и то долго ворчал по поводу мизерности здешних заработков. После первого дня работы он объявил, что на фабрике ему решительно все не нравится: и организация труда, и отсутствие материалов, и бездельничающие и ни о чем не думающие бригадиры. Когда же он принес домой первые деньги и они оказались месячным окладом, то смеху и издевательствам над Страной Советов конца не было — бедная полька прикрыла дверь, чтоб не участвовать в контрреволюционном заговоре.

— Да что это за социализм?! — бушевал Жан, успевший к этому времени надраться. — Который столько платит рабочим?! У нас бы эти деньги бросили в лицо хозяину и завтра же вышли на бессрочную забастовку! А здесь только пересчитывают, глазам не верят да ухмыляются! Как они живут вообще, с такими подачками?!.

Жоржетта не вступала в опасный разговор: у нее был свой взгляд на вещи и она не хотела им делиться, а Рене не было: она приходила домой поздно — засиживалась в школе, куда ходила теперь заниматься. В выходные дни она старалась не спорить с отчимом, но он сам искал ссоры.

— Откуда такая зарплата? — спрашивал он ее, уже трезвый, и вспоминал марксистское прошлое: — Куда девается прибавочная стоимость? Себе берут?

Рене оттягивала, как могла, неизбежную развязку, но поневоле ввязывалась в диспут:

— Это не так. Ты же видишь, они живут рядом и очень скромно.

— Значит, еще хуже! — не унимался он. — Так бы хоть что-нибудь в стране оставалось. Значит, они вас в авантюру втянуть хотят, грезят о мировых завоеваниях! Как Наполеон после французской революции!

— Тише ты! — не выдерживала Жоржетта, боясь за дочь.

— А ты чего боишься?! — он смеривал жену презрительным взглядом. — Хочешь у них пенсию заработать? Ничего не выйдет!

Я уже наводил справки — для этого тридцать лет отработать надо — прежде чем тебе кусок хлеба дадут, без масла!.. Научилась уже бояться? Остаться хочешь? Оставайся! А я домой поеду — где можно говорить что хочешь и где тебе никто на стены показывать не будет: лишь бы на фортепьяно не играли до полуночи!..

Он повел те же разговоры на фабрике — за бутылкой водки, в кругу новых друзей, среди которых были, естественно, осведомители. Отчим был иностранным подданным и числился за Управлением — туда и пошли предупредительные сигналы. Урицкий вызвал Рене.

— Надо решать что-то с Жаном, — довольно сухо сказал он ей: был недоволен ею, что привезла его, и собой — что промахнулся, назвав его «политической головою». — Сейчас он — и, кстати, мать твоя тоже — должны выбрать гражданство. Если примет советское, пусть остается, но ведет себя тогда в соответствии с нашими законами. А нет — пусть едет назад, мы ему визу продлевать не будем… Единственное, что для него сделаем, если надумает уехать, дадим еще денег. Хотя меньше, чем прежде, — и закончил на этом аудиенцию…

Жоржетта согласилась принять советское подданство — для нее выбор был не между странами, а между мужем и дочерью. Сказала она об этом в отсутствии Жана, и то, что решение было принято за его спиною, подействовало на него сильней всего прочего:

— Сговорились?! Со мной и посоветоваться не захотели?! Скинули как ненужный балласт?!

— Ты возьмешь советское подданство? — перебила его Рене, которая была сыта по горло его упреками.

— Советское подданство?! — ощерился он в злой ухмылке. — Чтоб меня тут же на Лубянку потащили и чтоб я там сгинул бесследно, как тысячи русских?! Вы ж тут живете и ничего не знаете! Потому что слушаете кого не надо!.. Сами, того гляди, туда загремите! Нет уж, я с ума не съехал, чтоб их подданство брать! Не им одним стучат — мне мои друзья тоже рассказали, что мною их охранка интересуется и чтоб я держал язык за зубами! Да пусть я лучше у себя на родине сдохну, чем мне здесь рот затыкали!.. Где вы остаетесь? Это ж одна видимость, что веселые да приветливые, а копни — черт знает что вывернешь! Восточная сатрапия и деспотия!.. Жанночка, что я без тебя там делать буду? — разжалобился он. — Вот кого я одну на всем свете люблю! Поедешь со мной? Тебе и подданства не надо — зачем тебе Россия, когда у тебя Франция?

Жанна тяжелее всех переносила раздоры в семье: она любила отца — но тут сказала то, что успела надумать прежде:

— Я тебя очень люблю, папа, но ты сам виноват. Ты пьешь, а я тебя боюсь пьяного. Я останусь с мамой.

Он пригнулся под этим обвинением, попробовал защититься:

— Это не я виноват. А эта ненормальная, которая вас всех с места согнала и сюда вывезла.

— Знаешь что?! — вспыхнула Рене. — Если бы ты не пил, не выживал меня из дома, я, может быть, тоже бы здесь не оказалась!.. Это не значит, что я жалею об этом, но правда есть правда!.. — Он довел ее до белого каления.

Последовало молчание.

— Договорились, словом, — сказал он, раздавленный тройным осуждением: гласным — дочерей и бессловесным — Жоржетты, и пошел к себе в комнату…

Утром, не говоря ни слова, он отправился в Управление, вошел там в чиновничьи кабинеты, сказал, что намерен вернуться на родину, спросил, не положено ли ему пособие, получил, нежданно для себя, новую сумму в валюте (Урицкий сказал, чтоб его не задерживали) и в тот же день купил билет до Парижа. Через месяц он уехал, а до того вел себя незаметно, продолжал ходить на работу и дома ни с кем не разговаривал. Родные посадили его на поезд, попрощались с ним — он держался особняком и глядел косо. Во Франции он пропил выданное ему пособие, потом — накопившуюся за время его отсутствия увечную пенсию и умер через год в больнице: заснул в холодную ночь на лавке на улице, заболел пневмонией и был похоронен в общей могиле — об этом родные узнали много позже, когда начали наводить справки…

Рене и Жоржетта боялись не за него, а за Жанну, но она одна из всей семьи вросла в московский быт, пустила в нем корни, привилась на новое для себя дерево. Рене и Жоржетта так до конца в России и не прижились: Рене долго еще была на полулегальном положении, а Жоржетта хоть и жила на общих основаниях, но как чуждое всем ядро с толстою скорлупою. Жанна пошла в школу, где преподавали французский и где она хоть в этом предмете была бесспорной отличницей, нашла здесь подруг, ходила к ним в гости, а те приходили к ней: московские дома были тогда шире раскрыты для гостей, чем парижские. Ей, правда, не повезло (или ссоры с отцом так повлияли на нее): она заболела скарлатиной, потом — осложнившим ее ревматизмом с пороком сердца. Порок был нетяжелым, не давал одышки, но с тех пор она всю жизнь болела суставами. Рене делала все возможное и невозможное для ее лечения: она была теперь главой семейства, от которого ждали помощи. Управление и здесь помогло ей: Урицкий, сменивший гнев на милость после отъезда

отчима, прислал к ним профессора — Жанну положили в лучший военный госпиталь, а после него сестрам дали, как тогда говорили, оздоровительную путевку в сочинский санаторий высшего командного состава. (Отчим уехал, не дождавшись выздоровления дочери, ни даже ее выписки из госпиталя, что в особенности ее обидело: она выплакалась в последний раз и мысленно с ним простилась.) В санатории они были в июне 36-го. Заканчивалась учеба в разведшколе, и для Рене это была еще и поощрительная премия и отдых перед готовящейся отправкой за границу. Здесь она имела возможность увидеть вблизи и свести знакомство с высшими чинами Красной Армии: в санатории в то время отдыхали Уборевич, Тухачевский с женой, семья Мерецковых. По вечерам в танцевальной зале собиралось общество, объединяющееся в кружки вокруг обоих командармов, которые не только занимали в этой компании высшие должности, но и соответствовали им своей европейской образованностью, непринужденностью светских манер и знанием иностранных языков, которыми при случае пользовались и даже щеголяли. Уборевич учился в Германии, Тухачевский в Первую мировую войну сидел во Франции (вместе с де-Голлем) в лагере для военнопленных и бежал оттуда — оба свободно говорили на немецком и на французском. О Рене все знали: ее французское происхождение, которое русские со старых времен выделяли среди прочих, китайская эпопея и история получения ею ордена, всегда красовавшегося на ее юной груди, — были у всех на слуху, обошли санаторий и вызвали к ней общий интерес; она была если не в центре внимания, то одной из заметных фигур среди отдыхающих. Ее заставляли рассказывать о Китае — она говорила то, что можно было сказать, оставляя в тени прочее, и они домысливали остальное, довольные как рассказом, так и умолчаниями, которые как бы вводили их в ее работу, опасную и не подлежащую разглашению. Уборевич, в ответ на ее откровенность, рассказал ей, а заодно и прочим, что только что приехал с маневров в Белорусском военном округе, где впервые были применены большие по тем временам танковые соединения. На учениях присутствовал начальник французского генерального штаба Гамелен. По их окончании он подарил Уборевичу сборник лекций для офицеров Генштаба, начиненный сведениями об организации французской армии. Веселый, в приподнятом настроении, он показал всем книгу издали, а перед носом Рене повертел ближе и неспроста: вот, мол, мы какие — тоже умеем добывать полезные сведения. Рене отмолчалась, но лицо ее было на этот счет достаточно выразительно. Профессиональный разведчик дорого бы дал за такой справочник и взялся бы

добывать его с риском для жизни — Уборевичу он достался даром: высокие чины имеют свои каналы получения информации, но нечего хвастать ими: такими книгами в обществе не размахивают. Уборевич, прочитав неодобрение в ее глазах, решил, что она считает книгу не стоящей внимания, и заставил ее, пока другие веселились и танцевали, ознакомиться с ее содержанием. Это не изменило ее отношения к случившемуся: Гамелену, как она и думала, не следовало дарить этот сборник — хорошо еще, что он не сопроводил его дарственной надписью…

Тухачевский, высокий, красивый, веселый, общий любимец, пригласил ее на вечер в коттедже, который занимал с супругой, бывшей балериной. Он любил музыку, и на его вечерах играло трио из музыкантов-профессионалов, проходивших в это время службу в армии. Играли Моцарта и Гайдна.

— Нравится? — подмигнул ей Тухачевский, видя, что глаза ее едва не набухли от слез: музыка всегда производила на нее сильнейшее впечатление.

— Красиво, — согласилась она, отводя глаза в сторону и стыдясь своей сентиментальности.

— А как играют! — сказал он тоном знатока.

Тут в ней проснулось ироническое классовое чувство:

— Да. Во Франции подобное развлечение стоило бы вам больших денег.

Все засмеялись, ее шутка обошла на следующий день санаторий, но всерьез ее никто не принял — посчитали образцом французского остроумия. Тухачевский тоже нисколько не обиделся, весело засмеялся, сделал знак музыкантам, чтоб сыграли что-нибудь танцевальное, подхватил Рене, худую после родов, как щепка, за талию и закрутил в вальсе по залу. Он позволял себе невинный флирт с молодыми, его супруга, привыкшая к свободе закулисной жизни, смотрела на это снисходительно.

Они все вышли провожать ее в день отъезда, надарили цветов, желали удач в следующих командировках, но проказливый Тухачевский не удержался и прокричал вдогонку:

— Только учтите, мы больше любим женщин лирических!

То есть не героических, которой она хотела быть и за которую они ее принимали: Жанна д'Арк была для них лишь забавным казусом. Что-то в ней вызывало их любопытство, насмешливое уважение и еще — потребность дать совет при расставании. Причина была, наверно, в том, что она, блюдя внешнюю субординацию, вовсе не чувствовала себя ниже их и держалась с нескрываемым достоинством, а они и мужчинам этого не позволяли — не то что женщинам. Ей это прощали: за то, что

была француженкой, что выглядела девушкой-подростком при ордене и за то, что была простодушна, — эту черту русские любили в иностранцах в особенности, хотя в собственных согражданах не очень-то ее жаловали, а скорее наказывали.

Уборевич тоже дал ей последний урок. Это было уже в Москве. Он приехал на совещание и потребовал ее к себе, настоял на свидании, не имевшем ничего общего с любовным: это было странное, с его стороны, движение души и потребность отчитаться. Она приехала на Белорусский вокзал, где стоял вагон командарма. Они пили чай, который подавал им старый, с времен гражданской войны на Дальнем Востоке, ординарец Ильич: Уборевич заботился о нем, кажется, больше, чем тот о нем. Командарм спросил, куда она едет. Отвечать было против правил, она напомнила ему об этом, но он настаивал. Рене в первый и в последний раз нарушила запрет и сказала, что едет в Лиссабон. Он кивнул, понял направление и в ответ тоже разоткровенничался: будто ее тайна была нужна ему как залог доверия. Он стал говорить о высших руководителях страны, о том, как высоко ставит он гений Сталина, но на счет Ворошилова у него есть оговорки, и так далее. Ей все это было не нужно, она не понимала, к чему его излияния. Наконец и он это понял и прервал их еще более неожиданным признанием и призывом:

— Я давно не большевик, Элли. Но вы большевик и им и оставайтесь, — после чего замолк, погрузился в думы, которыми не стал уже с ней делиться…

Она отдала ему, на свою беду, орден на сохранение: это сэкономило ей день-другой хлопот в иных местах. Он положил его в сейф, закрыл на ключ, и ей стоило потом великих усилий выцарапать его из других неприступных хранилищ, о которых она тогда не имела и представления…

После Сочи она переехала на время в разведшколу, чтобы закончить подготовку и получить последние инструкции перед поездкой. Здесь она впервые столкнулась лоб-в-лоб с той моровой язвой, которая вовсю грызла ее новое отечество. В школе она жила рядом с ее начальником, поляком Альбером Килячевским. В прошлом он был политкаторжанин, про него говорили, что он прожил двадцать лет в Сибири с кандалами на ногах: за неоднократные попытки бежать оттуда — после революции же был направлен на нелегальную работу во Францию. Оттуда он привез молодую жену Алису. Из-за нее-то Рене и сошлась с этой семьей: француженки в ее окружении были редки, и она с каждой старалась сблизиться — какими бы они ни были. Алиса была странная и, видимо, давно психически больная женщина. Она была миловидна и смотрелась моложе своих лет, но у нее была

вычурная манера жестикулировать, и говорила она иной раз прямые нелепости — или произносила вдруг, без всякого повода и подготовки, неожиданные грубости и сальности, неуместные в ее изящном женственном ротике. Проговорив их, она переходила на обычную болтовню, в которой тоже не было смысла и последовательности, но она хоть сходила за женское пустословие и кокетство. Муж смеялся над ней, не верил, что она больна, и называл ее женщиной с фантазиями. Сам он был веселый и, вопреки прежней судьбе, жизнерадостный человек, который так натерпелся в прошлом, что все нынешние недоразумения считал, в сравнении с прежними, пустяками: ценил жизнь так, как умеют это только те, кто долго жил в заключении, — живя и дорожа каждой ее минутой. Алиса недавно родила — примерно в те же сроки, что и Рене, но в отличие от нее — живого, хотя и семимесячного младенца. После родов она окончательно сошла с ума: называла себя то «лягушонком в китайском садике», то «дамой пик, выпавшей из колоды». Муж по-прежнему ничего не хотел знать и видеть — правда, у него к этому времени появились другие заботы, которые не шли ни в какое сравнение с домашними, и решение последних он пока что откладывал. Рене, жившая через стенку, ходила помогать Алисе с ребенком — вернее, самой ухаживать за ним, потому что Алиса была плохая мать: могла забыть накормить дочь грудью и разглядывала его порой так, будто это был не ее преждевременно родившееся дите, а колода, из которой она только что выпала. Зато из Рене, после ее неудачных родов, вышла хорошая нянька: материнский инстинкт, не нашедший себе естественного применения, вылился на чужого ребенка. Она находилась здесь с утра до вечера — благо ее собственные дела были закончены, и она лишь ждала сигнала к выезду.

Ночевала она все-таки у себя. Однажды она зашла как обычно к Килячевским и застала в доме неописуемый разгром: все перерыто, перевернуто. Альбера, который всегда дожидался ее, чтоб передать Алису и ребенка, нет; сама Алиса как бы вне времени и пространства: выстукивает стены, считает, что связана с миром невидимой рацией; ребенок лежит брошенный в кроватке и один во всем доме громко плачет. Рене толкнулась к соседям — те, перепуганные, вполголоса сказали ей, что Килячевского ночью арестовали: они не спали и все слышали — одна Рене спала сном праведницы. Этот арест не укладывался в ее голове, но и здесь, как и в чужой стране, надо было думать прежде всего об оставшихся на воле. Алису она отвезла в психиатрическую клинику: благо дорога туда была ей знакома — ее сразу же там взяли. Сама она продолжала, как прежде, ходить

на квартиру к Килячевским и помогать соседям в уходе за ребенком, которого перевели на искусственное питание. На второй или третий день она застала там некоего типа в штатском, но в армейских сапогах — он грубо и бесцеремонно начал допытываться, кто она такая и не первая ли она жена Килячевского, что так печется о его ребенке. Он записал ее данные и вел себя так, будто она уже была под следствием или в том разряде свидетельниц, которые неминуемо должны перейти в число обвиняемых. Она не испугалась его, но и ходить туда тоже не имело смысла: явка была провалена. Она взяла ребенка к себе, и они вдвоем с матерью выходили его, что, учитывая недоношенность, было по тогдашним временам большим достижением. Вскоре из Франции приехала тетка Алисы и увезла с собой ее и ребенка.

В школе все были потрясены арестом Килячевского: кто более, чем он, доказал свою преданность революции? Но никто не сказал этого вслух и никто, включая высшее начальство, не сделал и шагу, чтоб за него заступиться: у всех на лицах были мрачные, траурные мины, но не более этого. «Все поляки под подозрением», — шепнул ей кто-то, и это было единственное объяснение, которое она услышала, но во-первых, что это за бред и бессмыслица и, во-вторых, почему об этом нельзя говорить вслух? Все знали, что Рене взяла ребенка, но и это не обсуждалось, никто не спросил ее о его судьбе: это было не то ослушание и неподчинение приказу, которое придало ей в свое время популярности и вызвало в конце концов общее одобрение — тут можно было и промахнуться. Она впервые столкнулась с тем общим страхом, чувством обреченности и российским фатализмом, которые если не отпугнули ее окончательно (она так легко не сдавалась и не отступала от избранного ею пути), то создавали вокруг нее, да и в ней самой, тяжелую душную атмосферу предательства, из которой хотелось вырваться: предстоящая опасная поездка казалась ей иной раз, в сравнении с этим, увеселительной прогулкой…

И еще один командарм дал ей совет и урок — самый болезненный из всех и самый веский и основательный.

Урицкий вызвал ее к себе, сказал, что откладывавшаяся до сих пор поездка решена окончательно, что началась война в Испании и надо подключаться к невидимому фронту, создаваемому в тылу нового противника.

— Это что, генеральная репетиция? — спросила она, отрешаясь от здешних бед и переходя к мировому положению вещей, которое одно, в ее понимании, если не оправдывало, то как-то объясняло российское самоедство.

— Да. Вы, как всегда, все правильно понимаете, — сказал он, но вместо того, чтобы отпустить ее, направить к тем, кто вручает валюту, документы, билеты и прочее, задержал ее в кабинете…

— Вы должны знать, Элли, — виновато сказал он, достал из ящика стола сложенный вдвое листок письма и разогнул его — она увидела знакомый почерк, и сердце ее дрогнуло, — что от Якова пришло письмо, в котором он отказывается от ребенка и отцом его себя не считает. Письмо это он написал еще на свободе, до ареста — оно хранилось у консула, и теперь он передал его. Видно, чистил ненужные бумаги, — неудачно пошутил он и добавил, извиняясь и пожимая плечами: — Я решил, что вы должны знать о его существовании… Вы слишком доверчивы, Элли, — сочувственно сказал он, имея в виду, возможно, не одного Якова, и подошел к ней: то ли, чтоб отдать письмо, то ли чтоб как-то ее ободрить…

Она расслышала явственно только проклятую первую фразу, остальные проскочили мимо как в тумане. Урицкий продолжал говорить — она испытала вдруг неизъяснимо злое и враждебное чувство к нему, будто он всему был причиной, — не помня себя вскочила, ударила его в грудь, снова оттолкнула, выбежала в пустой коридор, там только кое-как опомнилась, но в кабинет не вернулась, извинения просить не стала, а пошла прямиком домой, где заперлась, зарылась в подушки, как черепаха в панцирь: чтоб никого не видеть и не слышать. Она даже не спрашивала себя, зачем и под влиянием какой ссоры Яков сделал это и почему не взял письма обратно, — никому ни о чем не сказала и старалась ни о чем не думать: до того было тошно…

И она по-прежнему испытывала к Урицкому то недоброе чувство: «Еще один комкор, дающий мне советы!» Но теперь она знала, почему так зла на него. Теперь если б она и захотела, то не смогла бы вырваться из чересчур тесных объятий новой родины: на Трудениковском переулке сидели заложниками два самых дорогих ей существа, мать и Жанна, и она сама их сюда вызвала — с ведома и с подачи Урицкого…

Но это была минута слабости. В конце концов, не они ее, а она их выбрала. И не столько их, сколько идею, которой, на словах во всяком случае, поклонялись и они тоже. Идея не может быть скомпрометирована плохими исполнителями: они не могут даже отбросить тень на ее белизну и сияние. Другое дело, что идея сама по себе может быть верна или не очень, но когда вы обручаетесь с ней и ввязываетесь в драку, у вас нет времени ставить ее под сомнение — это дело более поздних раздумий, несущих с собой переоценку и пересмотр прежних решений или только их части.

12

Это была с самого начала необычная поездка. Со стороны могло показаться, что ее просто высылали с глаз долой за ненадобностью, но конечно же дело было не так — скорее ее командировка была результатом нервозности, царящей в Управлении, где вовсю шли служебные расследования, готовящие почву для поголовных снятий с должностей и завершающих их кровавых репрессий.

Ее послали одну. Она должна была и собирать сведения и передавать их по рации, которую ей же предстояло смастерить на месте. Так засылали опытных разведчиков с большим стажем, которые одни заменяют собой целые агентурные сети или начинают плести их на местах — так безопаснее, потому что чем больше людей знает о готовящейся операции, тем больше шансов за то, что она станет известна и тем, кому знать этого не следует. На международном жаргоне такие агенты назывались «потерянными детьми» — имя, подходившее ей в особенности.

— Что больше всего вас интересует? — спросила она Урицкого.

— Все, — отвечал он. — Какая помощь оказывается Франко, сколько увидите самолетов, танков — все одним словом…

С одной стороны — все, с другой — одна. Звучало это не очень убедительно, но с приказами не спорят — их даже не обсуждают. Ей хоть дали на этот раз приличную сумму денег. Она стала собираться в дорогу. Родные ее были в какой-то мере обеспечены: им шла половина ее жалования. Жоржетта получила на себя и на Жанну санаторную путевку: поездка в санаторий в те годы была событием. Хоть тут все было относительно спокойно — она поехала.

Путь ее лежал через Таллинн (тогда Ревель) в Копенгаген, после которого надо было искать дорогу в Испанию — как и в каком качестве, ей надлежало решить на месте в зависимости от обстоятельств. Последняя встреча со своими была в Дании — там ей должны были дать новый и окончательный паспорт, не замаранный советскими визами при въезде и выезде, которые могли привлечь к себе внимание полиции. После этого личные контакты с коллегами обрывались, и она должна была наладить связь с Управлением по радио.

Первое препятствие возникло на советской границе. Ее багаж — иностранки, побывавшей в Союзе, — осматривали двое: мужчина-таможенник отнесся к ней снисходительно и перебирал ее вещи с видимым (хотя, возможно, и мнимым) добродушием —

зато женщина была сверх меры бдительна и придирчива. Ей не понравился бульварный французский роман, который Рене везла с собой: на обложке была изображена сцена, которую она посчитала непристойной, — мужчина во фраке говорил что-то женщине в вечернем платье, которое таможенница, по незнанию туалетов высшего света и полусвета, приняла за ночную рубашку. Она отказалась пропустить эту книгу как неприличную и не подлежащую передвижению через границу. Между тем именно в этой книге был ключ для шифровки: человек, собиравший ее, помнится, сказал еще, что эту-то книгу никто ни в чем не заподозрит.

— Я эту книгу к вывозу не разрешаю, — сказала таможенница самым безапелляционным тоном и отложила ее, чтоб не забыть, в сторону. — И не жалуйтесь — скажите спасибо, что вас при въезде с ней не завернули: я бы точно это сделала! — и принялась с удвоенным усердием проглядывать остальное: нет ли там другой порнографии…

Приключение было не столь безобидно и анекдотично, как могло, на первый взгляд, показаться. Найти на месте второй экземпляр французского романа 1896 года издания было практически невозможно — во всяком случае, пришлось бы все бросить и только этим и заниматься, а обратиться к таможенному начальству означало раскрыть себя уже на границе. Рене попыталась воззвать к логике таможенников.

— Непонятно, — сказала она, обращаясь преимущественно к мужчине и стараясь говорить по-русски хуже, чем умела, — какой смысл задерживать в стране книгу, которую вы считаете вредной. Пусть она за рубежом и оказывает свое тлетворное действие…

Но обращаться к логике в таких обстоятельствах значит лишь злить проверяющего: по-первых, таким образом как бы ставятся под сомнение его умственные способности, во-вторых, ему заранее известно, что всякое логическое обоснование лишь прикрывает какой-то интерес, порок или выгоду (как оно было и в данном случае).

— Мы в ваших советах не нуждаемся! — отрезала женщина и пригрозила: — Погодите, я еще не все у вас проверила!

Тут, слава богу, вмешался ее коллега: она перегибала палку, а это всегда вызывает противодействие.

— Что ты привязалась к книжке? — спросил он. — Не видишь, как она над ней трясется. Дорога, наверно? — спросил он Рене.

— Как память, — отвечала правду она.

— А ты посмотри, что тут нарисовано, — предложила напарница. — Сразу на обложке. Хоть бы куда в середину

тиснули!

— Ну и что они тут нарисовали? — Таможенник даже очки напялил — до того смотрел невооруженным глазом. — Молодой человек переговоры ведет. Очень культурно: на расстоянии, рук не распускает… Не знаю только, почему она в сорочке. Наверно, так у них принято.

— Это не сорочка. — Рене невольно перешла на свой обычный русский, который был, впрочем, не намного лучше. — Так иногда выглядят вечерние платья.

Таможенница глядела в оба глаза — не на иллюстрацию, а на то, как иностранка охмуряет ее товарища.

— Какое вечернее платье?! Что вы мне глаза заливаете?! Что я не вижу, что на ней даже нижнего белья нету?! Где линия? Которая трусы обозначает?!

Рене разозлилась:

— Во Франции нижнее белье не всегда надевают, — сказала она — ей в отместку нравоучительно. — В жару в особенности.

Таможенница изумилась:

— Так и ходят?! Грязным задом трясут?!

— Почему грязным? Моются, — возразила ядовитая иностранка.

— А мы, значит, не моемся?! — Таможенница не обозлилась от обиды, а расстроилась: клин, как известно, вышибают клином.

— Погодите вы, с вашими подробностями, — вмешался таможенник, решивший взять дело в свои руки. — Тут в корень смотреть надо. Может, там ничего нехорошего и нет. Что тут происходит вообще? О чем они говорят? На каком языке? — Он глянул на обложку.

— На французском.

— И о чем они договариваются?

Рене конечно же не читала книги: знала только страницы, отведенные для шифровки, да и в них не вникала в смысл, но угроза подстегнула ее фантазию.

— Он ей жениться обещал и пропал с концами. Так можно сказать по-русски?

— Можно. Дальше что?

— А тут он снова пришел, а она не знает: уйдет ли или захочет продолжить отношения.

— Поэтому и штаны надеть забыла? — сообразил тот. — Видишь, — сказал он другой, — не все так, как поначалу кажется. У них тоже несчастья бывают — не одни увеселения. — Он поглядел с последним сомнением на француженку. — А зачем она вам, книга эта? Прочли, ума набрались — можно и оставить?

— Не дочитала! — Рене испугалась, что наспех возведенное

ею здание рухнет с другого конца. — Я же говорю: неясно, захочет ли жить с ней. Он говорил ей, что она его не устраивает, но окончательного отказа не было. — Это, в какой-то мере, было изложение ее случая — поэтому прозвучало убедительно и искренне. (Лучший способ врать — это, как известно, говорить правду, только не всю правду и не одну только правду, почему на суде и уточняют эти подробности.)

— Ладно, выясни. Хотя если уже были сомнения, то дело, можешь считать, хреновое. Знаешь, что такое по-русски — хреновое?

— Нет, — искренне отвечала Рене.

— Не знаешь и не надо… Значит, ничего хорошего не жди, — перевел он все-таки и обернулся к подруге: — Пойдем. Пусть она свою книгу за рубеж везет, дальше ее мусолит — раз ей так хочется.

— Да пусть, — сказала та, будто не отстаивала только что обратную точку зрения — лишь поглядела памятным взором на женщину, допускающую пребывание на улице без нижнего белья — пусть даже в самое жаркое время года…

В Таллинне она увидела на улицах фашистов со свастиками на рукавах — таких же, как в Германии в тридцать третьем. То же было в Копенгагене. «Фашизм, — говорила она себе, — идет по Европе, заражая ее не только своим духом, но и сыпью, своими внешними проявлениями». Ее сомнения и душевная боль, вызванные «чистками» в России, понемногу улетучивались и пропадали по мере удаления от границы. В Копенгагене, на последней явке, ей дали британский паспорт на имя уроженки Канады Марты Саншайн. Канадское происхождение должно было объяснить и узаконить ее французский, а английское подданство (Канада была тогда британским доминионом) придать ей больше веса и облегчить прохождение через границы: к этому паспорту относились с особенной почтительностью. В нем были визы в Брюссель и в Лиссабон: хоть тут о ней позаботились, но это не облегчало ее задачи — ей предстояло объяснить, куда и зачем она едет, и если с Брюсселем все было ясно: он был по дороге на родину — то в Лиссабон, несмотря на визы, ее бы так просто не пустили: это была известная промежуточная посадка, трамплин для прыжка в воюющую Испанию, куда сейчас стремились слишком многие…

В Брюсселе она докупила гардероб: то, что дали ей в Москве, ее лично удовлетворяло, но не годилось для роли, которую ей предстояло играть, — богатой канадки, разочаровавшейся в любви и в жизни и ищущей на стороне развлечений и утешения. Прежде всего она приобрела шубу: что за канадка без шубы — да

и женщина в шубе производит иное впечатление, нежели в пальто, пусть самом модном, — так было, во всяком случае, в то время. Купила она также сумочки, прочие аксессуары верхнего платья, хорошее белье — обо всем этом офицер, ее готовивший, не подумал, хотя это была женщина. Вещи были куплены — что дальше? Как въехать в Португалию — даже при наличии визы в паспорте? Пытаться сделать это в одиночку без прикрытия, означало совершить туристическую прогулку за счет Советского государства и вернуться ни с чем: ее бы впустили, но на границе она бы неминуемо попала в поле зрения португальской охранки, тоже фашистской и нацеленной на вылавливание одиночек, пытающихся прорваться в Испанию, чтоб воевать там на стороне правительства. Нужны были связи, чтобы объяснить въезд в Португалию родственными отношениями, торговлей, коммивояжерством или другим, но где взять их? Компартия Португалии скрывалась в глубоком подполье и не могла ей помочь, да она и не имела права обращаться к ней: Коминтерн скрывал свое участие в испанской войне — никто из русских, например, не участвовал в ней под своим истинным именем, все брали испанские фамилии.

К счастью, мировые секты не исчерпываются коммунистической и фашистской и в истории человечества бывали интернационалы помимо этих. Против универмага, в котором она докупала свои туалеты, располагался женский католический монастырь. Она не вступила в него и не постриглась — нет, но вспомнила, что родилась в католической Франции и в лоне этой церкви крестилась и причащалась, и решила прибегнуть к ее помощи (да простится ей это свыше: не она одна взывала к Богу не только из любви к нему, но и в поисках выхода из трудного положения).

Она обратилась к настоятельнице монастыря и представилась девушкой из хорошей семьи (это, собственно, явствовало из ее шубы, но она лишний раз об этом напомнила: к грешницам из хорошего общества почему-то относятся лучше и делают им больше скидок и поблажек, чем девушкам из простых семей, — такова природа человеческая). Она, мол, направляется в Лиссабон, но хотела бы задержать свой отъезд на две-три недели и быть это время полезной церкви: это поможет ей забыть кой-какие душевные раны, которые лучше всего лечатся служением Господу. Это было правильно: нельзя начинать с просьб — надо сначала их отработать. Настоятельницу звали Флоранс — француженка с севера страны, где живут более строгие и внешне чопорные люди, но душа у них бывает жарче и живей, чем у жителей средней Франции. Мать Флоранс не стала ни о чем ее

спрашивать, но направила к матери Луизе, ведавшей столовой, которую монастырь держал для продавщиц соседнего универмага: видимо потому, что те подвергались особым искушениям на работе — как со стороны клиентов, так и предлагаемой им роскоши — и нуждались в первоочередной заботе и попечении. Две недели Рене засучив рукава мыла посуду и разносила обеды, не требуя ничего взамен и лишь скромно подсаживаясь к продавщицам: разделить с ними трапезу. Она не искала общества матери Луизы, обсуждала с ней лишь число едоков и их посадку за столами, но та поглядывала на нее день ото дня все благосклоннее. По-видимому, она рассказала о Рене своей начальнице, или, скорее, та потребовала от нее отчета по прошествии некоторого времени: обе были любопытны, как это бывает свойственно пожилым дамам, отдавшим себя служению Богу и ближнему. Мать Флоранс вызвала к себе Рене для более обстоятельного знакомства, мать Луиза, разумеется, при сем присутствовала.

— Мы все эти дни наблюдали за тобой, Марта, и составили о тебе хорошее впечатление, — сказала мать Флоранс, глядя на голову Рене, которая в этот момент прикладывалась к ее ручке. Разговор происходил в кабинете настоятельницы: здесь было много резного черного дерева, столь же дорогих, пожелтевших от времени, кружев цвета слоновой кости и гравюр на стенах, изображавших отцов церкви; над креслом настоятельницы висел большой поясной портрет святой, основательницы монастыря, его патронессы и попечительницы. Мать Луиза сидела у окна поодаль и, пока говорила начальница, помалкивала. Она построжела и даже посуровела по сравнению с обычным своим видом — зато мать Флоранс, приступившая к Рене с расспросами, была само гостеприимство и доброжелательность.

— Мы бы хотели тебе помочь, если у тебя есть такая нужда… — Сердце у Рене екнуло, но она не подала виду, а задумалась над своими нуждами. — А наверно, она у тебя есть, — уверенно сказала мать Флоранс, — раз ты пришла к нам и взялась работать на кухне, — и пресекла величественным жестом лицемерные разуверения в обратном, которые появились уже на устах грешницы. Рене, подчиняясь правилам человеческого общежития, действительно намеревалась произнести вслух что-то подобное, но, увидев предостерегающее мановение руки, сообразила, что разоблачение ей даже на пользу, и примолкла. — Мы тебе поможем, — пообещала ей та, — но прежде хотели бы кое-что о тебе узнать и выяснить — чтоб не попасть впросак со своими благодеяниями. «Не мечите бисера» — так ведь сказано в Писании? Церковь велика и щедра в своих делах, но и она не

любит тратиться попусту. — В продолжение всей этой вводной части она изучала и щупала взглядом Рене снизу доверху, но особенно сосредотачивалось на лице, желая прочесть в нем столь дорогое всякому церковнику чистосердечное признание в грехах и терпеливое ожидание своей участи. — Тебя крестили в Канаде?

Рене встрепенулась: ход и обстановка разговора напомнили ей задушевные беседы в других стенах и обстоятельствах.

— Нет, — чуть помешкав, отвечала она, снова вспомнив, что лучший способ врать — это говорить правду. — Я крестилась под Абвилем, на побережье, возле Ё и Дьеппа. В одной из тамошних церквей.

— Кто крестил тебя?

— Отец Жозеф. Его все очень любили.

— Высокий и красивый? — без стеснения спросила мать Флоранс: ее годы позволяли ей такую откровенность. — Я его знала. Я бывала в ваших местах. Знаешь, где он сейчас?

— Нет. Мы уехали в Канаду, когда мне пяти лет не было.

— Отец был англичанин?

— Канадец. Служил в это время.

— Моряк, наверно?

— Наблюдатель летного полка. Я даже не знаю, что это такое.

— Я тоже, — успокоила ее мать Флоранс, проникаясь между тем доверием к ней именно вследствие ее неосведомленности. — Так вот отец Жозеф сейчас в Китае… — Пришла очередь удивляться Рене — она поглядела вопросительно на собеседницу. — Поехал миссионерствовать и исчез — мы о нем уже начали беспокоиться.

— Там вроде тревожно? — спросила Рене. — Я в газетах читала.

— Тревожней не бывает. Война… — и глянула значительно, затем ободрила ее: — Видишь, у нас с тобой и общие знакомые нашлись. А конфирмация была в Канаде?

— Да. Мы живем под Квебеком. — Рене приготовилась рассказывать свою историю, сопровождая ее пересказом рисунков, которые она изучала в библиотеке Управления, но мать Флоранс отмахнулась от всего этого:

— Бог с ним. В Канаде я не была и никогда уже не буду. Знаю только, что там французский язык уродуют. А ты говоришь вроде правильно.

— Мама со мной только по-французски и говорила. И потом, я два года в Париже училась, все снова вспомнила.

— Да. Родной язык не потеряешь. Другой не выучишь, а свой не забудешь. А что это за великие грехи перед Господом, о которых ты в прошлый раз говорила? Ну-ка говори. Представь

себе, что ты на исповеди.

Ни о каком смертном грехе Рене ей в прошлый раз не говорила, но спорить не стала. Грехи только украшают нас — вопреки широко распространенному в мире мнению.

— Самый большой мой грех, мать Флоранс, — не таясь отвечала она, — не он сам, а то, что я в нем упорствую. Грехи надо замаливать, а я молюсь Богу и продолжаю нарушать заповеди.

— Мыслями или поступками? — видимо, матери Флоранс была известна разница между обоими заблуждениями ума и сердца, а, возможно, и они сами.

— И тем и другим, мать Флоранс. Каюсь и грешу, грешу и каюсь. Поэтому и мечусь по свету как неприкаянная.

Мать Флоранс тут слегка нахмурилась: не от тяжести ее прегрешений, а оттого, что не любила в исповедях недоговоренности и туманных неточностей.

— Ты любила мужчину?

— Да, мать Флоранс.

— Он был женат?

— Нет. Женат он не был, но и на мне не женился.

— А ты жила с ним? — с бесцеремонностью исповедницы спросила та. Молчание Рене было на этот счет красноречиво. — А сейчас что? Продолжаешь с ним встречаться? Что-то мы с матерью Луизой этого не заметили. А у нас на это глаз зоркий.

— Хуже, мать Флоранс. Хочу найти его. Соблазн ушел — надо было бы перекреститься и поблагодарить Господа, а я ищу его по белу свету.

— Хм! — Мать Флоранс переглянулась с матерью Луизой, и тут обе словно на время удалились из зала суда, хотя и остались на своих местах — так навострились понимать друг друга, что им было достаточно и безмолвной речи.

— Упорство в грехе — великий грех, — признала мать Флоранс, — может быть, самый непростительный из всех, но и самой великой грешнице можно помочь и посочувствовать. Но ты не все нам говоришь. — Здесь она строго, едва ли не сурово поглядела на исповедуемую. — Ты не все рассказываешь, Марта, и грешишь еще и ложью, хотя правда могла бы уменьшить степень твоей вины перед Господом: она и очернит и обелит тебя одновременно! — голос ее зазвучал здесь почти что торжественно.

Рене терялась в догадках: что они сумели про нее вынюхать?

— Чего я не сказала, мать Флоранс? Чего именно?

— Чего именно? — повторила та, глядя на нее со здоровым церковным цинизмом. — У тебя много таких грехов?.. — Затем

посерьезнела: — У тебя был ребенок, Марта, а ты нам не сказала этого. Где он теперь?

Рене вначале удивилась, потом, как и полагалось по сценарию, устыдилась этому разоблачению:

— Как вы узнали об этом, мать Флоранс? — еле слышно спросила она, не смея говорить громче. — Я этого никому не говорила. Мне больно, — и на глаза ее навернулись почти естественные слезы.

— Это понятно, — невозмутимо кивнула та, проникаясь в эту минуту горячим сочувствием к падшей соотечественнице. — Как узнали, это не так важно и не так сложно — для тех, кто столько лет имеет дело с молодыми женщинами… Всякая женщина, помеченная благостью материнства, говорит и ведет себя иначе, чем невинная, не ведавшая греха девушка и не знавшая родов женщина… Когда ты переодевалась на кухне, — добавила она более прозаически, — и меняла платье на фартук, мать Луиза увидела у тебя внизу живота полосы, которые бывают только у рожавших… — Здесь мать Луиза потупилась, но из молчаливой роли не вышла, хотя у нее язык чесался отчитать мать Флоранс за излишнюю откровенность. — Что с ним стало? — Она, как в суде, хотела знать всю правду.

— Умер в родах, — отвечала Рене со спокойствием, чреватым взрывом страсти. — Я с тех пор сама не своя и, главное, хочу сказать ему об этом.

— Он этого не знает?

— Нет. Уехал в Испанию.

— На чьей стороне он? — как бы невзначай и вскользь спросила настоятельница, хотя это был, возможно, главный ее вопрос.

— У генерала Франко, конечно. Он летчик, их полк формируется в Лиссабоне.

— И ты хочешь туда поехать?

— Хочу.

— А что мешает?

— Он не дал адреса: у них все скрыто — даже родители не знают, где он, а меня на границе или в Лиссабоне спросят, куда я еду, и хорошо если только назад завернут. А то и у себя оставят — до выяснения обстоятельств.

— Это ты правильно говоришь… Теперь-то понятно, зачем ты к нам пожаловала… — Она призадумалась, решая некую арифметическую задачу. — В этом, значит, и заключается твое упорство в грехе? Это не самый большой грех, Марта. Нельзя, конечно, наживать ребенка вне брака, но любовь — дело Богу угодное, и он смотрит на нее снисходительно. А построение

семьи приятно Ему в особенности… Так поможем ей, мать Луиза? Ехать туда одной, без рекомендации действительно бессмысленно и даже опасно. Особенно если она начнет искать этот полк со своим приятелем… Ты говоришь, она людей любит?

— Мне так показалось, — разжала наконец рот мать Луиза. — По тому, как она обеды раздавала и тарелки перед девушками ставила. Их по-разному можно ставить, а она каждой прислуживала с уважением и вниманием — от первой до последней.

— Как на первых христианских совместных трапезах, — вспомнила седую старину мать Флоранс и едва не прослезилась — от большого числа лет и от свойственнной ей восторженности. — Рискнем? Авось, она не подведет нас, не влипнет ни в какую историю? Ладно. Ты верующий человек — это у тебя по глазам видно, хоть ты и прячешь их под напускным простодушием. А на упрямство твое по-разному можно взглянуть. Нашего Спасителя тоже, может, называли упрямцем — те, кто не понимал Его и сами в грехе упорствовали. Поможем. Дадим тебе для лиссабонского монастыря медальку одну — ты ее там покажешь, а они тебе пособят: как уж смогут. А это немало. Особенно в Португалии. Писем мы не пишем: не любим связывать себя ими — медаль поможет тебе лучше всяких рекомендаций и ходатайств… — и подала Рене медаль с той святой, чей портрет висел за ее спиною, — как потом выяснилось, святой Агнессы. — Смотри не теряй ее и, если будут спрашивать на границе или еще где, откуда она, скажи, купила в монастыре, — там и правда, при входе продаются такие же — такие, да не совсем, а какая между ними разница, тебе знать не надо. Иди. В столовую больше не приходи. Я еще позвоню матери Инессе: чтоб не как снег на голову… — и Рене, с превеликой благодарностью и облегчением, снова приложилась к предложенной руке и попрощалась с ними обеими. Она захотела при выходе из монастыря купить эту медаль, чтоб сравнить, в чем они все-таки различаются, но поборола в себе лишнее любопытство — и правильно сделала, потому что монахини следили за ней из окна и отошли от него только тогда, когда она оставила их стены, — во всяком случае, только тогда провисла откинутая ими штора.

На следующий день она пришла в столовую: чтобы поблагодарить мать Луизу, которой, как ей показалось, она накануне уделила недостаточно внимания, но та приняла ее суше обычного: может, до сих пор дулась на мать Флоранс за то, что уличила ее в подглядывании, а может быть, после откровений Рене усомнилась в ее добропорядочности: по-настоящему нравственные девушки не ведут себя столь бесшабашным и

рискованным образом. Сама она ни за каким летчиком в Лиссабон бы не поехала…

Рене вернулась от них как на крыльях, довольная и собой и ими. Ее поездка обретала смысл и становилась на ноги. Всегда надо действовать, а не ждать у моря погоды, говорила она себе, наше спасение — в действии и в движении, и самая великая история человечества — это басня о двух лягушках, попавших в кувшин молока: одна отказалась от борьбы и тут же пошла на дно, другая не переставала биться и сучить ножками, пока под ней не взбилась твердая опора масла. Теперь, с округлившимися от покупок чемоданами, храня на грудной цепочке заветное изображение святой Агнессы, она с легкой душой села в пароход, идущий в Португалию; ей нечего было бояться (хотя во французском Кале, где была часовая остановка, она на берег так и не вышла).

— Куда едете? — спросил ее офицер, когда она, высадившись в лиссабонском порту, проходила таможенный досмотр и пограничный контроль в предназначенной для этого комнате. Офицер был галантен, но галантность его была в лучшем случае вызвана ее молодостью и миловидностью, в худшем — таила в себе подвох и ловушку.

— К донье Инессе. В монастырь урсулинок.

Он с уважением кивнул, но не преминул уточнить:

— А от кого?

— От матери Флоранс из Брюсселя.

— Хорошо. — Ему понравилась эта почти военная точность ответов, он встал, оставил ее одну и пошел в соседнюю комнату к телефону: сверяться, как если бы это было неудобно делать в ее присутствии.

Вернулся он вполне удовлетворенный наведенными справками и уже без той обязательной и ни к чему не обязывающей улыбки сердцееда, которая была теперь ему ненадобна.

— Желаю вам веселого отдыха в Лиссабоне, — сказал он, вспомнил, с кем имеет дело, и поправился: — Я хотел сказать, памятных минут благочестия…

Лиссабон — одна из красивейших столиц мира. Рене любила портовые города, но этот был особенно наряден: расположенный уступами на холмах, поросших вековой зеленью, на которых теснились в живописном беспорядке подпирающие друг друга старые башни, дворцы, жилые дома и церкви, — все облицованное плитками из цветного фаянса, который здесь шел как на внутреннюю, так и внешнюю отделку зданий. Город был разрушен до основания страшным землетрясением

восемнадцатого века, но затем с удвоенным усердием и старанием застроен заново — уже с применением циркуля и линейки, так что в нем, помимо старых кварталов с их узкими переулками, которых никто уже не переделает, есть прямые лучи проспектов и широкие круглые площади, посредине которых стоят бронзовые памятники и каменные церкви. Но больше всего ей понравились жители Лиссабона. Может быть, это было результатом особого состояния души, гордости, порожденной успехом ее предприятия, но она всем в тот день восхищалась и все запечатлевала в памяти. Так, до конца дней своих она запомнила португальского юношу, который вызвался поднести ей тяжелые чемоданы до отеля (идти было далеко, через площадь, потому что она не смогла на своем плохом португальском объяснить шоферу, где ее высадить). Юноша конечно же не захотел взять с нее денег, но еще и наградил ее улыбкой — одной из тех, которые могли повести ее на другой конец света, — улыбкой гезов, благородных и веселых нищих, имевшей на нее столь сильное влияние. Казалось бы, пустяк, мимолетная встреча, но она сразу ввела ее в здешний мир: она будто увидела его снаружи и изнутри и окунулась в него, не испытав ни малейшей робости или зябкости: как входят в теплую воду реки разгоряченные жарой купальщики.

Она поселилась в одной из дорогих гостиниц на Авенида Палас: нужно было держать марку и соответствовать своему нареченному богатству — осмотрелась в городе, успела наскоро полюбить его и, не теряя времени, отправилась на поиски лиссабонского отделения урсулинского монастырского ордена. Найти его не составило труда: португальцы, как всякий не очень богатый народ, любят гостей и спешат им на выручку. Помимо того, на Рене еще и падало сияние этой достойной и всеми уважаемой обители: будто она шла туда, чтоб постричься в монахини. Не прошло и получаса, как она стучалась в резные деревянные наглухо запертые двери, и вышедшая на ее исполненный светской суеты стук монашка, вначале неприветливая, сразу переменилась в лице и посветлела, едва услыхала имя доньи Инессы, и, не говоря ни слова, повела Рене через лабиринт коридоров и тяжелых дверей, открываемых каждая своим ключом, так что и у привратницы на поясе болталась огромная связка, а у настоятельницы монастыря ключей должно было быть еще больше, и трудно было представить себе, как они умещались на одной веревке.

Донья Инесса сидела в кабинете, очень похожем на кабинет матери Флоранс, но сама ничем не походила на свою почтенную брюссельскую коллегу, знатока душ и их уловительницу. Когда

Рене вошла, донья Инесса самым деловым и практическим образом стучала на счетах, сердилась, что у нее не сходится баланс, и была в эту минуту больше всего похожа на уставшего от цифр бухгалтера. Подняв глаза на вошедшую, она с минуту ее разглядывала, потом жестом пригласила сесть — о допуске к руке или иных вольностях не могло быть и речи.

— О вас дважды звонили, — сказала она только, предваряя разговор и по возможности его сокращая. — Мать Флоранс и пограничник… — но медальку со святой Агнессой взяла с почтительностью, тут же спрятала ее в сейф как вещественную гарантию — и чуть-чуть подобрела. — Как она? Хорошо себя чувствует? — и, услышав успокоительные заверения Рене, отчего-то не обрадовалась им, а лишь построжела: — Это хорошо, если так. Мы сейчас все в таком возрасте, что с каждой все может случиться. — Сама она жила, видно, в ожидании этих естественных бед и избегала поэтому всех прочих, которые, в добавление к ним, могла навлечь на себя: заметного желания помочь Рене у нее, во всяком случае, не было. — У вас, я слышала, неприятности? — спросила только она, оглядев Рене с головы до ног, что означало, что болтливая мать Флоранс все ей рассказала. — Ищете кого-то? Не знаю, смогу ли я помочь вам. Мы так далеки от всего этого. — Она произнесла это с сомнением в голосе и снова поглядела на счеты: будто Рене не давала ей закончить годовой отчет или добиться положительного сальдо.

Рене поняла, что надо просить по минимуму: хорошо, если поможет в малом.

— Я в чужом городе, донья Инесса, и мне надо кое-чем здесь заняться. Я не буду докучать вам просьбами, — донья Инесса одобрительно кивнула, — ни тем более — проситься в вашу обитель. — Это Рене сказала уже из озорства, потому что настоятельница и представить себе не могла постороннее лицо, да еще с такой биографией, в ее сто раз замкнутых стенах и от неожиданности даже поджала губы. — Но не могли бы вы порекомендовать мне какую-нибудь девушку моего возраста из хорошей семьи, с которой я могла бы провести время и которой и я могла бы быть чем-то полезной. Мне бы хотелось побыстрее забыть прошлое и обратиться душой к Богу, нашему общему утешителю. Конечно, эта девушка должна быть глубоко верующей: когда сходятся два верующих человека, им не нужно много времени для знакомства — они и так едины в общей вере, в Христовом учении…

Ох, Рене, Рене! Бог, конечно, великодушен и милостив, но не до такой же степени! Впрочем, донья Инесса пропустила мимо ушей ее взывания к Господу: этого она наслышалась больше, чем

кто-либо, но умеренность просьб и, главное, встречное предложение о взаимной полезности заинтересовали ее: она была не вовсе лишена человеколюбия и старалась по возможности помочь своим знакомым и их семьям.

— Это я вам, пожалуй, сделаю. Есть, например, Нинель Мендоса. У них свой дом в Лиссабоне. Это хорошая девушка, и вы, может быть, снимете у них комнату? — и глянула вопросительно.

Рене подумала о рации, которую нужно было собрать, чтоб передавать по ночам шифрограммы на восток, и предложила иной выход из положения.

— Переехать к ним я, наверно, не смогу: я привыкла жить одна — так и часы быстрее идут и времени для общения со Всевышним больше, но я бы могла, наверно, у них столоваться.

Донья Инесса одобрила этот ход:

— Можно и так. Так даже лучше, потому что донья Бланка: это мать Нинель — довольно стеснительная женщина. А деньги им нужны. Они аристократы, но поиздержались и обеднели в последнее время. Деньги нам всем тут нужны, — прибавила она по здравом размышлении. — Страна-то бедная. Чего ради, вы думаете, я за счетами сижу, вместо того, чтоб четки перебирать? Тоже вот — не сходятся концы с концами… — Она поглядела раздумчиво на Рене. — Вы в какой гостинице остановились?

— Амбасадор Палас.

— Вот видите! — почти упрекнула она Рене. — Значит, деньги у вас есть. И в каком номере?

— Двадцать восьмом.

— С видом на океан?

— На площадь. Но все равно красиво.

— У нас везде красиво. Я однажды прожила там день в номере с видом на море, — не удержалась, похвасталась она и в следующую минуту, устыдившись суетности своего порыва, решила кончать аудиенцию: — Ладно. Нинель к вам придет завтра вечером… Там еще брат-офицер — это вас не останавливает?

Это было сказано со скрытой иронией, и Рене предпочла ее не заметить:

— Нисколько, — бодро отвечала она. — Я надеюсь, он верующий? — (Брат-офицер — это, наоборот, было как раз то, что нужно.)

— Верующий, верующий, — успокоила ее донья Инесса, а сама подумала, что мать Флоранс, наверно, совсем из ума выжила, если направляет к ней таких шельм и искательниц приключений. Но медаль святой Агнессы — дело не шуточное:

она оставила ее у себя в сейфе — чтоб при необходимости отчитаться перед начальством, у которого могли возникнуть, в связи с этой гостьей, ненужные для нее вопросы и сомнения.

Рене вышла от нее обескураженная суховатым приемом: словно наткнулась на неодолимую преграду, но предстоящее свидание с Нинель и ее семейством искупало эти издержки. Пока же, в ожидании знакомства, которое должно было ввести ее в здешнее общество, она занялась безотлагательными делами: нужно было подумать о рации и найти квартиру, потому что постоянно жить в Амбассадор Палас было и ей не по карману.

Она нашла жилье в чистом, благопристойном центральном квартале города, построенном с помощью циркуля и линейки. В квартире было два неоценимых преимущества. Во-первых, она, как и ее двойник на улице маршала Жоффра, являла собой анфиладу комнат, общая протяженность которых была более чем достаточна для антенны; во-вторых, у подъезда постоянно дежурил полицейский. Это было ей кстати, и она даже не спросила, чего ради он тут дневалит. Нужен же он ей был потому, что самой большой неприятностью для нее был бы визит к ней воров-домушников, которым для обыска квартиры не нужно ордера. Что бы они сделали, найдя у нее передатчик, предсказать было трудно: бывают и грабители-патриоты, готовые сдать полиции шпиона и предателя родины.

Квартира была богатой, просторной, нарядной и мало того что радовала взгляд, но еще и точно попадала в цель — соответствовала роли богатой канадки, которую она должна была здесь сыграть и которая (она предчувствовала это) должна была иметь успех и найти отклик в здешнем обществе: донья Инесса прозрачно намекнула ей на это. Теперь можно было заняться рацией. Ее надо было собрать конечно же самой — без обращения к специалистам. Приемное устройство легко переделывалось из радиоприемника, который она купила в соседнем магазине, но для передатчика нужны были особые, только для этой цели используемые лампы и силовой трансформатор. Его можно было заказать в мастерской, но для этого надо было указать адрес, который оставался в книгах заведения, — она решила рискнуть, но сделать это, пока жила в Амбассадор Палас. Для покупки ламп оставлять адрес было не нужно. Удивленный продавец спросил только, зачем они ей, богатой канадке, — она сказала, что ее просили об этом дома и чтоб она купила их именно в его магазине, который понравился ее родственнику при его последнем посещении Португалии. Как ни глупа лесть, она всегда действует безотказно: продавец посмеялся наивности ее родича, но гордость за предприятие взяла верх, и он продал ей лампы с

особенно приятным чувством и, наверно, дома еще и рассказал жене о своей заокеанской известности. Ободренная успехом, она узнала адрес мастерской и пошла покупать силовой трансформатор. Здесь на хозяина произвела впечатление гостиница, в которой она остановилась: так же, как на донью Инессу, только еще больше — он продал трансформатор, не спрашивая, зачем он ей: предположив, наверно, что это очередной каприз обитателей роскошных апартаментов.

Больше она не рисковала: остальное доделала сама — намотала катушки, собрала контуры, даже смастерила ключ для морзянки. Можно было работать. Ночью она вышла в эфир, связалась с рацией Разведупра, работавшей на испанской территории, передала, с помощью чудом сохранившейся у нее бульварной книжицы, которую она так и не прочла, хотя обещала это таможеннику, — что остановилась в Лиссабоне и ждет случая перебраться в Испанию.

13

Утром можно было переезжать в новую квартиру, где Рене провела ночь, налаживая рацию, но она вернулась в гостиницу и дождалась здесь гостьи. Нинель оказалась живой, красивой, исполненной внутреннего благородства, словно сошедшей с фамильной портретной галереи девушкой двадцати пяти лет, нисколько не кичившейся аристократическим происхождением, равно как и не стеснявшейся нынешней бедности ее семейства: истинные аристократы воспринимают перемены, происходящие с ними, как от них не зависящие: знатность сама по себе, а судьба — неотвратимая к ней поправка, с которой приходится считаться и мириться.

— Вы Марта Саншайн? Я Нинель Мендоса, — и глянув особым образом, дала понять, что знает о ней достаточно, чтобы избежать лишних разговоров. — Какой номер красивый! Я никогда в таком не была! Дорогой, наверно? — и не дожидаясь очевидного ответа, спросила: — Как мы с вами говорить будем? Французский я знаю плохо, испанский лучше.

— А я наоборот. Но по-испански почти все понимаю.

— А я то же по-французски. Значит, я буду к вам обращаться по-испански, а вы ко мне по-французски.

— Идет. А потом начну учить португальский. Говорят, нетрудно после испанского. — В Рене жила лингвистическая жилка, и она любила блеснуть ею и похвастаться знаниями в этой обманчивой и ненадежной области.

— Может быть, и так, — с сомнением в голосе согласилась та, потом пояснила: — Мы не любим, когда так говорят. Знание испанского только мешает. Лучше начинать с португальского… — и оглянулась, запоминая обстановку. — Мебель, конечно, новая — хотя сделана под старую. Старой на все номера не хватит… — Затем лукаво спросила: — Донья Инесса сказала, что у вас личные неприятности и вы бы хотели у нас забыться?

— И для этого приехала поближе к жениху? Нет, конечно, я хотела разыскать его, но теперь раздумала.

— Почему?

— Походила по вашему городу — он такой же большой, как наш Квебек или Брюссель, откуда я приехала, — как его искать тут? Я не хочу быть назойливой. И так уже сделала больше, чем нужно. Пусть теперь сам меня ищет или наткнется вдруг на меня на улице. Это лучше, чем если я разыщу его в казарме — вот, мой дорогой, я у твоих ног, делай со мной что хочешь.

Нинель улыбнулась. Ей пришлось по душе это чисто женское

сочетание поиска и убегания.

— Хотите предоставить дело случаю? А где он служит здесь?

— Если б я знала. Мне сказали по секрету, что у вас собирается «отряд ночных филинов», но об этом и спрашивать нельзя: можно вызвать подозрения.

— Я спрошу у брата. Он у меня военный: правда, не летчик. Может и не знать. Ну и шуба у тебя! Это ничего, что я на «ты» перешла? На испанском это проще, чем если б я говорила с тобой на португальском.

— На французском еще легче. Мы «вы» только совсем незнакомым господам говорим или очень уж почтенным. В Брюсселе купила. Свои в Канаде оставила: не думала, что на зиму здесь останусь.

— Соболь?

— Норка. Соболь у меня в Квебеке, а вторую покупать и мне не по карману. Не знаю только, придется ли носить здесь.

— Если на что-нибудь легкое, то и здесь пару раз надеть можно. Это у нас особый шик — накинуть шубу, когда идешь, например, в театр. Хорошо от ветра защищает. Ты у нас столоваться будешь?

— Да. Если позволите, конечно.

— Я сказала матери — она забеспокоилась: не знаю, говорит, угожу ли твоей богачке.

— Я совсем не богачка — у себя дома во всяком случае.

— А здесь ею станешь. Но это она напрасно: готовит она прекрасно. Прислуги нет — за всем сама смотрит. Ты здесь будешь жить?

— Нет, завтра перееду. На Авенида де Либертадо. Возле церкви святого Роха — знаешь?

— Знаю, конечно. Это недалеко от нас. В новых домах, наверно? Номера не помнишь?

— Тот, что с полицейским.

— Да что ты? — весело удивилась Нинель. — В одном подъезде с начальником лиссабонской полиции жить будешь. Для чего, думаешь, там полицейского поставили?..

Тут пришла очередь изумляться Рене: с неприятным осадком в душе и с довольно кислой физиономией — она подумала здесь про рацию и предстоящие ей бдения в ночном эфире. К счастью, радиоволны на слух не определялись, передаточный ключ она клала на толстый слой фланели, гасившей звуки, а в Лиссабоне, как ее уверили в Управлении, пеленгаторов не было: у Салазара не было для них денег. Но в Испании радисты уже разъезжали с кочевыми передатчиками по дорогам страны, отчего «почерк» их изменился, стал неровным, дрожал на ухабах. Франкистов

обеспечили немцы. Они могли ссудить деньги и Лиссабону.

— Ничего страшного, — успокоила ее Нинель, поняв все по-своему. — Тебе даже не придется с ним здороваться. Он выходит через свою дверь в вестибюле и сразу садится в машину: не хочет, чтоб его знали в лицо.

— Чтоб не грохнули.

— Что такое «грохнули»? А, поняла: чтоб не съездили по физиономии. Но это их заботы — они нас мало касаются, верно? Приходи завтра. Мама уже меню на неделю составила. А я на уроки пойду: надо зарабатывать. Мама просила первый завтрак пропустить: не успеет приготовиться и перемыть посуду — начнем с завтрашнего обеда. Но потом надо будет ходить три раза в день — иначе она тебя заставит съесть в один присест и завтрак, и обед, и ужин: если загуляешь. Если предупредишь — другое дело… — и ушла, обертывая тонкое открытое смуглое лицо легким кружевным платком, спасавшим местных красавиц от здешних холодов не хуже канадской шубы.

Мать, донья Бланка, оказалась на вид столь же приятная женщина, что и ее дочь: обе статные и осанистые, но если Нинель с легкостью несла по миру свое стройное и подвижное тело, на котором поневоле задерживались общие взоры, то у матери оно утратило гибкость и причиняло ей неудобства: она то и дело бралась за поясницу. Особняк их, старый, темный снаружи и изнутри, был обставлен мебелью прежних веков, нуждавшейся в смене обивки и ремонте дерева, о чем хозяйка напомнила, едва гостья перешла порог дома.

— Осторожней — не заденьте этот комод и на стул не садитесь: развалиться может, — с мимолетным стыдом в глазах предупредила она Рене на своем языке, хотя та пока мало что понимала по-португальски и была на таком расстоянии и от стула и от комода, что никак не могла нарушить их целости. — Никак не можем починить, — повинилась хозяйка. — Ремонт стоит дорого, проще купить новую мебель, но не хочется: к этой привыкли, да и дети не позволяют: как-никак, наши деды на них сидели. Дед Нинель и Хорхе был грандом.

Из всего сказанного ею Рене поняла только это и для поддержания разговора пошутила на испанском:

— Это не он сломал стул? Великие люди обычно неуклюжи, — но этого не поняла уже донья Бланка: ее познания в испанском были ограничены, а понимать шутки на чужом языке, как известно, всего труднее. Беседа их непременно зашла бы в тупик, если бы к ним из своей комнаты на втором этаже не спустилась Нинель, ставшая посредником и переводчиком в их переговорах.

— Вы какую кухню любите? — спросила мать, ободрившаяся с ее приходом. — Французскую, наверно? Она похожа на нашу, но наша острее — не знаю, понравится ли. Я сегодня овощи фаршировала — старалась меньше класть перцу: ребята добавят, если покажется пресным. — Она подождала, пока Нинель переведет, спросила затем то, из-за чего завела разговор и испытывала душевные муки: — Не знаю, сколько брать с вас… Сколько скажете, наверно, столько и будет.

— Что она сказала? — спросила Рене, уловив, что разговор пошел о главном.

— Говорит, что ты сама должна определить цену за обеды, — вынуждена была перевести Нинель, но упрекнула мать: — Наверно, так все-таки не делается. Наша гостья может и ошибиться: она не знает здешних цен.

— Пять тысяч рейсов ей много будет?

— В день? — Рене испугалась этих тысяч, но не подала виду и мужественно попросила перевести их в другую, более понятную ей, валюту по действующему в этот день курсу.

— Пять франков, наверно, — посчитала Нинель: они все здесь быстро считали.

Рене вздохнула с облегчением:

— Так это мало? Пусть будет десять.

— Десять тысяч рейсов серебром? — поразилась донья Бланка.

— Ну да. Если это десять франков. Сколько это будет в долларах? У меня, собственно, доллары. Но не американские, а канадские.

— А они везде ходят? — встревожилась мать.

— Конечно, — успокоила ее дочь. — Канадский доллар дороже американского. Но его курса я не знаю.

— Я поменяю на португальские рейсы, и все станет ясно, — сказала Рене.

— Разберемся! — мать устала от этой бухгалтерии. — Посмотрите, что за обеды, потом будем торговаться…

Фаршированные овощи были восхитительны — немного, правда, остры для непривычного неба Рене, но она была рада познакомиться с новой кухней: она ведь была богатой туристкой и искала развлечений.

— Ну и как? — спросила хозяйка через переводчицу.

— Ничего вкуснее до сих пор не ела, — искренне отвечала та, утираясь салфеткой. Донья Бланка пригляделась к ней.

— Она к жениху приехала? — спросила она дочь.

— Да. Он в армии Франко, — сказала та по-португальски и перевела затем Рене на французский.

— Франко?.. — Мать еще раз присмотрелась к француженке. — Странно. Она мне показалась из простых. Как твой Аугусто, — прибавила она: не в упрек Нинель, а для большей наглядности; она говорила по-португальски, полагая, что Рене ее не понимает. — Слишком свободно держится. Даже твой Аугусто как-то поважнее смотрится. Его-то отец был настоящим дворянином.

Нинель покачала головой. Она пропустила мимо ушей суждение об Аугусто: оно было ей известно — но обиделась за новую подругу:

— Даже когда столько языков знает?

— Знание чужих языков, дочь, не свидетельство высокого происхождения, а, я бы сказала, наоборот. Зачем аристократу чужие языки? Ему нужно уметь держать нож и вилку.

Ничего этого Нинель не перевела, но, как ни странно, Рене все поняла или угадала. Она слегка обиделась за свои манеры и решила на досуге заняться этим пробелом в своем воспитании: в последний раз такая проблема возникла у нее в Китае, когда она осваивала палочки для риса, — но от своего происхождения она отрекаться не думала и, скорее, гордилась им.

— Я, донья Бланка, действительно из простой семьи, — сказала она хозяйке. — Родители мои — крестьяне.

— Так это же хорошо! — воскликнула та, трубя отбой и жалея, что завела неосторожный, не ко времени, разговор. — Дворяне всегда душа в душу с крестьянами жили! Это ж две стороны одной медали!

Рене не стала спорить: это не было в ее интересах, но на языке ее вертелось, что хотя медаль и едина, но одна сторона ее все-таки прямая, а другая — всегда обратная.

— Как ты познакомилась со своим женихом? — Нинель была любопытна, как все невесты в мире.

— Как познакомилась? — Рене пришлось снова сочинять и фантазировать, и, как всегда, ложь ее была замешана на правде. — Я приехала учиться в Париж, поступила в Сорбонну и одновременно в Высшую политическую школу…

— Это самый известный институт в Париже, — с гордостью за подругу объяснила Нинель матери. — Там готовят дипломатов.

— И высшую администрацию. Французы хотят, чтобы их бюрократы были людьми образованными.

— И как ты туда поступила?

— Как все. Поступить нетрудно. Платить надо за сдачу экзаменов. Они там трудные, и плата не освобождает от необходимости знать курс лекций… Но я б и экзамены сдала, если б не это… — и Рене показала глазами вокруг себя, имея в

виду, конечно же, не их гостиную, а то, что было за ее пределами и охватывало Португалию, Испанию и еще пол-Европы, если не больше. — Вам интересно?

— Конечно интересно! — воскликнула Нинель, а мать в подтверждение этих слов встала из-за стола и отошла к окну: чтоб не мешать рассказу и чтоб удобнее было слушать.

— Там готовили дипломатов. А где дипломаты, там, извините меня, аристократы — это их сословное занятие…

Нинель перевела матери, та усмехнулась, но с места не сдвинулась, осталась стоять у окна.

— Началось все с ссоры. У нас был профессор — не буду называть его фамилии — он был еврей. Мне, простой крестьянке, это все равно: профессор есть профессор и мы все французы, но у аристократов — не всех, конечно: там были молодые люди из очень высоких фамилий — было другое к этому отношение. Они вели себя из рук вон плохо: стучали ногами, били линейками по парте — специально приносили их для этого. Их отцы и дяди были послами и высокими чинами в министерствах, и они чувствовали себя хозяевами положения…

Нинель исправно и вполголоса переводила это матери.

— Бывают и такие, — согласилась та, мельком глянув на рассказчицу. — Мы их тоже не любим. У них душа холопов: они редко бывают хорошей крови. Настоящий аристократ всегда помнит свой долг: он как священник — только что не дал обета. Но я не вижу пока ни любви, ни повода для знакомства.

— Твой знакомый был из их компании? — спросила Нинель.

— Нет. Если бы! Тогда было б все просто — я б училась дальше! — присочинила Рене, подчиняясь законам романической прозы. — Он сидел за отдельной партой и не принимал участия в их бесчинствах, но именно с ним мы и поссорились. Тем я сделала замечание: они не давали слушать, а мне было интересно, что говорил профессор, — но они и не оборотились в мою сторону: подумаешь, девица без роду и племени, о которой никто не знает, — что с ней разговаривать. Только он посмотрел на меня внимательно, ничего на лекции не сказал, но после нее подошел, и здесь-то мы и начали дискутировать… — и Рене примолкла, будто ей нелегко было вспоминать прошлое…

На самом деле в Политшколе была такая история — если не такая, то чуть-чуть на нее похожая. Рядом с ней, через ряд, действительно сидел молодой человек, углубленный в себя, погруженный в учебу, почти не глядевший по сторонам и вызывавший этим любопытство студенток, которым было мало простого, понятного, нужно было еще чужое, непознанное. Рене он приглянулся своей сосредоточенностью: она сама была такой

же — и еще затаенным и скрытным высокомерием, которое она не прощала другим, а у него оно почему-то ей понравилось. Она первая подошла к нему, они разговорились, он проникся к ней доверием и сообщил, что он убежденный фашист и учится здесь, чтоб и дальше бороться за правое дело, но уже вооруженный знаниями: его однопартийцев часто и незаслуженно считают неучами. После этого конечно же чувства Рене погасли, не успев вспыхнуть, — она поспешила с ним расстаться, и вот к этому-то он как истинный фашист и отнесся подозрительно: угадал, что все дело в политике.

— Что он говорил тебе? — Нинель ждала продолжения.

— Для начала скажите, как его звали? — спросила мать. — А то уже интересно, а имени нет — слушать трудно.

Это могло быть ловушкой, и Рене помешкала — хотя сообразила потом, что осторожничает напрасно.

— Имени я вам, донья Бланка, не назову, — сказала она все-таки. — Он здесь под вымышленной фамилией. Германия участвует в испанских событиях, но не хочет, чтобы ее воины были известны. У него могут быть неприятности, если я начнуу его искать по немецкому имени. Поэтому я и отказалась от прямых розысков, — пояснила она Нинель, которой прежде давала иное объяснение своим поступкам. — Увидимся так увидимся, нет так нет. Будет хоть знать потом, что я за ним сюда ездила, — этого достаточно.

Здесь донья Бланка ей наконец поверила.

— До чего хитры женщины. И где ж ты хочешь его увидеть? В госпитале, если ранят?

— Летчиков, донья Бланка, ранят редко, — сказала Рене, и хозяйка поежилась от ее откровенности. — Может, отдыхать приедет… Может, я туда поеду, в Испанию — если повезет, — выдала она наконец заветное желание. — Но об этом я никому не говорю — так что и вы меня не подводите.

— Значит, любовь началась с ссоры? — спросила Нинель, которую любовь привлекала больше, чем военные действия. — Он тоже из аристократов?

— Нет. Наоборот совсем. — Рене скинула со лба прядь волос, как делала это в минуту глубоких раздумий. — Его отец — небольшой чиновник в министерстве иностранных дел и влиянием не пользуется. Но он был самый убежденный фашист из всех, кто там учился. Идейный. Мечтает о всемирном государстве без денежных тузов и профсоюзных демагогов — без плебейских армий, которые, как он говорил, собираются на Востоке, чтоб поработить разложившийся Запад…

— Не так быстро: я не успеваю, — пожаловалась

переводчица. — Что ты зачастила?

— Потому что тысячу раз от него это слышала. Мы не во всем с ним расходились. Он, например, тоже считал, что не надо саботировать лекции — опускаться до этого. Но и он считал, что с евреями надо кончать, что они никогда не поддадутся нацистскому перевоспитанию, — посмотри, говорит, на их кривые улыбки: их сам черт не переделает, носятся со своим Богом под мышкой, будто присвоили его, взяли себе на откуп, совещаются с ним каждый день, считают себя поэтому всегда правыми. В этом отношении он целиком доверял Гитлеру. «Майн Кампф» у него всегда был на столе…

— Француз? — Нинель уже начала кое-что понимать: у них в городе тоже были фашисты.

— Из Эльзаса. Отец — немец: поэтому его в летный отряд взяли.

— А почему вы сошлись с ним? — осторожно спросила Нинель, которая не могла ни позволить себе того же со своим женихом, хотя они давно были повенчаны, ни даже перевести этого вопроса матери. Та, впрочем, догадалась, о чем идет речь: у нее тоже открылись вдруг лингвистические способности.

— Почему сошлись? — Рене тут и вправду задумалась, и в ее рассказе немец-фашист, которого звали Францем, связался почему-то с Яковом. — Потому что я люблю людей, знающих, чего они хотят. То есть люблю я улыбчивых и веселых, а тянет меня именно к таким — серьезным и идейным. Они меня чуть-чуть подавляют, но мне это даже нравится…

— Что она говорит? — спросила мать.

— Думаешь, это легко? — сказала Нинель и перевела что сумела.

— Это потому, что она крестьянка, — упрямо повторила донья Бланка. — Ей нужен человек, который бы говорил ей, что надо делать.

Рене не обиделась на нее: замечание было колким, но она сама думала о том же.

— Нет, донья Бланка. Мне поводырь не нужен, я без него обойдусь. Что мне нужно — так это то, что всякой женщине, — надежного друга. Мне они видятся среди идейных, и тут-то я, наверно, и ошибаюсь. Если во мне есть что от крестьянки, то излишняя доверчивость. Но ведь и не все крестьяне таковы — большая часть, наоборот, хитра и лукава… Знаешь, что он мне сказал, когда я сказала ему «да»? — спросила она Нинель, надеясь на то, что мать вовсе не понимает по-французски. Так оно и было, но по краске, залившей прекрасное непорочное лицо дочери, мать почувствовала неладное. — «Теперь мы будем

делать вдвоем фашистскую революцию!».. — Нинель засмеялась, а мать, ничего не поняв, поджала губы и поглядела на обеих в высшей степени подозрительно.

— А ты что?

— Да мне показалось это немного странным, и я спросила: «А что, если я вдруг не захочу ее делать?» «Получишь тогда полный расчет», — сказал он и весь день потом дулся: нельзя шутить на такую тему. Так оно в конце концов и вышло.

— Не захотела вступить в партию?

— Не в этом дело — хотя и это тоже… Сказала ему как-то, что нельзя всех стричь под одну гребенку, надо людям дать свободу, чтоб жили как хотели, а он мне на это — это у тебя от гнилого либерализма, от твоего лживого католичества, что раз так, то нам не о чем больше говорить и незачем жить вместе — раз мы не понимаем друг друга в главном.

— Он был протестант? — спросила донья Бланка, поняв только слово «католический».

— Не знаю, — сказала Рене. — Их не понять. Вместо апостолов у них Гитлер — ему его было достаточно. Нас никто не подслушивает? — спохватилась она и огляделась по сторонам.

— Никто, Марта, тебя в Португалии в этом не упрекнет и не выдаст, — торжественно обещала донья Бланка: Рене знала, на какую педаль нажимала. — Наши фашисты ходят в церковь. Попробовали бы не ходить — их бы сразу поставили на место.

— Не все, — поправила ее дочь. — Брат ходит каждую неделю, а синьор Томмази, кажется, ничего не признает, кроме своей ячейки. Хотя и итальянец.

— Кто этот Томмази?

— Руководитель их фашистской секции, — сказала Нинель. — Мой брат ведь тоже фашист.

— Но не такой, как Томмази, — сказала мать. — Наш Хорхе прежде всего внук своего деда…

С братом Рене познакомилась на следующий день. Тот был недоволен тем, что мать взяла на пансион чужого человека: он не любил посторонних в доме. В первый день он нарочно не пришел обедать вовремя — под предлогом затянувшейся прогулки, но когда все-таки пришел и сел в одиночестве за стол, мать рассказала ему трогательную историю о девушке, последовавшей за женихом чуть ли не на поле боя, и он проникся к Марте тем особенным чувством, которое военные испытывают к женщинам, сопровождающим их в военных тяготах и сражениях.

— Тогда не бери с нее совсем денег! — объявил он. — Что за обед такой вкусный? И вино замечательное?

— Потому и замечательное, что ее взяли, — объяснила она.

Он принял это к сведению и проникся поэтому к Рене еще большей симпатией.

— Кого она ищет хоть? Может, помочь нужно?

— Она не называет имени — говорит, что не положено.

— И правильно говорит, — одобрил сын, у которого одной заботой стало меньше.

— Отряд назвала. Не то ночные грифы, не то черные вороны. Летная эскадрилья — формируется в Лиссабоне. А сам он полунемец-полуфранцуз. Отец — немец, поэтому взяли в германские войска.

— Все правильно. А почему у нее фамилия такая, если она француженка?

— От отчима. Отец, видно, непутевый был, прощелыга — она до сих пор опору в жизни ищет. Ездит за ней по всему свету.

— Все женщины такие — других не бывает. Рыба у тебя сегодня, мама, бесподобная. Попробую узнать про этих летающих птичек.

— Осталось еще на гостью посмотреть, — осторожно ввернула мать. — Богатая — денег куры не клюют. Продала фамильные бриллианты, чтоб сюда приехать… Может, врет?

— Почему? Так оно и есть. Мы тратим, они копят. Врут, когда за аристократов себя выдают, а не когда в крестьяне записываются… Может, эти бриллианты ее дед у своего графа в доме нашел — в их Великую революцию.

— Сейчас все в прошлом, — сказала благоразумная мать. — Кто взял, того и деньги… Симпатичная, между прочим. Десять языков знает. Училась в Высшей школе в Париже.

Хорхе удивился.

— Ты что, меня за нее сватаешь? Чтоб я у своего боевого товарища невесту отбил? — шутливо сказал он и добавил серьезнее: — Хватит нам одного мезальянса в доме.

Мать с ним не согласилась: для нее свадьба Нинель была решенным делом.

— Аугусто хорошо относится к Нинель. И ей с ним хорошо.

— Не хватало еще, чтоб плохо к ней относился… Я не против их брака, но он не из тех, которым хвастают в обществе…

Хорхе пропустил из приличия ужин и пришел знакомиться с Мартой на следующий обед, где подавалась знаменитая испанская паэлья: донья Бланка хотела показать, что знает не одну только португальскую кухню, и начала со своих ближайших соседей. Хорошая еда настраивает на дружеский лад.

— Как вам в Лиссабоне? — спросил Хорхе, блюдя этикет и задавая протокольные вопросы: как аристократу, как военному и просто как красивому молодому человеку ему достаточно было

говорить банальности, чтобы нравиться женщинам.

— Мне кажется, это самый красивый город в Европе, — с чувством сказала Рене.

— Самый красивый город в мире, — поправил он.

— Но я не везде еще была.

— И не надо. Это и так всеми признано… Навел я справки, — сказал он, обращаясь не то к Рене, не то к матери. — Не черные грифы и не ночные вороны, а королевские фазаны. И не отряд, а эскадрилья.

— А мне сказали, грифы, — упрямо возразила Рене: ей никто ничего подобного не говорил, но если начала врать, надо поддерживать свою версию.

— А вам никогда правды не скажут, — сказал красавец в нарядном мундире, делавшем его еще более привлекательным и мужественным. — За такую болтовню могут и по шее надавать. Но мне это уже не грозит, потому как здесь их нет — отбыли в неизвестном направлении: каком, сами догадывайтесь.

— Королевские фазаны? — повторила, заучивая, Рене: готовила ночную шифровку.

— Да, и я вам не говорил ничего. Теперь она базируется в Андалузии. На юге Испании. Приходите к нам в клуб. Завтра воскресенье — мы едем с экскурсией в Порто.

— Не в сторону Испании? — не без грусти спросила она.

— В прямо противоположную, — и засмеялся: — Ее туда тянет. Не надо было мне говорить об эскадрилье. Теперь ей Португалия в тягость будет. Приходите — может, развлечем вас немного. Будут мои друзья-офицеры и их сестры с подругами. Народ в высшей степени приличный.

— Женатые остаются дома?

— А что им еще делать? У нас тут не Франция. Поэтому мы и не торопимся… — и улыбнулся, как бы приглашая ее в соучастницы этого неторопливого ожидания…

Вечером того же дня, ближе к ночи, из дома, охраняемого полицейским, в Москву полетела эфирная голубка, извещающая тамошних орнитологов о перелетах королевских фазанов, о миграции этой редкой породы птиц в пределах Иберийского полуострова…

Она поехала на следующий день в Порто — город, расположенный севернее Лиссабона, второй по значению порт Португалии. Старенький потертый автобус был занят молодыми людьми с военной выправкой и горделивой осанкой, свидетельствующей о их высоком происхождении. С ними было несколько девушек, державшихся среди них привычно и уверенно и словно записанных в состав курсантского училища: это были

невесты будущих офицеров. Рене представили как богатую канадку, приехавшую в Лиссабон для встречи с женихом, но здесь с ним разминувшуюся: после этого она как бы со всеми породнилась, вошла в теневой женский список военного училища.

— Это Марта Саншайн, — объявил Хорхе, заводила в этой компании. — Она приехала сюда к своему жениху: он готовился в одном военном лагере, но не застала его, потому что он уже отбыл в неизвестном направлении! — И автобус в дружном патриотическом порыве загудел и зааплодировал, давая понять, что догадывается в каком направлении улетел неизвестный герой и что они заодно с ним — если не телом, то душой и мыслью. Рене села возле Нинель и ее жениха Аугусто, которого Нинель, пользуясь ее присутствием, уломала поехать с ними: чтоб познакомить с подругой и заодно с друзьями ее брата. Он согласился только из-за Марты, к которой на расстоянии чувствовал симпатию — из-за того, что та не скрывала своего крестьянского происхождения: сам он терпеть не мог аристократического чванства и был дворянин лишь наполовину — отец его, видно, любил простых женщин. Когда раздались аплодисменты, Рене встала и сказала на ломаном португальском (небольшой нации приятно услышать свою речь от иностранца), что надеется все же найти своего суженого. Это было встречено новым смехом и одобрением и воспринято почему-то как французская фривольность, позволяемая одним парижанам и парижанкам. Она извинилась за свой португальский, попросила заранее простить ей будущие оговорки, которые, как она видит, уже успели из нее вылететь, и наконец села — популярность ей была отныне обеспечена: португальцы, даже аристократы, впечатлительны, любят яркое слово и довольствуются в жизни малым.

Нинель чувствовала себя в родной стихии: она была сестрой своего брата, Аугусто же — как рыба, выброшенная на берег. Он разговаривал вполголоса и обращался к одной Нинель, а та, напротив, говорила нарочито громко и все пыталась вывести его на общий разговор: ей он нужен был для того, чтобы узаконить наконец в глазах друзей брата их непростые, хотя и давно тянущиеся отношения. Курсанты относились к ее жениху не то чтобы настороженно, но вяло и без интереса — он был не их поля ягода, это было видно на расстоянии и читалось с его лица большими заглавными буквами. Рене посочувствовала Аугусто. Она ломала здесь комедию, делала это по расчету, и неизвестно, что бы испытывала сама, будь на его месте. Это был красивый (как многие португальцы) высокий черноволосый молодой человек сугубо интеллигентного, то есть вдумчивого и слегка

саркастического типа: ни то ни другое военной братии не нравится и ею не одобряется. Рене, вообще говоря, военных любила, но они ей нравились, если так можно сказать, в подневольном состоянии: она ведь была на стороне всех унижаемых и угнетенных, но здешние курсанты, хотя и не были еще офицерами (а может быть именно поэтому), были раньше срока высокомерны и спесивы, и у многих эта черта грозила остаться навеки: они метили в большие начальники. Но как разведчице это было только ей на руку: спесь и гордость болтливы — ребята говорили без удержу и, чувствуя себя в своем кругу (они оглядывались только на Аугусто, а Рене сразу признали своею), кичились друг перед другом осведомленностью и посвященностью в дела взрослых. Поскольку это были дети больших родителей и военных, послушать было о чем, и Рене только этим и занималась.

— Слышали: наши заняли Картахену, — говорил румяный щекастый крепыш, у которого были уже все замашки офицера генерального штаба. — Вчера у отца был генерал Миранда — говорил это как факт, не подлежащий сомнению. Много наших погибло — минимум втрое больше, чем сообщают, но и тех полегло видимо-невидимо.

— Ура! Виват! — прокричал автобус, и вместе с ним и дружески настроенная Рене — лишь Аугусто не ко времени покривился: он не любил публичных изъявлений патриотизма. Рене начала уже подумывать о нем как о возможном объекте вербовки, но дело было деликатное: к нему надо было подступаться не сразу, а исподволь, осторожно; кроме того, она не хотела отбивать жениха у Нинель, с которой подружилась, — в той мере, в какой это было возможно в их положении.

— Это очень важный плацдарм для последующего наступления, — продолжал розоволицый стратег — не то развивал свои взгляды на положение воюющих сторон, не то повторял услышанное. — Там, кстати, отличилась эскадрилья королевских фазанов! — и с особым значением поглядел на Рене: видно, и до него дошел адрес ее любимого.

— Виват Марте! Ура, ура, ура! — прокричала трехкратная здравица, и Рене снова встала и поклонилась. Лицо ее сияло тихой радостью от услышанного.

— Я надеюсь, что смогу попасть к нему, — сказала она, оставляя в стороне скромность и подавая таким образом заявку на поездку в Испанию.

— Браво! — закричали дружные молодые люди, и среди них первый — сын генерала. — До встречи в Мадриде!

— Если там все кончится, — предупредил мудрый Хорхе,

который не зря пользовался тут авторитетом. — Эта история грозит, друзья, затянуться. Но мы ко всему готовы — мы воины, а воин думает и размышляет, но прежде всего подчиняется — такова его участь, и мы с ней не спорим!

— Браво, Хорхе! Ты говоришь как поэт. Как Камоэнс!

— Все равно! — стоял на своем пылкий поклонник Франко. — Как евреи говорят: в следующем году в Иерусалиме, так и я скажу: в следующем году в Мадриде!

— Что ты помянул их? — зашикали на него, будто он сказал что-то неприличное. — Хорошо Томмази нет — он бы задал тебе перцу.

— Так потому и говорю, что его нет, — упрямствовал тот. — Я его люблю, конечно: он мой идейный вождь и руководитель, но гуляю я без него. Как и без родителей и без ротного воспитателя… Что: не так сказал что-нибудь?

— Все так, но помолчи лучше. Не говори лишнего.

— Среди нас чужие? — и огляделся по сторонам в поисках возможных соглядатаев, но встретил лишь сочувственный и вместе с тем насмешливый взгляд Аугусто: тот не мог существовать без иронии — остальные сочли тему неприличной и исчерпанной.

— Замяли разговор, — сообща решили они. — В Порто в казино пойдем играть. Марта, играть будете?

Она хотела сказать, что не играет на казенные, но конечно же этого не сказала.

— Сама не буду, но куплю по жетону для каждого.

— Это взятка? — шутливо осведомился кто-то.

— Почему взятка? Это взнос в ротную кассу. У кого есть деньги, тот и платит — так, кажется, в армии?

— Так! — воскликнул тот, что не хотел гулять с идейным вождем: он был чуть ли не влюблен в канадку. — Вы, Марта, своя в доску! Я бы вас выбрал своим ротным и гулял бы с вами как со своим товарищем, как с простым курсантом. — (Откуда ему было знать, что она старше его по чину — лейтенант, только из другой армии?) — Долой деньги! Да здравствует казино! Гип-гип-ура, камарадос!

— Ты выпил сегодня? — спросил его сосед.

— Нет, со вчерашнего не отойду. А что — заметно? — и оборотился почему-то на Аугусто.

— Вам и вправду нравится, что испанцы колошматят друг друга? — не обращая на него внимания, спросил Аугусто Рене на хорошем французском. — По вашему виду не скажешь, что вы так кровожадны.

Нинель услышала это, упрямо и недовольно мотнула

головой, но не стала вмешиваться в разговор: была слишком хорошо для этого воспитана. Рене внимательно посмотрела на ее жениха. К ним прислушивались, кто-то мог знать французский, ей надо было быть начеку и не говорить лишнего.

— Мне не нравится, когда люди убивают друг друга — это не по-христиански, — благожелательно и спокойно сказала она, — но когда люди дерутся, приходится выбирать чью-то сторону. Иначе остаешься посредине и тебя с обеих сторон затолкают и затопчут.

— Ты ему этого не втолкуешь, — вполголоса и тоже на французском сказала Нинель. — Хочет быть над всеми. Или в стороне от всех — сама никак не пойму.

Рене это тоже было интересно — только по другой причине, чем Нинель, и она посмотрела на Аугусто в поисках разъяснений.

— На самом деле я думаю, — упорствовал тот, черпая упрямство в соседстве военных, — что было бы лучше, если бы мы остались в стороне от конфликта. Малые страны должны уступать большим право драться…

Он все-таки поостерегся сказать это на родном языке или хотя бы испанском, который понимали многие. Но и Франция была не за горами: кое-кто слушал его внимательно и скептически, а те, что не понимали, старались уловить смысл по общим латинским корням слов и по настроению разговаривающих. Рене решила кончать с опасным противоборством.

— Думать можно что угодно, — сказала она нарочно по-испански, чтоб все поняли, — но когда дело доходит до драки, нужно действовать, и тут без выбора не обойдешься. Немцы, я думаю, все-таки ближе к нам, чем русские. — И все в автобусе, до того делавшие вид, что заняты разговорами между собой, здесь снова как сговорившись и без задержки прокричали здравицу в честь решительной канадки, которая не ждет у моря погоды. Ее теперь только за канадку и принимали — к французам здесь относились с симпатией, но предметом для подражания они быть не могли: с ближних соседей никто не берет примера.

— Вы именно канадка, — сказал ей Хорхе, — а француженкой только прикидываетесь. Что я, француженок не знаю? Сидят дома — ждут мужей, потом детей, а вы все бросили и поехали! Как на лыжи стали! Там правда много снега?

— Достаточно, — сказала Рене, вспомнив российские снегопады. — Иногда дома с крышами заносит.

— Красиво?

Рене была готова к таким вопросам: она не напрасно часами разглядывала в библиотеке Управления, хранившей фотографии

всех стран и частей света, ландшафты новой родины и могла говорить о них часами, но вместо этого сказала только:

— Красиво.

— Но как? Рассказали бы, пока едем.

— Что рассказывать? Приезжайте и увидите.

— Далеко же?

— Разве? — удивилась Рене: для нее действительно не было теперь дальних расстояний. — Подумаешь: Тихий океан. Сели на самолет или на пароход и не заметите, как окажетесь на другом конце света.

— Из всего вами сказанного, — прошептал ей на ухо Аугусто, — это самое дельное…

Ночью из кругов эфира, близких к начальнику лиссабонской полиции, в Москву полетела весть о том, что в Лиссабоне высокие генеральские чины — в частности генерал Миранда — сообщают о захвате франкистами Картахены: потери их по время штурма вдвое-втрое превышают признаваемые. Еще там говорилось, что по дороге в Порто из Лиссабона замечены большие серебристые строения — по всей видимости ангары, и вокруг них разбит палаточный лагерь: все это на полпути между Порто и Коимброй. А в самом Порто есть казино, в котором играют высшие чины государства, в том числе — министр путей сообщения: он просадил круглую сумму и был бледен как полотно — как игрок, играющий на чужие деньги. Все это ей показал и рассказал Хорхе, который, пользуясь своими связями, провел ее в тайную комнату для особо важных гостей, скрывающих посещения этого далеко не богоугодного заведения. Всякий разведчик становится поневоле сплетником…

На следующий день за обедом было неприятное объяснение, в котором она была отчасти повинна. Они сидели вчетвером. Хорхе хвалил ее поведение накануне.

— Марта просто молодец. Все от нее без ума. Не девушка, говорят, а штабной ротмистр.

— Ничего себе комплимент! — мать чуть не поперхнулась от неожиданности.

— Ты ничего не понимаешь. Большей похвалы от курсантов не дождешься. А вот Аугусто вел себя из рук вон плохо! — и бросил всердцах салфетку. Он с самого начала хотел сказать именно это, а похвалил Рене только для контраста, чтоб представить будущего родственника в еще худшем свете. Нинель упрямо потупилась, не желая ни соглашаться с ним, ни пререкаться.

— И что он наделал? — донья Бланка перевела недоверчивый взгляд с дочери на сына, потом на Рене, будто она была виновна

во всем этом.

— Сказал пару вещей. Которые многого стоят. По-французски — будто он один его знает. Мне сказали, чтоб я поостерегся брать его с собой и поговорил с ним. Это по-дружески: могли и настучать куда следует. Не знаю, зачем все это моей сестрице.

Нинель поморщилась, упрямое выражение скользнуло по ее лицу, но она и на этот раз смолчала.

— Что ж он сказал такого? — матери наскучили многозначительные оговорки и проволочки.

— Сказал, что испанцы зря колотят друг друга и что малые государства должны держаться в стороне от военного конфликта. Как какая-нибудь Швейцария.

— Про Швейцарию он не говорил. — Нинель не понравилось, что на ее жениха наклепали лишнее.

— Ну, значит, додумали: я ж французского не знаю. Тут открой только рот — за тебя договорят и доскажут… Самое важное, что он и в самом деле так думает. Хочет в стороне остаться, пока другие драться будут. Это не наш человек, Нинель. Ему бы дома руки у камина греть, а что на дворе: война ли, революция — это его не касается.

— Он другими делами занят, — заступилась за жениха сестра; она не была уверена в своей правоте, но это не мешало ей спорить. — Его интересует история страны…

— А делать он ее не хочет, — прервал ее брат. — Марта правильно сказала: нельзя сидеть между двух стульев — со всех сторон нападут и ни от кого пощады не дождешься. Это ж гражданская война — тут брат на брата идет, а ты мне про историю. Про литературу еще скажи.

— И литературой он тоже занимается, — вперекор ему сказала сестра. — Это другой его конек.

— Очень он нужен сейчас, конек этот… Не выходи за него, Нинель. Втянет он тебя в историю, из которой потом не выберешься.

Нинель показала наконец характер:

— Я как-нибудь сама в этом разберусь.

— Конечно, — подхватил он. — Замуж тебе за него идти — не мне же…

В этой семье каждый имел право на свое мнение, но обед был безнадежно испорчен. Донья Бланка поглядывала с осуждением на детей и на Рене, будто та и вправду была в чем-то виновна, будто с ней в семью пришли раздоры и разногласия…

Они молча доели великолепную уху по-португальски, рецепт которой знали только на этом побережье, но от второго отказались — решили перенести его на ужин, чтоб матери было

меньше работы. Рене поднялась из-за стола и собралась уходить, когда Нинель, успевшая подняться к себе, окликнула ее с лестницы и позвала в свою комнату. Комнатка была невелика и вся уставлена мебелью, книгами и семейными реликвиями из фарфора и бронзы.

— Самое печальное, Марта, — сказала она, переходя без лишних слов к главному, — что я сама все понимаю. Они никогда не сойдутся: мой брат и жених — и если я выйду за него замуж, то разрушу этим и без того хрупкое семейное равновесие. Они хуже чем враги — готовы убить друг друга, и я им не преграда. Поэтому и говорят, что надо выходить за своих — пусть дурак, да свой, знакомый…

Говоря это, она раздражалась и лицо ее, обычно милое и покойное, искажалось некой навязанной ей извне воинственной одухотворенностью. Рене не нашла что сказать — кроме очевидного:

— Но ты же любишь его?

— Любишь не любишь! — Нинель не раз уже думала об этом, и ей не хотелось возвращаться к пройденному. — Что можно сказать, когда столько времени ходим и проводим время вместе, а до любви так и не дошли — потому что не положено: мать бы с ума сошла, если б узнала. И замуж нельзя, потому что денег нет и когда будут, неизвестно. Он думает, что его ждут на кафедре, а в действительности профессор, на которого он рассчитывает, сам еле на своем месте держится — мне друзья Хорхе сказали. Его включили в список неблагонадежных. У нас же скоро все будет, как у Гитлера.

— Профессор — еврей? — Рене была почему-то в этом уверена.

— Какой еврей? — невесело удивилась та. — Евреи — те, что заметнее, — давно в Америку сбежали… За своих взялись. Евреи — это у них для начала было, для разгону… Не знаю что делать. Ей-богу, не знаю. Если и я его оставлю, это окончательно его раздавит.

— Я-то ни в чем не виновата? — спросила Рене, которая уже начала думать, что внесла споры в их семейство.

— А ты здесь при чем?.. Что он с тобой по-французски говорил? Прежде не с кем было? Все до тебя тлело, а от твоего присутствия только вспыхнуло… Он, собственно, и поехал, чтоб с тобой познакомиться. Какая-то, говорит, странная по твоим описаниям канадка получается. Но тебя-то это меньше всего касается…

Напрасно она так думала. У Рене была своя работа, и она сидела и ждала своего часа. Аугусто если и не был открытым

антифашистом, то очень на него смахивал: и видом своим, и внутренним пафосом. Но она не торопилась. Если бы его выгнали отовсюду — включая дом Нинель, она бы закинула удочку: уж очень нужен был ей помощник — пусть даже такой, как этот строптивый любитель португальской истории и беллетристики. Но пока ничто не определилось, нельзя было соваться. Самые опасные люди — колеблющиеся: их может занести и шатнуть не в одну сторону, так в другую. Потом он все время говорил, что не хочет ни во что вмешиваться, и это невольно настораживало…

Разговор с ним подтвердил ее мысли и сомнения на его счет. Он произошел едва ли не на следующий день. Аугусто сам ее нашел: почувствовал духовное родство с ней и захотел излить душу. Они пришли в одно время к донье Бланке: Рене — обедать, он повидаться с Нинель. За стол он никогда с ними не садился, хотя его всякий раз звали: тоже был горд, как нищий потомок грандов, — это сословное сходство больше всего и раздражало Хорхе: будто Аугусто надевал чужой мундир или не положенные ему знаки отличия. В тот день обед запаздывал: донья Бланка, чувствуя себя виноватой перед Мартой за то, что была накануне с ней неприветлива, отправилась на дальний рынок за необходимыми ей для какого-то необыкновенного обеда продуктами, Нинель, знавшая об этом, задерживалась, и они могли говорить, никого не стесняясь.

Аугусто не скрывал своих политических антипатий — только вот симпатий у него, кажется, не было.

— Ненавижу фашистов, — напрямик сказал он Рене, едва они уселись в прихожей, где стояло ведро для зонтиков и два стула для нежеланных посетителей; в каждом доме имелся такой уголок: отстойник для коммивояжеров и дворников. — Видеть их не могу — не то что иметь с ними дело. — Наверно, его сильно допекли в университете: раз он так разошелся. — Не знаю, Марта, что вы в них находите или нашли в ком-то из них — меня это очень удивляет. Я вообще не слишком вам верю. Лицо у вас умное, интеллигентное — свободное, что ли. А свобода — это то, чего они больше всего на свете не любят. Прямо терпеть не могут и сжить со свету готовы любого независимо мыслящего человека!.. — Он снова вспомнил университет, заново пережил какую-то сцену в нем и почти затрясся от сдерживаемого им гнева.

Не в ее интересах было спорить с ним — хотя и без свидетелей, но и оставить его слова без ответа тоже было рискованно: мог бы бог знает что подумать — например, заподозрить ее в провокаторстве.

— Не знаю, Аугусто, — сказала она в раздумье. — Крайности

всегда плохи, но середину политического движения занимают обычно люди разумные и сдержанные — они и берут верх в конце концов. — Она поглядела на него умудренным взглядом опытного бойца, побывавшего во многих сражениях, — хотя он был старше ее, вернулась потом к своей излюбленной теме, пытаясь придать ей на этот раз новое звучание: — В самом деле надо прибиться к какому-то берегу, к какому-нибудь рубежу — в одиночку не устоять ни при каком повороте событий.

Она нарочно не уточняла, к какому берегу он должен пристать, и он, при желании, мог бы обратить на это внимание, но ему было не до этого — он только отмахнулся от нее: что за рубежи она ему предлагает?

— Какой там берег?! Я хочу делать свое дело, для которого родился, а не петь военные марши! А мое дело — это португальская история. Ее ж никто в мире не знает. Чьи наши имена известны? Васко да Гамы да Камоэнса, которого никто уже не читает даже в Португалии? Кого вы знаете из нашей литературы? Вы, грамотный человек из Европы или Канады — не знаю уж, откуда именно?..

Рене и в лицее кое-что читала и перед командировкой прочла ряд книг из богатейшей библиотеки, составленной из книг, конфискованных у недавнего правящего класса и, потом, у тех, кто пришел на его место, но успел сойти с политической сцены. Она перечислила ряд имен и произведений, прочитала на память две-три строки: у нее была хорошая память на чужие вирши.

— Подчитали наверно перед поездкой, — догадался он, не зная только, где и как черпала она свои знания. — Но все равно — класс. Поздравляю. Жаль, что скоро расстанемся: я бы вам многое рассказал на эту тему. Я, между прочим, пришел к Нинель делать предложение.

Рене встрепенулась. Она не ждала от него такой прыти.

— Замужества? — спросила она, как сделала бы на ее месте всякая женщина.

— Какого замужества? Брачное предложение я ей сделал пять лет назад — никак не поженимся, хотя скоро юбилей предложения справлять можно… Предложу ей поехать в Америку. Там обещают место в университете. Один чудак португальского происхождения в третьем колене собирает команду — изучать литературу иберийского полуострова в ее связи и развитии. Бабка у него испанка, а дед португалец. Профессор мой меня туда засунул, потому что здесь нам обоим делать нечего, но ему на пенсию идти: слава богу, говорит, пенсию можно и при демократах, и при фашистах получать — разницы в деньгах нету…

Теперь стала понятна и его откровенность, и торжествующая словоохотливость. Эта Америка не раз уже вставала у нее на пути — как третий путь, как запасный выход из европейского тупика и лабиринта. Вербовка у нее на глазах рушилась и разваливалась.

— А она поедет? — спросила Рене на всякий случай.

— Конечно поедет! Даже брат поддержит и изменит отношение ко мне. Дураков у нас нет, поскольку все бедные, а бедным зевать не приходится. В Европе сейчас война начнется, тут всем достанется — и правому и виноватому. Разбирать не станут, кто на каком стуле сидит, а вот отнять могут оба.

— А родители ваши?

— У меня мать только. Отец оставил ее в конце концов. Дав мне свою фамилию… Возьму мать с собой, если ей туго тут придется. Пока что надо нам там обосноваться, переждать эту вакханалию…

Словом, Аугусто был не из тех, кого можно было завербовать в Красную Армию: был не дурак — в отличие от некоторых… Ей стало немного не по себе и даже завидно. Где ее собственные планы? Чем она хотела заниматься раньше? Юриспруденцией, международными отношениями, теорией естественного права? Где все это теперь, и что она здесь делает?..

Пришла Нинель — молодые заперлись у нее в комнате, Рене осталась ждать обеда словно небесной манны. В ее душу вторглись беспричинная грусть и столь же беспочвенные сомнения…

Но длились они недолго — на следующий день она пришла в себя и укорила себя за малодушие. Нужно было продолжать вести прежний светский образ жизни, который является залогом успеха в любом обществе, в любом уголке земного шара. Она встречалась с друзьями Нинель и Хорхе, ездила с ними на экскурсии, побывала в Эшториле, Сетубале, снова в Коимбре, наносила визиты, принимала у себя гостей, угощала их отборными и недоступными им напитками (один из них так и сказал ей: «Ну и напитки вы себе позволяете!»), подавала им маленькие, величиной с ноготь, бутерброды со всякой всячиной, которая в процессе готовки меняла цвет, вкус и запах, так что гости не могли догадаться, чем их угощают, подружилась с полицейскими, сменявшимися у ее дома, — не познакомилась только с самим начальником полиции, который и вправду был неуловим и недосягаем, как и подобает главе городской полиции. По ночам она передавала на восток то, что ей успели наговорить друзья Хорхе, делавшиеся день ото дня все доверчивее и болтливее, но Испания оставалась так же далека от нее, какой была в Брюсселе или Копенгагене. Она начала роптать и думать,

что напрасно теряет время и тратит казенные деньги, но на поверку потом вышло, что этот период ее иберийской кампании был самым полезным и плодовитым: она передала отсюда много сведений, которые были тем более интересны московским аналитикам, что шли не с мест сражений, где в разгаре событий все преувеличивают и невольно вводят в заблуждение, а на некотором расстоянии от них, после отбора фактов и их просеивания. Но тогда она не понимала этого. Ее тяготило пустое и праздное, как ей казалось, существование — не ожидание Испании, а сама светская жизнь, в которой она поневоле принимала участие и жестким правилам которой должна была подчиняться.

Она сгорала от нетерпения, полагала, что последние недели идут на холостом ходу, не прибавляют ничего нового, но когда счастливый случай наконец подвернулся, оказалось, что все предыдущее: и сидение в Лиссабоне, и поездки по Португалии, и многочисленные и ненужные на первый взгляд связи и знакомства, благодаря которым к ней по-настоящему здесь привыкли, — все это было необходимым условием для того, чтобы свести ее с этим случаем. Жизнь умнее нас, и если она нам благоволит, а мы от нее чего-то ждем, она сама все устроит так, чтоб желание наше исполнилось, — не надо только мешать ей, роптать на нее, подгонять и раньше времени отказываться от ее тайных даров и от того, что сами прежде задумали.

14

Лиссабонские студенты, среди которых было много фашистов, собрали для франкистов колонну грузовиков с одеждой и продовольствием. Поскольку оружия и боеприпасов в ней не было, англичане, которые, в согласии с международной договоренностью, перекрывали и контролировали границу со стороны Португалии, разрешили им въезд в Испанию. Сопровождало колонну большое число энтузиастов — среди них Хорхе Мендосо, представлявший вооруженные силы, сочувствовавшие Франко. Нинель пригласили как его сестру, Рене — как ее подругу, зарекомендовавшую себя с лучшей стороны в прежних поездках. Немалую роль сыграло и то, что Рене расщедрилась и наняла легковую машину с шофером до Севильи и обратно. Теперь Томмази, руководивший колонной, мог возглавлять ее не только духовно, но и физически, трясясь на заднем сиденье американского форда, едущего с помпой впереди процессии. В машине — в обратном порядке подчинения — сидели: Рене как пожертвовательница, Нинель как ее подруга и Хорхе как брат последней. Томмази был тот самый вождь молодых фашистов, с которым предпочитали встречаться на идейных сходках, но не в часы досуга, не в свободное от фашизма время. Достаточно было взгляда на него, чтобы понять причину такого предпочтения. Характера он был несносного и вида самого неприглядного: молодой, но болезненный, худой, с желтоватым, как у цыпленка, лицом и с тонкими, паучьими руками и ногами — при этом был преисполнен чванства и особой фашистской спеси, полагавшей, что победа в мировом столкновении уже одержана и пришло время пользоваться ее плодами. Он был очень занятым человеком, у него не было времени на любовные похождения, он утешал себя дорогостоящими случайными связями и не преминул сообщить об этом своим спутницам — стыдливая Нинель сначала не поняла его, а когда до нее дошел смысл его разъяснений, залилась краской и отсела от него подальше: побоялась, видимо, заразиться (он сел сзади, между девушками, но, слава богу, занимал своим задом немного места). Но теперь, продолжал он, у него есть время, и он не преминет воспользоваться им для интриги с порядочной женщиной — при этом он глядел не на Нинель (Хорхе не потерпел бы подобной вольности в отношении сестры), а на Рене, у которой такого защитника не было.

— В Севилье будет не до этого, там все расписано по часам и минутам, и мы будем под наблюдением, — самонадеянно

втолковывал он ей, — а вот в гостинице на той стороне границы, где остановимся, чтоб утром двинуть в Севилью, у нас будет шанс развлечься. Я думаю, вам придется это по вкусу…

Говорил он так, будто согласие Рене было ему заранее обеспечено или они обо всем уже договорились; беспорочная и неопытная в таких делах Нинель приняла его всерьез и спросила об этом подругу, но та сказала ей по-французски, что она об этом думает: синьор Томмази лицеев не кончал, французского не знал и сарказма ее, слава богу, не понял.

— У нее жених в Испании, — буркнул Хорхе, которому тоже не понравился разговор, бросавший тень и на его сестру, поскольку происходил в ее присутствии. — Летчик в «Королевских фазанах».

— Он, надеюсь, простит нам. — Томмази был настроен игриво, но настойчиво. — Потом он ничего не узнает: они строго засекречены.

— У вас, как у коммунистов, общность жен? — съязвила Рене, и сделала это напрасно: во-первых, нельзя ссориться с руководителем поездки, во-вторых, надо выбирать выражения — Томмази не выносил упоминания о евреях и коммунистах.

— У кого это — у вас? — насторожился он, и в голосе его послышался звон металла, непонятно как родившийся в его птичьей глотке.

Рене не сробела: надо было пока не поздно, ставить его на место, но нашла все-таки дипломатический компромисс:

— У мужчин Италии.

Это не смягчило фашиста — а, может, ожесточило еще более: вопрос был принципиальный, а в таких случаях он никому не давал спуску.

— Мы все здесь, независимо от национальности, связаны одной целью, и у нас нет ваших и наших, — отчитал он ее — как это делали другие в другом конце света. — И не говорите мне о коммунистах. С ними у нас один разговор — к стенке и пли! А есть ли у них или нет общность жен — это вопрос другой эпохи: мы в этом разбираться не будем, а расстреляем их вместе с их женами… — и присмотрелся к Рене, решая, к какой известной ему категории лиц она относится. — Вы француженка?

— Да. — Рене уже не знала, как выбраться из тупика, и отвечала наугад, как ученица, плохо подготовившаяся к экзамену.

— Вы из галлов. У вас круглое лицо. И галльская насмешливость в глазах. В вас нет франкской определенности и надежности. Вы ведь не аристократка?

— Нет! — беспечно отвечала она, мысленно посылая его к черту, с его расовыми теориями: расистов она на дух не

переносила.

— Это заметно, — сказал он. — Все аристократы Европы германского происхождения — поэтому мы на них и опираемся, — и кивнул на Хорхе, который, несмотря на реверанс в его сторону, слушал его весьма недоверчиво. В его роду тевтонов не было — были скорее арабы и мавры, но фамильное генеалогическое древо об этом стыдливо умалчивало, — в любом случае, он не хотел ни лезть в эти дебри, ни противоречить своему руководителю.

— Вы-то сами итальянец? — спросила Рене: говоря это, она не имела в виду ничего плохого, но Томмази именно так ее и понял и грудью стал на свою защиту:

— Я итальянец по крови, но немец по духу! Меня бы никто не поставил на мое место, если б было как-то иначе!.. — и добавил внушительно и назидательно, как если бы сказанного было недостаточно: — Кроме того, я навел некоторые справки. Мы из северной Италии, она долго входила в состав Священной Римской — а точнее, Германской — империи и вся вдоль и поперек исхожена немцами. Я, например, каждый день физически ощущаю, как из меня выливается итальянская беспечность и вливается немецкая бодрость и сила духа! Меня знают люди, которые разговаривали с самим Фюрером! — Последнее он произнес совсем уже «на ура», но затем сбавил тон и спросил Рене с завистью:

— А ваш жених чистокровный немец?

Ей бы ответить утвердительно, но ее спутники знали иную версию событий, и ей не хотелось предстать перед ними вруньей.

— Отец — немец, мать — француженка.

Это не умерило его горечи.

— Немец, — согласился он. — Мы не признаем национальности по чреву матери. Человека создает дух, а его дает отец — особенно мальчику. Мы обсудим это в более удобной обстановке, — пообещал он, давая понять, что не отступается от прежних намерений, — только будет осуществлять их с большим почтением к отсутствующему третьему — и и в ожидании этого события стал смотреть в окно, на пробегающие мимо сухие, цвета песка и охры, полуголые ландшафты внутренней Португалии…

Других происшествий до границы не было — если не считать того, что у едущих сзади грузовиков — сразу двух — прокололись шины. Томмази вылез из машины и, прячась за кузовами грузовиков от воображаемых партизан-герильеро, принял участие в разборе инцидента и рассмотрел, в качестве руководителя, лопнувшую резину. Вернулся он с вполне установившимся мнением:

— Положили шипы на дорогу. Коммунистов и здесь хватает! Ничего, мы скоро поставим их всех к стенке!

— Нашли колючки? — Хотя Рене и спросила это с самой доверчивой интонацией и с самым наивным и дружественным выражением лица, на которое была способна, он снова окрысился:

— Надо обязательно что-нибудь найти, чтоб придти к такому выводу?.. Без этого нельзя догадаться? — Он заподозрил ее теперь еще и в покрывательстве преступников. — Они делают это так, что шипы отлетают на двести метров в сторону, и никакая полиция их не сыщет. — Он, кроме прочего, был еще и великий фантазер и прибегал к большой лжи для изничтожения своих соперников. — Если так пойдет дальше, возникнут трудности. Две запаски у нас есть, но это последние.

Рене сдалась на милость победителя:

— Может, я их куплю? — Но он, вместо того, чтоб подобреть и смягчиться, только разбушевался еще больше:

— Все откупаетесь? Думаете возместить этим отсутствие стойких убеждений? Купить, как в вашей церкви, индульгенцию? — Он поглядел прокурором, потом передумал: — Ладно, давайте. Они в дороге черт знает какие деньги за эти запаски заламывают. Готовы четыре колеса с себя снять, кузов на дороге оставить, потом за ним приехать — лишь бы сорвать куш, содрать с проезжих втридорога. Может, они шипы и подкладывают, — выдвинул он новую версию событий, но деньги взял как за старую, и немалые. Рене стало жаль их: время шло, новых поступлений не предвиделось, а старые на глазах таяли …

Больше шины не прокалывались: видно, партизаны, совершив дерзкую вылазку, ушли в свои логова: землянки и горные пещеры. Границу миновали вечером, у Бадахоса. Рене в первый и в последний раз переходила ее с цветами, аплодисментами и едва ли не с оркестром: кто-то подыгрывал им на двух гитарах, сидя за воротами погранзаставы. Сразу за шлагбаумом, на испанской стороне стояла гостиница, о которой говорил Томмази и на которую он сильно рассчитывал. Рене разместилась в одной комнате с Нинель. Та, скинув с себя дорожный плащ и заодно с ним — путевые заботы и волнения, преобразилась: излучала радость и довольство жизнью. Рене хотела спросить ее о причинах перемены, но Нинель сама поделилась счастливой новостью:

— Мы с Аугусто уезжаем в Америку. Не сразу: нужно еще кое-что оформить. Он не хотел, чтоб я ехала сюда: вдруг попадешь, говорит, в какую-нибудь историю, но тут уж я настояла на своем — дай, говорю, побыть с братом. Неизвестно, когда снова увидимся.

— А он тоже на своем настоял? — догадалась Рене.

— Да. — Нинель стеснительно засмеялась. — Потребовал, чтобы мы провели ночь вместе. Помнишь, когда я к тетке в Барейро ездила? На самом деле я вечером оттуда вернулась. Хорошо там нет телефона.

Рене вспомнила молодость:

— И что он сказал тебе наутро?

Нинель снова стыдливо улыбнулась, но стыдливость эта была для нее приятного свойства.

— Сказал, что зря потеряли столько времени. Надо было пять лет назад этим заняться.

— Ты тоже так считаешь?

— Я еще ничего не считаю, — благоразумно отвечала та. — Не могу никак привыкнуть.

— К чему?

— К новому положению… Жаль нет его здесь.

— Его только не хватало. Он и Томмази сцепились бы на первом повороте… Брат не против вашего отъезда?

— Нет. Я удивилась даже. Может, говорит, оно и к лучшему. Родство с Америкой стоит теперь приличного происхождения.

— Видишь, какой он у тебя современный… И тебе теперь важней всего не попасть ни в какую передрягу?

— Ну да… Хотя, казалось бы, — рассудила она, — если я такая плохая, значит тем более меня надо поскорее отсюда выставить?

Рене была знакома эта ошибка логики.

— Жди. Так все нормальные люди считают, кроме пограничников и таможенников. Эти не выпускают из своих рук ничего сомнительного. Считают, что надо задерживать и наказывать… Что там происходит?..

Рене чутко прислушивалась к тому, что делалось вокруг нее: это было у нее теперь в привычках. В коридоре возле их двери ходил взад-вперед разгоряченный Томмази и, не умея петь серенад, напоминал девушкам о своем существовании длинной политической речью, которую вдалбливал шоферу их легковички: водители грузовиков давно направились гурьбой в таверну, а он как существо высшего порядка задержался со своими пассажирами. Томмази говорил о положении дел в Европе и о неизбежности победы фашизма во всем мире. Через стенку было слышно, как страдает и мучается его слушатель. Между тем Томмази напрягал голос не столько для него, сколько для девушек, сидевших в номере: говорил, обращаясь в тонкую дверь, и она вибрировала под взрывными звуками его агитаторского баса, неизвестно как возникавшего в его птичьем зобе:

— Сейчас мы задавим их в Испании. Русские ввели туда свои

части, но, во-первых, мы покажем им, как надо воевать, во-вторых, Сталин спит и видит, как договориться с Гитлером. Нам с ним на одной планете не жить, но приласкать и одурачить его можно: надо только пообещать раздел мира на зоны влияния. — Бедный шофер рвался душой в таверну: там было хорошее красное вино из местных виноградников, продаваемое из-под полы и потому дешевое. Чем раньше бы он туда пошел, тем больше мог бы себе позволить: наутро ведь надо было встать с чистой головою, а этот проклятый итальянец словно нарочно его задерживал. — Я не должен тебе говорить этого, но все уже готово для бомбардировки Мадрида и для его захвата штурмом — операция готовится с прямым участием германских военных.

Рене насторожилась: нужно было решать, достаточно ли основательны эти разговоры или это болтовня, рассчитанная на то, чтоб произвести на девушек впечатление. «Хотя, — подумала она с сожалением, — у меня все равно нет с собой рации». Оставалось копить информацию впрок для последующей отправки по рации. Передача эта, как она понимала, должна была затянуться далеко за полночь…

— Что ты слушаешь? — спросила Нинель, удивленная тем, что Рене замолкла и следит за разговором за стенкой.

— Это он так за мной ухаживает. — Рене так объяснила свое любопытство. — Мужчины думают, раз они побеждают, женщины должны валяться у их ног. Психология победителя… Не знаю, что еще придет ему в голову…

Действительно, Томмази не выдержал, прервал монолог и постучался к ним. Шофер улучил момент и сбежал от него к товарищам. Томмази просунул в дверной просвет свой цыплячий профиль и проворковал со всей доступной ему нежностью:

— Не хотите к нам присоединиться? У нас тут небольшой семинар по военно-политическому положению в Европе.

— Мы устали с дороги. — Рене хотелось вытянуть из него сведения о планах Франко и Гитлера, но даже любопытство разведчика имеет свои пределы.

— Можно отдохнуть и в таверне. — Томмази улыбнулся широко и зазывающе — оказалось еще, что у него не хватает нескольких зубов сбоку и спереди. Он увидел, что девушки смотрят ему в рот. — Времени нет вставить. Сделаю в Мадриде — там, говорят, хорошие стоматологи. И денег не возьмут со страху. Пойдемте отметим. Как-никак, переехали границу — есть повод выпить. А потом еще как-нибудь развлечемся. Приходите, Марта. Нинель я бы тоже позвал, но с ней хлопот не оберешься: брат строгий, — и засмеялся на весь этаж. — Несите денег побольше. А то у меня только и есть — что ваши колесные. А их еще беречь

надо: вдруг вправду понадобятся. Хотя здесь свои — поставят при необходимости, — и прикрыл дверь, уверенный в том, что девушки немедля примчатся к нему после столь убедительных доводов.

— Ну и нахал! — сказала Нинель.

— Редкий, — согласилась Рене. — Не идем в таверну?

— Да ты что?! После такого приглашения?! — и глянула с удивлением: как можно было в этом сомневаться?..

В трактир они не пошли. Томмази просидел битый час в одиночестве: никто из членов делегации к нему не подсаживался — подходили, чтобы спросить о планах на следующий день и времени утренних сборов, и отходили, не успевая дослушать того, что он собирался им поведать. На своих он не обижался, но затаил зло на Марту, испортившую ему вечер.

— Эти американцы слишком много о себе мнят, — сказал он себе, за неимением другого слушателя: перевел конфликт из личного в географический — расплатился за графин вина деньгами Рене, но не смягчился и после этого. — Канада, видите ли. Ничего, и до вас доберемся. У нас там тоже есть крепкие парни… — Он пошел к хозяину гостиницы: договариваться о более доступных ему услугах, но с полдороги вернулся: подумал, что немецкие фашисты, в отличие от итальянских, смотрят косо на платную любовь, что руководитель делегации должен быть здесь под особым надзором и невинные шалости могут выйти ему боком, — вынужден был, иными словами, повернуть назад и разозлился из-за этого еще больше…

Утром поехали дальше. Пассажиры поменялись местами. Хорхе по просьбе сестры сел сзади, между ней и фашистом, Рене как хозяйка машины, нанявшая ее, села на почетное переднее место. Собственно, его предложили вначале Томмази: это тоже бы всех устроило, но вождь не лез вперед: боялся засад республиканцев, которые, как показал опыт войны, стреляли прежде всего по сидящим спереди. Он был не в пример вчерашнему мрачен и неприветлив и вел себя так не только с Рене, но и с Нинель, которая в какой-то мере разделяла ответственность за поведение своей подруги; лишь Хорхе удостаивался от него коротких, как телеграммы, распоряжений и более пространных и злобных инсинуаций.

Рене сидела рядом с водителем и смотрела на дорогу, на выжженные солнцем просторы Испании, — но ее, как всегда и везде, больше интересовали не пейзажи, а люди, их населяющие. Начиная с приграничного Бадахоса, где остановились, чтоб запастись бензином, она увидела испанцев вблизи — такими, какими они были на самом деле, а не в описании сторонников и

противников Франко. Мужчины были сумрачны и скрытны, отвечали односложно и нехотя, не желая тратиться на разговоры. Томмази называл их всех тайными республиканцами и при любом шуме забивался в угол заднего сиденья, не поднимая головы выше окна машины и даже просовывая ее между коленями, — как паук, прячущий туловище между тонкими ножками. Но на самом деле это были, конечно, не республиканцы, а простые крестьяне, обеспокоенные судьбой урожая. Рене на ее беглом, хоть и бедном, испанском успела расспросить их — все, не таясь и не прячась, жаловались, что прошло время продаж и началась пора реквизиций, что вместо денег дают бумажки с армейскими печатями. У некоторых были сыновья в армии, они могли быть в лагере противника, но это не сказывалось на взаимоотношениях родителей: те смотрели на происходящее как на роковое и неотвратимое бедствие — одно из тех, от которого не убережешься и которое, к несчастью, может кончиться трагедией, — как драка молодежи за оградой селения. Может быть, здесь и были тайные красные, но колонна ехала по зоне, занятой франкистами, грузовики были обвешаны фашистскими лозунгами, и коммунисты прятались, а не выходили на улицы. Впрочем, Рене, у которой еще с Франции был наметан глаз на своего брата и она распознавала его на расстоянии, никого из своих здесь не увидела: может быть, испанские товарищи выглядели иначе, чем их французские единомышленники.

В Севилье, бывшей местом их назначения, они угодили на съезд Фаланги (партии Франко) или какую-то из ее конференций. Город, с его смесью арабской и европейской архитектуры, с кружевными, словно вышитыми, стенами и арчатыми переходами, с одним из самых высоких и красивых соборов в мире, где покоится прах Христофора Колумба, был в это время столицей франкистского режима и кишел народом. Все были уверены в том, что генералиссимус если еще не победил, то имеет верные шансы на это в ближайшем будущем, — все поэтому спешили поздравить его от себя и от представляемых ими партий. Колонна из Лиссабона была из того же числа, но, в отличие от других, привезла с собой еще и скромный, но дорогой подарок, собранный бедным португальским студенчеством, — поэтому она была на виду и в почете. Им была посвящена отдельная программа: они встречались с генералами, разукрашенными, как новогодние елки, орденами и мундирной мишурою, их возили по местным достопримечательностям, и всем, и Рене в том числе, выдали удостоверения о почетном членстве в Фаланге. Рене и Нинель отличали в особенности: других девушек в делегации не было, обе были привлекательны, а испанцы, независимо от

партийной принадлежности, — большие ценители женской красоты и предпочитают ее, возможно, всем прочим человеческим достоинствам. Вечером члены делегации были гостями съезда, но если остальные, включая Томмази, сидели в партере (правда, в первых его рядах), то Рене и Нинель — в ложе, отведенной для особо важных персон, рядом с самим Франко: их разделяли с ним лишь тонкая переборка и охрана, вся как на подбор рослая и неприветливая. Рене поглядывала сверху на Томмази, который исходил внизу желчью и завистью и, хотя глядел все время на Франко, видел одних девушек: генерал и от него был скрыт спинами телохранителей. Рене смотрела в зал и, к удивлению своему, не находила в нем и фашистов тоже: на них она тоже успела насмотреться. В зале сидела не партия, а сословная и профессиональная армия: спесивая, надутая, ограниченная и закоснелая в кастовых предрассудках, что не мешало каждому из них быть при необходимости еще и прожженным политиканом: судя по тому, как менялись и оживлялись их лица, когда они выпрашивали что-нибудь у высших чинов, которые в это время надувались еще больше, смотрели в сторону и цедили слова со скоростью капель неисправного водопроводного крана, — в то время как их собеседник низкопоклонствовал и унижался. Сам Франко был толстый невысокий молчаливый человек, застегнутый на все пуговицы в прямом и переносном смысле: он никак не мог придти в себя от неожиданного успеха своего предприятия, начатого по наводке Гитлера и его главного военного разведчика Канариса: потрясение от благоприятного исхода дела бывает не менее головокружительно, чем от неожиданного поражения. Странное дело: в провинции Рене не видела коммунистов, в сердце франкистской Испании — фашистов, но война шла нешуточная и жестокость обеих сторон не знала милостей — это признавали и этим даже гордились сами выступающие. Ни фашистов, ни коммунистов не было, а драка была убийственная.

Был, правда, настоящий фашист — Капо Дельяно, первый пропагандист и агитатор партии: он, как Геббельс, каждый день выступал десять минут по радио, уверяя своих соотечественников в том, что Мадрид в скором времени будет взят, что сдавшие оружие будут пощажены, а не бросившие его уничтожены (что было ложью, потому что в зоне боевых действий расстреливали по любому подозрению в принадлежности к коммунистической или другим левым партиям). Он был, как все фашисты, болтлив, речь лилась из него безудержным потоком: он добавлял к северной твердости и непримиримости южную, средиземноморскую живость и жизнелюбие и держался

бодрячком, весельчаком и любителем удовольствий — удовольствия он, может, и любил, но веселого в этом было мало.

После заседания делегацию повезли в кафе, где танцевали и пели фламенко. Танцовщицы ждали их: они поднялись, едва португальцы появились в зале, и немедля взялись за дело — те и рассесться не успели. Их сопровождал офицер, говоривший по-французски: такая почесть была оказана Рене после того, как узнали, что она пожертвовала немалые деньги в фонд франкистской революции, — ей не надо было теперь напрягаться и собирать по крохам испанские фразы. В каком-то отношении она затмила самого Томмази, которым испанцы пренебрегали: они брезгливы и не любят всего выморочного и уродливого; потом, он был итальянец, которых они недолюбливали как слишком близких и бедных родственников, а про нее прошел слух, что она представительница богатых канадских кругов, ищущих контактов с будущими победителями. К ней подсаживались разные люди, она, пользуясь знанием, пусть поверхностным, основных европейских наречий, прослыла полиглоткой и говорила на всех языках о возможном сотрудничестве с ее соотечественниками — завязывались интересные связи, открывались новые перспективы…

Все, словом, шло наилучшим образом, и потом все в один день стало из рук вон плохо.

15

Началось с пустякового, но насторожившего ее случая. С ней познакомился итальянец, тоже видный фашист: из той международной предприимчивой деловой своры в черных сюртуках и фраках, которая окружала Франко и пыталась всучить ему и новое, и устаревшее оружие. Этот был один из самых заметных: представитель «Фиата», поставлявшего ему танки. Ему не надо было юлить вокруг генерала: он здоровался с ним на правах старого знакомого. Делать ему было нечего, он пригласил Рене покататься с ним в машине с шофером: вождение автомобиля было тогда не столь распространено, как теперь, и любовные и иные объяснения имели иной раз нежелательного свидетеля в лице водителя-профессионала. Маршрут все время вертелся вокруг севильского аэродрома ла Таблада: с него то и дело поднимались и на него садились самолеты: он использовался в первую очередь как военный. Рене невольно поднимала голову и мысленно отсчитывала каждый рейс: это правило любого разведчика: он должен оценить нагрузку и пропускную способность аэродрома. Итальянец обратил на это внимание; он хорошо говорил по-французски.

— Боюсь самолетов, — оправдалась она. — Попала в детстве под бомбежку.

— Это где же? — снисходительно спросил он.

— В Первую мировую войну. Нас бомбили немцы.

— Сколько ж вам тогда было?

— Совсем немного. Поэтому, видно, и запомнилось. Я выгляжу моложе своих лет, — добавила она, потому что у него остались на этот счет сомнения.

— Интересное признание! — засмеялся он. — В Париже?

— Нет, Париж, насколько я знаю, не бомбили, но там была Большая Берта, которая тоже нагоняла страху, — ее я хорошо помню. Бомбили нас на севере.

— Да, там были сильные бои, — согласился итальянец и неожиданно, как это умеют представители этой живой и непосредственной нации, имеющей вековые актерские традиции и способные к самым неожиданным и естественным перевоплощениям и разыгранным перепадам настроения, начал жаловаться ей на неудавшуюся жизнь: потерю ориентиров и утрату идеалов, делающие его существование пресным и бесцельным. Это было странно слышать из уст преуспевающего дельца, любившего, по всей очевидности, еду, вино и женщин и не имевшего ни в чем недостатка. Она слушала его с участием, но

не отвечала, а молчаливое сочувствие, как известно, ничего не доказывает: такой человек может вас слушать и думать в это время о доносе в тайную полицию.

— Вы вообще молодец, — позавидовал он и еще раз оценил ее взглядом. — Выглядите бодро, вся на что-то нацелена: такие внушают доверие. Это у вас от Америки: ее влияние сказывается очень быстро — сами не замечаете, как делаетесь деловой и динамичной. А у меня все плохо. — Он понизил голос, чтоб не услышал шофер, но это была скорее дань политическому приличию, чем предосторожности: сидевший в полуметре от него водитель не мог его не услышать. — Я во многом разочаровался, а без идеалов нельзя жить и работать. Действуешь как автомат, как простой уличный разносчик, который стучится во все двери и которому безразлично, кто ему откроет, — лишь бы товар купили… — Он горько вздохнул, а она все глядела сочувственно и продолжала помалкивать. Она умела слушать, и люди часто доверяли ей тайны, но в данном случае молчание ее было иного рода: она была благоразумна и не лезла на рожон, но бес испытывал ее и толкал в спину, призывая воспользоваться случаем и попытаться склонить его на свою сторону: это бы обеспечило ей проникновение в ближайшее окружение Франко.

— Начинается большая война, — продолжал он горькую исповедь, еще более приглушая голос и оглядываясь с осторожностью по сторонам: не следит ли кто за его автомобилем на улице. — Фашисты с одной стороны, коммунисты с другой, посреди демократы, люди моего круга и моего воспитания, которые ни здесь, ни там ничего хорошего для себя не видят и в любом случае станут жертвами победителя. А мы: представители моей профессии, я имею в виду — лишь подбрасываем дрова в костер, разжигаем его и умываем руки. И зная это, продолжаешь жить по-прежнему, хотя грудь точат черви. Как вам, с вашей культурой и образованностью, удается сохранять столько ума, бодрости и, я бы сказал, мужественности, которой не хватает большинству мужчин нашего времени?..

Вот где зарыта собака, вот в чем заключалась ее беда. Надо быть тише и незаметнее — особенно в мужском обществе. Это бросалось в глаза, об этом ей говорил еще Тухачевский.

— Я думаю, вы преувеличиваете мои данные и мои способности, — ответила она, избегая более сложные и мудреные объяснения, которые всегда подозрительны. — Я просто такая с детства: вечно выставлялась вперед — меня девчонки просили ответить за них урок, когда были плохо к нему подготовлены. Зачем киснуть и все подвергать сомнению — даже если мы в чем-то и не правы? А если началась драка, надо принять в ней участие

— иначе тебя заклюют те или другие, а верней — и те и другие вместе или по очереди.

— Это вы все правильно говорите, — одобрил он ее слова, но не поверил, кажется, ни одному из них и хотел кончить разговор, но теперь уже она его не отпускала:

— Я выбрала Франко — вернее, мой друг выбрал Франко, а я выбрала друга — мне этого достаточно. Я как простая женщина иду за своим суженым.

— Может, разыскать его? — предложил он. — Мне это ничего не стоит.

— Не надо. Мы с ним в ссоре. Он из тех, кто не верит, что женщины тоже кое-что значат. Я хочу встретиться с ним на коне — показать, что и мы кое-что можем.

— В этом причина вашей активности? Доказать что-то мужчине, которому вовсе не это надо?.. С вами не сразу разберешься. С женщинами, я имею в виду. Пуд соли надо съесть — так говорят русские?

— Русского я не знаю, — спокойно отвечала она.

— Все языки знаете, а русский нет?

— Есть такой пробел в моем образовании. Но это смотря какой соли. Если аттической, то можно и меньше.

Он засмеялся:

— Ну что ж? Покатались, выяснили позиции… Не хотите посмотреть какую-нибудь загородную виллу? Есть с очень хорошими ресторанами.

— Нет, виллу не хочу, — насмешливо сказала она. — И ресторанами сыта по горло. Идет война, а по здешним обедам этого не чувствуется… — В ней все-таки постоянно жил классовый цензор, отмечавший все житейские несообразности и несправедливости.

— Да уж, — согласился он, поглядел на нее в раздумье, споткнулся о круглое благодушное лицо, как о некую преграду или стену, решил кончать свидание, направил шофера к ее гостинице…

По-видимому, она не зря была благоразумна в этот вечер, потому что не успели они с Нинель лечь, как в номер нагрянула полиция, перевернула все вверх дном и насмерть перепугала ее подругу, у которой в ушах стояло предупреждение Аугусто, чтоб она не попадала в истории. Полицейские перерыли чемоданы и даже корзины с фруктами, которые Нинель везла матери, и, ничего не найдя, объяснили свои действия тем, что ищут фальшивые песеты, объявившиеся в Севилье и попавшие в кассу хозяина отеля. Они будто бы обыскивали всех иностранцев подряд, и робкие заверения Нинель в том, что они ни за что еще

здесь не платили, не возымели на них никакого действия. Рене была спокойна. Она знала, что у них нечего найти, и говорила Нинель, что это не что иное, как недоразумение: слова, которые всегда приходят в таких случаях на ум и никогда не подтверждаются; Рене сама не была в них уверена, вспомнив недавнюю поездку с итальянцем из «Фиата». Полицейские ушли, даже не извинившись за вторжение и за погром, который они учинили, и Нинель, привыкшая к хорошему обхождению, сразу же это отметила.

— Что ты хочешь? Тут война, — рассудила Рене. — Им не до хороших манер. — Но Нинель, которая до сих пор находилась под влиянием своей более опытной и повидавшей мир подруги, здесь ей не поверила.

Утром она спросила у брата, был ли обыск у него, — он только удивился этому предположению:

— Не знаю: может, и был — пока нас не было. Мы весь вечер пили здешнее красное. Мы, во всяком случае, ничего не заметили.

— Если б был, увидели б, — сказала Нинель, наученная опытом, и испугалась вдвое: решила, как сделало бы большинство людей на ее месте, что именно она предмет внимания испанских сыщиков, что причина тому — ее отъезд в Америку и что, не приведи господь, Аугусто грозит страшная опасность или он уже за решеткой. Брату она ничего не сказала: он бы поверил всему, что она предположила, и мог бы наговорить лишнего. Сославшись на недомогание, они позавтракали с Рене в номере. Нинель была безутешна и тайно плакала, Рене как могла успокаивала ее: она-то знала, что Аугусто тут не при чем, — но вскоре Нинель сама узнала об этом. Не успели они доесть завтрак, как явился офицер контрразведки и все расставил по своим местам: снял с Нинель тяжкий груз страхов и сомнений и переложил его на плечи ее спутницы.

Он хорошо говорил по-французски, был корректен, подтянут и, несмотря на острый и характерный профиль, безличен, как лица, вычеканенные на новых монетах: на них не обращают внимания — важно лишь то, сколько они стоят. Его интересовала только Марта Саншайн, он даже предложил, чтоб разговор происходил с ней наедине, без лишних свидетелей, но теперь уже Нинель, испытавшая минуту назад неописуемое облегчение, почувствовала одновременно и прилив дружеских чувств к своей невольной спасительнице и не захотела оставлять ее одну в опасности. Она настояла на своем присутствии: чтобы при необходимости подтвердить ее показания, — послужить ей свидетельницей и поручительницей. Рене оставалась невозмутима: всякая опасность, как было сказано, повергала ее в

некое физиологическое, почти не принадлежащее ей спокойствие и хладнокровие.

Офицера интересовало, кто она и как оказалась в Севилье. Ответить на эти вопросы было нетрудно: она здесь, потому что ее пригласила фашистская молодежная организация Лиссабона. Нинель удостоверила это, добавив от себя, что Марта искренняя фашистка и доказала это тем, что внесла немалую сумму в кассу поездки. Это не удовлетворило офицера: он не любил, видно, крупных пожертвователей, — стал копать глубже и спросил Рене, чего ради она приехала в Лиссабон: дарить деньги можно было и из Канады. Говорить о женихе в рядах армии Франко было рискованно: тому ничего не стоило это проверить — и Рене пустилась во все тяжкие. Ей даже стало неловко перед нравственно чистой Нинель, и она предложила ей выйти, чтоб не впутывать ее в свои дрязги и в одиночестве морочить офицеру голову, но та снова отказалась выйти, боясь, что Марте грозит настоящая беда и что она должна быть с ней рядом, — на случай, если ее поведут отсюда в наручниках: она забила бы тревогу и подняла на ноги всю португальскую делегацию. Теперь она вынуждена была густо краснеть, слушая признания подруги:

— Если вас так интересует моя интимная жизнь, офицер, то я приехала в Лиссабон, чтобы сделать здесь одну интимную операцию, которую не хотела делать у себя дома. В Лиссабоне мне обещал сделать ее один врач, но его имя я не выдам ни под какими пытками. Мой молодой человек — тоже фашист, но и его имя я не скажу: это может сказаться на его карьере и репутации, а она была до этого безупречна!..

Чем больше говорила Рене, тем проникновеннее входила в свою роль — лицо ее так и горело женскими чувствами, сменяющими одно другое, но офицер оказался неверующим Фомою:

— И что же вы не сделали ее там, эту интимную операцию? А сюда поехали?

— Если бы вы, офицер, знали основы акушерства, вы бы этого не спросили!.. — Офицер хмыкнул от неожиданности: ему было нанесено оскорбление, но слишком уж необычного свойства — ничего не сказал в ответ, только прислушался к тому, что последует дальше. — Вы бы тогда знали, — неумолимо продолжала Рене, — что подобные операции делаются в два срока! — (Она знала это с Китая, где все эти варианты обсуждались с доктором посольства: в конце концов она решилась рожать — когда сроки были упущены.) — Первый срок от восьми до двенадцати недель: это простая абразия — я ее проворонила!

— Что такое проворонила? — спросил офицер, который не

настолько хорошо владел французским и предпочел бы, чтобы она выражалась яснее: ему надо было писать протокол, а не заметку в скандальной хронике.

— Проворонила — значит прошляпила, профукала. Прозевала — если вы не понимаете простых слов, — объясняла ему Рене, обретая по ходу повествования наглость уличной девки: она знала, что мужчины, уверенно чувствующие себя в обществе благопристойных женщин, часто теряются перед лицом подобной разнузданности, — проститутки знают это и, будучи задержаны, ведут себя в полиции развязно не только потому, что они таковы на самом деле. Нинель была в ужасе: подруга представала ей в совсем ином свете, чем прежде, перед ней разверзались бездны человеческого падения…

— Второй срок в двадцать недель, офицер, — если вы действительно хотите знать эти подробности. Мне оставалось таким образом еще семь-восемь недель, я не могла отдаляться от Лиссабона: надо было снова туда вернуться. А это в нашем мире не так-то просто. К тому же некоторые, мой врач в частности, предпочитают почему-то двадцать две недели — в это время плод уже жизнеспособен, но зато для женщины меньше опасности: его легче тянуть, он не выскальзывает из щипцов, когда его хватают за ушки. Если вас это все по-прежнему не устраивает, вы можете подвергнуть меня интимному обследованию, но учтите, я буду жаловаться английскому консулу!

Это было, конечно, рискованно: офицер сам подумывал о том же, но услышав в десятый раз слово «интимный» (а перед этим он представил себе экстрадицию плода, схваченного щипцами за голову), потерял всякое терпение:

— Никаких, как вы говорите, интимных обследований вам делать не будут. Вы не арестованы, и предпринимать против вас противоправных действий мы не намерены!.. Просто мы проверяем некоторые сигналы. И я б на вашем месте уехал из Севильи, как только кончится ваша поездка.

— Мы скоро уезжаем, — вступилась за подругу Нинель, хотя и смотрела на Рене теперь иными глазами — полными упрека и тихой печали.

— Вот и хорошо, — сказал офицер. — На этом и кончим, — и ушел — тоже не простившись и не извинившись за вторжение и причиненное им неудобство.

— Не слушай, что я наговорила про эти операции, — сказала Рене Нинель. — Мне просто не хотелось называть имени своего друга, — но та уже не знала, когда ей верить и когда нет…

Гроза пронеслась, но духота в воздухе осталась. Рене думала о том, что же они имели против нее, чем она стала им так

подозрительна. Мысль о том, что они нашли рацию в Лиссабоне, отпадала сама собой, хотя и успевала нагнать страху: будь это так, с ней бы разговаривали в другом месте. Она терялась в догадках, но твердо знала одно — ей надо уходить, и чем скорей, тем лучше. Могло ведь случиться и так, что все началось здесь, а не в Лиссабоне, — тогда эти сигналы, о которых он говорил, могли полететь и туда и от рации надо было немедленно освобождаться. Но уходить надо было с достоинством, а не сломя голову: это тоже могло навлечь подозрения — и главное, не одной, а вместе с остальными, которые могли послужить ей живым щитом и заслоном. К счастью, их пребывание в Севилье и в самом деле заканчивалось. На следующий день была намечена прощальная почетная встреча с самим Франко, после чего им надлежало наутро уехать. Ее как ни в чем не бывало пригласили с остальными в штаб генералиссимуса, где делегация еще раз и в последний встретилась за чашкой чая с его генералами. Она сидела через одного с самим Франко, который и здесь произвел на нее впечатление формалиста, присутствующего в жизни телом, но отсутствующего душою: временно исполняющего некие вселенские обязанности, в которых сам не слишком заинтересован. В зале, где шло чаепитие, на стенах висели боевые карты, испещренные боевыми значками и стрелами. Она жалела, что у нее нет с собой фотоаппарата: карты были настоящие, а не нарисованные для случая — слишком уж много надо было затратить труда для подобной дезинформации…

Они собрались и всей колонной, на этот раз с пустыми грузовиками, тронулись в обратный путь. Ее спутники если и знали о ее неприятностях, то не подали виду, и, слава богу, не было Томмази, которого задержали в Севилье из-за какого-то совещания. Рене вздохнула с облегчением: этот бы не оставил ее в покое. Надо было миновать границу. Здесь ее (и никого больше) снова вызвали в отдельную комнату и обыскали с головы до ног: высыпали даже пудру из пудреницы. Испанцы ничего не нашли и передали ее с соответствующим назиданием англичанам, но те не очень-то их слушали: они не давали своих в обиду.

— Где вы жили в Лондоне? — спросили ее только, потому что в ее паспорте были английские штампы о въезде и выезде, сделанные в Москве для большей убедительности.

— В Челси, — бойко, наэлектризованная опасностью, отвечала она, хотя в Лондоне не была и о Челси имела самое смутное представление: спросили бы ее какие-нибудь подробности, она бы попала в трудное положение. Но им хватило и громкого имени — на этом проверка с английской стороны закончилась. Они снова заночевали в гостинице — двойнике той,

что была по ту сторону от границы, — и здесь она во второй раз в жизни (первый был в санатории в Сочи, где она вчистую проиграла маршалу Уборевичу) играла в биллиард и выиграла одну из трех партий: то ли опасность обостряет наши чувства и способности, то ли англичанин оказался джентльменом — не в пример нашему маршалу, который нигде не мог позволить себе проигрыша…

Они ехали по известной ей дороге назад, она болтала с попутчиками, а в душе ее росла и зрела тревога. Ей как пить дать грозила слежка в Лиссабоне: салазаровская полиция работала в тесной смычке с франкистами. Может быть, ее и отпустили для того, чтобы через нее выйти на ее связи: им ведь трудно было себе представить, что она работает в одиночку. И ни на одну минуту ее не оставляла мысль о рации, которая была единственной, но более чем весомой уликой для задержания. Ее нельзя было оставлять дома, от нее надо было немедленно избавляться…

В Лиссабон приехали поздно ночью. Нанятый ею шофер развез по домам ее попутчиков и довез ее до дому. У подъезда стоял полицейский — один из тех, кого она знала, но он не вызывал теперь у нее доброго чувства. Шофер помог ей поднять вещи на этаж. Она присматривалась к нему в дороге: это был простой, располагающий к себе парень — наверняка из бедной семьи — можно было и рискнуть. Она решилась и на ломаном португальском сказала ему (они стояли в прихожей), что ей нужна помощь. То ли ее португальский испортился за время поездки в Испанию, то ли он неверно истолковал ее испытующие взоры во время путешествия и теперь, когда они остались вдвоем в прихожей, но он понял ее неверно и шагнул вперед, чтоб заключить ее в свои объятья. Она тут же охладила его пыл, сказав, что это не та помощь, в которой она нуждается, что она за рабочих и крестьян против капиталистов и ей именно в этом и нужно содействие. Запас ее португальских слов был беден, но достаточен для того, чтобы парень, зная о ее злоключениях в Испании и сопоставив их с ее детским лепетом про богатых и бедных, побелел от страха, повернулся и сбежал, забыв или испугавшись взять честно заработанные им деньги. Теперь явился новый повод для страха: выдаст или не захочет связываться с полицией? Прошла ночь, день, еще ночь — она сидела дома, никто за ней не приходил: видно, он решил не ввязываться в опасную историю, которая могла затянуть в себя как виноватого, так и доносчика. Чтоб идти в полицию, тоже необходимо мужество.

Эта беда миновала, другие остались и не терпели

промедления. Нужно было освободиться от рации, так трудно ей давшейся. Она разобрала ее, сложила тяжелые и громоздкие части в чемодан, который сразу же оттянул ей руку массивным железом трансформатора. Научившись в прихожей помахивать им, словно в нем не было пуда веса, она вышла на улицу и отправилась на прогулку в сторону речного катера, ходившего с экскурсией по Тахо: с него можно было нечаянно и по возможности незаметно (под мостом) выбросить чемодан за борт. Чтобы удостовериться в безопасности и в свободе перемещений по городу, она решила размяться, походить по улицам — останавливаясь возле витрин и в эту минуту осторожно поглядывая назад, откуда пришла. Она сразу же увидела слежку. За ней, не особенно прячась, ходил мужчина довольно элегантного вида, в коричневой паре и в белой рубашке с цветистым галстуком. Он делал вид, что не смотрит в ее сторону, но этим выдавал себя всего более: чего ради он на всех глазеет, а от нее отворачивается? Она села на катер, он за ней — правда, не на корму, где расположилась она, поставив чемодан рядом, на скамейку, а в носовой части, но оттуда было лишь удобней наблюдать за нею. К сожалению, это не был искатель любовных приключений, на что она вначале рассчитывала (уж очень он был наряден для рядового сыщика). Делать при нем то, ради чего она вышла из дома, не имело смысла: тяжелый чемодан камнем бы пошел на дно, и ничего не стоило вытащить его оттуда драгой и доказать, что это ее груз и ничей больше — по номеру трансформатора и адресу гостиницы, который хранился в мастерской со времени его покупки. Она вернулась к себе, заперла чемодан в кладовой, прикрыла его досками и тряпьем, чтоб не бросался в глаза при беглом, несанкционированном осмотре, и решила искать счастья на стороне: если оно не идет к нам в руки, надо идти к нему в гости и ловить Его Величество Случай там, где он соизволит нам подвернуться.

Она набралась наглости и пошла к Нинель: ее соглядатай следовал за нею на почетном, но вполне досягаемом расстоянии. Обеды у доньи Бланки после их возвращения из Испании не возобновлялись, она не виделась со своими друзьями и боялась холодного душа с их стороны, но, вопреки опасениям, ее встретили как нельзя лучше.

— Каковы испанцы! — посочувствовала ей донья Бланка. — Никогда не думала, что они так подозрительны! Видно, война никого не делает лучше. Хорошо у нашей дочери все прошло спокойно, и она скоро уезжает. Лучше отсидеться в укромном месте, пока все это не кончится… — В этом и была причина ее гостеприимства и человеколюбия: у дочери все складывалось

успешно, и это рождало сочувствие к ее менее удачливой подруге. — Что им надо было от тебя? После того, как ты дала столько денег и уделила им столько времени!

Нинель, вся в счастливых заботах, уже не переводила: была занята другим — и Рене плакалась хозяйке на ломаном португальском:

— Люди так злы! И особенно несправедливы к молодым одиноким женщинам!

— А ты не расстраивайся! — уговаривала ее донья Бланка. — Не вешай носа и не теряй присутствия духа! Сейчас я, чтоб тебе было веселее, принесу что-нибудь со вчерашнего праздника. Мы вчера справляли скромную домашнюю свадьбу. Правда, эти два негодяя не дождались ее, а, оказывается, умудрились до нее познакомиться поближе. У меня глаза на лоб полезли, когда я об этом узнала. Молчали бы хоть. Мало ли кто в их положении делал это, но кто ж объявлял об этом родителям? Хорошо покойный отец не слышал…

— У нас свадьба вчера была, — подтвердила и Нинель: ей было неловко, что она не пригласила подругу, но это не омрачало счастливого выражения, не сходившего с ее лица. — Никого не звали, — прибавила она, чтоб Рене было не так обидно. — Это нужно для поездки.

— Все прошло гладко? — спросила Рене: совесть ее все еще была неспокойна.

— Ты имеешь в виду обыски в Севилье? Аугусто сказал, что здесь проверяли только то, что было до этого, но надо быстрее уезжать, пока не пришли новые сигналы. Поэтому, чтоб не терять времени, мы пошли вчера в церковь, потом пришли сюда и здесь посидели в самом узком кругу — даже невесты Хорхе не было. Чем меньше людей будет знать, тем лучше. Уже билеты на пароход купили: отходит через два дня, надо собираться. А у меня глаза разбегаются: что взять не знаю. И вообще — никак не поверю, что уезжаю. Будешь в Америке, обязательно приходи к нам…

Мать принесла с кухни мясные, рыбные и овощные блюда, обновленные и никак не выглядевшие в ее искусных руках остатками вчерашней трапезы, расставила их на столе, достала бутылку из запасов. На стук посуды и запах еды сверху спустился Хорхе — и он тоже приветствовал Рене как старую знакомую, словно с ней в Испании не произошло ничего особенного.

— Что они к тебе привязались? — спросил он только. — Ехали вместе — ты на глазах была, никакого повода не давала.

— Я думаю, синьор Томмази на меня накапал, — сказала она: чтоб как-то объяснить происшедшее и лягнуть задним числом

своего врага.

— А ему что за смысл делать это?

Рене откровенно поглядела на него.

— Он приставал ко мне в дороге.

— Это я слышал, — подтвердил Хорхе.

— И особенно потом, в гостинице — но без всякого успеха, разумеется. Вот и решил испортить мне поездку и настроение.

Хорхе подумал, оценил возможность такого хода событий, поколебался:

— Если он и вправду так поступил, то он порядочная свинья. Он же не только на тебя тень бросал, но и на нас с Нинель — на своих товарищей. Это ж мы тебя пригласили.

— Донес или не донес, — и Нинель кинула свой камень, — но свинья он в любом случае. Ты б слышал, как он с ней разговаривал. В свой номер приглашал. Чуть ли не приказывал явиться!.. — Замужество причислило ее к разряду женщин, которые имеют право высказываться таким образом и не обязаны при этом краснеть и стесняться, и она им воспользовалась в полной мере.

— Если это все так, как вы говорите, то я этого так не оставлю. Я с ним поговорю, — пообещал Хорхе, но благоразумная Нинель отговорила его делать это — во всяком случае до тех пор, пока ее пароход не скроется за линией горизонта, а еще лучше — не пришвартуется к американскому берегу…

Чем ближе к концу был обед, тем больше отдалялась Рене от этого клана: ей после отъезда Нинель делать здесь было нечего. Но никогда не надо терять надежды и раньше времени замыкаться в своей скорлупе: старые знакомства, как садовые кусты, могут дать новые отводки, и истинное упорство не остается без вознаграждения. Она уже собралась встать и уйти, как Нинель вспомнила о полученном ею приглашении, на которое она не могла и не хотела ответить, и подала его Рене. Ее звали на вечерний раут в дом богатого и видного деятеля, близкого к кругам правительства.

— Я не хочу идти без Аугусто: придется открыть наши отношения. Одно дело скрывать, а другое лгать обществу. Да и сам он не хочет идти: ввяжусь, говорит, напоследок в ненужную дискуссию, и меня, вместо парохода «Лузитания», посадят гребцом на королевские галеры…

И Рене конечно же отправилась на этот раут — в расчете на то, что ее «хвост» отстанет от нее, не полезет за ней в роскошные апартаменты, да и возле подъезда ему не очень-то разрешат вертеться: полиция нужна — но не для того, чтобы портить жизнь власть имущим.

Вечером она сидела в холле большого высокого особняка, где шел прием гостей, и соблазняла и склоняла на свою сторону молодого человека, которому имела счастье понравиться — не чем иным, как своею горькой участью. Вокруг сновали хорошо одетые гости, была обстановка светского раута, где все были чуть-чуть рассеяны, словно заблудились в лесу с заходом солнца: сам хозяин будто не знал или забыл, зачем зазвал к себе гостей (так актер может вдруг забыть, в каком спектакле он играет и зачем вообще стоит на сцене), гости не вполне ясно представляли себе, почему и зачем к нему приехали. Но несмотря на это взаимное непонимание, те и другие безропотно несли свой крест и выполняли, что от них требовалось: хозяева стояли часовыми у дверей и истязали себя конвульсиями гостеприимства, отмеряя каждому необходимую улыбку, которая, как содержимое песочных часов, перетекала у них с верхней половины лица в нижнюю, а гости принимали ее как некую эстафету и, раскланиваясь, шли в зал, где, находя себе подобных, восклицали в свою очередь что-нибудь несуразное, разделялись на группы и говорили друг другу сущие нелепицы. На столах вдоль стены стояли большие бутылки с редкостными винами, фрукты, крохотные бутерброды, которыми при всем желании нельзя было насытиться и которые гости ели невнимательно, оборачиваясь в поисках чего-то более существенного, что оправдывало бы их присутствие в этом доме. Хозяин выбрал минуту и распорядился вкатить в зал замшелую черную бочку с вином вековой давности из провинциальной усадьбы — это и было гвоздем программы, вызвавшим общее одобрение: происходящее обрело наконец свое лицо, смысл и назначение. На пол постелили грубую оленью шкуру, на нее поставили полукружные стояки, на них — бочку, прислуга показала, как пользоваться краником, и отошла в сторону, остерегаясь потопа или иного несчастья. К бочке выстроилась живая очередь, на следующий день в вечерней газете была заметка об этой дегустации, ради которой и был устроен прием: вино, оказывается, было свидетелем наполеоновского нашествия…

Рене и ее избранник его так и не попробовали. Они ничего не видели и не слышали вокруг себя, а поверяли друг другу горькие душевные и семейные тайны: для них это было своего рода опьянение горечью. Рене уже не помнила, кто кому подал пример и кто первый, сев в затененном и отгороженном домашними пальмами уголке гостиной, начал жаловаться, но обоим скоро стало ясно, что они пребывают в одинаковой душевной депрессии и что в ней повинен весь мир и никто более. Жалобы одного эхом откликались в сердце другого, говорили они в унисон и

прерывались лишь для того, чтоб послушать своего визави: тоска их была заразительна и сострадательна. Молодой человек был конечно же из очень богатой и приличной семьи (что скрывать дела далеких дней? его отец владел лиссабонской электростанцией), он хорошо говорил по-французски, но был несчастнейшим из существ: недавно получил развод и потерял веру в женскую, а заодно — и мужскую половину человечества, потому что вторая также была причастна к случившемуся. Это был очень приятный, даже красивый молодой человек с тонкими чертами лица, которому не хватало жизненной грубости, а без нее, как известно, жить на этом свете чрезвычайно трудно. Он, правда, не слишком тяготился отсутствием этого качества и, обвиняя мир в бессердечии и бесчувствии, сохранял некую лукавую природную грацию, молча опровергавшую его упреки; скорбь его выглядела чересчур самозабвенной и одухотворенной, а грустные стенания звучали порой слишком выразительно и даже зазывно. Может, он переигрывал и был не столь несчастен, каким казался себе в эту минуту, но кто из нас не бывает грешен в подобном преувеличении — милостыню, как известно, просят не одни сирые и убогие. Во всяком случае — и Рене была в этом уверена — он не был ни полицейским, ни провокатором.

Она ни в чем ему не уступала и даже вела первую скрипку в их налаженном дуэте, настроившемся на исполнение печальных и порой траурных мелодий — реквиемов, исполняемых дуэтом:

— Я хочу уехать куда глаза глядят! — восклицала она (и это было чистейшая правда, хотя не совсем та, о которой она говорила). — Хочу оставить эту опостылевшую мне страну, где все сговорились, чтобы добить меня и посильнее меня ужалить! Женщина! Она нигде на свете не может найти счастья и покоя!

— А мужчинам, думаете, лучше? — споря, поддакивал он ей. — А я?! Как бы я хотел уехать из этой столицы, в которой царят нравы провинциального городишки! — и оглядывался вызывающе по сторонам, наперед зная, что его не услышат: все сгрудились вокруг бочки, торопясь познакомиться с одногодкой Наполеона, и кто-то уже пустил струю вина на шкуру оленя и по старинному наборному паркету.

— Если бы отсюда шел какой-нибудь пароход в Тихий океан, по следам Васко да Гамы, в места, где скрывался от всех Гоген, как бы я хотела, чтоб меня высадили одну без багажа и без попутчиков!

— А как бы я хотел быть там рядом с вами! — возопил он, не рассчитав на этот раз силы голоса, потому что бегущая мимо как на пожар прислуга невольно вздрогнула от его крика и чуть было не завернула в его сторону — вместо того, чтоб спасать

коллекционный паркет. — Но мне завтра снова на работу! А чем я занимаюсь? Считаю, сколько каждый район ест электроэнергии и сколько за нее платит. Знаете, что получается? Чем богаче район, тем больше недоплат: научились подкручивать счетчики! А моряки и грузчики прибрежной зоны платят больше, чем расходуют. Им мой отец набавляет — чтоб возместить потерянное в центре! Как после этого верить в человечество?..

География расхода электроэнергии в Лиссабоне могла бы заинтересовать Управление, в котором сидели Плюшкины, копившие впрок разную мелочевку, но Рене было не до этого.

— Я не рассказываю вам всего, — говорила она, доверительно вглядываясь в его кристально честные, чистые глаза и для большей убедительности беря его за пуговицу, — но поверьте мне: я умалчиваю кое о чем, потому что в этом замешаны третьи лица, которых я не имею права подводить и ставить в неловкое положение. Я хочу уехать, но прежде всего мне нужно вывезти отсюда некоторые вещи, которые вызывают во мне чувство стыда и могут меня скомпрометировать. Я не хочу позора и осмеяния — только этого мне еще не хватало, — я хочу вывезти их и выбросить куда-нибудь, откуда их никто никогда не выловит, — и снова призывно заглянула в его добрые сочувственные очи. — Мне нужна ваша помощь.

Она даже не знала, как его звали, но сын владельца электростанции был, не в пример своему отцу, настоящий кавалер и рыцарь. Ему, как сервантовскому герою, и в голову не пришло спросить у нее, что это за предметы, от которых срочно нужно отделаться, и почему ей нужна в этом помощь: его просила Дульсинея, унижаемая жизнью, и этого ему было достаточно.

— Но это не фортепьяно? — спросил он только.

— Почему фортепьяно? — удивилась и озадачилась она, вспомнив, что на профессиональном жаргоне она пианистка.

— Потому что оно в мою машину не залезет. Но все, что меньше, пожалуйста! — и встал в ожидании распоряжений. — Поехали?

Она не ждала столь быстрого исполнения желаний, но медлить было не в ее интересах.

— Мы знаем, куда едем? — спросила она, передавая ему бразды правления.

— Есть одно местечко, — заговорщически зашептал он: ему понравилась эта игра в прятки. — Озеро в горах, глубокое как море и неприступное из-за скал, которые его окружают. Чтоб добраться до него, надо знать к нему доступ.

Такое озеро ее устраивало.

— Но до него, наверно, долго добираться?

— Но вы же сами говорите: чем дальше, тем лучше?

— Да, конечно. Но я должна вас кое о чем предупредить, — сказала она, вводя его в еще большее искушение, — с этой минуты мы все должны делать украдкой, с соблюдением особых предосторожностей. Мой знакомый, который заставил меня держать дома компрометирующие его предметы, следит за мной, боится, что я предам его, и устраивает мне сцены…

Он нетерпеливо кивнул: будто каждый день попадал в подобные переделки и они были ему не внове. Делать ему было решительно нечего, все эти дополнительные обстоятельства и загадочность предприятия только разжигали его интерес, и он охотно поддержал ее в деле, как только что вторил и подыгрывал ее жалобам и стенаниям.

Ее преследователя и мнимого поклонника, слава богу, возле дома не было: видно, ему в самом деле показали от ворот поворот — а может, отошел перекусить, рассчитывая, что вечер у богача кончится нескоро и что не грех поесть, пока открыты соседние забегаловки. Она, прячась за кузовами дорогих машин, прошла вслед за своим спутником к его не менее роскошному кабриолету с поднятым тентом, села на заднее сиденье, задернула с обеих сторон шторки. Полицейский у ее дома и глазом не моргнул, когда хорошо одетый человек вынес из квартиры известной ему жилицы тяжелый чемодан и бросил его в машину. Безымянный молодой человек даже не спросил ее, отчего он такой неподъемный, — напротив, обрадовался этому: в последний момент у него вдруг мелькнула мысль (он любил детей), что она хочет выбросить в озеро незаконнорожденного ребенка, компрометирующего ее и ее знакомого. Но детей из железа и из кирпичей не делают, все прочее было неважно, и он с легкой душой повел автомобиль по извилистым и крутым дорогам предгорья, ввинчиваясь все выше и подбираясь исподволь к кладбищу потерянных вещей, которых не хотят искать их злополучные обладатели.

Они приехали, подошли к воде. Озеро было вулканического происхождения и блестело черной овальной чашей в оцеплении высоких гор, которые незаметно выступали из темноты и вплотную окружали их.

— Тут глубоко? — Рене все еще боялась драги и оставленного в мастерской адреса — равно как и номера, отбитого на трансформаторе.

— Тысяча метров, — сказал он, угадывая ход ее мыслей. — Не беспокойтесь: не достанут, — и даже щелкнул фотоаппаратом, оставив ей, вместе с аппаратом, снимок озера, который она хранила в течение всей своей жизни. Потом довез до Лиссабона,

сдал полицейскому (в хорошем смысле этого слова) и распрощался с ней самым беспечным и беззаботным образом, не договариваясь о следующей встрече: этим бы он все смазал, а старался он не для этого. Оба были веселы и жизнерадостны при расставании, и оба так и не удосужились спросить, как зовут друг друга. Почему было так легко на душе у Рене, было понятно, но отчего так хорошо было другому? Это не каждому дано понять, но, может быть, он с самого начала был не столь безнадежно грустен, каким хотел себя представить, а просто хотел подыграть и помочь понравившейся ему Дульсинее, а что еще надо настоящему рыцарю?

Мужчины бывают великолепны — особенно в первый день знакомства.

Теперь можно было уезжать, но куда и как?

Самолетного сообщения с Лиссабоном тогда не было, сухопутная граница была закрыта — оставалось море. Пароходы шли до Франции и до Англии. Ехать во Францию она по-прежнему боялась, словно нашкодила там всего больше: подозревала, что числится там в розыске, ехать же в Англию с фальшивым британским паспортом казалось ей верхом наглости. Из двух зол она выбрала меньшее и взяла билет до Саутгемптона.

На пароходе ее паспортом интересовались куда меньше, чем состоянием горла и легких: англичане панически боятся инфекций — это страна карантинов и рай для эпидемиологов. Она попала здесь в компанию среднезажиточных рантье и лавочников, возвращавшихся из просветительно-развлекательного круиза по Северной Африке. Поскольку путешествие шло к концу, они начали ссориться между собой. Обычно это оставляют напоследок: чтоб узнать попутчиков, надо дождаться последнего дня общения с ними, когда с них слетают листья и обнажаются тугие, перепутанные корни. Соседи за ее столом, до того поддерживавшие, видимо, благопристойные отношения, теперь повели настоящую войну между собой, стараясь наверстать упущенное и сказать то, что давно висело на кончике языка у каждого. Они пикировались по всем правилам этого древнего и одинакового во всем мире искусства.

— Вы не джентльмен, — сказал один из них.

— Зато мой отец был им! — как в анекдоте, возразил другой и победоносно оглянулся по сторонам.

Можно было не обращать на это внимание, но это была старая ее болезнь: она не выносила обывателей, они вызывали у нее насмешку и противодействие — уж лучше в Москву, где по улицам ходят медведи и пожирают друг друга, чем слушать эту рутину и видеть людей, имеющих одну цель в жизни — следовать

ее условностям…

В Англии — новое препятствие: она попала туда перед коронованием Георга VI. Прежний король, Эдуард VIII (видно, тоже хорош был гусь), женился на дважды разведенной американке — парламенту и народу Англии это пришлось не по нраву, и ему, к несчастью Рене, пришлось отречься от трона. Для англичан нет праздника дороже, чем коронование нового правителя: даже совершаемое в столь щекотливых обстоятельствах, — вся полиция была поднята на ноги, и всякий иностранец нежелателен и подозрителен как лицо, намеревающееся сорвать торжество или омрачить его течение. Надо было не задерживаясь миновать Лондон и перебраться в Гулль, откуда шел пароход до Копенгагена. Все прошло гладко — если не считать того, что она по ошибке, купив билет в первый класс, села во второй или в третий. Ей пришлось пережить пару неприятных минут, когда к ней подошел контролер и с суровым видом предложил подняться и последовать за ним, — оказалось, слава богу, что он всего-навсего препроводил ее в надлежащий класс, где все было то же самое, что в прежнем, только корпус был другого цвета, да поили чаем, да общество было «поприличнее» — если верить железнодорожной компании и ее попутчикам: для нее же все пассажиры были на одно лицо, одинаковы…

В Копенгагене она вызвала на встречу коллегу, которая дала ей в свое время канадский паспорт, вернула его и стала ждать новый в гостинице. Ей нельзя было покидать номер — тут-то и наступила запоздавшая реакция, до сих пор сдерживаемая и подавляемая чувством опасности. Она слегла в кровать, ничего не делала и не могла заставить себя чем-либо заняться. Принесли паспорт — она встала, поехала как заведенная дальше и вскоре уже была в Ленинграде, затем в другой, главной, нашей столице…

Начинался 1937 год. В коридорах Управления было сумрачно. Люди, по ним ходившие, были невеселы и неразговорчивы. На нее никто не обратил внимания, хотя многие ее знали, — а она помнила, как в прошлый раз, по возвращении из Китая, когда у нее на душе висел тяжкий груз ее несчастий, те же офицеры сумели приободрить ее и поднять ей настроение: тогда она попала сюда как на товарищескую вечеринку — они высыпали из кабинетов и, зная ее историю, задарили дружескими улыбками, приветствиями, поздравлениями.

Один Урицкий держался молодцом и принял ее так, как сделал бы это и год назад, в лучшие времена, а не в канун своего падения.

— Ты, Элли, молодчина, да и только. Пробраться туда одной, за такое короткое время, да чуть ли не до самого верха?! Это редко кому удается — из всех посланных одиночек ты одна с этим справилась.

— Но я ведь не смогла ничего передать оттуда? Что толку, что я пробралась к Франко. Я же не могла везти с собой рацию.

— Ды мы не ждали от тебя этого. У нас там были люди, которые были в достаточной мере информированы и снабжали нас точными сведениями. Но они все были засвечены: знали даже их должности в Красной Армии, хотя все были под чужими фамилиями. Нам нужно было оценить возможность проникновения туда через новые пути, о которых мы не догадывались. Ты прошла через католическую церковь? Это нам и в голову не приходило.

— Наверно, потому, что вы другого вероисповедания?

— Наверно. — Он усмехнулся и глянул мельком. — Но говорят, они очень недоверчивы и никого к себе не подпускают?

— Надо знать для начала «Альма матер»… И отказаться от классового подхода в пользу абстрактной гуманности, — полушутя-полусерьезно сказала она, а он, не желая идти на столь радикальные меры, решил по-своему:

— Завербовать бы кого-нибудь. Какого-нибудь епископа — я уж не говорю кардинала. Это облегчило бы все до крайности.

— Это трудно… Попробуйте, однако, с одним…

Она примолкла, а Урицкий навострился слушать.

— Кто это? В отчете у тебя ничего нет. Вообще, это не отчет, а какие-то путевые заметки: прибыла туда, потом отправилась дальше — взяла билет и поехала. Хотя самое важное не то, как ты поехала, а почему тебя туда пустили. А ты мне, вместо этого, на наших таможенников жалуешься: чуть операцию не сорвали. Что я с ними сделать могу?.. Так что за священник?

— Мой первый кюре, который меня крестил. Сейчас сидит в Китае — наверно в Красной Армии: заодно и ему поможете. Вряд ли он у чанкайшистов.

— Да уж конечно, — согласился он. — Но лучше было б, если б у них. У наших друзей ничего не выпросишь и не выцарапаешь. И не скажут и не отдадут, если найдем. Жмотистый народ — одно название что соратники. Про католическую церковь мы, конечно, и без тебя знали — та еще организация, с ее монастырями да подземельями. Им ничего не стоит и спрятать кого угодно, и переправить через границу по своим каналам. Ты написала, они тебе медальку со святым дали?.. — Она подтвердила это. — Видишь, у них и сигнализация работает. Принесла ее сюда?

— У меня ее отобрали.

— И ты копии не сняла?

— Зачем? Во-первых, за мной следили, во-вторых, она ничего не стоит без телефонного звонка и устного подтверждения. У них старая школа — с вековыми традициями.

— Да уж. Это мы все на ровном месте строим — все спешим поэтому…

Он говорил так, будто впереди у него было, по меньшей мере, десять лет работы на его поприще, хотя он прекрасно понимал, что вряд ли продержится и несколько месяцев: большевики работали до последнего.

— Одно мне осталось неясным, — сказала она.

— И что же?

— Почему я провалилась. Наверно, сама в этом виновата.

— Это как?

— Я узнала уже здесь, что примерно в то время, когда я там появилась, по Севилье прошел слух, что туда приехала советская журналистка. А я покупала газеты — на разных языках и в большом количестве: могла этим обратить на себя внимание. — Привычку покупать несколько газет сразу она заимствовала у Якова: общение с таким человеком бесследно не проходит — и теперь грешила на нее.

Он нахмурился:

— Чепуха это. Обычно все проще и грубее. Подумаешь: разные газеты покупала! Может, ты впечатление хотела произвести. А может, просто обои клеила?

— Каждый день?

— Да не говори ты пустяки. Это я тебе как бывший контрразведчик говорю — это не в счет и никого не интересует. А вот личных врагов у тебя там не было?

— Был один. Руководитель фашистской молодежной организации в Лиссабоне. Некто Томмази. Итальянец.

— Это уже ближе к делу. Что он вообще, итальянец, делал в Лиссабоне? Ты с ним, надеюсь, не на идейной почве поссорилась? Это на тебя похоже. — Последнее он произнес с явной иронией.

— Нет. Не хотела к нему в номер идти.

Тут он только поджал губы и в высшей степени выразительно и недоуменно развел руками:

— Что ж ты? Разве тебя не учили этому?

— Семен Петрович! — вспыхнула она. — Я люблю Россию и мировое коммунистическое движение — но чтоб торговать собою?! Вы б видели его. Ощипанный и выпотрошенный цыпленок!

Он усмехнулся, сказал язвительно:

— А ты любишь мужиков в теле. Как твой Яков… Могла б

ведь и богу душу отдать — из-за своей брезгливости.

Она одумалась.

— Все сложнее. Если б я сошлась с ним, от меня бы отвернулись остальные. Я же была в приличном обществе — там такое не проходит.

— Да? — Он поглядел на нее, признал справедливость ее слов, извинился:

— Наверно. Мы тут забываем хорошие манеры… И так плохо и этак… Но все-таки этого мало. Из-за этого в полицию не бегут и не стучат. Хотя все бывает, конечно.

— Я ему еще и дорогу перебежала, — вспомнила она. — Когда начались переговоры с представителями фирм и фашистских организаций. Они предпочли меня, потому что я канадка, из богатой страны с большими возможностями.

— И миловиднее, чем синьор Томмази?.. Тогда что тебе еще надо? Соперников никто не любит. Ему надо отчитываться перед начальством за проделанную работу — он тебя и убрал с дороги… Ты говоришь, тебя сначала прощупывал итальянец?

— Да. Представитель «Фиата», торгующий оружием.

— Тот, что с Франко запросто здоровается? Ты его фамилию хоть запомнила?

— А как же? Ту, во всяком случае, под которой он там был. Не знаю, насколько она подлинная.

— Настоящая. На этом уровне уже не прячутся, а под своими фамилиями работают. Что ему скрываться — это он, как ты пишешь, берет билет да едет в Мадрид без приключений. Это, наверно, их резидент там — или личный представитель Муссолини. Томмази твой не стал бы доносить в испанскую контрразведку: ему это по чину не положено — он обратился к своему начальнику, чтоб взглянул на тебя, развеял его сомнения. Итальянец повертел тебя так и сяк, ни к какому выводу не пришел — почувствовал только, что ты какая-то особенная, и передал испанцам: пусть разбираются — это их, а не его работа. Поэтому испанцы тебя и не очень тормошили: проверили на всякий случай, улик не нашли, но предложили уехать, от греха подальше. Так вот от людей и освобождаются: бросают на них тень сомнения, и они уже не те, что раньше, а как бы неполноценные.

— Я, между прочим, сама сказала это друзьям. Думала насолить ему, а говорила, наверно, по наитию.

— Наитие — вещь великая, им нельзя пренебрегать. К себе надо повнимательней прислушиваться: иногда можно узнать правду… А доносы действуют безотказно, — снова вернулся он к теме, которая постоянно его притягивала. — Капнут и найдут то,

что было и чего никогда не было. Ты еще легко отделалась… — и помрачнел: сам-то он говорил сейчас как по наитию и, поняв это, ужаснулся собственному пророчеству…

Он умолк, сдержанным, но резким движением руки отправил ее отчет в ящик, попрощался с ней и, уже углубленный в свои думы, сказал напоследок:

— Получишь за эту поездку орден Ленина.

Даже это прозвучало у него сухо и почти неприязненно. Но она не была на него за это в претензии: не она была этому причиной.

16

Урицкий попросил ее написать новый, более подробный отчет, снова упрекнул ее за краткость, когда она подала его, но и это донесение не было дослушано до конца: высшие чины ушли с половины ее доклада. Она была задета этим, дочитала его младшему офицерскому составу, который был приглашен, чтоб учиться и набираться ума, но скоро поняла, что обижаться ей не на что: им всем было не до нее, они жили другими тревогами. Вскоре был арестован и погиб на допросах сам Урицкий: не сраженный честными пулями из-за угла, как его дядя, а забитый насмерть в кабинете следователя. После него его судьбу разделил ряд офицеров, последовательно занимавших его пост; с ними ушел в небытие почти весь аппарат Управления. Их ведомственный дом пустел на глазах, третья комната, где жила полька, оказалась опечатанной одной из первых. Были арестованы и уничтожены люди, чье положение не допускало мысли о таком исходе: ее знакомцы по Сочи маршалы Тухачевский и Уборевич, Якир и Егоров. Советским разведчикам было теперь опасней ехать в Союз, чем оставаться за рубежом, на нелегальном положении. Их вызывали в страну, чтобы арестовать, или, напротив, посылали в дальнюю командировку, чтоб без лишнего шума перехватить по дороге, — те и другие исчезали бесследно, без суда и следствия. Конца этому не было — равно как и объяснений происходящего, спрашивать же о нем или просто упоминать в разговоре никто не осмеливался, да и мало кто задавался такими вопросами: в России гнев правителей приравнен к стихийным бедствиям, не поддающимся ни воздействию извне, ни даже предсказанию.

Рене — или, как ее все звали теперь, Элли — это не коснулось: будто на ней висел некий амулет или оберег. Она получила орден Ленина: ей вручил его в Кремле Калинин — вместе с группой уцелевших сначала за рубежом, потом у себя дома участников гражданской войны в Испании. Она оставалась в распоряжении меняющегося, как турникет, начальства, ее готовили к новой работе (как она понимала теперь, готовили плохо и непрофессионально), к ней снова начали приходить домой офицеры — учить стратегии и тактике военных операций. Жизнь продолжалась: если можно, конечно, назвать жизнью безгласное и затаившееся существование, в котором люди обезличены страхом и похожи на марионеток, которыми дергают спрятавшиеся за занавесом кукловоды, а тем ничего не стоит выбросить каждого из них, если им в нем что-то не понравится, или за компанию с другими — из каприза или скверного

настроения.

Но для нее лично — если только можно отрешиться от общих дел и сосредоточиться на своих — все складывалось благополучно. Произошло даже то, чего она почти уже не ждала. Однажды к ней пришел сотрудник Управления и, начав издалека, рассказал, что обстоятельства на Дальнем Востоке сменились к лучшему, что Чан Кайши воюет теперь с японцами и ищет с нами союза и примирения. В этой ситуации он предложил ей обратиться к Советскому правительству — с тем, чтобы оно обратилось к правительству китайскому с ходатайством об освобождении Якова: наверху соблюдали должный порядок дел и внешние формы законности. Ее не нужно было упрашивать: она написала заявление под диктовку посыльного. Вскоре после этого была подтверждена достигнутая ранее и ждавшая только письменного оформления договоренность об обмене Якова на старшего сына Чан Кайши, который много лет назад приехал в Союз, женился здесь на русской и был арестован во время ухудшения отношений с Китаем: заложником для давления на отца и в расчете на подобные сделки в будущем — старший сын дорог китайцам в особенности. В придачу к нему были даны 25 тысяч американских долларов: чтоб показать, что обмен неравноценен, — и Яков был выпущен из уханьской тюрьмы, где сидел все это время. Таковы были парадоксы тогдашней эпохи: те, кто составлял длиннейшие и ни на чем не основанные списки для арестов и расстрела, платили большие по тем временам деньги, чтобы выручить тех, кого хотели уморить другие: Сталин сам хотел казнить и миловать и не допускал других к столь приятному для него времяпрепровождению. Элли, конечно, тогда об этом не думала, подобных сопоставлений не делала — просто была бездумно и бесконечно счастлива.

Яков вернулся 15 декабря 1937 года. Она встречала его с представителем Управления. Не дождавшись, когда он выйдет из вагона, она бросилась в купе. Они обнялись, расчувствовались, прослезились. Такие пылкие встречные движения души убедительнее доводов рассудка — Элли тут же решила забыть и простить ему измену. Дома она все-таки спросила его, зачем он написал то письмо и отказался от ребенка. Он был готов к вопросу и отвечал заранее подобранными словами о том, что приревновал ее и всерьез решил, что ребенок не его; это, возможно, отчасти соответствовало истине, но целиком ее не покрывало, но она видела, что если он что-то и скрывает, то делает это для того, чтоб остаться с нею. Это была ложь во спасение, которая бывает дороже откровенной и невеселой правды: мало ли что было в прошлом — важно настоящее и

будущее. Она представила его матери — между ними сразу установились добрые отношения; то же было и с Жанной: с Яковом, когда он этого хотел, люди быстро сближались и свыкались — как со старым знакомым; у него был отцовский дар ловца душ и духовного соблазнителя, которым он не злоупотреблял, но при необходимости пользовался.

Он рассказал ей о годах, проведенных в заключении. Самое трудное было то, что тюрьма не отапливалась: Ухань расположена в глубине Китая, зимы здесь холодные, ветры пронизывающие. Трудно терпеть холод без надежды согреться: легко возникает озлобление и отчаяние — Яков боролся с ним постоянным движением: тоже знал, наверно, басню Эзопа о двух лягушках. Он ходил часами по камере и по двору тюрьмы во время разрешенных прогулок, накручивал за день многие километры, занимая себя еще и их подсчетом — выполнением, так сказать, ежедневной нормы. Когда человек ставит перед собой малые промежуточные цели, ему легче достичь главной — те же, что замирают в неподвижном ожидании и берегут силы, умирают сонной смертью от холода и от голода, этих двух вечных врагов человечества. Кормили по-прежнему одним рисом: китайцы горазды на изощренные и безобидные с виду пытки — вроде равномерного падения капель на голову. К концу его пребывания в тюрьме, когда потеплел если не погодный, то политический климат, смягчились и его условия жизни: к нему стал ходить нанятый товарищами адвокат, которого прежде к нему не допускали, и начал носить деньги, книги, продукты. Он мог покупать теперь еду — хотя и на кабальных условиях, обогащавших его тюремщиков: он до сих пор качал головой, вспоминая, сколько тратил на творог и на недозволенную его религией свиную колбасу и бекон, которые любил в особенности: как запретный плод детства. Теперь он старался разнообразнее и полезнее для себя использовать каждую минуту: изучал языки (как если бы тех, что он знал, было недостаточно), исписывал мелким бисерным почерком (бумага была на вес золота) испанские, итальянские, французские слова и фразы: тетради того времени долго хранились у нас дома. Память его, всегда емкая и цепкая, в тюрьме обострилась до крайности: книги, которые он здесь прочел, отложились в ней постранично и с особой рельефностью.

Они поехали отдыхать в Кисловодск. Это был первый отпуск, который они провели вместе, и оба были веселы и беспечны. Яков стремился загладить свою вину, которую, несмотря на оправдания, продолжал испытывать; Элли была просто счастлива. Они делали все, чем занимали туристов в тех местах и в то время

года: ездили с экскурсиями в Минеральные Воды и в Пятигорск, в горы по Военно-Грузинской дороге, ели рыбу в ресторане у озера Рица, которую им при них же вытаскивал из садка грузин-официант, делавший это картинно и живописно, будто вылавливал ее из озера, а не из прозрачного стеклянного ящика. Все эти развлечения, несмотря на свою заурядность, казались ей захватывающими, из ряда вон выходящими событиями: будто она не объездила весь мир с его достопримечательностями — она была, иначе говоря, влюблена в своего мужа, с которым встретилась наново, после длительной и вынужденной разлуки. Яков, на первый взгляд, разделял ее чувства, но с ним (она уже поняла это) надо было быть настороже: он глядел на сторону. При этом его соблазняли не другие женщины (хотя он не пропускал взглядом своих любимиц — высоких и статных русских красавиц, привыкших властвовать над мужчинами и притворяться при этом, что всецело от них зависят). Его отвлекало другое: что не мудрствуя лукаво, можно назвать работой, но если смотреть глубже, было тягой к отвлеченному и почти потустороннему — то, что он сам называл идеей революции и к чему постоянно возвращался. Таким мужчинам нужны женщины-любовницы и служанки — присутствие жен-соратниц стесняет и утомляет их: они просят поделиться с ними их главным богатством, приобщить к их духовному миру, номир этот вовсе не создан для такой дележки: в него нельзя, как в стеклянный садок, зачерпнуть сачком и выловить из него рыбу на ужин. Под конец отпуска у нее возникло ощущение, что он, притворяясь, что радуется ее обществу, начал им тяготиться, что она, попросту говоря, ему уже надоела. Внешне это проявлялось тем, что он и в самом деле все больше говорил о работе: она будто бы ждет его и ему не терпится к ней вернуться. В действительности же ему при ней было сказано: «Отдыхайте, забудьте на время о работе и живите в свое удовольствие». Когда она напомнила ему об этом, он только отмахнулся: «Ты что, не знаешь наших начальников? Они говорят одно, думают другое, а делают третье»: позволял себе иной раз такую критику в адрес руководства.

На Кавказе их настигла весть об аресте первой жены Якова. Она была осуждена со всем штатом министерства, в котором работала секретарем замминистра. Надо было брать к себе их общую дочь десятилетнюю Инну, которую Яков много лет не видел, а Рене не знала вовсе. Вместе с Инной в доме поселилось нечто неизбывно грустное, неприветливое и исполненное внутреннего и скрытного непокорства. Отец дочерью почти не занимался: он с новыми силами включился в работу поредевшего, но продолжавшего работать Управления: организовывал

зарубежные поездки, готовил к ним разведчиков. Сам он после своего провала стал невыездным: русское происхождение его не было доказано в ходе судебного процесса, но подтвердилось громким, прошумевшим на весь мир обменом — он стал работать на засылке других, и это отнимало теперь все его время. Элли пыталась установить дружбу с его дочерью и войти к ней в доверие, но это у нее не получалось: Инна считала ее виновницей разрыва отца с матерью и всех бед, за этим последовавших. Последовательность и очередность событий этому противоречили, но дети хронологии не признают, прошлое у них путается с настоящим — вернее, есть одно настоящее, которое целиком занимает их воображение и порождает вымышленное толкование прошлого. Инна страдала из-за отсутствия матери и не привыкала к новому дому, а Элли так и не могла всю жизнь понять, она ли виновата в отсутствии душевной связи с приемной дочерью или упрямое нежелание той войти в дом, в котором она чувствовала себя постоялкой и приживалкой. Подружилась Инна только с Жанной, которая нашла путь к ее сердцу. У них были схожие судьбы, обе остались по воле судьбы без одного из родителей, а Жанна отличалась еще и способностью вникать в чужие беды и обстоятельства — она сочувствовала сводной сестре, а той это было всего нужнее. Если бы Элли меньше старалась подбодрить и развеселить Инну и представить дело так, будто все идет как нельзя лучше (чем только озлобляла и восстанавливала ее против себя), а просто посидела б с ней да поплакала, толку было б больше, но Элли не умела и не любила плакать.

Яков, как было сказано, был в стороне от всего этого: он словно не замечал домашних трудностей. Отчасти это было связано с его нежеланием говорить о том, что привело к ним Инну. Он ни с кем не хотел обсуждать массовых посадок: коротко и сухо говорил, что совершено много ошибок, что, когда рубят лес, летят щепки, и тут же переводил разговор на другую тему, всем видом своим показывая, что не намерен говорить о репрессиях, — не потому, что это чем-то грозит ему, а потому, что вредит интересам партии: он оставался тем же пламенным большевиком, что и раньше — с небольшими поправками на возраст и на эпоху. Элли была иного мнения на этот счет. События последних двух лет, неразбериха в Управлении, воцарившаяся там после избиения руководящих кадров, ее бесцельная поездка в Испанию, которая разочаровала ее, хотя и принесла ей орден Ленина: все это склоняло ее, пусть не к дезертирству, но, говоря мягче, к перемене профессии.

Яков уговаривал ее остаться и говорил, что она, с ее опытом и

умением находить неожиданные выходы из нештатных ситуаций, может принести Управлению много пользы, — ей было всякий раз не по себе, когда он повторял это. Она была из другого теста, чем он: русская рулетка, с ее выстрелами на «авось»: сойдется-не-сойдется — была ей неинтересна. Она видела, как мужественные и талантливые люди, которых она знала за рубежом, возвращались и терпеливо ждали своей участи: попадет ли в них тот самый выстрел, или окажется холостым, или пронесется мимо, что, учитывая размах трагедии, напоминало массовое самоубийство китов, выбрасывающихся на берег и оставляющих на нем свои туши. Так далеко ее коллективизм не распространялся: в ней сидели посеянные в ином месте семена проклинаемого здесь индивидуализма, побуждавшего относиться к собственной и к чужим жизням с большим уважением, чем это было принято в России, и это было даже не влияние католического духа, чуждого и коммунизму, и православию, а нечто более глубокое и древнее — остатки древнего анимизма предков, который живет во всяком сельском жителе и заставляет его почитать не только жизнь человека, но и любой живой твари — даже дерева. Она умела рисковать и могла умереть за идею: она доказала это прежней работой — но пасть от руки своих и неясно зачем было для нее ненужным излишеством.

Кроме того, к ней, как она считала, начали подбираться и подкапываться. На нее был «материал» в Управлении. Яков, имевший доступ ко всем папкам (почему-то и первого отдела), успокаивал ее, убеждал, что ей, с ее орденами и заслугами, нечего бояться, но он много что говорил, а она не всему уже верила — тем более, что он потом легко отступался от своих слов, говоря, что был в свое время недостаточно информирован. Во-первых (он сам это рассказал), в первом отделе лежало донесение, что она взяла на попечение «ребенка врага народа». Это было правдой, она не думала от нее отрекаться, но само то, что эту гадость не порвали и не выбросили, говорило о многом и не располагало к благодушию. Яков доказывал, что никто не имеет права уничтожать доносы: они копятся и остаются даже тогда, когда человека уже нет в живых, — но объяснение это ее не успокаивало, а напротив восстанавливало против подобных архивов и архивариусов. Кроме него был еще один сигнал — вовсе нелепый и дурацкий, но это его не обесценивало — напротив, делало лишь опаснее. Об этом можно рассказать особо, потому что, несмотря на свою незначительность и даже никчемность, он склонил ее к окончательному решению.

Дело было так. Вернувшись из Испании, она в первые недели, чтобы разрядиться, прийти в себя и нащупать изменившийся за

год пульс общества, ходила по знакомым — старым и новым, не разбирая. Годом раньше в Сочи она познакомилась с дочерью одного из членов правительства и теперь дала о себе знать, позвонила, сказала, что снова в Москве: большего говорить не полагалось — и тут же была приглашена на блины и танцы. Дочь была как дочь, как все они: чувствовала себя, конечно, иной, чем все смертные, рангом повыше, но и не особенно задавалась и при близком знакомстве вела себя по-приятельски — с ней можно было разговаривать. Зато муж ее, зять министра, которого в Сочи не было (иначе она не пошла бы на вечеринку), был преотвратительной личностью. (Ей потом говорили, что в семьях «больших людей» надо остерегаться именно пришлых: их, если они не были завербованы раньше, стараются сделать осведомителями, но тогда, сразу после Испании, она думала, что вырвалась на волю и что следить за ней в России некому.) Зять был недоверчив и подозрителен, и из него так и лезла злость, которую он напрасно пытался замаскировать показным радушием и гостеприимством. К Элли он отнесся с нескрываемой неприязнью: она раздражала его как иностранка в особенности. Между тем он руководил застольем и добивался от всех веселья. Элли, когда на нее наседали, с ножом к горлу, с такими требованиями, делалась форменной букой и позволяла себе ядовитые замечания, которые, ясное дело, никому веселья не прибавляли. Он, имея в виду ее, настаивал, чтобы его гостьи не корчили из себя высоких дам, а пили и смотрели на «мужиков», как полагается «бабам». Что он имел в виду, говоря это, было неясно, но этими «бабами» он допек ее особенно. Она не терпела этого слова, не находила ему такого же и столь же часто употребляемого слова во французском — не до конца поэтому понимала, но чувствовала, что за ним кроется нечто обидное для русских женщин, с чем они, впрочем, довольно легко мирятся. Она буркнула в ответ, что смотрят так, как он хочет, на мужчин не «бабы», а уличные женщины и делают они это не из большой любви к ним, а по профессиональной необходимости, и их, кстати, не называют «бабами» — потому, наверно, что за них нужно платить и они хоть этим вызывают к себе уважение. Своими замечаниями и поправками она испортила ему всю игру и чуть не сорвала вечеринку. Дочь министра, услышав их перепалку, перепугалась, а ее муж напрягся в ожидании: его широкое блинообразное подозрительное лицо вспучилось от злости — но он прекратил спор, решив продолжить его в другом месте и иным способом. Результатом ссоры был донос, осевший в Управлении и обвинявший ее в пьянстве. Что скажете на это? Нашел в России пьяницу. Яков, с его слов, смеялся от души, читая

эту ябеду, а ей было не до смеха. Подобная бумага в личном досье опасна самим своим существованием — тем, что всегда может быть при необходимости извлечена, и тогда доносы, написанные в разном ключе и разными перьями, складываются по воле составителя в одно изображение: так находят друг друга в детской игре кусочки разрезанной картинки. Уже сейчас можно было создать из двух частей целое: настолько спилась, что потеряла всякую бдительность и приютила «ребенка врага народа» (слова-то какие: к ним она никогда бы не смогла привыкнуть, а Яков произносил их без запинки и без зазрения совести). Ей не хотелось ждать третьего доноса, который бы утверждал, что ее завербовал Франко на встрече с чаепитием и она поэтому не сфотографировала висевшие на стенах карты с военными планами. Это была фантазия, но не слишком далекая от действительности: она наслышалась от своих немногочисленных друзей-французов, что ставилось в вину их арестованным соплеменникам.

Дело было, конечно, не только в этом. Она встретилась с высшим эшелоном власти, и он в этот раз вызвал у нее чувство неприятия и духовного отторжения. У нее и раньше были замечания и сомнения на этот счет, но если еще два года назад руководители страны: те, которых она знала или видела — были чем-то ей близки и в целом ее удовлетворяли: своей образованностью, европейской культурой, широтой взглядов, способностью понять другого — то им на смену в результате чисток пришел иной народ: темный, раболепный, мстительный — может быть, по-своему и способный, но напрочь лишенный моральных устоев. В этом, собственно, и заключалась, догадывалась она, цель внешне бессмысленных репрессий: это была смена одного правящего класса другим, далеко не лучшим — последнего она не хотела иметь за своей спиной и доверять ему свое существование. Может быть, не все были там такими: может, в этом лесу была поражена болезнью треть или четверть деревьев, но атмосферу в нем они создавали удушливую и гулять в нем ей не хотелось. Поэтому когда ей через Якова передали предложение (которое он поддержал) готовиться к опасной поездке в Америку, она неожиданно для себя расплакалась (прощание с прежним делом и старыми товарищами далось ей тяжелее, чем она думала), но с твердостью отказалась. Яков был разочарован: как сотрудник Управления он жалел, что из него уходят ценные кадры, — особенно тогда, когда они были нужны особенно. Была еще одна причина, которую она предполагала, хотя не говорила о ней вслух: он был тщеславен, и ему было бы приятно, готовя новых гонцов за рубеж, говорить им, что он

посылает туда не только чужих, но и самых близких ему людей; об этом и говорить было бы не нужно: все и без того об этом бы знали…

А может быть, он просто снова захотел от нее избавиться…

Но к русскому народу, которого она по-прежнему знала мало, но уже лучше чувствовала, она питала старые симпатии и хотела быть ему полезной. Поэтому она осталась в стране без большой горечи и сожаления. (Да и захоти она другого, ехать было некуда: ее родные были здесь, и границы обоих ее отечеств были для нее закрыты.) Она, как говорила старая и полюбившаяся ей французская поговорка, оказалась взаперти на улице.

Ее уволили в запас. На этом ее служба в Красной Армии закончилась.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. В РОССИИ

1

Рене решила, что станет медиком. Между судьбой врача и революционера много общего: тем и другим движет сочувствие к ближнему, и многие революционеры, разочаровавшись в своем деле, пошли в доктора: чтоб приносить пользу людям, так сказать, из рук в руки, без посредников, которые все ставят с ног на голову. Военные тоже любят врачей — не только потому, что те спасают их в бою и после него, в госпиталях и лазаретах, но еще и оттого, что чувствуют в них родную жилку — людей, готовых стать в строй, едва зазвучит сигнал тревоги: у врачей есть даже мундиры — одинакового для всех белого цвета. Прежде Рене не имела дел с докторами и если испытывала влечение к их деятельности, то чисто умозрительное, платоническое, но в последнее время ей довелось общаться со специалистами, лечившими Жанну от туберкулеза, — в их кругу она почувствовала себя как дома: это были люди, близкие ей по духу и по призванию, — среди детских фтизиатров были тогда настоящие подвижники.

Кончился проклятый 1937 год, начался темный, неопределенный 38-й. Она готовилась к поступлению в 1 Московский медицинский институт, а пока что работала на радио, во французской редакции: писала тексты за рубеж и зачитывала их перед микрофоном. Она старалась писать достоверно, без хвастовства и свойственного пропаганде возвеличивания успехов и достижений, и говорила редакторам, что французы, в силу врожденной скептической наклонности, настораживаются, слыша похвальбу и славословие. Ей шли навстречу: на радио были тогда образованные люди — центробежная сила вращения смывала их с оси исторического колеса на более спокойную периферию — с тем, чтобы скинуть затем окончательно. У нее появилось время, чтобы заняться семьею: она, как Одиссей, вернулась к родному очагу после длительного путешествия. Теперь, впервые за много лет, она присмотрелась к матери: когда мы по-настоящему заняты, нам не хватает времени и для родителей. Жоржетта вела себя загадочно. Она неутомимо, как заведенная, с утра до вечера занималась домашним хозяйством, словно в нем был смысл и высшая задача ее жизни, говорила мало и почти ни о чем не спрашивала — если только не то, когда Рене придет домой и к какому часу, следовательно, готовить обед и ужин. Вид у нее был отчужденный и замкнутый, и Рене уже начала бояться, что мать недовольна тем, что ее привезли в Союз: у Рене в памяти стояли обидные

слова отчима. Она спросила об этом мать. Жоржетта сначала не поняла, о чем идет речь, потом сказала с обидой, что вовсе так не думает, и даже сильно качнула головой: видно, представила себе в эту минуту жизнь во Франции с мужем-пьяницей. Но это не меняло сути дела: с Рене у нее не было душевной близости — она как бы выветрилась за время долгой разлуки. Мать относилась к ней не как к старшей дочери, а как существу иного и высшего порядка: это началось раньше, когда Рене поступила в лицей, и утвердилось, когда занялась большой политикой и связалась с непонятными ей русскими. На нее в свое время сильно повлиял приход в дом полиции, обыскавшей дом и спрашивавшей о дочери: страх способен в одночасье изменить самые сильные наши чувства. И Рене не могла забыть, как мать, подкараулив ее на улице, с рыданиями упрашивала не идти домой, а искать спасения на стороне: отказала ей от крова в трудную для нее минуту: в ее голосе тогда было больше тревоги за себя и за семью, чем за судьбу дочери. Но Рене давно ее простила. Она не могла держать зла на самых близких: отвечала теперь за обеих, а опекуны на подопечных не обижаются. С Жанной у матери были совсем иные и обычные отношения: Жоржетта жила ее повседневными заботами и интересами — в той мере, в какой это было возможно: учитывая, что она по-прежнему не хотела учить русский и вникать в местные обычаи. То, чего она не могла выспросить у Жанны, она угадывала по выражению ее лица, с которого не спускала глаз и изучала его, как астроном — небесное светило. Разговаривала она с Жанной обычно втихомолку и в уединении, когда никого кругом не было, — делала из разговора тайну. С Яковом они составляли занятную парочку. Тот был с нею учтив и доброжелателен, хвалил ее кухню, не забывал принести «Юманите», которую она читала здесь, точно как во Франции: садилась по окончании дел к столу и прочитывала все от первого листа до последнего, возмущаясь вместе с авторами статей хищниками-капиталистами и предательством социалистов, их пособников. Яков всякий раз обращал на это внимание и говорил, что у Жоржетты развитое классовое чувство: чуть ли не укорял им Рене — или, как ее теперь все звали, Элли: он по-прежнему считал жену не вполне зрелой марксисткой, не прошедшей в свое время надлежащей закалки и выучки. Сам он уходил рано и приходил поздно — не вылезал из Управления, где готовил людей для высылки за границу, или выезжал в командировки в приграничные области: если агента перекидывали пешим ходом, — возвращался всякий раз голодным, небритым и измученным. Он сильно похудел от такой жизни и работы, но ничего о ней не рассказывал, как если

бы Рене, уйдя из Управления, начисто отсекла себя от прошлого. Это соответствовало правилам, но обижало Рене: ей казалось, что он не может простить ей отказа продолжить работу в Управлении. За столом он говорил теперь только о последних мировых новостях, по-прежнему обнимая весь глобус, как если бы это был огромной шар-театр революционных действий. Чтоб быть постоянно в курсе дела и держать руку на пульсе истории, он слушал своего классового врага, британское радио, на что имел разрешение (тогда не всем позволялось иметь радиоприемник высокого класса), и снисходительно признавал, что Би-Би-Си выгодно отличается от других источников информации краткостью и надежностью. «Они могут позволить себе это», — говорил он, давая понять, что это не меняет сути дела и империалисты остаются империалистами, какими бы ни были их радиопередачи. Всякий воскресный обед, даже с приглашением гостей, сопровождался пространной политинформацией, которую, надо сказать, гости слушали с интересом (потому что дома у них ничего подобного не было), а свои — как придется, как молитву за обедом: с той разницей, что молитву читают перед едой, а политпросвещение начиналось после первого блюда, когда докладчик, насытившись, мог поделиться с другими своими новостями. В 1940-м он ушел из Управления и вряд ли сделал это по своему почину: там все бурлило и менялось, снова пошли кадровые перемены — на этот раз, кажется, бескровные. Он стал заведующим кафедрой иностранных языков Академии бронетанковых войск, но образ жизни его не переменился: он и на новом месте пропадал с утра до вечера, читал, кроме того, лекции о международном положении, был комментатором радиовещания за рубеж, всегда что-то писал. Она принимала его таким, каким он был, и не мыслила себе другого мужа. Их связывала общая жизнь, шанхайская история, у нее никого, кроме него, не было — не в лукавом смысле этого слова, а в самом простом житейском: старых товарищей по работе не осталось, а новых не прибавилось. К ним ходили в гости старые приятели Якова — те, кого он знал с двадцатых годов, — до того, как разведка изъяла его из нормального течения жизни: с ними он шутил, веселился и, как это было и в Шанхае, становился таким, каким, по свидетельству очевидцев, был когда-то в молодости, но на следующее утро уходил в себя, сосредотачивался на делах, держался на расстоянии — не только от Рене, но и от других в доме, включая собственную дочку.

Рене подготовилась к экзаменам и в сентябре 1938-го поступила в 1-й Московский медицинский институт, с которым так многое в ее жизни было потом связано. Воодушевленная

успехом, она с душевным трепетом взялась за книги и учебники, от которых долго была отстранена судьбою, окунулась в них и поразилась и восхитилась раскрывшимися перед нею богатствами. Анатомия, физиология, химия, гистология — науки, которые другим могли показаться сухими и нудными, — представились ей неисчерпаемыми кладезями знаний: каждая из них была достойна того, чтоб уйти в нее с головою. Надо сказать, что тогда и профессора были — не в укор нынешним — иные: это были последние отблески и зарницы кратковременного советского ренессанса — они и обликом своим и умением вести занятия и лекции способны были поддержать ее святое горение. Она шутя говорила потом, что если в Россию ее завлекла улыбка Баталова, то окончательно подцепила на крючок, посадила на духовный якорь, московская профессура — последнее бескорыстное рыцарство от науки. Из тех, кто произвел на нее особое впечатление, были физиологи Разенков и Парин, биохимики Мардашев и Збарский, но особенно — гистолог Барон, бывший к тому же хорошим актером и декламатором: на его лекции сбегались отовсюду — даже те, кто ничего в них не смыслил. Элли заслушивалась им и привела с собой в аудиторию Якова: чтоб и он ознакомился с этим чудом дикции, пластики и высокой научной патетики. Яков высидел час, ничего не понял (гистология для не знающих этого — наука о клетках, из которых состоит всякий живой орган), но снисходительно признал, что Барон — несомненно выдающийся оратор.

В 39-м семья получила трехкомнатную квартиру на Плющихе: тридцать восемь квадратных метров жилья — условия по тем временам роскошные. Да и пора было расселяться. В двух комнатах на Трудениковом переулке становилось тесно. В доме жили две девушки, Жанна и Инна. Жанна кончала школу. Она вполне освоилась с московской жизнью, говорила почти без акцента и пользовалась успехом у молодых людей: была по-французски оживленна, улыбчива, насмешлива и кокетлива — сочетание, которое привлекало к себе юношей, привыкших к более сдержанным и стыдливым российским сверстницам. У нее был верный ухажер, предложивший ей руку и сердце, — двоюродный племянник Якова Женя Драбкин, учившийся на археолога, человек в высшей степени серьезный и нравственный. Он был без ума от Жанны и хотел немедленно на ней жениться, но она тянула и медлила с ответом: он был слишком для нее хорош и положителен, а в юности хочется озорства и веселости. Брат Жени Виктор (ставший позже в Израиле Давидом) тоже был вхож в дом — этот был полной противоположностью старшему. Женя его, кажется, недолюбливал, и Виктор, ему в пику,

высмеивал его ухаживания и портил ему игру, потому что Жанна в таких случаях была на стороне насмешника. Виктора Яков терпеть не мог и, не будь он родственником, ноги его не было бы в его доме, но родство, говорят, обязывает — особенно, когда родных можно пересчитать по пальцам. Особенно разозлился на него Яков после выходки за праздничным столом, за которым была почетная гостья — Ксения Иванова: Яков знал ее с двадцатых годов по партии — теперь она была директором крупного учреждения. Яков доказывал, что отечественные духи лучше французских, а Виктор в самом неподходящем месте захохотал: показал, что он думает по этому поводу. Яков от непривычки смешался и не нашел слов, чтоб одернуть нахала, — Иванова на правах гостьи вмешалась в разговор: чтоб сгладить возникшую неловкость.

— Он, наверно, имеет в виду, Яков, что французы имеют в этом деле большой опыт и их духи, пожалуй, лучшие в капиталистическом мире? — предположила она, поглядывая искоса на озорника и призывая его подтвердить ее слова и взять, так сказать, свой смех обратно. Но тот и не думал делать этого, а продолжал дерзко, хотя уже и бессловесно скалиться, да и Яков не захотел пойти на мировую:

— Ты разве не знаешь капиталистическое производство?! — с горячностью возразил он, хотя вопрос был чисто риторический: Ксения Иванова по долгу своей службы должна была знать это. — Они же на все идут, чтобы удешевить свой товар, пока от него не останется чистая вода во флаконе, слегка пахнущая остатками?! А эти! — тут последовал презрительнейший жест в сторону пятнадцатилетнего возмутителя спокойствия, — покупаются на красивую упаковку и на запах, видите ли!

— Но запах в духах — главное, Яков, — не выдержала Ксения: она хоть и была директор (и, говорят, властный и неумолимый в отношении неугодных ей подчиненных), но все-таки женщина и не могла пройти мимо такого высказывания. — Хотя, — тут же поправилась она, потому что Яков и на нее уже воззрился с недоумением, — и я считаю, что наши духи лучше. Я лично пользуюсь только «Красной Москвой».

— Ну конечно! — воскликнул Яков, который сам никакими духами не пользовался и не смог бы отличить «Шанель» (если бы она тогда была) от «Тройного одеколона». — Мы-то работаем не за страх, а за совесть, а они гоняются за капиталистической выгодой!.. Ну ладно, — как бы одумался он и поглядел на Виктора с последним неприязненным чувством. — Где Жоржетта? Она нам приготовила сегодня что-то особенное. Торт в три яруса, с тремя видами начинки!..

Рене хотела тут сказать, что французы хоть на что-то да бывают способны (она не любила, когда ругали французское), но попридержала язык: ей не хотелось дразнить Якова — можно было нарваться на идейную отповедь, которая не украсила бы застолья.

Жанна в такие диспуты не ввязывалась: знала, что это опасно, — многие родители ее одноклассниц были репрессированы, и сами они вскоре после этого ушли из школы. Ей только не нравилось, что Яков не разрешает, чтоб к ней ходили ее приятели: в доме не должно быть посторонних, передавал он через Элли и неукоснительно следил за этим. Рене попыталась заступиться за сестру, но Яков был непреклонен: такова установка Управления. Это была правда и ложь одновременно: правило действительно существовало, но никто не думал слепо ему следовать — могли не пустить в дом человека с улицы, но чтоб одноклассника дочери? Яков не хотел видеть незнакомых в доме, словно они чем-то ему угрожали. Странное дело — он находил здесь союзницу в лице Жоржетты, которая тоже не любила чужих, подозревая в них воров и грабителей — таково было, увы, ее представление о большей части русских.

Была еще Инна — постоянный немой укор жизни, обидевшей ее, и семье, ее приютившей. Рене так и не смогла ни подобрать к ней ключей, ни подольститься и скоро оставила эти затеи. Инна дружила только с Жанной, с которой ходила в одну школу. К Рене она относилась отчужденно, к Жоржетте безразлично, отца почти не видела — как и все в этом доме. Он не уделял ей большего, чем другим, внимания: выполнял роль главы семейства и старался относиться ко всем ровно и справедливо — на другое у него не хватало времени. Мать Инны работала геологом под Воркутой и жила на поселении. Однажды она пригласила к себе дочь, та прожила у нее лето, но из дома не выходила и вынуждена была осенью вернуться в те же стены, где повела прежнее безрадостное существование — самим унынием своим, казалось, стремясь досадить семье, к которой не хотела ни примкнуть, ни даже привыкнуть.

В апреле 1939-го родился автор нынешнего повествования. В последний месяц перед родами Рене читала «Войну и мир», ей захотелось назвать сына Андреем — в честь полюбившегося ей князя, но Яков, считавший себя знатоком в части всех определений и наименований, настоял на том, чтобы ребенка нарекли Самуилом: в честь его брата-коммуниста, погибшего от рук фашистов в застенках рижской полиции — так почтили память семейного героя. Странное дело: вопреки тому, что говорят о евреях, Яков был довольно безразличен к родным и

почти не вспоминал их: мать, братьев, сестер, оставшихся в Латвии, и их многочисленное потомство, которого в глаза не видел. Повидаться с ними долгое время не было возможности, но в 40-м, когда Прибалтику освободили (хотела она того или нет), он не нашел времени, чтоб навестить мать, которую не видел с 1919-го. Правда, он был тогда особенно занят, не вылезал из Управления, командировки сменялись одна другой, время было горячее, но все-таки — мог сыскать время для матери… Рене казалось иной раз, что он и к ней относится с холодком, не испытывает сыновней любви и преданности, и ей становилось не по себе: это не умещалось в ее сознании. В 1941-м в Прибалтику вошли немцы — вся семья Якова, как и другие евреи Тукумса, была уничтожена руками фашиствующих латышей-айсзаргов: немцы старались делать эту работу чужими руками. Яков так их и не увидел, но никогда, кажется, не упрекал себя за это. Теперь только старший сын напоминал ему своим именем утраченных близких — может, поэтому он и назвал его так, а не потому, что брат был героем-подпольщиком? А может быть, и имя Элли напоминало ему древнего еврейского Бога? Во всяком случае, с именами (так же, как и со временем) у него были свои, сложные отношения.

Между тем рождение ребенка, как это всегда и бывает, внесло перемены в расклад семьи — в соотношение сил, как любил говорить Яков. Теперь кроме одного деспота появился второй, крикливый и надсадистый, чьи требования надо было выполнять в первую очередь. Все повеселели — даже Инна стала подходить к колыбельке и с любопытством в нее заглядывать, а Жоржетта, та и вовсе встрепенулась, очнулась от спячки, зажила полной жизнью, засуетилась над новорожденным — нашла наконец себе применение. Что касается Рене, то она была на верху блаженства…

В 1939-м Германия напала на Францию и в считанные недели ее завоевала: французская армия не была готова к сопротивлению ни материально, ни нравственно. Жоржетта читала теперь не «Юманите», а французский листок, издаваемый Московским радио, и делала это без обычных комментариев, а лишь молча задумываясь. То, что делала до сих пор ее дочь, и то, чего она никогда не понимала, обрело вдруг насущный, тесно связанный с ее жизнью смысл: она ни за что бы не хотела оказаться сейчас под пятой Гитлера. Она и к России стала лучше относиться — не настолько, впрочем, чтобы учить русский: для этого была слишком упряма и несговорчива.

Известный договор о союзе с Гитлером привел всех в замешательство. Яков, к которому обращались за разъяснениями,

вначале отшучивался, говорил, что это вопрос высокой политики, что простым смертным в нем не разобраться, но потом, побывав на каком-то инструктаже, сказал одной Рене — перейдя для этого на немецкий, на котором они говорили, когда не хотели, чтобы их поняли другие, — что дело не так просто, что альянс может затянуться и стать надолго основой нашей политики: западные державы не хотят с нами договариваться, и нам не остается ничего другого. Была ли это деза, то есть дезинформация, введшая в заблуждение даже Якова и рассчитанная на то, что дойдет до ушей Гитлера, или Сталин и в самом деле так думал, Рене не знала, но в этот раз она не выдержала, взбрыкнула:

— Нельзя же договариваться с больным — от него можно и заразиться! — У нее фашизм по-прежнему связывался с болезнью: с красной пятнистой сыпью на рукавах и черными язвами свастик — она не зря пошла в медики.

— Ты считаешь, мы уже заразились? — закинул удочку муж, высоко подняв одну из бровей и кривя рот в неопределенной усмешке.

Она пошла на попятную, но, отступила с боем:

— Я, Яков, ничего уже не считаю. Для того чтобы что-нибудь считать, надо много знать, а я теперь не у дел — рядовая обывательница!

— Я же тебе рассказываю, — усмехнулся он, она смолчала, а он признал: — Положение в самом деле щекотливое. Нам велено о нем не распространяться…

2

В июне 1941-го началась война, многими ожидаемая, но от того не менее неожиданная; она все расставила по местам, обесценила прежние обиды и заслонила их настоящими бедствиями и трагедиями. Яков перестал говорить о мировых проблемах коммунизма — теперь на его столе лежала большая карта страны, на которой он булавками и значками обозначал и перемещал картину военных действий. Они быстро продвинулись во внутренние области страны и к октябрю приблизились к столице. Женя-археолог одним из первых записался в народное ополчение и погиб в нем. Москву начали бомбить с воздуха. В доме жили старшие офицеры Разведупра: Яков успел получить квартиру здесь незадолго до ухода из Управления — жильцы по очереди дежурили на крыше: тушить зажигательные бомбы; женщины тоже принимали в этом участие. Рене не помнила, чтоб на крышу дома упала хоть одна зажигалка, но зато познакомилась здесь ближе со своими соседями. Ей запомнились в особенности разговоры с генералом-танкистом Рыбалко, впоследствии известным маршалом. Это был обаятельный, умный, лукавый украинец — невысокого роста, приземистый, который, казалось, в самом коренастом теле своем черпал неизменное шутливое добродушие. Он рассказывал ей о встречах со Сталиным. Сталин знал его с Гражданской войны, Рыбалко был вхож к нему и пользовался его доверием. Личность вождя, окруженная общим почитанием и почти обожествляемая, привлекала тогда к себе все умы, и любые касающиеся его частности представлялись значительными, почти пророческими. Рыбалко говорил, что у Сталина есть большая черная тетрадь, в которую он вносит впечатления от людей и факты, имеющие, на его взгляд, отношение к их характеристике. В эту тетрадь попадали все, с кем он сталкивался лично, а знал он многих — к примеру, всех командиров дивизий. Проверяя свои впечатления, он спрашивал других об интересующих его людях, но соглашался, кажется, только тогда, когда подтверждалось его мнение, которого он почти никогда не менял, хотя и ошибался, как все смертные. Так он упрямо считал «пройдохой» одного честного человека (Рыбалко деликатно не говорил, кого именно) — сколько ни пытались убедить его в обратном. Веря своим «ощущениям», он сам не терпел, когда другие ссылались на впечатления: «Впечатления, товарищ Рыбалко, вещь невесомая, дайте мне факты», — но и факты, если они ему противоречили, отметал как несущественные, сердился, что ему докучают

пустяками и выдумками, высмеивал собеседника и оставался им недоволен — хорошо, если в тетради, на отведенной для того странице, не появлялось тогда многозначительной пометки вроде «легковерен, ненадежен», которая могла сыграть с ним злую шутку впоследствии. Кто знает (Рыбалко не говорил этого вслух: для этого он был слишком осторожен, но это вытекало из им сказанного), сколько людей пострадало от репутации, записанной в этом зловещем черном кондуите, — человека, привыкшего решать все вопросы мира, большие и малые, самостоятельно и в одиночку и спрашивающего чужое мнение лишь для того, чтоб подтвердить собственное, и для декорума, которым так дорожат настоящие деспоты? Сколько человек было выдрано из жизни — вместе с листками из этого блокнота?

Академия, ввиду продолжающихся бомбежек, была переведена в Ташкент. Семьи преподавателей эвакуировались отдельно от основного состава в теплушках — приспособленных для перевоза людей товарных вагонах. В пути они подверглись воздушному обстрелу — к счастью, никто не погиб, только Жоржетта натерпелась на всю жизнь страху после того, как вверенный ее попечению двухлетний Самик (так звали сына в семье) ускользнул от нее и отправился гулять по полю, среди которого остановился поезд. Дом Академии был многоэтажный, каменный, построенный незадолго до войны и не имевший себе подобных в старой части города с ее глинобитными строениями: его отобрали у местной администрации для переехавшей Академии. Он стоял на отшибе, на незастроенной части города, вокруг был дощатый забор, за ним тянулась если не пустыня, то голая пустошь, покрытая чахлой растительностью. Место было заброшенное и довольно опасное. Жоржетту укусил здесь скорпион, и она от боли кричала три дня на крик — это было в июле, а если б случилось в апреле, когда эти твари особенно ядовиты, могла б и умереть. Квартира была просторная и светлая, Яков хорошо зарабатывал, они не испытывали лишений войны, но кругом был голод: беженцы, не нашедшие жилья и работы, ночевали на вокзалах и умирали на улицах. Рене не видела прежде ничего подобного: даже в Индии, представлявшейся ей до сих пор средоточием человеческой нищеты, люди, выставляя напоказ свои рубища, на улицах от голода не умирали: у них для жизни и для смерти был свой закуток или фанерный ящик и всегда находился набожный доброхот с куском хлеба в руке — только здесь никто ни к кому на выручку не спешил: все проходили не оглядываясь. Это напомнило ей общее отношение к арестам и репрессиям, которое поразило ее в последний год работы в Управлении.

Она училась теперь в Ташкентском мединституте. Здесь тоже преподавали специалисты высокого класса. Рене запомнила в особенности хирурга Садыкова — наверно потому, что собиралась стать военным хирургом: эта профессия нравилась и подходила ей, потому что у нее была не только светлая голова, но и дельные руки, а для хирурга то и другое важно в равной степени. Они проходили учебу в городских больницах и в госпиталях, переполненных ранеными и больными. И здесь был тот же голод и нехватка лекарств, но люди, в отличие от улицы, умирали ухоженными и отправлялись на тот свет и на вскрытие обмытыми. Тут, в этой теплой части страны, было на редкость много отморожений и смертей от переохлаждения: люди были ослаблены, истощены, плохо одеты, а холод, даже небольшой, плохо переносился из-за высокой влажности воздуха. Были еще тифы: сыпной, брюшной и возвратный, глистные инвазии, болезни, похожие на тропические, с огромной печенью, которых она нигде больше не видела. К больным относились как на войне: известно, что раненых делят на три категории, — тех, кому помочь уже нельзя, тех, кому это можно сделать во вторую очередь (что означало, чаще всего, ничего не делать), и тех, кому надо было оказать содействие, — прочие выздоравливали или умирали сами. Рене спросила как-то Садыкова о гуманности и правомерности такого подхода к делу. Умный таджик с характерным одухотворенным восточным лицом и обязательными в этих краях усиками, без которых мужчины чувствуют себя раздетыми, глянул на нее искоса и проворчал — как это делают, когда собеседник ставит перед вами справедливый вопрос, которого, однако, задавать не следовало:

— А что ты хочешь? Тут и для тех, кому можно помочь, медикаментов не хватает — что их на безнадежных переводить?.. — И набросился на медсестру, подливавшую раствор в капельницу: — Ты прочла этикетку?! Мне ее показала?!

— Да что вы, Али Алиевич? Что я, первый день работаю?

— Не первый, но делать надо все, как в первый!.. — и отошел от обеих. Сестра обиделась, а Рене ей посочувствовала: одной прочли нотацию, чтоб отстала чересчур дотошная другая…

Жанна еще в Москве закончила школу, поступила в педагогический институт, продолжила учебу в Ташкенте. Здесь она познакомилась со своим будущим мужем и скоропалительно вышла замуж. Брак этот был весьма сомнительного свойства. Муж был много ее старше — почти ровесник Якова, так что сестры с девятилетней разницей в годах оказались замужем за одногодками. Но дело было не только в этом. Погоскин: такова была его фамилия — называл себя полковником, героем

Гражданской войны, но никаких доказательств этому не приводил — если не считать мундира с полковничьими погонами, старых фотографий, где были изображены никому не известные личности, которых он называл будущими комдивами, да шашки, висевшей над его кроватью. Но главное — что бы он ни делал в прошлом, в настоящем он никем не был, и Яков, оценивающий людей прежде всего по их нынешним, а не былым заслугам, первым обратил на это внимание. Это был крепко сложенный, высокого роста хохол, говоривший больше, чем слушавший (если он и слушал, то только для того, чтоб сказать затем вдвое), довольно дерзкий и развязный. С Яковом у него не сложилось ни дружбы, ни каких-либо отношений, кроме самых натянутых. Яков пригласил его к себе с необходимыми почестями и гостеприимством, но выслушав его версию Гражданской войны и последовавших за ней событий, зарекся принимать его далее. Он знал Гражданскую войну не понаслышке и решил, что перед ним в лучшем случае вольный партизан тех времен, в худшем — проходимец каких много; после этого Погоскин перестал существовать для Якова Григорьевича. Жанну он прельстил мужской самонадеянностью, которой не хватало юнцам, до того за ней ухаживавшим. Поскольку жить в Ташкенте им было негде, а Яков не оправдал возлагавшихся на него надежд, супружеская чета перебралась к мужу в Бухару, где он вскоре стал пить, а Жанна — с ним мучиться. Впоследствии она бранила Якова и винила его в своем неудачном замужестве: он не разрешал ей приводить в дом приличных кавалеров — она и выскочила за первого попавшегося, но укор этот, может быть и справедливый, сильно запоздал и, главное, не производил на Якова никакого впечатления.

Если Погоскин и вправду надеялся, что Яков поможет ему устроиться, то он сильно ошибался. Яков был не из тех, кто охотно ходатайствует за других и раздает налево и направо рекомендации и верительные грамоты, а, напротив, как мог избегал этого: его требования к человеку в быту были не ниже, чем в разведке. Жоржетта целиком разделяла его чувства в отношении второго зятя. Она была напугана им и, как говорят французы, «скандализирована». Он с самого начала отнесся к ней без уважения, говорил с ней на русском, хотя его предупредили, что она в нем ни слова не понимает: видимо, нарочно наступал на больную пятку. Жоржетта сравнивала его с другим зятем, и, конечно, не в пользу Погоскина: Яков и положение в обществе имел, и был обходителен, и старался говорить с ней на ее языке, а этот был неизвестно кто и откуда, да еще пил запоем, а она-то знала, что это такое. Так что, когда ее любимая дочь уехала в

Бухару, она, ежеминутно терзаясь неизвестностью, осталась все-таки в Ташкенте: здесь было спокойнее.

Инна кончила семь классов, и в Ташкенте отец определил ее — не куда-нибудь — на Ростсельмаш, который тоже переехал сюда: теперь здесь делали танки. Этому предшествовал семейный совет, на котором высказывались различные мнения, но, как всегда, верх взял Яков: ему принадлежало в доме последнее слово.

— Рабочий класс, — втолковывал он сидевшим вокруг него женщинам, из которых Жоржетта делала вид, что что-то понимает, а Инна, которую это больше всего касалось, по обыкновению своему, отмалчивалась, — это среда, в которой одной можно получить необходимую классовую закалку и сознательность. Все остальное в десять раз хуже и требует потом многих лет исправления. — Он не глядел при этом на Рене, но той казалось, что эти слова предназначены именно ей. Парадокс заключался в том, что сама она была из рабочей семьи, хотя никогда об этом не говорила, а он с рабочими и рядом не сидел (если только не на съездах и совещаниях), но считал, что всецело проникся их мыслью и духом, овладел ими через марксистское чутье и наитие. Она все-таки попыталась возразить ему, используя для этого его партийный лексикон (который, впрочем, был и ее тоже: она вступила в партию по институтской разнарядке):

— Путь к социализму, Яков, возможен и через труд на другом поприще. Мы с тобой тому примеры.

Она не успела раскрыть рта — он уже обозлился:

— Мы с тобой вынуждены были этим заниматься! — отрезал он, отметая дальнейшие споры. — Если б не война, я б с удовольствием пошел на какой-нибудь крупный завод, потому что это любому из нас полезно… — потом не удержался и вспылил — Ты, как всегда, не понимаешь главного, не видишь за деревьями леса! Если позволяешь себе такие высказывания… Нет, это вопрос решенный! — закончил он, утвердившись в своей правоте после жалкой попытки противодействия. — Завтра же пойдешь на завод, — сказал он дочери. — Я обо всем договорился с директором, — и добавил, чтоб его не поняли превратно: — Не о том, чтоб тебе дали какую-нибудь синекуру: он меня об этом спрашивал, а я сказал, что ни в коем случае — пусть работает как все. Только встретят пусть с рабочим гостеприимством, подведут к станку и покажут, что надо делать. — И углубился в газету, давая понять, что разговор закончен.

— Откуда ты знаешь директора? — грустно поинтересовалась Рене, переводя разговор с пропагандистской стези на более

житейскую. В конце концов, это была не ее дочь и она не имела права решающего голоса.

— Он слушал мои лекции, — неприветливо буркнул Яков, давая понять, что не намерен так скоро забыть ее оппортунистические высказывания: он и вправду считал, что она заражена духом западноевропейской социал-демократии, и никакие напоминания о Шанхае не могли поколебать в нем этой уверенности…

Инна пошла на завод. Работа здесь была тяжела и опасна и для взрослого мужчины — не то что для четырнадцатилетней девушки, предрасположенной к полноте, с нездоровыми припухшими ногами. У станка стояли по десять — двенадцать часов без перерыва, ели стоя, цеха отапливались плохо, окна зияли выбитыми стеклами, по цеху гуляли сквозняки — Инна здесь заболела и страдала с тех пор болезнью ножних вен. Якову говорили об этом, но он лишь повторял, что другим тоже плохо, что все должны быть равны, — если не перед Богом, то перед великим коммунистическим принципом.

Странно, он не применял этого принципа к себе, но зато вскорости прямо-таки пригвоздил им Рене — или, вернее сказать, Элли, потому что он ни разу в жизни не назвал жену ее собственным именем…

Рене заболела брюшным тифом. В этом она должна была винить только себя и никого больше. В один из жарких ташкентских дней, с их изнуряющим зноем и иссушающей человека жаждой, она соблазнилась на фруктовое мороженое, хотя именно о нем ее предупреждали, что его есть нельзя, потому что оно неизвестно где и кем делается, — во всяком случае без надлежащего санитарного контроля. Мороженое было безвкусное, водянистое и конечно же зараженное брюшнотифозными бациллами. Вскоре она заболела. Болезнь протекала у нее в особо тяжелой, истинно тифозной, то есть беспамятной, форме. Яков вызвал рядовых врачей. Те сказали, что нужен стационар, Яков сказал, чтоб жену везли в обычную больницу. Врач, приехавший на вызов, знал, что в доме живет высший командирский состав армии, огляделся по сторонам, увидел хорошую обстановку, усомнился:

— В обычную больницу?

— Да, — сказал Яков. — Мы не хотим отличаться от других. — Врач пожал плечами и повез Рене в больницу, подобную той, в какой она недавно практиковалась.

В ней не было лекарств — одна камфара, которую назначали всем за неимением прочего. Кругом со стонами и молча умирали люди. Ее, ввиду ее молодости, хоть положили на кровать —

другие лежали на полу, и врачи, делавшие ночной обход, перешагивали через тела и светили фонариками: живы они еще или уже отдали Богу душу. Пахло гнилью, разложением тела: в палате лежал и медленно умирал больной с гангреной легкого и, пока дышал, отравлял воздух не только палаты, но и коридора — врачи и сестры, заходя к ним, зажимали носы и спешили поскорей убраться. Рене лежала здесь в беспамятстве и в короткие промежутки просветления думала о том, что имеет право лечиться в военном госпитале — по меньшей мере как жена офицера, не вспоминая уже о ее собственных заслугах перед Отечеством. Но у нее не было ни сил, ни желания жаловаться: ей казалось, что, заикнись об этом, она расплещет последний запас сил и телесной прочности, который был нужен ей, чтоб еще раз увидеть сына: других причин жить у нее уже не было. Яков ни разу не пришел к ней: был слишком занят — так же, как в случае с собственной матерью: она и ее вспомнила и посочувствовала ей, хотя ни разу ее не видела…

Выручил ее полковник Дунаевский. Это был старый знакомый Якова, человек, известный, между прочим, тем, что его за какую-то политическую оплошность публично обругал Ленин — с тех пор эта ругань постоянно цитировалась в учебниках истории как «ответ Дунаевскому», а сам он должен был всю жизнь бить себя в грудь и каяться, потому что если его спрашивали, тот ли он Дунаевский, он не мог сказать просто: «Да, тот самый» — надо было еще раз признать свою ошибку, иначе могли подумать, что он ею хвастает. Так вот, этот самый вечный грешник и каяльщик Дунаевский зашел как-то к Якову, начал расспрашивать, как идут дела, с удивлением узнал, что Элли в больнице, — уже с большей тревогой спросил, чем она больна и где лежит, и когда Яков поневоле ответил на все эти вопросы, воззрился на него, непомерно удивился, решил, что Яков большой ребенок, не умеющий постоять за себя и за своих близких, сел за телефон, обзвонил всех кого мог и говорил при этом примерно следующее:

— Вы знаете, кто лежит в вашей больнице? Нет?! Герой испанской войны, сидевшая за одним столом с самим Франко! Человек, уничтоживший архив с опаснейшими документами в Шанхае, когда там провалилась наша резидентура!..

Напрасно Яков дергал его за рукава мундира и призывал к сдержанности: в пылу разоблачений тот выбалтывал тайны Разведупра — все напрасно: того несло как на парах, как с горы на лыжах. Десяток таких звонков — не прошло и часу, как Элли вывезли в военный госпиталь и дали ей отдельную палату: лучше бы не устроили самого Якова. Тот не выговорил и слова в благодарность и выглядел смущенным. Дунаевский и это отнес за

счет его практической беспомощности и безрукости:

— Ну Яков, ты меня удивил. Надо, конечно, быть коммунистом, но не в такой же степени!..

Тиф и в военном госпитале оставался тифом, но здесь хоть лечили. Рене в течение двух месяцев лихорадила выше тридцати девяти, но дело пошло на поправку. Яков посещал ее: его отсутствие не прошло бы здесь незамеченным — здесь царили нравы небольшого военного гарнизона, где все про всех знают, но потом перестал ходить и сюда: передачи носила теперь Жоржетта. Рене недоумевала по этому поводу, спрашивала мать, а та только отмалчивалась, будто перестала понимать и французский тоже. Многоопытная женщина-врач, лечившая ее, сказала: «Элли, тут не обошлось без женщины»; она ей не поверила. Через два месяца она вернулась домой: исхудавшая, неузнаваемая, с большими глазами на осунувшемся, провалившемся лице, с короткими, не успевшими отрасти волосами: в первой больнице всех стригли наголо, потому что иначе нельзя было справиться со вшами. Сын, увидев ее, бросился ей навстречу, вцепился детскими ручонками, закричал яростно и ликующе: — «Мама пришла! Мама!», и в ней словно что-то перевернулось: крик пронзил ее сердце радостью. Зато вечером ее ждало предсказанное ей испытание: докторша оказалась провидицей…

Яков, не откладывая дела в долгий ящик, завел разговор и сообщил ей, что у него есть женщина и что он намерен к ней уйти; он не может обманывать Рене и должен обо всем сказать честно и открыто, как подобает коммунисту. Он все решил и обдумал. Инна должна остаться в семье, потому что уже привыкла к ней и было бы жестоко вырывать ее отсюда. Из его рассуждений выходило, что он совершает едва ли не благородный поступок — во всяком случае единственно возможный в создавшейся ситуации, и конечно же никого не забыл и обо всех позаботился. Она вспомнила шанхайский «подвох», о котором почти забыла, — разные звенья в их общей жизни сложились в одну цепь, и она отныне потеряла веру в проповедуемые им принципы: они в быту сплошь и рядом оказывались дымовой завесой и ширмой для поступков совсем иного рода. Ее занимал лишь один вопрос: понимает ли он это сам или остается уверен в своей правоте и непогрешимости.

— Я теперь понимаю, почему ты спровадил меня в общую больницу, — сказала она. — Интересно: ты сделал это сознательно или у тебя это все выходит само собой? По марксистскому наитию?

Он ожесточился, нахмурился: не мог дать в обиду ни свои принципы, ни святость своего учения.

— А это здесь при чем? Это наша личная жизнь — при чем тут марксизм?

— При том, что ты сам все время путаешь одно с другим и пускаешь пыль в глаза. — Он разозлился еще больше, но объявленный им уход из дома не давал ему той свободы воли, что была у него прежде, она же неистовствовала все сильнее: — Я теперь не только это понимаю, но и то, почему вы сами себя уничтожаете! Это у вас в крови: вы не успокоитесь, пока не пережрете друг друга! — Ей и вправду показалось в эту минуту, что он с его жестокостью, странным образом сочетавшейся с личным мужеством и преданностью делу, олицетворяет свою эпоху, тоже состоящую из непонятной ей смеси ненависти и самопожертвования.

Он ничего из этого не понял.

— Кто это мы?.. И что ты говоришь вообще? Что за дикость?.. Это у тебя после тифа — тебе еще лечиться от него и лечиться… Но это ничего не меняет. Я ухожу к другой — это дело решенное…

Началась тяжелая полоса в ее жизни. Женщина, о которой он говорил, была преподавательницей на его кафедре. О случившемся быстро узнали в Академии. Народ там, как и везде в те годы, был в общем славный: отношение к ним у всех было одинаковое — Якова осуждали, а Элли жалели: все знали ее прошлое, высоко ценили и уважали, но помочь не могли: да и как поможешь в таком деле?

Яков окончательно не уходил, но то и дело не ночевал дома и повторял, как заклинание, что его уход — дело решенное. Она сама бы от него ушла, но ей казалось, что это у него случайное, временное, что он сам не знает, чего хочет, и вправду похож на большого и испорченного ребенка. «Ему нужна женщина-нянька, — думала она, — а я сама от него завишу, повисла на нем тяжким грузом и не могу оторваться, потому что он для меня словно мост из моей прежней жизни» (мужчины все представлялись ей мостами из одной жизни в другую). «Или же ему нужна большая, крупная и красивая женщина, которая бы не вмешивалась в его работу, а жила бы сама по себе, а я с самого начала в нее влезла.» Так она думала или нет, но со своей стороны ничего не предпринимала, крепилась, поправлялась после болезни, ни к кому не обращалась за помощью, повторяла судьбу своей матери и ждала, что будет дальше, но знала уже, что стена, на которую она рассчитывала, когда выходила за него замуж, обернулась к ней противоположной стороною: она снова оказалась взаперти на собственной улице.

История разрешилась с помощью начальника Академии. Ему

она действовала на нервы: во-первых, не украшала стен его учреждения, во-вторых, он хорошо знал обоих. При первой же возможности он отправил соперницу Рене в Москву: с отъезжающим туда факультетом. Яков, сколько ни грозился, так и не смог сойтись с ней окончательно, а, может, медлила она, потому что не каждая хочет иметь у себя дома постоянного лектора и проповедника. Возникшее препятствие оказалось для обоих неодолимым. Яков походил некоторое время надутый, мрачный — затем стих, унялся, вернулся в семью, если не душой, то телом. Они стали жить как прежде — в той мере, в какой это было вообще теперь возможно. Прощения он на этот раз не просил и просто не вспоминал случившегося, а она следовала его примеру и помнила русскую пословицу о том, что худой мир лучше доброй ссоры: у нее был теперь большой, двуязычный, выбор мудрости.

Она вернулась в институт, наверстала упущенное и в 1943 году получила диплом врача. Она просилась на фронт, ей отказали: у нее был маленький ребенок. Вместе с Академией семья вернулась в Москву. Возвращение не было гладким: пока они отсутствовали, в квартиру въехал генерал, который не думал уступать занятой им жилплощади. Положение усугублялось тем, что генерал служил в Управлении, а Якова уже там не было — хоть он и поддерживал с ним связь, направляя к ним лингвистически одаренных курсантов-танкистов и сопровождая, по старой памяти, эти направления краткими, но исчерпывающими характеристиками. В любом случае полковник должен был тягаться с генералом, что непросто, но Яков, вопреки тому, что о нем думал Дунаевский, в нужную минуту умел напрячься и постоять за себя: он отдал приказ о штурме занятой врагом территории. Произошла комическая сцена, во время которой главным объектом защиты и нападения стал сундук, привезенный Жоржеттой из Франции: одни пытались продвинуть его тараном в дверь, другие не впускали; особенно старалась жена генерала, но и тот исподтишка подставлял ногу в тапочке. Вернувшиеся победили — сильные числом и сознанием правоты своего дела. Они въехали в одну из комнат, в двух других безвылазно отсиживались генерал с женою — пока им не дали отдельное жилье в том же доме: переоборудовали для этого служебное помещение. Дом долго не отапливался, стояла печь-железка, длинная коленчатая труба от которой тянулась зигзагами через всю комнату к окну; топили ее реже дровами, чаще — газетной бумагой, которой в доме всегда было много: ее смачивали, лепили из нее шарики наподобие снежков, и они, когда высыхали, горели долго и ярко — как древесина, их

исходное состояние…

Рене поступила в клинику пропедевтики (то есть симптомов) внутренних болезней. Она мечтала попасть в эту клинику, потому что ее возглавлял сам Ланг. В октябре того же года она была направлена туда клиническим ординатором. Это была начальная должность, выше которой ей так и не суждено было подняться.

3

Георгий Федорович Ланг был, по ее мнению, гением медицины, ее богом и верным служителем. Это был худощавый высокий сдержанный человек из давно обрусевших немцев, сохранивших здоровую душу этой нации, состоящую в неистощимой доброте и бесконечной требовательности к себе и к людям. Он был всегда чуть отрешен и сосредоточен на своих думах — как все, чья мысль неотступно следует за предметом страсти. Это не мешало, а, напротив, помогало ему быть очень наблюдательным человеком и доктором: он следил за всеми боковым полем зрения, которое бывает зорче центрального. Душевной чистоты он был, что называется, кристальной и пользовался непререкаемым нравственным авторитетом. Он только что приехал из Ленинграда, где пережил блокаду и жил как все на карточки. Оба с женой (она тоже была врачом) отдавали большую часть пайка дочери, сами же молча боролись с голодом. Главное тут, делился опытом он, не говорить о еде: она тогда сама собой забывается — подкормиться же в клинике, урвать еду у больных, тем более — взять что-либо домой ему представлялось немыслимым и кощунственным. Клиницист он был, по свидетельству матери, удивительный, она больше таких не встречала, хотя знала многих хороших врачей-диагностов. Обходы его проходили так. Брались обычно две-три палаты (около сорока больных) — ординаторы по очереди докладывали пациентов, потом каждого опрашивал и обследовал профессор, переходя от одного к другому и ни при ком не обсуждая его состояния. Это был закон старых медиков, отдалявший больных, с их неизбежной мнительностью, от врачебных поисков и сомнений и еще — от разного рода оттенков в отношениях между младшими и старшими врачами, чем больные интересуются больше, чем им следует. После двух-трех часов работы назначался небольшой перерыв — после него повторный, уже сидячий, в кабинете профессора, обход и обзор пройденных палат, где всякий раз оказывалось, что профессор знает больных лучше, чем его подчиненные. Отношение Ланга к сотрудникам было таким, каким оно должно быть в клинике и каким редко бывает в жизни: ровным, деловым и в лучшем смысле слова служебным, но за этой ровностью и постоянством крылось столь же непрерывное, ни на минуту не прекращающееся горение, от которого шли свет и тепло: как от солнца, которое тоже не знает усталости и перерывов в работе. Он был деликатен, не вмешивался в то, что не подлежало его суду, но во всем, что

касалось дела, был заботлив, участлив и не по-здешнему строг: не давал никому поблажки и времени прохлаждаться. Это был рыцарь медицины, требовавший от других такого же служения обожаемому им предмету, — из тех профессоров, что не только ходили в клинику, но и жили при ней, потому что, по их словам, самое интересное здесь происходит вечером и ночью, когда врачи спят или пьют чай дома. Работа ординаторов заканчивалась по расписанию в четыре, и он всякий раз удивлялся тому, как быстро они с ней справляются. Однажды под Новый, 1945-й, год, врачи набрались дерзости и попросили отпустить их пораньше. Ланг возмутился, устроил вместо этого внеплановый обход, тянул до семи вечера и, прощаясь с докторами, вместо поздравлений сухо спросил их, действительно ли они думают, что Новый год — достаточный повод для того, чтобы уйти раньше из клиники. К научной работе подчиненного он относился как к своей собственной и, не лишая его самостоятельности, помогал советом и участием — и ему и в голову не приходило приписать свою фамилию к авторской к статье, которая действительно была наполовину им написана. Он надоумил Рене заняться электрокардиографией, которая тогда только внедрялась в отечественную медицину, и поручил ей тему, связанную с нагрузочным выявлением ранних форм стенокардии — тему, до сих пор не лишенную интереса. У нее был иностранный аппарат и английские учебники, остальное она собирала по частям: как некогда рацию — сама сушила, проявляла и расшифровывала пленки — тоже как когда-то в Шанхае, когда у нее не было помощников, кроме Якова, который годился разве на то, чтоб развешивать на нем, как на ветках дерева, сохнущую фотопленку. Очень скоро, будучи ординатором, то есть оставаясь на низшей ступеньке клинической лестницы, она стала вести занятия со студентами и даже читала лекции по электрокардиографии, потому что других специалистов по ее предмету не было. Ей за это не платили, но она об этом не думала: была на подъеме, гордилась тем, что работает с Лангом, — была, короче говоря, счастлива.

В семье между тем произошли естественные изменения, связанные с ее увеличением и делением. Жанна тоже вернулась в Москву и жила с мужем, имевшим здесь крохотную комнатку в перенаселенной коммунальной квартире. У обеих сестер с трехмесячным промежутком родилось по сыну. Своего брата Самик (ему после первой и не вполне удачной попытки Якова доверили судьбу младшего) назвал русским именем Сергей, его двоюродному брату дали французское имя Жоржик. Жанна устроилась к этому времени секретарем в египетском посольстве:

египтянам нравилось, что на них работает француженка, хотя она ни в чем не отличалась от прочих служащих Бюробина (Бюро обслуживания иностранцев). Бюро опекалось НКВД, и сотрудники его обязаны были раз в две недели приходить на явочные квартиры и сообщать там курирующим их офицерам все достойное внимания, так что Жанна не избежала в какой-то мере участи своей сестрицы. Как водится ничего нельзя было писать, все — на память, чекисты были требовательны, грубы и жестокосердны, и обо всем этом конечно же никому нельзя было рассказывать: на этот счет существовали расписки, не имевшие юридической силы, но грозившие нарушителям самыми реальными и тяжкими карами. Она ушла от мужа, потому что терпеть его пьянство при ребенке (которым он вовсе не занимался) не было никакой мочи, и осталась с ребенком без крыши над головою. Яков отказался их принять, хотя две генеральские комнаты к этому времени освободились, — Жанну, слава богу, приютили египтяне, на которых она раз в две недели подавала сведения. Она поселилась в особняке возле Арбатской площади, где ее еще и подкармливали с регулярных дипломатических приемов, совершающихся если не с фараонской, то с фарукской роскошью (Фарук — тогдашний и последний из королей Египта. — Примеч. авт.). Жоржетта оказалась между двух огней — в том смысле, что обе дочери тянули ее в свою сторону, — но выбрала на сей раз Жанну, которая была ближе ей по духу и больше в ней нуждалась. Немалую роль в принятии этого решения сыграла и Дуся, Евдокия Павловна Зайцева, поселившаяся к тому времени в семье Брониных.

Работать и сидеть с двумя детьми было невозможно, Яков и Элли пригласили в семью домработницу. Тогда это было принято в обеспеченных кругах: в Москве было много понаехавших из деревень девушек, которые из-за недостатка общежитий не могли устроиться иначе; они рассматривали такие места как временные перед окончательным устройством или замужеством и обычно подолгу у нанимателей не задерживались. С Дусей все оказалось иначе.

Она была из Ульяновской области, с Поволжья, скуластая, с широким приплюснутым носом, похожая на башкирку, но с вполне русской чистой и богатой речью, изобилующей житейскими подробностями и воспоминаниями тридцатилетней давности. В сугубо интеллигентском доме, с его отвлеченными и подчас выспренними разговорами, ведшимися к тому же на разных языках, забил родник, а то и фонтан живого русского наречия, не имевший ни конца ни начала, а лишь общую назидательную направленность — мораль, наказывающую

гордецов, обманщиков и стяжателей. Ее рассказы о родном Салавате и Мелекессе были неисчерпаемы и непоследовательны, как сама жизнь: что там Швейк с его анекдотами?

— Как сейчас помню: это в двадцать пятом году было — приходит к нам председатель правления и сразу — швырк к погребу, открывай: там у тебя зерно спрятано. Отец ему: у меня зерна с весны нет, а он — посмотрим. Что ж? Спустились в погреб, а там одна кадка с квашеной капустой. Ну и что? А вот надо было не туда ему идти, а к своему шурину. У него двадцать мешков было спрятано, да когда пришли, ничего нет — свезли с председателем вместе! Такой председатель был. А в другом месте: у соседа, который напротив жил, ногу себе сломал. Угу! На чердак к нему полез: искал что-то — лестница трухлявая была, обломилась, он себе лодыжку повредил, два месяца ходил, как подкованный. Это еще ничего, а вот как дочь его на свадьбе своей курицу варила, так это вся деревня потом смеялась. Забыла выпотрошить. Так и подала не чистимши. С кишками вместе. Ей-богу! Это в двадцать четвертом было, под Троицу. Ее потом все дразнили: когда курицу варить будешь, а то я что-то проголодался! Ага! Что отец, что дочка. А еще сын был. Когда в двадцать шестом году парней в солдаты брали, его из капусты за уши вытаскивали: не хотел служить, и все тут. А ему: послужишь, Николай, послужишь! Все хотели у других взять, а самим не дать ничего. Не вышло! Лакеи в двадцатом году отошли!.. — и так далее, хоть два часа без передышки.

Про лакеев это была любимая ее присказка. Когда ее спрашивали, почему именно в двадцатом, она говорила нечто уклончивое, умолкала или распространялась вбок далее. Она вообще не любила отвечать на вопросы: ее разветвленная, свободно текущая речь не терпела насилия над собою. Спросили бы вы ее, как она сама относится к только что описанному ею раскулачиванию и конфискациям имущества, она ни за что бы не ответила, а рассказала бы что-нибудь про милиционеров: как они отправились однажды на подобное дело, как один, пьяный, свалился с телеги и как едущая обратно, уже груженная повозка непременно бы его переехала и раздавила, если б лошадь не остановилась и не привлекла ржанием общее внимание: лошадь была с малых лет ее любимым животным. От нее не могли добиться и простого ответа о том, сколько ей лет и какого она года (ей было лет тридцать) — вместо этого она плела что-то про сельского писаря, который был вечно пьян, путал цифры и полдеревни оставил без имен, фамилий и дат рождения. Недалекие люди над ней смеялись, более умные, если было время, слушали, филологи жалели, что с ними нет магнитофона

(это было позже, когда они появились, но Дуся за это время нисколько не переменилась). Ее память на мелочи была невероятна и внушала сомнения: не выдумывает ли для большей убедительности, но она слишком часто оказывалась права: она одна знала, что где лежит и в каком году и месяце, в какой день и час совершилось то или иное событие, — она была семейным летописцем и архивариусом. Она была верующей, ходила украдкой в церковь, прятала под матрасом в темной комнатке-кладовке, где стояла ее кровать, дешевые иконки и листки с молитвами — засаленные, переписанные от руки или отпечатанные на неисправной машинке. Она была предана семье и в особенности младшему Сергею, вместе с которым вошла в дом, относилась к нему как к своему ребенку — только что не кормила грудью, неохотно уступала его для этого Элли — остальное же все делала сама и не вполне доверяла самой матери. Она была неугомонна и не знала усталости: каждый день вставала раньше других и каждое воскресенье замешивала с утра тесто — месила его три часа вручную — затем пекла деревенские пироги с капустой, маком, луком и яйцами, другой начинкой или просто пустые лепешки и сладкие шанежки, которые были всего вкуснее, так что по воскресеньям вся семья только о пирогах и думала: с чем они сегодня будут — и каждый просыпался с дивным духом поднявшегося пирога, идущим из кухни, где она была полной хозяйкой. С ее появлением семейство, начавшее хромать на обе ноги после ухода Жоржетты, вновь ожило и обрело устойчивость — повторялась старая сказка о мужике, прокормившем двух генералов.

Жоржетта и ушла отчасти потому, что пришла Дуся. В одном доме не может быть двух и более хозяек, а она отнеслась к вторжению незнакомки со свойственной ей настороженностью и подозрительностью. Самик был на ее попечении и, стало быть, на ее стороне — он объединился с ней в борьбе против незваной гостьи. Они стали изводить ее тем, что в ее присутствии говорили только на французском и так, что и глухому было ясно, как они иронизируют. (Старший сын благодаря Жоржетте до пяти лет говорил чаще по-французски, чем по-русски, так что ему ничего не стоили такие розыгрыши.) Но когда Дуся после очередного языкового конфликта беспомощно расплакалась, старший, отличавшийся иной раз чувствительностью, зарекся изводить ее дальше и оставил Жоржетту без союзника. Вскоре после этого она и уехала.

Что касается Якова, то его настроение с приходом Дуси заметно улучшилось: жили они душа в душу, она называла его «хозяином». Он, правда, позволял себе иной раз шутить

относительно ее веры и укорял христиан, и с ними заодно и ее, что они не могли выдумать собственного бога: заимствовали его у евреев, но Дуся, надо отдать ей должное, до таких диспутов не опускалась и спокойно выдерживала его подначки. Равновесие в душе Якова восстановилось потому, что теперь в его доме было если не две жены, то две женщины: высокообразованная для общества, для гостей и, за неимением лучшего, для постели и вторая — для всего прочего, ведавшая домашним хозяйством: две любви, земная и небесная. То же было, наверно, и в доме его родителей, где мать писала романы, а всем остальным занимались бонны и гувернантки: известно, что возвращение в прошлое успокаивает нас и благотворно влияет на нашу психику. Дуся вносила в семью умиротворение еще и своим неистощимым добродушием и спокойствием, будто пришла уже к тому к пределу, когда для себя ничего не нужно (хотя своего у нее ничего не было), а Рене была, так сказать, в постоянном поиске, что не всегда приятно супругу, давно нашедшему себя в жизни и ждущему после работы отдохновения. Конечно, подобное разделение обязанностей и опасно: требования с годами меняются, материальная сторона может возобладать над духовной и иногда лучше скакать на одной ноге, чем ходить на обеих, — но пока что все были довольны.

Кончилась война, наступил мир, внеся успокоение в умы и дав стране гордость за победу в опасной схватке. Пошла нормальная жизнь. Рабочие будни, когда и Яков и Элли были заняты с утра до вечера — каждый своим делом, перемежались нечастыми праздничными приемами гостей: Яков тогда оживлялся и делался, по обыкновению своему, весел и обаятелен. Приходили одни и те же люди: Иванова с детьми, Вадимом и Ириной; Вадим был военным моряком и обожал обоих Брониных за их героическое прошлое, а Яков был для него, в отсутствие отца, образцом для подражания. Был некто Партигул, занимавший высокий пост в Центральном статистическом управлении, — еврей с таким сложным именем и отчеством, что сама супруга звала его по фамилии; с ним Яков обменивался новостями: излагал ему внешнеполитическую обстановку, а Партигул ему в ответ — внутреннюю экономическую. Яков был настроен всегда оптимистически, а тот на все смотрел с известной долей пессимизма, но оба были конечно же настоящими большевиками. Был наконец брат Якова Лазарь, банковский деятель, переехавший в Москву из Харькова: большой специалист своего дела, а в быту шутник, не говоривший за столом о делах, а любивший рассказывать анекдоты. Хоть он и занимал крупный пост в одном из головных банков, но дома им

управляла его жена Ольга Ефремовна, которой он всецело подчинялся; у той была дочь Мила с приятным во всех отношениях мужем Володей: оба прошли фронт, но сохранили природное жизнелюбие и веселость.

Были, словом, материальное благополучие, свой круг знакомств и даже видимость светской жизни — все шло как по маслу. Но для Рене любое благополучие всегда было ненадежно и даже сомнительно.

4

Ее счастье имело свойство быть непродолжительным. В 1945-м году Ланг вернулся в свой Ленинград, и в клинике все быстро переменилось. Ланг неспроста уехал к себе: несмотря на авторитет и высокое положение (он лечил членов правительства), в институте он наталкивался на глухое неприятие и не сжился с профессорским составом, где тон задавали далеко не лучшие. На его место пришел Смотров, приведший с собой ближайших сотрудников. Клиника сразу оценила разницу между врачом-ученым и чиновником от медицины. Главная забота нового главы клиники состояла в том, чтобы не попасть в трудное положение и избежать ответственности: будто его однажды так напугали, что он до сих пор боялся собственной тени. Вместо ярких, поучительных обходов пошли серые бесцветные, на уровне среднего врача, обсуждения больных в их присутствии: что сделано и что еще можно и нужно сделать, чтобы застраховаться от неприятностей. Это наводило тоску и на больных, и (на первых порах) на докторов, привыкших к разборам Ланга. Не зная, что у больного, Смотров открыто в этом признавался и не находил ничего лучшего, как собрать консилиум с привлечением других клиник: «Чтобы разделить ответственность», — говорил он, и это стало лозунгом нового правления. Люди чувствовали перемены и на глазах Рене тоже менялись, чтоб поспеть за новым руководителем: наша способность к перелицовкам бывает удивительна в таких случаях. Вскоре мало кто уже тосковал по прежнему профессору, но зато появилась невозможная при Ланге житейская непорядочность, опасная в любом деле, а в медицине в особенности.

Все это она сразу увидела и отметила про себя, но испытала в полной мере лишь тогда, когда дело коснулось ее лично. Прозрение ее наступало все-таки не сразу, а ступеньками — она была доверчива и не знала меры человеческому коварству: покойный Урицкий не зря выговаривал ей за это. Однажды в ее палату поступила старая женщина, мать сотрудницы института, «из своих»: доверие в таких случаях и почетно, и обременительно, но она от таких больных никогда не отказывалась. Она посмотрела больную, нашла у нее выпотной плеврит, произвела пункцию, написала историю болезни, сделала назначения. Ассистент клиники, которой она по субординации подчинялась, посмотрела больную и ее записи, согласилась с ними и сказала, чтоб она направила ее после пункции на обычное в таких случаях рентгеновское обследование. Больная вернулась с рентгена, легла

и ночью неожиданно скончалась. На следующий день ассистент обвинила Рене в том, что та послала ее на рентген, хотя ее нельзя было трогать. Рене так и подпрыгнула: «Но вы сами мне это сказали?!» «Я вам ничего не говорила!»— был жесткий ответ ассистента. Это «я вам ничего не говорила» поразило Рене в самое сердце, но и научило уму-разуму: отныне она требовала от старших товарищей, чтобы они делали письменные распоряжения в истории болезни, а без этого она будет вести больных так, как считает нужным, и будет отвечать за свои поступки, что, конечно, не прибавило ей любви руководителей. Служебного разбора и неприятностей в этот раз не было, но дочь больной, встречаясь с Рене на лестницах в институте, смотрела на нее как на виновницу смерти матери: ассистент успела рассказать ей про рентген и представить его причиной смерти.

Особенно противно было то, что больная умерла конечно же не из-за похода в рентгеновский кабинет: смерть слишком важная персона, чтобы являться к нам по таким незначительным причинам, — просто ассистенту было выгодно представить дело таким образом, или же она испугалась, что кто-то другой обвинит ее в ненужном обследовании, и она решила опередить события. Все дело было в том, что умерла родственница сотрудницы, а репутация в таких случаях страдает в особенности, потому что новость и ее верное или неверное истолкование быстро распространяются по институту: все, словом, было за то, чтобы она так сделала, — все кроме обычной порядочности, о которой предстояло забыть, потому что она была теперь не при дворе и не в моде.

Люди, которых Смотров привел с собой, были карьеристами и, как это всегда бывает, никчемными специалистами: нельзя служить Богу и мамоне одновременно. Один из них, Карапетян, был «заместителем профессора по хозяйственной части» — должность, о которой при Ланге не слыхивали. Это был невысокого роста, внешне скрытный, замкнутый человек, застегнутый на все пуговицы, который сразу напомнил ей другого некогда виденного ею персонажа — Франко: тот тоже был низкорослый, необщительный и с головы до ног зашнурованный. За этим ничем не примечательным фасадом скрывалось неуемное и неумное тщеславие — как всегда в таких случаях ни на чем не основанное. Он сам это сознавал и потому был особенно злопамятен и помнил все случаи «неуважения», а утаенного, насмешливого — в особенности. Чтобы читать лекции, надо быть широко образованным человеком, а не просто грамотным узким специалистом (а он и им не был): выступая, он путался, перевирал анатомию, тревожно следил за молодыми врачами, чье

присутствие на лекциях было обязательно, отмечал всякое переглядывание и перемигивание на свой счет и никогда не прощал его впоследствии. Люди такого толка могут простить и насмешку в свой адрес — если вы будете вдвоем с ним или в нерабочей обстановке: например за дружеской попойкой — то, чего они требуют, это соблюдение декорума на публике — в противном случае они рассматривают ваше поведение (и не без оснований) как посягательство на их и без того шаткое положение. Впрочем, чаще они сами начинают верить в свои незаурядные деловые качества. Став еще и членом институтского парткома, Карапетян вырос в собственных глазах и требовал теперь уважения к себе и наедине и на людях. Это напомнило Рене другую историю из ее богатых на встречи странствий — лавочников на пароходе, которые, разбогатев, начинали добиваться для себя еще и высокого происхождения, в которое верили первыми. Люди — к такому неутешительному для себя выводу приходила она — всюду одинаковы и все и везде начинают сызнова…

Другим важным лицом в клинике была Широкова — вначале доцент, потом профессор. Ее муж был начальник большого цековского санатория — положение ее считалось незыблемым и она вела себя соответственным образом: будто ее работа в клинике была чем-то второстепенным по отношению к этому второму, истинному ее величию. Она не стеснялась своего незнания и невежества, спрашивала у врачей мнение о больном, присваивала его — но это не мешало ей в следующую минуту обращаться со своими советчиками как с людьми низшего сорта. В то еще для многих полуголодное время, когда к чаю приносили хлеб и ничего больше, ей ничего не стоило развернуть накрахмаленную салфетку, извлечь из нее на всеобщее обозрение салат оливье, холодную курицу и прочие деликатесы: из того же неиссякаемого цековского источника — и есть все это одной, стесняясь присутствием коллег не больше, чем тяготился прислугой дореволюционный барин. Не надо было ехать за тысячу верст, чтоб приехать к этому. Да во Франции этого и не могло быть: ели, во всяком случае, порознь…

Новая команда, впрочем, тоже была разной, в ней были и способные, даже одаренные люди, но слишком уж одолеваемые манией стяжания, чего не бывает с людьми истинно талантливыми. Профессор Дамир закончил два института: медицинский и инженерный, это позволяло ему браться за недоступные другим задачи. Докторская диссертация его была посвящена костюму летчиков: это был прообраз работ по космической медицине. И диагност и врач он был превосходный.

Его слабость состояла в чрезмерной любви к деньгам и в столь же безудержной вражде ко всему, что этой страсти противостояло. Он ни в чем не знал меры и не останавливался перед прямым подлогом и фальсификацией. Воспитанная в преклонении перед законом, Рене всякий раз удивлялась тому, с какой легкостью идут в России на его нарушения, и всячески избегала Дамира, потому что он, как и его шеф, тоже страховался, только на свой лад: заручался второй подписью под лживыми заключениями. Однажды он все же застал ее врасплох. Она сидела в ЭКГ-кабинете, которым, оставаясь ординатором, заведовала, — вошел Дамир и в своей обычной, не терпящей прекословий манере потребовал, чтобы она пошла с ним в рентгеновский кабинет и посмотрела больного. Один, без рентгенолога: он и вправду умел это — он взглянул на экран, не дал ей даже посмотреть поверх его плеча и объявил, что у пациента перелом ключицы после того, как на него сверху упала балка, — и предложил подписать вместе с ним соответствующее заключение. Она сделала это, поскольку не могла спорить с суждением профессора, но сказала, что делает это в последний раз; он принял это к сведению, повторять ему было не нужно — но посмотрел на нее с явной неприязнью. Больной оказался снабженцем, освободившимся таким образом от воинской повинности и оставшийся в Москве — ублажать нечистоплотного профессора и е военкоматовских служащих, направивших его не в армейский госпиталь, как следовало, а по проторенной тропе в известную им клинику. Дамир был памятлив и на подобные консилиумы ее больше не звал, но это не значило, что он оставил ее в покое: он был из тех, что ни одну овцу не оставит нестриженой.

Не одно, так другое. Он как-то вызвал ее и тем же настоятельным жестким тоном потребовал, чтоб она помогла восходящей звезде института хирургу Кованову в написании докторской диссертации: в нашей стране в помощи нуждаются больше всего почему-то самые влиятельные и всесильные люди. Секрет успеха этого человека был тоже в его семейных связях: его брат и ряд других родственников занимали ключевые посты в ответственном учреждении: говоря попросту — в ЦК партии; он сам и его соратники по институту торопились с его продвижением по службе, которое всем было выгодно. Диссертация была подготовлена скоростными методами, делали ее, по ее скромным подсчетам, десять человек из разных кафедр и клиник. Сам он только вводил в сердца собак фармакологические препараты — другой наблюдал за реакциями животных, третий определял содержание лекарств в органах животных после их забоя, четвертая, то есть Рене, снимала ЭКГ и читала ее, пятый —

вернее, пятая, потому что это были все женщины: с ними легче сговориться и они меньше болтают, вопреки расхожему мнению, — обрабатывали результаты экспериментов, шестая собирала литературу и т. д… Когда он принес Рене папку с результатами коллективной деятельности, небрежно швырнул ее на стол и предложил ознакомиться с данными и свести их воедино, она, изумленная, нашла в ней листки, исписанные самыми разными почерками: в ней ведь все еще сидел разведчик, изучающий степень достоверности источника. Диссертация была с блеском защищена, автор, пускаясь в дальнее плавание, забыл поблагодарить за участие в ней своих безымянных сотрудниц — лишь позвал их на банкет, считая, в простоте душевной, что сидеть за столом с членами его фамилии — вознаграждение само по себе более чем достаточное. Рене не пошла, и правильно сделала, потому что на банкете царило специфическое российское веселье: «пили по-черному», как сказала знакомая лаборантка, там побывавшая. Кованов тут же стал доцентом, чуть позже — профессором, затем ректором института, вице-президентом Академии медицинских наук — жизнь удалась, говорят в таких случаях…

Рене конечно же всем этим возмущалась, только об этом дома и говорила, да и в клинике так или иначе обнаруживала свое отношение к новой дирекции и введенным ею порядкам: насмешничала, позволяла себе «выскакивать» вперед вышестоящих — не для того, чтоб выставить напоказ свои знания, как думали они, а хуже — чтоб уличить их в невежестве (чего они и предположить не могли), продолжала вести себя как при прежней администрации, но все это были лишь булавочные уколы, злившие ее врагов, но не причинявшие им вреда, а ей доставлявшие массу неприятностей. Воевать в открытую с ними она не могла: не было ни сил, ни сторонней руки, ни союзников. И так уже эти люди, чьей добровольной противницей она стала: ее ведь никто не тянул за язык и никто не выживал ее с ее незавидного и хлопотного места — решили, что она неспроста так себя ведет, что у нее, учитывая ее не совсем обычное прошлое, есть покровители, благодаря поддержке которых она и ведет себя столь свободно и, на их взгляд, вызывающе. Но у Рене никого за спиной не было. Яков как заведующий кафедрой Академии ничего не мог сделать; если бы он привлек к этому других своих старых знакомых (она подозревала его в связях с чекистами, которых они называли на своем жаргоне «соседями», — еще с той поры, когда узнала, что он имеет свободный доступ к секретному отделу Управления), то они, пожалуй, могли бы помочь ей и обезопасить от нападок, но взамен попросили бы что-нибудь

другое, чего она вовсе не хотела. Да Яков и не стал бы хлопотать за нее, потому что не мог всецело на нее положиться. Он по-прежнему, и не без оснований, считал ее идейно не вполне зрелой и подозревал, что она отчасти сама виновата в своих злоключениях. По его мнению, она слишком много говорила.

— Не может быть, чтоб все были такими, — говорил он, успокаивая ее и одновременно высмеивая; в разговоре с ней он сохранял покровительственный и чуть снисходительный тон, в котором теперь, после прихода Дуси с ее пирогами, хоть не было прежнего озлобления.

— Конечно не все, — легко соглашалась она, потому что сама это знала. — Есть и прекрасные люди. Хирурги, например: они прошли войну и смотрят на все, наученные ее опытом. Профессора на теоретических кафедрах — тот же Барон. Но тон задают не они. Здесь деньги, Яков, и влияние — а на них слетается все дурное и порочное. Да против соблазнов и хирурги не застрахованы. Кованов вон тоже хирург и прошел войну, а что толку? Только пить там научился…

Он выслушивал ее и отмалчивался: верил и не верил одновременно…

Дело было не в личностях — она не могла сказать ему этого: он бы сразу поднял спор на недосягаемые идейные высоты — а в перемене общего климата. В клинике, да и не в ней одной, внедрялся дух попустительства, терпимости и потакания хамству и стяжательству — и, напротив, все попытки воспрепятствовать этому встречались в штыки: правдолюбы изгонялись один за другим, для этого находили десятки причин, выглядевших вполне законно и обоснованно. Это была медицинская мафия, опасная тем, что была вхожа к сильным мира сего, к членам правительства, а те сами, может быть, были уже такими. Зверь, из-за которого она ушла из Управления, настиг ее и здесь: он ревел и неистовствовал, требуя наживы и расправы с неугодными. Скрыться от него можно было только на самом дне жизни, но она не была еще готова к такому самоуничтожению…

В клинике были люди если не рассуждающие, как она, то в приватных беседах с ней соглашающиеся, — это не мешало им в иных обстоятельствах вести себя самым подневольным и подобострастным образом. Она всякий раз расстраивалась из-за таких перевоплощений и чувствовала, как в ней словно что-то переворачивается: сама она не восставала в открытую, но хоть не гнула спину, не раболепствовала и не понимала, почему это делают другие. Ближе всех ей была красавица Сусанна, на которую все оборачивались — включая ее собственного Якова. Они ходили друг к другу в гости, у обеих мужья были военными,

которые, впрочем, не выражали желания познакомиться семьями, — дела жен не представляли для них большого интереса. Рене и не настаивала на дружбе домами: Сусанна была нужна ей не для того — она была умна и, в отличие от многих других, умела широко смотреть на вещи.

— Я, Сусанна, все-таки не могу понять одного, — говорила она подруге, которая неохотно шла на такие разговоры и предпочитала им легкую болтовню, но если Рене запирала ее в угол, вынуждена была отвечать — не столько за себя, сколько за прочих.

— Чего ты не можешь понять? — неодобрительно спрашивала она, зная наперед, о чем пойдет речь, потому что Рене повторялась и не в первый раз об этом говорила. Уже этим она давала понять, что разговор ей неприятен, но Рене настаивала, ей нужно было поставить точки над «I», как говорят французы.

— В клинике много порядочных людей, а вся эта камарилья держится только на том, что никто не оказывает ей сопротивления, — почему? Если бы завтра все выступили против них одним фронтом, ничего ведь страшного бы не произошло — только они бы если не образумились, то по меньшей мере поутихли, повели бы себя иначе!

— Ты считаешь так на основе французского опыта?

— Конечно! И везде так. Все сильные мира сего нахальны, и единственный способ урезонить их — это оказать им общее сопротивление.

Сусанна выслушивала ее, медлила и произносила приговор:

— Знаешь что? Ты лучше позабудь тут про свою Францию.

— Почему? Как раз наоборот. — Сусанна глядела непонимающе. — Только потому, что я о ней помню, я не лезу здесь на рожон. Это так у вас называется?

Сюзанна пропускала мимо ушей филологические поиски.

— Как это сказывается на тебе — что ты все время помнишь о Франции?

— А как ты думаешь? Бунтовала во Франции — теперь сюда приехала? Куда ехать после этого? Я тут, Сусанна, не совсем своя. Почетная гражданка или даже почетная гостья. А гостям положено блюсти приличия и — как это называется? Чужие уставы? У вас пословица есть на этот счет.

— В чужой монастырь со своим уставом не ходят, — неприветливо подсказала ей та, вовсе ею не убежденная. — Тут, Элли, все в гостях. А уж я — тем более.

— Почему? — удивилась она.

— Потому… Ты что, не понимаешь? Я еврейка. Да будь я и тысячу раз русской, все равно бы не чувствовала себя хозяйкой.

Хозяева, Элли, они: они могут кого угодно выгнать — и хорошо, если только за неслужебное несоответствие… Что тебе говорить все это? Ты что, не понимаешь, куда приехала?

— Не знаю, — не сдавалась Рене. — Народ мне здесь по-прежнему нравится. Он не хуже, а может, и лучше, чем во Франции.

— Тогда принимай его таким, какой он есть… Потому, наверно, и лучше, что ничего не имеет и живет у себя, как в гостях или в нахлебниках… Русские живут у себя дома, а не на работе. Улица уже не их… Все, не хочу говорить об этом. Ты мне все настроение испортила… — И после этого стала даже сторониться ее в клинике…

Дирекция между тем выяснила или с течением времени сообразила, что Рене никто сверху не поддерживает и что воюет она с ними в одиночку, — после этого она стала для них совершенно непереносима. Против нее повели форменную травлю. Не зная, с какой стороны к ней подступиться, они посовещались и решили, что она высокомерна (всегда нужно ключевое слово) и что этого достаточно, чтобы выжить ее из клиники.

— Элли, почему вы ставите себя выше коллектива? — спрашивала теперь внешне благопристойно, даже благожелательно, Широкова, но звучало это со скрытой угрозой. — Вас что-то в клинике не устраивает?..

Вскоре они созвали партсобрание для обсуждения ее поведения (Рене ведь была с институтской скамьи членом партии) и обвинили ее — не додумаешься — в «анархо-синдикализме»: будто узнали, что отец грешил тем же. «Анархизм — это понятно, — думала Рене, — все французы — анархисты, но откуда синдикализм, когда нет профсоюзов? По-видимому, обвинять в одном анархизме показалось опасно: могли спросить, куда смотрели раньше, а с синдикализмом все выглядит не так страшно: не сразу разобрались в тонкостях». В заключение этого судилища, когда выступили один за другим старшие товарищи (младшие, слава богу, отмолчались или их об этом не спрашивали), та же Широкова предупредила ее еще раз, сказав, что держится она высокомерно, особняком, судит обо всем со своей колокольни (наверно, из кабинета электрокардиографии) и берет на себя слишком многое — старается играть роль, не приставшую ей по положению. Все разошлись кто куда, к ней никто не подошел: партийное собрание не место для афиширования личных наклонностей, ни для кружковщины и фракционной деятельности.

Придя домой, она чуть ли не всерьез раздумалась над тем,

что же они все-таки имели в виду, когда говорили, что она берет на себя лишнее, — какие именно из ее поступков. Она, верно, слишком многим помогала, принимала близко к сердцу чужие беды и трудности, а это прерогатива крупных тузов, а не мелкой сошки, какой была и оставалась она: это могло выглядеть в их глазах как вербовка будущих союзников. Но ведь к ней и шли потому, что она никому не отказывала: она знала языки и переводила журнальные статьи, научилась в разведке техническим навыкам и помогала в наладке аппаратуры, которая все больше входила в клинику. Ей, наконец, доверяли лечить родственников сотрудников — потому что она относилась к делу со скрупулезной педантичностью, которая всегда жила в ней и утвердилась со школы Ланга. Но странное дело: к ней шли, потому что она никому не отказывала, и обращались к ней с просительным выражением лица, но по миновании надобности чувствовали себя с ней неловко, не знали, что предпринять, чтоб не остаться у нее в долгу, — предлагали мелкие подарки и компенсации и, когда она со спокойным видом отказывалась от них, сначала не понимали ее, а потом переставали об этом думать, умывали руки и чувствовали себя свободными и ничем не связанными в ее назревающем конфликте с администрацией. Это нельзя было назвать непорядочностью, потому что касалось слишком многих, — это были правила какого-то неизвестного ей торга, где сделка имеет силу лишь в момент ее совершения и впоследствии не учитывается: ударили по рукам и разбежались, а когда сойдемся во второй раз, все будет наново. Она не обижалась на людей: нельзя обижаться на всех и даже многих и, как говорила Широкова, противопоставлять себя коллективу, но умерила свой пыл, стала больше заниматься собственными делами и меньше — чужими, не отказывалась помогать, но и не навязывала свою помощь, не предлагала ее первая, как это бывало раньше…

В 1948-м году умер Смотров — на руках у маршала Тито, которого он приехал лечить, будто у югославов не было доктора его уровня: с политическими деятелями случается и такое. В клинику пришел В.Х. Василенко, переехавший в Москву из Киева, где работал со Стражеско. Это был прекрасный диагност и врач, умница, быстро разобравшийся в новых сотрудниках и узнавший им цену, — беда была только в том, что это никак не сказалось на положении в клинике. Владимир Харитоньевич не захотел вмешиваться в дрязги и восстанавливать против себя могущественную клику, имевшую сильные позиции в институте и в ЦК, в его медицинском отделе. Он был сильно занят: у него были больные в Кремлевке, год его просто не было: помогал

налаживать здравоохранение в Китае. Он, правда, с нескрываемым презрением смотрел на своих ближайших подчиненных, ни в грош их не ставил и позволял себе на их счет ядовитые реплики. Так, после того как Карапетян получил доцента, он на обходе во всеуслышание спросил, кто еще хочет стать его заместителем по хозяйственной части, чтоб приобрести это же звание. Такие уколы запоминались надолго и сносились поневоле молча, но слова оставались словами, а против засилья невежественных карьеристов надо было воевать не речами, а делами, не считаясь с правилами и приличиями. Именно этого Василенко делать и не хотел, и трудно было винить его за это: прошло немного времени и он сам попал в знаменитое «дело врачей» — время было опасное и партийные магнаты знали это лучше, чем кто-либо. Неизвестно, какая сволочь составляла список фигурантов этого «дела», но не исключено, что его фамилия была включена по подсказке тех, кого он ядовито и неосмотрительно жалил во время своих обходов. Его появление в клинике можно было поэтому сравнить с приходом Гулливера в Лилипутию: большого роста, крупный, немного грузный, с величественной осанкой, он иронически взирал на суету шныряющих у его ног пигмеев и не принимал в ней участия.

Но и выгнать кого-либо без его согласия тоже не могли. К Рене он отнесся дружелюбно: хоть не защищал от нападок своих заместителей, зато помог защитить диссертацию — без его покровительства это было бы уже невозможно. В 1949-м году Рене получила степень кандидата медицинских наук и стала дипломированным ординатором, после чего к ее шестистам рублям зарплаты прибавили еще сотню. Это было последним достижением ее врачебной и научной карьеры, и защитилась она вовремя: вскоре началась кампания борьбы с космополитизмом. Нашли причину бед страны, а заодно и объяснение ее случая. Если прежде искали сложные, не по-русски звучащие и потому неубедительные ярлыки и клички, то теперь все стало ясно: чужая и все тут. Широкова теперь кричала на нее, перейдя на «ты»: «Ты что, приехала нас колонизировать?!» И ее происхождение, и знание языков — все обернулось против нее, и не против нее одной. Изгонялись «инородцы»: был с треском выпровожен из института ее любимец Барон — удар, от которого он заболел и так и не выправился; увольнялись работники с фамилиями, звучащими «не по-русски». Переписывались даже клинические симптомы: так, симптом перитонита Блюмберга был переименован, как город, в симптом Щеткина, а Блюмберг был русский врач с далеким немецким прошлым, живший в Архангельске. Слово «Европа» стало бранным, будто Советский

Союз находился не на этом материке, а где-то посреди мирового океана, на изолированном от соседей Атлантиде…

Рене стала сдавать и терять под ногами почву. То, что она незадолго до этого стала кандидатом наук, не улучшило ее положения, а лишь ускорило развязку. На утренние пятиминутки она ходила теперь с чувством страха и ужаса, хотя прежде не отличалась пугливостью. Она могла с уверенностью сказать, что работать в нелегальных условиях за рубежом ей было легче, чем тогда в клинике. Ее отстранили от ведения больных и загоняли в угол — как это умеют делать люди, для которых это занятие главное в жизни, — и все при полном молчании и попустительстве ее бывших друзей и товарищей, что убивало ее в особенности. После одной из публичных экзекуций с ней в коридоре случились судороги. Карапетян и Широкова проходили мимо. Они остановились, поглядели на нее жестко и холодно — как на насекомое, а Карапетян еще и определил с наигранной, штампованной улыбкой: «Истерия» — врачи любят ставить диагнозы там, где это нужно и где не надобно…

Она не уходила, готовилась к новым бедам из того же неиссякаемого источника, но, как это часто бывает, гром грянул не оттуда, откуда его ждали.

Снова арестовали Якова.

5

Рене запомнилось, что муж был в этот день как-то необычно и странно грустен: сидел без дела, что было ему несвойственно, задумчивый и озабоченный. Она же, напротив, была в приподнятом поэтическом настроении: читала Пушкина, дошла до стихотворения, которое поразило ее, будто она впервые его читала, и затормошила Якова:

— Посмотри, как это можно сказать стихами! Это называется «Предчувствие»!

«Снова тучи надо мною Собралися в тишине; Рок завистливый бедою Угрожает снова мне…

Сохраню ль к судьбе презренье?

Понесу ль навстречу ей Непреклонность и терпенье Гордой юности моей?

Бурной жизнью утомленный, Равнодушно бури жду:

Может быть, еще, спасенный, Снова пристань я найду.

Но, предчувствуя разлуку, Неизбежный грозный час, Сжать твою, мой ангел, руку Я спешу в последний раз…»

Она подняла восхищенное лицо, но Яков не ответил и не изменился в лице: он спокойно относился к стихам и не читал их вслух — если не считать гетевского вступления к Фаусту, которое он учил в подлиннике в детстве: оно запало ему в душу, и он вспоминал иной раз по-немецки первые три-четыре его строчки:

«Ihr naht euch wieder, schwankende Gestalten, die fruh sich einst dem truben Blick gezeigt»

(«Вы снова здесь, изменчивые тени, меня тревожившие с давних пор…» — Перевод Бориса Пастернака.) Они легли спать. Около часу ночи Яков растолкал ее среди первого, тяжелого сна:

— Элли! Элли, проснись! — Он стоял одетый, рядом с ним — незнакомый ей полковник, в смежной комнате — трое неизвестных. Яков был встревожен, но старался ее успокоить: — Элли, эти товарищи пришли за мной, но это недоразумение…

Она встала, ничего не соображая, накинула халат, прошла в столовую и там все поняла: они не зря работали прежде в условиях, когда это каждую минуту могло случиться, — все было перевернуто вверх дном, как бывает только при обысках и арестах. Удар, который она при этом испытала, трудно описать словами: кровь отлила от головы, возникло нереальное ощущение, что голова умирает или отделяется от туловища, ноги стали свинцовыми, неподвижными — с ней случались подобные разъемы тела в обстоятельствах, сходных с этими. Мужчины смотрели на нее, ожидая обморока: чтоб вовремя подхватить ее,

но она взяла себя в руки и сказала:

— Сейчас я приду в себя. — И потом: — Я в тебе ни минуту не сомневаюсь. — На что он подхватил успокоительно:

— Да-да! Это немедленно выяснится, я скоро вернусь, — и ушел с полковником в легком габардиновом плаще, а надо было бы надеть все теплое, что было в доме, — если б знать, на какой срок и куда он направился…

Дверь за ним закрылась, остались трое: лейтенант и двое в штатском. Кроме нее в доме была только Дуся: дети, которым к этому времени исполнилось девять лет и четыре года, были с Жоржеттой на даче: был конец августа, и при аресте и обыске они, к счастью, не присутствовали. Те трое держались привычно: для них это была ежедневная рутина. На этот раз ее было больше, чем обычно: Яков не переставал читать лекции о международном положении, и в доме накопилось море вырезок из газет и разного рода выписок, которые им нужно было перелопатить. У одного разболелся живот — он лег на диван, попросил таблетку. Дуся, воинственно настроенная, спросила:

— Может, тебе и грелку дать? — Второй спросил, нет ли халата, чтоб не пылить одежды. — Еще чего? — прикрикнула она на него. — Лакеи в двадцатом году отошли! — так что он даже удивленно спросил Рене:

— Кто это? — Рене мрачно смолчала: ей было не до церемонии знакомства, а Дуся столь же вызывающе представилась:

— Домработница, вот кто! И меня хочешь арестовать? — на что он, нисколько ею не задетый: он ведь был на работе и делал не свое личное дело, только отшутился:

— Нет, ты нам не нужна. Хозяин твой — другое дело… — и продолжил поиски.

Рене стояла молча, следила за ними, и чувство отчаяния овладевало ею: она не верила, что Яков скоро вернется, — довоенные годы вставали в ее памяти. Те искали гражданскую одежду Якова, не могли найти, а ее просто не было: он давно уже не был тем франтом, каким был в Шанхае. Дуся решила, что они хотят взять костюмы себе, о чем и сказала им без стеснения, — на это они только усмехнулись, Рене же подумала, что они ищут ее, чтобы доказать потом, что он встречался со шпионами: не может же полковник ходить на такие встречи в мундире. Они наконец ушли, взяв с собой документы Якова, некоторые вещи и особенно ценные книги (за ними охотились их начальники), запечатали одну из комнат, деньги же (четыреста рублей) великодушно оставили:

— Деньги берите: у вас двое детей…

И началось новое, грозное и ненадежное существование.

Дети прибыли на следующий день. Разгром, учиненный в квартире, которую Рене и Дуся не успели или не имели силы и воли прибрать, запертая дверь в спальню произвели на них тягостное впечатление, но женщинам удалось усыпить их бдительность: отец уехал в командировку, сказали они, впопыхах искал вещи и запер комнату до своего возвращения. Они на первых порах успокоились, но когда через неделю женщины, наводя в доме порядок и перебирая вещи, извлекли из сундука старый мундир отца, старший вцепился в него и, не отпуская, разразился рыданиями: видимо, не слишком они его тогда разубедили — безутешные лица в таких случаях воздействуют сильнее, чем успокоительные речи.

Мысль о том, что Яков не арестован, а отбыл в секретную командировку, тешила одно время не только детей, но и часть взрослых. Так, Вадим, сын Ксении Ивановой, как-то позвонил и возбужденно рассказал Рене, что в парикмахерской гостиницы «Метрополь» видели человека, как две капли воды похожего на Якова: несомненно его арестовали для отвода глаз, для конспирации. Рене знала, что так такие дела не делаются, но вопреки очевидности ему поверила. Потом все стало на место. Она начала ходить в приемную на Кузнецком мосту. Там было много таких, как она, в окошке можно было спросить только, жив ли такой-то или нет, — других справок не давали. Она не знала, в какой тюрьме находится Яков и в чем его обвиняют, носила деньги и передачи — их брали, но ни то ни другое, как позже выяснилось, до него не доходило. Друзья и знакомые, как сговорившись, сразу перестали звонить: известие об аресте Якова распространилось со скоростью звука и телефонных соединений, и возбужденный звонок Вадима был последним: видно, Ксения, знавшая жизнь и опытная в таких делах женщина, отсоветовала ему звонить дальше. Даже Лазарь, брат Якова, отделывался теперь поздравительными открытками на Новый год и Первое Мая: все боялись телефонного подслушивания. Только скептик Партигул интересовался делами семьи, приглашал ее к себе в полном составе и всякий раз с виноватым лицом давал в конверте деньги, да Шая Бир, тот самый парижский Фантомас, который после тюрьмы во Франции осел в Москве, работал в издательстве и переводил на французский технические книги, делал то же самое — с той лишь разницей, что она всегда возвращала ему долги, потому что он был влюблен в нее еще во Франции, а у него была прекрасная жена, австрийская еврейка Лиза, Елизавета Адольфовна, и ей не хотелось двусмысленностей. Тогда для поддержания отношений с семьями репрессированных нужна

была особого рода смелость, редко среди людей встречающаяся. Соседи по дому не отворачивались от Рене при встрече — нет, но отделывались короткими сухими приветствиями и незначительными фразами, спешили пройти мимо или уступали дорогу, но вслед смотрели столь же выразительно, сколь бесцветными были их прямые взгляды. Это была не прямая обструкция, но холодное и смешанное с любопытством отчуждение: в доме жили старшие офицеры, которые не могли позволить себе заговорить с нею. Зато, поскольку у всякого бедняка есть что украсть и еще потому, что грабят и на пожаре, начали сманивать к себе Дусю, имевшую в доме завидную репутацию: ей делали одно выгодное предложение за другим, но Дуся после ареста «хозяина» стала только ревностнее относиться к делу — более того, объявила, что отныне будет брать с них двести рублей вместо четырехсот прежних. Теперь Рене уходила на целый день, зарабатывая на жизнь, а семья висела на Дусе.

Не все так легко переменились и вывернулись наизнанку. В школе сына обе его классные руководительницы: младших и затем средних классов — потеряли отцов в сходных обстоятельствах и только лучше стали к нему относиться. Мать его лучшего приятеля-соседа чуть ли не на второй день после ареста отца прибежала в школу, чтоб «предупредить» учителей, на что ей возразили: «А при чем тут школа и ребенок?» Та ушла в замешательстве, а они впоследствии презрительно рассказали о ее визите Дусе: та ведь и в школу вместо Рене ходила. Дуся в свою очередь любила вспоминать об этом эпизоде, и он стал одной из ярких страниц в ее постоянно пополняющейся летописи. Поскольку наши несчастья часто измеряются ущербом, который они наносят детям, школьная поддержка была далеко не лишней.

В институте стало совсем худо. На второй или третий день после ареста Якова Рене вызвали в первый отдел и спросили ее о «связях» с мужем. Она сказала, что считает, что произошла ошибка, — ее прервали: «Это учреждение не ошибается». Она воспользовалась случаем и пожаловалась на то, что ей не дают ходу в клинике. «Но вам же дали защититься «,— возразили ей: видимо, сожалея больше всего об этом. В клинике с ней давно не церемонились. Денег не было, она решила форсировать ход событий: ей нечего было терять — и пришла к Дамиру, к которому испытывала если не человеческое, то профессиональное уважение, спросила его, может ли она рассчитывать на повышение. «Никогда, пока я здесь!»— был немедленный ответ профессора: видно, она сильно насолила ему в прошлом — он, как и все они, был злопамятен. Василенко по-прежнему стоял в стороне — только ободрял ее научную деятельность и все

спрашивал, как она движется. У нее к этому времени (при должности ординатора!) была утвержденная Ученым советом института тема докторской диссертации о влиянии головного мозга на деятельность сердца в различных болезненных состояниях, и она собирала материал в неврологической и психиатрической клиниках. Из-за нее-то она и не уходила из института: научная работа притягивает и привязывает к себе сильнее всякого наркотика.

— Позвольте, Владимир Харитоньевич! — не выдержала она как-то. — Вы знаете мое теперешнее положение, я получаю нищенские деньги — как вы мыслите продолжение работы, которая вас так интересует?!

— А вы работайте.

— Но я не могу!

— А вы все-таки работайте…

Трудно передать, какую злость она тогда испытала. Профессор был не в состоянии ей помочь, и поскольку мало кто из сильных мира сего способен признать свое бессилие, то они и отвечают в таких случаях подобными фразами. Ей же, в ее безвыходном положении, показалось, что в нем говорит профессорское безразличие, соединенное с видимостью участия. Да так оно в сущности и было. Ему бы развести руками и сказать, что он ничего не может поделать, но он повел себя с ней не как со своей ровней, а как с второразрядной подчиненной — они, в конечном итоге, все были одинаковы. Она махнула на все рукой и решила уйти из клиники.

6

А Яков в это время сидел на Лубянке и ждал вызова к следователю.

Камера была переполнена людьми, одетыми кто во что: какими их взяли из дома, с поезда или по пути на службу. Яков вошел сюда с выданной ему миской и ложкой. Он был мрачен и не расположен говорить с кем-либо: подозревал, что попал в компанию врагов и предателей Родины, и только мельком оглядел тех, кто обступил его — это были самые любопытные.

— Здравия желаю! — приветствовал его один из них: видимо старожил камеры, который был тут за принимающего и разводящего. — Вас что, прямо с маневров взяли?

— Отчего вы так решили? — неприветливо спросил Яков: он не любил фамильярностей, но еще больше его задело то, что его появление было принято как естественное: будто его давно тут ждали.

— Вы при параде. Или думаете, что так к вам лучше будут относиться?

Он попал в точку. Яков именно так и думал — потому и отправился из дома в мундире с погонами: при желании можно было, конечно, найти что-нибудь проще и практичнее — вроде лыжного костюма и фуфайки под ним, в которых он бегал по утрам вокруг дома. Но конечно же он не сказал этого вслух — только оглядел камеру:

— Где мне расположиться? Я бы хотел поспать немного.

Дело было ранним утром, всю ночь его продержали в служебных помещениях Лубянки, где обмеряли, фотографировали, снимали отпечатки пальцев и занимались прочей рутиной, которая из свободного человека делает арестанта, — ему было не до разговоров.

— Будете спать?

— А почему нет?

Старожил восхитился: он хоть и насмешничал, но на деле опекал новеньких и помогал им освоиться — это было проявление тюремной солидарности.

— Это класс. Никто в первые часы не спит. Ребята, подвиньтесь, — попросил он двух-трех человек, проснувшихся после прихода новичка и поднявших спросонок головы. — Вы не в первый раз в таких местах?

Яков хотел смолчать, но язык его развязался сам собою:

— Был однажды. В камере-одиночке. — Он почувствовал, что этим верней всего завоюет уважение сокамерников. Так оно и

вышло.

— Вы подумайте! А на вас глядючи не скажешь. И где же лучше, на ваш взгляд?

— Во всем есть свои плюсы и минусы, — и стал устраиваться на освобожденной для него подстилке.

— Слыхал, Иван? — отнесся тот к стоявшему рядом. — А мы с тобой только и знаем что жаловаться… Сказали бы еще, что на воле нового, и мы бы оставили вас в покое. Здесь же ни газет ни радио.

— В Китае готовятся провозгласить социалистическую республику, — сказал Яков. При всех жизненных катаклизмах он не забывал главного и продолжал следить за событиями в мире и в Китае в особенности. — Наши взяли Нанкин.

— Наши взяли Нанкин, — эхом и как нечто странное, несозвучное их нынешним обстоятельствам, повторил тот. — Но это не совсем то. Поближе к нам нет чего-нибудь? Чтоб нам было интересно?

Яков не отвечал: не излагать же ему последнюю внутриэкономическую сводку Партигула, а другой, до того молчавший, сказал:

— Что у нас может произойти? Что пристал к человеку, — и предупредил Якова: — К завтраку надо будет встать. Во второй раз обносить не станут: надо будет с миской у двери стоять.

— Во сколько он? — спросил Яков.

— В семь.

— Я проснусь.

— Не проснетесь, разбудим, — пообещал он, а старожил снова удивился:

— Гляди, вправду заснул! — И верно: Яков, который в первую минуту лишь притворялся спящим, во вторую захрапел самым натуральным образом, так что у соседей сжалось сердце: пришел храпун да еще в звездочках. — Бесчувственный какой. Молодец, да и только, — искренне похвалил он. На самом же деле это было, конечно, не бесчувствие и не завидная выдержка — просто Яков был измучен событиями ночи и ему нужно было на время забыться, чтоб прийти в себя и опомниться…

Утром его никто не будил — он проснулся сам: загремела дверь, и в камеру после ночного допроса ввели еще одного ее обитателя. Его тут же обступили.

— Ну как, Савельич? Как он с тобой сегодня? Что так долго?

— Долго, зато в последний раз! — Тот, кого звали Савельичем, огляделся по сторонам с напускной и измученной лихостью, словно приглашая всех в свидетели и сообщники происходящего. — Потому что под всем сегодня подписался! И

что шпионил в войну, и с иностранной разведкой связь поддерживал! Под всем, ребятушки!

— Там только против тебя материал был? — спросил кто-то недоверчивый.

— Исключительно! — не совсем убедительно заверил его тот. — Мы так с ним договорились. Подпишу, говорю, если вы тех двоих из-под удара выведете — можете оставить, говорю, покойника: ему ничто уже не повредит. А он мне: эти мне тоже нужны. Ну как хочешь, говорю, — мне все одно: я хоть сегодня в петлю, сыт всем по горло! Ладно, говорит, на тех у меня от других показания есть — подписывай…

Несмотря на наигранную удаль и улыбку, которой он словно приглашал посмеяться над своими злоключениями, все после его слов притихли и понурились: их ждала та же участь.

— Что приуныли?! — подзадорил он их. — Держи нос по ветру! Теперь ждать буду приговора. Тоже в один день не делается. Захар вон месяц ждет, а я слышал, и полгода прокуковать можно, пока все соберут. Но у меня проще, — повторил он — снова не слишком убедительно. — Я один работал.

Яков глядел на него во все глаза и не очень ему верил. Не верил он не тому, что он выгородил других: этого никто в камере не принял за чистую монету, — а тому, что он ни в чем не виноват и все вмененное ему в вину выдумано: что-нибудь да было, о чем он говорить не хочет. Но он, слава богу, не сказал этого — иначе бы восстановил против себя всю камеру. Тот, что только что оговорил себя, уловил однако в нем некое противостояние: чувства его были обострены до предела, он словно телом чувствовал к себе недоверие. Это шло у него с допросов, на которых следователи именно тем и брали верх: что ни одного слова заключенных не брали на веру или же умело инсценировали это: это была годами наработанная практика.

— Что-то не так? — громко, во всеуслышание спросил он. — Не так сказал что? — и пригляделся к новенькому, который только очнулся от непродолжительного тяжкого сна, не сразу понял, где он, а когда вспомнил, ужас минувшей ночи раздавил его и он не захотел вставать — в приступе несвойственного ему малодушия.

— Это новенький, — сказали самооговорщику. — Полковник.

— Это я вижу. В погонах разбираюсь, — отвечал тот, разглядывая Якова с особым, идущим с воли, любопытством. — Я вас, кажется, видел где-то, — с учтивостью сказал он, что не означало, что Яков ему нравится. — Не могу вспомнить где. Мне здесь всю память отшибло.

— На лекции, наверно, — неохотно пробурчал Яков, не желая говорить с ним.

— Верно! — живо откликнулся тот. — А вы-то что тут делаете?! Вас в последнюю очередь сажать надо. Я его доклад слушал, — пояснил он остальным. — Другого такого лектора нет. Говорил про победу мировой революции так, что не хочешь, да заслушаешься. Как в двадцатые годы.

— Во второй раз уже сидит, — деликатно поправили его: чтоб не решал сплеча. Тот не поверил:

— Анархист, что ль? У нас был один недавно — с двадцатого года сидит. Сейчас новое дело завели: старый срок кончился — так снова на Лубянку определили.

— Я в Шанхае сидел, — вынужден был сказать Яков — во избежание дальнейших кривотолков. — Анархистов среди полковников я что-то не видел.

— Час от часу не легче! — удивился тот. — Разведка? Так вас давно всех пересажали — не слышал, чтоб новые аресты были. Я ведь тоже свой, армейский, — доверился он. — Только мундир дома оставил: все равно срывать погоны придется. Что вы натворили хоть? На лекции что-нибудь не так сказали? На вас это не похоже.

— Ничего он не сделал и не сказал — я по его глазам вижу, — одернул его сосед. — Почему мы всегда про других думаем, что они что-нибудь да натворили? Это у нас в крови, у русских. Что я здесь видел — так это когда анекдот слушали и не донесли об этом. Даже самих анекдотчиков не видел. Небось, всякий раз стукачи рассказывали.

— Не знаю, что мне хотят всучить, — сумрачно сказал Яков: ему невмоготу было все это слушать. — Но что бы ни было, я ничего подписывать не буду.

Это был выпад против бывшего сослуживца, который не только смалодушничал, но еще и позорил армию тем, что открыто в этом признавался.

— А что это изменит?! — живо возразил тот, чувствуя себя задетым. — Все равно осудят и посадят. А то и расстреляют: что не сотрудничаешь со следствием!..

Яков смолчал, но по его мрачному виду можно было судить, что эти доводы его не убедили. Зато переменился в лице тот, что с ним спорил.

— А я вот подписал. — До него только теперь дошло значение того, что он сделал этой ночью. — Все подмахнул, как сучка последняя, — и пошел к нарам. — Спать буду. Не моя очередь? Отдам за нее завтрак. Есть не буду: не то настроение… — и улегся на нарах, прикрывая глаза и нос рукою:

чтоб не мешали скудный электрический свет и вонь от стоящей в углу параши…

Следователю было лет тридцать, из молодых да ранних: он был уже в чине капитана — стало быть, преуспевал на своем поприще. Он был невнимателен и порывист в движениях: торопился закончить одно дело и перейти к следующему — они были для него все на одно лицо, сшиты по одной мерке. Истина его не интересовала: он углублялся в лежащую перед ним папку в поисках опоры, с помощью которой нужно было перевернуть землю под ногами заключенного: здесь это удавалось чаще, чем некогда Архимеду. «Шалопай», — грустно заключил Яков, любивший давать людям определения.

— Ваш отец был раввин? — спросил для начала тот: шел издалека и готовил почву для решающего натиска.

— Раввин. — Яков поглядел на него исподлобья: этот пункт всегда был его слабым местом. — Я сообщал об этом в партийных анкетах. — Происхождение не украшало его, но и не особенно порочило, зато сокрытие его влекло за собой незамедлительное исключение из партии. — До шестнадцатого года, — чуть виновато прибавил он: будто то, что было до революции, было не столь важно, как после нее.

Следователь уловил эту нотку, насторожился:

— А потом что, бросил?

— Умер в этом году…

Капитан впервые взглянул на него в упор. В его глазах была пренебрежительность и издевка. То, что Яков сидел перед ним в мундире с погонами, нисколько не располагало к нему следователя — напротив раздражало его еще больше. Яков вспомнил о подспудной вражде, всегда существовавшей у них с «соседями», и пожалел, что так вырядился: лыжный костюм был и вправду уместнее.

— Поверим в этот раз, — врастяжку сказал тот, будто делал великое одолжение. — Проверять не буду. Врать по такому поводу не станете. Но это мелочи. Ты, говорят, был в «рабочей оппозиции»? — и поглядел внушительно. — Отец у тебя раввин, а тебя в эту компанию потянуло? Голосовал за них на съезде?.. Мы потом выяснили, что эта рабочая оппозиция была связана с иностранными разведками. Может, тебя тогда уже завербовали?

Это было серьезнее. Яков пропустил мимо ушей нелепый навет относительно вербовки, но и без нее имевший место в действительности факт мог сыграть с ним злую шутку. В двадцатом году в его голосовании не было ничего предосудительного, позже, во время чисток поздних двадцатых, оно рассматривалось заново и уже иначе: в свете происшедших

затем событий. Он получил тогда за него «на вид» — без внесения в учетную карточку, но, как оказалось, с занесением в другие, более опасные, списки.

— В двадцать восьмом году этот вопрос уже разбирался, — вкрадчиво сказал он: чувствуя здесь свою уязвимость. — Я дал исчерпывающие показания и изложил все на бумаге.

— Это я знаю, — согласился он: читал, видимо, покаянное заявление Якова. — Там много всего: и связи, и кто был во фракции. До войны тебя бы за это запросто расстреляли. А где ты был в это время?

— В Шанхае, — гордо отвечал Яков: это был славный период его жизни, и он намеревался сделать его главной линией обороны. Но и здесь он попал впросак — все оказалось иначе.

— Вот, — назидательно протянул следователь: он все еще вел себя запанибрата и, хоть и «тыкал», что было не очень прилично, учитывая разницу в их возрасте, но глядел миролюбиво и снисходительно — это была первая ступень допроса, прощупывание арестованного, и он не выходил из роли беззлобного наблюдателя. — Думал сбежать от нас туда?.. Мы как раз о Шанхае с тобой говорить и будем. Непонятно нам — и мне вот тоже — как это ты три года там в тюрьме прожил и назад целым вернулся? Не завербовали тебя там, часом? Или ты туда уже двойным агентом отправился?..

На этот раз подозрение в вербовке возымело свое действие: кровь отлила от лица Якова, потом прилила вдвое. Он был взбешен и метнул яростный взгляд на обидчика.

— Это же все голословные обвинения! — проговорил он прерывающимся голосом. — Нужны доказательства… — и примолк: у него перехватило дыхание.

Следователь все увидел и услышал: и ярость во взгляде, и злобную дробность дыхания. Он не любил таких субъектов и считал их полоумными. Самому ему было совершенно ясно, что против лома нет приема и что если советская власть говорит тебе, что ты шпион и вредитель, надо с ней соглашаться — все равно настоит на своем и тебя сломит. Людей, легко подписывающих самые чудовищные обвинения, он едва ли не уважал: так любят в России тех, кто, не дорожа положением, репутацией и самой своей жизнью, с легкостью мечет на орла и решку. Сейчас он вздохнул, встал, снял с себя ремни портупеи, повесил их на спинку стула. В комнате было жарко, он расстегнулся, но дело было не в этом: он повесил их с особой аккуратностью и с оглядкой на заключенного: пугливые в таких случаях вздрагивали, боясь экзекуции. Яков и бровью не повел: в бешенстве он не чувствовал боли и побоев не боялся.

Наблюдательный капитан разглядел и это, помешкал, снова перевесил ремни — уже проще и как бы опровергая недавний замысел. С Яковом надо было вести иную войну, давить его морально, а не физически. Следователь умел и это, но это было ему в тягость: он и вправду был шалопай и хотел скорее сбыть дело с рук: за это его, собственно, и ценили.

— Доказательства есть, — медленно, врастяжку возразил он, прохаживаясь взад-вперед по другую сторону от стола. — Доказательства всегда найдутся… — и рывком вернулся на свое место, угрожающе избычился. — Почему провалились те, кто хотел помочь тебе?.. Почему во Франции ребята, которые организовывали тебе легенду, тоже чуть не попались?.. Потому что ты их заранее выдал? Ты ж знал, к какой деревне тебя приписать хотели?..

Парадокс заключался в том, что те двое, что пытались устроить запись в эльзасской приходской книге, давно были в заключении, — не во Франции, а в Советском Союзе, куда их срочно вызвали для доклада. Адам Львович Шипов, например, уже больше десяти лет был под Норильском — но этого ни Яков, ни капитан не знали.

— Если б я их выдал, они б не ушли, — съязвил Яков, но капитан, не слушая его, загремел дальше:

— А паспорта зачем с собой прихватили?! — Он шел по восходящей линии: у него, несомненно, было в распоряжении служебное разведупровское дело Якова, и он широко им пользовался. — Чтоб скомпрометировать советское консульство?! Для чего еще с собой их брать?

Яков еще раз проклял тот день и час, когда позарился на красивые иностранные обложки.

— Чтобы сделать копии, — угрюмо отвечал он. — У нас было неспокойно, многим угрожал арест, и надо было заранее позаботиться о людях.

— Заранее позаботиться! И как же вы хотели сделать эти копии?

— Дома вручную, — солгал тот: пошел на этот раз против партийной дисциплины: чтоб не навесили еще и связь с бывшим белогвардейцем.

— Ты и это умеешь?.. Мы ж все проверим, — подпустил туману тот. — Китайцы помогут. У них в руках архивы контрразведки.

«Жди, помогут они тебе. Отдадут архивы», — подумал Яков, лучше его знакомый с коварством и прижимистостью китайских братьев, но вслух только сказал:

— Проверяйте.

— Так на это время уйдет, — не согласился капитан, чувствуя, что тот чего-то не договаривает. — Меня б больше устроило, если б мы как-то иначе поладили. Ладно. Подпишитесь пока под сегодняшним допросом, и хватит. Это пустые формальности. Я наведу справки. Может, они и вправду окажутся в вашу пользу…

Яков начал читать протокол. В нем было черным по белому написано, что он был завербован англичанами еще в двадцатом году и что в Германии и Китае работал двойным агентом.

— Я это подписывать не буду, — хладнокровно сказал он и положил на стол ручку.

На этот раз сорвался следователь:

— Подпишешь, сука! И не такие подписывали! Думаешь пересрать нас своим еврейским гонором?! А мы тебя русским хапком задавим! От тебя мокрого места не останется! Будешь еще в моих ногах ползать, сапоги мне лизать, чтоб я тебе приговор смягчил!.. Тебе ж вышка светит, морда жидовская!..

Это был сознательный расчет, провокация, нацеленная на то, чтобы унизить и подавить строптивого полковника, — хотя и соединенная с личным антисемитизмом следователя. Яков вспомнил тут Прокофьева, который не в пример капитану, готовя смертный приговор, был корректен и почти изысканно вежлив. Впрочем, у них было и общее: оба не любили евреев. Яков на это не оскорбился: брань подобного рода его не горячила, а скорей остужала — сказал только:

— Если вы будете продолжать в том же духе, я напишу жалобу, что вы оскорбляете мои национальные чувства, и потребую вашего отвода.

— И меня тут же сымут с работы! — ухмыльнулся тот.

— Я не настолько наивен, — благоразумно сказал Яков. — Но жалобы никому еще добра не принесли. Они же в личных делах остаются.

— А евреи к власти могут прийти? — поддел его тот, на что Яков пожал плечами:

— Это вряд ли: так вопрос не стоит, но если захотят с вами расстаться, могут воспользоваться и этим.

Следователь не стал спорить с этим, сменил тему:

— А вы, значит, и по архивам лазили?

— Приходилось, — не без достоинства отвечал тот, давая понять, что и он из своих и не последняя спица в колесе. Это была его первая и последняя уступка следствию, но капитан и ее не принял:

— Потому у нас и дела так идут, что такие… — он замялся с определением, — к ним допускаются… Вы в Бунде не были? —

спросил он походя: даже на «вы» перешел — но, как оказалось, ненадолго.

— Нет. С семнадцати лет в партии.

— А подписывать бумагу не будете?

— Нет.

— Что ж вы партийный порядок нарушаете? Ну нет и не нужно, — почти одобрил он. — По первому разу никто не подписывает. По первому разу, говорят, не закусывают! — и ухмыльнулся и подмигнул: — Выпить любишь?

— Не слишком.

— «Не слишком», — неодобрительно повторил он, вслушиваясь в необычное сочетание слов. — Это твоя большая ошибка, что не слишком. Могли б сейчас принять с тобой. Ладно иди. А я о тебе думать буду: что делать с тобой, раввинский сын… Раввинским сыном тебя звать можно?

— Сыном можно: я от отца не отрекаюсь. Отродьем только не надо.

— Не надо значит не надо! — охотно согласился тот, играя с ним, как кошка с мышью. — Ступай. У меня без тебя работы — начать да кончить…

Яков вернулся от него в изнеможении и странном опустошении: будто его выпотрошили, как птицу. Его обступили — как после всякого допроса: так встречают студентов, вышедших после экзамена.

— Ну и что? Что тебе вменяют?

— Что я был английским шпионом с двадцатого года…

Теперь он относился к своим сокамерникам с иным чувством: поверил, что и на них возводят напраслину. С ним же здесь обращались с видимым уважением: к разведчикам люди относятся особенным образом.

— А они теперь всем это лепят, — поддакнул ему один из сидельцев. — Сталин, говорят, невзлюбил Черчилля… Не били?

— Нет.

— Теперь редко кого лупят. В отдельных случаях — когда имеется разрешение. Раньше-то всех лупцевали без разбора: на всех была лицензия… И что теперь?

— Ничего подписывать не буду, — сказал только Яков. — Вы разрешите, я прилягу? — обратился он к соседу, который до этого казался ему человеком серым и невзрачным, с которым он не обронил ни слова, будто его вовсе не было рядом, — так что тот даже начал нервничать, потому что отличался робостью и мнительностью.

— Ложитесь, конечно! — немедленно откликнулся тот, радуясь, что Яков заговорил с ним, и встал, чтоб освободить

место. — Вы после допроса и старше меня как будто бы…

Яков признательно кивнул и лег на бок.

— Ложитесь. Тут обоим места хватит, — на что сосед немедленно согласился, чтоб не прерывать начавшегося знакомства.

— Савельича помнишь? — зашептал он заговорщическим тоном.

— Помню, конечно. Армейский.

— Ну! Плохо с ним совсем. Ему сегодня приговор огласили и в другую камеру перевели. Сюда не заходил даже.

— И вещи оставил?

— Конечно!.. — Сосед кивнул с размахом: Яков попал в самую точку. — Зачем они ему теперь?.. И не знаешь, что лучше: соглашаться со всем и подписываться или на своем стоять… Они говорят, лучше подписывать, а видишь, как все получается…

В эту ночь Якову не спалось. Следователь, сам того не ведая, затронул больные струны его души и разбудил в нем давно дремлющих или притворявшихся спящими демонов: сам Яков не знал, насколько они болезненны. Когда переходишь в иную веру, невольно предаешь — не старую религию: в конце концов, все они одинаковы — а тех, кто раньше разделял ее с тобою; проклятие висит над отступником — даже тогда, когда переход к новому представляется ему совершенно естественным. Первая любовь не ржавеет — это касается не одних только отношений юноши с девушкой…

Отца он любил. Как ни смешна была ему его преданность Торе, он не мог не признать, что отец был для него примером в жизни: он был честен, справедлив, верен долгу и учил тому же ближних. Мать — другое дело: она писала романы и к живым людям — даже к своим детям — была довольно безразлична; все пылкое и горячее, что в нем было, Яков перенял от отца, все холодное и рассудочное — от матери. Что объединяло родителей — это что оба больше всего на свете почитали Слово: только отец был его читающим поклонником, а мать пишущим. Яков получил в наследство оба эти задатка, но признателен был только отцу. Он любил вспоминать его, но, странное дело, всякий рассказ о нем упирался у него в одно и то же — как он обманул его на смертном ложе. Он рассказывал об этом посмеиваясь и нисколько не виня себя за это: вот, мол, какие бывают случаи — но на сердце его всякий раз кто-то неслышно скребся.

Отец, Гирш Лихтенштейн, рано состарился и поседел — не столько от преклонных лет, сколько от потрясений, которые пережил, когда семью, как и всю еврейскую общину Тукумса, переселили в промышленный Кременчуг на Украину. Евреи, по

мнению российского правительства, чересчур любили немцев, и их, от греха подальше, вывезли из вероятного района военных действий. Отец сросся душой и телом с синагогой, в которой испокон веку жила его семья, и с узкими тукумсскими переулками, в которых одним евреям было легко и нетесно. Он и в Кременчуге выполнял свои обязанности: куда он мог от них деться? — но здесь все было не как дома: он словно гастролировал на выезде. Какая-то глубокая и ежедневно растущая трещина возникла в его жизни и отдаляла его от близких. В его собственной семье произошел раскол, и его до сих пор неоспоримое главенство подверглось незримому, но от этого лишь еще более ощутимому сомнению. Старший сын Лазарь и прежде в его отсутствие насмешничал над отправляемыми в доме ритуалами, теперь же и вовсе отошел от семьи и от религии: поступил в банковский институт, пропадал целыми днями, не каждую ночь ночевал дома. Но это была не самая большая беда: отец давно смирился с его предательством и распознал сидящую в нем иронию, когда Лазарю не было и десяти: он тогда уже объявил, что его преемником в синагоге будет Янкель, хоть он и был моложе Лазаря на три года. Янкель горел и дышал верой, читал взрослые места в Торе и давал им свое, им самим понятое, значение, делился своими знаниями с детьми бедняков в хедере и делал это так, что сердце отца переполнялось радостью и гордостью и он заранее предвкушал появление истинного мудреца в тукумсском храме. Но теперь и с Янкелем что-то происходило: он словно перетекал куда-то, его телесная оболочка была рядом, а душа отлетала к неизвестным берегам и готова была там остаться: с отцовской душой ее соединяла совсем уже тонкая пуповина. Это и было для отца причиной преждевременного старения, ударом ножа в его сердце. И Янкель стал уходить по вечерам — именно теперь, когда в городе становилось неспокойно из-за большого числа армейских, от которых никогда не знаешь чего ждать, и когда его присутствие дома было особенно необходимо. Он приходил «оттуда» веселый, радостный, чужой до неузнаваемости и на все осторожные вопросы отца о причинах такого настроения в столь неподходящее и чреватое грозой время отвечал беспечными глупостями, неприличными в своей вопиющей и скандальной лживости. Мать сказала, что у него, наверно, появилась барышня, но в ней говорила романистка — отец знал, что девушки не могут так ярко и так надолго преображать и окрылять молодых людей и так зажигать им очи — особенно таких, как Янкель, чьи глаза открыты сначала на писание, а потом уже на все прочее. Его жена могла бы быть повнимательней к тому, что делалось в доме.

Писать романы хорошо, когда все спокойно и няня и экономка ведут хозяйство и следят за детской, но когда в семье поселяется раздор и между ее членами вырастает пропасть? Теперь она, правда, не писала романов, но зато читала их с утра до вечера и лишь изредка поднимала взгляд на то, что делалось у нее под носом: будто то, что она читала в книгах, было важнее злобы дня и самого хлеба насущного. Иногда он глядел на нее с не подобающей ему злостью: не от нее ли идет это вероломство — не от этой ли исподтишка чужой и духовно неверной женщины? Он сказал ей, что Янкель готов отпасть от веры, — она в ответ лишь пожала плечами, и неясно было, что она имеет в виду: не верит в это или безразлична к самой сути дела. Так долго продолжаться не могло. Отец был словно высечен из одного большого камня и не умел жить, как языческий Янус, с двумя лицами, направленными в разные стороны. Он уже и на любимого сына своего глядел иной раз с затаенной ненавистью: правда, всякий раз сменявшейся приливом удвоенной отцовской любви и преданности, на которую способны только евреи, — когда их не обманывают.

Вскоре он заболел брюшным тифом. В Кременчуге в шестнадцатом году многие им болели, но он воспринял болезнь как знак Божий, как зов Господа, уберегающего его от постыдного зрелища окончательного семейного распада и уничтожения. Он почувствовал себя однажды совсем плохо, позвал к себе семью (тех, кто был в эту минуту дома), попросил затем, чтобы все вышли, а остался Янкель.

— Янкель, — без вводных слов и околичностей, на которых не было ни сил, ни желания, сказал он. — Я знаю, ты глядишь на сторону, тебя соблазняет кто-то из современных говорунов и уличных хулиганов… Не спорь! — заранее оборвал он сына, видя, что этот негодник, до того чистый и открытый перед ним, как лист белой бумаги, теперь улыбается и глядит с предательским сочувствием и снисхождением и пытается его, раввина и знатока душ, ввести в заблуждение. — Не лги! Не омрачай эти минуты!.. — Взгляд его вспыхнул последним гневом, и сын осекся, растерялся на миг, но в следующий спохватился, вернулся к прежним заблуждениям, не пошел в открытые перед ним двери. Отец отступился от него, захотел спасти, что было еще возможно: — Не будем сейчас говорить об этом: ты к этому не готов. Но послушай меня и запомни. Что бы ни случилось с тобой в этом постоянно меняющемся мире, не оставляй веры отцов, не отходи от Бога, который один тебе заступник и который бывает и грозен и милостив — в зависимости от того, что ты заслуживаешь. Поклянись мне…

И Янкель обманул отца на его смертном ложе: чтобы скрасить ему смерть, он поклялся не оставлять религии предков, но про себя твердил при этом, что имеет в виду новую веру, от которой он точно уж никогда не отойдет и не отступится. Отец ему не поверил и умер с мучительным чувством в душе, что вместо того, чтобы отвадить сына от опасной ереси и заразы, лишь сильнее привязал его к ней своими усилиями и невпопад сказанными словами.

Кременчуг был большой город с заводами, учебными заведениями и социал-демократической ячейкой, имеющей не одну сотню членов и устраивающей, несмотря на военное время, регулярные сходки, — обычно под прикрытием каких-нибудь благотворительных обществ или товариществ. Среди ее организаторов и ораторов выделялся Моисей Файнберг. Он был и тогда уже широко известен во всем северо-западном регионе страны, а после революции стал бы, без сомнения, заметной фигурой российского масштаба, если бы не ранняя смерть от туберкулеза, не позволившая ему дождаться недолгого триумфа и спасшая от последующего уничтожения его недавними единомышленниками. Он и стал совратителем юного Янкеля, который, впрочем, и без того был готов к принятию новых истин: юность не любит повторять зады старого, но жаждет нового. Файнберг говорил легко, доходчиво, и на лице его играла убедительная улыбка, которая больше всего нравилась шестнадцатилетнему юноше: не суровая проникновенность взора, как у отца, а общедоступное всеведение победителя. В его изложении все было просто, он будто нарочно выделял ясные истины и отметал запутывающие дело сложности: рабочий класс велик числом, умением и организацией, правящий класс, состоящий из жадных ворюг и выжиг, давно прогнил и едва ли не сам чувствует свою обреченность, все решает соотношение сил, а оно в нашу пользу. Как иллюстрация этого рядом с ним всегда были двое рабочих подтянутого, мускулистого вида, сопровождавшие его на митингах, — охрана, которую рабочий комитет давал своему золотому рупору на случай драк и физических посягательств на его личность, чем иногда кончались его выступления. Эта демонстрация силы, идущей в паре с победоносной мыслью, особенно нравилась Якову — не потому, что он не верил в мысль без силы, а потому что последняя хорошо дополняла первую и была ей надежной опорой. Рабочим нечего терять — завоюют же они весь мир и не для того, чтобы, в свою очередь, разбогатеть, а чтоб установить на земле царство свободы и справедливости. Яков и его молодые друзья слушали его, и чем проще были обещания и посулы, тем больше они им верили,

потому что молодости свойственна вера в несбыточное — погоня за ускользающей Жар-птицей. Яков поверил в марксизм сразу, с полуслова, почти заочно, но для порядка, как сын раввина, окунулся в чтение книг, обязательных для вступающего в партию. Он читал Маркса и Энгельса в немецких подлинниках, и это чтение лишь подтвердило истины, которые он уже успел постигнуть. Более того, он, как и тогда, когда читал Тору, находил здесь места, на которые, как ему казалось, никто прежде не обращал внимания, а он заметил, и с тех пор уверовал в свое особенное знание марксизма, которое дается не всем, а лишь тем, кто читает эти книги с особым проникновением. Вскоре он сам уже мог выступать и говорить с кафедры и быстро привлек к себе внимание живостью, занимательностью и бойкостью своих речей — такой, с какой говорили, наверно, после Христа его апостолы. Руководители ячейки приметили его и стали брать с собой на трудные участки — там, где были влиятельны меньшевики, эсеры и сильные в этих местах бундовцы.

С последними у Якова произошел разговор, сильно повлиявший на все последующее в его жизни. Бунд был еврейской социал-демократической партией, объединявшей в своих рядах преимущественно евреев и ставящей в своей программе наряду с общероссийскими специально национальные требования. Однажды один из руководителей местной бундовской организации явился на сходку, зная, что на ней будет выступать Яков. Участия в прениях он не принимал, но сразу после окончания выступления, когда оратор, еще возбужденный и окрыленный собственной речью, стоял в окружении слушателей, жаждущих не то спросить у него о чем-нибудь, не то с запозданием высказаться, подошел к Якову, дождался, когда кончилась эта сверхурочная часть всякой публичной речи и самый дотошный из слушателей остался более или менее удовлетворен разъяснениями докладчика, и, в свою очередь, обратился к Якову. Тот решил, что перед ним очередной любитель поговорить и помахать после разговора руками, и обратил к нему благожелательное лицо, в котором поучительный прищур потомственного раввина смягчался и скрадывался демократической улыбкой нового толка.

— Я что-то не так сказал? — спросил он, допуская на словах свою вину, которую должен был опровергнуть в последующем, но бундовец только улыбнулся в ответ на эту приманку.

— Почему? Все так. Все одно за другим — как из водопроводного крана… Я с удовольствием слушал вас, — поспешил прибавить он, потому что Яков мог принять его слова за насмешку. — Выступать вы умеете, но я бы хотел поговорить с

вами о другом, по существу дела…

Бундовец был старше его и тоже, видно, умел при необходимости брать на себя роль вожака и выступать с трибуны, но на этот раз у него была другая задача.

— Давайте по существу дела, — согласился Яков, взглянув на него с иронией. — Оно у меня со словами не расходится.

— Это в вас и привлекает. Вас ведь Янкелем зовут?

— В последнее время я зовусь Яковом. Это упрощает мне контакт с русскими слушателями.

Бундовец озадачился.

— А как с еврейскими? Якова они тоже своим признают, но Янкель им как-то ближе?.. — и глянул испытующе на юношу.

Яков насторожился: он уже понял, с кем имеет дело и о чем пойдет речь, и у него были готовы ответы на вопросы, которые должны были последовать далее.

— Как вы относитесь к положению еврейских рабочих в современной России?

— спросил бундовец. — Не кажется ли вам, что должна существовать отдельная партия, специально занимающаяся этими вопросами, — помимо мировых, которыми занимаются все социал-демократии вкупе. Да что далеко ходить? — риторически спросил он. — Партия такая есть, называется она Бундом, вы о ней прекрасно знаете, и мы удивляемся, почему вашей ноги не было до сих пор в нашем доме.

— Я считаю, — отрезал Яков, — что интересы еврейского народа тесно связаны с интересами всех других народов России, включая русский, что делить партии по национальному признаку означает ослаблять силу единого социал-демократического движения. Вопросы еврейства решатся сами собой после мировой победы революции, — и поглядел на него с тем самым раввинским прищуром, в котором уже не было ничего демократического.

— Да мы тоже так считаем, — не стал спорить мудрый бундовец. — В далекой перспективе. Только когда она, эта революция, будет?

— Скоро, — успокоил его Яков.

— Вы так считаете? А у нас на Украине говорят: пока солнце взойдет, роса очи выест… — На сей раз не стал спорить Яков: не захотел вступать в перепалку с представителем партии, которая в настоящую минуту числилась их союзницей, но по сути была лишь временной попутчицей. — Посмотрите, — продолжал уговаривать тот, неправильно расценив его молчание, — в разных странах свои национальные рабочие партии…

— Которые запятнали себя участием в мировой бойне! — не

выдержав, вскипел Яков.

— Ничего, они поправятся, — уверенно предрек тот. — Все ошибаются, один Бог без греха… — и мельком глянул: что тот думает на этот счет, но Яков и глазом не повел. — Найдут общий язык — уже есть свидетельства в пользу этого: о циммервальдской конференции вы конечно же слышали. Важно другое: на этом этапе мирового революционного процесса, в силу разных причин, каждый народ должен иметь свое представительство в едином международном рабочем движении…

Но эти доводы и хитросплетения речи пропадали втуне. Яков стоял на своем, и чем меньше он теперь говорил, тем это было очевиднее.

— Только единство приведет российский рабочий класс к победе, — соизволил сказать он и заключил этим наскучившую ему беседу.

— Видно, вам евреи совсем не дороги, — ударил бундовец по последней, самой чувствительной струне. — Вспомните своего отца и мать — они вам ничего не говорят в эту минуту?

Отец уже все сказал, что мог, мать же никогда не впутывалась в такие диспуты. Якову не понравилась бесцеремонность бундовца.

— Я считаю, — сказал он, — что чем скорее еврей забудет свое еврейство, тем скорее он придет в рабочее движение.

Бундовец опешил, но за свою долгую жизнь он был наслышан многого.

— Вы как Маркс… Он тоже был антисемитом, — пояснил он, но Яков никак не оскорбился этим сравнением. — Или Иисус Христос, — еще и пошутил тот. — Для него тоже не было ни евреев, ни эллинов.

— Нельзя сидеть на двух стульях, — предрек Яков. — Либо вы националист, либо интернационалист. Третьего не дано.

— Я боюсь, и второго тоже, — возразил тот и немедленно с ним расстался: шел до того рядом, а тут резко свернул в сторону, будто ему и впрямь было не по дороге с Яковом…

Странное дело: после этого разговора Яков словно освободился от неких пут, скинул с себя последние цепи, ограничивавшие его в выступлениях на митингах и общении с рабочими. Среди них преобладали русские и украинцы, он не чувствовал теперь себя иным, нежели они, легко взлетал над повседневной рутиной и поднимался в заоблачные выси, не чувствуя себя скованным или стесненным какими-либо условностями или приличиями, из которых последними уходят национальные узы и привязанности. Он сменил и фамилию: на

партийную кличку — и стал Яковом Григорьевичем Брониным. Он на себе, кажется, испытывал то, что говорил бундовцу: надо уйти от национального, чтобы придти к Интернационалу. Теперь евреи смущали его: своей шутливой и иногда колкой иронией, с которой, даже веря ему, встречали горячность и пылкость его речей; даже в их похвалах была та легкая насмешливость, которая возвращает оратора на землю. Там, где русские верили ему без оглядки и без сомнения, особенно любя его за то, что он отрекся от своих и целиком стал на их сторону и защиту, евреи всякий раз что-то утаивали и относились к нему с долей шутливой снисходительности: они не говорили об этом, но чувствительный оратор об этом догадывался. Правда, так было только на публичных выступлениях — в обыденной жизни Яков, напротив, тяготел к своим сородичам: с ними было проще, он легко находил общий язык с ними и даже позволял себе вспоминать еврейское прошлое с его праздниками, субботним вином и кошерной едою — но все лишь в определенных пределах, до момента обращения в новую веру; после него еврейства для него не существовало: это была вторая жизнь, с первой не совместимая. И теперь, на Лубянке, когда его так грубо ткнули носом в его прошлое и нашли в нем нечто его опорачивающее, он не изменил себе: не капитану, с его убогой душой, было опровергать его жизнь и верования, но все-таки в нем снова что-то заскреблось и запросилось наружу, запертое до сих пор в стенках его жесткого, почти жестокого сердца…

Начались однообразные, с криками и руганью, вызовы к следователю, кончавшиеся всякий раз одним и тем же: капитан подвигал к нему протокол, Яков холодно отодвигал его и отказывался подписывать. Повторялась, с точностью до наоборот, китайская история, даже материал дела вертелся главным образом вокруг событий того времени — только там он скрывал правду, а сыщики ее добивались и искали в найденных при нем бумагах, здесь же от него требовали лжи и искали ее мнимого подтверждения; Яков невольно вспомнил старую, но вечно живую сказку о том, что история повторяется дважды: в первый раз в виде трагедии, во второй — фарса, но фарс в этом случае был уж очень груб и грозил обернуться новой трагедией. Сам-то он вел себя в обоих процессах одинаково: как отказывался в Шанхае и потом Ухани называть себя, так же упрямо не соглашался в Москве возводить на себя напраслину.

Капитан, прежде чем закончить дело и отдать его в производство, позвал на допрос старшего в ранге подполковника: видно, такой был порядок в отношении тех, кто отказывался сотрудничать со следствием.

— Вот, товарищ подполковник, не хочет подписывать, и все тут, — так представил он Якова, который все еще сидел перед ними в мундире с погонами, хотя китель уже неприлично измялся, а воротничок пришлось отодрать: чтоб не светился черным. — А дело очевидное, все доказательства собраны.

Подполковник, шустрый, неглупого вида, даже склонный пофилософствовать и тоже молодой для своих звездочек: здесь росли в чинах как на дрожжах: как боевые офицеры в разгар сражений — поглядел на Якова и спросил подчиненного:

— А ты говорил ему, что это ухудшит его шансы? Чистосердечное признание смягчает по нашим законам участь обвиняемого. А так он ставит и нас и себя в трудное положение.

— Говорил, конечно — слушать не хочет. Думает, подпись его много значит.

— Значит — да не так, как он думает. Даже если ему сохранят жизнь, поедет в лагерь с готовой репутацией. Неподписанты — это вроде опасных рецидивистов у уголовников, — объяснил он Якову, а потом капитану: — Это у него от папаши. Не может осквернить буковки неправдою. Замарать чистоту святого Писания.

Это задело Якова.

— Коммунисты как будто бы тоже всегда свято чтили свои книги? — сказал он со скромной, допустимой в его положении, иронией.

— Коммунисты? Никогда! — отрезал подполковник. — Это вы ничего в истории не поняли. Хоть и учились в Институте красной профессуры. Если б коммунисты держались буквы закона, они б ничего не добились. История — она же как танк. Вы танки знаете: учили танкистов в Академии. Так вот, идет она напролом, и какие там надписи на дорогах, какие дорожные указатели? Кому читать их? Тут знай только гляди по сторонам да беги подальше от ее гусениц! Коммунисты — диалектики. Думаете, те, кто подписывался у нас, не были членами партии? Надо значит надо — такой виток спирали, так партия требует. Это в вас правоверный еврей говорит, а не коммунист — я, извините, не хочу оскорблять вашего национального чувства: я против евреев ничего лично не имею, они обычно хорошие организаторы, чего нам, русским, не хватает — но и у вас есть свои изъяны… Так будете подписывать?

— Нет, — сказал Яков. — Это недостойно коммуниста.

— Ах вот как вы заговорили! — протянул тот, ожесточился и лицо его угрожающе осунулось и опустело. — Тогда идите: с вами все ясно. Коммунист, видите ли! Да вас давно выгнали из партии. А что это он у вас в мундире щеголяет? — взъелся он на

капитана. — Да еще со звездочками?

— Да пусть, — ухмыльнулся тот. — Так даже забавнее.

— Сам бы содрал погоны, да не хочется мараться!.. — Но Яков, всецело сосредоточенный на своей судьбе, сегодня, видимо, решившейся, уже не слышал его — равно как и того, как в своей забытой всеми могиле преждевременно скончавшийся Гирш Лихтенштейн загремел истлевшими костями и закричал с запоздалой радостью:

— Молодец, Янкель! Не подписал им, сукиным детям, индульгенцию!..

Отца приговорили к десяти годам лагерей строгого режима по печально знаменитой 58-й статье: пункты «а», «б», «в», «г» и прочие — за то, что он был завербован в Ухани китайской разведкой (англичан оставили в покое), и за участие в «рабочей оппозиции».

7

После вынесения приговора им разрешили переписываться. Вот письма Рене: писать правильно по-русски она так и не научилась.

«Дорогой Яков!

В начале ноября я получила твою открытку с новым адресом. Послала тебе за это время одно письмо и несколько журналов. Больно писать об этом, но я не имею никакой возможности посылать тебе в настоящее время продовольствие. Никогда еще мы так тяжело не жили. С работой у меня никак не налаживается. Я так устала чувствовать себя паршивой и нигде не нужной, что не хочется жить.

Летом и осенью я делала несколько попыток переходить на другую работу. Мне очень хотелось идти работать к профессору Сеппу. И он доброжелательно к этому отнесся вначале. Затем кто-то помешал, я не знаю, какие аргументы были применены, но я получила очередную большую травму, тем более что я необычайно высокого мнения о Сеппе как об ученом и человеке. Мне очень тяжело думать, что у него обо мне мнение как о ком-то нежелательном.

Приглашали меня на работу в одно военное учреждение в качестве врача, но никто не согласился дать мне партийные рекомендации, чтобы оформиться. Пыталась поступить в Академию медицинских наук научным работником — мне ответили: мест нет, когда я знаю, что там, куда предполагалось меня направить, 5 свободных ставок.

Работаю по-прежнему в своей первой терапии, при тех же людях. Владимира Харитоньевича все нет и нет. Благодаря вмешательству тов. Ворошилова «им» не удалось меня уволить. Но расправа идет по другой линии: не дают ни больных, ни студентов. Превращают меня, знающего свое дело врача, в телеграфиста, я только должна расшифровывать эту ерунду, ЭКГ, и ничего больше. Работы каждый день на час, не более. Неужели нельзя мне найти работу по квалификации? В настоящее время организуется новый терапевтический институт АМН. Была на днях на приеме у директора этого института. Конечно, я не нужна там тоже. Но я хочу работать, хочу получать за свою работу минимальный прожиточный минимум (1700 р.), и я буду все делать, чтобы попасть в этот институт. Думаю, что есть еще и другие выходы, кроме веревки с узлом, о которой я слишком часто стала думать в последнее время. Попрошусь на прием в ЦК к тов. Суслову. Не может быть, чтобы не было выхода из этой

бездны несправедливости и безразличия.

Дети в настоящее время здоровы. Учеба у них идет по-прежнему хорошо. Самик остается неустойчивым, часто болеет, но быстро поправляется.

Инна учится в институте с успехом, продолжая при этом работать. Дуся совсем молодцом, все делает дома сама. Без нее было бы совсем тяжело. Жанна и мама шлют тебе привет. Жоржик заболел скарлатиной.

Пиши чаще.

Извини за мрачное письмо, но это, думаю, все же лучше, чем не писать, ссылаясь на постоянно мрачное настроение.

Целую тебя крепко. 18 ноября 1951 г.»

Сепп заведовал клиникой нервных болезней. Его книгой «Происхождение и развитие нервной системы позвоночных» мать тогда, несмотря на все свои беды, зачитывалась: это был для нее способ отвлечься от реальности. Книга была в самом деле замечательная. Сепп был сухой, неразговорчивый, невысокого роста человек лет шестидесяти, не желавший ничего знать, кроме своей науки. Его книгу она прочла, потому что занялась проблемами смежными с неврологией: такова была тема ее новой научной работы — и пришла от нее в восторг, в сызмала свойственное ей состояние экзальтации от прочитанного. Ей очень уж хотелось работать вместе с таким человеком. Она пошла в институтский отдел кадров, которым руководил некто Зилов, второй после П.К. Анохина профессор физиологии. Он сказал ей без лишних церемоний:

— Вы коммунист и должны понять, что, если у меня будет выбор между вами и русской женщиной, я, конечно, возьму ее, а не вас.

— Почему вы не брали тогда русских на разведку? — спросила она или только хотела спросить — дома так и не поняли из ее короткого, неохотного рассказа. Она решила жаловаться Ворошилову. Она и раньше могла это сделать, но прежде был Яков, и ее обращение к члену Политбюро неизбежно выглядело бы как их совместная, заочно подписанная им жалоба. Неизвестно, как бы взглянули на это в Академии или в Управлении, и она этого не предпринимала. Теперь руки у нее были развязаны, она написала Клементу Ефремовичу, который должен был помнить ее с Шанхая. Ей пришло короткое извещение о том, что Ворошиловым направлено письмо в институт. Она не знала, что в нем было: ей не дали с ним ознакомиться, но письмо сделало свое дело — ее перевели в нервную клинику. Здесь она была консультантом-терапевтом, ни с кем из здешних специалистов не сталкивалась и не состязалась (поскольку не

была невропатологом), но это не мешало, а лишь помогало ей готовить докторскую. Сепп одобрил ее научную тему, но не более этого: держал ее на расстоянии — впрочем. он и ближайшим сотрудникам своим не уделял большего внимания. У нее теперь было много свободного времени — это позволило ей взять совместительства в двух или трех местах, и денежный вопрос решился сам собою.

Совмещение поддерживало ее не только материально, но и морально: изгнанная из одного места, она словно копила другие, запасаясь ими впрок на случаи будущих крушений. Может быть, получением и этих мест она обязана Ворошилову: отделы кадров обычно наводят справки по прежнему месту работы, а там не могли не дать знать о столь важном обстоятельстве, как содержащееся в личном деле письмо Заместителя Председателя Совнаркома. Ей дали работу в закрытом военном госпитале летчиков: доверили расшифровывать их электрокардиограммы (что оказалось непростым делом, потому что у молодых людей после летных перегрузок на современных истребителях на ЭКГ возникали картины, сходные с инфарктными, и она долго не знала, как их читать: если бы она оценивала их в «штатском режиме», то половину летного состава надо было освободить от полетов). Потом она устроилась в поликлинику Академии наук, где ей дали вести двадцать академиков вместе с их семьями. Тут она снова столкнулась с элитой российской науки — яркими, светлыми и неповторимыми умами: не всех же перебили и не все были столь ничтожны и бездуховны, как профессора Первого мединститута. Она лечила М.М. Герасимова, историка, археолога и скульптора, восстанавливавшего облик доисторических людей и исторических личностей по черепам и скелетам. На столе у него стоял гипсовый бюст Ярослава Мудрого, а руки его никогда не бездействовали и, пока он сидел в очереди у ее кабинета, лепили из конфетной фольги оленей, собак, кошек, которых он презентовал ей на приеме. Был философ В.Ф. Асмус: тихий, сдержанный, скромный — само воплощение цивилизации. Был наконец Н.М. Крылов: член большой Академии с 1929 года, автор фундаментальных трудов по общей математике, но хулиган и живописнейшая личность; его передали ей с превеликим облегчением, потому что прежних врачей он не признавал и третировал: не стеснялся, например, говорить им, что ему лень ходить в туалет и он писает с балкона своего дома. Так оно было или нет, оставалось неясным, но налицо было неуважение к доктору. Он и к ней за глаза отнесся вначале пренебрежительно: «Что? Француженка, которая заведует ЭКГ? Знаю я этих француженок! Они ни русского, ни французского не знают!» — но

тут же побежал к ней на прием знакомиться. В молодости он жил в Париже, примыкал там к анархистам и, видно, на всю жизнь сохранил свои предпочтения и первоначальную мятежность характера. Они разговорились, вспомнили Париж двадцатых годов, его бывших товарищей, которых узнавали по широкополым черным шляпам и таким же большим галстукам-бабочкам, называвшихся «лавальер», помянули добрым словом вождя анархистов Себастьяна Фора, которого Рене лично, конечно, не знала, но о котором, как все, слышала. Воспоминания эти оказались столь дороги мятежному сердцу Николая Митрофановича, что он проникся к ней если не любовью, то полнейшим доверием и отныне не признавал никого больше, а шел советоваться к ней по всем без исключения врачебным вопросам.

Легче с деньгами, лучше на работе — менялся и тон писем Якову. Письмо от апреля 1952 г:

«Дорогой Яков!

Поздравляем тебя со скоро наступающим праздником. Целуем тебя, дети и я, и желаем всякого благополучия. Скучаем без тебя и ждем с нетерпением конца…

Мы все здоровы. Дети живые и веселые. Сережа, как всегда, проказник и шалун. Сегодня воскресенье, мы были утром в театре, смотрели сказку «Аленький цветочек», после чего, конечно, Сережа все время изображает пискливую кикимору. Дети получили большое удовольствие от сказочной постановки. Жизнь у них течет интересно, да и сами они любознательны и активны, так что умеют находить настоящий интерес.

Питаемся сейчас несколько лучше, снижение цен было для нас чувствительно. Живем лучше. Это скоро сказалось на здоровье детей. Они, особенно Сережа, стали лучше кушать, вид у него заметно оживился. Самик пока избавился от ангин и выглядит хорошо. Но, вероятно, через два месяца нужно будет возобновить курс пенициллина. Инна занимается усердно, получает на экзаменах одни пятерки. Она здорова, признаков утомления пока не проявляет. Она молодец.

Что касается меня, то ничего нового о себе сказать не могу — все тебе хорошо известно.

Дуся сегодня празднует Пасху и угостила нас вкусными куличами и пасхой своего изготовления. Она здорова и, как всегда, неутомимая работяга.

Мама и Жанна здоровы, Жоржик тоже. Я нигде не бываю — да и некогда. Больше года не видела Ксению — она не звонит. Давно не видела брата — он послал поздравительную телеграмму детям на день рождения, как министрам. Не видела давно

Партигула с Диной Семеновной: не хожу никуда — разговоров меньше. Я очень довольна своей новой работой, очень интересуюсь ею; правда, многому надо учиться и дело очень трудоемкое, но зато интересно жить, когда есть над чем думать. Прихожу в восторг от чтения русских и французских классиков невропатологии и психиатрии. Легче живется, когда сознаешь, что были и есть такие умные, глубокие и гуманные люди»… (конец утерян).

Положение как будто бы устанавливалось на новом, но вполне приемлемом для нее и для семьи уровне. В пустующую после ареста Якова комнату вселили одинокую женщину, Августу Васильевну Окорокову, преподавателя испанского одной из закрытых военных академий. Это была очень приветливая, веселая и интеллигентная дама, иметь с ней дело было одно удовольствие.

Жизнь понемногу устанавливалась, появилось подобие достатка, и Рене даже набралась дерзости и попыталась вернуть утраченную семьей дачу.

В 1947 году Яков, как и другие старшие офицеры Академии, получил участок в подмосковных Жаворонках для дачного строительства. Яков поспел конечно же к концу дележа и получил то, что другие оставили без внимания, — заболоченный кусок смешанного леса, ельника, перемежающегося дубами и осинами. Яков — он был, конечно же, человек сугубо городской и военный — прельстился в особенности дубами, которые представлялись ему генералами от леса: он считал, сколько их у него, больших и маленьких; осины же, как младшие лейтенанты или даже прапорщики, не шли в счет и не заслуживали его внимания. Его товарищи по работе, вчерашние крестьяне, больше понимавшие в деле, взяли себе кто поляну, кто цельный сосняк, кто ровный и чистый ельник, но Яков, по недосмотру и по невежеству, взял все-таки лучший участок: смешанный лес живее и богаче чистого, и даже болотца украшают его, потому что, когда их осушают, трава на их месте растет особенно густо. Начали возводить дом, быстро поставили сруб, которым Яков гордился особенно, потому что строители сказали ему, что он из какого-то невероятно качественного леса, а он свято верил любому слову рабочего (сруб же был самый обыкновенный, из еловых бревен разного калибра); покрыли его крышей. Больше ничего сделать не успели: Якова арестовали. При обыске кроме прочих документов забрали и те, что касались дачи: разрешение на строительство, право на участок и так далее, без чего нельзя было и думать о продолжении стройки — даже если б на нее были деньги. Знаменитый сруб, крытый шифером, чернел от дождей; доски,

приготовленные для строительства, разворовали братья-полковники: не оставлять же врагу народа. (Справедливости ради надо сказать, что не все соседи приняли участие в грабеже: особенно старались двое, но зато все как один выставили свои туалеты к забору падшего хозяина, так что участок со всех сторон обступили прямоугольные домики с двускатными крышами.) Время, отведенное на стройку, было ограничено, через год-два надо было сдать приемной комиссии хотя бы первый этаж будущего строения — в противном случае участок должны были передать другому, а там уже ждала живая очередь. Рене, которой нечего было терять, как-то собралась и поехала — не куда-нибудь, а на Лубянку, в приемную, куда лишний раз не ходили. Ее принял капитан, учтивый и усталый. Она сказала, что просит, чтоб из всего взятого во время обыска ей вернули документы на дачу.

— Зачем? — спросил он.

— Чтоб достроить дачу, — был ответ.

Капитан оторопел, окинул ее взглядом, который она так и не смогла потом забыть: взгляд утомленного и всего насмотревшегося человека, который увидел вдруг нечто необычное, из ряда вон выходящее и мужественное.

— Я попробую вам помочь, — сказал он и сдержал свое слово: через неделю она получила то, что просила. Это было первое чудесное спасение дачи — обреченной, кажется, самой судьбой на подобные испытания…

Документы она получила, но на какие шиши, как говорила Дуся, строить, когда денег еле хватало на еду, а на одежду их уже не было? Она и здесь нашла выход: два бедняка равны иногда одному богатому — отыскала второго созастройщика, столь же нищего, как она, но еще и бездомного, некоего Павла Руфановича Бабенко, столяра, который за половину дома и участка согласился достроить то, что там стояло. Он быстренько отделал свою половину, сдал ее комиссии — пока что на имя отсутствующего Я. Бронина — затем начал тянуть и мешкать. Он был из тех мастеров, что не могут кончить начатого и застревают на мелочах, до бесконечности их отделывая. Все ополчались против него за это: и Рене, и его собственные жена и дочка, потому что он и дома не строил, и не зарабатывал, а только и делал, что шлифовал доски, перестраивал начатое и точил свои инструменты. Например, фасадный забор (который был длиной более восьмидесяти метров, потому что участок был по тем, да и по нынешним временам огромен: полгектара) он решил делать из штакетника таким образом, чтоб каждую досточку заострить сверху наподобие пики, а посередине еще дважды просверлить дрелью и соединить отверстия в виде пустых сердечек. Старший

сын, любитель столярничать, помог сделать пики, но от вырезания сердечек наотрез отказался, так что авторский замысел остался незавершенным. Так или иначе, но дело как-то сдвинулось с мертвой точки, и вскоре семья уже проводила лето в голых бревенчатых стенах недостроенного, но от этого лишь еще более уютного и лучше пахнущего дома…

Все, словом, еще раз понемногу налаживалось — хоть не на прежнем, на ином, но тоже достойном уровне — но тут Рене сразил новый удар: оттуда, откуда она вовсе его не ждала. По этому поводу можно сказать, что когда беды перестают одолевать нас извне, остается опасность, что они могут напасть на нас напоследок изнутри.

8

Всегда есть возможность поскользнуться на ровном месте — особенно если существуют люди, готовые подставить тебе ногу. Мщение первой терапии настигло ее и на новом месте. В нервную клинику, где она была терапевтом-консультантом, поступил не вполне ясный в диагностическом отношении больной, колхозник с Алтая, у которого она первая обнаружила тяжелый ревматизм, поразивший едва не все его органы, включая нервные. Она назначила лечение от ревматизма, быстро добилась улучшения в состоянии и продолжала лечить, втайне гордясь своим успехом: она стала к этому времени тихоней и скромницей. Больной готовился к выписке, когда произошло следующее. Одна из заместительниц Сеппа (его самого не было) делала вечерний обход, обнаружила в клинике терапевтического, как она сочла, больного и распорядилась перевести его в первую терапию. Дежурный врач так и сделал. Больной при переводе был в хорошем состоянии, пришел в новую клинику на своих ногах, ужинал, играл с соседями в домино, лег спать, а ночью умер: в больницах случается всякое. Дежурный терапевт, мельком осмотрев его с вечера, даже не счел нужным записать ему дневник и, когда наутро принесли историю болезни умершего, переполошился и с испугу и себе в ущерб стал описывать его задним числом как тяжелого; он таким образом ставил себя же под удар: почему не принял меры — а напиши правду, ни в чем виноват бы не был. Теперь обвинили обоих. Почему Рене, когда она не переводила больного и не присутствовала при этом? А это надо было придумать. Потому что она, когда писала ему дневники в неврологической клинике, не отмечала, что больного нельзя транспортировать, то есть перемещать с места место. Каждый, кто имеет хоть какое-нибудь отношение к медицине, сочтет это абсурдным: вопрос о транспортабельности решается, когда больного хотят перевести, заранее об этом никто не пишет, но когда есть заказ, годятся и не такие доводы. Пошли разговоры о юридической ответственности, устроили расширенную конференцию двух клиник для разбора случая. В.Х. Василенко и Б.Б. Коган (шло лето 1952-го, и обоим недолго оставалось гулять на воле) тряхнули благородной стариной и выступили в ее защиту: отметили высокое качество диагностики и полное совпадение диагноза с результатами вскрытия (которое так и не объяснило причину смерти, но и это бывает), сказали, что она непричастна к случившемуся. Недоброжелатели, однако, не унимались и, действуя по заранее согласованному плану и

пренебрегая мнением профессуры, стали говорить, что дело надо передать прокурорам, а когда она, выступив, сказала, что не чувствует за собой вины, некий молодой человек из тогдашних номенклатурных комсомольцев чекистского вида и склада, ничем прежде ничем не выделявшийся, спросил ее — невыразительно буркнул во всеуслышание:

— А совесть вас не гложет?.. — И это-то и подкосило ее и словно сразило молнией: она оставалась впечатлительной…

Может, у этой истории и не было бы никаких последствий и заготовленный сценарий прокрутился бы вхолостую, но она не выдержала: нервы ее сдали — конечно не столько из-за разыгранного сейчас театра, сколько из-за всего вместе. Перед ней стоял пример безвинно осужденного мужа, она продолжала состоять с ним в браке и выглядела поэтому неблагонадежной, а вскоре арестовали и ее адвокатов, Когана и Василенко: началось пресловутое «дело врачей» и некоторые профессионалы и любители сыска искали продолжений и побочных линий этого мрачного средневекового фарса.

После этого она сошла с ума. Ей всюду стали мерещиться направленные против нее козни и провокации, а когда один из ее больных умер внезапной и непонятной ей смертью, потребовала судебномедицинского вскрытия, считая, что его умертвили, чтобы угробить и ее с ним вместе. Потом ей стали казаться вещи, вовсе не ладящие со здравым смыслом: она увидела в руках одного из коллег «финку» и, как бы сомневаясь в этом, спросила у старшего сына подтверждения этого: «Ты ведь тоже ее видел?» Сын растерялся и ответил самым неопределенным образом: он был всецело под влиянием матери — она же утвердилась в своих подозрениях. Она была вся напряжена, сама не своя, переменилась лицом и телом: появились какие-то странные мелкие движения пальцами: будто она что-то перебирала. Вскоре после этого она попала в клинику, в которой была уже однажды и которая располагалась в непосредственной близости от нервной. Здесь к ее воображаемым страхам прибавились вполне обоснованные: не отберут ли у нее детей и что вообще с нею и с ними будет. Дети и вправду оказались на время полусиротами. Дуся оставалась за единственную хозяйку, Жанна помогала чем могла, но дела у нее у самой шли неважно, она вынуждена была менять хозяев-арабов, которые платили ей раз от разу все меньше. Деньги кончились. Отправили делегацию к Лазарю — тот дал до смешного маленькую сумму. Ольга Ефремовна, распоряжавшаяся финансами, сказала, что они и без того пострадали от ареста отца: дядю на следующий же день понизили в должности и соответственно в окладе. Коллеги из нервной

клиники помогли устроить сыновей в пионерский лагерь — тогда всем стало чуть спокойнее. К этому времени (ее лечили по-тогдашнему, инсулиновыми шоками) она уже отошла от бредовых идей и вела себя более чем разумно. В клинике ее знали и относились к ней как к коллеге: как относится к своим охрана в лагере — не выпускали, но зато разрешали сидеть в богатейшей (теперь разворованной) библиотеке, которую собирали отцы отечественной психиатрии, — она из первых рук знакомилась здесь со своим заболеванием. Вышла она из состояния психоза не без ущерба для психики: с одной стороны, свободно пользовалась умом и всеми своими способностями и духовными качествами, с другой — не вполне сознавала, что была больна: не то чтоб не знала этого, но вела себя так, как если бы ничего не было, и ни с кем не говорила о случившемся. Все ее страхи и подозрения не покинули ее окончательно, а как бы скрылись в потемках ее души и остались в них, готовые проснуться и вспыхнуть при неблагоприятном стечении обстоятельств; она стала жить как бы с тлеющим фитилем на пороховой бочке, и самое скверное здесь было то, что это происходило в голове, в самой ее середине, чего со стороны не изменишь и не поправишь.

Но тогда, когда она вышла из клиники, у нее был конечно же чистый ум и особенно ясный взгляд на вещи, особое, достигаемое только таким страшным путем, мысленное хладнокровие. Она поняла, что никогда не будет больше работать в Первом мединституте, что он не оправдывает ее усилий, что даже столь любимая ею научная работа, которой она так дорожила и так долго грезила, не стоит того, чтобы играть с огнем и дальше: в жизни есть другие, более насущные и близкие ей и родным, цели. Она подала заявление об уходе, и в отделе кадров его приняли с благодарностью.

Уйти из клиники еще не значило получить работу в практической медицине. Она подрабатывала на старых местах, в поликлинике Академии наук и в госпитале для летчиков, но там было лишь совместительство и в обоих случаях на полставки: на постоянное место ее ведь и там не брали. На всякий случай она походила по научным учреждениям, поняла, что никому не нужна, и направилась в райздравотдел, где все прямо и просто рассказала. Ей так же просто и прямо объяснили, что если она хочет получить ответственное место участкового терапевта, ей нужно развестись с мужем: этой простой выход из положения почему-то до сих пор не приходил ей в голову. Она согласилась и написала Якову, что поступает так из-за детей и рассматривает развод как фиктивный, — он же, человек в подобных вещах щепетильный и не признававший никаких уловок, никогда не

упрекал ее за это: ни тогда, ни после. Развод с осужденным, как известно, прост до неприличия: достаточно заявления одной стороны — так сказать потерпевшей.

Она стала участковым врачом в поликлинике на Дорогомиловской улице. Вначале она оплакивала уход из клиники. Участок представлялся ей местом ссылки и гибели ее как специалиста. К счастью, на деле все оказалось иначе. Работать здесь было не менее интересно, чем в клинике. Потребовался весь ее опыт, все знания, накопленные в двух клиниках, — и учеба в третьей и четвертой тоже бы не помешали. Парадокс заключается в том, что на место участкового врача (место для многих непрестижное и непривлекательное) должны идти самые опытные и знающие доктора с большим стажем и широким медицинским кругозором: на прием приходят больные с самыми разными заболеваниями, которые надо знать, чтобы хотя бы направить их к нужному специалисту.

Ее участок состоял из двух частей: домов по Можайскому шоссе (ныне Кутузовскому проспекту) и барачных общежитий на пустыре, теперь застроенном. На шоссе жили люди побогаче и покапризнее. Они считали, что поликлинический врач нужен для того, чтоб продлить больничный лист, и что настоящие врачи не здесь, а в клиниках; она же, насмотревшись всякого, знала, что и в клиниках бывают разные доктора и что с годами они там лучше не делаются, а часто теряют то, чем обладали прежде. Но она не разубеждала этих гордецов, а когда они уж очень раздражали ее высокомерием и подачками, которые она пренебрежительно отвергала, говорила им, что она кандидат наук, но не считает, что сделалась лучше после присвоения ей этого звания. Они после этого начинали вести себя с ней иначе, будто она вдруг поумнела и выросла у них на глазах, «понимали» теперь, почему она отказывалась от их подарков: они не соответствовали ее ученой степени — и готовили к следующему разу что-нибудь посущественнее. Звания и должности заменяли титулы иных времен: под разными именами скрывалось одно и то же человеческое тщеславие.

Сердце ее принадлежало баракам: она словно вспомнила французское прошлое и свои пролетарские замашки. Условия здесь были самые тяжелые: в огромных помещениях жило до пятидесяти человек — семьи и одиночки рядом, в закутках, разгороженных ширмами и простынями. Пустырь был темный и опасный, но на нее, сколько она здесь ни ходила, ни разу не напали: врачебный чемоданчик с красным крестом служил ей защитой, безумных наркоманов тогда почти не было. Она между тем потеряла оба своих приработка: на ее места в госпитале и в

Академии взяли постоянных врачей — и совмещала теперь на неотложке той же поликлиники. На приеме было по двадцать-тридцать больных, ночью до двадцати вызовов. Получала она полторы ставки: около тысячи двухсот рублей — и с помощью фокусницы-Дуси сводила концы с концами. Но она ни за что бы не сменила это место на более легкое и обеспеченное. Сама сошедшая на дно жизненного колодца (потому что психическая болезнь опускает туда своих новобранцев), она наконец достигла основ здешнего существования — того, о чем прежде могла только предполагать или догадываться: у нее была теперь возможность беспрепятственно заглянуть в российские души и жилища. Она запоминала увиденное, со временем у нее сложилась в памяти большая стопка из коротких, но поучительных историй, которыми закончились ее российские университеты, — отныне она уже не меняла своего отношения к стране и ее жителям. Это были люди бесконечно далекие от политики, живущие одним днем, «домом, а не работой», как говорила Сузанна, — нетребовательные, принимающие в ее кабинете позу просителей, почти бесстрастные в своем долготерпении, но они же сломили хребет гитлеровских армий, а она была памятлива на все доброе, что ей когда-либо в жизни сделали. Обращаться к докторам они не любили и делали это в силу крайней необходимости — но могли и потерять терпение, незаслуженно накричать на врача, взбунтоваться, на что она никогда не обижалась: помнила, как сама лежала в больнице «общего типа» в Ташкенте. Так, однажды на бездорожье, в сугробе, застрял их «Москвич», она долго добиралась до дома пешком: шофер вызвался ее провожать, предчувствуя готовящуюся ей сцену. Когда они пришли, больной уже умер и родственники встретили их угрозами: «Из-за вас такого человека потеряли!» Она пыталась оправдаться, ее не слушали — хорошо, что вмешался шофер, которому верили больше, чем врачу, и рассказал, как было дело. Она вообще слишком многое помнила, и картины виденного непрошеными всплывали в ее сознании. Так перед ее мысленным взором навсегда остались двое: муж и жена, поддерживаемая им за локоть, — она в дверях потеряла сознание, и Рене с медсестрой едва успели отправить ее в больницу по скорой с кровотечением. Она помнила мужа, выражение застывшего страха перед угрозой любимому человеку, которому сам помочь ничем не можешь. Потом она помнила, как пришел «скандалист», по определению санитарки поликлиники: он еще у регистратуры требовал, чтобы к нему прислали «настоящего» доктора, а не такого, какой только что был у него: тот глянул мельком на его жену, сказал, что у нее климакс, а она «встать не

может». Она пошла к нему прямо с приема, оставила у кабинета хвост очереди: они жили рядом — вошла с ним в маленькую квартирку. Это было в доме на Можайском — было тесно, но все блестело той чистотой, которая наводится ежедневно и никак уж не истеричкой в климаксе. Жена «скандалиста» лежала не вставая из-за сильных головных болей. Рене посмотрела ее как терапевт и как невропатолог: у нее ведь к этому времени было две медицинских профессии — расспросила их обоих. Оказалось, что женщину год назад оперировали по поводу опухоли молочной железы. Невропатолог за недосугом не спросил об этом: слишком много вызовов, говорят в таких случаях, а муж забыл сказать — по наивной логике людей, в медицине не сведущих: при чем тут грудь, когда болит голова? Рене нашла у нее симптомы метастаза в головной мозг, сказала об этом мужу, а он не понял — как не понимают всякий раз, когда впервые говорят о смерти, — так же, как не верят вначале в аресты и в судебные приговоры. Она же, зная, что будет дальше, смотрела на него, на его двоих детей, соразмеряла его положение с собственным и находила, что ее все-таки лучше, потому что у нее была хоть призрачная, но надежда. Потом она помнила работниц с расположенного рядом пивоваренного завода: они заселяли в большинстве своем бараки на пустоши — это были такие же, как она, приезжие, но у них, в отличие от нее, были огромные «бычьи» сердца, тоже неизлечимые, — результат пивного алкоголизма. Она видела энцефалиты, тифы, как в Ташкенте, но еще чаще выдавала за тифы другие болезни — например тяжелую пневмонию, потому что воспаление легких могли не принять в перегруженные московские больницы, а тифов боялись, и с этим диагнозом никто не имел права завернуть больного — ей же нечего было терять: в худшем случае сослалась бы на свое невежество…

Денег не хватало. Она не могла, например, купить часы и научилась считать пульс без секундной стрелки. Однажды к ним зашла в дом соседка-школьница, дочь генерала: старший дружил с его сыном: тем самым, чья мать тут же побежала в школу рассказывать об аресте отца, — девочка щеголяла новенькими часиками. Ее вдруг прорвало: «Что это за страна, где девчонка может позволить себе то, чего не может купить доктор?!» Но такой ропот длился недолго — она уже научилась у русских людей внешнему бесстрастию. Яков еще терзал ее своими заоблачными просьбами: словно не понимал, где живет и в каком положении семья, — требовал от нее посылок, сердился, когда она задерживалась с их отправлением, напоминал, перечислял по пунктам, что ему нужно: сгущенку, сало, бекон, яблоки — то, что она не могла купить и детям. Он жил в лагере как в каком-то

нереальном мире: писал украдкой по ночам повесть о советском разведчике, которого поймали немцы, но он погубил их, подорвавшись вместе с ними на заранее спрятанной мине, — писал так, будто не имел о разведке и малейшего представления. Уголовники, сидевшие в его бараке, решили, что он строчит на них по ночам доносы. Не помог и показ рукописи, умещавшейся в небольшом блокноте: Яков писал ее мелким бисерным почерком — они решили, что он подсовывает им «куклу», и в науку и в назидание жестоко его избили. Он получил перелом двух ребер, осложнившийся пневмонией, и оказался в медчасти, откуда срочно запросил не что-нибудь, а фундаментальное руководство по хирургии: «Хорошо бы Бир-Браун-Кюммеля». Рене, не знавшая что и думать и готовая к худшему, бросилась на поиски многотомного руководства, напечатанного на роскошной глянцевой бумаге, с нездешними яркими иллюстрациями. Оно стоило дорого, пересылка тоже немалые деньги, но она нашла и выслала эти книги, после чего получила письмо, что они больше не нужны: хороша, мол, ложка к обеду — он уже выписался из медицинского барака, где врач попросил его о них после того, как Яков сказал ему, что его жена — московский врач, и намекнул на ее неограниченные возможности. Поскольку врач ничего для него не сделал, то и дарить их не было никакой необходимости…

Денег, словом, не было, и чем дальше, тем больше их недоставало. Одно событие сыграло, может быть, решающую роль в принятии ее нового судьбоносного решения. Самик кончал седьмой класс — надо было решать, что делать дальше: готовить ли его к институту и дать возможность закончить старшие классы или же предложить техникум, чтобы он, работая, смог получить потом высшее образование. Она намекнула ему на это, сказала, что не может долго тащить на себе непосильную ношу — он обиделся и пожаловался классной руководительнице Нелли Львовне. Та пришла к ним домой и стала хлопотать за ученика, который был лучшим в классе. Рене вздохнула, вспомнила себя во Франции (ох уж эти лучшие ученики), решила, что поступает несправедливо по отношению к сыну (но ей очень уж хотелось остаться врачом, и это было смягчающим ее вину обстоятельством), еще раз все передумала и махнула рукой теперь уже и на медицину — решила стать переводчицей. Она до войны подрабатывала переводами на радио, потом, увлекшись книгой Сеппа, перевела ее на французский и вручила, через старшего, который был у нее на таких посылках, обожаемому профессору. Тот этого жеста не принял, повертел перевод в руках, сказал, что он ему не нужен, и вернул: он ведь был человек сухой и скупой на реверансы. Сеппу он оказался не нужен, зато она на

нем набила руку и вошла в курс ремесла, для нее не совсем нового. Следующая книга, избранные труды И.П.Павлова, была переведена по заказу издательства и получила за рубежом самые лестные отзывы. За время, что она ее делала, она заработала вдесятеро больше, чем если бы работала врачом на двух ставках. Участь ее была решена, ее выбор снова был навязан ей другими. Она капитулировала под напором внешних обстоятельств и в третий раз отказалась от своего дела в жизни. Но на этот раз отказ был особенно болезнен: медицина — такое занятие, от которого непросто отстать и отвыкнуть. Переводить легко и сытно, но быть врачом, когда начинаешь что-то понимать в этом непростом деле, — удовольствие ни с чем не сравнимое…

Оставалось утешение, что она украдкой, даже не одной ногой, а одним следом от чужих туфель возвращается на родину — хоть и не под своей фамилией, а как никому не известная Бронина, и не на заглавном листе, где значились громкие имена и фамилии, а петитом под ними, мелким шрифтом, который читает далеко не каждый.

9

В стране начались перемены. В марте 1953-го умер Сталин. Семья не оплакивала эту утрату. Самик не пошел в школу на траурный митинг, сославшись на простуду: диагноз ему ставили дома. В апреле газеты известили о прекращении «дела врачей», о том, что их оклеветала врач Тимашук и из-за этого они и пострадали. Остроумцы из числа марксистов назвали сообщение «апрельскими тезисами» — по аналогии с предреволюционной работой Ленина. Внешне все оставалось прежним, но поползли слухи о возможном пересмотре дел репрессированных — слухи настолько дерзкие, что ими боялись обмениваться по телефону: чтоб не попасть в историю, прежде чем объявится амнистия. Но телефоны снова зазвонили: прежние друзья осведомлялись о здоровье членов семьи, о том, что случилось за время длительного перерыва в общении. Многие уже знали, что вверху готовится что-то важное. Произошло смягчение лагерного режима — разрешили посещение заключенных родственниками. Самик и Инна поехали к отцу под Омск. Была осень 1954-го.

Самуил, ему было тогда пятнадцать, был в поездке за старшего: он был в отца, домашним распорядителем. Инна, которой было в это время двадцать семь, кончила институт, начала работать инженером на вагоноремонтном заводе, но оставалась живой загадкой и молчуньей; после всех общих бед она стала лучше относиться к Рене, но говорить с ней чаще не стала. У нее со времени работы на ташкентском танкостроительном заводе были отечные полные ноги — они ее портили, она тяготилась этим недостатком и давно решила, что не выйдет замуж, да, кажется, и сама не очень хотела этого: грустила и печалилась о первом предмете любви и тем и довольствовалась: любила песни о неразделенном чувстве и записывала их в укромную тетрадку.

Самик был живой, наблюдательный, лукавый, склонный, как отец, к розыгрышам, но еще и своевольный и донельзя упрямый. Когда ему было три года, отец как-то в наказание шлепнул его по мягкому месту — сын три дня потом с ним не разговаривал, был возмущен до глубины души и глядел волком — Яков больше не применял к нему мер физического воздействия. В школе он был первым учеником и держался если не заносчиво, но с превосходством: другому бы это не простили, но поскольку у него сидел отец, ему все спускали — напротив, это шло ему в зачет: «Гляди, у него отец сидит, а он нос задирает», — с одобрением говорили уличные хулиганы.

(То же было потом, когда он записался в паспорте евреем. Вернувшийся к этому времени отец посоветовал ему сделать это: «Еврей — это беда известная, не ты один, а что такое француз в России и что с ним делать, — это отделу кадров неясно.» Он стал евреем по паспорту, но вел себя с тем же внутренним чувством превосходства. Это никого не красит, а ему тем более было не к лицу, потому что в тех местах, где он хотел работать, евреев если брали, то в качестве трудяг и умственных чернорабочих, и гонора от них уж никак не ждали. «В твоем положении можно было б быть поскромнее», — сказала ему русская девушка, врач, работавшая на кафедре, где он на некоторое время задержался, а он даже не понял ее, спросил: «Что еще за положение?», и она отстала от него: не понимает простых вещей, — а у нее, может быть, были на него виды.) Оба сына давно узнали об аресте отца. Легенда затянувшейся командировки сменилась версией трагической ошибки. Это было ближе к истине: если рассматривать историю человечества как цепь ошибок и заблуждений, — но всей глубины семейной катастрофы Самуил так и не почувствовал: этому препятствовал природный оптимизм, унаследованный им от отца и не допускавший в его сознание ничего гибельного, непоправимого. Два незначительных события поколебали (но не потрясли до основания) эту уверенность в житейском благополучии, и он их запомнил. Об одном уже сказано: когда из сундука извлекли мундир отца и он оплакал его почти как саван покойника, второе было вовсе пустяковым: один из его приятелей по двору, сын генерала, в пылу ссоры показал на темное окно запечатанной комнаты и крикнул со злорадством:

— А комната-то запечатана! — и он не нашел что ответить: даже не знал толком, почему закрыта комната. — Не знаешь почему?! То-то же! — торжествующе воскликнул приятель и ушел, не пожелав обсуждать то, что и без того всем было ясно.

Он сказал это с глазу на глаз, но в более широком кругу ни за что бы этого не сделал. Генеральский дом был окружен старыми деревянными домишками: в них жили люди совсем иного рода, чем в новом семиэтажном. Дети не разбирались, кто где живет, бегали одной компанией, в которой такое высказывание было бы неуместным: среди уличной шпаны, населявшей плющихинские переулки, пребывание родителя в тюрьме или в лагере не было позорным клеймом, но несчастьем. Политзаключенные конечно не уголовники, но дети и здесь не делали различий, и высокомерный, довольно скрытный и замкнутый, но при необходимости драчливый, в отца, еврейский мальчик оказался под покровительством дворовой шпаны, что запомнил, потому

что пошел в мать памятью.

Итак, он не понимал глубины постигшего семью несчастья и теперь наверстывал упущенное. Три дня езды в тряском омском поезде настроили его на нужный лад, приготовили к восприятию истины, которая была до сих пор для него за семью печатями. Но пока ехал, он был все еще спесив и самонадеян и, сходя на перрон омского вокзала, спросил свысока: «Как можно жить в городе с таким грязным вокзалом?» Вокзал действительно не был мыт, наверно, со времен постройки, но Инна в ответ только пожала плечами: она в Ростсельмаше видела и не такое.

Они приехали — был уже вечер — пошли в гостиницу, которая оказалась в отношении чистоты достойным продолжением вокзала, но Самуилу было уже не до этого: начались события, в которых он был не сторонним наблюдателем, а прямым участником. Инна подошла к администраторше и попросила номер, публично разгласив цель их путешествия: она и не думала скрываться и вообще отличалась прямотой души и некоторой врожденной неосмотрительностью. Администраторша особым образом переглянулась с горничной, и Самуил сразу почувствовал, как, до того посторонний, чужой, никому не нужный, включился в напряженную, насыщенную страстями жизнь, вовлекся в заговор, в котором он с сестрой и администраторша с горничной были по разную сторону от баррикады: сотрудники гостиниц были на попечении органов безопасности, регулярно ими инспектировались и инструктировались. Это мимолетное, но выразительное переглядывание женщин почему-то ввело его в курс дела лучше, чем все прочее: и в этом отношении он был похож на мать, которая запоминала лица людей и по ним ориентировалась в жизни. Правда, мать была в душе оптимисткой, она любила человеческую улыбку — сына улыбки интересовали в меньшей степени, в нем жила отцовская подозрительность.

Следующее утро было пасмурным, но без дождя — лучшее время для путешествий: когда ничто не отвлекает от заветной цели. Они вышли из гостиницы и стали спрашивать прохожих, где лагерь такой-то, — далее шла комбинация из пяти знаков. Прохожие отнеслись к ним без той настороженности, что администраторша и горничная, напротив — со скрытым сочувствием. Лагерей вокруг было много, но местные разбирались в их географии и показали им трубы нефтеперегонного комбината, видневшегося в степи, в стороне от города, — казалось, на небольшом от них расстоянии: степь, как вода, скрадывает размеры — он был похож на корабль, бросивший у порта якорь. Они по неопытности решили идти

пешком — их вовремя остановили, объяснили, что до лагеря пятнадцать километров, топать по целине трудно и незачем: ходит рейсовый автобус. Они сели в него и покатили по наезженной грунтовой дороге.

Сойдя с автобуса, они оказались в непосредственной близости от зоны, посреди площади-пустыря, на котором располагалось лагерное управление. Справа и слева от него тянулись заборы, перемежаемые, как кремлевские стены, башнями вышек, но, в отличие от Кремля, обмотанные сверху колючей проволокой. Здесь они впервые увидели колонну заключенных, и она произвела на них неизгладимое, ни с чем не сравнимое впечатление — до того были лишь темные догадки и предчувствия. Триста или четыреста человек: глаз не различает в таких случаях точных чисел — остриженных наголо, небритых мужчин в телогрейках, в ватных штанах, в уродливых несоразмерных ботинках, шли на работу под конвоем сторожевых собак и солдат-охранников. Шли они особенной, не виданной ими прежде поступью: не торопясь, мерно — словно нарочно замедляли шаг и саботировали движение колонны, а на лицах у всех, несмотря на различия в возрасте и характерах, было одинаковое, подневольное, как сам лагерь, выражение. Они шли не по своей воле, вопреки ей, делая чужое, но неотвратимое, неизбежное дело и глядя на мир как бы с другого его конца. Так глядят, наверно, вниз души усопших: они тоже мечтают вернуться к близким, но знают, что это невозможно, и идут мимо такой же шеренгой, невидимыми, невещественными тенями. Это были отверженные с несмываемым клеймом на глазах и лицах. Они не говорили между собой: может быть, это запрещалось лагерными установлениями — или делали это так, что к ним нельзя было придраться: не только услышать речь, но и ее заподозрить — снижали голос до неслышного и говорили вбок, в сторону. Шел пятьдесят четвертый год — надежда носилась в воздухе, но здесь жизнь продолжалась по порядку, заведенному прежде. А может, их, эти надежды, здесь подавляли с особой скрытностью: чтоб не спугнуть и не навлечь на себя гнев в преддверии перемен, которым верили и не верили одновременно.

Особенно отвратительны были немецкие овчарки — бежавшие вдоль колонны и злобно лающие: их оскал напоминал о звере, выстроившем этот лагерь и населившем его невинными людьми: самого его не было, но он держал их здесь своими гонцами и представителями. Зрелище словно ударило москвичей по глазам — они вошли в контору лагеря как завороженные и не сразу очухались. Вначале сын ничего не видел вокруг себя: колонна стояла перед его лицом и заслоняла все остальное.

Потом способность воспринимать мир и поглощать его глазами и прочими чувствами вернулась к нему, и он начал смотреть вокруг себя с удесятеренным вниманием…

В приемной начальника управления было много народу: такие же посетители, как они, вольнонаемные, офицеры охранной службы. Сидели все вперемежку, линии баррикад, которая стеной стала в гостинице, на первый взгляд не было, но она присутствовала и здесь и незримо вилась между сидящими, выписывая между ними замысловатые кренделя и кружева. Майор лет пятидесяти в мятой гимнастерке, проведший сознательную жизнь на службе в местах заключения, запомнился Самуилу больше всех: майор был глашатаем времени и рупором своих товарищей. Человек этот был, наверно, по-своему работящ и честен — насколько можно быть честным в таких условиях, — у него было открытое недовольное лицо и брюзжащий голос неудачника: майор в пятьдесят лет всегда неудачник. Не глядя ни на кого в отдельности, но обращаясь ко всем сразу, он в открытую, следуя в этом своему правдолюбивому характеру и инстинкту провокатора, жаловался на перемены, происходящие в последнее время:

— Работать стало невозможно! Совсем распустились — нет никакого сладу! Говоришь — не им будто! Вчера прихожу в барак — надо, говорю, снова на работу выйти, а они будто не слышат! Не положено, видите ли! — Он повысил голос до угрожающего, словно говоря: дали бы мне волю, я бы показал им: «не положено!»

Старый служака, он на все смотрел со своей колокольни, то есть с лагерной вышки. После того, как они увидели колонну заключенных, в которой — они точно это знали, — не было ни одного истинно виноватого, его жалобы звучали особенно двусмысленно. Жалуясь, он обращался ко всем, и к родственникам заключенных, и к своему брату-охраннику: к своим, ища у них сочувствия и поддержки, к чужим — по старой служебной привычке провоцируя их и вызывая на опасный для них спор, но те и другие безмолвствовали: родственники — в силу старого как мир запрета, заставляющего ничего не видеть и не слышать на пути к желанной цели; охрана же помалкивала в силу той особой русской деликатности, которая позволяет обворовать соседа на пожаре, но заставляет наутро принести ему свои соболезнования. Все, словом, кроме него, молчали: положение для наших присутственных мест — в те времена, во всяком случае — обычное: парламент не наша сильная сторона и не наша стихия волеизъявления. Один майор говорил — но на то он и был неудачником…

Вошел моложавый, молодцеватый, стройный подполковник, обвел приемную легким, летучим, как эфир, взглядом, почему-то усмехнулся (наверно, по привычке), прошел к себе, щеголяя военной выправкой. Начался прием, и в помещении сразу стало тихо. Очередь быстро дошла до Инны с Самиком: вначале принимали приезжих — чтоб скорей от них избавиться. Подполковник, не глядя на них, подписал пропуск в зону и обратился с чем-то к секретарше. Сын напрасно искал выражения его глаз: эти люди никогда не смотрят вам в лицо — не то избегают вас, не то вами пренебрегают, но если вы случайно столкнетесь с их взглядом, он поразит вас своей пустотой, прозрачностью и обезличенностью…

На вышках были пулеметы, на территории лагеря, по миновании ворот с часовыми, догорали осенние цветы на клумбах — сочетание из ряда вон выходящее, но и оно не задержало их внимания: они волновались в ожидании скорой встречи. Их провели в караулку — место здешних свиданий. Они сели ждать отца. Две фигуры запомнились сыну с того времени: молодой и старый — знак преемственности времен, их взаимодействия и взаимопроникновения…

Дед подошел к ним, едва они вошли в караулку: предложил свои услуги и посредничество. Он был худ, щупл, одет в серую холщовую рубаху и в такие ветхие брюки, что сын, давший себе зарок ничему здесь не удивляться, все-таки изумился: как ему не холодно — сам он легко, по-французски, мерз и был простудлив. Лицо у старика было как у ребенка: простодушно-хитрое и по-детски деловитое. Он осведомился о цели их прихода, хотя она была и без того очевидна, и вызвался разыскать отца, что и без него бы сделали. Он получил их согласие, взял трешку, остался очень ею доволен. Получив деньги, он исчез и больше не возвращался, потому что знал, что за отцом уже послали по эстафете: день был воскресный. Позже отец рассказал, что дед отбыл свой срок, потом ему накинули еще один, по окончании которого он никуда не поехал: некуда и незачем — и остался жить в бараке, добившись двадцатилетней отсидкой права есть здешнюю баланду и беспрепятственно покидать лагерь, в котором уже не числился: выполнял челночные поручения охранников и заключенных и зарабатывал этим на свое существование. Узнав, что ему дали три рубля, отец необычно для себя широко ухмыльнулся и сказал, что они превысили всякую меру, — хватило бы и тридцати копеек…

Другим был молодой солдат из караульной службы, подсевший к ним единственно для того, чтобы поглазеть на девушку, насытиться редчайшим здесь зрелищем. Сын подумал,

что его подсадили к ним, чтоб шпионить, но быстро понял, что ошибся. У солдата был жадный, неотвязный взгляд, какой можно увидеть еще разве что на собачьей выставке, где привязанные суки смотрят так на кобелей, пресыщенных и им недоступных, — не хватало только, чтоб он еще скулил и вилял хвостом по-собачьи. Он ел Инну глазами, вбирал ее всю в себя, впитывал, как губка: грешил глазами, как говорили некогда, — иногда виновато и врастяжку оглядывался на Самуила, словно понимая, что ведет себя неприлично, но затем возвращался к своему пороку и продолжал визионерствовать с прежней страстью и одержимостью. Стеснительная Инна сидела как на угольях. Потом солдат как-то неожиданно и незаметно исчез: его словно смело с лавки, он растворился в общей сутолоке…

Вошел отец, и с его появлением все отошло в сторону, высветился он один, они словно остались с ним с глазу на глаз в неотгороженном отсеке караулки. Странное дело: они запомнили до мелочей его внешний вид, выражение лица, то, в чем он был, но не могли вспомнить, что он сказал им в первые минуты: в состоянии душевного напряжения у нас работают одни глаза, а уши до поры до времени словно залиты воском…

После первых объятий, неловких и непривычных из-за длительного перерыва в общении, начался разговор, медленный и негромкий, стесняемый и умеряемый соседством охранника — не того, что перед этим подсел к ним, а находившегося здесь по службе и следившего за двумя-тремя посещениями сразу. Речь отца была грустной: даже самые простые и обыденные высказывания и замечания его были преисполнены этого чувства. Он, как и все здесь, был в черном заношенном ватнике, но не стриженный, как остальные, а лысый и к тому же наголо бритый. Он начал лысеть еще дома, но там зачесывался большим чубом и прятал им срединную лысину, здесь же голова его стала голой как яйцо, и видеть это было непривычно. Он стыдился, что предстал перед ними в таком виде и в таком положении, и держался от них как бы на расстоянии: спрашивал о доме, о школе, хвалил сына за письма, за их пространность: здесь они читались всем бараком, потому что почта была единственной живой нитью, связывавшей их с остальным миром, а письма детей были к тому же безыскусней и правдивей, чем у взрослых. Он спросил о дороге и о впечатлениях от лагеря. Услыхав о бравом подполковнике, он усмехнулся (здесь у него появилась несвойственная ему прежде сдержанная и бледная усмешка) и сказал:

— Это большой человек здесь. Вроде губернатора. Он раньше был начальник всей зоны — теперь только нашего лагеря. Любил

мыться под музыку: играл заключенный на аккордеоне, и ему от бани до квартиры стелили ковры — шел по ним после парилки… — А когда сын рассказал о седом майоре и его жалобах, отец ничего не ответил — только осудительно поглядел на него, будто это были слова сына, а не майоровы, упрямо наклонил голову, потупился…

Дети плохо помнили, о чем шла речь дальше. Отец, помнится, жаловался на местный ветер, называемый «бурою». Он начинал дуть с ранней зимы или с поздней осени и не стихал неделями, делая жизнь заключенных невыносимой. Мороз в пятнадцать градусов переносился с ним хуже, чем в сорок в безветрие. В такую погоду хороший хозяин, как известно, и собаку из дома не выпустит, но у лагерных врачей не было ограничений, связанных с ветром, — были только с температурой воздуха. С людьми и собаки выгонялись наружу — может быть, поэтому они были так злы и разгневаны на все человечество…

Они вернулись в гостиницу раздавленные, измятые впечатлениями и плохо ориентирующиеся во времени: будто стрелки их внутренних часов остановились или пошли в разные стороны…

10

Через год, в сентябре 55-го, семья встречала Якова на Казанском вокзале. Он был в той же черной ватной телогрейке, в тех же лагерных штанах и ботинках и не по-праздничному, не в тон радостному событию, мрачен, отчужден и неласков. Едва освободившись от повисших на нем близких, он объявил сыну, что никогда не простит ему того, что тот не писал ему писем после поездки в Омск, в последние месяцы заключения, а с женой обошелся того круче: не обнялся с ней при встрече, произнес какие-то пустые фразы, так что та не знала, что и подумать. Сын и верно не писал ему больше, потому что считал, что все рассказал при встрече и нечего переводить бумагу ввиду его близкого возвращения: вскоре одна за другой пошли реабилитации видных деятелей, было во всеуслышание объявлено, что все дела фальсифицированы, и оставалось только ждать, когда очередь от генералов перейдет к полковникам — тем более что было сказано, что кто не подписал обвинительного заключения, будет освобождаться без повторного судебного разбирательства.

С Самуилом Яков все-таки разговаривал. Не успели они дойти до конца перрона, как он объявил ему, что собирается всерьез заняться писательской деятельностью, что у него в замыслах вторая «Война и мир» — никак не меньше, что Элли ему не пара, что она всегда была недостаточно крупной для него фигурой. «Она же плохая марксистка», — сказал он как нечто само собой разумеющееся и не подлежащее пересмотру и опротестованию, — ошеломленный сын глотал одну новость за другой и не знал, к какому из столбов прислониться.

Дома он обошелся ласковее с Дусей, дал понять, что у него нет к ней претензий, но не пожелал знакомиться с Августой Васильевной, хмуро посидел за празднично накрытым столом, прошел в спальню, разложил на письменном столе черновые тетради, так что Элли стало не по себе: есть ли для нее теперь место в этом доме, но уступил ей половину широкой кровати — пошел здесь на компромисс, не меняя отношения к ней в целом.

Вскоре все прояснилось. Он вернулся из лагеря одержимый манией писательского величия. Это было конечно же следствием лагерного одиночества, искусственного отъединения от людей, усилившегося в последние месяцы заключения: все его товарищи — а он водил дружбу только с видными людьми, занимавшими заметный пост до ареста, — ушли, и он один остался ждать своей очереди. Прежде ничего подобного за ним не замечали. Он,

конечно, высоко ценил себя — но в рамках разумного или близкого к этому: он ведь и вправду был человек недюжинных способностей, наделенный к тому же писательской жилкой — не зря же он всю жизнь изводил горы бумаги, вечно писал что-то. Но по возвращении из лагеря он себя ни с кем — разве только со Львом Толстым — не сравнивал и пренебрежительно отзывался о писателях-одногодках, особенно о тех, кто писал о лагерях, говоря, например, о Солженицыне, что он «исказил образ советского заключенного». Звучало это сумасбродно, но если расспросить его, становилось понятно, что он имел в виду: герои Солженицына думали лишь о насущном хлебе и жили одним днем — его же товарищи, с его слов, как и он сам, жадно ловили новости с воли, обменивались накопленными прежде знаниями, сохраняли свойственное им с воли чувство собственного достоинства.

Рукопись была никудышной. Самуил хоть и не писал писем, но, привезя ее из лагеря, исправно носил по издательствам, потом, поскольку ее отовсюду возвращали, — по знакомым: чтоб протолкнули, пользуясь связями. Из всех читателей только один доброжелательно настроенный к отцу человек, в прошлом тоже разведчик, нашел на первой странице рукописи зарисовку, свидетельствующую о наличии у автора писательских способностей: дети на крыльце обсуждали появившегося там героя повести (который как раз нес мину, чтоб спрятать ее в подвале дома) и обменивались на его счет меткими, по-детски наблюдательными замечаниями. Больше ничего свежего и списанного с природы во всей повести не было, но Яков требовал ее немедленного напечатания и устраивал в редакциях сцены, мотивируя свои требования, как водится, соображениями высшего порядка.

Потом он огляделся, одумался, пришел в себя и угомонился: он ведь был по природе своей человек разумный, здравомыслящий. Он вначале отложил, а затем и вовсе бросил не удавшееся ему писательство, перестал считать и называть себя гением, стал похож на прежнего Якова — трудного и себялюбивого, но подчиняющегося жизненной дисциплине. Он брался теперь за любую работу и наверстывал упущенное: вернулся в Общество распространения знаний, был неутомимым «лектором-международником» и разъезжал по стране в составе лекторских групп. Мало того — перевел книгу по психологии: добился, чтобы перевод дали ему, хотя это было не его дело и на него были более достойные претенденты; написал трехтомное руководство, учебник для родного Управления; собрал список того, что издал за все годы: этот перечень возглавляла

«Политграмота красноармейца», написанная в 1925 году, потом брошюра «ВКПб и крестьянство» в 26-м и «О пролетарской революции и опасностях перерождения» в 28-м; опираясь на этот список, добился приема в Союз журналистов, в его международную секцию, попытался занять в ней главентвующее положение, но там уже были свои тузы, не пожелавшие отдавать первенство и не допустившие до него чужака, так что он охладел к Союзу и даже перестал платить членские взносы. Зато пристроился к Институту мировой экономики и международных отношений, который возглавлял Е.М. Примаков, включился в план работ, написал политическую биографию Шарля де Голля, защитил ее в качестве кандидатской диссертации — и это далеко не все, что было им тогда сделано, сказано и написано. В доме стало два кандидата наук, хотя это мало что прибавило: может быть — дополнительную скидку при оплате квартиры, света и газа. Ему, конечно же, не это было нужно: он доказывал, что способен еще на многое, что «есть еще порох в пороховницах», — это было в ту пору его девизом.

Жизнь возвращалась к тому, что было до ареста. Якову дали большое выходное пособие: выплатили все не полученные им годовые оклады и прибавки за звание за шесть лет, освободили комнату, занятую Августой Васильевной, которая получила другое жилье в военном ведомстве. Восстановились и прежние отношения в семье. Не претендуя более на всемирную славу и забыв фантазии, Яков и дома стал довольствоваться тем, что имел: решил, что синица в руках дороже журавля в небе и что жить с обеспеченными тылами спокойнее, чем пускаться в его возрасте в сомнительные авантюры. В дом вновь пошли косяком гости: та же Ксения Иванова — с детьми и без них; Ценципер, член партии с 16-го года — женщина приветливая и улыбчивая: известная тем, что в девятнадцатом году поехала с трехлетней дочкой на Гражданскую войну, оставила ее на каком-то полустанке незнакомой ей женщине и лишь по прошествии трех лет взяла дочь обратно; полковники-отставники из Управления. Люди эти были не самые близкие, но Яков по-прежнему настаивал на строгом отсеве гостей: те, кого он принимал, были достойны его приема и создавали видимость светской жизни, дополнявшей трудовые будни.

Дали участок земли созастройщику Павлу Руфановичу, и он, получив отступные, съехал со своей половины и отправился строиться на новое место. Теперь дача стала летним домом, где жила вся семья, включая Жоржетту. Жанна получила квартиру и жила в ней с семьей сына. На дачу она не ездила, Жоржетта же привыкла к ней: все ее крестьянские привычки ожили на

российском участке. Он плохо годился для огорода, потому что был вчерашним лесом, но Жоржетта неустанно возилась с землей: рыхлила грядки, воевала с сорняками — все в соревновании с Дусей, с которой они говорили на разных языках — в прямом значении слова. Ни Дуся не знала французского, ни Жоржетта русского, но обе умудрялись понимать друг друга, причем Дуся оказалась более восприимчивой к чужому языку, чем Жоржетта: в ее лексиконе появились слова «бисиклет» вместо велосипеда или «фрез» вместо клубники — они стояли возле одной плиты и разговаривали каждая по-своему, но все, кажется, друг у друга понимая.

Все вроде было как прежде, все, да не так. Во-первых, сам Яков, даже оттаяв от лагерной заморозки и немного ожив, совсем таким, как прежде, не стал: сделался жестким, несговорчивым, иногда бесцеремонным. Он никому не хотел прощать потерянные им годы. Так, он отказался вернуть одному из своих истинных старых друзей полковнику Абрамову взятые у него незадолго до ареста деньги: тот ссудил ему на постройку дачи большую для себя сумму и теперь, ввиду полученной Яковом компенсации, смиренно ждал возврата долга. Яков отказался вернуть его — почему, неясно, но за этим отказом стояла та же обида безвинно осужденного человека: будто остальные были в этом виновны. «Нет так нет», — сказал Абрамов, и Яков потерял товарища, но отнесся к этому бесстрастно. Так же не захотел он вернуть Августе Васильевне и части денег, истраченных ею на ремонт комнаты незадолго до его возвращения, и она рассталась с семьей с обидой и с прекращением знакомства. Якову и это было нипочем: он только ожесточался, когда ему предлагали пойти на мировую: «Я-то здесь при чем?» — говорил он, а жаль, поскольку хорошая была женщина.

Но все это были, что называется, цветочки — настоящие ягоды зрели внутри самого семейства. И Яков был не тот, и семья к этому времени изменилась: в ней выросло сопротивление его диктату. В доме не на шутку, а всерьез разыгралась война между отцом и Самуилом — конечно же на идейной, политической почве, потому что во всех прочих отношениях Яков был до безразличия снисходителен и покладист. В идеологических же вопросах он по-прежнему не знал пощады и потачки и становился, точь-в-точь как прежде, гневен и нетерпим в спорах — пребывание в лагерях его ничему не научило. Особенно обострились отношения между отцом и сыном после восстания в Венгрии, которое расценивалось ими, естественно, по-разному. Дома чуть ли не каждый день закипали словесные баталии. Старшему было тогда лет 17–18, и он схватывался с отцом по

любому спорному поводу, выбирая для этого обычно те, в которых оба мало что смыслили: генетика, джаз, танцы. Так было легче спорить: яснее прослеживалась политическая составляющая дискуссии. Отстаивались диаметрально противоположные мнения: Яков с криком и подчас с пеной у рта обвинял старшего в том, что он идет на поводу у буржуазной пропаганды, не видит за деревьями леса, сын же отца — в том, что он видит политику там, где она не ночевала.

— Ты не понимаешь, что политика везде и во всем! — кричал отец и отстаивал Лысенко, чье близкое падение было еще не всем очевидно, или же ругал джазменов такими словами, что их, по его логике, нужно было немедля отправить туда, откуда он сам только что прибыл. Задирал отца сын — Яков уже понял, с кем имеет дело, и охотно бы обошелся без стычек и без препирательств со столь ничтожным оппозиционером, но Самуил, названный так в честь погибшего революционера, нарочно подбрасывал дров в вечно тлеющий костер и выбирал для нападок самое неподходящее для этого время — воскресные обеды, которые отличались в семье обстоятельностью и торжественностью: на них Яков сообщал, в частности, домочадцам последние новости за неделю. Повторялся бунт молодого поколения: внуки, как известно, мстят за нас детям.

— А вот вчера, — как бы вскользь и некстати, после изложения событий в Европе и на Ближнем Востоке, закидывал удочку старший, — опять на школьном вечере парторгша (это была та самая Нелли Львовна, которая спасла его от техникума) не давала танцевать танго: разводила пары в стороны…

— И правильно делала! — отрезал отец, вступая в спор, несмотря на его очевидно провокационный характер. — Вы ведь не умеете отличать буржуазную музыку от социалистической!

Самуил ухмылялся: нарочно, чтоб позлить отца, который уже поднял голову и насторожился — вместо того, чтоб есть чудесную душистую куриную лапшу, приготовленную Дусей.

— Я знаю одного джазиста, который сел только за то, что слушал эту музыку по приемнику. Сосед донес, что ему таким образом передавали скрытую шифровку. Ты говоришь что-то в этом роде. В чем буржуазность танго? В том, что слишком липнут друг к другу? Так это и в вальсе так. И что нам вообще танцевать прикажешь — «Яблочко?»

Яков вскипал:

— Вас, как дурачков, ловят на эти танцы, а вы поддаетесь на дешевые трюки!

— Знаешь, за что пять миллионов посадили?! — Можно было подумать, что сын сидел в лагере, а отец все годы оставался на

воле. — Вот за такие бредни!

— Во-первых, не пять миллионов, а самое большое — один, а во-вторых, что ты называешь бреднями?!. — и Яков глядел ястребом.

— И за что только тебя посадили? — вскипал в сердцах сын и тем окончательно портил отцу обед: он не любил, когда ему напоминали о лагере.

— Вы есть когда-нибудь будете? — возмущалась мать, защищая семейный покой и не становясь ни на чью сторону в этом бесплодном споре. — Ни одно воскресенье не обходится без скандала! — и бросала неодобрительный взгляд сначала на одного, потом на другого: оба друг друга стоили…

Спор конечно же велся ради спора: ни тот, ни другой танцев не любили и ни танго, ни «Яблочко» не отплясывали. У старшего были другие склонности и увлечения. До седьмого класса он был, как в свое время его родители, председателем совета дружины, затем — секретарем школьного комсомольского комитета. В отсутствие отца никто не стеснял его в развитии, он привык к самостоятельности. Рене не руководила им, но охотно делилась тем, что знала; она умела рассказывать, а он любил ее слушать; она вела себя с ним на равных, а это всегда льстит детям и потом — юношам. В восьмом классе, еще до приезда отца, с Самуилом что-то произошло: он начал сомневаться в существующем порядке вещей и задумываться — решил, в частности, что в школьной комсомольской работе нет должной свободы и самостоятельности, что все ждут лишь приказа и сигнала свыше. Он решил изменить это положение и сорганизовать класс на новых началах — собрал для этого несанкционированное учителями собрание (он ведь был секретарем комсомола школы) и предложил своим одноклассникам нечто вроде самоуправления:

— Это ж нам прежде всего надо. Зачем нам вечное руководство сверху? Мы сами во всем разберемся.

Одноклассники заулыбались, проголосовали «за», выбрали даже комитет из своих представителей и разошлись, чтоб жить по-новому, не особенно представляя себе, в чем оно будет заключаться. Все бы ничего, но сын не нашел ничего лучшего как, не дожидаясь развития событий и опережая его, выступить со своим нововведением на районной комсомольской конференции: выступление было с места и никем в школе не санкционировано. Он повторил уже сказанное и добавил, что у себя в классе он уже начал эксперимент и живет теперь в условиях полной автономии.

Вышел скандал, и грандиозный. С конференции, конечно, сразу же сообщили в школу об экстравагантной выходке ее

секретаря. Директор, добродушный и детолюбивый человек, был вне себя: он больше всего на свете боялся таких историй. Школьный завуч, худая желчная женщина, сохранившаяся с прошлых времен и служившая общественным зорким оком, публично и не обинуясь, обвинила Самуила в анархо-синдикализме и предупредила его, что ему это так не пройдет, что его выпад навсегда останется в соответствующих анналах. С этим анархо-синдикализмом было какоя-то наваждение: французскую линию в семье обвиняли в нем в который уже раз и не сговариваясь. Сын мало что понимал в этих делах и пренебрег угрозой, но соответствующая запись, возможно, и в самом деле имела место и бросила тень на все последующее в его жизни.

Не завуч, правда, определяла лицо школы, где учились оба сына, и не она задавала здесь тон: просто случай попал под ее юрисдикцию. Директор, Дмитрий Петрович Преображенский, возглавлявший это учебное заведение еще с тех времен, когда там была женская гимназия, вел себя порой так, будто с тех пор ничего не изменилось: брал на работу толковых и дельных учителей, изгнанных из других мест именно за эти качества или за какие-то иные, недопустимые в ту эпоху промахи. Михаил Владимирович Фридман, литератор, известный в последующем переводчик с румынского и сам писатель, вынужденный уйти из института, когда там началась кампания борьбы с космополитизмом, был одним из них. В школе он начал издавать рукописный журнал, подталкивать учеников к пробе пера и собирать пишущую братию — он-то и подвигнул Самуила на писательство. Была еще блистательная Евгения Яковлевна Дубнова, в какое-то время не удержавшаяся в театральном мире, где тоже не любят людей слишком способных и самостоятельных, и нашедшая приют в этой же школе; позже она стала-таки прекрасным театроведом. Был еще Михаил Степанович Екименко, великолепный преподаватель английского, имевший несчастье закопать в окружении партбилет и потом не найти его. Было много других таких же «недотеп» и «недоумков», и благодаря им в 31-й московской школе (ее теперь нет: в ее здании разместился суд) царила или, скажем точнее, теплилась и влачила трудное существование необычная для того времени атмосфера ищущей мысли и подспудной, неявной критики происходящего, что в России возможно только там, где собираются так называемые неудачники. Но и в этой школе надо было блюсти приличия. Самуил был сам виноват в случившемся: нечего было лезть на рожон, да еще за пределами школы, ставя ее под удар и выставляя в невыгодном свете. Его оставили в выборной должности, но прежнего доверия к нему не испытывали и

категорически запретили выступать где бы то ни было без ведома и позволения начальства. Впрочем, он сам уже охладел к «руководящей работе» — переключился на литературное творчество: начал сочинять пьески, которые исполнялись в самодеятельном театре, им же и организованном. Пьесы были дерзкие и директору не нравились, но имели успех на районном смотре самодеятельности: их запретили для внутреннего показа, но разрешили для вывоза. В искусстве и в политике произошло таким образом нечто прямо противоположное: автор мог ставить свои опусы лишь на стороне, политик же годился только для внутреннего употребления — парадоксы, случавшиеся тогда не только на этом уровне.

Отец раздумал быть писателем, старший им становился — да к тому же тяготел к драме. Поэтому, наверно, он и выискивал для ссор наиболее эффектные, выигрышные положения. Особенно часто он находил их в прихожей, когда гости покидали гостеприимный кров: это наиболее важные и проникновенные минуты, когда подводят итог вечеру — а подчас и всей жизни — и где хозяевам оставляют особенно теплые, ободряющие их напутствия: время самое неподходящее для раздоров и внесения щемящей, тревожной ноты — этим парадоксальным приемом будущий (так и не состоявшийся) драматург широко пользовался.

Например, та же Ксения Иванова, которая шесть лет отсутствовала, а теперь вновь зачастила к отцу, задерживалась в дверях и, жуя губами, начинала вспоминать прошлое и философствовать о прожитом — как если бы сказанного за столом было недостаточно.

— Да, мы прожили тяжелую, трудную жизнь, Яков. Не все это знают и понимают. — Взгляд на Самуила — наполовину дружеский, наполовину взыскующий: она знала о разногласиях, царящих в доме, и хотела поддержать старого товарища по партии. — Но наши потомки все расставят по местам и скажут… — тут она повысила голос: тоже была оратор не из последних, — что лишь благодаря таким, как мы, наша страна и поднялась до тех высот, которые сейчас занимает, и выдержала все испытания. Верно, Элли? — обратилась она за поддержкой к Рене, хотя преспокойно могла обойтись и без нее. Самуил не мог не подхватить брошенной перчатки.

— Но не сказать, чтоб вы все это делали даром, — сказал он с наигранным спокойствием и мнимым сочувствием.

— Как это рассудить? — Ксения сбоку и непонимающе посмотрела на него, отец отчаянно замахал руками, чтоб не слушала, а Самуил разъяснил:

— Вам платили, я думаю, немалые деньги, и у вас были и

другие привилегии. — Ксения Иванова была директором Парка имени Горького, и он не боялся здесь ошибиться. Это была деспотичная, крутая женщина: что называется, мужик в юбке — но редкие мужики бывают столь же властными, какой была эта дама.

Ксения Иванова обращала все в не очень смешную шутку:

— Тут что-то не так, Яков. С этим товарищем надо поработать. Хорошо если он только дома это говорит, а если в других местах?.. — и глядела многозначительно: она бы показала этому спорщику, будь он под ее началом. Отец отмалчивался, раздумывая в эту минуту над тем, что сын неисправим и что надо как-то решать квартирный вопрос. Но и молчать было нельзя: могли неверно истолковать.

— Ты же знаешь: они теперь все шибко самостоятельные! — с издевательской ноткой произносил он, наскоро прощался с гостьей, закрывал за ней дверь и отходил сумрачный и неразговорчивый.

Или с Ценципер. Историей этой женщины, которая отдала своего ребенка на три года неизвестной украинке на полустанке, можно было детей пугать, но это была очень благожелательная и приятно улыбающаяся особа, к которой трудно было придраться. Но и она подставляла бока — и тоже почему-то в прихожей, на которую оставляли обычно самые ценные признания. Несмотря на свой преклонный возраст, она участвовала в разных общественных комиссиях и особенно любила комиссию по переименованию площадей и улиц: это было ее истинное призвание.

— Сегодня мы поставили вопрос о переименовании Чистых прудов в бульвар Цюрупы, — вспомнила она на пороге, забыв ввести хозяев в курс дела раньше. Самуил пришел в ужас:

— Чистые пруды в бульвар Цюрупы! Вы что, не чувствуете, какая это крамола?!

Яков не выдержал: очень уж дорожил гостьей — шутка ли: с шестнадцатого года в партии — и предостерегающе возвысил голос:

— Это тот Цюрупа, который привел в Москву поезд с продовольствием и упал перед Лениным в голодном обмороке.

Сын и это подверг сомнению:

— Дошел до Ленина и упал? Пахнет легендой. Мог бы упасть и раньше. Голод чинов не разбирает.

— Какие чины?! — не выдерживал отец. — Ты думаешь, что говоришь?! Какие чины у Ленина?! Дикость какая!

Ценципер глянула насмешливо на юного спорщика: она видела в жизни всякое.

— Да он у тебя нигилист, Яков.

— Вы сами нигилисты! — в пылу спора возражал сын. — Я же не против Цюрупы, — лицемерил он, идя на мировую, хотя сочетание Цюрупы с бульваром очень уж резало его слух, — назвали бы его именем какую-нибудь улицу на новостройке. А вы Чистые пруды хотите переименовать. Нигилисты и есть! Чистейшей воды!..

Гостья уходила, думая о состоянии умов нового поколения, а отец в очередной раз ломал голову над тем, как разрешить создавшееся положение: сын не давал ни спокойно жить, ни работать. Повторялся его конфликт с отцом — он сам теперь видел это — но он-то ушел из дома, а Самуил, кажется, не собирался делать этого.

— Если хочешь, я устрою тебя в разведку, — сказал он как-то без большой связи с предыдущим: это была домашняя заготовка. — Нет, мне это ничего не стоит, моя протекция много значит, — повторил он, когда сын с ходу отверг его предложение: может быть, посчитал отец, решил, что разведка ему как еврею недоступна. Но сын во второй раз и наотрез отказался пойти по стопам родителей: у него были другие планы на жизнь, и Яков вынужден был отступиться, а так хорошо все было задумано. Сын рассказал о разговоре матери — та обомлела, услыхав, и разозлилась — дальше некуда: отец не предупредил ее об этом демарше. Но и так тоже долго продолжаться не могло. Сын сам это знал и объявил, что копит деньги на кооператив и намерен съехать, — только тогда в дом пришло спокойствие: появился свет в конце туннеля.

Самуил кончил к этому времени школу с золотой медалью, и поскольку эта медаль давала ему преимущества при поступлении в вузы, решил поступать в самый престижный из них: в Институт международных отношений. Он подал документы, но умные люди посоветовали ему не терять времени и взять их обратно: евреев принимали туда с процентными ограничениями и свои преподаватели на много лет вперед разобрали скудные вакансии. Он перенес документы на факультет журналистики университета и вначале был направлен на собеседование. Его он не прошел, потому что не смог ответить на вопрос сфинкса из экзаменационной комиссии: «Какой самый страшный удар нанес по состоянию умов культ личности?» Никто бы не ответил. Оказалось, что тот, что отучил людей думать. Золотой шанс утек, он сдавал потом туда же вместе с серебряными медалистами, опустившись на ступеньку ниже, два экзамена, устный и письменный: устный сдал на пятерку, а письменный — на четверку, хотя его сочинение по Гоголю было признано по

содержанию лучшим: в нем на двадцати страницах было четыре ошибки. Меньше ни один смертный на таком пространстве не сделает: я эту книгу пишу еще хуже, но на то есть редактор, а на письменном экзамене это самый удобный способ отсеять всех нежелательных.

Семья оставалась в представлении властей не вполне лояльной, неким чужеродным элементом и во втором своем поколении: обычная награда всем перебежчикам. Самуил, не особенно расстраиваясь по этому поводу, забраковал задним числом, как лисица виноград, оба вуза, которые не учат профессии, а дают лишь возможность (при наличии связей) занять место в жизни, и пошел в институт, дающий человеку пожизненное ремесло и возможность им заработать: в тот самый Первый Московский медицинский институт, с которым так много было связано у его матери. Кончив его, он решил стать психиатром: больше платят, длиннее отпуск, и профессия может пригодиться и дома. Он продолжал писать, носил в театры сочиняемые им по вечерам пьесы, но везде наталкивался на цензуру, которая в то время была всесильна и несговорчива, а он не хотел поступаться ни единой своей строчкой. Не сошелся он и с театралами: они, как и цензура, тоже не хотели видеть и показывать правду, но подражали в этом самому российскому зрителю, который больше всего на свете любит хорошо кончающиеся сказки, зеркал же в доме не жалует, а Самуил бредил истиной. Он не унывал, зарабатывал врачебным трудом и женился. Со своей девушкой он встречался давно — она была медсестрой в больнице, он познакомился с ней, проходя практику; потом она тоже получила врачебное образование. Это была русская девушка, звали ее Алла, она была маленькая, красивая, как китайская фарфоровая миниатюра, но на взгляд Якова — не очень общительная: он основывал это мнение на том, что она не принимала участия в разговорах на общие темы и помалкивала. Именно этим, помимо ее красоты, она и полюбилась сыну: у них с отцом были разные вкусы (а может, и наоборот, схожие, только отец скрывал свои от других и от себя тоже — как не очень приличествующие человеку из общества). Так или иначе, но когда Яков, дружески усмехаясь, спросил сына, не скушно ли ему будет с его девушкой, сын отрезал:

— Нет, не скушно, — а матери, с которой по-прежнему был более доверителен и разговорчив, пояснил:

— Если выбирать, мама, среди красивых и умных, надо останавливаться на красивых, потому что красота — налицо, а с умом сложнее: говорят, дурак, дурак, да умный, умный, умный, а дурак… — Он к этому времени был уже законченный циник и

писатель. Мать в ответ только застонала:

— Ооо! — решила почему-то, что его слова относятся к ней и ни к кому больше…

Младший, Сережа, был всегда ближе отцу: так уж повелось с самого начала. Яков любил брать его к себе в воскресное утро и возиться с ним в постели — старший в этом возрасте был недотрогой и не любил даже, когда его гладили по головке: отворачивался. Яков и Сережа распевали вдвоем песни тех лет. «Эх дороги!»— запевал отец: у него был красивый баритон, а Сережа подпевал: «Пыль да тулуман» — так это и запомнилось. Сергей и в политических спорах не принимал участия: когда подрос и осмотрелся — они были ему неинтересны; Самуил же ссорился с отцом, потому что был из одного теста с ним: ему не хотелось видеть себя в стареющем зеркале. Впрочем, с Яковом и другим было нелегко: он создавал иллюзию бодрости и веселости, но они выглядели напускными, от него исходила аура некой наигранности: нельзя было понять, действительно ли он в хорошем настроении или только его симулирует. И как и прежде, с гостями он был проще и веселее, будто тяготился домашними. Только с Дусей у него были вполне обычные житейские отношения, строящиеся на простых вещах — таких, как стирка белья и готовка пищи. Он постоянно нуждался в опеке и помощи.

— Дуся, где мой китель?

— Висит в маленькой комнате, куда вы его вчера повесили.

— А где это? — и вертел в воздухе рукой, изображая нечто вроде росчерка пера и давая понять, что имеет в виду авторучку: они давно уже, экономя слова, перешли на понятный Дусе язык жестов.

— На кухне. Вы вчера свое бибиси слушали и в блокнот записывали. — Она всегда оказывалась права, Элли было за ней не угнаться.

Вернулась из поселения мать Инны — Инна переехала к ней. Та долгое время пыталась добиться от Якова компенсации за оставленное Инной жилье, ее доли в семейном пае, но у Якова не так-то просто было что-либо выцыганить — он просто пропускал мимо ушей все намеки и инсинуации.

Сергей кончил школу — тоже с золотой медалью, пошел на физический факультет университета, блестяще закончил его, был одним из самых способных студентов на курсе, поступил в институт Академии наук, где охотно помогал другим, не заботясь о собственной диссертации: его буквально заставили ее защитить, потому что нельзя было иначе. И он женился — тоже на русской девушке, тоже будущем враче и тоже Алле — ее в семье звали, в отличие от первой невестки, Аленой. У обоих сыновей родилось

двое детей с пятилетним промежутком: у старшего сыновья, Алексей и Александр, у младшего — дочери, Екатерина и Ирина.

Таковы были семейные новости. Рене жила с семьей Сергея, с Дусей и с Яковом. Отношения в доме были неровные: было слишком много хозяек под одной крышей, что вело к трениям, — Рене подумала, подумала и решила пожить одна. Жизненный цикл ее близился к завершению. Она сменила несколько профессий, поездила по миру, осела в стране — не самой легкой для жизни, но и не самой скучной из всех возможных, родила двух сыновей, которые, в свою очередь, продолжили начатый ею с мужем род. Возможно, ее жизнь с Яковом были не такой, какой она хотела видеть ее с самого начала, но эти отношения вообще редко когда удаются, а рассчитывать на то, чтобы брак, заключенный на необитаемом острове, куда выбросило волной обоих брачующихся, оказался стойким и по возвращении на большую землю, было бы просто наивно. С возрастом Яков стал терпеливее, терпимее, спокойнее и даже добрее, но игра была сделана, кости брошены и наступало время уходить из-за игорного стола — с проигрышем или выигрышем, этого никто никогда не знает. Она вступила, с помощью Управления, в жилищный кооператив и стала ждать получения квартиры, потому что те, что у нее до сих пор были (не считая первой квартиры на Трудениковском), ей не принадлежали. Мужа она оставляла преданной ему Дусе и делала это без претензий к ней и без какой-либо досады: Дуся от этой опеки ничего, кроме пожизненных хлопот, не выиграла. Но она донесла свой крест до конца: она любила своего хозяина, а он отвечал ей взаимностью — в том смысле, что предпочитал ее заботы и попечение Эллиным…

Кооператив был выстроен — Рене переехала в собственное жилище, где могла позволить себе небольшие капризы и прихоти. Круг ее жизни замкнулся: она входила в него одиночкой и выходила из него ею…

У нее бывали прежние страхи и фантазии, призраки прежней болезни, которые беспокоили ее и заставляли иной раз делать глупости, но это не сюжет для романа, а материал для истории болезни лечившего ее доктора. Старший сын, психиатр, ездил к ней тогда вдвое-втрое чаще обычного и снабжал ее своими снадобьями. Одна из таких «глупостей» был развод с Яковом и раздел по суду имущества. Она вдруг ни с того ни с сего настояла на этом, желая не то насолить ему, не то поставить жирную юридическую точку в их отношениях. Состоялся суд, который принял такое решение, но в жизни это мало что изменило — если не считать того, что Якова не утвердили членом партбюро при

ЖЭКе, потому что он был теперь разведенным. Он был этим разочарован и жаловался старшему, отношения с которым заметно улучшились после его отъезда:

— Меня ведь из-за этого не выбрали. Всегда же есть скрытые недоброжелатели. Одна встала и спросила, женат ли я и, если нет, почему в таком возрасте развелся. Каким-то образом распространилось. Я смолчал — не говорить же, что это произошло не по моей, а по ее инициативе: ни одна бы женщина в это не поверила…

Такова была скрытая месть Рене, но имущества не делили и она осталась при своем интересе, при своем разбитом корыте…

Ее жизненный цикл близился к завершению, но судьба готовила ей еще одно и едва ли не самое захватывающее приключение, доставившее ей одновременно и счастье от увиденного, и горечь от утраченного. Это был пересмотр всей прожитой ею жизни…

Она дважды съездила в некогда оставленную ею Францию.

11

Прелюдией к этому был приезд отца Робера, который снова вышел из небытия и объявился в Москве: в первый раз в составе профсоюзной туристической группы, без какого-либо своего отдельного интереса, во второй — с далеко идущими личными планами.

Основоположник российской ветви анархо-синдикализма разыскал Рене еще в 1956 году — через издательство «Прогресс», в котором она работала: нашел в переводах ее фамилию, которую знал от француженки, жившей какое-то время в Москве и знавшей Рене и как Марсо и как Бронину. В том же году он впервые приехал в Москву, дважды был у дочери дома, со всеми перезнакомился, живо наблюдал за местной жизнью, делал на наш счет меткие замечания, всем в семье запомнившиеся. Так, увидев в первый раз, как в троллейбусе взрослый уступает место ребенку, он сказал: «L'enfant est roi ici» («Ребенок — здесь король»), а про советское шампанское: «C'est bon, mais c'est ne pas du champagne» («Вкусно, но к шампанскому отношения не имеет «) — Яков каждый раз повторял это изречение, когда подавали к столу советское шампанское (а другого тогда не было). Робер выглядел ухоженным, благополучным, держался независимо и чуть-чуть снисходительно: как истинный француз, всегда готовый к насмешливой и дружественной иронии. Якова он раскусил сразу, и когда тот начал за столом, по своему обыкновению, возвеличивать все отечественное (будто вербовал агентов на нашу сторону), перебил его и без зазрений совести обозвал «шовинистом» («Chavin»), «ура-патриотом». Во Франции это слово в обиходе: им награждают тех, кто чересчур хвалит свое, а у нас звучит, наверно, оскорбительно. Яков с трудом проглотил эту пилюлю: он ведь никому не позволял оспаривать свои суждения, но тут уступил — видно, из соображений единства международного рабочего движения.

Отец показывал свои значки: члена Интернациональной бригады в Испании, где был примерно в одно время с Рене, но, конечно, по разные стороны фронта, и участника Сопротивления. Другому бы по миновании войны этого с лихвой хватило для безбедного существования, но у Робера и здесь вышло не как у людей: у него была странная черта отказываться от дела, манкировать им, именно тогда, когда оно могло принести доходы. Франсуаза говорила, что Робер ей «не удался», потому что она слишком рано оторвала его от груди, — такое вот наивное фрейдистское объяснение. Так или нет, но с

Сопротивлением у него вышла в последние недели войны размолвка, недоразумение, из-за которого его чуть не обвинили в измене, хотя дело ограничивалось, по-видимому, обычной его халатностью и неуместной забывчивостью. В результате разбирательства его, вошедшего в Сопротивление с самого начала, не стали преследовать, но и не признали вполне благонадежным, а те, кто вскочил в поезд в последнюю минуту, оказались у дел и у кормушки. Впрочем, рассказывал он об этом неохотно, и что было в Сопротивлении и сразу после него, понять с его слов (да и не с его слов тоже) было трудно. Еще он сказал Рене, что она чиста перед французской полицией, что на нее в архивах нет ничего компрометирующего и что это настолько верно, что с ее паспортом в Париже в годы войны и оккупации жила женщина, — какая он не стал говорить, давая понять, что и он знает правила хорошего тона. Он отдал ей эти не раз использованные документы, и Рене, хотя дело было давнее, вздохнула наконец с облегчением.

Он уехал с группой — тогда и разговора не было о его переселении в Союз, но в 1961 году он приехал сюда именно с такой просьбой и почти требованием. В этот раз его, по его просьбе, пригласила Рене — пожить с ней месяц, он же вознамерился остаться навеки. К этому времени Рене перевела гору книг: ими был забит целый книжный шкаф — у Робера дома тоже была богатая коллекция ее переводов, и он, по простоте душевной и по примеру Франции, решил, что дочь его — миллионерша, которой ничего не стоит приютить у себя заблудившегося в жизни родителя. Он жил в семье: уже не столь благополучный и самоуверенный, как в первый раз, но тише и скромнее, — и ждал приглашения, а его не было. Причина была, конечно, не в том, что Рене не понимала, чего он хочет, или же, посчитав свои ресурсы, решила, что не сможет прокормить отца: она не могла забыть обиду, нанесенную ей в детстве, — в редких случаях и она умела быть злопамятной, и тогда это было надолго.

Вскоре они объяснились.

— Ты знаешь, у меня давно чешутся руки дать тебе хорошенькую оплеуху? — начал Робер: он ведь был все-таки ее отцом, а во Франции, хоть это и не Китай, родительские отношения прочнее и долговечнее наших.

Рене удивилась: отвыкла, видно, от родных обычаев.

— И за что же мне, сорокавосьмилетней женщине, эта оплеуха?

Она ни за что бы не угадала его ответа:

— За то, что в тридцать восьмом году ты не помогла мне перебраться в Советский Союз! — безапелляционно сказал Робер

и неприязненно взглянул на нее.

Это не надо было, конечно, принимать всерьез и дословно: он бы сюда не поехал, а если б и приехал, то ненадолго — это было напоминание о том, что пора выполнять то, что не было сделано раньше. Она так его и поняла и рассердилась:

— Послушай, отец! Это не я, а ты оставил нас с матерью, когда мне и трех лет не было!

Он тоже разозлился: оба были вспыльчивы.

— Никто не может заставить мужчину жить вечно с одной женщиной. Я же помогал тебе в учебе. Кем бы ты была без меня?

— Помог, а потом связал меня с нелегалами, и вся моя учеба пошла насмарку!

— Ты жалеешь об этом?

— Я ни о чем, отец, не жалею, но в семнадцать лет человек не волен сам принимать решения — родители должны направлять его действия.

— Это что, римское право? — с недружелюбной иронией спросил он. — Которому никто уже не следует. Ты б видела, какие мальчишки участвовали в Сопротивлении. И не спрашивались у родителей. Ты просто не хочешь мне помочь. Тогда, когда я больше всего в этом нуждаюсь! — он встал, прошелся по комнате, сгорая от нетерпения и потребности двигаться. — Неизвестно еще, кто кому нужнее. Я посмотрел, как ты живешь. Ничего привлекательного. Француз в России всегда будет в изоляции.

— Зачем же ты стремился сюда в тридцать восьмом?.. Пойди к матери — может, она тебя примет.

— К Жоржетте?! Что я там не видел — с ее убогой головой и узостью мышления? Ты меня спихнуть к ней хочешь?

Теперь Рене обиделась за мать:

— Какая есть. Другой у меня нет. Это женщин можно выбирать до бесконечности, а с матерью не выходит.

— Ты и в этом меня обвиняешь?! Это уж совсем тебя не касается!..

Слово за слово — он вышел из себя и вправду чуть не дал ей оплеуху, которую сулил с самого начала, но в последний момент передумал, свернул чемоданы и съехал в гостиницу, где платил большие деньги за номер и жил в надежде, что дочь изменит решение: очень уж не хотелось ему ехать в дом для престарелых — а именно так и решался его вопрос на родине. Самуил посещал его в «Метрополе». Он жаловался на неудобства в этом самом дорогом тогда отеле:

— Жопу не помоешь. Вчера занимаюсь этим в туалете — вдруг дама входит!.. — и смотрел внушительно и неприязненно,

будто внук был виновен в этом.

Единственным светлым пятном в этом его посещении Советского Союза была встреча с пионерами на прогулочном теплоходе, на котором он поехал прогуляться и развлечься. Те узнали, что он француз, обступили его кружком, пытались лопотать по-французски под руководством своей учительницы, запели что-то из школьного курса; ему повезло — это была школа с изучением французского. Робер был растроган: пионеры восполнили бесчувствие его дочери — в тогдашней России иностранцы были в редкость, и перед ними старались отличиться. Самуил жалел его: он, в отличие от Сергея, был замешан на французских дрожжах — и, когда менял в последний раз деньги в «Метрополе», доложил свою сотню, чего дед, разумеется, не заметил…

Рене не смягчалась, Робер заказал обратный билет. На Белорусский вокзал его пришло провожать все семейство. Робер ехал не столько во Францию, сколько в дом для престарелых: у него не было ни жены, ни дома, ни сколько-нибудь солидной пенсии. Даже за дом для престарелых платил его преуспевающий брат Андре: тот, что был капиталистом. Робер суховато попрощался с провожавшими: к нему вернулась его прежняя насмешливость, настоянная на этот раз на неприветливых чувствах. Рене он потрепал по щеке: видно, по той, на которую у него чесались руки, — и сказал:

— Остается здесь. Вот бедняжка, — и с тем и сел в вагон: видно, не знал, как уязвить ее побольнее…

Они однако продолжали переписываться. Отношения Рене с отцом были сложными с самого начала и оставались такими до конца дней его. Они всегда таковы, а когда родители покидают детей в раннем возрасте, в особенности.

«Москва, 23 сентября 1962.

Дорогой отец!

Ответа на мое последнее письмо нет, и я начинаю думать, что оно не дошло до тебя. Твое я получила и сразу же на него ответила. В нем я пишу, как тяжело мне было узнать, что ты ищешь дом для престарелых.» (Робер наверно разозлился, читая эту фразу, и именно из-за нее и не ответил.) «Это в самом деле грустно. Но поверь мне, не лучше и, лишившись родных корней, остаться одной на чужбине. Все мое так называемое приспособление обрывается и летит к черту. Да его и не было никогда на самом деле. Нет ничего хуже, как жить в чужой стране: в конце концов тебя отовсюду гонят и вытесняют, изолируют в моральном отношении. Пока ты молода и ослеплена избытком собственной энергии, этого не замечаешь, но нельзя

заблуждаться всю жизнь — начинаешь понимать, что пошла не тем путем, а дороги назад нет. Приходится топтаться на месте. а это занятие не из приятных.

Папа, я бы хотела, чтобы ты прочел это письмо. Не потому что я хандрю, предаюсь мрачным мыслям и хочу поведать тебе об этом. Совсем нет. Это не черная меланхолия, а попытка найти выход. Мы были вместе совсем недолго, но я ощущала исходящую от тебя нравственную поддержку. Я часто думаю о тебе и хочу, чтобы ты знал это. Несмотря на все остальное. На обстоятельства, которые представляют собой основу, саму плоть нашего существования. Я знаю, что ты меня понимаешь.»

Робер, может, и понял, а я не очень. Может быть, Яков воспротивился тому, чтоб он остался в России, а мать представила дело так, что сама это решила: чтоб не выглядеть послушной игрушкой в руках мужа, что для француженки невыносимо? Она между тем продолжает жаловаться:

«Нет ничего тяжелее, чем остаться без Родины — без надежды туда вернуться, быть оторванным от своих, потерять возможность черпать силы и вдохновение в духовном и душевном мире тебе подобных. Еще раз прошу, не думай, что я настроилась жаловаться тебе. Я просто ставлю точку в своей жизни, и вот это настолько грустно, что словами и передать нельзя.

Прости меня. Ты единственный человек на земле, кому я могу сказать все это. Пиши мне и не думай, что и только и делаю что хнычу. Ничего подобного. И я очень люблю твои письма, они утешают меня и поднимают мне настроение.

Еще раз извини, если письмо получилось мрачным. Я еще не отчаиваюсь.

Целую и обнимаю тебя. Твоя дочь Рене.»

Отец так и не ответил: видно, разозлился на нее не на шутку — он всегда был эгоистом. Борцы за народное счастье часто бывают ими. Он поселился в доме инвалидов в Монтро, городке под Парижем, платил за него Андре — поэтому условия там должны были быть приличными.

С 79-го года Рене начала хлопотать о гостевой визе во Францию. Запросили Управление, оно дало разрешение.

— А почему нет? — сказали там. — Пусть посмотрит своих. — И в январе 1980-го она, без долгих промедлений, поехала…

Тогда предпочитали поезда: и нагляднее и дешевле. Ее состав уже миновал огромное скопление больших и малых городов, растянувшееся на сотни километров между Кельном и Аахеном и светлое ночью, как в дневное время. Затем была южная шахтерская Бельгия, вымазанная углем и сажей, потом Жемон —

первый французский город на ее пути. До Парижа оставалось несколько часов. Она начала волноваться еще в Москве, теперь сердце ее, с приближением родных мест, билось все сильнее. В окне мелькали знакомые места: пригороды Парижа, в которых прибавилось много нового, но все было узнаваемо. Вот и перрон Северного вокзала, Гар-дю-Нор, откуда она отправилась когда-то в самое дальнее свое странствие. Поезд остановился. Она вышла с чемоданами, стала на миг, осмотрелась. Народ спешил мимо, увлекаемый вокзальной суетой и спешкой, — как и тогда, когда она отсюда уезжала, как на всех вокзалах мира. Ее и на этот раз не встречали, но в данном случае это было оговорено заранее: тетя Сюзанна, пригласившая ее, не покидала дома (ей было за восемьдесят) и ждала ее в Мелене. Она нашла тележку, погрузила на нее чемоданы, влилась в общий поток, повезла ее к выходу…

Вот и Париж. Вокзальная улица почти не изменилась: дома те же, до боли знакомые — прибавилось только гари и дыма от выхлопных газов, и воздух стал тяжелее. Она задержалась на тротуаре, не сразу включилась в гонку, снова огляделась по сторонам — как человек, ищущий кого-то в толпе. Стало больше чернокожих и арабов, но она по старой памяти отнеслась к ним с сочувствием. Бегущие мимо парижане были те же, что раньше: хотя одеты по другой моде, но сущность та же. Женщины по-прежнему следили за собой, держались независимо, были все время начеку и похожи на сжатые пружины: ответят раньше, чем вы закончите с вопросом. Мужчины все так же легкомысленны и озабочены разом, от природы изящны, подвижны и увертливы, с повадками взрослых юношей. Она была у себя дома. Уличный муравейник вел себя, как пятьдесят лет назад, и если бы дело было только в этом, она бы продолжила путь так, как если бы никогда отсюда не уезжала…

Нужно было добраться до Лионского вокзала. Она стала в очередь за такси. К ней подошел шофер «слева», она по московской привычке согласилась. Нарядная красивая негритянка, стоявшая перед ней, предупредила: «Мадам, не делайте этого», — парижане относятся недоверчиво к таким извозчикам. Она послушалась, дождалась очереди, и не прошло и получаса, как ехала в Мелен в пригородном поезде. Задержка вышла только у турникета Лионского вокзала: она долго бы простояла перед ним, если бы не проходящий мимо алжирец, обратившийся к ней на «ты» и объяснивший ей словами и жестами, как им пользоваться. Негритянка и алжирец за какие-то полчаса: видно, ее антиколониалистское прошлое давало о себе знать и как-то запечатлелось на ее челе — раз оба не сговариваясь поспешили ей на выручку.

В вагоне она была предельно взвинчена и взволнована, но продолжала смотреть по сторонам и делать выводы: у нее это было в крови — от разведчицы и от медика. В поезде было много женщин, возвращавшихся с работы, — значит, женщины теперь больше работают, думала она. Чтоб не тратить зря времени, они вязали: это было домашнее дело, которым можно заниматься на людях… Сердце ее колотилось и готово было выпрыгнуть из грудной клетки. Вот и Мелен. Она вышла и снова, как в фильме с ускоренной съемкой, села в такси и через пять минут была у дома тети, который не изменился со времен ее детства, — только тогда в нем всем заправляла бабушка Франсуаза. У входа стояла Сюзанна: они узнали друг друга — рядом с ней была еще одна женщина, ей незнакомая, наверно родственница. Они обнялись. Рене вошла в знакомый дом, огляделась — и тут силы оставили ее, она опустилась на стул и не смогла произнести ни слова. Тетя тоже разволновалась: смеялась, предлагала выпить с дороги, руки и голос и у нее дрожали, а у Рене просто отнялся язык: она не могла ни есть, ни пить, ни разговаривать… Сюзанна за эти годы и изменилась и не переменилась в одно время: такая же добрая, гостеприимная и живая. Та, что была рядом с ней, Жаклин, была ей невесткой, вдовой покойного сына. Дяди Андре тоже не было в живых — тетя, может быть, поэтому была так чувствительна к оставшимся родственникам, по этой причине пригласила Рене к себе и так волновалась при встрече…

В тот день, щадя ее нервы, Сюзанна позвала только немногих: тех, что были рядом, под рукою. Остальных Рене встретила в последующие дни: она всех смутно помнила — в той мере, в какой можно помнить человека. которому при расставании было пять или десять, а при встрече за пятьдесят и более. И те тоже ликовали по поводу ее возвращения и тоже отыскивали знакомые черты в лице женщины, которой было уже около шестидесяти, — своего рода театр теней или даже встреча в загробном мире. Эти находки и обнаружения давались Рене непросто: она была все время как в лихорадке и однажды упала в обморок. Случилось это в маленьком магазинчике на улице, где жила Сюзанна: Рене увидала изобилие выставленных там товаров и продуктов. Шел восьмидесятый год, в Москве тогда в магазинах были пустые полки, и зрелище изобилия (сейчас нам более привычного) потрясло ее до основания — по контрасту с домашними нехватками. Это стало известно в городе, и про магазинчик стали говорить, что это тот, в котором от избытка товаров и чувств «русская» упала в обморок. Хозяин не слишком радовался такой рекламе, а говорил посетителям, что лучше бы они купили у него мясо, а не дыню или печенье, как они сплошь и рядом делают —

не то он обанкротится, не выдержит конкуренции больших магазинов. Действительно малые торговые предприятия вытеснялись одно за другим огромными универсамами, где могли позволить себе сбить цены и где товары были лучшего качества. Французы тоже боялись, что, вытеснив лавки, большие «Перекрестки», «Казино» и «Ашаны» навяжут им свой диктат и взвинтят цены выше прежних, и поддерживали мелких торговцев, но делали это, видимо, со скупостью подающих милостыню.

Она обошла знакомые места. Второго, сельского, дома, где она провела месяц, готовясь к экзаменам, уже не было; не было и мастерской и сада с огородами. Она прошла по оставшемуся двору, на которым высился другой новый дом, каменный и безликий, ничего не говорящий ее душе, подошла к сохранившемуся платану, некогда дававшему тень обедавшему под ним дружному семейству. Было грустно и жаль утерянного еще и оттого, что где-то в глубине души у нее жило обещание, данное когда-то отцом, что в этом доме ее всегда ждет своя комната. Она даже заикнулась о ней — полушутя, полусерьезно — за вечерним чаем, но собравшиеся женщины: тут были Жаклин и две ее дочери — сразу поняли, о чем идет речь, а речь, в их представлении, шла о компенсации за ее долю в наследстве, и дружно объединились против.

— Нет, дома больше нет — ты сама это видела! — дружелюбно, нисколько не меняя тона разговора, сказала Жаклин, потому что дела у французов существуют помимо сантиментов. — Его продали, когда дела фирмы пошли неважно. После Андре здесь все идет не как надо. Робер имел свою долю, но она вся с избытком ушла на покрытие его расходов в доме для престарелых. Ты же не захотела его принять?

— Нет.

— И мы тебя нисколько в этом не виним. Мы ему говорили это перед поездкой. Не очень прилично было приехать через столько лет с таким предложением, но он же, сама знаешь, всегда все знал лучше других. Кто ж виноват, что у него к концу жизни ни кола ни двора не было?..

Сюзанна не любила подобных чересчур откровенных разговоров — кроме того, она болела за дело Андре и не могла так легко примириться с упадком фирмы.

— Ничего, может, еще выберемся, — суховато сказала она. — А у Рене свой дом и своя дача. Она богаче нас с тобой. Это в ней ностальгия говорит: хоть что-нибудь да свое на родине…

Она не закончила своей мысли, не пригласила Рене остаться: это не входило в ее планы — только посмотрела на нее зорче прежнего.

— А что с фирмой? — Рене помогла им выбраться из тупика.

— Да все дело в том, — сказала Жаклин, — что руководство никуда не годится. Его доверили членам семьи, а они некомпетентны. Надо брать людей со стороны — будет больше толку.

— Брали уже, — напомнила Сюзанна. — Ничего хорошего не вышло.

— Значит, не того взяли, кого надо. В любом случае на стороне выбор больше, чем дома.

— Но в этом и смысл ее — дать работу своим, — напомнила Сюзанн, глядя на невестку неодобрительно. Та в ответ лишь пожала плечами:

— Тогда пусть разваливается дальше. Жак не может возглавлять дело — это ясно как день. Впрочем, мое дело, ты знаешь, сторона — я не могу даже советовать…

Сюзанна промолчала, а когда Жаклин с дочерьми ушла, Рене спросила тетю причину такого отхода от дел.

— Это долгая история, — сказала тетя. — Когда сын женился на ней, он был ей неровня. Она из аристократок и обеспеченных — мы заключили тогда брак на условиях раздельного владения имуществом: чтоб не думали, что заримся на ее богатство. Но в жизни все меняется — они стали беднее, мы богаче: теперь она не может вступить в наследство после моего бедного сына, мне, помимо нее, наследуют две внучки. Такие нахалки! — любовно обругала она их. — Делят добро в моем присутствии: это, говорит, мой столик будет, ты на него и не заглядывайся, а та говорит, не трогай моего сервиза: я его сразу же оприходую.

— Шутят, — сказала Рене.

— Конечно. Пока я здесь, они ничего не получат — пусть хоть мечтают.

— А как твои финансовые дела?

Сюзанна заулыбалась добродушно и лукаво.

— О моих Андре позаботился — да так, что лучше не надо… — И объяснила:

— Он, когда мне было пятьдесят, застраховал меня на большую сумму. Ему говорили еще: слишком много платишь, ошибешься, а он как в воду глядел — чувствовал, что ли. До семидесяти лет выигрывала страховая компания: сумма страховки превышала пенсию, а все, что потом, ей в убыток. Я прихожу к ним — они в ужас приходят: как, вы еще живы?! Тоже шутят, но как говорится, в каждой шутке… И правда немалая в данном случае, а порядка нескольких десятков тысяч.

— Ты помогаешь фирме?

— Приходится. У них вечно долги и недостачи. Но целиком я

их содержать не могу, — поспешила сказать она, как бы заверяя в этом не Рене, а отсутствующих в эту минуту компаньонов. — Пусть сами выкручиваются. Для этого я из членов правления вышла.

— А Жаклин трудно приходится?

— Жаклин? Ты и ее пожалела? Ты, гляжу, по-прежнему всех жалеешь. Она во второй раз замуж вышла — муж у нее уважаемый в городе доктор. Дерматолог. Скоро познакомишься с ним: они званый обед готовят, договаривались сегодня о дне и часе… Заодно и семейство увидишь: оно очень довольно будет, собирается только по таким случаям. Давай-ка мы с тобой лучше вина выпьем. У меня хорошее вино есть белое: я его дюжинами бутылок покупаю.

— Как Франсуаза?

— Ну да. Чуть ли не поставщик один и тот же. Сын его, конечно, а не он сам. А может и внук. Тут ничего, Рене, не меняется и в этом, — пропела она, — есть и свои шанцы и свои изъянцы… Пойду в погреб — ты, смотрю, устала больше меня. У тебя никаких заболеваний нет?

— Есть. Ревматизм.

— Ну вот. И у меня суставы — только от обмена веществ. А может, подагра — кто это знает?.. — и спустилась в подвал, где хранились запыленные, зимующие здесь бутылки, всякий раз ею пересчитываемые…

Жаклин и ее муж Жан дали обед в честь Рене. На него были приглашены, против ожидания Сюзанны, не члены многочисленного семейства, а сверстники Рене, люди одного возраста с ней и с одним, классическим, образованием: преуспевающие, обеспеченные и занимающие в городе заметное положение. Они вспоминали с гостьей учебу в старой школе, щеголяли цитатами из поэтов: чем старее, тем лучше, и в этом она по-прежнему могла дать им фору. Они поражались ее памяти, многозначительно переглядывались и вели себя нарочито старомодно: словно сговорились вернуть ее во времена, ею оставленные. На столе были изысканные блюда, вина, имевшие каждое свой год и репутацию, коньяки и арманьяки, которых она никогда в жизни не только что не пробовала, но и не нюхала, — была, словом, картина благополучия, но когда вино было выпито и языки развязались, обнаружилось, что по старой французской привычке каждый чем-то да недоволен. Жан был раздражен высокими налогами и перспективой их повышения в случае прихода к власти социалистов. После вычета налогов и расходов на жизнь: включая дом, виллу под Ниццей, страховку всех видов и «прекрасную американку», — большую машину, которая была ему

необходима как преуспевающему доктору, — ему оставалось на карманные расходы пять тысяч франков (пятьсот рублей по тогдашнему обменному курсу да и по нынешней покупательной способности тоже) — было от чего сердиться. Его друг, тоже богатый человек, смеялся над этим, предлагал ему сменить «американку» на «француженку», но когда сам пригласил к себе москвичей, тоже стал жаловаться, что дом съедает его сбережения, разоряет непомерными расходами. Дом был огромный и занимал в Мелене угол двух центральных улиц, выходя на обе парадными подъездами; в нем было комнат двадцать, не меньше. Так и хотелось спросить: отчего бы не сменить его на другой, поменьше, но хозяин, словно слыша эти вопросы, возражал невидимому спорщику, говорил, что дом ему дорог как семейная реликвия и он не может с ним расстаться: выходило, что он сторож при съедающем его чудовище…

— Не верьте ему, — сказал Жан, отвозя их домой. — Он деньги лопатой гребет и все жалуется…

Была одна пара, которая, как это ни странно, ни на что не жаловалась, — Франция была еще не потеряна для будущего. Это была двоюродная сестра Рене Элиан: по первому браку профсоюзника Камилла — и ее муж Роже: она работала в страховой компании, он экономистом на большом предприятии. Они жили в Барбизоне — откуда пошла известная школа живописи: это тоже недалеко от Мелена. У них был дом, у обоих по машине — но дело было не в том, что у них есть или чего нет, а в том, что они говорили, что довольны тем, что имеют, и что им ничего больше не надо. Они были веселы, оживлены, нежны по отношению друг к другу — хотя обоим было за пятьдесят или более. На стене у них висел средневековый кодекс брачующихся, где были записаны старинные правила совместной жизни супругов, которыми они и руководствовались. Обед был прекрасен, вина — того лучше, хозяева — само обаяние. Они дали обед, из всех обедов во Франции ей более всего запомнившийся, а это многое значит. Подавали картофель, запеченный с расплавленным сыром определенного сорта и закатываемый в широкие тонкие нарезки трех видов ветчины: одну выписывали для этой цели из альпийской провинции. На сладкое был самодельный щербет из смеси соков, тертых плодов, ягод и шампанского — все заливалось белым и красным вином, которые, если они хороши, не вредят, но помогают здоровью и пищеварению. Все было великолепно — одно лишь слегка омрачило обеденную идиллию. Рене, поглядев на обоих, сказала, что из всех виденных ею в этот раз французов они одни смогли бы жить в России, — Роже почему-то на это обиделся…

Она посетила могилу отца. Он умер в 1972 году и был похоронен на кладбище. в Монтро. Могила была в запустении. Они вдвоем с Сюзанной, которая не могла далеко ходить, но вела машину и привезла ее сюда, привели холмик в порядок. Рене отдала отцу последнюю дань, поплакала и почувствовала, что в Мелене ей делать больше нечего…

Был еще север, Пикардия, страна матери. Это тоже недалеко от Парижа — три или четыре часа поездом. И здесь были восторги, слезы радости и умиления и обеды с большим количеством приглашенных, со всеми членами дружного, вчера еще крестьянского семейства. Она перебывала у всех своих кузенов и кузин, они не спрашивали ее, где она была, да ей и нечего было стыдиться: она воевала против общего врага на стороне большой коалиции; среди ее родственников были участники и инвалиды этой войны, которые отнеслись к ней с тем большим дружелюбием и участием. Здесь тоже многое изменилось: село стало городком, объединившим три прежних деревни в одну с самым длинным во Франции названием: Сен Кантен-а-ла-Мотт-Круа-о-Байи: ни одно из селений не захотело остаться неупомянутым. Ее — какая честь! — пригласила к себе наследница графини и удостоила беседы: она по-прежнему руководила верующими. Их поубавилось с прежних пор, но она оставалась достаточно влиятельна и вершила дела в здешнем приходе. Кюре был тот же, хотя ему было за восемьдесят. Она и ему представилась и, памятуя о его китайском приключении, дерзнула спросить о нем, сказала, что сама была там же в те же годы: думала, кюре расчувствуется и расколется, но он был крепкий орешек и не захотел обсуждать с сомнительной гостьей, невесть откуда взявшейся, секреты китайской экспедиции…

От пребывания на севере у нее остались лучшие впечатления: народ здесь был проще, открытее и дружелюбнее, но и здесь кредит времени показался ей законченным. Жизнь текла своим чередом — для нее и здесь не было места. К тому же для первого раза всего было слишком много, она устала…

Она собралась в дорогу и вернулась раньше срока: пробыла во Франции около двух недель и на вопросы сыновей, почему так рано вернулась, отвечала бодрым голосом, что все увидела, осталась всем довольна — прежде всего тем, что почти все ее родственники живы и здоровы.

Большего от нее нельзя было добиться. Сыновья же сами горели желанием увидеть Францию и понять вместе с ней, что там произошло и каковы их собственные отношения с этой страной — их половиной исторической родины.

Нужна была вторая поездка — но Рене соглашалась ехать

только в сопровождении сыновей, одного или обоих. Ей хотелось показать им свою страну — другой цели путешествия у нее уже не было.

12

Особенно рвался во Францию старший: у него было больше французских корней: он ведь и говорил до пяти лет только по-французски и от бабушки у него осталось живая память о французах. Он несколько раз подавал заявления в ОВИР с просьбой разрешить ему посетить Францию: у него было на руках приглашение от Сюзанны, но ему всякий раз отказывали: степень родства невелика, да и поездка представлялась «нецелесообразной». Ему так и сказал начальник городского ОВИРа, когда он записался к нему на прием.

— Нецелесообразно, — повторил формулировку отказа, потому что лишних слов тогда не говорили.

— Что ж мне теперь — и работать нельзя? — разозлился вспыльчивый сын. — Если я настолько неблагонадежен, что меня нельзя туда выпустить?

— Почему? — возразил тот. — Работайте — никто вам не мешает, — и уткнулся в бумаги…

Самуил подступился тогда к отцу:

— Слушай, сделай что-нибудь, чтоб разрешили. Я к тебе никогда с подобными просьбами не обращался. Неужели нельзя пустить человека съездить посмотреть страну, где родилась его мать?

Яков, как ни странно, не отказал ему: хотя и не дал прямого согласия, но через несколько дней многозначительно сказал сыну, что похлопотал за него перед одним из своих старых знакомых и тот дал положительный ответ — при условии, если сын будет во Франции вести себя прилично.

— Ты учти, я за тебя поручился, — сказал он Самуилу, но тот только смазался в вежливой улыбке: не очень-то ему поверил.

— Подождем, — сказал он. — Подавать документы можно раз в полгода.

Но оказалось, что это не для всех так — кое-кто мог подавать их хоть каждую неделю.

Вечером того же дня ему позвонили и благозвучный, слегка ироничный женский голос спросил его:

— Самуил Яковлевич? Что же вы в ОВИР заявлений не подаете?

— Так я их подавал недавно! — он от неожиданности не нашел сказать ничего лучше.

— Ну и что с того? Подавайте снова. Можете хоть завтра. Лишь бы день был приемный…

Он подал документы и — недели не прошло — получил

долгожданное разрешение. Теперь путь во Францию был свободен и для него. Он поехал с матерью в мае 81-го года, сразу после прихода к власти французских социалистов во главе с Миттераном, но для обоих это было уже не столь важно. Вся семья провожала их на Белорусском вокзале: подобная поездка была в то время незаурядным событием — и отец в который уже раз напоминал и докучал Самуилу:

— Учти, я за тебя поручился. Веди себя там достойно…

Сын в последний раз пообещал и тут же забыл о своем обете. С первого до последнего дня поездки он не отрывался от окна: глядел на Польшу, Германию, Бельгию — страны, которые мать пересекала когда-то в ином направлении и с другими мыслями и намерениями. Богатство, нарядность и красочная пестрота Парижа и его окрестностей поразили его: перемещение из Советского Союза в западную страну можно было сравнить тогда с перескоком с газетной полосы с плохой бумагой и с серым мажущимся текстом на яркую глянцевитую журнальную обложку. Он ходил по городу как по музею, не пропускал ни одной витрины и изучал ее, как другие разглядывают картины в Лувре. Рене наблюдала за ним и была одновременно и рада и озабоченна: довольна, потому что гордилась своей страной и еще потому, что, когда сама все уже видела, остается удовольствие показать другому, детям в особенности. Озабочена же она была тем, что сын мог увлечься, а дома у него оставалась жена, которая вряд ли бы освоилась с новой страной, квартира, дача и хорошая работа, которой она сама бы позавидовала, если б была моложе…

Сын тоже наблюдал за матерью. Они остановились у Сюзанны, по чьему приглашению приехали. Сын стал звать для простоты Сюзанну тетей, хотя тетей она была не ему, а Рене, и они сразу поладили: оба были веселы, ироничны и лукавы и посмеивались над чересчур серьезной матерью. Сын привез тете колье из синтетических александритов: это были, конечно, не настоящие камни, которые составили бы целое состояние, но и эти немало стоили. Тетя сразу справилась о них в справочнике — она была все-таки вдовой ювелира, и дома у нее имелись нужные книги: сын поставил себя на должный уровень — знай, мол, наших. Он охотно проводил время с теткой — та тоже с удовольствием брала его с собой и водила по магазинам и рынкам, где представляла своим знакомым и поставщицам:

— Мой племянник из Москвы. Слышали такую?

— Слышала, — сказала одна, торговавшая фасолью: тетка покупала только у нее — так же как хлеб только в одной булочной: там он был, по ее мнению, лучше, чем в других местах. — Москва — это где в одном магазине есть молоток и нет

гвоздей, а в другом есть шурупы, но к ним нет отвертки. — Такова была тогда наша тогдашняя зарубежная репутация.

Тетя потеряла сына от рака и не могла оправиться от утраты. Она дала Самуилу халат покойного и просила его спускаться к завтраку в нем, не чинясь приличиями. Тому было сначала неловко, потом он раскусил ее хитрость и вовсе перестал снимать халат — тетка могла наслаждаться дивным зрелищем и предаваться пороку в открытую:

— Совсем как мой сын! Если б я видела еще хоть чуть хуже, чем теперь: скоро так и будет — вовсе бы не отличила!.. А где, кстати, бутылка, которую вчера начали? Там была половина — я ее оставила на сегодня.

— Не знаю, — смиренно отвечал мнимый Пьер. — Может, я перепутал, когда брал вчера наверх воду?

— Оо! Ты слыхала?! — обращалась она к помалкивающей Рене, которой было немного неловко с ними обоими. — Он перепутал! Совсем как мой сын! Этот тоже все путал и всегда одно и то же! Что будем есть сегодня? — спрашивала она Рене.

— Не знаю. Я уже не могу больше: сыта по горло.

— Аа! — отмахивалась тетя с пренебрежением и спрашивала Самуила: — Ты омаров ел?

— Нет, конечно.

— Сегодня будет. Роже привезет. Из Парижу! — Париж она произносила с шиком: «Парис». — У него сегодня парижский день. Жалуется, что женщины очень дороги, но ездит. Ты не намерен присоединиться к нему? — спрашивала она гостя.

— Нет. Мне отец сказал, чтоб я вел себя достойно.

— Это правильно, — одобряла она: не преследуя маленькие грешки, без которых жизнь казалась ей пресной, она не прощала грехов капитальных. — Жаль только, что ты не привез с собой женушки. Какая она у тебя?

— Красивая, — отвечала за сына мать.

— Красивая — это хорошо. Красивые добрее некрасивых. Не всегда, конечно, но обычно. Надо было тебе привезти ее, — сказала она сыну значительно, будто за этим скрывалось что-то важное, потом вернулась к старым обидам. — Но это ничего не меняет — красивая или нет, все равно мужчины налево ходят. — Она очень любила покойного мужа, но обида оставалась до сих пор, и она не стеснялась спрашивать ее причины: — Объясните мне одно: я до сих пор не могу этого понять — почему мужчины ходят на сторону?.. — Она оглядывала гостей, не дожидалась, естественно, ответа — да и не ждала его: этот риторический вопрос нужен был ей, чтоб продолжить свое повествование: — Мы же все знали, куда они ездят: собирались несколько приятелей по

делам в Париж, а мы все в курсе дела были. Жены, я имею в виду… Что они находили там такого, чего у нас не было?..

Пауза грозила затянуться. Мы не были уполномочены отвечать за дядю Андре.

— Это вы меня спрашиваете, тетя, или маму?.. Я, например, не знаю. Думаю, вам нужно объявить конкурс на решение этой проблемы и обещать за него премию.

— Теперь-то мне это зачем? Все, я уже вышла из употребления. Hors de service! — и улыбалась женственно и загадочно, как привыкла улыбаться в молодости. — Мне теперь только и осталось, что радоваться тому, как я объегорила страховую компанию. Они в обморок падают, когда я вхожу в их контору. Я ведь еще на год их нагрела — с тех пор, как ты была! — с гордостью сообщала она Рене, внимательно разглядывая ее при этом; на Самуила она так не смотрела: с этим все было ясно…

С Роже вышла история. Это был хромой, увечный человек, пристроившийся к фирме Андре, потом — к Сюзанне: в ее доме он был садовником, шофером, механиком — кем придется. С сыном он вел себя подобострастно, словно тот делал ему большое одолжение, снисходя до разговоров с ним и имея с ним дело: он ведь был из правящего клана фирмы. Сын подумал, что таков он по характеру или напускает на себя подхалимство, чтобы угодить тете, но дело было не в этом: точно так же вела себя и полька, ходившая к тете убирать помещение. Она жила в крохотной квартирке недалеко от тетиного дома, и Роже, бывший с ней накоротке, привел как-то своего нового друга к ней на чай. Для нее это (если ей верить) было великим событием: как же, такой господин осчастливил ее своим приходом. (У польки было, конечно же, свое имя, но все звали ее по национальности, как если бы это была главная ее особенность — тут было над чем призадуматься.) Роже ездил в Париж по делам фирмы и забирал с собой сына. Это было выгодно обоим: Самуилу из-за бесплатного проезда (деньги тогда меняли в обрез, и их было мало, как у матери в ее прежних зарубежных поездках), Роже — потому что он вез с собой большие ценности и ему было так спокойнее. Сыну нужен был попутчик и проводник еще и для того, чтобы поближе познакомиться с городом и его нравами: одно дело, когда один входишь в кафе, где тебя никто не знает, другое — когда тебя сопровождают и представляют: видишь тогда лица людей, их мимику в их естественном, первозданном виде. Официанты и бармены, приятели Роже, встречали русского без особого восторга: что-то в нем их раздражало. У них был профессионально быстрый взгляд на людей: они обязаны были

вычислить среди посетителей кафе неблаговидных особ и злоумышленников. Свое неодобрение они выражали по-разному:

— Что это ваш приятель такой небритый? — спросили однажды у Роже. — Бритва плохая? — Быть гладко выбритым входило в правила хорошего тона в этом непривилегированном слое населения, который не мог позволить себе вольностей.

— Да нет, он хороший парень, — возразил Роже. — Свой, не важничает.

— Да? — Бармен был не очень в этом уверен. — Откуда он?

— Из России.

— Откуда? — удивился тот, и прозвучало это примерно так: их нам еще не хватало.

— Он там у себя богат, — сказал Роже. — У него дом и дача под Москвою. Полгектара леса.

Бармен присвистнул.

— А кто он? — Он по-прежнему задавал вопросы через голову гостя.

— Психиатр, — отвечал приезжий.

— А тогда все понятно, — сказал бармен. — Заходите, — сказал он на прощание, примирившись в конце концов и с гостем, и с его экзотической, но весьма выгодной, в его представлении, профессией.

— Он неплохой парень, — успокоил теперь Самуила Роже. — Мы с ним кой-какие дела обделываем… — но не стал говорить какие… — А где машина наша?..

Чрезмерное спокойствие подвело их обоих. Их ограбили. Пока Роже ходил в магазин, а Самуил ждал его в машине, воры неслышно открыли багажник и извлекли из него приготовленные на продажу украшения стоимостью в миллион франков (старый миллион или новый, не помню).

Старый или новый — тот и другой были большим ударом для фирмы, переживавшей далеко не лучшие времена и без того едва не терпящей крушение. Немедленно собрался руководящий комитет предприятия. Его возглавлял Жак, один из многочисленных кузенов Рене и племянников Сюзанны, но все решала она: на это и возлагал надежды бедный Роже, потому что остальные были готовы съесть его и выплюнуть — до того насолил он им этим последним головотяпством.

— Они выгнать меня хотят, — жаловался он сыну. — Будто я эту бижутерию себе взял. Ты же видел, как все было — все время при мне был. Если б не ты, я б отсюда без звука вылетел, а куда я пойду — увечный?..

Все были за то, чтобы его уволить, но Сюзанна решила иначе: его, говоря по-нашему, строго предупредили. Она сказала ему все,

что о нем думала, а когда он заикнулся о Самуиле, не то выставляя его свидетелем в свою защиту, не то разделяя с ним ответственность за происшедшее, холодно спросила:

— А он здесь при чем? Какое он имеет к этому отношение?.. Ты его в это дело не впутывай. — И Роже немедленно сдался и снова запросил прощения и пощады…

Самуил был, конечно, выше всего этого — его чествовали как гостя хозяйки. Его и Рене возили по ближним и по дальним родственникам, пользуясь при этом возможностью повидаться с тем, кого сами давно не видели и с кем еще долго бы не встретились, не подвернись этот случай. Родственники жили в разных городах, в деревнях и даже в лесу: у одной из кузин была гостиница, принимавшая охотников или тех, кто выдает себя за них, — половина французов страстные Тартарены, воображаемые или истинные. Дом в лесу был живописно убран вьющейся зеленью; во дворе была обезьяна на цепи; в конюшне стоял великолепный жеребец — подарок дочери к шестнадцатилетию, стоивший дороже любой машины; за оградкой — птичник с фазанами и павлинами. Кузина, хозяйка дома, была моложавая, стройная женщина, которой скучно было жить в лесу, в одиночестве, разделяемом лишь ее мужем-итальянцем, который был старше ее и ревнивым. Она подсела к сыну, расспрашивала его о России, но бдительный и яростно глядящий хозяин то и дело напоминал ей о том, что на плите стоит обед, что она должна быть на кухне. Обед был изысканный, с паштетами из свежей дичи, с жарким из зайца, с садовыми улитками в особом масле, которых надо запивать большим количеством красного, которое успокаивает желудок и горячит голову. Визитеры хотели остаться дольше, но итальянец напомнил жене, что они ждут гостей: дело было в пятницу — и москвичи уехали: гости подчиняются распорядку дня строже военных на маневрах.

Их снова приняли в семьях Жана и Жаклины и их приятеля, занимавшего угловой дом в центре Мелена. Сын был здесь везде как дома: он был молод, весел и беззаботен — это нравилось хозяевам, которые сами стеснительностью не отличались, знали, что она лишь помеха в жизни, и в городе были людьми далеко не последними. Рене держалась более скованно и сдержанно: сын насмешничал, она серьезничала. Иногда, впрочем, и сын оступался — обычно на ровном месте. Так, он привез во Францию большое количество водки. Ему еще в Москве посоветовали сделать это, и бутылки и вправду шли нарасхват, водку что называется из рук рвали, но когда он вздумал преподнести Жану армянский коньяк, оказалось, что он совершил непростительную оплошность. Жан настолько разозлился, что раскрыл свои

сокровенные закрома: большой пузатый ящик внизу семейного буфета, который имеется во всякой французской семье и где хранятся крепкие напитки, — и извлек оттуда нечто такое, после чего его приятель сказал сыну, что тот раззадорил хозяина не на шутку, раз он так разошелся. Это был арманьяк многолетней выдержки, который нельзя было пить, а надо было только вдыхать в себя, — настолько он был легок, пахуч и ароматен.

— Понял теперь, что такое настоящий коньяк? — спросил Жан. — Так вот никогда не дари больше французу привозного коньяка. Армянский, видите ли!..

Жан пригласил сына в свой рабочий кабинет, показал ему, как он принимает больных, прошелся с ним по частной клинике, где был одним из главных акционеров. При его появлении сотрудники невольно наклоняли головы, а он шел мимо, почти их не замечая. В кабинете, правда, уже ему пришлось гнуть шею и спину и вскакивать навстречу капризным посетителям, которые лечились бесплатно: страховые кассы возвращали им гонорары, которые они платили врачам, и больные не знали, кого выбрать и на каком докторе остановиться. Жан доводил их до кресла, усаживал, выспрашивал, вытягивал из них тайны, потому что они не очень-то с ним делились и все оглядывались по сторонам, сомневаясь, в тот ли кабинет зашли и не сделали ли роковой ошибки. Он их уговаривал, убеждал, что после его лечения все пройдет (что при кожных болезнях всегда сомнительно), а когда они уходили, сокрушенно качал головой и звал на прием следующего. Сыну все это не очень-то нравилось: у себя дома он привык к другим отношениям с пациентами…

Самуил вполне устраивал здешнюю семью: он был их крови, сносно говорил по-французски — можно было рассчитывать, что через год заговорит бегло и без акцента. Мать, через которую он унаследовал французские корни, чувствовала себя здесь даже хуже, чем он. Ей легче было с другой, материнской, родней, с которой они тоже встретились — позже, когда поехали на север, в деревню, которая носила самое длинное имя во Франции. Некоторые из этой родни жили под Парижем, и они уже виделись с ними, но они отличались от парижан тем же, что и их пикардийские сородичи: дело было, стало быть, в них самих, а не в том, где они жили.

Эти люди вели себя тише, говорили не так громко, делились своими заботами и бедами, реже и очень сдержанно — успехами: если в Мелене жаловались на налоги и дорогой бензин, то тут сетовали на болезни, несчастную любовь детей и служебные неурядицы — французам свойственно жаловаться, но предмет жалоб не у всех одинаков. Рене чувствовала себя с ними в родной

стихии, и если бы у нее было какое-нибудь дело: врача ли, адвоката, как она того хотела в юности, она бы вписалась в эту жизнь в один ряд с прочими: она была такая же, как они, ее родные по материнской линии. Им всем словно отроду были предписаны или завещаны скромность, умеренность, сдержанность; их гостеприимность была искренней, веселой, дружелюбной, но всегда ограничивалась незримыми рамками приличия, не позволявшими делать и говорить лишнее. Это касалось прежде всего старшего поколения, прошедшего одну общую школу; молодые в это почти религиозное сообщество не вступали, но не порывали с родителями, держались от них поблизости. Дети были несколько иными, чем они: чтению, этому излюбленному занятию старших, они предпочитали технику, машины, заработки; они легче глядели на жизнь, отличались острым глазом, практической сметкой, занимались тем, что приносило прямой результат и имело живой ощутимый смысл и не доверяли всему выспреннему и умозрительному — будто кто-то когда-то сильно обманул их, рассказывая о торжестве книжного ума и высотах человеческого духа. Это был тот средний класс, из которого Рене волею судеб и людей бежала и теперь сильно в этом раскаивалась и которого в России не было, — вместо него был тонкий фиговый листок между правящим кланом и его бесчисленными рабами-подданными — прослойка, которой всю жизнь приходится терпеть и сплющиваться под ударами обеих сторон и жить между молотом и наковальней. Но для Рене во Франции не было места: у нее не было ни жилья, ни положения, ни профессии, ни накоплений — всего того, что ставит человека на ноги и причисляет его к этому самому среднему классу, — и возраст был не тот, когда все можно начать сызнова. Ей нужно было возвращаться на новую родину, и она быстро это поняла, даже если у нее и были на первых порах, в первый ее приезд, какие-то надежды или иллюзии.

Самуилу было легче со старшими: он знал их по бабушке — с молодыми у него было меньше точек соприкосновения: у них были разные интересы. Он сказал как-то, что он врач-психиатр и занимается писательством. «Зачем? — спросил его наивный слушатель. — Ты что, мало зарабатываешь?» Сын понял, от чего сбежала когда-то мать, но теперь она страдала из-за этого, и он не стал бередить старые раны и обсуждать с ней недостатки ее соотечественников: она грудью вставала на защиту любого из них — особенно родственников по материнской линии и одинаково любила здесь и молодых и старых, не делая между ними различия и считая всех духовно ей близкими; те чувствовали это и отвечали ей взаимностью. Впрочем, и в этой семье не без уродов:

тут тоже были интеллектуалы, с которыми Самуилу было привычнее и интереснее. Их и родные выделяли среди прочих и говорили о них если не с осуждением, то и не особенно одобряя. Не одна Рене, стало быть, сорвалась с насиженных мест и пустилась в дальнее, пусть воображаемое, плавание: другие тоже подались: кто в библиотеки и книжное дело, кто в археологию и далекое прошлое.

С кем у них не было никакой смычки, так это с коммунистами.

Побывали они у Камилла, у того самого профсоюзного активиста, который когда-то собирал взносы у членов партии и добровольные подаяния у симпатизантов. Он тоже дал обед в честь гостей: это входило в обязательную программу — он должен был принять дома племянницу. Он был не слишком приветлив: слышал уже, что гости ругают почем зря домашние порядки, а ему это было не нужно, он вел пропаганду совсем иного рода.

— Сколько стоит твой дом, Камилл? — спросил его Самуил.

— Миллион наверно, — сказал он, потупившись одновременно скромно и вызывающе. Сын кивнул: в знак восхищения и одобрения, но у Камилла было острое классовое чутье, он распознал подвох и подводные камни разговора: — А что ты хочешь? — сказал он, порывисто ходя взад-вперед по своей земле. — Каждый, кто работает во Франции, может к концу жизни иметь такое жилье… — и пояснил: — Когда я покупал его, он стоил намного меньше. И участок стоил дешевле.

— Если каждый к концу жизни может стать миллионером, то какого черта вам надо? — спросил сын.

Камилл остался недоволен этим.

— Как — чего? Это ты ничего не понимаешь. Если б мы не боролись, у нас бы и этого не было. Ты поменьше об этом говори — особенно в моей ячейке, — предупредил он и резко пошел в дом, будто общение с внучатым племянником стало ему в тягость.

Ячейка в это время сидела вокруг телевизора и смотрела новости. Она состояла из лиц преклонного возраста, и Камилл был для них гуру и пророком. К власти только что пришел Миттеран, и они чуть ли не каждому сообщению диктора вторили хором:

— Ca change! — или: — Ca ne change pas du tout! («Ага, меняется!» или «Да ни черта оно не меняется!») — Камилл призывался время от времени к суду — в качестве арбитра и высшего авторитета.

— Что вы хотите от социалистов? — негромко говорил он,

глядя перед собой и воображая себя при этом Жоржем Марше и Морисом Торезом, вместе взятыми. — Они всегда были такими. Говорили одно, делали другое, а женам в подушку твердили третье!

— Но там есть и наши? — закидывал удочку один из стариков: не чтобы спорить, а чтоб прояснить картину гостю из России. (В правительстве было несколько коммунистов.)

— Есть, конечно, — мудро и взвешенно соглашался Камилл, — и они пытаются что-то сделать, но это трудно в такой компании… Посмотрим, — говорил он, не желая опережать и предрекать события и еще более боясь того, что его трактовка событий дойдет до русских служб информации и рикошетом вернется на родину. — Поживем, увидим… — и старики согласно кивали в ответ, в очередной раз убеждаясь в его превеликой мудрости…

Перед обедом старцы послушно ушли — пока они были в доме, на стол не накрывали. Хозяйничала вторая жена Камилла: первую, мать Элиан, он, говорят, оставил, когда она заболела. Самуил повел себя здесь совершенно бестактно: в первый раз за все время своего пребывания во Франции. Ему понравились поданные к столу маленькие перченые марокканские колбаски, и он один умял целую тарелку. Жене Камилла, посчитавшей, что сосисок хватит на всю компанию, было не по себе: она поражалась аппетиту гостя, дружелюбно, хотя и не слишком искренне улыбалась и нового блюда не выставила: может быть, колбаски закончились. Камилл неодобрительно поглядывал на зарвавшегося гостя, полагая, что тот ведет себя так не по недостатку воспитания, а из вполне определенных и порочных классовых позиций: анархически уничтожая добро миллионера. Это противостояние не могло не вылиться в диспут. Самуил, как с цепи сорвавшись и забыв предупреждения поручившегося за него Якова, доказывал, что в Советском Союзе процветает взяточничество. Стариков уже, слава богу, не было, но и без них Камилл не мог оставить такое без внимания:

— Этого не может быть! — безапелляционно отрезал он.

— Как — не может быть?

— Ты преувеличиваешь.

Самуил пожимал плечами:

— За поступление в медицинский институт, в который я еще поступал бесплатно — правда, с золотой медалью, теперь платят до трех тысяч долларов. (С тех пор расценки повысились. — Примеч. авт.)

— Ты это точно знаешь?

— Знакомый недавно поступал. Там и раньше была такая,

насквозь продажная, публика, но теперь они вовсе распоясались.

— И ты думаешь, у нас этого нет? — меняя позицию, перешел в наступление Камилл и сделался ироничен. — Это, мой друг, в природе человеческой.

— Так в природе человеческой или «не может быть», Камилл? — вмешалась Рене, до того молчавшая. — Это разные вещи. Либо одно, либо другое. — У нее ведь было классическое образование, требующее точности и не терпевшее разночтений.

Камилл накинулся на нее: с ней у него был свой, короткий, разговор — как с отступницей партии:

— Ага! И ты туда же! У нас бы такие разговоры не прошли — тебя бы живо поставили на место!..

Ехали, ехали и приехали. Конечно, они сами были виноваты — особенно Самуил, привыкший к вольности российских разговоров на кухне и не знавший, что в странах Запада нельзя обсуждать за столом политические вопросы: можно поставить хозяев и собеседников в неловкое положение. Его ввела в заблуждение Сузанна. Этой все было нипочем, она была вне политики, всему находила возражение и во всем видела светлые стороны.

— Не может быть, чтоб все было плохо, — улыбалась она гостю, который сидел в халате ее сына и говорил совсем не то, что когда-то ее сын: ломал ей кайф, хотя и не портил настроения. — Всегда есть что-то хорошее.

Самуил задумывался: как в игре в вопросы и ответы.

— Билеты на трамвай и на метро дешевые. — Он был под впечатлением от дороговизны здешнего транспорта.

— Вот видишь! — радовалась она за него. — Билеты на метро дешевые. Мало разве?..

Но Камилл не давал повода для радости: он как ножом отрезал раскольнические сомнения…

Самуил пошел на праздник газеты «Юманите»: его влекло-таки к прошлому, своему и матери. Праздник проходил в большом парке и представлял собой ярмарку с большим числом павильонов, где были выставлены товары, украшенные виньетками и эмблемами партии; было много передвижных кафе и веранд с горячительными напитками. Политику здесь пытались объединить с торговлей, хотя это вещи несовместимые — общественная жизнь лучше сочетается с едой и выпивкой. Молодые люди самого разного толка были главными гостями праздника. Они не были ни коммунистами, ни комсомольцами, но им нравилась решительность ораторов, и они аплодировали и дружно улюлюкали, распивая пиво, продающееся тут же. К Самуилу подошли две девушки — из организаторов праздника:

небогато одетые, не очень красивые, пренебрегающие внешностью, целеустремленные — такие, какой, наверно, была когда-то его матушка.

— Вступите в комсомол или в партию, — только взглянув на него, предложили они.

— Почему именно я? — удивился он.

— Потому что вы нам подходите. — Сын ходил как потерянный между павильонами и площадками для митингов, и на лице его было написано, наверно, понравившееся им раздумье и глубокомыслие.

— Чем же?

— Нам такие нужны, — не вдаваясь в подробности, объявила одна из них.

— Я вам не подойду.

— Чем? — осведомились они: французский ум не терпит недоговоренностей.

— Я из Советского Союза.

Короткое молчание и, как всегда во Франции, молниеносный ответ:

— Тогда и в самом деле не нужно… — и пошли дальше, а он отчего-то обиделся…

Но главное было впереди. Рене, зная, что никогда больше сюда не приедет, твердо вознамерилась встретиться на этот раз со своей бывшей подругой, Марсель Кашен, о которой она точно знала, что она живет и здравствует, поскольку только что вышла ее книга о покойном родителе. Она даже привезла с собой письма, которые были некогда ей написаны — Огюстом Дюма, о котором Рене не знала, жив ли он или нет, но любовные послания которого сохранила, потому что была, как было сказано, надежнейшей из почтальонок.

Добиться встречи было непросто. В Париже они обратились в «Юманите» и вызвали оттуда журналиста, именем и телефоном которого Самуил запасся в Москве: его дал ему знакомый француз, неудачливый литератор и бывший коммунист, ругавший у себя дома все и вся, включая прежних товарищей по партии, — неудачный литературный опыт способствует такому настроению. Журналист назначил им свидание у стен своей газеты и вел себя как шпион на тайной встрече: боялся, что их сфотографируют, оглядывался по сторонам, не делал записей и все подгонял и торопил события. У обоих наших гостей впервые возникло здесь малоприятное для них чувство, что они не совсем обычные туристы, что французам надо их избегать и остерегаться. Он обещал, однако, навести справки о Марсель (будто ему до сих пор о ней ничего не было известно) — это означало, в переводе на

человеческий язык, что он спросит ее, захочет ли она с ними встретиться. Марсель захотела, и они направились на встречу матери с прошлым, перед которой Рене трепетала как перед первым и последним в жизни экзаменом. Сыну невольно передалось ее волнение — он насторожился и снова ушел в глаза и уши.

Марсель была замужем за видным кардиохирургом, тоже коммунистом. Обоим было за семьдесят, но муж еще работал, да и она трудилась на благо партии. Жили они в роскошном особняке под Парижем, обвешанном старыми гравюрами и картинами импрессионистов — видимо, подарками отцу, который всегда хвастал знакомствами с художниками. Подруги встретились, прослезились, но не обнялись: держались на расстоянии. Потом Марсель написала Рене, что та была в этом виновата: «была на известном отдалении», а у Рене было чувство прямо противоположное. Профессор встретил их неловко, почти чопорно:

— Вы извините, что мы так роскошно живем, это не мы виноваты, а буржуазия, которая нам столько платит…

Наверно, товарищи по партии не раз упрекали его в роскоши, люди завистливы, но тут он ошибся адресом: Рене была только рада, что ее подруга живет так хорошо и просторно. Дом был прекрасен: комнаты в нем следовали одна за другой, закручиваясь вокруг оси дома и разделяясь лишь разными уровнями пола, поднимавшегося ступеньками, как по спирали, а в окна глядел сад: теперь без цветов и плодов, но в иное время радовавший, наверно, глаза хозяев. Профессор уловил взгляд Рене и неправильно его понял:

— Никак не сделаем обрезку. Эти слесаря и садовники — те еще типы: приходят, когда им вздумается. У вас тоже так?

Мать с сыном не знали, как в этом отношении обстоит дело в России, и не могли удовлетворить его любопытство. Профессор, раскручиваясь, разошелся:

— Это все оттого, что люди должны делать черную работу — это их унижает, и они протестуют таким образом. От чего нам не легче. Когда я вижу, как садовник в моем саду обрезает деревья, или вижу клерка в банке, который каждый день делает одно и то же: считает чужие деньги, я каждый раз восклицаю про себя: как это унизительно! (Comme c'est degradant!) При всем волнении, вызванном встречей с Марсель, и при всем ее расположении к этому дому, Рене не могла не отозваться: пролетарский цензор не умолкал в ней.

— А что в этом унизительного? — впрочем, в один голос с сыном спросила она. — Обрезка деревьев — чудная работа, а что

касается клерка, то что ж ему еще делать как не считать чужие деньги? — Но профессор не привык к возражениям — только повысил голос и продолжал утверждать свое, считая, что суждение профессора не подлежит оспариванию — накинулся теперь на опаздывающего слесаря:

— Да не защищайте вы их! Вот слесарь — мы его три дня ждем, чтоб починил отопление. Все кормит обещаниями. Вы не чувствуете: холодно?

— Вроде нет.

— А я очень чувствителен к холоду. Мои руки должны быть в тепле — я же еще оперирую…

Самуил подумал о том, скольких молодых он успел оттереть и отодвинуть от операционного стола: на таких он в Москве насмотрелся — но, разумеется, не сказал этого, а Марсель, до того внимательно слушавшая и изучавшая гостей, решила перевести разговор в более спокойное, приличествующее встрече русло:

— Так сколько же времени прошло, Рене, с тех пор, как мы виделись с тобой в последний раз? Ты помнишь наши посещения Лувра?

— Помню, конечно, — с чувством в голосе сказала Рене и приготовилась к задушевной, ничем не сдерживаемой, перехлестываемой слезами беседе — да не тут-то было. Их встречали не по старой дружбе, а по партийному этикету. Марсель если и вспоминала кого-нибудь, то фразами из своей книги, переходила затем на положение Компартии, жаловалась:

— Мы остаемся, потому что не можем изменить идеалам юности, а у других нет и этого…

Она, словом, не сказала ничего лишнего, и Рене опять почувствовала стену, которая возникла между ними едва ли не с самого начала «дружбы» и выросла до небес, когда Рене перешла на нелегальное положение, когда Марсель на лекции в институте отодвинулась от нее и сказала:

— Мы не можем больше встречаться. Ты же знаешь, какое положение занимает мой отец. Мы должны думать прежде всего о партии…

Боясь, что встреча скоро закончится и у нее не будет случая передать ей письма — а может, думая, что Марсель смягчится, увидев их, — она передала ей пожелтевшие от времени конверты:

— Это тебе. От Огюста Дюма. Он дал их перед моим отъездом, но у меня не было случая передать их.

— Огюст Дюма? — Марсель залезла в мысленную картотеку, помедлила. — Нет, не надо. Зачем они мне? — и отодвинула стопку Рене — даже не заглянула внутрь, будто они могли ее

скомпрометировать — не то перед мужем, не то перед самой историей.

Рене была обескуражена этим до крайности: могла бы и посмотреть — хотя бы из приличия. Это была самая сильная ее обида в этот приезд: она все-таки любила эту Марсель, которая конечно же этого не стоила…

Сын вышел с профессором — подготовить машину к выезду.

— Ну и как вам во Франции? — спросил из вежливости хирург. — Не хотите здесь остаться?

— Нет. Вернусь в Россию.

— Почему?

— Потому что там нет коммунистов! — И профессор только воздел кверху руки, не зная, как выразить свое отношение к такому кощунству и беспардонности…

Надо было подводить итоги. Близился срок отъезда — на этот раз гости выдержали его полностью. Как-то Жан, сговорившись с тетей, зашел к ним с деловым предложением.

— Мы здесь посовещались и решили пригласить Самуила жить к нам. Здесь есть дом — тете нужны сожители… Я не знаю, какая у него жена, но думаю, неплохая. — Он усмехнулся. — Трудно себе представить, чтоб была другая.

— Хорошая, — подтвердил сын. — И хозяйка прекрасная. — Он теперь понял, почему тетя хотела видеть его супругу.

— Ну вот, — удовлетворенно сказал Жан. — Конечно, дом в твою собственность не перейдет, но ты, пока тетя жива, успеешь себе два таких построить.

— У меня же диплом советский?

— Подумаешь! — пренебрежительно отмахнулся тот. — Ты все говоришь про ваш блат и взятки — мы помалкиваем, а наши-то вашим фору вперед дадут, и немалую… Мы здесь кое-что да значим. Особенно в медицине. Переезжай. Что тебе получать там твои несчастные двести долларов? — Такова была тогдашняя зарплата сына по официальному обменному курсу.

Сын призадумался. Самое главное было не в этом, не в тех доводах, которые привел Жан, а в том, что во Франции он не чувствовал к себе того особого отношения, которым в России встречаются и провожаются евреи, каким он был по паспорту и, наверно, по духу — как будто все евреи вылеплены из одного теста и живут на этой земле инопланетянами, — шлейф этот перекидывался, с его именем, на сыновей, и при всем напускном безразличии к нему, от него неплохо было бы избавиться. Но подумав, он сказал:

— Нет. Спасибо, Жан, я очень тронут, но ничего не выйдет.

— Почему?

— И жена никогда не привыкнет, и у меня самого планы, связанные с писательством.

Жан скосил на него недоверчивый взгляд:

— А нужно оно кому-нибудь, твое писательство?.. У нас здесь оно не очень-то в моде. Кончились времена, когда писатели были в почете.

— Да и у нас так.

— А в чем же дело?

— Я упрямый… Как моя матушка… Это старая сказка — про синицу в руках и журавля в небе: она отличает авантюристов и любителей острых ощущений от всех прочих. — Рене усмехнулась и кивнула с удовлетворением: она тоже была против переезда, хотя и по иным соображениям.

— Видишь, ты еще и философствуешь… Как знаешь, — сказал Жан, а тетя обиделась и погасла. Она старалась до сих пор быть приветливой и дружелюбной по отношению к гостям и такой и была на деле, но однажды и ее прорвало и обнажился ее истинный нрав: сын сказал что-то поперек, а она вспыхнула и заметно ожесточилась. «Ээ, — подумал тогда сын, знавший, к чему идет развязка. — Мы еще не переехали к ней, а Сюзанна уже показывает характер».

Тетя и вправду, как многие очень привлекательные и обаятельные люди, была особенно хороша, если держаться на известном от нее расстоянии.

13

Путешественники вернулись в Москву, потекла прежняя обыденная и размеренная жизнь. Рене переводила книги с русского на французский; Яков читал лекции и подрабатывал где мог — не для денег, а чтоб быть на виду, на людях, необходимым стране и революции. Самуил стал заведовать отделением в 67-й Московской городской больнице, с которой вся последующая его жизнь была затем связана; предшественница его уехала в Америку. Сергею дали степень старшего научного сотрудника в научном институте — имя его в определенных кругах было уже известно. У старшего подрастали сыновья. Алексею нужно было идти в армию: тогда еще не было того поголовного уклонения от службы, которое появилось позже. Старший, не желая, чтобы некоторые из его проблем передались детям, во Францию не эмигрировал, но сменил имя на Семен: видно, легкое отношение к именам перешло к нему по наследству. Он получил новые документы, поменял отчества сыновей: по матери они были русскими, и нечего было омрачать им жизнь еврейством их прародителей. И Рене и Яков отнеслись к этому с завидным спокойствием, а сам сын долго колебался и переживал по поводу своего ренегатства, а сменив имя, упрямо настаивал на том, чтобы все по-прежнему звали его Самуилом — не потому, что очень любил это имя, а из свойственного ему твердолобого упрямства.

Все жили теперь врозь и съезжались только летом, на даче, которая стала символом семейного единства и его последним прибежищем. Но в апреле 1984 года дача сгорела, и пожар этот стал причиной смерти Якова.

История пожара или поджога, как всегда у нас, достаточно загадочна. Милиция, как водится, нашла виновных — двух бродяг: они расположились в оставленном на зиму доме и будто бы развели там костер, чтоб согреться. Те сначала отпирались, потом один из них покончил с собой, повесился, а другой дал после этого признательные показания и получил по суду восемь лет лагеря с выплатой Госстраху полученной семьей страховки. Формально все так, но сосед, живший круглый год в соседней даче, утверждал, что в день пожара в оставленном доме веселилась компания из здешней золотой молодежи, возглавляемая сыном одного из местных чиновников. Более того, говорил он, в апреле промерзшая и отсыревшая насквозь дача не может загореться иначе как подожженная бензином или керосином. После пожара, летом, один из чиновников

Одинцовского райсовета, к которому относятся Жаворонки, предупредил Самуила, что если семья в положенные сроки не восстановит дачу, у нее отберут участок, потому что он оформлен на отца, ему за восемьдесят и мало ли что с ним может случиться. Яков ничего не предпринимал, чтоб поставить хотя бы времянку, которую бы принял райсовет, и узаконить права семьи на участок (земля тогда не передавалась по наследству — наследовались только принятые комиссией строения). Он удивлялся тому, как легко переносит утрату, хотя дача до сих пор была его любимым местом пребывания: он жил там, вместе с верной ему Дусей, с апреля по ноябрь и говорил, что ему нигде так, как на даче, не живется и не работается. Перенес-то он пожар, может быть, и легко, но в сентябре с ним случился удар: его парализовало, отнялась речь, и он впал в тяжелейшее состояние.

Он лежал у сына и медленно поправлялся: первый в череде родственников, прошедших через отделение, которым старший заведовал: хотя оно и было психиатрическим, но в нем были открытые палаты, ничем не отличавшиеся от других отделений больницы, а уход за своим был намного лучше. Он выкарабкался из этой беды: у него оставался легкий паралич правой стороны, который он научился преодолевать, — начал ходить и разрабатывал руку, но его погубило собственное неразумие: он во что бы то ни стало хотел закончить курс в военном госпитале, где имел право лечиться с самого начала (а может быть, улучшение в его состоянии казалось ему слишком медленным, потому что он не умел ждать и ему не терпелось начать работать). Сын его отговаривал:

— Зачем тебе это? Долечишься — скоро выпишем. От добра добра не ищут. — Он был наслышан об этих госпиталях: к отставникам там относились много хуже, чем к действующим офицерам, но отец не поддавался уговорам, и пришлось перевести его в Красногорский военный госпиталь. Там начали с того, что его положили одного в бокс, который представлял собой голую, покрытую со всех сторон керамической плиткой процедурную комнату, подошли пару раз и оставили на день и на ночь одного, и он никого не мог дозваться. Он был взбешен, рассержен, негодовал — это привело к повторному инсульту с усилением паралича на правой половине тела. Рене и Самуил были у него за день до смерти. Он не хотел поддаваться болезни и, будучи снова в тяжелом состоянии, показывал им, на что способен:

— Вот, смотрите: хожу! — Он пытался встать на ноги, которые его не слушались, и бормотал косноязычно — таким тоном и с таким видом, будто они ему мешали или не верили. —

Я еще поработаю! Мне нужно защитить докторскую! — и повалился бы, если бы жена с сыном его не удержали. На следующий день его не стало. На вскрытии нашли размягчение мозга величиной с целое полушарие, не считая других свежих и старых очагов, так что непонятно было, как он мог с этим еще вставать и разговаривать…

Его похоронили со всеми почестями на Кунцевском кладбище. В последний день о его смерти узнало Управление и прислало на похороны представителей. После него не осталось ни богатств, ни ценностей — если не считать дачи, на которую можно было махнуть рукой, потому что произошла как раз та ситуация, о которой предупреждал чиновник райсовета. Старший сын: на него теперь взваливалась семейная ноша — пошел туда на прием. Ему подтвердили, что права на участок семьей потеряны вместе со смертью его владельца.

— Но у нас там и сарай стоит, и беседка?

— Пожалуйста, переносите их в другое место, — был вежливый ответ. — Никто их у вас не отбирает…

«Никто не отбирает!» Что делать? Дачу было жалко до слез: к ней все привыкли. Помогло безумие матери: не было, говорят, счастья, так несчастье подвезло. Рене ведь развелась с Яковом и разделила имущество — но не довела дело до логического завершения: в частности, дача оставалась формально собственностью одного Якова. Самуил взял решение суда, пошел с ним в БТИ: Бюро технической информации — место, где у нас собираются документы о владении имуществом. В конторе сидела небольшая беременная женщина — почти девочка с животом: можно было попробовать.

— Нельзя ли задним числом внести в документы эти изменения? — спросил Самуил, когда она вытащила папку с их делом, и подвинул ей решение суда. — Мать разделила по суду эту дачу.

— Так когда это было? Восемь лет назад? Нет, конечно.

Нет так нет. Он не ждал другого, нарочито медленно собрал бумаги, встал, поглядел на нее еще раз — она не смотрела в его сторону — и вышел.

Пройдя метров двадцать, он вдруг остановился, решил испытать счастья еще раз и вернулся.

— Может быть, все-таки пойдете навстречу? — униженно попросил он. — Дача пропадает. — И она, не говоря ни слова, не прося ничего взамен, взяла папку с делом и вписала в него задним числом мать как вторую собственницу дачи и участка: это был второй, после капитана КГБ, ангел-хранитель этого дома.

Все остальное было делом техники и конспирации. Нельзя

было, чтобы о случившемся узнали тузы района, которые наверняка уже распорядились пустующим участком. Самуил подготовил необходимые документы и подал их в комиссию райисполкома. Надо было видеть, с каким неподдельным изумлением изучал и рассматривал их начальник того самого БТИ, где сын получил спасительную приписку. Но дело было сделано, теперь требовались лишь обычные юридические муки и хождения по судам, чтоб передать Рене вторую половину владения, — дачу можно было строить, и Самуил этим и занялся. Мать и брат помогли деньгами, выручила страховка — старший отдал этому делу три года жизни, но зато дом поднялся лучше прежнего: кирпичный, с газом, со всеми удобствами. Единство и престиж семьи были восстановлены.

Жизнь продолжалась. Рене старела, ей стало трудно работать, да и переводила она теперь хуже: из-за границы начали поступать рекламации — она пошла на пенсию. Пришла перестройка, с нею возможность публиковаться (за свой счет или за счет спонсоров) — старший не замедлил ею воспользоваться и кое-что напечатал. Он хотел быть напечанным и во Франции, и Рене перевела ему его рассказы — один из них действительно увидел там свет, но это мало что изменило в жизни их обоих: книги теперь не то, чем были раньше. Но с Самуилом все было в порядке: он избрал себе надежную, как бетон, профессию и работал в прежнем качестве, как если бы в стране ничего не происходило. Хуже было с Сергеем. Новая жизнь — или, скорее, новая власть — распустила чуть ли не все научные институты, на которые сразу не стало хватать денег, — он вынужден был оставить научную карьеру и уйти на вольные хлеба в бизнес. Хлеба оказались поначалу обильны, потом оскудели, он еле вылез из-под развалин фирмы, которая была организована его бывшими товарищами по институту, и в последующем должен был, как многие другие, постоянно искать себе работу и приработки; сам он, правда, не жаловался и не жалел, как мать, утраченного.

В начале 90-х Рене, по настоянию сыновей, преимущественно старшего, обратилась во французское посольство с просьбой восстановить французское подданство: выдать ей французский паспорт. Сама она возвращаться на родину не думала, да и у детей не было такого непосредственного намерения, но они хотели, чтоб мать получила паспорт «на всякий случай»: Европа становилась ближе и полезно было закинуть туда лишний якорь. Для этого пришлось собирать документы, удостоверять у нотариуса их русские и французские версии, но в конце концов паспорт выдали. Надо было только придти за ним и расписаться в посольстве, но Рене делать этого не стала. Сыновья, особенно

старший, злились: зачем было столько усилий — но она была непреклонна. Все решили, что это очередная ее блажь, и от нее отступились, но когда сын пошел в посольство и зашел в отдел, ведавший подобными операциями: кажется, второй отдел в системе французских посольств — то его встретил там очень приветливый, обаятельный и вкрадчивый человек, который сказал ему, что матери, конечно, дадут ее документы, но взамен она должна будет «все рассказать как было». Именно этого она делать, видимо, и не хотела: не в ее правилах было выдавать кого-либо — даже когда прошло столько времени. Могли пострадать родственники, говорила она, а для нее всегда сначала была личность, потом государство — это был ее принцип, который она умудрилась пронести через всю жизнь в советской стране и через работу в здешней разведке — не захотела она изменить ему и во Франции.

В 1987 году, в возрасте 97 лет умерла Жоржетта, которая за год до этого сломала ногу и была прикована к постели; ей так и не рассказали про смерть Якова. В 1992 году умерла от рака Инна, в 1998-м Дуся от болезни сердца — обеих похоронили рядом с отцом на Кунцевском кладбище…

В январе 1999-го Рене у себя дома упала, сломала себе, как и ее мать, шейку бедра и тоже, как и Яков, оказалась в отделении своего сына.

Началась борьба за ее жизнь и выздоровление — сражение, в котором она не захотела принять участия. Ей не стали делать операции, потому что у нее были другие тяжкие заболевания. Хуже всего было с головой: частые провалы в памяти, головокружения, падения, одно из которых и закончилось переломом. В этом положении нужно было вставать и ходить: вначале с поддержкой, с ходунками, потом самостоятельно — она ничего этого делать не хотела и только повторяла, чтоб ей дали умереть спокойно: больше ей ничего не надо было. Старший сын, который был ее доктором, раздражался, приводил в пример отца, который боролся до последнего, заставлял ее садиться, спускать ноги с кровати — она подчинялась: чтоб он от нее отстал, но когда отходил, залегала в прежнем неподвижном состоянии, замыкалась в себе и очень мало ела. Это была депрессия, но средств от нее не было: это было не та хандра, которую легко вылечить препаратами — она не хотела жить и это было всерьез и надолго. Может, она давно уже разлюбила жизнь и продолжала тянуть лямку, потому что так положено и нельзя преступать общих правил? Может, и вся ее сознательная жизнь, с ее отказом от жизненных благ и погоней за недостижимым, тоже была медленным аскетическим умиранием, которое так свойственно

среднему классу, ведущему трудовое существование и ставящему себе в жизни узко очерченные, почти религиозные рамки? А может, она в чем-то или в ком-то сильно разочаровалась? Так или иначе, но она распорядилась, не в шутку, а всерьез, в полном уме и здравии, чтобы ее после смерти сожгли, а пепел развеяли по ветру, — чтоб после смерти от нее ничего не осталось. Психиатры знают, что это своего рода отсроченный суицид, — самоубийство, совершаемое после смерти теми, кто не имел на это при жизни ни сил ни желания…

Она скончалась 5 декабря 1999 года, немного не дожив до нового тысячелетия. Ее похоронили на том же кладбище, с теми же представителями Управления — только без оркестра, на который она по званию не имела права: она умерла в чине младшего лейтенанта — служебная карьера ей никогда не давалась.

Самуил ходил по опустевшим комнатам квартиры и испытывал щемящую боль и вину перед матерью, которую не взял к себе домой вовремя. То, что младший брат вел себя не лучше, нисколько не уменьшало его вины и ответственности. Мать, правда, сама хотела жить одна и была трудным человеком для совместного проживания с ней — особенно, когда ей приходили в голову навязчивые идеи и фантазии: домашние их не понимали — для этого нужно было быть специалистом. Но все равно приходит время — а он пропустил его, — когда всем этим нужно было пренебречь и съехаться с ней, чтобы ежедневно опекать ее, а он этого не сделал…

После нее тоже ничего не осталось — ни сберкнижки, ни золота, ни камней, к которым она была равнодушна, ни богатой мебели — только книги: ее переводы да еще богатая зеленая многотомная французская энциклопедия двадцатых годов, которую ее отец, когда за ней ухаживал, прислал из Франции в большом деревянном ящике…

Над столом висела большая вырезанная из газеты — конечно французской, а не отечественной — выцветшая фотография времен перестройки: на ней были бастующие шахтеры Кемерова. Молодые мужчины в шахтерских робах, с лампочками во лбу сидели, тесно прижавшись друг к другу, и лица их были высвечены надеждой и тем минутным, но рождающим спокойствие душевным равновесием, которое дают людям дружба и единомыслие: с ними все кажется преодолимым. Фотографию сделали на каком-то собрании, где принималось решение о забастовке или о чем-нибудь в этом роде. Сын давно приметил этот снимок, но теперь он предстал перед ним в новом свете: мать не зря повесила его на видном месте — он напоминал ей

прожитую жизнь, то, чем она жила, что ее согревало и поддерживало.

Помнится, и отец говорил что-то наивное и смешное о рабочем классе. Не это ли, в конце концов, и объединяло и сближало их? Не могли же два человека прожить вместе всю жизнь — пусть даже разводясь и ссорясь — чужими друг другу, не имея общего символа веры, источника сил и душевной бодрости?

Может быть, эта мысль и не так уж глупа и смешна — мысль и мечта о человеческом единстве и солидарности?